2

Константин Симонов

2

Константин Симонов



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

Дни и ночи

Повесть

Рассказы

1943–1945

Пьесы

1940–1945

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Р2
С37

Оформление художника
ВЛ. МЕДВЕДЕВА

С $\frac{70302\text{-}045}{028(01)\text{-}80}$ подписное

ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ
ЗА СТАЛИНГРАД

ДНИ И НОЧИ

Повесть

...так тяжкий млат,
дробя стекло, кует булат.

А. Пушкин

I

Обессилевшая женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград.

Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль.

Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся.

Он молча стоял и слушал женщину, глядя поверх ее головы туда, где у крайних домиков, прямо в степи, разгружался эшелон.

За степью блестела на солнце белая полоса соляного озера, и все это, вместе взятое, казалось краем света. Теперь, в сентябре, здесь была последняя и ближайшая к Сталинграду железнодорожная станция. Дальше до берега Волги предстояло идти пешком. Городишко назывался Эльтоном, по имени соляного озера. Сабуров невольно вспомнил заученные еще со школы слова «Эльтон» и «Баскунчак». Когда-то это было только школьной географией. И вот он, этот Эльтон: низкие домики, пыль, захолустная железнодорожная ветка.

А женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и хотя слова ее были привычными, у Сабурова защемило сердце. Прежде уходили из города в город, из Харькова в Валуйки, из Валуек в Россошь, из Россоши в Богучар, и так же плакали женщины, и так же он слушал их со смешанным чувством стыда и усталости. Но здесь была заволжская голая степь, край света, и в словах женщины звучал уже не упрек, а отчаяние, и уже некуда было дальше уходить по этой степи, где на многие версты не оставалось ни городов, ни рек — ничего.

— Куда загнали, а? — прошептал он, и вся безотчетная тоска последних суток, когда он из теплушки смотрел на степь, стеснилась в эти два слова.

Ему было очень тяжело в эту минуту, но, вспомнив страшное расстояние, отделявшее его теперь от границы, он подумал не о том, как он шел сюда, а именно о том, как ему придется идти обратно. И было в его невеселых мыслях то особенное упрямство, свойственное русскому человеку, не позволявшее ни ему, ни его товарищам ни разу за всю войну допустить возможность, при которой не будет этого «обратно».

И все-таки дальше так продолжаться не могло. Сейчас, в Эльтоне, он вдруг почувствовал, что именно здесь и лежит тот предел, за который уже нельзя переступить.

Он посмотрел на поспешно выгружавшихся из вагонов солдат, и ему захотелось как можно скорее добраться по этой пыли до Волги и, переправившись через нее, почувствовать, что обратной переправы не будет и что его личная судьба будет решаться на том берегу, заодно с участью города. И если немцы возьмут город, то, значит, он непременно умрет, и если он не даст им этого сделать, то, может быть, выживет.

А женщина, сидевшая у его ног, все еще рассказывала про Сталинград, одну за другой называя разбитые и сожженные улицы. Эти незнакомые Сабурову названия для нее были исполнены особого смысла. Она знала, где и когда были построены сожженные сейчас дома, где и когда посажены спиленные сейчас на баррикады деревья, она жалела все, как будто речь шла не о большом городе, а о ее доме, в котором пропали и погибли до слез знакомые, принадлежавшие лично ей вещи.

Но о своем доме она как раз не говорила ничего, и Сабуров, слушая ее, подумал, как, в сущности, редко за всю войну попадались ему люди, жалевшие о своем пропавшем имуществе. И чем дальше шла война, тем реже люди вспоминали свои брошенные дома и тем чаще и упрямее вспоминали только покинутые города.

Вытерев слезы концом платка, женщина обвела долгим вопросительным взглядом всех слушавших ее и сказала задумчиво и убежденно:

— Денег-то сколько, трудов сколько!

— Чего трудов? — спросил кто-то, не поняв смысла ее слов.

— Обратно построить все,— просто сказала женщина.

Сабуров спросил женщину о ней самой. Она сказала, что два ее сына давно на фронте и один из них уже убит, а муж и дочь, наверное, остались в Сталинграде. Когда начались бомбежка и пожар, она была одна и с тех пор ничего не знает о них.

— А вы в Сталинград? — спросила она.

— Да,— ответил Сабуров, не видя в этом военной тайны, ибо для чего же еще, как не для того, чтобы идти в Сталинград, мог

разгружаться сейчас воинский эшелон в этом забытом богом Эльтоне.

— Наша фамилия Клименко. Муж — Иван Васильевич, а дочь — Аня. Может, встретите где живых,— сказала женщина со слабой надеждой.

— Может, и встречу,— привычно ответил Сабуров.

Батальон заканчивал выгрузку. Сабуров простился с женщиной и, выпив ковш воды из выставленной на улицу бадейки, направился к железнодорожному полотну.

Бойцы, сидя на шпалах, сняв сапоги, подвертывали портянки. Некоторые из них, сэкономившие выданный с утра паек, жевали хлеб и сухую колбасу. По батальону прошел верный, как обычно, солдатский слух, что после выгрузки сразу предстоит марш, и все спешили закончить свои недоделанные дела. Одни ели, другие чинили порванные гимнастерки, третьи перекуривали.

Сабуров прошелся вдоль станционных путей. Эшелон, в котором ехал командир полка Бабченко, должен был подойти с минуты на минуту, и до тех пор оставался еще не решенным вопрос, начнет ли батальон Сабурова марш к Сталинграду, не дожидаясь остальных батальонов, или же после ночевки, утром, сразу двинется весь полк.

Сабуров шел вдоль путей и разглядывал людей, вместе с которыми послезавтра ему предстояло вступить в бой.

Многих он хорошо знал в лицо и по фамилии. Это были «воронежские» — так про себя называл он тех, которые воевали с ним еще под Воронежем. Каждый из них был драгоценностью, потому что им можно было приказывать, не объясняя лишних подробностей.

Они знали, когда черные капли бомб, падающие с самолета, летят прямо на них и надо ложиться, и знали, когда бомбы упадут дальше и можно спокойно наблюдать за их полетом. Они знали, что под минометным огнем ползти вперед ничуть не опасней, чем оставаться лежать на месте. Они знали, что танки чаще всего давят именно бегущих от них и что немецкий автоматчик, стреляющий с двухсот метров, всегда больше рассчитывает испугать, чем убить. Словом, они знали все те простые, но спасительные солдатские истины, которые давали им уверенность, что их не так-то легко убить.

Таких солдат у него была треть батальона. Остальным предстояло увидеть войну впервые. У одного из вагонов, охраняя еще не погруженное на повозки имущество, стоял немолодой красноармеец, издали обративший на себя внимание Сабурова гвардейской выправкой и густыми рыжими усами, как пики торчавшими в стороны. Когда Сабуров подошел к нему, тот лихо взял «на

караул» и прямым, немигающим взглядом продолжал смотреть в лицо капитану. В том, как он стоял, как был подпоясан, как держал винтовку, чувствовалась та солдатская бывалость, которая дается только годами службы. Между тем Сабуров, помнивший в лицо почти всех, кто был с ним под Воронежем, до переформирования дивизии, этого красноармейца не помнил.

— Как фамилия? — спросил Сабуров.

— Конюков,— отчеканил красноармеец и снова уставился неподвижным взглядом в лицо капитана.

— В боях участвовали?

— Так точно.

— Где?

— Под Перемышлем.

— Вот как. Значит, от самого Перемышля отступали?

— Никак нет. Наступали. В шестнадцатом году.

— Вот оно что.

Сабуров внимательно взглянул на Конюкова. Лицо солдата было серьезно, почти торжественно.

— А в эту войну давно в армии? — спросил Сабуров.

— Никак нет, первый месяц.

Сабуров еще раз с удовольствием окинул глазом крепкую фигуру Конюкова и пошел дальше. У последнего вагона он встретил своего начальника штаба лейтенанта Масленникова, распоряжавшегося выгрузкой.

Масленников доложил ему, что через пять минут выгрузка будет закончена, и, посмотрев на свои ручные квадратные часы, сказал:

— Разрешите, товарищ капитан, сверить с вашими?

Сабуров молча вынул из кармана свои старые серебряные, с треснувшим стеклом часы, пристегнутые за ремешок английской булавкой. Часы Масленникова отставали на пять минут. Он с недоверием посмотрел на сабуровские.

Сабуров улыбнулся:

— Ничего, переставляйте. Во-первых, они еще отцовские, Буре, а во-вторых, привыкайте к тому, что на войне верное время всегда бывает у начальства.

Поездка в эшелоне, где его назначили комендантом, и эта выгрузка были для Масленникова первым фронтовым заданием. Здесь, в Эльтоне, уже попахивало близостью фронта. Он волновался, предвкушая войну, в которой, как ему казалось, он постыдно долго не принимал участия. И все порученное ему сегодня выполнял с особой аккуратностью и тщательностью.

— Да, да, идите,— сказал Сабуров после секундного молчания. Глядя на это румяное, оживленное мальчишеское лицо, он

представил себе, каким оно станет через неделю, когда грязная, утомительная, беспощадная окопная жизнь всей своей тяжестью впервые обрушится на Масленникова.

Маленький паровоз, пыхтя, втаскивал на запасный путь долгожданный второй эшелон.

Как всегда торопясь, с подножки классного вагона еще на ходу соскочил командир полка подполковник Бабченко. Подвернув при прыжке ногу, он выругался и заковылял к спешившему навстречу ему Сабурову.

— Как с разгрузкой? — хмуро, не глядя в лицо спросил он.

— Закончена.

Бабченко огляделся. Разгрузка и в самом деле была закончена. Но хмурый вид и строгий тон, сохранять которые Бабченко считал своим долгом при всех разговорах с подчиненными, требовали от него и сейчас, чтобы он для поддержания своего престижа сделал какое-либо замечание.

— Что делаете? — отрывисто спросил он.

— Жду ваших приказаний.

— Лучше бы людей пока накормили, чем ждать.

— В том случае, если мы тронемся сейчас, я решил кормить людей на первом привале, а в том случае, если мы заночуем, решил организовать им через час горячую пищу здесь,— неторопливо ответил Сабуров с той спокойной логикой, которую в нем особенно не любил вечно спешивший Бабченко.

Подполковник промолчал.

— Прикажете сейчас кормить? — спросил Сабуров.

— Нет, покормите на привале. Пойдете, не дожидаясь остальных. Прикажите строиться.

Сабуров подозвал Масленникова и приказал ему построить людей.

Бабченко хмуро молчал. Он привык делать всегда все сам, всегда спешил и часто не поспевал.

Собственно говоря, командир батальона не обязан сам строить походную колонну. Но то, что Сабуров поручил это другому, а сам сейчас спокойно, ничего не делая, стоял рядом с ним, командиром полка, сердило Бабченко. Он любил, чтобы в его присутствии подчиненные суетились и бегали. Но от спокойного Сабурова никогда не мог этого добиться. Отвернувшись, подполковник стал смотреть на строившуюся колонну. Сабуров стоял рядом. Он знал, что командир полка недолюбливает его, но уже привык к этому и не обращал внимания.

Они оба с минуту стояли молча. Вдруг Бабченко, по-прежнему не оборачиваясь к Сабурову, сказал с гневом и обидой в голосе:

— Нет, ты посмотри, что они с людьми делают, сволочи!

Мимо них, тяжело переступая по шпалам, вереницей шли сталинградские беженцы, оборванные, изможденные, перевязанные серыми от пыли бинтами.

Они оба посмотрели в ту сторону, куда предстояло идти полку. Там лежала все та же, что и здесь, лысая степь, и только пыль впереди, завившаяся на буграх, похожа была на далекие клубы порохового дыма.

— Место сбора в Рыбачьем. Идите ускоренным маршем и вышлите ко мне связных,— сказал Бабченко с прежним хмурым выражением лица и, повернувшись, пошел к своему вагону.

Сабуров вышел на дорогу. Роты уже построились. В ожидании начала марша была дана команда «вольно». В рядах тихо переговаривались. Идя к голове колонны мимо второй роты, Сабуров снова увидел рыжеусого Конюкова: он что-то оживленно рассказывал, размахивая руками.

— Батальон, слушай мою команду!

Колонна тронулась. Сабуров шагал впереди. Далекая пыль, вившаяся над степью, опять показалась ему дымом. Впрочем, может быть, и в самом деле впереди горела степь.

II

Двадцать суток назад, в душный августовский день, бомбардировщики воздушной эскадры Рихтгофена с утра повисли над городом. Трудно сказать, сколько их было на самом деле и по скольку раз они бомбили, улетали и вновь возвращались, но всего за день наблюдатели насчитали над городом две тысячи самолетов.

Город горел. Он горел ночь, весь следующий день и всю следующую ночь. И хотя в первый день пожара бои шли еще за шестьдесят километров от города, у донских переправ, но именно с этого пожара и началось большое Сталинградское сражение, потому что и немцы и мы — одни перед собой, другие за собой — с этой минуты увидели зарево Сталинграда, и все помыслы обеих сражавшихся сторон были отныне, как к магниту, притянуты к горящему городу.

На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот особый тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все месяцы осады. Запахи горелого железа, обугленного дерева и пережженного кирпича смешались во что-то одно, одуряющее, тяжелое и едкое. Сажа и пепел быстро осели на землю, но, как только задувал самый легкий ветер с Волги, этот черный прах начинал клубиться вдоль сожженных улиц, и тогда казалось, что в городе снова дымно.

Немцы продолжали бомбардировки, и в Сталинграде то там, то здесь вспыхивали новые, уже никого не поражавшие пожары. Они сравнительно быстро кончались, потому что, спалив несколько новых домов, огонь вскоре доходил до ранее сгоревших улиц и, не находя себе пищи, потухал. Но город был так огромен, что все равно всегда где-нибудь что-то горело, и все уже привыкли к этому постоянному зареву, как к необходимой части ночного пейзажа.

На десятые сутки после начала пожара немцы подошли так близко, что их снаряды и мины стали все чаще разрываться в центре города.

На двадцать первые сутки наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно и даже невозможно. Севернее города немцы вышли на Волгу, южнее — подходили к ней. Город, растянувшийся в длину на шестьдесят пять километров, в ширину нигде не имел больше пяти, и почти по всей длине его немцы уже заняли западные окраины.

Канонада, начавшаяся в семь утра, не прекращалась до заката. Непосвященному, попавшему в штаб армии, показалось бы, что все обстоит благополучно и что, во всяком случае, у обороняющихся еще много сил. Посмотрев на штабную карту города, где было нанесено расположение войск, он бы увидел, что этот сравнительно небольшой участок весь густо исписан номерами стоящих в обороне дивизий и бригад. Он бы мог услышать приказания, отдаваемые по телефону командирам этих дивизий и бригад, и ему могло бы показаться, что стоит только точно выполнить все эти приказания, и успех, несомненно, обеспечен. Для того же, чтобы действительно понять, что происходило, этому непосвященному наблюдателю следовало бы добраться до самых дивизий, которые в виде таких аккуратных красных полукружий были отмечены на карте.

Большинство отступавших из-за Дона, измотанных в двухмесячных боях дивизий по количеству штыков представляли собой сейчас неполные батальоны. В штабах и в артиллерийских полках еще было довольно много людей, но в стрелковых ротах каждый боец был на счету. В последние дни в тыловых частях взяли всех, кто не был там абсолютно необходим. Телефонисты, повара, химики перешли в распоряжение командиров полков и по необходимости стали пехотой. Но хотя начальник штаба армии, смотря на карту, отлично знал, что его дивизии уже не дивизии, однако размеры участков, которые они занимали, по-прежнему требовали, чтобы на их плечи падала именно та задача, которая должна падать на плечи дивизии. И, зная, что бремя это непосильно, все на-

чальники, от самых больших до самых малых, все-таки клали это непосильное бремя на плечи своих подчиненных, ибо другого выхода не было, а воевать было по-прежнему необходимо.

Перед войной командующий армией, наверное, рассмеялся бы, если бы ему сказали, что придет день, когда весь подвижной резерв, которым он будет располагать, составит несколько сот человек. А между тем сегодня это было именно так... Несколько сот автоматчиков, посаженных на грузовики,— это было все, что он в критический момент прорыва мог быстро перебросить из одного конца города в другой.

На большом и плоском холме Мамаева кургана, в каком-нибудь километре от передовой, в землянках и окопах разместился командный пункт армии. Немцы прекратили атаки, то ли отложив их до темноты, то ли решив передохнуть до утра. Обстановка вообще и эта тишина в особенности заставляли предполагать, что утром будет непременный и решительный штурм.

— Пообедали бы,— сказал адъютант, с трудом протискиваясь в маленькую землянку, где сидели над картой начальник штаба и член Военного совета. Они оба поглядели друг на друга, потом на карту, потом снова друг на друга. Если бы адъютант не напомнил им, что нужно обедать, они, может быть, еще долго сидели бы над ней. Они одни знали, насколько было опасно положение на самом деле, и хотя все, что возможно было сделать, было уже предусмотрено и командующий сам выехал в дивизии проверить выполнение своих приказаний, но от карты все-таки трудно было оторваться — хотелось чудом выискать на этом листе бумаги еще какие-то новые, небывалые возможности.

— Обедать так обедать,— сказал член Военного совета, Матвеев, человек по характеру жизнерадостный и любивший покушать в тех случаях, когда среди штабной сутолоки на это оставалось время.

Они вышли на воздух. Начинало темнеть. Внизу, справа от кургана, на фоне свинцового неба, как стадо огненных зверей, промелькнули снаряды «катюш». Немцы готовились к ночи, пуская в воздух первые белые ракеты, обозначавшие их передний край.

Через Мамаев курган проходило так называемое зеленое кольцо. Его затеяли в тридцатом году сталинградские комсомольцы и десять лет окружали свой пыльный и душный город поясом молодых парков и бульваров. Вершина Мамаева кургана была тоже обсажена тоненькими десятилетними липками.

Матвеев огляделся. Так хорош был этот теплый осенний вечер, так неожиданно тихо стало кругом, так пахло последней летней свежестью от начинавших желтеть липок, что ему показалось

нелепым сидеть в полуразрушенной халупе, где помещалась столовая.

— Скажи, чтобы стол сюда вынесли,— обратился он к адъютанту,— под липками будем обедать.

С кухни вынесли колченогий стол, покрыли скатертью, приставили две скамейки.

— Ну что же, генерал, сели,— сказал Матвеев начальнику штаба.— Давно мы с тобой под липками не обедали, и едва ли скоро придется.

И он оглянулся назад, на сожженный город.

Адъютант принес водку в стаканах.

— А помнишь, генерал,— продолжал Матвеев,— когда-то в Сокольниках, около лабиринта, такие клетушки с живою оградой из подстриженной сирени были, и в каждой столик и скамеечки. И самовар подавали... Туда все больше семействами приезжали.

— Ну и комаров же там было,— вставил не расположенный к лирике начальник штаба,— не то, что здесь.

— А здесь самовара нет,— сказал Матвеев.

— Зато и комаров нет. А лабиринт там действительно был такой, что трудно выбраться.

Матвеев посмотрел через плечо на расстилавшийся внизу город и усмехнулся:

— Лабиринт...

Внизу сходились, расходились и перепутывались улицы, на которых среди решений многих человеческих судеб предстояло решаться одной большой судьбе — судьбе армии.

В полутьме вырос адъютант.

— С левого берега от Боброва прибыли.— По его голосу было видно, что он бежал сюда и запыхался.

— Где они? — вставая, отрывисто спросил Матвеев.

— Со мной. Товарищ майор! — позвал адъютант.

Рядом с ним появилась плохо различимая в темноте высокая фигура.

— Встретили? — спросил Матвеев.

— Встретили. Полковник Бобров приказал доложить, что сейчас начнет переправу.

— Хорошо,— сказал Матвеев и глубоко и облегченно вздохнул.

То, что последние часы волновало и его, и начальника штаба, и всех окружающих, решилось.

— Командующий еще не вернулся? — спросил он адъютанта.

— Нет.

— Поищите по дивизиям, где он, и доложите, что Бобров встретил.

Полковник Бобров еще с утра был отправлен встретить и поторопить ту самую дивизию, в которой командовал батальоном Сабуров. Бобров встретил ее в полдень, не доезжая Средней Ахтубы, в тридцати километрах от Волги. И первым, с кем он говорил, был как раз Сабуров, шедший в голове батальона. Спросив у Сабурова номер дивизии и узнав у него, что командир ее следует позади, полковник быстро сел в готовую тронуться машину.

— Товарищ капитан,— сказал он Сабурову и поглядел ему в лицо усталыми глазами.— Мне не нужно вам объяснять, почему к восемнадцати часам ваш батальон должен быть на переправе.

И, не добавив ни слова, захлопнул дверцу.

В шесть часов вечера, возвращаясь, Бобров застал Сабурова уже на берегу. После утомительного марша батальон пришел к Волге нестройно, растянувшись, но уже через полчаса после того, как первые бойцы увидели Волгу, Сабурову удалось в ожидании дальнейших приказаний разместить всех вдоль оврагов и склонов холмистого берега.

Когда Сабуров в ожидании переправы присел отдохнуть на лежавшие у самой воды бревна, полковник Бобров подсел к нему и предложил закурить.

Они закурили.

— Ну, как там? — спросил Сабуров и кивнул по направлению к правому берегу.

— Трудно,— ответил полковник.— Трудно...— И в третий раз шепотом повторил: — Трудно,— словно нечего было добавить к этому исчерпывающему все слову.

И если первое «трудно» означало просто трудно, а второе «трудно» — очень трудно, то третье «трудно», сказанное шепотом, значило — страшно трудно, до зарезу.

Сабуров молча посмотрел на правый берег Волги. Вот он — высокий, обрывистый, как все западные берега русских рек. Вечное несчастье, которое на себе испытал Сабуров в эту войну: все западные берега русских и украинских рек были обрывистые, все восточные — отлогие. И все города стояли именно на западных берегах рек — Киев, Смоленск, Днепропетровск, Ростов... И все их было трудно защищать, потому что они прижаты к реке, и все их будет трудно брать обратно, потому что они тогда окажутся за рекой.

Начинало темнеть, но было хорошо видно, как кружатся, входят в пике и выходят из него над городом немецкие бомбардиров-

щики, и густым слоем, похожим на мелкие перистые облачка, покрывают небо зенитные разрывы.

В южной части города горел большой элеватор, даже отсюда было видно, как пламя вздымалось над ним. В его высокой каменной трубе, видимо, была огромная тяга.

А по безводной степи, за Волгой, к Эльтону шли тысячи голодных, жаждущих хотя бы корки хлеба беженцев.

Но все это рождало сейчас у Сабурова не вековечный общий вывод о бесполезности и чудовищности войны, а простое и ясное чувство ненависти к немцам.

Вечер был прохладным, но после степного палящего солнца, после пыльного перехода Сабуров все еще никак не мог прийти в себя, ему беспрестанно хотелось пить. Он взял каску у одного из бойцов, спустился по откосу к самой Волге, утопая в мягком прибрежном песке, добрался до воды. Зачерпнув первый раз, он бездумно и жадно выпил эту холодную чистую воду. Но когда он, уже наполовину поостыв, зачерпнул второй раз и поднес каску к губам, вдруг, казалось, самая простая и в то же время острая мысль поразила его: волжская вода! Он пил воду из Волги, и в то же время он был на войне. Эти два понятия — война и Волга — при всей их очевидности никак не вязались друг с другом. С детства, со школы, всю жизнь Волга была для него чем-то таким глубинным, таким бесконечно русским, что сейчас то, что он стоял на берегу Волги и пил из нее воду, а на том берегу были немцы, казалось ему невероятным и диким.

С этим новым ощущением он поднялся по песчаному откосу наверх, туда, где продолжал еще сидеть полковник Бобров. Бобров посмотрел на него и, словно отвечая его затаенным мыслям, задумчиво произнес:

— Да, капитан, Волга...— и, показав рукой вверх по течению, добавил: — А вот и наш катер идет с баржей. Одну роту и две пушки разместите...

Пароходик, волочивший за собой баржу, пристал к берегу минут через пятнадцать. Сабуров с Бобровым подошли к наскоро сколоченной деревянной пристани, где должна была производиться погрузка.

Мимо толпившихся у мостков бойцов с баржи несли раненых. Некоторые стонали, но большинство молчало. От носилок к носилкам переходила молоденькая сестра. Вслед за тяжело раненными с баржи сошли десятка полтора тех, кто мог еще ходить.

— Мало легко раненных,— сказал Сабуров Боброву.

— Мало? — переспросил Бобров и усмехнулся.— Столько же, сколько всюду, только не все переправляются.

— Почему? — спросил Сабуров.

— Как вам сказать... остаются, потому что трудно и потому что азарт. И ожесточение. Нет, я не то вам говорю. Вот переправитесь — на третий день сами поймете почему.

Бойцы первой роты начали по мосткам переходить на баржу. Между тем возникло непредвиденное осложнение. Оказалось, что на берегу скопилось множество людей, желавших, чтобы их погрузили именно сейчас и именно на эту баржу, направляющуюся в Сталинград. Один возвращался из госпиталя; другой вез из продовольственного склада бочку водки и требовал, чтобы ее погрузили вместе с ним; третий, огромный здоровяк, прижимая к груди тяжеленный ящик, напирая на Сабурова, говорил, что это капсюли для мин и что если он их не доставит именно сегодня, то ему снимут голову; наконец, были люди, просто по разным надобностям переправившиеся с утра на левый берег и теперь желавшие как можно скорее быть обратно в Сталинграде. Никакие уговоры не действовали. По их тону и выражению лиц никак нельзя было предположить, что там, на правом берегу, куда они так спешили,— осажденный город, на улицах которого каждую минуту рвутся снаряды!

Сабуров разрешил погрузиться человеку с капсюлями, интенданту с водкой и оттер остальных, сказав, что они поедут на следующей барже. Последней к нему подошла медсестра, которая только что приехала из Сталинграда и провожала раненых, когда их сгружали с баржи. Она сказала, что на том берегу лежат еще раненые и что с этой же баржей ей придется переправить их сюда. Сабуров не смог отказать ей, и, когда рота погрузилась, она вслед за другими по узенькому трапу перебралась сначала на баржу, а потом на пароходик.

Капитан, немолодой человек в синей тужурке и в старой совторгфлотовской фуражке с поломанным козырьком, буркнул в рупор какое то приказание, и пароходик отчалил от левого берега.

Сабуров сидел на корме, свесив ноги за борт и обхватив руками поручни. Шинель он снял и положил рядом с собой. Приятно было чувствовать, как ветер с реки забирается под гимнастерку. Он расстегнул гимнастерку и оттянул ее на груди так, что она надулась парусом.

— Простынете, товарищ капитан,— сказала стоявшая рядом с ним девушка, ехавшая за ранеными.

Сабуров улыбнулся. Ему показалось смешным это предположение, что на пятнадцатом месяце войны, переправляясь в Сталинград, он вдруг простудится. Он ничего не ответил.

— И не заметите, как простынете,— настойчиво повторила девушка.— Тут холодно на реке по вечерам. Я вот каждый день переплываю и уже до того простудилась, что даже голоса нет.

Действительно, в ее тонком девичьем голосе чувствовалась простуженная хриповатость.

— Каждый день переплываете? — спросил Сабуров, поднимая на нее глаза.— По скольку же раз?

— Сколько раненых, столько и переплываю. У нас ведь теперь не как раньше было — сначала в полк, потом в медсанбат, потом в госпиталь. Сразу берем раненых с передовой и сами везем за Волгу.

Она сказала это таким спокойным тоном, что Сабуров, неожиданно для себя, задал тот праздный вопрос, который обычно задавать не любил:

— А не страшно вам столько раз туда и назад?

— Страшно,— призналась девушка.— Когда оттуда раненых везу, не страшно, а когда туда одна возвращаюсь — страшно. Когда одна, страшнее,— ведь верно?

— Верно,— сказал Сабуров и про себя подумал, что он и сам, находясь в своем батальоне, думая о нем, всегда меньше боялся, чем в те редкие минуты, когда оставался один.

Девушка села рядом, тоже свесила над водой ноги и, доверчиво тронув его за плечо, сказала шепотом:

— Вы знаете, что страшно? Нет, вы не знаете... Вам уже много лет, вы не знаете... Страшно, что вдруг убьют и ничего не будет. Ничего не будет того, про что я всегда мечтала.

— Чего не будет?

— А ничего не будет... Вы знаете, сколько мне лет? Мне восемнадцать. Я еще ничего не видела, ничего. Я мечтала, как буду учиться, и не училась... Я мечтала, как поеду в Москву и всюду, всюду — и я нигде не была. Я мечтала...— она засмеялась, но потом продолжала: — Мечтала, как выйду замуж,— и ничего этого тоже не было... И вот я иногда боюсь, очень боюсь, что вдруг всего этого не будет. Я умру, и ничего, ничего не будет...

— А если бы вы уже учились и ездили, куда вам хотелось, и были бы замужем, думаете, вам не так было бы страшно? — спросил Сабуров.

— Нет,— убежденно сказала она.— Вот вам, я знаю, не так страшно, как мне. Вам уже много лет.

— Сколько?

— Ну, тридцать пять — сорок, да?

— Да,— улыбнулся Сабуров и с горечью подумал, что совершенно бесполезно ей доказывать, что ему не сорок и даже не тридцать пять и что он тоже еще не научился всему, чему хотел научиться, и не побывал там, где хотел побывать, и не любил так, как ему бы хотелось любить.

— Вот видите,— сказала она,— вам поэтому не должно быть страшно. А мне страшно.

Это было сказано с такой грустью и в то же время самоотверженностью, что Сабурову захотелось вот сейчас же, немедленно, как ребенка, погладить ее по голове и сказать какие-нибудь пустые и добрые слова о том, что все еще будет хорошо и что с ней ничего не случится. Но вид горящего города удержал его от этих праздных слов, и он вместо них сделал только одно: действительно тихо погладил ее по голове и быстро снял руку, не желая, чтобы она подумала, будто он понял ее откровенность иначе, чем это нужно.

— У нас сегодня убили хирурга,— сказала девушка.— Я его перевозила, когда он умер... Он был всегда злой, на всех ругался. И когда оперировал, ругался и на нас кричал. И, знаете, чем больше стонали раненые и чем им больнее было, тем он больше ругался. А когда он стал сам умирать, я его перевозила — его в живот ранили,— ему было очень больно, и он тихо лежал, и не ругался, и вообще ничего не говорил. И я поняла, что он, наверное, на самом деле был очень добрый человек. Он оттого ругался, что не мог видеть, как людям больно, а самому ему когда было больно, он все молчал и ничего не сказал, так до самой смерти... ничего... Только когда я над ним заплакала, он вдруг улыбнулся. Как вы думаете, почему?

— Не знаю,— ответил Сабуров.— Может быть, он был рад, что вы на этой войне еще живы и здоровы, и улыбнулся. А может быть, и не так, не знаю.

— Я тоже не знаю,— сказала девушка.— Мне только было очень жаль его и странно: он такой был большой, здоровый... Мне всегда казалось, что сначала всех нас и меня могут убить, а его уже после всех или вовсе никогда. И вдруг совсем наоборот.

Пароходик, пыхтя, подбирался к сталинградскому берегу, до которого оставалось всего двести или триста метров. И в эту минуту в воду впереди плюхнулся первый снаряд. Сабуров вздрогнул от неожиданности. Девушка не вздрогнула.

— Стреляют. А я все ехала сейчас, говорила с вами и думала: почему не стреляют?

Сабуров не ответил. Он прислушался и еще до падения снаряда понял, что у этого, второго, будет большой перелет. Снаряд действительно упал метров на двести сзади пароходика. Немцы взяли пароходик в так называемую артиллерийскую вилку — один снаряд впереди, один сзади. Сабуров знал, что теперь они поделят вилку пополам, потом это расстояние поделят еще пополам, сделают поправку, и дальнейшее, как всегда на войне, будет делом счастья.

Сабуров поднялся и, сложив руки рупором, крикнул на баржу:

— Масленников, прикажите людям снять шинели и положить рядом с собой!

Красноармейцы, стоявшие рядом с ним на пароходике, поняв, что приказание капитана относилось и к ним, торопливо расстегивали шинели и, стащив с себя, клали у ног.

Немецкий артиллерист действительно, как и предвидел Сабуров, поделил вилку так точно, что третий снаряд плюхнулся почти у самого борта парохода.

— Рама,— сказала девушка.

Сабуров взглянул вверх и увидел невысоко, прямо над головой, немецкий двухфюзеляжный артиллерийский корректировщик «фюкке-вульф», который на фронте за его странный, похожий на букву «П» хвост повсеместно прозвали «рамой». Теперь была понятна точность стрельбы немецких артиллеристов. Пароходик был лишен возможности маневрировать из-за баржи. Оставалось только ждать те пять минут, которые отделяли их от берега.

Сабуров взглянул на девушку. Она стояла в пяти шагах от Сабурова, у борта, там, где он ее оставил, и привычно ждала, упрямо глядя в простирающуюся под ее ногами воду.

Сабуров подошел к ней.

— В случае чего до берега доплывете?

— Я не умею плавать.

— Совсем?

— Совсем.

— Тогда станьте поближе туда,— сказал Сабуров.— Вон, видите, круг.

Он показал рукой туда, где висел круг, и в эту секунду снаряд попал в пароход, очевидно, в машинное отделение или в котлы, потому что все сразу загремело, перекосилось, и покатившиеся люди сшибли Сабурова с ног. Его подбросило вверх и швырнуло в воду. Выгребая руками, он очутился на поверхности. Та часть пароходика, на которой осталась труба, перевернулась в двадцати шагах от Сабурова и, как большим стаканом, зачерпнув трубой воду, ушла в глубину.

Кругом барахтались люди. Сабуров подумал, что хорошо сделал, приказав снять им шинели. Тяжело налитые сапоги тянули ноги вниз, и он сначала решил нырнуть и стащить с себя сапоги. Но баржа была так близко, что он по-солдатски пожалел сапоги и решил, что доплывет и так.

Все эти мысли промелькнули у него в голове в течение одной секунды, а в следующую секунду он увидел в нескольких метрах

от себя девушку, которая, неудачно попытавшись схватиться за обломок парохода, погрузилась в воду. Сабуров сделал несколько быстрых взмахов саженками и, когда девушка еще раз оказалась на поверхности, ухватил ее за гимнастерку. К счастью, баржа неслась по течению, почти прямо на него, и через полминуты он схватился за протянутые руки бойцов. Подтянувшись к борту, он подтянул за собой и девушку и, убедившись, что ее уже втягивают на баржу, сам быстро влез на борт.

— Ой, слава богу, товарищ капитан,— обрадовался оказавшийся рядом с ним Масленников.

Сабуров взглянул на него. Масленников был без сапог и без гимнастерки; он уже готов был прыгать в воду.

Бойцы один за другим подплывали к барже. Последним подплыл капитан парохода. Он влез, отфыркиваясь и чертыхаясь и еще глубже надвигая на лоб неведомо как удержавшуюся у него на голове совторгфлотовскую фуражку со сломанным козырьком.

Наперерез несшейся по течению барже от берега, пыхтя, спешил катерок.

— Готовься чалить! — крикнули с него хриплым басом.

Мешочек с песком на тонкой бечеве, со свистом перерезав воздух, шлепнулся на баржу. Красноармейцы дружно начали тянуть канат.

Позади баржи упало в воду еще несколько снарядов, и все стихло: близкий крутой берег мешал немцам стрелять.

— Пересчитайте людей,— сказал Сабуров Масленникову,— да оденьтесь. Так и будете босиком стоять?

Масленников смущенно посмотрел на свои босые ноги и торопливо стал надевать сапоги.

Кто-то из бойцов накинул на плечи Сабурова свою шинель.

— Девушке дайте шинель,— сказал Сабуров.— Где она?

Она сидела тут же, в нескольких шагах от него, в уже накинутой кем-то на плечи шинели и, словно забыв о том, что она вся до нитки промокла, с женской старательностью выжимала свои длинные волосы, накрутив их на кулаки. Сабуров хотел подойти к ней, но до его плеча дотронулся Масленников.

— Ну?

— Восьми человек нет,— шепотом сообщил Масленников, и на его лице изобразилось страдание: еще только пристают к берегу, еще не было никакого боя, и вот уже нет восьми человек.

Баржа пришвартовалась. Теперь были слышны не только артиллерийские разрывы, но и близкая пулеметная трескотня. Сабурова, еще не знавшего истинного положения вещей в городе, это поразило. Пулеметы стреляли не дальше как в двух-трех километрах отсюда.

Взволнованные люди спешили скорей перебраться на берег, Сабуров пропускал их мимо себя. Девушка сошла одной из первых. Когда Сабуров вспомнил о ней, ее уже не было ни на барже, ни на пристани. Он и Масленников сошли с баржи последними.

IV

К ночи разразилась гроза. В десять часов, когда Сабуров переправлял свою последнюю роту, все окружающее было похоже на какую-то нарочито мрачную фантастическую картину. Волга шумела и пенилась; впереди, на фоне ночи, по всему горизонту поднимались багровые столбы пожара, и где-то поверх, на черном небе, отражаясь в нем, плясали багровые отсветы. Частые молнии, выхватывая из темноты куски берега, освещали причудливые изломы обрушившихся домов, вздыбленные к небу крыши, огромные бензиновые цистерны, смятые, как бумажные трубки, сжатые в кулаке. Косой, крупный дождь бил в лицо.

На берегу в страшной темноте трудно было разобраться среди развалин и обломков; люди находили друг друга на ощупь и по голосу, а кругом все шумела и плескалась бесконечно падавшая с неба вода.

С последней баржей Сабуров переправил свои походные кухни и повозки с провиантом. Нечего было и думать приготовить горячую пищу среди этой темноты и хаоса. Старшины, собравшиеся около повозок, получали сухой паек и в темноте на ощупь раздавали его людям. Спрятаться от дождя и ветра было почти негде, все было мокро: доски, навесы, развалины.

Близкая автоматная стрельба, которую слышал Сабуров на закате, сейчас почти прекратилась; иногда только вспыхивали и сразу же гасли очереди. Зато и слева и справа беспрерывно слышались артиллерийские раскаты, перемежавшиеся с раскатами грома.

Хотя Сабуров понимал, что главная опасность начнется с рассветом, ему все-таки хотелось, чтобы поскорее начался этот рассвет,— тогда, по крайней мере, можно будет разобраться и увидеть, где они находятся, что вокруг них и куда им надо двигаться.

Ровно в двенадцать ночи, когда Сабурову удалось наконец разместить свои роты вдоль ближайших к берегу, превращенных в развалины улиц, когда смертельно усталые люди кто как заснули или пытались заснуть, связной, пришедший от Бабченко, потребовал комбата к командиру дивизии.

Штаб дивизии оказался тут же на берегу, в десяти минутах ходьбы от Сабурова. Он временно помещался под высоким фундаментом здания, построенного вкось на обрыве. Это была довольно глубокая нора, огороженная врытыми в землю, похожими на колонны бетонными упорами. Подвал освещался подвешенной на столб лампой «летучая мышь».

Сабуров не разобрал лиц, но по гулу голосов понял, что в подвале много людей.

— Сабуров,— услышал он голос Бабченко.

— Ну что ж, теперь все,— сказал другой голос, показавшийся Сабурову знакомым.

Сабуров вгляделся и увидел, что рядом с Бабченко стоит командир дивизии полковник Проценко, которого Сабуров хорошо и давно знал, но не видел полтора месяца, с тех пор как тот был ранен под Воронежем и отправлен в госпиталь. Проценко вернулся в дивизию недавно, перед отправкой на фронт. Сабуров знал об этом, но до сих пор еще не видел его. Полковник, относившийся неравнодушно и даже пристрастно к тем, кто с ним давно служил, сделал из темноты шаг вперед к «летучей мыши» и, похлопав Сабурова по плечу, спросил:

— Ну как, Алексей Иванович? Все живой еще?

— Все живой,— ответил Сабуров.

Проценко любил называть всех, даже самых маленьких командиров, которых он давно знал, непременно по имени-отчеству, подчеркивая этим перед остальными свое старое солдатское товарищество с ними, независимо от их званий.

— Живой,— улыбнулся Проценко.— И я живой. Это хорошо.— И, обращаясь к кому-то, плохо различимому в темноте, сказал: — Старые друзья, товарищ генерал, еще под Москвой вместе были...

И, сразу перейдя с ласкового тона на строго официальный, переспросив еще раз, все ли вызванные им командиры собрались, начал объяснять задачу этой ночи. Надо было за ночь сменить остатки дивизии, стоявшей на направлении главного удара немцев. Полк Бабченко должен был ночной атакой выбить немцев с окраины заводского поселка, где они сегодня днем ближе всего подошли к Волге и откуда Сабуров, очевидно, и слышал близкую автоматную стрельбу.

Проценко подробно и точно, как обычно он это делал, объяснил задачу, ведя карандашом по аккуратно сложенной чистенькой карте, и потом, отпустив командиров двух полков, которым в эту ночь предстояло только занимать позиции, обратился к Бабченко:

— Понимаешь, Филипп Филиппович, что ты сделать должен?

— Сделаем,— сказал Бабченко.

— В каждый батальон я тебе дам присланных из армии командиров, знающих город и обстановку. Товарищи командиры,— повернулся Проценко.

Из темноты вышли трое командиров: два старших лейтенанта и капитан.

— Будете в распоряжении подполковника. Обстановка трудная,— глядя в упор на Бабченко, сказал Проценко.— Очень трудная... Бой ночной в незнакомом городе. Здесь шаблонов не может быть. Чем больше будет драться народу, тем больше путаницы и потерь. Неожиданностью и решимостью, а не числом. Вы понимаете, товарищ Бабченко? — сказал Проценко строго, словно предупреждая этими словами возможные решения Бабченко, которые он предвидел и не одобрял.— Сегодня ночью будете воевать одним батальоном, а два должны быть у вас готовы к рассвету для поддержки и отражения контратак. Атаковать поручите Сабурову.

Оставив Бабченко и обратившись к Сабурову, Проценко продолжал:

— А вы тоже должны помнить — ночью не числом, а неожиданностью, как в Воронеже... Помните Воронеж?

— Так точно.

— Хорошо помните?

— Так точно.

— Ну, тогда все. Держитесь, как в Воронеже, и еще лучше. Вот и все, вся мудрость...

Проценко повернулся к человеку, стоявшему позади и молча слушавшему разговор. Теперь Сабуров разглядел его. Он был одет в черное кожаное, блестевшее от дождя пальто с полевыми генеральскими петлицами. Очевидно, он дал Проценко все указания еще раньше и теперь только слушал.

— У вас приказаний не будет, товарищ генерал? — спросил Проценко.— Разрешите отпустить командиров?

— Сейчас,— сказал генерал и подошел ближе к свету.

Теперь Сабуров мог разглядеть его. Он был среднего роста, с тяжелой львиной головой, смотревшими исподлобья, тяжелыми глазами, с тяжелым подбородком и с общим выражением какого-то особенного упорства во всем — в глазах, в наклоненной голове, в стремительно подавшейся вперед фигуре. Казалось, что он сейчас скажет слова непременно угрюмые и резкие, но голос, каким он заговорил, был неожиданно ясным, спокойным.

— В уличных боях участвовали?— спросил он Сабурова.

— Так точно.

— Саперов вперед, автоматчиков вперед, лучших стрелков вперед. Поняли?

— Понял.

— И сами вперед. В этих случаях у нас, в Сталинграде, так принято.

— И у нас в дивизии тоже так принято,— сказал Сабуров с неожиданной для себя резкостью.

Лицо генерала не выразило ничего. По нему нельзя было угадать, понравился или не понравился ему ответ.

— Разрешите отправляться командирам? — повторил Проценко.

— Да, пусть идут,— произнес генерал.

Выходя, Сабуров почувствовал на себе его внимательный взгляд и услышал последние, громче остальных сказанные слова Проценко, ответившего на вопрос генерала:

— Ничего, осилит...

Идя в темноте вслед за Бабченко, Сабуров спросил его, когда же тот наконец даст ему комиссара вместо прежнего, заболевшего тифом и снятого с эшелона по дороге.

— Что ж, я тебе его рожу, что ли? — грубо отрезал Бабченко.— Политрук первой роты выполняет его обязанности или нет?

— Выполняет,— недовольно ответил Сабуров, но Бабченко сделал вид, что не понял его.

— А раз выполняет,— пусть и дальше выполняет.

Они прошли еще несколько десятков шагов в молчании. Сабуров не любил и не ценил Бабченко, но уважал за личную храбрость, и кроме того, это все-таки был его командир полка, человек, вместе с которым через час они вступят в бой. Сабуров не то что боялся, но волнение, более сильное, чем обычно, охватило его перед этим ночным боем, и ему хотелось услышать от Бабченко что-то, что могло его поддержать.

— Как думаете, товарищ подполковник, должно все хорошо сойти, а?

— Я не думаю и вам не советую. Приказ есть? Есть. А думать завтра будем, когда выполним.

Он сказал это сухо, по-обычному, как всегда ничего не поняв из того, что делалось в душе его подчиненного. И Сабурову не захотелось больше ни о чем его спрашивать.

Когда Сабуров вернулся в расположение батальона, оказалось, что его ординарец, которого все в батальоне, несмотря на его тридцатилетний возраст, звали просто Петей, уже устроил среди развалин барака подобие командного пункта; правда, влезать туда надо было на четвереньках, но зато там было сравнительно сухо и горел свет.

Сабуров позвал к себе Масленникова, политрука Парфенова, заменявшего комиссара батальона, и командиров всех трех рот: долговязого, усатого, похожего на Чапаева Гордиенко, малень-

кого Винокурова и спокойного, тяжеловесного сибиряка, пришедшего недавно из запаса, Потапова. Сабуров дал командирам полчаса на то, чтобы выбрать из каждой роты по пятьдесят человек автоматчиков и лучших стрелков.

— Впереди,—объяснил он, развертывая план города,— лежит площадь. На той стороне — дома, уже взятые немцами,— три больших дома, каждый в полквартала. Эти дома надо занять сегодня ночью,— говорил он, подчеркивая значение этих слов тем, что после каждого делал паузу, словно ставил точку...

...Силы он поделит на три части: левый дом в обход площади будет брать со своей группой Гордиенко, правый дом — тоже в обход — будет брать Парфенов, прямо, через площадь, пойдет он сам...

Командиры молча слушали.

— Вы,— обратился Сабуров к Масленникову,— останетесь в резерве, и когда дойдете до нашего переднего края, остановитесь, расположете всех, кто не уйдет с нами, и будете ждать рассвета. Надо так расположить людей, чтобы к рассвету, как только мы выбьем немцев, вы уже были совсем близко и могли нас поддержать. Поняли, Масленников?

— Понял,— с некоторой горечью сказал Масленников, недовольный тем, что при первом же деле его оставляют в резерве.

За оставшиеся до выступления полчаса Сабуров обошел все три копошившиеся в темноте роты и, вспоминая одного за другим тех, кто с ним воевал еще под Воронежем, вызывал их поочередно, чтобы в этом, первом, да еще к тому же ночном бою сразу же приняло участие как можно больше ветеранов. Если даже за ночь потеряет много людей, то все-таки он потеряет их еще больше, если не возьмет дома до утра, и то же самое придется делать, когда рассветет.

Обходя вторую роту, Сабуров вспомнил того солдата, с которым он говорил на Эльтоне. Этот немолодой усатый спокойный дядька, наверное, был когда-то лихим охотником и должен ловко работать в ночном бою.

— Конюков,— позвал он.

— Здесь Конюков! — крикнул над его ухом, неожиданно вырастая, словно из-под земли, солдат.

— Вот и Конюкова включите,— сказал Сабуров Потапову.— Он тоже пойдет.

Через полчаса роты с шедшими впереди отобранными Сабуровым штурмовыми отрядами стали медленно двигаться под дождем вверх по обгоревшим, ядовито пахнувшим дымом улицам.

Назначенный сопровождать батальон Сабурова маленький чернявый старший лейтенант, по фамилии Жук, привел батальон к

задним дворам той улицы, фасады которой представляли собой на сегодняшнюю ночь линию фронта. Дальше была широкая площадь, на противоположном краю которой врезанными в нее полуостровами выделялись чуть видные в темноте три больших здания, занятых немцами. На этом краю площади стояли остатки полка, днем отступившего сюда. Командир полка был убит, комиссар тоже. Полком командовал капитан — командир одного из батальонов, а старший лейтенант, который привел Сабурова, как оказалось, был временно назначен начальником штаба полка. Собственно, его миссия сейчас кончалась, но, отведя в сторону командира полка и пошептавшись, он вернулся к Сабурову и сказал, что знает те дома, которые нужно занять, и, если Сабуров не возражает, пойдет с ним туда. Сабуров не возражал,— напротив, он был рад, хотя его несколько удивила такая самоотверженность старшего лейтенанта. Словно почувствовав это, Жук сказал:

— Я вас провожу. Раз отдать сумели, теперь я должен суметь вас довести...

Сабуров наметил места, с которых всем трем атакующим группам предстояло начинать. На себя он взял центр площади. У него было больше всего людей, зато ему и приходилось идти прямо, через всю площадь, на которой единственным укрытием был темневший впереди, отмеченный на плане, круглый фонтан.

Перед началом Сабуров еще раз подозвал к себе Гордиенко и Парфенова. Вытащив из кармана коробку, где лежали четыре заветные папиросы, и оставив одну, чтобы закурить после окончания дела, он молча сунул им в руки по папиросе, а третью стиснул зубами сам. Они присели на корточки, накрылись плащ-палаткой и по очереди прикурили. Затем, прикрывая огонь, потягивая из кулака, все трое поднялись.

Что можно было сказать им? Чтобы они шли вперед? Они это знали. Чтобы они не боялись смерти? Они все равно ее боялись, так же, как и он. Сказать им, что очень нужно взять эти три дома?.. Но если бы это не было очень нужно, разве могли бы люди в кромешной темноте идти навстречу неизвестности и смерти? Конечно, это было очень нужно. И вместо всех этих слов он быстрым движением молча притянул и притиснул к себе сразу обоих — высокого Гордиенко и маленького, тщедушного Парфенова, и так же молча отпустил.

Когда они скрылись в темноте, он почему-то подумал не о себе, а о них: увидит ли он их? Увидят ли они его — об этом он не подумал.

Через минуту двинулся со своим отрядом и он сам. Пятьдесят или шестьдесят шагов Сабуров шел по площади молча, от волнения сдерживая дыхание, словно немцы могли его услышать. По-

том с немецкой стороны треснули автоматные очереди, наискось по площади прошли первые трассирующие пули, одна за другой вспыхнули две маленькие белые ракеты, на несколько минут осветив кусок пространства с выступавшим впереди темным пятном фонтана. При этой внезапной вспышке люди справа и слева от Сабурова сразу же прижались к каменной мостовой. Сабуров поднялся и бросился вперед. Сзади, в ответ на немецкие выстрелы, заухали наши минометы и длинными очередями стали бить «максимы». Над головой с обеих сторон шло столько трассирующих пуль сразу, что у Сабурова вдруг мелькнула дикая мысль, что некоторые из них должны столкнуться в воздухе.

Дальше и время и жизнь измерялись уже только метрами...

Сабуров бесконечно вставал, поднимал людей, пробегал несколько шагов и снова падал плашмя на мостовую. Вскоре начали стрелять немецкие минометы. Мины рвались то спереди, то сзади, разворачивая мостовую. Прекратившийся было дождь вдруг снова полил, и раскаты грома перемежались с разрывами мин. Одна мина разорвалась совсем близко. Сабуров бросился вперед, падая, больно ударился, и когда в следующую секунду, поднимаясь, ухватился за что-то стоящее впереди, то при блеске внезапно сверкнувшей молнии увидел, что стоит прижавшись к фонтану, обхватив руками каменного ребенка. Голова у ребенка была снесена снарядом, и Сабуров держался за каменные ноги.

Этот большой круглый фонтан, служивший временным укрытием, в то же время неожиданно оказался препятствием. Как ни страшно было тут оставаться, еще страшней было пройти те сто метров, которые отделяли штурмующих от стен самого дома. Люди залегли за стенки фонтана и некоторое время никак не могли решиться двинуться дальше. Сабуров несколько раз выползал вперед за фонтан, вытягивал за собой людей и снова возвращался за остальными. Пулеметные очереди все тесней прижимали их к земле, хотя потерь пока еще почти не было.

— Ишь чиркают,— послышался чей-то голос около Сабурова, когда они, уже в который раз, лежали плашмя.— Ишь чиркают,— тон был такой, будто речь, и правда, шла о спичке.

Сабуров узнал Конюкова.

— Страшней, чем в ту германскую? — спросил он, поворачивая лицо, но не отрывая головы от земли.

— Нет,— ответил Конюков,— ничего. А проволоки не будет?

— Не должно быть.

— Ну, тогда ничего. А то они, бывало, по двенадцати колов ставили. Уж ее режешь, режешь,— сказал Конюков спокойным голосом человека, только-только собирающегося начать длинный рассказ.

В этот момент ударила мина, и они оба прижались к земле.

— За мной! — крикнул Сабуров, выждав, когда работавший на ощупь немецкий пулемет перенес огонь куда-то левее.

И они снова пробежали несколько шагов.

Так продолжалось еще минут пять. Сабуров со смешанным чувством страха и радости думал о том, что он так, как и хотел, принял удар на себя и что группы Гордиенко и Парфенова тем временем, наверное, уже по балке и задними дворами незаметно подошли к домам с обеих сторон. Все это было бы хорошо, если бы не было так страшно от беспрерывного белого, желтого, зеленого ливня трассирующих пуль.

Последние пятьдесят метров никого не пришлось поднимать. Переждав еще одну пулеметную очередь, все рванулись как-то решительно и разом вперед к уже видневшимся стенам домов. Что бы там ни было — немцы, черти, дьяволы,— все равно это было лучше и не страшней, чем эта голая площадь, по которой они до сих пор ползли. Желание, которое чем ближе к концу, тем больше овладевает чувствами идущего в атаку человека,— желание дотянуться своей рукой до немца, безотчетно подняло их и бросило вперед.

Когда Сабуров подбежал к стене дома, оказалось, что окна первого этажа очень высоки. Тогда его ординарец Петя подскочил и подсадил его. Сабуров вцепился рукой в подоконник, с силой швырнул в окно тяжелую противотанковую гранату и сам опять упал вниз на улицу.

Внутри раздался сильный взрыв. Петя опять подсадил Сабурова. Сабуров сел верхом на подоконник и, в свою очередь, протянул руку Пете. Тот тоже вскочил, опять протянул кому-то руку, и все они втроем или вчетвером ссыпались внутрь дома. Сабуров, по перенятой еще в начале войны от немцев привычке, на всякий случай, не глядя, дал от живота веером очередь из автомата. Кто-то совсем близко вскрикнул, в глубине тоже слышались стоны...

Сабуров на ощупь пересек комнату и, толкнув перед собой дверь, очутился в коридоре. Коридор был глухой, без окон, и в двух концах его — слева и справа — горели не потушенные немцами карбидные светильники. Из двери, расположенной далеко, в том конце коридора, выскочило сразу несколько человек. Сабуров скорее почувствовал, чем понял, что это немцы, и, пригнувшись, дал вдоль коридора длинную автоматную очередь. Несколько бежавших упало, один, спотыкаясь и размахивая руками, добежал до Сабурова и упал плашмя у его ног, а последний, метнувшись от стены к стене, прыгнул мимо Сабурова и столкнулся сзади него с кем-то, злорадно крикнувшим по-русски: «Ага, попал!».

Сабуров услышал сзади себя громкую возню и, крикнув на ходу: «Петя, за мной!» — побежал вперед по коридору.

В ближайшие полчаса трудно было в чем-либо разобраться. Бойцы Сабурова и немцы наскакивали друг на друга, в упор стреляли из автоматов, дрались, опять стреляли, бросали гранаты. По беспорядочной беготне, по тому, как метались немцы с верхнего этажа вниз и обратно, было ясно, что они испуганы и то, о чем злорадно мечтали бойцы, лежа на площади,— достигнуть врага штыком и рукой,— свершилось.

Постепенно бой перешел во внутренний двор и затих. Немцы или были убиты, или спрятались, или бежали. Их минометы, стоявшие на соседней улице, начали стрелять по дому, из чего следовало, что дом сейчас был снова нашим.

Начинало медленно светать. Сабуров послал связных к Гордиенко и Парфенову, которые, судя по тому, как и откуда стреляли немцы, тоже заняли свои дома слева и справа.

Когда совсем рассвело, наконец объявился старший лейтенант Жук. Он шел прихрамывая, за ним двигались трое бойцов и пятеро немцев со скрученными за спиной руками.

— Вот они... Скажи пожалуйста, в котельной в котел забрались,— с искренним, никогда не покидающим русского человека удивлением перед хитростью немца сказал Жук.— В котел ведь, скажи пожалуйста,— повторил он с видимым удовольствием оттого, что он все-таки нашел этих хитрых немцев.

Сабуров был доволен — и тем, что Жук жив, и тем, что он взял в плен немцев, но ноги его вдруг подкосились от усталости, и, сев на первый подвернувшийся стул, он почти равнодушно сказал, вытирая пот со лба:

— Да, значит, в котел...

— В котел,— с удовольствием в третий раз повторил Жук.— Что прикажете делать с ними, а?

— Вы в полк пойдете к себе? — спросил Сабуров.

— Да.

— Возьмите автоматчиков и сведите их туда, а потом дальше передадите.

— Есть свести к себе,— с радостью сказал Жук,— а автоматчиков не надо, у меня и так не убегут.

По его тону Сабуров понял, что убежать от такого немцы действительно не убегут, но и до штаба могут не дойти.

— Вы их доведете? — спросил он.

— А то как же, доведу...— ответил Жук тем ненатуральным тоном, каким люди, вообще не умеющие лгать, хотят изобразить в трудных случаях особую правдивость.— Вы теперь тут все хозяйство более или менее уже знаете?

— Более или менее,— ответил Сабуров.

— Ну, я к себе,— сказал Жук,— прощаться не буду, я еще к вам в гости приду.

— Приходите,— улыбнулся Сабуров.— Я себе пока тут квартиру подыщу.

Жук уже повернулся, но, уходя, добавил:

— Только в нижнем этаже советую, в бельэтаже продует. Как увидят немцы, что в бельэтаже расположились, так все окна вместе со стенкой выбьют, уж это точно.

Сабуров в самом деле выбрал себе для временного командного пункта одну из полуподвальных, впрочем довольно светлых и больших, комнат. Когда он присел и, нахмурив лоб, пытался сообразить, что ему предпринять дальше, ввалился Конюков, волоча за собой пленного — рыжего немолодого немца, примерно его лет и комплекции.

— Словил, товарищ капитан. Словил и вам представляю...

У Конюкова был победоносный вид. Хотя он так же, как и Жук, скрутил пленному немцу руки за спиной, но теперь добродушно похлопал его по плечу. Немец был его добычей, и Конюков относился к нему по-хозяйски, как к своему добру. Сабуров, заметив по лычкам, что это фельдфебель, задал ему на ломаном немецком языке несколько вопросов. Немец ответил хриплым, придушенным голосом.

— Что говорит, а? Что говорит? — два или три раза, перебивая немца, спрашивал Конюков.

— Все, что нужно, говорит,— сказал Сабуров.

— Хрипит... Ишь ты, голос потерял,— удовлетворенно заметил Конюков, сам запыхавшийся от борьбы с немцем.— Это я его маленько придушил. А кто же он теперь по ихним званиям будет?

— Ты до кого в старой армии дослужился?

— До фельдфебеля,— ответил Конюков.

— Вот и он фельдфебель,— сказал Сабуров.

— Значит, так на так,— разочарованно протянул Конюков.

На завоеванной территории постепенно все образовывалось. Пленных набралось одиннадцать человек, и их свели в одну полуподвальную каморку. От Гордиенко из соседнего дома уже протянули телефон. Масленников, как сообщили связные, с остальной частью батальона скоро должен был прийти сюда.

В окнах полуподвала, заваливая их камнями, домашними вещами, чем попало, располагались пулеметчики и автоматчики. За каменной стеной, там, где указал Сабуров, поспешно рыли себе окопы минометчики. О том, чтобы раньше следующей ночи подтащить сюда кухни, нечего было и думать. Сабуров приказал

людям расходовать неприкосновенный запас. Наблюдатель, забравшись высоко на чердак, под обгоревшую крышу, сообщил о продвижении немцев по ближайшим улицам.

Гордиенко сказал по телефону, что у него все в порядке; взял четырех пленных и укрепляется, ожидая дальнейших приказаний. Сабуров ответил, что единственное приказание — укрепляться как можно скорей.

Когда наконец протянули провод от Парфенова, Сабуров взял трубку.

— Лейтенант Григорьев слушает,— послышался молодой тонкий голос.

— А где Парфенов?

— Он не может подойти.

— Почему не может?

— Он ранен.

Сабуров положил трубку. Как раз в эту минуту к нему явился запыхавшийся и счастливый Масленников.

— Вот сюда попали, когда шел,— объявил он торжественно, показывая краешек галифе с дыркой от пули.

Сабуров усмехнулся:

— Если это вас так радует — боюсь, что вы тут часто будете ходить веселым. Привели людей?

— Привел.

— Без потерь, надеюсь.

— Трое раненых.

— Ну, это ничего... А у меня только убитых двадцать один,— шепнул он на ухо Масленникову.— Побудьте тут, я сейчас вернусь.

Взяв с собой Петю, Сабуров прошел по нижнему коридору до правого конца здания, вылез через пролом и, прячась между редкими чахлыми деревьями, перебежал к соседнему дому.

Немцы не сразу заметили его, и над его головой просвистело лишь несколько одиноких пуль.

Он застал Парфенова в той же комнате, где у телефона сидел лейтенант Григорьев. Парфенов лежал на полу. Под голову у него были подложены две полевые сумки — своя и чужая. Он истекал кровью. Большой осколок мины разорвал ему живот, и когда вошел Сабуров, Парфенов только понимающе и грустно посмотрел на него и ничего не сказал.

Сабурову было жалко Парфенова, как всегда особенно жалко бывает людей, погибающих в первой схватке. Этот маленький, худенький человек, прибывший в батальон во время переформирования и до смешного не умевший приказывать и повелевать, сейчас так мужественно и спокойно вел себя, так просто, не жалу-

ись, не говоря ни слова, умирал, что Сабурову невольно захотелось оказаться поближе к нему и сказать что-то самое хорошее. Сабуров сел на корточки и, поправив на лбу Парфенова слипшиеся мокрые волосы, спросил:

— Ну что, как, а, Парфеныч?

Парфенов, видимо, боялся заговорить, потому что тогда ему пришлось бы разжать зубы, а если бы ему пришлось разжать зубы, он закричал бы от боли. Он не ответил, только открыл и снова закрыл глаза, будто сказал:

— Ничего...

Сабуров, видя, как он умирает, не то что подумал, а с полной ясностью представил себе, как этот маленький человек только что, не крича, не говоря ни слова, бежал, наверное, впереди всех. Не наверное, а непременно бежал на немцев, не сгибаясь, первым.

— Ничего, Парфеныч, ничего,— повторил Сабуров бессмысленно ласковые слова и, нагнувшись еще ниже, поцеловал Парфенова в плотно стиснутые губы.

V

После двухчасового затишья с рассветом начался бой, который не прекращался четверо суток. Начался он с бомбежки, долгой и беспощадной. Вместе с «юнкерсами-88» позицию батальона бомбили и «юнкерсы-87» — те самые пикирующие бомбардировщики с воющими бомбами, о которых так много говорили еще во время немецкого вторжения во Францию. На самом деле никаких воющих бомб не было: просто под плоскостями самолетов были устроены приспособления, которые издавали страшный вой, когда «юнкерсы» пикировали. В сущности, это была нехитрая выдумка, повторявшая трещотки и пищалки на воздушных змеях.

К удивлению Сабурова, Конюков, так решительно действовавший ночью, перетрусил во время бомбежки и лежал на земле ничком, как убитый, не поднимая головы.

— Конюков! — окликнул Сабуров, подходя к нему.— Конюков!

Конюков опасливо поднял голову, увидел капитана, неожиданно вскочил, схватил его за плечо и повалил рядом с собой.

— Ложитесь! — закричал он не своим голосом.

Сабуров с трудом оторвал его руку от своего плеча и сел рядом с ним.

— Что «ложитесь»?

— Ложитесь,— повторил Конюков, снова пытаясь вцепиться в него и повалить на землю.

И Сабуров понял, что только въевшаяся в плоть и кровь солдатская дисциплина в соединении с привычкой беречь командира заставила смертельно испуганного Конюкова вскочить с земли для того, чтобы заставить его, Сабурова, лечь рядом с собой.

— Так и будешь лежать все время?

— Как прикажете, товарищ капитан.

— Да что ж прикажу?.. Лежи, терпи, только зачем время терять... Бомбят — приляг, улетели — поднимись...

— Боязно,— товарищ капитан. Вы не думайте,— я обтерплюсь, а то ведь страшно как-то.

Именно эта искренность убедила Сабурова, что Конюков действительно не нынче-завтра обтерпится.

Перед полуднем по телефону позвонил Бабченко.

— Я у тебя не буду,— сказал он,— я в другое хозяйство схожу. К тебе, наверное, хозяин придет, так что смотри...

И он положил трубку.

Хозяином, как водится, в дивизии называли Проценко. «Смотри» означало, что Сабуров должен проявить характер и постараться не пустить хозяина в самые опасные места, куда тот будет лезть.

И в самом деле, вскоре пришел Проценко со своим адъютантом и автоматчиком. После того как Сабуров отрапортовал ему, он, по обыкновению, спросил:

— Как здоровье, Алексей Иванович? — и протянул левую, здоровую руку. Правая после ранения у него все еще не работала, и он во время разговора шевелил пальцами, пробуя этим восстановить кровообращение и заменить предписанный врачами массаж.— Добре, добре,— прохаживаясь, говорил Проценко и оценивающим взглядом окидывал потолок.— Пятьсот килограммов придется фрыцу,— он говорил «фриц» на «ы», с украинским акцентом,— пятьсот килограммов придется фрыцу на тебя потратить, если ты ему не понравишься. А если пятьсот потратить пожалеет, так ничего и не будет.

Проценко облазил с Сабуровым пулеметные точки, потом подошел с ним вместе к каменной стене, за которой отрыли себе окопы и расположились минометчики. Он недовольно посмотрел на мелкие, небрежно вырытые щели и, обращаясь в пространство, как будто не замечая тут же находившихся минометчиков, сказал:

— Как ты думаешь, Алексей Иванович, кто на войне нас убивает? Ты мне скажешь: немец... А я тебе скажу — не только немец, а еще и лень.

Он повернулся к минометчикам и спросил сразу ставшего перед ним навытяжку сержанта:

— Птицу страуса знаешь?

— Так точно.

— А чем он на тебя похож, знаешь? Не знаешь. Так он тем на тебя похож, что так же, как и ты, прячется: голову спрячет, а задница наружу, и думает, что весь спрятался. Ложись! — вдруг пронзительным голосом закричал Проценко.

— Что? — не поняв, переспросил сержант.

— Ложись! Вот я — мина. Ложись в свой окоп, пока живой...

Сержант с размаху бросился в свой маленький окопчик, в котором, как и предсказал Проценко, он весь не уместился.

— Ну вот,— сказал Проценко,— голова, правда, цела, а ползадницы отстрелили. Нету. Встать! — опять резко крикнул он.

Сержант встал, смущенно улыбаясь.

— Отдай приказание,— сказал Проценко Сабурову и, повернувшись, пошел дальше.

Сабуров, задержавшись, приказал отрыть глубокие окопы и бросился догонять Проценко.

У каменной стены лежали двое пулеметчиков. Они постарались спрятаться поглубже за стенку и действительно спрятались так глубоко, что дуло их пулемета глядело чуть ли не в небо. Проценко, подойдя, лег за пулемет, проверил прицел и потом, стряхивая с колен каменную пыль, встал.

— Охотник? — спросил он немолодого рябоватого сержанта, первого номера пулемета.

— Да, случалось, товарищ полковник,— настроившись на душевный разговор с начальством, с готовностью сказал тот.

— Вот я и вижу, что ты охотник,— сказал Проценко.— Уток тут бить собираешься, пулемет в небо уставил... Хорошо уставил, как раз на взлете их бить,— мечтательно и в то же время иронически добавил он.— Жаль только, что немцы все больше по земле ходят, а то бы, ничего не скажешь, хорошо устроился...

И он, повернувшись, все той же неторопливой походкой пошел дальше. Первый номер проводил его смущенным взглядом и набросился на второго номера.

— Я же тебе говорил: куда дуло глядит — в небо... Куда пулемет поставил, а?

— Да вы что ж,— растерянно оправдывался второй номер.— Я же, как вы...

— Мало ли что я. А ты, как второй номер, должен вместе со мной позицию выбирать...

Окончания их спора Сабуров не расслышал. Проценко шел дальше и, все пошевеливая пальцами раненой руки так, словно барабанил по воздуху какую-то мелодию, говорил, не обращаясь к Сабурову, опять в пространство, что было у него признаком дурного настроения:

— Командир дивизии устанавливает, куда пулемет должен глядеть — в небо или на землю... Очень хорошо. Для этого его в Академии генерального штаба учили... И когда вы у меня краснеть научитесь? — резко повернувшись, крикнул он Сабурову.— Когда я вас краснеть научу?

Сабуров молчал. Полковник был прав, и, даже если бы позволял устав, возразить было нечего.

— Вот когда у нас командиры дивизий перестанут пулеметы устанавливать и когда вы у меня краснеть научитесь, вот тогда мы выиграем войну, а раньше ни за что не выиграем,— так ты и знай...

Только что успели они оба вернуться в штабной подвал, как немцы начали перед атакой артиллерийскую и минометную подготовку.

— В общем, зацепился ты ничего, зацепился так, что удержишь,— заключил Проценко, наклонив немного голову набок и прислушиваясь к разрывам.— Удержишься, но людей учить надо... День и ночь надо учить... Потому что если ты его сегодня не научишь, то завтра его убьют, и не просто убьют,— просто убьют, ну и что же, на то и война,— а задаром убьют, вот что печально. Где у тебя наблюдательный пункт?

— На четвертом этаже под крышей.

— Ну-ка, слазай, как там... А тут скажи, чтоб мне пока закусить чего-нибудь дали.

Сабуров на ходу шепнул Пете, чтобы тот накормил полковника, и полез на четвертый этаж. Оттуда, из широкого трехстворчатого окна, выходившего на обгорелый балкон, было видно почти все происходящее впереди. На соседней улице от дома к дому, от палисадника к палисаднику перебегали немцы. Снаряды вздымали столбы земли у самого дома, иные из них с грохотом попадали в стены, и тогда весь дом содрогался, словно его качало большой волной.

Сабуров заметил, что больше всего мелькания и суеты у немцев было против правого дома — там, где теперь сидел вместо убитого Парфенова Масленников. Сабуров сбежал по лестнице в подвал и позвонил по телефону сначала Масленникову, а потом Гордиенко, предупреждая их о готовящейся атаке. Оба они ответили, что наблюдают сами и к бою готовы.

Проценко, без крайней нужды не любивший вмешиваться в распоряжения своих подчиненных, сидел в подвале и спокойно грыз черный сухарь, положив на него кусок сухой колбасы. Когда под гул все продолжавшихся минных разрывов началась немецкая атака, Проценко, несмотря на уговоры Сабурова, сам поднялся с ним на наблюдательный пункт. Там они стояли примерно

час. Сабуров нервничал, ему хотелось увести Проценко куда-нибудь вниз. Когда тяжелый снаряд, пробив стену, разорвался в соседней комнате и оттуда через пролом посыпались куски кирпича и штукатурка, он дернул полковника за руку и хотел стащить вниз. Но Проценко освободил руку, посмотрел на него и вместо полагающегося в таких случаях начальнического окрика сказал только:

— Сколько мы с тобой воюем? Второй год? Так что ж ты меня за руку тянешь?..— и, считая разговор законченным, сняв фуражку, стал щелчками аккуратно сбивать с нее известковую пыль.

Когда немцы отступили после первой неудачной атаки и Сабуров с Проценко стали спускаться с наблюдательного пункта, запоздалый снаряд угодил как раз в лестничную клетку на этаж ниже их. Взрывом был начисто выдран целый пролет лестницы, и им пришлось спускаться, цепляясь за вывернутые балки и остатки перил.

— Понимаешь теперь, что нельзя начальство торопить? — язвил Проценко.— Поторопил бы, как раз и подставил бы меня под эту дулю. Тебе что Бабченко говорил: «Хозяин будет, имей в виду...» — вдруг смешно скопировал он Бабченко.— А ты меня под дулю чуть не подвел...

Проценко ушел от Сабурова в час затишья, между первой и второй атаками немцев.

— Ничего, бувай здоровенький,— сказал он Сабурову на прощанье. И добавил конфиденциально: — Вот когда научусь лучше воевать, то в батальоны ходить перестану, пусть командиры полков ходят, а я только до штаба полка ходить стану... Но к тебе по старому знакомству буду заглядывать. Кто вместе под Воронежом был, то все равно что вместе детей крестили. Как к куму заходить буду.

Он повернулся и вышел, как всегда немножко прихрамывая и барабаня по воздуху пальцами.

Перед вечером немцы еще раз пошли в атаку, но были отбиты. Когда начало темнеть, Петя принес Сабурову котелок вареной картошки.

— Где достал? — удивился Сабуров.

— Здесь, поблизости,— сказал Петя.

— А где же все-таки?

— Да так, поблизости,— скрытничая, повторил Петя.

Пока Сабуров, которому хотелось есть и некогда было объясняться, уплетал за обе щеки картошку, Петя стоял над ним в позе матери.

— А где же ты все-таки ее добыл? — уже сытым, разморенным голосом спросил Сабуров.

На лице Пети изобразилась душевная борьба. С одной стороны, нужно было ответить на вопрос, с другой стороны, ему хотелось удержать перед капитаном в тайне вновь открытую им базу снабжения. Сабуров посмотрел на его каменное лицо и улыбнулся.

Петя отличался храбростью, заботливостью и веселым нравом — тремя главными качествами, которых можно пожелать в ординарце. До войны он работал агентом по снабжению на одном из московских заводов. Эту работу он полюбил еще во времена первой пятилетки. Достать неведомо как, неведомо где то, чего никто не мог достать,— в этом была для него особая прелесть. Он доставал двутавровые балки в Ялте, виноград в Костроме и строевой лес в Каракумах. Он делал заведомо невозможное, и это его привлекало. Он ничего не искал и не устраивал лично для себя, но для того, чтобы достать материалы, нужные заводу, на котором он работал, он был готов на все. Его ненавидели конкуренты и ценили начальники. На войне, попав ординарцем к Сабурову, он, кроме храбрости перед лицом неприятеля, обнаружил неимоверное мужество перед лицом всяческих трудностей военного снабжения. Когда в батальоне нечего было есть, Сабуров отправлял на поиски еды Петю, и Петя всегда что-нибудь находил... Когда нечего было курить, Петя находил и курево. Когда нечего было пить, Петя всегда отыскивал хоть небольшую толику водки, и так быстро, что Сабуров подозревал, что у него имеется тайный неприкосновенный запас.

У Пети был только один недостаток: даже когда он не совершал ничего незаконного, он все равно любил покрывать свои успехи дымкой таинственности и очень огорчался, когда Сабуров или кто-нибудь другой задавали ему вопросы.

— Так где же ты все-таки достал? — повторил Сабуров, и Петя, чувствуя, что ему не отвертеться, решил признаться.

— Здесь,— ответил он.— Там во дворе флигелек, под флигельком подвал, а в этом подвале гражданка...

— Какая гражданка? — поднял брови Сабуров.

— Сталинградская гражданка, здесь и жила во флигельке. Муж убитый. С троими детьми в подвал залезла и сидит... У нее там всего — картошки, морковки и прочего... чтоб с голоду не помереть. И даже коза у нее в подвале, только, говорит, от темноты доиться перестала. Я говорю: «Командир мой картошку уважает». Она без звука котелок наварила, говорит: «Когда нужно, пожалуйста», и даже сала дала... Вот вы ж не замечаете, а между прочим, с салом картошку кушаете,— с огорчением добавил Петя.

Сабуров, удивленный тем, что среди этих развалин вдруг оказалась женщина с детьми, быстро поднялся, нахлобучил фуражку и обратился к Пете:

— Веди, где она?

Они пошли коридорами, пригнувшись, пробежали простреливаемое место до флигелька, и там действительно среди развалившихся стен Сабуров увидел обложенное камнями и досками подобие двери. По самодельной лестнице из нескольких ступенек они спустились вниз. Это был большой подвал, видимо во время войны еще расширенный. Поставленная на прикрытую досками бочку, в углу горела коптилка.

Около бочки на корточках сидела еще не старая, с измученным лицом женщина и укачивала ребенка. Две девочки, на вид лет восьми и десяти, сидели рядом с ней и остановившимися от любопытства глазами смотрели на вошедших.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— ответила женщина.

— Почему вы здесь остались? — спросил Сабуров.

— А куда же нам идти?

— Да ведь здесь были немцы?

— А мы сверху завалились всем,— спокойно пояснила женщина,— так что и не видно.

— Завалились... Так задохнуться можно было.

— А все равно, если немцы...

— Сегодня уже поздно,— сказал Сабуров.— Завтра подумаю, как вас отправить отсюда.

— А я не пойду.

— Как не пойдете?

— Не пойду,— упрямо повторила она.— Куда я пойду?

— На ту сторону, за Волгу.

— Не пойду. С ними? — указала женщина рукой на детей.— Одна бы пошла, с ними не пойду. Сама жива буду, а их поморю, помрут там, за Волгой. Помрут,— убежденно повторила женщина.

— А здесь?

— Не знаю. Снесла сюда все, что было. Может, на месяц, может, на два хватит, а там, может, вы немца отобьете. А если идти — помрут.

— Ну, а вдруг бомба или снаряд, об этом вы подумали? — сказал Сабуров, уже не пытаясь ее убедить, но все еще будучи не в состоянии примириться с мыслью, что здесь, рядом с ними и его солдатами, продолжает жить женщина с тремя детьми.

— Что ж,— спокойно отвечала женщина,— попадет, так уж всех сразу — и меня и их, один конец.

Сабуров не знал, что ей сказать. Наступило долгое молчание.

— А если что сготовить, так я сготовлю, кушайте. У меня картошки много... Пусть он скажет, если надо,— кивнула она на

Петю.— Я и щи сварю, только без мяса. А то козу зарежу,— после паузы добавила она.— Зарежу, тогда можно и с мясом.

Она почувствовала по глазам Сабурова, что он понял ее и не будет настаивать, чтобы она ушла, и если она сейчас говорила о том, что сготовит и сварит, то не ради того, чтобы ее оставили здесь и не трогали, а просто по исконной жалостливости русской женщины. Надо им сготовить, этим солдатам (в чинах она не разбиралась), покуда они здесь, хотя бы щей, а уж коли щи варить, то и козу не жалко зарезать,— на что она теперь, коза? Все равно не доится.

Сабуров вышел на воздух и, посмотрев на развалины, еще раз подумал так же, как тогда, в Эльтоне: «Куда загнали, а?» Впереди были немцы. Он оглянулся на свой изрешеченный, избитый осколками дом.

«А вот это мы...»

И он спокойно подумал, что никуда не уйдет из этого дома.

Ночь прошла в беспрерывной перестрелке.

С рассветом немцы пошли в третью атаку. Им не удалось продвинуться прямо против домов, которые занимал Сабуров, но справа и слева от него они прорвались по окраинам площади. В девять часов утра он услышал по телефону, как всегда, глуховатый, ворчливый голос Бабченко:

— Ну, как там, держишься?

— Держусь.

— Держись, держись. Я скоро к тебе сам приду.

Эти слова были последними, услышанными им по телефону. Через минуту связь оборвалась, и хотя он не любил ни самого Бабченко, ни его ворчливого голоса, но все следующие трое суток, когда не было никакой связи ни с кем, он все вспоминал эти слова, и они помогали ему верить, что он не один, что еще будет и телефон, и Бабченко, и дивизия, и все вообще.

Связь была оборвана. Бабченко, конечно, к нему не дошел, немцы заняли сзади всю площадь и дома кругом нее, и Сабуров вместе со всем батальоном попал в обстановку, которая в бесконечно разнообразных ее видах на войне называется общим словом «окружение». Ему предстояло сидеть здесь, не пускать сюда немцев и ждать — либо того, что к нему прорвутся и помогут, либо того, что у них выйдут последние мины и последние патроны и им останется умереть. И хотя иногда он сам склонен был думать, что случится второе и что мины и патроны у них кончатся раньше, чем придут на помощь свои, но всем, кто был вокруг него,— и командирам и бойцам,— он старался внушить обратное. И так как они знали только то, сколько у них у самих патронов в подсумке и мин в ящике, им казалось, что у него, у капитана, есть еще запас. А он

знал, что этого запаса нет и не будет. И от этого ему было труднее, чем всем остальным.

Он учил стрелять наверняка, только наверняка. Он отобрал патроны у большинства бойцов, скопив их только у отличных стрелков. У остальных он оставил лишь гранаты на случай боя с прорвавшимися немцами уже в самом доме. До этого за трое суток доходило только дважды,— немцев удалось отразить оба раза. У стены, на дворе, прямо перед выбитыми окнами дома, лежали в разных позах мертвые немцы. Их никто не убирал — не было ни времени, ни сил, ни желания...

На третий день в подвале, где расположился Сабуров, разорвался пробивший стену снаряд. По странной случайности никого не убило: Петя вышел, а Сабуров, который на минуту прилег на койку, от удара только свалился с нее и, поднявшись, заметил, что вся стена над его головой была словно в кровавых пятнах,— это отбитая в сотне мест штукатурка обнажила кирпичи.

Пришлось перебраться в чудом сохранившуюся квартиру первого этажа, куда еще два дня назад просил его перебраться Петя. То, что квартира сохранилась среди общего разгрома, внушало суеверную мысль, что, быть может, в нее так и не попадет ни один снаряд.

На четвертый день, когда все тряслось и дрожало от артиллерийской канонады, в комнату тихо вошла женщина и поставила на стол глиняную миску.

— Вот щи сварила, попробуйте,— сказала женщина.

— Спасибо.

— Если понравятся, еще принесу.

Сабуров посмотрел на нее и ничего не ответил. Все это было странно, почти невероятно,— блиндаж с тремя детьми, женщина, сварившая щи... И в то же время было в этом неимоверное спокойствие — то самое, с которым бронебойщик, борясь за свое противотанковое ружье, вместо того чтобы бросить и примять сапогом цигарку, кладет ее в окопе на земляную полочку, с тем чтобы докурить потом, когда кончится... Что-то такое же было и в этой женщине, в том, как она пришла...

— Спасибо, спасибо,— повторил Сабуров, видя, что она продолжает молча стоять, и, вдруг поняв, чего она ждет, вытащил из-за голенища ложку.

— Хорошие щи, вкусные,— похвалил он,— очень вкусные... Вы идите, а то сейчас опять стрелять начнут.

Ночью, воспользовавшись темнотой, к Сабурову добрался Масленников, и Сабуров с трудом узнал его — таким тот был небритым и вдруг странно повзрослевшим. Глядя на Масленникова, Сабуров подумал, что, наверное, он и сам переменился за эти дни.

Он очень устал, не столько от постоянного чувства опасности, сколько от той ответственности, которая легла на его плечи. Он не знал, что происходило южнее и севернее, хотя, судя по канонаде, кругом повсюду шел бой,— но одно он твердо знал и еще тверже чувствовал: эти три дома, разломанные окна, разбитые квартиры, он, его солдаты, убитые и живые, женщина с тремя детьми в подвале — все это вместе взятое была Россия, и он, Сабуров, защищал ее. Если он умрет или сдастся, то этот кусочек перестанет быть Россией и станет немецкой землей, а этого он не мог себе представить.

Всю четвертую, последнюю, ночь слева и справа гремела отчаянная канонада. На двор и прямо в дома залетали снаряды, и немецкие и наши, и к утру наши, пожалуй, даже чаще, чем немецкие. Сабуров сначала не верил, потом верил, потом опять не верил и только уже к рассвету подумал, что иначе не может быть и что к нему пробиваются свои.

С рассветом во двор левого крайнего дома ворвались наши автоматчики, потные, грязные, яростные. Они гнались за немцами, им казалось, что и здесь тоже немцы. Было трудно, почти невозможно удержать их и не дать им бежать дальше по этим коридорам и подвалам дома в поисках немцев.

Одним из первых, кого увидел и обнял Сабуров, был Бабченко, такой надоедный, грубый и придирчивый, такой усталый, обросший, долгожданный Бабченко, с повешенным на шею автоматом, с руками и коленками, измазанными в грязи и известке.

— Я ж тебе обещал по телефону, что скоро приду,— сказал, почти крикнул Бабченко.

Все еще непривычно улыбаясь, Бабченко два раза пересек комнату, сел за стол и наконец, вернув своему лицу обычное скучное и недовольное выражение, спросил прежним своим тоном:

— Сколько потерь?

— Пятьдесят три убитых, сто сорок пять раненых,— ответил Сабуров.

— Не бережешь людей,— сказал Бабченко,— не бережешь, мало бережешь. А так ничего, держался хорошо. Скажи, чтобы мне воды дали.

Сабуров повернулся к Пете и сказал насчет воды, но когда он обернулся снова, то оказалось, что вода подполковнику уже не нужна: привалившись на край стола и уронив голову на неловко торчавший из-под руки диск автомата, он спал. Наверное, он не спал все эти дни, так же как и Сабуров. Сабуров подумал об этом и вдруг, вспомнив о себе и обо всех этих четырех днях, почувство-

Впрочем, как ни горько вспоминать ошибки прошлого, Сабуров невольно подумал, что перед войной слишком многие взрослые люди были недалеки от такого именно представления о ней.

Война... Последнее время он, вспоминая свою жизнь, невольно приводил ее всю к этому единственному знаменателю и задним числом делил свои довоенные жизненные поступки на плохие и хорошие не вообще, а применительно к войне. Одни житейские привычки и склонности сейчас, когда он воевал, мешали ему, другие — помогали. Вторых было больше, должно быть потому, что люди, подобно ему начавшие самостоятельную жизнь в годы первой пятилетки, прошли такую тяжелую школу жизни, полную самоотверженности и самоограничений, что война, если исключить постоянную возможность смерти, не могла поразить их своими повседневными тяготами.

Так же как и многие его сверстники, Сабуров начал работать мальчишкой, метался со строительства на строительство, несколько раз принимался учиться и опять, сначала по комсомольским, а потом по партийным мобилизациям, не доучившись, уезжал работать. Когда подошел его срок, он два года прослужил на действительной в армии, приехал оттуда младшим лейтенантом и, возвратясь к своей профессии строительного прораба, снова стал дневать и ночевать в котлованах и на лесах Магнитогорска.

Годы пятилеток увлекли его, как и многих других, своей строительной горячкой и, спутав все карты, толкнули совсем не к той профессии, о которой он мечтал с детства. И все-таки, как и многие другие, он в конце концов нашел в себе силы отказаться от привычной работы, заработка, быта и уже далеко не мальчиком сменить все это на студенческую скамью и койку в общежитии.

За год до войны он приехал в Москву и поступил на исторический факультет. В июне 1941 года сдал свои первые университетские экзамены, а через несколько дней услышал речь Молотова. Случилось то, чего все ждали и во что где-то в глубине души все-таки до конца не верили. Началась война, которая через год и три месяца привела его, человека, когда-то хотевшего стать учителем истории, три раза выходившего из окружения, два раза награжденного и пять раз раненного и контуженного, сюда, в Сталинград. Привела в эту комнату, которая, быть может, и могла на минуту напомнить ему о мире, если бы на украшенной домашними вышивками плюшевой спинке дивана не висел автомат.

Было далеко за полночь. Сабуров, рассеянно слушавший рассказы Масленникова о его жизни и невольно вспоминавший свою, медленно свернул самокрутку, вложил в мундштук и закурил. Масленников, замолкнув, неподвижно сидел против него. Так они сидели оба и молчали, может быть пять, может быть десять минут.

Потом Масленников опять заговорил, на этот раз о любви. Сначала он с мальчишеской серьезностью рассказывал о своих школьных увлечениях, потом заговорил о любви вообще и кончил тем, что неожиданно спросил у Сабурова:

— Ну, а у вас любовь?

— Что любовь?

— Любви разве у вас не было?

— Любви? — Сабуров затянулся и закрыл глаза. Любви... разве в самом деле не было у него любви?

Он вспомнил нескольких женщин, которые мимоходом прошли через его жизнь так же, как, очевидно, он прошел мимоходом через их жизнь. В этом отношении они, наверное, были квиты: он ни в ком не разочаровался и никого не обидел. Может быть, это было нехорошо, кто знает. Пожалуй, скорее всего, это выходило так — легко и коротко — не потому, что ему не хотелось любви, а именно потому, что слишком хотелось ее. И те, с кем выпало ему встретиться, и то, как это вышло, было так непохоже на любовь, как он ее представлял себе, что он и не старался сделать это похожим на нее. Впрочем, во всех этих подробностях можно было признаться только самому себе, и когда Масленников после долгого молчания переспросил: «Неужели не было любви?» — он сказал: «Не знаю, не знаю, должно быть, не было...»

Он встал с дивана и несколько раз пересек комнату.

«Нет, не может быть, чтобы ее не было,— подумал он,— вернее, может быть, что ее не было, но не может быть, что ее не будет».

И вдруг вспомнил слова девушки на пароходе, что она больше боится смерти оттого, что у нее не было любви, а он не должен бояться, потому что он взрослый и у него, наверное, уже все было.

«Нет, не все,— подумал он.— Не все. Боже мой, как много и как мало все-таки всего было и как, наверное, скучно и невозможно жить человеку, которому хоть на минуту покажется, что у него уже все было...»

Он еще раз пересек комнату и, подойдя вплотную к Масленникову, положил руку на его плечо.

— Слушай, Миша,— сказал он, не столько собираясь ответить ему, сколько отвечая своим собственным мыслям.— Слушай, Миша. Нам с тобой никак нельзя умирать. Ну никак, просто никак...

— Почему?

— Не знаю. Знаю только, что нельзя.

Вошедший связной сказал только одно слово: «Атакуют». Сабуров сел на диван, наспех подвернул портянки, натянул сапоги и

сразу же, привычным жестом попадая в рукава, надел поверх гимнастерки шинель.

— Вот поспать и не успели,— сказал он Масленникову, застегивая ремень.

И Масленников почувствовал в словах капитана грустную и добрую иронию надо всем, что только что вспоминалось и что все-таки так мало значило сейчас перед одним коротким, но сразу заполнившим всю их жизнь словом: «атакуют».

VII

Сабуров, вернувшийся к себе после того, как известие о немецкой атаке на этот раз оказалось ложной тревогой, так и не лег. Было пять часов утра — самый тихий час суток. Сабуров подошел к выломанной и занавешенной плащ-палаткой двери в коридор. Он хотел позвать Петю, чтобы тот приготовил чего-нибудь поесть. Откинув плащ-палатку, он остановился. Не замечая его, Петя и дежурный связист сидели рядом на полу и разговаривали.

— Спрашиваешь, когда эта война кончится? — говорил Петя.— Как немца добьем, так и кончится, а когда добьем — кто его знает...

— Ох, и далеко ж их гнать...— Связной пустил дым колечками и посмотрел в потолок.— Далеко,— добавил он с выражением полной уверенности, что это именно так и будет. Видимо, его огорчало только расстояние до границы.

Не желая, чтоб вышло, что он невольно подслушал их разговор, Сабуров опустил плащ-палатку, вернулся, сел за стол и громко крикнул Петю. Петя немедленно появился в дверях.

— Что-нибудь позавтракать сообрази.

— Есть сообразить,— отозвался Петя, и за плащ-палаткой стало слышно, как он возится, погромыхивая котелками и консервными банками.

— Как раненые у нас? Все наконец вывезены? — спросил после молчания Сабуров у Масленникова.

— Вечером оставалось еще восемнадцать человек,— сказал Масленников.— Бомбежка,— не осколком, так камнем, не камнем, так стеклом.

— Да, в открытом поле лучше,— согласился Сабуров.

Он досадливо поморщился, и на его лице появилось злое выражение.

— А ведь, между прочим, вокруг Сталинграда обвод был,— заметил он.

— Я знаю, мне говорили...

— Там километрах в пятнадцати от города и рвов накопано, и окопов, и дзотов, и бетонных колпаков наставлено. Масса народу, говорят, день и ночь работало, а драться там так и не дрались.

— А почему?

— Если бы ты знал, Миша,— с грустью сказал Сабуров,— сколько я за год войны видел зря нарытых окопов и рвов. Миллионы кубометров земли от самой границы и досюда зря вырыты. А почему? Потому что часто выроем позади себя линию, а войска не сажаем туда заранее, ни орудий не ставим, ни пулеметов — ничего. По старинке думаем: отойдем и займем, а немцы — раз! — и обошли и раньше нас там оказались... А окоп без человека — мертвое дело... Так и идут эти укрепления сплошь и рядом коту под хвост. А мы потом дойдем до города, упремся в него спиной, выроем новые окопы не за три месяца, а за три дня, как попало, и в них деремся до конца, до смерти. Тяжело и обидно... Да, так, значит, восемнадцать раненых к вечеру осталось,— вернулся он к первоначальной теме разговора.— Ну-ка, справься, как, их теперь уже вывезли или нет.

Масленников вышел. Сабуров достал нож и поправил им фитиль в самодельной лампе «катюше». Лампа представляла собой гильзу от 76-миллиметрового снаряда, наверху она была сплюснута, внутрь был просунут фитиль, а немножко выше середины была прорезана дырка, заткнутая пробкой,— через нее заливали керосин или, за неимением его, бензин с солью.

Поправив фитиль, Сабуров несколько раз лениво ткнул вилкой в только что принесенную Петей сковородку с поджаренными мясными консервами. Есть не хотелось. С чего бы это? Впрочем, может, оттого, что всего шестой час утра,— в сущности говоря, не обеденное время. Часы путались. Сабурову захотелось выйти на воздух. Он уже накинул на плечи шинель, когда вернулся Масленников.

— Всех за ночь вывезли. А знаете, кто за ранеными приехал? — сказал Масленников.— Та девушка, которую вы из воды вытащили, она приехала.

— Ну? — удивился Сабуров.

— Она их, оказывается, все время вывозила, только я ее не видел. Я ее сюда привел. Пусть отдохнет, посидит,— тихо добавил Масленников.

— Пусть, конечно, конечно,— неожиданно вспомнив о том, что он здесь хозяин и что среди прочих обязанностей у него есть еще и обязанность гостеприимства, сказал Сабуров. Масленников вышел в коридор и громко крикнул:

— Аня! Аня, где вы?

Девушка вошла и робко остановилась на пороге. Сабурову показалось, что она за эти восемь дней как будто еще похудела.

— Садитесь, садитесь,— засуетился Сабуров. Стараясь быть гостеприимным, он делал все особенно неловко. Вместо того чтобы просто подвинуть табуретку, он поднял ее и опустил на пол с таким треском, что девушка вздрогнула.

— Как вы живете? — ни к селу ни к городу спросил Сабуров.

— Ничего,— ответила девушка и, улыбнувшись, села.— А вы?

— Тоже ничего.

— Что ничего? Прекрасно,— бодро подхватил Масленников.— Прекрасно живем. Вот видите, как у нас...— Он гордо развел руками, как будто все окружающее действительно свидетельствовало об их прекрасной и комфортабельной жизни.

— Значит, это вы у нас вывозили раненых? — спросил Сабуров.

— Первый день не я, а эти три дня я...

— Всего сто восемь человек вывезено?

— Да. С теми, что в первый день. А я девяносто.

— Никого на переправе не выкупали?

— Нет,— и она улыбнулась, очевидно при воспоминании о том, как выкупалась сама,— никого... Только вечером с самолета нас обстреляли на плоту. Четверых убили.

— Моих?

— Нет, не ваших.

— Вы тогда так исчезли...

— Да, я забыла вас поблагодарить.

— Я не к тому.

— Я знаю. Ну, все равно, спасибо.

— Вы когда обратно? — спросил Сабуров.

— Придется до вечера ждать. Я опоздала, сейчас уже светло.

— Да, когда светло, от нас в тыл не проберешься, это верно. Ничего, вы отдохните тут.

— Да, я сейчас пойду отдохну, там мои санитары уже легли, они две ночи не спали,— сказала девушка, приподнимаясь.

— Нет, куда вы, куда вы? Вы тут отдохните. Мы сейчас уйдем с лейтенантом, а вы лягте тут и отдохните.

— А я вам не помешаю?

По тому, как это было сказано, Сабуров почувствовал, что она безумно устала и что койка, на которую она могла лечь и укрыться, представлялась ей почти чудом.

— Нет, что вы,— успокоил он.

— Тогда хорошо, я отдохну,— просто сказала девушка.

— Только вы сначала покушайте.

— Хорошо, спасибо.

— Петя,— крикнул Сабуров,— принеси что-нибудь покушать!..

— Так вот же,— показал, появляясь, Петя,— стоит у вас, товарищ капитан, сковородка.

— Ах, верно...— Сабуров пододвинул сковородку девушке.

— А вы?

— Мы тоже.

Сабуров отвинтил пробку лежавшей на столе немецкой фляги и налил себе и Масленникову в снарядные головки, или, как их называли между собой, «фугасники». Они последнее время все чаще заменяли стопки и стаканы.

— Вы пьете? — спросил он.

— Когда устану, пью,— сказала она,— только половину...

Он налил ей, и она выпила вместе с ними, спокойно, не морщась, как послушный ребенок пьет лекарство.

— А вы песни не поете? — ни с того ни с сего спросил Масленников.

— Пела когда-то под гитару.

— А гитара, наверное, дома у кровати висит, с бантом? — не унимался Масленников.

— С бантом,— подтвердила девушка.— Только теперь ее нет... Я ведь здешняя,— добавила она.

Это слово «здешняя» было понятно всем троим в одном, определенном смысле: раз здешняя, значит, все сгорело и ничего больше нет...

— Ну, не перестали еще бояться? Помните наш разговор?

— А я никогда не перестану. Я ведь вам сказала, почему я боюсь, так отчего же я могу перестать? Я не перестану... Я думала, что уже вас не встречу,— помолчав, добавила она.

— А я, наоборот,— сказал Сабуров,— был уверен, что вас встречу когда-нибудь.

— Почему?

— Я замечал, как-то так выходит, что на войне редко встречаешься с людьми по одному разу. Вы где жили, далеко отсюда?

— Нет, не далеко. Если по этой улице идти направо, то третий квартал...

— Значит, теперь уже у немцев?

— Да.

— Аня, Аня...— вдруг припоминая, произнес Сабуров.— А вы знаете, Аня, я вас сейчас, может быть, совсем удивлю. А впрочем, не знаю, может быть, и нет.

Он еще не был уверен, удивит ли ее в самом деле, но ему почему-то показалось, что если случилось одно совпадение и именно

эта девушка, которую он вытащил из воды, вывозит теперь от него раненых, то почему бы не случиться и другому совпадению.

— Чем удивите?

— Ваша фамилия Клименко? — спросил Сабуров.

— Да.

— Наверное, удивлю и даже обрадую. Я видел вашу мать.

— Маму? Где?

— На том берегу, в Эльтоне,— сказал Сабуров.— И отец ваш где-то здесь в городе, да?

— Да,— ответила Аня.

— Я видел вашу мать в Эльтоне девять дней назад, как раз в то утро, когда мы вместе с вами Волгу переплывали. Только тогда я не знал вашего имени и потому не сказал.

— Что она, что с ней? — торопливо спросила Аня.

— Ничего, она пришла пешком в Эльтон, и я с ней разговаривал. Она сказала, что ее разлучила с вами бомбежка.

— Да, она была дома, а я нет. Как она?

— Хорошо,— солгал Сабуров.— Дошла до Эльтона.

— Где вы ее видели? Как узнать, где она?

— Не знаю. Я ее видел в Эльтоне, просто на улице. По-моему, она в тот день только что пришла туда.

— Ну, какая она, какая? — расспрашивала Аня.— Очень замученная?

— Немножко...

— Главное, что живая.

— Вот и она мне о вас что-то вроде этого сказала: «Главное, чтобы живая»,— улыбнулся Сабуров.

— Это в самом деле сейчас главное.

Девушка положила руки на стол и опустила на них голову. Ей хотелось еще и еще расспрашивать Сабурова о матери, но что еще мог добавить он, видевший мать каких-нибудь две минуты.

— Вы ложитесь,— предложил Сабуров.— Ложитесь на мой диван. Я сейчас ухожу и до вечера не буду. Я вас разбужу, когда вам надо будет идти.

— Я сама проснусь,— уверенно сказала она, потом, подойдя к дивану, села на него и, по-детски раскачавшись на пружинах, с удивлением заметила: — Ой, мягко, я давно на таком не спала.

— У нас тут еще не то будет,— сказал Масленников.— Я еще два кожаных кресла приглядел среди развалин, немножко починить, и будет как в салон-вагоне.

— А гитары среди ваших развалин нет?

— Нет.

— Жаль. Я бы вам сыграла.

— Ничего, вы же к нам не последний раз...

— Наверное, не последний...

— Так я еще найду гитару. Разрешите идти в первую роту? — сказал Масленников, старательно, более чем обычно, вытягиваясь перед Сабуровым.

— Идите. Я тоже скоро к вам приду.

Масленников вышел.

— Он кто у вас? — спросила девушка.

— Начальник штаба.

— Он у вас тоже хороший.

— Почему тоже?

— Тоже, как вы,— сказала она.— То есть не совсем, как вы, он, как я... то есть я не то — не хороший, как я... а я...— Она запуталась, смутилась, потом улыбнулась.— Я хочу сказать, что он, как я, тоже еще молодой совсем, а вы уже взрослый,— вот что я хотела сказать.

— Вы уже меня вовсе в старики записали,— покачал головой Сабуров.

— Нет, почему в старики? — серьезно сказала она.— Я просто вижу, что вы взрослый, а мы еще нет. Вы уже, наверное, много пережили в жизни, ведь верно?

— Не знаю, может быть... Пожалуй, да...— нерешительно согласился Сабуров.

— А я — нет. Мне даже и вспоминать почти нечего. Только иногда Сталинград вспоминаю, какой он был. Вы никогда раньше не бывали в нем?

— Нет.

— Он был очень красивый. Я знаю — наверное, Москва красивее, но мне почему-то всегда казалось, что он самый красивый. Может, оттого, что я тут родилась. Очень жалко,— вдруг с силой сказала она,— очень жалко... Так жалко, вы представить себе не можете. Мама не плакала, когда с вами говорила?

— Нет.

— Она знаете какая... Она, если что-нибудь, пустяк какой-нибудь — тарелку разобьет,— заплачет, а когда что-нибудь в самом деле страшное, она не плачет, молчит, даже ничего не говорит.

— А как ваш отец?

— Не знаю. Он на ту сторону не ушел. Он мне сказал: «Я не уйду из Сталинграда». Он и не ушел, я знаю. Они у меня оба хорошие. Когда я домой пришла и сказала, что ухожу в армию, а у нас только три дня как Миша — старший брат — погиб, я думала, что они спорить будут... А они ничего, сказали: «Иди». И все... Хорошо, все понимают,— добавила она с детской непосредственно-

стью представления о родителях, как о людях, обычно не понимающих самых простых вещей.

— Хорошо, что я вас увидела сегодня, а то я ваших раненых вывозила, они в разговоре все говорят: Сабуров, Сабуров, а я не знала, что Сабуров — это вы, а мне вас хотелось увидеть, поблагодарить. Мы тогда с вами ехали на пароходе, я вам разные вещи говорила, у меня тогда такое настроение было все рассказать, и мне потом казалось, что, если я вас вдруг еще увижу, мне опять захочется вам рассказать.

— Что?

— Не знаю, что... все вообще... Вот не попали бы вы сюда к нам, в Сталинград, мы бы с вами никогда не увиделись.

— Почему? Вы же хотели учиться?

— Да.

— Поехали бы в Москву?

— Да.

— Поступили бы учиться в университет, а я бы там как раз преподавателем был.

— Вы разве до войны преподавали?

— Нет, учился, но должен был преподавать.

— Вот бы не подумала. Мне казалось, что вы всю жизнь в армии...

Как всякому человеку, пришедшему из запаса, Сабурову была приятна эта ошибка.

— Почему вы так подумали? — спросил он с интересом.

— Так. Вы такой, как будто всегда в армии были,— такой у вас вид...— И она, прикрыв рот рукой, зевнула.

— Ложитесь,— сказал он,— спите.

Она потянулась и легла. Сабуров снял с гвоздя свою шинель и укрыл девушку.

— А вы в чем пойдете? — спросила она.

— Я днем без шинели хожу.

— Неправда.

— Нет, правда, я всегда правду говорю. Так и запомните на будущее знакомство.

— Хорошо,— согласилась она.— Сколько вам лет?

— Двадцать девять.

— Правда?

— Я же сказал вам.

— Ну да, конечно,— она с недоверием посмотрела на него,— конечно, правда, но только не похоже.

Она закрыла глаза, потом снова открыла их.

— Я, знаете, так устала, ужасно устала... я так все ходила, ходила последние два дня, а сама думаю, вот бы лечь и заснуть...

— Вот и спите.
— Сейчас... У вас дети есть?
— Нет.
— И жены нет?
— Нет.
— Правда?
Сабуров рассмеялся.
— Мы же договорились.
— Нет, я вам верю,— сказала она.— Это я потому, что когда на фронте с нами, с девушками, болтают, то все как будто сговорились — уверяют, что у них жен нет, и смеются... Вот и вы смеетесь, видите...
— Я смеюсь, но это все-таки правда.
— А чего же вы смеетесь?
— Вы смешно спросили.
— Почему смешно? Мне интересно, вот я и спросила,— сказала она совсем сонным голосом и закрыла глаза.
Сабуров с минуту постоял, глядя на нее, потом подсел к столу, пошарил по карманам — кисет с табаком куда-то запропастился. Он полез в полевую сумку. Там, между карт и блокнотов, к его удивлению, оказалась смятая папиросная коробка — та самая, из которой он вынул три папиросы: себе, Гордиенко и покойному Парфенову, когда они собирались атаковать ночью дом. Одна папироса была оставлена «на потом», на после атаки, и с тех пор он забыл о ней. Он посмотрел на коробку и без колебаний, как будто сейчас случилось что-то особенное, ради чего надо было выкурить эту последнюю папиросу, взял ее и закурил.
За окном светало. Начинался обычный страдный день — один из тех, к каким он уже привык,— но ко всем заботам в этом дне прибавилась еще одна, в которой он не хотел себе признаться, но которую уже чувствовал: это была забота о девушке, лежащей там, в углу, под его шинелью. У него было неясное ощущение, что девушка эта неожиданно прочно связана со всеми его будущими мыслями и с тем, что кругом осада и смерть, и с тем, что он сидит в осаде именно в этих домах в Сталинграде, в том самом городе, в котором она родилась и выросла. Он посмотрел на девушку, и ему показалось, что когда придет вечер и ей нужно будет переправляться на тот берег и уходить отсюда, то ее отсутствие будет до странности трудно себе представить.
Сабуров докурил папиросу и встал.
— Что без шинели? — спросил Петя, когда они вышли.
— Тяжело в ней, да сегодня еще и тепло.
— Что ж, тяжело, так я понесу, пока тепло.
— Ладно, не надо, так пойдем...

VIII

День выпал тяжелый, все время пришлось торчать во второй роте на левом фланге, где мимо дома на площадь выходила широкая улица. С утра, как обычно, точно по расписанию, началась бомбежка, на этот раз более свирепая, чем всегда, и это навело Сабурова на мысль, что сегодня не обойдется без какой-нибудь особенно сильной атаки.

К полудню выяснилось, что он был прав. Три раза отбомбив дома, немцы начали сильный минометный обстрел и под прикрытием его пустили вдоль улицы танки. Перебегая от ворот к воротам, вдоль стен, за ними двинулись автоматчики, довольно много,— наверное, около двух рот. Одну атаку отбили, но через два часа началась вторая. На этот раз два танка прорвались и заскочили во двор дома. Прежде чем их сожгли, они раздавили противотанковую пушку со всем расчетом. Первый танк зажгли сразу, из него никто не выскочил, второй сначала подбили и только потом уже, когда он остановился, зажгли бутылками. Из него выскочили двое немцев, их тут же убили, хотя можно было взять в плен. Сабуров на этот раз не удерживал своих людей: перед глазами было только что разбитое орудие и раздавленные в лепешку тела артиллеристов.

В четыре часа опять началась бомбежка; она продолжалась до пяти, а в шесть, после долгого минометного обстрела, немцы снова пошли в атаку, на этот раз уже без танков. Им удалось захватить трансформаторную будку и развалины стены.

Уже перед самой темнотой, в полумгле, Сабуров, собрав полтора десятка автоматчиков, решив, что так нельзя оставлять до утра, подполз к будке и после долгой возни и перестрелки снова занял ее. При этом было убито и ранено несколько человек; что до него, то он от усталости и грохота не заметил сначала, что ему у плеча порвало рукав и обожгло руку пулей. Еще в середине дня его ударило о стену взрывной волной от близко разорвавшейся бомбы, и он наполовину оглох. Поэтому весь остальной день, злой и оглохший и страшно усталый, он делал все, что надо, почти автоматически. Когда будка наконец была занята, он, измученный, сел на землю, прислонился к обломку стены и, отвинтив крышку у фляги, сделал несколько глотков. Ему было холодно, и он впервые за день вспомнил, что вот уже вечер, а он без шинели. Словно угадав его мысли, Петя подал ему чужую шинель, наверное, снятую с убитого. Она оказалась мала. Сабуров сначала накинул ее на плечи, но Петя заставил надеть шинель в рукава.

В штаб Сабуров и Масленников вернулись совсем поздно, когда стемнело. На столе горела лампа. Сабуров мельком кинул

взгляд на диван — девушка все еще спала. «Вот, должно быть, устала. А придется будить»,— подумал он и вдруг сообразил, что за весь день, с той минуты, когда он подумал, что, наверное, будет сильная атака, и до самого возвращения так ни разу и не вспомнил о девушке.

Они с Масленниковым сели за стол, и Сабуров налил в самодельные стопки водки. Выпили и только тогда хватились, что нечем закусить... Пошарив по столу, Сабуров дотянулся до красивой четырехугольной банки с американскими консервами: на пестрых этикетках были изображены блюда, которые можно приготовить из этих консервов, а сбоку припаяна аккуратная открывалка. Отломив ее и продев ушко в специальный шпенек на банке, Сабуров начал открывать крышку.

— Разрешите войти?

— Войдите.

В комнату вошел человек невысокого роста, с одной шпалой в петлицах. Он подошел к столу, прихрамывая и слегка опираясь на самодельную палочку.

— Старший политрук Ванин,— сказал он, небрежно козырнув.— Назначен к вам комиссаром.

— Очень рад.— Сабуров встал и пожал ему руку.— Садитесь.

Ванин поздоровался с Масленниковым и сел на скрипнувшую табуретку. Обнаружив привычки штатского человека, он сразу снял и положил на стол фуражку и отпустил на одну дырочку ремень; только после этого, так, словно обмундирование и портупея причиняли ему неудобство, он уселся поудобнее.

Сабуров внимательно посмотрел на человека, которому теперь предстояло быть главным его помощником во всех делах, и, подвинув к себе лампу, прочел сопроводительный документ. Это была напечатанная на тоненькой бумажке выписка из приказа по дивизии, согласно которому Ванин назначался комиссаром во второй батальон 693-го стрелкового полка.

На официальное ознакомление Ванина с положением дел в батальоне ушло вряд ли больше десяти минут. Все было понятно и без лишних слов; условия осады — снаряды и мины на счету, патроны в меньшей степени, но тоже на счету, горячая пища, по ночам разносимая в термосах, водка, которой оставалось больше нормы, потому что каждый день люди выбывали убитыми и ранеными, а старшины рот не торопились давать об этом сведения, обмундирование, которое за восемь дней ползания и лежания в окопах у многих изодралось в клочья, а у остальных истерлось и перепачкалось,— все это было хорошо известно каждому человеку, хоть несколько месяцев проведшему на фронте.

Сабуров по своей привычке откинулся на табуретке к стене и стал свертывать цигарку, давая этим понять, что официальная часть разговора окончена.

— Давно в городе? — спросил он Ванина.

— Только сегодня утром переправился с той стороны. Я ведь прямо из госпиталя.— Ванин в подтверждение своих слов пристукнул палочкой по полу.

— А в Сталинграде раньше бывали?

— Бывал,— усмехнулся Ванин.— Бывал,— повторил он со странным выражением лица и вздохнул.— Мало сказать, бывал. Я до войны здесь секретарем горкома комсомола был.

— Вот как...

— Да... Когда три месяца назад уходил отсюда на Южный фронт, Сталинград считался еще глубоким тылом, трудно было представить себе, что мы вот с вами будем сидеть в этом доме. Ведь раньше перед домом был парк, теперь, наверное, мало что от него осталось...

— Мало,— подтвердил Сабуров.— Несколько деревьев да столбы от волейбольных сеток.

— Вот, вот, столбы... волейбольные площадки были, теннисную не успели сделать. Как раз перед войной я собирал молодежь на воскресники, ровняли землю, катками катали, а теперь, наверное, изрыто все...

— Изрыто,— опять подтвердил Сабуров.

Ванин задумался.

— Черт его знает,— сказал он,— всем тут тяжело воевать, потому что уж больно Волга близко. А мне совсем тяжело... Я ведь тут каждый дом знаю, действительно каждый,— а не для красного словца... Двенадцать лет назад мы тут зеленое кольцо решили сделать, чтоб меньше пыли. Да, не думали мы тогда, что эти трехлетние липки через десять лет поломает война и что тогдашние пятнадцатилетние пареньки будут, не дожив до тридцати, помирать на этих улицах. И вообще о многом мы тогда не думали, так же как, наверное, и вы.

— Наверное.

Ванин несколько раз подряд затянулся и посмотрел на Сабурова.

— Представляете, сегодня утром увидел город с того берега... Был город — и нету. Наверное, ваш командир дивизии принял меня за сумасшедшего, я на все его вопросы отвечал, как автомат: да, нет, да, нет, да, нет... Вы все-таки, наверное, не можете до конца меня понять. Всю мою грусть.

— Нет, почему же,— сказал Сабуров,— я вас вполне понимаю, но только меня вместе с грустью иногда зло берет...

— На кого?

— На себя, на вас, на других. Черт его знает. Может, поменьше нужно было внимания к вашим зеленым насаждениям и больше внимания ко многому другому. Вот я — я прослужил два года в армии... Когда уходил в запас, сказали: «Напрасно, из вас мог бы получиться хороший военный». Но я ушел... И заметьте, если бы не верил в то, что будет война, может быть, был бы и прав, но я же был уверен, что война будет,— и, значит, был неправ: должен был остаться в армии.

— Понимаю,— сказал Ванин,— хотя нельзя же было всем сразу стать военными, согласитесь и с этим.

— Соглашаюсь, с той поправкой, что мы ими все равно стали, и стали позже, чем это было нужно... Впрочем, что зря вспоминать, теперь наше дело солдатское — независимо от прежних заблуждений, своих и чужих, отстоять вон эти три дома — и все.— Сабуров постучал пальцем по лежавшему перед ним плану.— Как, не отдадим дома, а, комиссар?

Ванин улыбнулся.

— Надеюсь. Знаете,— доверительно добавил он,— что мне сказал командир полка, когда отправлял к вам?

— Что?

— «Пойдете к Сабурову; он воюет неплохо, но любит порассуждать, и вообще, у него бывают настроения...» — «Какие настроения?» — спросил я. «Так, вообще настроения»,— сказал он и сделал рукой такой жест, как будто этим все сказано.

Сабуров рассмеялся.

— Спасибо за откровенность. Признаюсь, у меня действительно бывают настроения — то одно настроение, то другое настроение, и вообще, мне кажется, человек без настроений не может быть. А как по-вашему?

— По-моему, тоже.

— А ваша волейбольная площадка,— вдруг переводя разговор, сказал Сабуров,— почти цела. Пять-шесть воронок, но это ведь только подсыпать земли и два-три раза пройтись катком. А столбы стоят, и на одном даже обрывок сетки. Вот лейтенант,— кивнул Сабуров на сидевшего с ним рядом Масленникова,— игрок сборной Москвы по волейболу. Вы меня сегодня надоумили насчет него — я все замечаю: просится во вторую роту,— любимая его рота. Теперь понимаю, в чем дело,— там волейбольная площадка, наводит его на воспоминания.

— Капитан все не принимает меня всерьез,— с легким оттенком обиды сказал Масленников.— Ему не дают покоя мои двадцать лет... Нет, товарищ капитан, я вспоминаю о волейболе не чаще, чем вы, честное слово.

— И совершенно напрасно. Двадцать лет — хорошая вещь. И потом, знаешь что, Миша, когда тебе будет тридцать, мне будет сорок, а когда тебе будет сорок, мне будет пятьдесят,— так что за мной все равно не угонишься, но чем дальше ты будешь жить, тем тебе будет яснее, что меньше на десять лет — это гораздо лучше, чем больше на десять лет.

Он обнял Масленникова за плечи и притянул к себе.

— Нет, комиссар, у нас с вами замечательный начальник штаба — хороший, обстрелянный, только, пожалуй, слишком часто думает о том, что бы такое особенное придумать, чтобы стать настоящим героем. Пороховой погреб, фитиль в руках — желательно что-нибудь в этом роде. Шучу, шучу, Миша, не сердись. Лучше встань заведи нам какую-нибудь пластинку.

— А у вас есть патефон? — спросил Ванин.

— А как же, возим... думали даже пианино с третьего этажа перетащить, но его вчера оттуда так вышвырнуло, что одни струны валяются.

За стеной раздались подряд два близких и сильных взрыва.

— Хотя, может, и нет смысла ничего сюда перетаскивать,— после паузы сказал Сабуров.— Кажется, скоро придется менять квартиру. Сегодня весь день кладут вокруг да около.

Ванин вместе с Масленниковым подошел к батарее отопления, где стоял патефон. Перебирая пластинки, он остановился на одной из них и попросил:

— Вот эту.

Масленников завел патефон.

> В далекий край товарищ улетает,
> Родные ветры вслед за ним летят.
> Любимый город в синей дымке тает,
> Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...

Ванин отодвинулся от стола в тень и слушал молча, подперев голову руками. Когда пластинка кончилась, Ванин, не стыдясь, вытер глаза.

— Заведи еще раз,— сказал он.

И пластинка закрутилась во второй раз.

— А крепко спит девушка,— сказал Сабуров, когда патефон кончил играть.— Даже «Любимый город» не разбудил... Как ни жаль, а надо поднимать.

Он пересек комнату и подошел к дивану. Когда он пришел, ему в полутьме показалось, что там лежит Аня, но это была всего-навсего его собственная брошенная на диван шинель.

— Вот как...— удивился он.— Петя, где медсестра?

И Петя, который вернулся сюда вместе с Сабуровым, но, как водится у ординарцев, безусловно уже все знал, сказал, что девушка давно ушла.

— Куда ушла? На тот берег?

— Нет, товарищ капитан, она тут... Тут такое дело вышло. Впереди, где садик, на ничьей земле стоны слыхать было — вроде на помощь звали. Пришли сказать дежурному, а она как раз в это время поднялась. Ну, они и пошли туда, то есть поползли.

— Кто пошел?

— Она пошла...

— Она! Хоть бы рассказывать постыдился. Батальон солдат, а стоны послышались, так медсестра туда поползла... Да еще чужая... Что это за гастроли?

— Так нет, она не одна, тут ихний санитар с ней пополз да наш Конюков. Он тут дежурил и тоже вызвался.

— Когда это было?

— Теперь уже, значит, два часа,— ответил Петя, посмотрев на часы.

— Дежурного ко мне вызови,— распорядился Сабуров, натягивая шинель.— Посидите тут, я сейчас,— кивнул он Ванину и Масленникову.

Ночь была холодная, полнеба закрывали тучи, но луна стояла как раз на ясной половине, и было светло.

Сабуров поежился от ночной прохлады. К нему подбежал дежурный.

— Куда они поползли?

— Да так промежду заборами, влево и по развалинам,— показал дежурный рукой.

— Что было слышно за это время?

— Ничего особенного не слыхать было, товарищ капитан. Минут тридцать, как по этому месту мины пустили, а так ничего...

Сабурову захотелось самому поползти вперед и узнать, что там происходит, но он превозмог себя. Это был не тот случай, когда он имел право рисковать жизнью.

— Как только будет что-нибудь известно, сейчас же доложите, я буду ждать,— сказал он дежурному.

Но ждать не пришлось. Из темноты показались три фигуры. Двое поддерживали третьего. Сабуров пошел навстречу. Сделав несколько шагов, он столкнулся с ними лицом к лицу. Конюков и санитар тащили под руки Аню. В темноте Сабуров не мог разглядеть ее лица, но по тому, как она беспомощно повисла на руках у Конюкова и санитара, Сабуров понял, что с ней плохо.

— Разрешите доложить,— обратился Конюков, продолжая поддерживать Аню левой рукой и откозыряв правой.

— Потом,— сказал Сабуров.— Ведите ко мне. Или нет, не надо, тут положите, в дежурке.

Дежуркой все называли маленький закуток, образованный с трех сторон лестницей и стеной, с четвертой дежурка была завешена плащ-палаткой. В этом углублении стояли стол, табуретка для телефониста и мягкое кресло, вытащенное из чьей-то квартиры, для дежурного. В углу, прямо на земле, лежал тюфяк. На него санитар и Конюков опустили Аню. Конюков быстро скатал лежавшую рядом шинель и положил ей под голову.

— Уложили? — не входя в дежурку, спросил Сабуров.

— Так точно,— ответил Конюков, выходя.— Разрешите доложить.

— Докладывай.

— Были стоны слышны. Так вот они,— кивнул Конюков,— говорят: «Я туда поползу, там раненые». И своих санитаров вызывают. Ну, один санитар у них маленько дохлый, молодой еще. «Пойду»,— говорит, но вижу, в душе стесняется... Так я говорю им, что я пойду.

— Ну?

— Разрешите доложить. Пошли, все ползком, тихо. Проползли так аккуратно метров полтораста, за развалинами там нашли.

— Кого?

— Вот разрешите представить...

Конюков полез в карман гимнастерки и вытащил оттуда пачку документов. Сабуров на секунду зажег фонарик. Это были документы сержанта Панасюка, не вернувшегося из разведки еще прошлой ночью. В батальоне его уже считали убитым. Очевидно, раненный прошлой ночью, он день перележал где-то между развалинами и в темноте пытался добраться к своим.

— Где же вы его нашли? Ближе к немцам или ближе к нам?

— Разрешите доложить. Аккурат посередине. Он, видно, полз, бедный, а не сдержался, стал голос подавать.

— Где он?

— Мертвый он. Когда подползли, он еще живой был, раненый, стонал во весь голос. Я ему говорю: «Ты молчи, а то на твой голос стрелять будут». Потащили его, а тут немец, и правда, видать, между камней нас пулей настичь не гадал, так стал мины бросать. Его там, значит, совсем, а ее в ногу задело и об камни ударило. Сначала она в горячке даже его тащить хотела, хоть он и мертвый, но потом сознание утеряла. Мы документы взяли, его оставили, а ее подхватили, вот и представили сюда. Разрешите доложить, товарищ капитан.

— Ну, что еще?

— Сестрицу жаль. Что ж, ей-богу, неужто мужиков на это дело нет? Ну, пущай там в тылу в госпитале за ранеными ходит, а для чего ж сюда? Я ж как ее потащил — легонькая совсем, и мне тут стала такая мысль: зачем легонькую, такую молодую девчонку под пули пускают?

Сабуров ничего не ответил. Конюков тоже замолчал.

— Разрешите идти? — спросил он.

— Идите.

Сабуров вошел в дежурку. Аня лежала на матраце молча, открыв глаза.

— Ну, что с вами? — спросил Сабуров. Ему хотелось упрекнуть ее за то, что она пошла так безрассудно, никого не спросив; но он понимал, что упрекать ее за это нельзя.— Ну, что с вами? — повторил он уже мягче.

— Ранили,— ответила она,— а потом ударилась сильно головой... А ранили — это так, пустяки, по-моему...

— Перевязали хоть вас? — спросил Сабуров и только сейчас заметил, что под надвинутой на голову пилоткой у нее белел бинт.

— Да, перевязали,— сказала она.

— А ногу?

— Ногу тоже перевязали,— ответил стоявший над ней санитар.— Пить не хотите, сестрица?

— Нет, не хочу...

Сабуров колебался: с одной стороны, может, лучше не трогать ее и оставить здесь на два-три дня, пока ей не станет легче; с другой стороны, по дивизии уже несколько дней как было приказано раненых не оставлять до утра в этом месиве, где легко раненные к вечеру могли превратиться в тяжело раненных, а тяжело раненные — в убитых. Нет, с девушкой надо было сделать так же, как со всеми остальными, отправить ее сегодня же ночью на ту сторону.

— Идти не можете? — спросил Сабуров.

— Сейчас, пожалуй, не могу.

— Придется вместе с остальными ранеными вас перенести к берегу, и сейчас же, в первую очередь,— сказал Сабуров, предвидя возражения.

Он ждал, что она скажет, что она не самая тяжело раненная и ее можно перенести в самую последнюю очередь. Но она по лицу Сабурова поняла, что он все равно отправит ее в первую очередь, и промолчала.

— Если бы меня не ранили,— проговорила она вдруг,— мы бы его все равно оттуда притащили. Но, когда меня ранили, они не могли двух... Он ведь убит,— пояснила она, словно оправдываясь.

Сабуров посмотрел на нее и понял, что все это она говорит, только чтобы превозмочь себя, а на самом деле ей просто-напросто очень больно и очень обидно оттого, что она вот так ненужно и глупо ранена. И Сабурову показалось, что ей грустно еще и оттого, что он так сурово разговаривает с ней. Ей больно и жалко себя, а он этого не понимает.

— Ничего,— произнес он с неожиданной лаской в голосе.— Ничего.— И, пододвинув кресло, сел около нее.— Сейчас вас переправят на тот берег, быстро поправитесь и опять будете раненых возить.

Она улыбнулась.

— Вы сейчас говорите так, как мы всегда раненым говорим: «Ничего, миленький, скоро заживет, скоро поправитесь».

— Ну что же, вы ведь ранены, вот и говорю с вами, как это принято.

— А вы знаете,— продолжала она,— я только что подумала, как, наверное, раненым страшно переплывать через Волгу, когда стреляют. Мы, здоровые, можем двигаться, все делать, а они лежат и просто ждут. Вот сейчас со мной тоже так, и я подумала, как им, наверное, страшно...

— А вам тоже страшно?

— Нет, мне сейчас почему-то совсем не страшно... Дайте закурить.

— Вы курите?

— Нет, не курю, но мне сейчас вдруг захотелось...

— Только у меня папирос нет, вертеть придется.

— Ну что ж.

Он свернул самокрутку и, прежде чем заклеить, на секунду остановился.

— Сами...— сказала она.

Он лизнул бумагу и заклеил самокрутку. Аня неумело стиснула ее зубами. Когда он чиркнул спичку, лицо девушки впервые показалось ему красивым.

— Что вы смотрите? — спросила она.— Я не плачу... Мы через лужи переползали, и от этого лицо мокрое. Дайте платок, я вытру.

Сабуров достал из кармана платок и смущенно заметил, что он грязный и скомканный. Она вытерла лицо и вернула ему платок.

— Что, меня сейчас заберут? — спросила она.

— Да.— Он постарался сказать это «да» тем же сухим, начальническим тоном, которым говорил вначале, но сейчас это у него не вышло.

— Вы меня будете вспоминать? — вдруг спросила она.

— Буду.

— Вспоминайте. Я не потому, что так все раненые говорят, а правда скоро вылечусь, я чувствую... Вы вспоминайте.

— Как же вас не вспоминать...— серьезно сказал Сабуров,— непременно буду вспоминать...

Когда через несколько минут санитары подошли, чтобы положить ее на носилки, она поднялась и села сама, но было видно, что ей это трудно.

— Очень болит голова,— слабо улыбнулась она.

Ее поддержали под руки и положили на носилки.

— Остальных уже отправляют? — спросил Сабуров.

— Да, сейчас же, вместе идем,— ответил один из санитаров.

— Хорошо.

Санитары приподняли носилки, и теперь на улице, в полутьме, Сабуров понял, что он не сказал еще ничего из того, что ему в эту минуту захотелось ей сказать... Санитары уже сделали первый шаг, и носилки заколыхались, а все еще не было ничего сказано, и, пожалуй, он ничего и не мог сказать — не умел и не смел. Острая, безрассудная жалость к ней, столько носившей и перевязывавшей раненых и вот сейчас беспомощно лежавшей на таких же носилках, переполняла его сердце. Он неожиданно для себя наклонился над ней и, спрятав руки за спиной, чтобы каким-нибудь неосторожным движением не сделать ей больно, сначала крепко щекой прижался к ее лицу, а потом, сам не понимая, что делает, поцеловал ее несколько раз в глаза и в губы. Когда он поднял лицо, то увидел, что она смотрит на него, и ему показалось, что он не просто поцеловал ее, беспомощную и неспособную пошевелиться или возразить, а что он сделал это с ее разрешения, что она так и хотела...

Вернувшись в штаб, Сабуров сел за стол и, достав из планшета, положил перед собой полевую книжку: ему предстояло написать донесение за день,— донесение, которое пойдет в полк к Бабченко, выборка из которого потом пойдет в дивизию Проценко, из дивизии в армию, из армии во фронт, а оттуда в Москву... И так составится вся длинная цепь донесений, которая под утро в виде сводки Генерального штаба окажется на столе у Сталина.

Он подумал об этом и об огромности фронта, где его батальон и эти три дома были лишь одной из бесчисленного множества точек. И ему показалось — вся Россия, которой нет ни конца, ни края, стоит бесконечно влево и бесконечно вправо, рядом с этими тремя домами, где держится он, капитан Сабуров, со своим поредевшим батальоном.

IX

На участке, который занимала дивизия Проценко, наступило относительное затишье. После всего, что было, это могло бы показаться законным отдыхом, если бы Сабуров не знал, что тишина объяснялась не тем, что немцы вообще устали и прекратили атаки, а единственно тем, что они сейчас стянули все свои силы южнее того участка, где стояла дивизия, и проламывали там себе проход к Волге, стараясь разрезать Сталинград пополам.

Днем и ночью слева, с юга, доносилась артиллерийская канонада, а здесь было тихо, то есть тихо в сталинградском понимании этого слова. От времени до времени немцы бомбили. Пять или шесть раз в день они делали артиллерийские и минометные налеты на дома, занимаемые Сабуровым, то там, то здесь кучки автоматчиков пытались продвинуться вперед и занять часть развалин, но все это было скорее демонстрацией, чем боем.

Немцы делали ровно столько, сколько нужно для того, чтобы нельзя было снять отсюда ни одного человека на помощь частям, оборонявшимся южнее. И порожденное бездействием тягостное чувство, пожалуй, говорило в Сабурове сильнее, чем простая человеческая радость по поводу того, что он жив и что у него сейчас относительно меньше шансов умереть, чем раньше.

За эти дни в батальоне установился тот особый осадный быт, который поражал попадавших в Сталинград людей своими устойчивыми традициями, своим спокойствием, а иногда и юмором. Сабуров, у которого в конце концов немцы после трехдневного обстрела разбили прежнее помещение штаба, к счастью только легко ранив при этом одного телефониста, теперь помещался в подвале, в бывшей котельной. Таким образом, теперь в батальоне все без исключения вели подземную, и от этого более прочную и упорядоченную, жизнь.

У землянки, где помещались связные, один из которых заведовал почтой, на столбе повесили самый настоящий почтовый ящик. На нем было все, как полагалось: и надпись «Почтовый ящик», и почтовый знак, и открывающаяся и захлопывающаяся крышка. Сабуров как-то утром сказал, что тут не хватает только вывески «Главный почтамт»; это, видимо, понравилось связистам, и к вечеру над ящиком появилась дощечка: «Главный почтамт. Прием и выдача корреспонденции».

Один из бойцов комендантского взвода, в прошлом часовщик, в своей землянке, за врытым вместо окна прямо в землю куском зеркальной витрины, устроил подобие часовой мастерской. После шутки комбата с почтамтом здесь тоже появилась надпись: «Мастерская «Точное время».

Петя два дня был озабочен устройством хоть какой-нибудь бани. С помощью саперов он вырыл землянку. Из нескольких выломанных дверей в ней соорудили полок, сложили из кирпичей каменку и врыли в землю бочку с водой; в бане было дымно и тесно, но вряд ли где мылись с таким удовольствием, как здесь. Даже Бабченко, у которого не было своей бани, пришел помыться и, уходя, сказал, что еще притащит сюда командира дивизии, не преминув добавить, чтобы к приходу начальства все было в порядке.

Тетя Маша — так звали женщину, которую Сабуров в первые дни нашел в подполе возле своего дома,— определилась на батальонную кухню. Она свыклась с мыслью, что батальон всегда будет здесь и уже никто ее отсюда не выгонит.

Теперь главные боевые действия происходили ночью. Группы охотников ползли на немецкую сторону, пытаясь добыть «языка» или просто устроить немцам очередной тарарам. Две ночи подряд в этих экспедициях участвовал Масленников. Ему не терпелось отличиться, и он доказывал, что просто обязан заниматься этими вылазками лично сам — ведь надо же что-то делать, когда в трех километрах южнее сейчас умирают товарищи. Сабуров знал это не хуже его, но предвидел, что скоро то же самое достанется и на их долю, поэтому удерживал и берег Масленникова. Когда Масленников пошел в ночной поиск во второй раз, Сабуров потихоньку вызвал к себе Конюкова и поручил ему ни на шаг не отходить от лейтенанта, тот охотно вызвался идти, а относительно Масленникова сказал только:

— Уж будьте благонадежны, товарищ капитан.

Конюкову нравилась ночная работа, и он, разговаривая с товарищами, с некоторым даже сожалением отзывался о том, что немцы почти не ставят теперь колючей проволоки. Он, по его словам, был специалистом резать ее ножницами, и невозможность показать себя с этой стороны огорчала его.

Днем, когда Масленников, вернувшись из вылазки, спал, Сабуров, приподняв с него шинель, заметил, что она в нескольких местах посечена мелкими осколками. В эту ночь граната разорвалась рядом с Масленниковым, и он только чудом спасся. Вечером Масленников вновь собрался проситься в очередную вылазку, но Сабуров, угадав по выражению его лица, о чем он будет просить, сказал:

— Сегодня у вас будет работа, лейтенант, на всю ночь...

— Да? — обрадовался Масленников.

— Да, будете шинель штопать.

Масленников, обычно понимавший юмор, сразу лишался этого чувства, как только ему начинало казаться, что его попрекают молодостью. Может быть, он относился бы к этому спокойнее, если

бы не его старший брат, летчик, носивший другую фамилию, чем Масленников, и настолько знаменитую, что Масленников не любил говорить, что у него есть брат. Во всем батальоне он сказал об этом лишь Сабурову.

Масленников вырос в семье, преклонявшейся перед братом, и тоже любил его, но вместе с тем ревновал и завидовал. Подчас ему казалось, что все несчастье его заключается лишь в том, что он на восемь лет моложе брата. Когда началась испанская война и брат уехал туда, Масленникову было пятнадцать. Он тоже отдал бы все на свете, чтобы попасть в Испанию. Потом, когда брат был в Монголии, а Масленникову пришло время определить свою жизненную дорогу, мать, гордившаяся старшим сыном, но трепетавшая за него, умолила младшего вместо летной школы пойти в авиационный институт. И лишь в начале войны, когда уже ничто не могло удержать его, Масленников бросил институт и пошел в первое попавшееся пехотное училище. Он был честолюбив и тщеславен тем тщеславием, за которое трудно осуждать людей на войне. Он непременно хотел стать героем и для этого был готов сделать любое, самое страшное, что бы ему ни предложили.

Сабурову тоже не были чужды в жизни честолюбивые и даже тщеславные мысли, но сейчас, на этой войне, которую он ощущал как всеобщую кровавую страду, эти мысли у него почти исчезли. Впрочем, при всем этом он понимал и не осуждал Масленникова и только старался по мере возможности охлаждать его пыл. Минутами Масленников казался ему почти сыном, который был моложе его на девять лет и на год войны — значит, еще на десять.

— Миша,— сказал он, видя, что после его слов насчет шинели Масленников помрачнел,— когда мне вдруг взбредет сделать что-либо слишком рискованное, знаешь, чем я удерживаю себя? Тем, что думаю о войне. Она ведь будет еще очень длинная, и чем дальше она будет тянуться, тем больше будут цениться люди, которые ее начали с начала и дожили до конца: ведь если Сабуров когда-нибудь будет командовать полком, то ты будешь командовать батальоном, и очень важно, чтобы ты дожил до этого времени. Как, согласен или нет?

— Нет,— порывисто ответил Масленников,— для всех — да, а для себя — нет.

— Не согласен? — улыбнулся Сабуров.— Ладно. В конце концов не важно — согласен ты или нет, все равно будет по-моему, штопай...

Масленников взял на колени шинель и покорно стал рассматривать пробитые в ней дырки.

Этот разговор происходил на восьмой день затишья. Весь день и весь вечер была слышна особенно сильная канонада с юга, и Са-

буров, не потерявший из-за временного благополучия своего батальона чувства общей надвигающейся беды, был весь вечер в дурном настроении.

На столе затрещал телефон, Сабуров поднял трубку.

— Сабуров? — услышал он голос Бабченко.

— Так точно.

— Оставь батальон на комиссара. Тебя хозяин вызывает, иди сейчас же.

— Скажи Ванину,— обратился Сабуров к Масленникову,— что я к хозяину пошел,— и, нахлобучив фуражку, двинулся к дверям.

Проценко быстрыми шагами ходил по своему выкопанному рядом с развалинами дома блиндажу. Блиндаж, как всегда, когда у полковника находилось хоть немного времени, был сделан прочно и аккуратно. Не боясь рисковать жизнью, когда это было необходимо, Проценко в то же время любил, чтобы штабные блиндажи были надежными, накатов в пять-шесть, и вгонял в пот саперов, как только обосновывался на новом месте. Это была привычка обстоятельного человека, который воюет уже не первый год и для которого блиндаж давно превратился в постоянное местожительство. Он терпеть не мог, когда его командиры без необходимости торчали на тычке, под огнем, не имея возможности разложить карту,— словом, когда они создавали себе лишние неудобства, кроме тех, которые и так на каждом шагу создавала для них сама война.

Весь день сегодня за левым флангом дивизии шел жестокий бой, и Проценко становилось все яснее, что недалек час, когда немцы все-таки прорвутся левее его к Волге и он со своей дивизией окажется оторванным от всего, что южнее, и прежде всего от штаба армии. Полчаса назад его опасения оправдались,— связь с армией была прервана. По странной случайности судьбы последнее, что он услышал, был глуховатый басок члена Военного совета Матвеева, который, позвав его к телефону и спросив сначала, все ли у него в порядке, сказал:

— Поздравляю, тебе присвоено звание генерал-майора.

Матвеев говорил усталым, медленным голосом; наверное, там, южнее, у них сейчас было очень тяжко, и только обычным вниманием Матвеева к людям Проценко мог объяснить то, что он вспомнил об указе и позвонил ему.

— Благодарю,— сказал Проценко,— постараюсь оправдать свое новое звание.

Он подождал, Матвеев ничего не отвечал в телефон.

— У меня все,— заключил Проценко.— Слушаю вас...— Но Матвеев опять ничего не ответил.— Слушаю вас,— повторил Проценко во второй раз,— слушаю вас,— сказал он в третий раз.

Телефон молчал.

Думая, что это обрыв линии где-нибудь на его участке, Проценко вызвал промежуточного телефониста, сидевшего на стыке с соседней дивизией. Телефонист ответил... и лучше бы не отвечал. Провод оборвался надолго. Левее дивизии Проценко немцы вышли на берег Волги, перерезав все линии связи.

Соседи не подавали никаких признаков жизни. Штаб армии безмолвствовал. Между тем, как всегда, необходимо было отправить в армию дневную сводку. Теперь оставался только один путь связи — через Волгу на тот берег и потом с того берега южной переправой в штаб армии. Приходилось посылать человека. Сначала Проценко подумал о своем адъютанте, но тот, свалившись с ног за день беготни, спал на полу, положив под голову шинель. Да и, кроме того, его адъютант был не тем человеком, которого следовало сейчас посылать в штаб армии.

Туда надо было послать кого-нибудь, кто сумел бы не только доставить донесение, но и узнать точно и определенно, что требуется сейчас от него, от Проценко. Он поднял трубку и позвонил Бабченко.

— У вас все тихо? — спросил он.

— Все тихо.

— Тогда пошлите ко мне Сабурова.

Ожидая прибытия Сабурова, Проценко придвинул к себе сводки из полков, против обыкновения собственноручно составил донесение и приказал отпечатать его на машинке. Донесение еще печаталось, когда Сабуров вошел к Проценко.

— Здравствуй, Алексей Иванович,— сказал Проценко.

— Здравствуйте, товарищ полковник.

— Теперь не полковник,— поправил Проценко,— теперь генерал. В генералы меня сегодня произвели. Черт его знает,— добавил он, показав на молчавший телефон,— не буду врать,— ждал этого, но не в такой день хотел услыхать, не в такой... Я позвал тебя, чтобы ты отвез донесение в штаб армии.

— А что, не работает? — кивнул Сабуров на телефон.

— С армией не работает и едва ли скоро будет работать. Отрезали.

Проценко снял трубку и позвонил на причал.

— Моторку или лодку, что есть под рукой, приготовьте. Значит, так, Алексей Иванович, сначала на тот берег, узнаешь — на прежнем ли месте штаб армии, и опять переберешься на этот, туда, где они теперь стоят. Ну как, донесение готово? — обернувшись, спросил он вошедшего штабного командира.

— Печатают, через пять минут будет.

— Хорошо. Конечно, связь не так, так эдак восстановится, но, по совести говоря, ждать терпения нет. Честное слово, больше люблю, когда на меня жмут. Тут уж знаешь, что у тебя есть, чего нет, а когда у меня тихо, а соседей давят — хуже всего, душа не на месте. Так что — постарайся добраться!

Проценко встал и подошел к осколку зеркала, висевшему на стене.

— Как, Алексей Иванович, пойдет мне генеральская форма?

— Пойдет, товарищ генерал,— сказал Сабуров.

— Товарищ генерал,— улыбнулся Проценко.— Говоришь, а про себя небось думаешь: приятно старому черту это слышать. Думаешь?

— Думаю,— улыбнулся, в свою очередь, Сабуров.

— И правильно думаешь... В самом деле приятно. Только ответственность большая. Звание ввели, а слово это не всегда еще у нас понимают, как и многие другие слова.

Проценко задумался, закурил и внимательно посмотрел на Сабурова. Он был взволнован, и ему хотелось высказаться.

— Генерал — звание трудное. А знаешь, Сабуров, почему трудное? Потому что недурно или даже хорошо воевать — сейчас мало, сейчас надо так воевать, чтобы потом как можно дольше воевать не пришлось. Я ведь, Сабуров, не верю в разговоры, что это последняя война на свете. Это и в прошлую войну говорили, и до этого много раз говорили, стоит историю почитать. После этой войны будет еще война, через тридцать или через пятьдесят лет... Но в наших руках, чтобы она была не скоро, а коли все-таки будет, была бы победной, для того и армия. Конечно, сейчас многие найдутся, кто захочет мне возразить. Ты, например, а?

— Хотелось бы возразить,— признался Сабуров.— Не хочется думать, что когда-нибудь будет еще одна война.

— Это верно, что не хочется,— сказал Проценко,— мне тоже не хочется. Не хочется думать, но надо, необходимо думать, тогда, может быть, и не будет.

Штабной командир принес донесение. Проценко полез в карман, достал очешник, вынул круглые в роговой оправе очки, которые он надевал только тогда, когда приходилось читать какой-нибудь документ, внимательно прочел от слова до слова и подписал.

— Поезжай,— сказал он,— до лодки тебя здесь проводят, а там уже твое дело. Будешь плыть по Волге, если не заметят, красотой будешь наслаждаться... Внизу вода, вверху звезды. Просто даже завидно. Особенно если бы это не Волга была, а Висла или Одер...

Сабуров в темноте добрался до пристани. Моторки не было, ее сегодня утром разбило миной. У пристани тихо шлепала двухпар-

ная весельная шлюпка. Влезая в нее, Сабуров на секунду посветил фонарем: она была белая, с синей каймой и с номером — одна из шлюпок прогулочной станции. Еще недавно ее давали напрокат за рубль или полтора в час...

Двое красноармейцев сели на весла, Сабуров устроился на руле, и они тихо отчалили. Немцы не стреляли. Было все, как предсказал Проценко: звезды наверху, и вода внизу, и тихая ночь, орудийный гул перекатывался вдали, в трех-четырех километрах отсюда, и привычное ухо его не замечало... Действительно, можно было сидеть на корме и думать все эти двадцать или тридцать минут, которые отделяли его от того берега, где теперь днем, а иногда и ночью рвались перелетавшие через реку немецкие снаряды и тяжелые мины, где работали с заката до рассвета десятки пристаней, куда уплывали из батальона раненые и откуда ежедневно привозили в батальоны боеприпасы, хлеб и водку. На том берегу было все, в том числе и Аня, о которой он сейчас вспомнил. И если у нее легкая рана, то она даже совсем близко отсюда, у себя в медсанбате.

«Наверно, легкая»,— подумал он не потому, что это так и должно было быть, а потому, что она сказала: «Я скоро у вас буду...», и, как все, что говорила, сказала так по-детски уверенно, что ему казалось — это в самом деле так и должно случиться. Он за последние несколько дней два или три раза ловил себя на том, что, возвратясь в штаб батальона, невольно оглядывал блиндаж.

Лодка уткнулась в песок, и Сабуров, выскочив на берег, пошел узнавать, где теперь та переправа, которая раньше была ближе других к штабу армии. Как оказалось, переправу перенесли километра на полтора ниже по течению. Он снова сел в лодку, и они поплыли вдоль берега.

Лодка причалила к временным деревянным мосткам, красноармейцы остались, а Сабуров пересел на баржу, которая должна была отчаливать обратно на правый берег.

Баржа была загромождена ящиками с продовольствием, коровьими и бараньими тушами, сваленными прямо на деревянный настил. Количество провианта говорило о том, как много людей по-прежнему находится там, на том берегу, в развалинах Сталинграда.

Через полчаса баржа медленно причалила к одной из сталинградских пристаней. Переправа была перенесена, но, против ожидания, Сабурову сказали, что штаб армии на прежнем месте.

Сабуров знал от Проценко, который два или три раза был в штабе, что он помещается в специально вырытых штольнях, напротив сгоревшего элеватора.

Туда пришлось идти от переправы полтора с лишним километра вдоль берега. Немцы вслепую обстреливали берег из минометов, и мины время от времени рвались то спереди, то сзади.

Сабуров все шел по берегу, а элеватора, который должен был служить ориентиром, все еще не было видно. Между тем теперь автоматная стрельба слышалась так близко, что не было никакого сомнения: до передовой осталось меньше километра. Он уже начал думать, не наврали ли ему, как это бывает, и не переехал ли штаб в другое место. Но когда он подошел совсем близко к тому, что, по его расчетам, было передовой, он увидел прямо перед собой на обрывистом берегу Волги контуры элеватора и наткнулся на часового, стоявшего у входа в подземелье.

— Здесь штаб? — спросил Сабуров.

Человек осветил фонарем документы и ответил, что здесь.

— Как к начальнику штаба пройти? — спросил Сабуров тихо.

— К начальнику штаба?

За его спиной послышался показавшийся ему знакомым голос:

— Кто тут к начальнику штаба?

— Я.

— Откуда?

— От Проценко.

— Вот как. Интересно,— сказал голос.— Ну, идемте.

Когда они вошли в обшитую досками штольню, Сабуров оглянулся и увидел, что сзади него идет тот самый генерал, которого он видел в первую ночь у Проценко.

— Товарищ командующий,— обратился к нему Сабуров,— разрешите к вам.

— Да,— ответил генерал и, открыв маленькую дощатую дверку, прошел первым.

Сабуров, поняв это как приглашение следовать за ним, тоже вошел.

За дверью была маленькая каморка с топчаном, клеенчатым диваном и большим столом.

Генерал сел за стол.

— Подвиньте мне табуретку.

Сабуров, не понимая зачем, подвинул табуретку. Генерал поднял ногу и вытянул ее на табуретке.

— Старая рана открылась, хромать стал... Докладывайте.

Сабуров доложил по всей форме и протянул генералу донесение Проценко. Генерал медленно прочитал его, потом вопросительно посмотрел на Сабурова.

— Значит, у вас по-прежнему тихо?

— Так точно, тихо.

— Это хорошо. Стало быть, у них уже нет сил одновременно атаковывать на всех участках, даже в удачные для них дни. Потерь мало последнее время?

— Точно не знаю,— сказал Сабуров.

— Я вас не про дивизию спрашиваю, про дивизию тут написано. Как у вас в батальоне?

— За эти восемь дней шесть убитых и двадцать раненых, а за первые восемь дней — восемьдесят убитых и двести два раненых...

— Да,— протянул генерал,— много... Долго блуждали, пока нас нашли?

— Нет, я быстро нашел, только я уже начал сомневаться: в трехстах шагах стрельба, думал, вы переменили командный пункт.

— Да,— заметил генерал,— чуть не переменили, мои штабники уже решили сегодня ночью менять, но я вечером вернулся из дивизий и запретил им. Когда тяжело так, как сейчас, запомните это, капитан,— а сейчас, смешно скрывать, очень тяжело,— нельзя следовать правилам обычного благоразумия и менять свои командные пункты, даже когда это кажется очевидной необходимостью. Самое главное и самое благоразумное в такую минуту, чтобы войска чувствовали твердость, понимаете? А твердость у людей рождается от чувства неизменности, в частности от чувства неизменности места. И до тех пор, пока я смогу управлять отсюда, не меняя места, я буду управлять отсюда. Говорю для того, чтобы вы применили это к себе в своем батальоне. Надеюсь, не думаете, что затишье у вас будет долго продолжаться?

— Не думаю,— ответил Сабуров.

— И не думайте, оно ненадолго. Саватеев! — крикнул генерал.

В дверях появился адъютант.

— Садитесь, пишите приказание.

Генерал быстро при Сабурове продиктовал несколько строк короткого приказания, сущность которого сводилась к тому, чтобы Проценко не дал немцам оттянуть людей с его участка и провел для этого несколько частных атак на своем южном фланге, там, где немцы прорвались к Волге.

— Припишите,—добавил генерал,— поздравляю с присвоением генеральского звания. Все. Дайте подписать.

Отпуская Сабурова, генерал поднял на него свои усталые, окруженные синевой бессонницы глаза.

— Давно знаете Проценко?

— Почти с начала войны.

— Если хотите быть хорошим командиром, учитесь у него, приглядывайтесь. Он на самом деле не так прост, как кажется с первого взгляда: хитер, умен и упрям. Словом, хохол. У нас многие только делают вид, что они спокойные люди, а он из тех,

кто в самом деле спокоен, вот этому у него и учитесь. Он мне о вас доносил, что вы хорошо действовали в первые дни, когда попали в окружение. Теперь вы всей дивизией можете считать себя в окружении. А в этих обстоятельствах главное — спокойствие. Мы с вами восстановим связь, но вода — все-таки вода, так что помните это. Впрочем...— генерал усмехнулся,— вода на нас иногда хорошо действует, когда она сзади нас. Примеры тому — Одесса, Севастополь... Надеюсь, и Сталинград, с той разницей, что его мы не сдадим ни при каких обстоятельствах. Можете идти.

Когда Сабуров, выйдя из штаба, пошел обратно к пристани вдоль берега, он подумал, что, как это ни странно, у командующего было хорошее настроение. «Может быть, он знает что-то такое, чего мы не знаем,— подумал Сабуров,— может быть, ждет подкрепления, может быть, в другом месте что-то готовится!..»

И сейчас же отбросил эту мысль... Нет, не в этом дело. Ему показалось, что он понял настроение командующего: просто самое худшее, что могло случиться, уже случилось,— немцы прорвались к Волге и разрезали армию,— к этому шло все последние дни и этому не хватило сил противостоять. Но сейчас, когда это самое страшное случилось, когда случилось то, что немцы раньше считали окончанием битвы,— армия не признала себя побежденной и продолжала драться, и штаб остался как ни в чем не бывало там, где стоял, и вдобавок ко всему из отрезанной дивизии прибыл командир, который, несмотря ни на что, привез командующему донесение именно в то время, в какое оно обычно прибывало. И не поэтому ли он, человек, известный в армии своей молчаливостью, сейчас целых десять минут проговорил с простым офицером связи, и сказал даже несколько фраз, не имеющих, казалось бы, прямого отношения к делу?

Через пять часов после того, как Сабуров ушел от Проценко, он снова стоял в его блиндаже.

— Ну, как там? — спросил Проценко, прочитав приказание командующего.

Когда Сабуров рассказал ему, что командный пункт армии находится на старом месте, на лице Проценко мелькнула одобрительная улыбка: видимо, он разделял чувства командующего. Внешнее неблагоразумие такого шага было на самом деле тем высоким благоразумием, которое на войне так часто не совпадает с, казалось бы, ясными на первый взгляд требованиями здравого смысла.

По дороге от Проценко к себе Сабуров зашел в блиндаж к Бабченко. Как передали ему в штабе дивизии, Бабченко звонил и велел ему зайти.

Бабченко сидел за столом и трудился над составлением какой-то бумаги.

— Садись,— сказал он, не поднимая головы и продолжая заниматься своим делом.

Это было его привычкой — он никогда не прерывал начатой работы, если приходили вызванные им подчиненные. Он считал это несовместимым со своим авторитетом.

Сабуров, успевший уже привыкнуть к этому, равнодушно попросил у Бабченко разрешения выйти покурить. Едва он вышел, как ему навстречу попался воевавший в дивизии с начала войны командир роты связи старший лейтенант Еремин.

— Здравствуй,— сказал Еремин и крепко тряхнул Сабурову руку.— Уезжаю.

— Куда уезжаешь?

— Отзывают учиться.

— Куда?

— На курсы при Академии связи. Чудно́, что из Сталинграда, но приказ есть приказ,— еду. Зашел проститься с подполковником.

— Когда едешь?

— Сейчас. Вот катерок будет, и поеду.

Подумав, что если не его появление, то хотя бы приход явившегося прощаться Еремина заставит командира полка оторваться от писания бумаг, Сабуров вошел в блиндаж вслед за Ереминым.

— Товарищ подполковник,— начал Еремин,— разрешите обратиться?

— Да,— отозвался Бабченко, не отрываясь от бумаги.

— Еду, товарищ подполковник.

— Когда?

— Сейчас еду, зашел проститься.

— Бумагу заготовили? — спросил Бабченко, все еще не глядя на Еремина.

— Да, вот она.

Еремин протянул ему бумагу.

Бабченко, все так же не поднимая глаз от стола, подписал бумагу и протянул Еремину.

Наступило молчание. Еремин, переминаясь с ноги на ногу, несколько секунд постоял в нерешительности.

— Так вот, значит, еду,— произнес он.

— Ну что ж. Поезжайте.

— Зашел проститься с вами, товарищ подполковник.

Бабченко наконец поднял глаза и сказал:

— Ну что ж, желаю успехов в учебе,— и протянул Еремину руку.

Еремин пожал ее. Ему непременно хотелось сказать еще

что-то, но Бабченко, пожав ему руку и больше уже не обращая на него внимания, опять уткнулся в свою бумагу.

— Так, значит, прощайте, товарищ подполковник,— еще раз нерешительно сказал Еремин и взглянул на Сабурова.

Взгляд у него был не то чтобы обиженный, но растерянный. Он, собственно, не знал, как будет прощаться с Бабченко и в чем будет состоять это прощание, но, во всяком случае, не думал, что все произойдет таким образом.

— Прощайте, товарищ подполковник,— в последний раз повторил он совсем тихо.

Бабченко не расслышал. Он прилаживал к сводке чертежик и аккуратно по линейке проводил на нем линию. Еремин потоптался еще несколько секунд, повернулся к Сабурову и, пожав ему руку, вышел. Сабуров проводил его за дверь и там, у выхода из блиндажа, крепко обнял и поцеловал. Затем он зашел обратно к Бабченко.

Тот все еще писал. Сабуров с раздражением посмотрел на его упрямо склоненное лицо с начинавшим лысеть лбом. Сабуров не понимал, как мог подполковник, который провоевал с Ереминым год, вместе с ним рисковал жизнью, ел из одного котла, в случае нужды, наверно, спас бы его на поле боя,— как он мог сейчас так отпустить человека. Это было то бесчувствие к людям и к судьбе их, после того как они выбывали из части, которое Сабуров с удивлением иногда встречал в армии. Сабуров так ощущал на себе эту боль, только что перенесенную Ереминым, что, когда Бабченко, желавший узнать из первых рук, что делается в армии, наконец заговорил с ним,— Сабуров, против обыкновения, отвечал очень сухо, почти резко. Ему хотелось только одного: поскорее кончить разговор, чтобы Бабченко вновь уткнулся в свои бумаги и не смотрел больше на него так же, как он не посмотрел на уходившего Еремина.

Возвращаясь в батальон, Сабуров по дороге подумал: странная вещь — в том, что вдруг из Сталинграда в самые горячие дни человека брали учиться в Академию связи, несмотря на кажущуюся на первый взгляд нелепость этого, было в то же время ощущение общего громадного хода вещей, который ничем нельзя было остановить.

X

Дома, в батальоне, Сабурова ждал гость. За столом, против комиссара, сидел незнакомый худощавый немолодой командир, в очках, с двумя шпалами на петлицах. Когда Сабуров вошел, оба поднялись.

— Вот позволь представить тебе, Алексей Иванович, товарищ Лопатин из Москвы, корреспондент центральной прессы.

Сабуров поздоровался.

— Давно из Москвы?

— Вчера утром был еще на Центральном аэродроме,— сказал Лопатин.

— Ну, как там Москва без нас?

Лопатин улыбнулся. Скольких бы он ни встречал людей, ни один не мог удержаться от этого вопроса.

— Ничего, стоит,— ответил он той же фразой, какой всегда отвечал на этот вопрос.

— Кто вас к нам направил?

— Командир дивизии. Но мне еще во фронте посоветовали заехать именно к вам в батальон.

— Ну? — удивился Сабуров.— Что ж вам там сказали про нас? Интересно все-таки.

— Сказали, что вы отбили три дома и площадь и с тех пор за шестнадцать суток ничего не отдали немцам.

— Это верно, не отдали,— подтвердил Сабуров.— Если бы попали к нам дней семь-восемь назад, было бы интересней. А сейчас тихо.

Лопатин снова улыбнулся. Сколько раз он слышал эти слова: «Вы бы приехали к нам пораньше...» Людям всегда казалось, что самое интересное у них или уже было, или еще только будет.

— Ничего,— сказал он,— посижу у вас, соберу материал. Это даже хорошо, что тихо, можно с людьми поговорить.

— Да,— согласился Сабуров,— тогда бы не поговорили.

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, что про Сталинград пишут, что говорят вообще? — спросил Сабуров с жадностью человека, давно не видавшего газет.

— Много пишут,— ответил Лопатин,— а еще больше думают... Недавно был на Северо-Западном, там многие просто изводятся. Считают, что здесь ад, и все-таки подают рапорта, чтоб их послали сюда.

— Вы к нам надолго? — спросил Сабуров.

— Да нет, денька на два, а потом на южный участок...

— Правильно,— поддержал Сабуров,— там сейчас горячее.

— С кем посоветуете поговорить у вас?

— Ну с кем же?.. С Конюковым можно поговорить. Есть у нас такой старый солдат. По ротам можно сходить, Гордиенко — командир первой роты или хотя бы Масленников — мой начальник штаба, молодой, но очень хороший командир,— вам командиры тоже нужны?

— Конечно.

— Тогда с Масленниковым поговорите.

— Я с вами хочу поговорить,— сказал Лопатин.

— Со мной? Можно и со мной поговорить, только с батальоном познакомьтесь сначала. Командира батальона без этого не раскусишь. А что он сам про себя расскажет — дело второе... Сколько времени?— поглядел на часы Сабуров.— Четыре часа. Долго я провозился... Надо спать. Мы вам завтра сюда койку притащим, а сегодня уж вы на пару с начальником штаба или с комиссаром. Положил бы с собой, но боюсь, что прогадаете.

— Боюсь, что так,— согласился Лопатин, поглядев на рослую фигуру Сабурова.

Сабуров уже совсем было собрался спать и стоял посреди комнаты, размышляя, где бы достать одеяло для гостя. Вдруг его взгляд упал на стоявшую на столе фляжку, и ему захотелось выпить.

— А вам очень хочется спать? — спросил он.

— Да нет, не очень.

— Тогда, может быть, все-таки... Ты кормил его, комиссар?

— Немножко закусили.

— Давайте закусим еще и со мной, если спать не очень хочется.

Пока Петя собирал на стол, Сабуров один за другим задавал Лопатину короткие неожиданные вопросы.

— Как, баррикады стоят еще в Москве?

— Нет, разобрали.

— А укрепления вокруг остались?

— По-моему, остались.

— И люди там, на всякий случай, сидят?

— Насколько понимаю, сидят.

— Вот это хорошо. А в опере вы бывали?

— Один раз был.

— На чем?

— На «Евгении Онегине».

— Интересно,— сказал Сабуров.— Значит, идет, как и раньше шла! Я вообще-то не люблю оперу.

— Я тоже,— сказал Лопатин.

— Певицы обычно полные, а играют девушек. Не вяжется. Может, сейчас, в связи с войной, похудели?

— Нет, не похудели,— улыбнулся Лопатин.

— Машин, наверно, много меньше стало в Москве?

— Меньше, а народу уже прибавилось, не то что зимой сорок первого.

Петя принес сковородку с жареными консервами.

— Вот американские консервы,— сказал Сабуров,— прошу. Мы тут между собой, шутя, их вторым фронтом называем. Надеюсь, пьете? — спросил он, ставя перед гостем фугасник.

Лопатин усмехнулся, он уже привык, что ему постоянно задавали этот вопрос даже на фронте, где обычно человека не спрашивают — пьет он или не пьет. Виною были его профессорские с двойными стеклами очки и вообще вся его сугубо невоенная внешность обряженного в форму научного работника средних лет.

— Пью, разумеется.

Они выпили по одному фугаснику, потом и по второму.

Сабуров страшно устал за день, и, против обыкновения, водка слегка ударила ему в голову.

— Советую в один из дней во вторую роту сходить, там у меня очень хорошие люди; особенно с Конюковым поговорите. А вы знаете,— сказал он, останавливаясь от внезапно пришедшей ему в голову мысли,— вам, наверное, страшнее на войне, чем нам.

— Почему?

— Ведь вы же свое дело делаете потом, когда в Москву вернетесь, или там на телеграфе, в штабе, а тут только смотрите для того, чтобы потом написать. Мне почему не так страшно? Потому что я занят, мне дохнуть некогда: тут идет обстрел, мины рвутся, а я говорю по телефону — мне доложить нужно, но телефонист не слышит, я его матом, ну и за всем этим как будто и забудешь про мины. А вам же тут делать нечего: только сиди и жди — попадет или нет. Вот вам и страшней.

— Да, может быть, вы и правы,— согласился Лопатин.

Они оба помолчали.

— Ляжем спать? — спросил Сабуров.

— Сейчас ляжем,— нехотя ответил Лопатин.

Ему не хотелось прерывать беседы. Он уже имел много случаев убедиться, что люди на войне стали проще, чище и умнее. Быть может, в сущности, они остались теми же, какими были, но хорошее у них оказалось на виду оттого, что их перестали судить по многочисленным и неясным критериям. Началась война, и все это оказалось не самым существенным, и люди перед лицом смерти перестали думать о том, как они выглядят и какими они кажутся,— на это у них не осталось ни времени, ни желания.

— Ложитесь,— сказал Сабуров,— утро вечера мудренее, завтра сами найдете, с кем стоит поговорить, у меня много хороших людей, почти все хорошие. Вам, наверное, часто приходится слышать от командиров эту фразу.

— Часто,— подтвердил Лопатин.

— Ну что ж, она правильная. Не знаю, какими они были до войны и какими будут после нее, но сейчас они действительно поч-

ти все хорошие. И, надеюсь, такими и останутся — те, конечно, кто будет жив. Ну, будем спать.

Сабуров подошел к кровати, на которой, раскинувшись, лежал уже уснувший Ванин, и подвинул его к краю.

— Зачем? — торопливо сказал Лопатин.— Разбудите.

— Нет,— улыбнулся Сабуров,— будет спать. Вот если телефон зазвонит — другое дело, по себе знаю. Ложитесь, полкойки свободно.

Лопатин снял сапоги и, не раздеваясь, лег, накрывшись шинелью.

Сабуров сел на свою кровать и закурил. Ему не спалось. Снаружи доносился равномерный унылый шелест дождя, быть может, последнего в этом году.

XI

Рано утром Лопатин с Ваниным ушли в первую роту. Сабуров остался: он хотел воспользоваться затишьем. Сначала они два часа просидели с Масленниковым за составлением различной военной отчетности, часть которой была действительно необходимой, а часть казалась Сабурову лишней и заведенной только в силу давней мирной привычки ко всякого рода канцелярщине. Потом, когда Масленников ушел, Сабуров сел за отложенное и тяготившее его дело — за ответы на письма, пришедшие к мертвым. Как-то так уж повелось у него почти с самого начала войны, что он брал на себя трудную обязанность отвечать на эти письма. Его сердили люди, которые, когда кто-нибудь погибал в их части, старались как можно дольше не ставить об этом в известность его близких. Эта кажущаяся доброта представлялась ему просто желанием пройти мимо чужого горя, чтобы не причинить боли самому себе.

«Петенька, милый,— писала жена Парфенова (оказывается, его звали Петей),— мы все без тебя скучаем и ждем, когда кончится война, чтобы ты вернулся... Галочка стала совсем большая и уже ходит сама, и почти не падает...»

Сабуров внимательно прочел письмо до конца. Оно было не длинное — привет от родных, несколько слов о работе, пожелание поскорее разбить фашистов, в конце две строчки детских каракулей, написанных старшим сыном, и потом несколько нетвердых палочек, сделанных детской рукой, которой водила рука матери, и приписка: «А это написала сама Галочка...»

Что ответить? Всегда в таких случаях Сабуров знал, что ответить можно только одно: он убит, его нет,— и все-таки всегда он неизменно думал над этим, словно писал ответ в первый раз. Что ответить? В самом деле, что ответить?

Он вспомнил маленькую фигурку Парфенова, лежавшего навзничь на цементном полу, его бледное лицо и подложенные под голову полевые сумки. Этот человек, который погиб у него в первый же день боев и которого он до этого очень мало знал, был для него товарищем по оружию, одним из многих, слишком многих, которые дрались рядом с ним и погибли рядом с ним, тогда как он сам остался цел. Он привык к этому, привык к войне, и ему было просто сказать себе: вот был Парфенов, он сражался и убит. Но там, в Пензе, на улице Маркса, 24, эти слова — «он убит» — были катастрофой, потерей всех надежд. После этих слов там, на улице Карла Маркса, 24, жена переставала называться женой и становилась вдовой, дети переставали называться просто детьми,— они уже назывались сиротами. Это было не только горе, это была полная перемена жизни, всего будущего. И всегда, когда он писал такие письма, он больше всего боялся, чтобы тому, кто прочтет, не показалось, что ему, писавшему, было легко. Ему хотелось, чтобы они почувствовали, что им пишет товарищ по горю — тогда все же легче прочесть. Может быть, даже не то: не легче, но не так обидно, не так скорбно прочесть...

Людям иногда нужна ложь, он знал это. Они непременно хотят, чтобы тот, кого они любили, умер героически или, как это пишут, пал смертью храбрых... Они хотят, чтобы он не просто погиб,— чтобы он погиб, сделав что-то важное, и они непременно хотят, чтобы он их вспомнил перед смертью.

И Сабуров, когда отвечал на письма, всегда старался утолить это желание, и, когда нужно было, он лгал, лгал больше или меньше — это была единственная ложь, которая его не смущала. Он взял ручку и, вырвав из блокнота листок, начал писать своим быстрым, размашистым почерком. Написал о том, как они служили вместе с Парфеновым, как Парфенов героически погиб здесь в ночном бою, в Сталинграде (что было правдой), и как он, прежде чем упасть, сам застрелил трех немцев (что было неправдой), и как умер на руках у Сабурова, и как перед смертью вспоминал сына Володю и просил передать ему, чтобы тот помнил об отце.

Закончив письмо, Сабуров взял лежавшую перед ним фотографию и, прежде чем вложить в конверт, посмотрел на нее. Она была снята еще в Саратове, где они переформировывались: маленький Парфенов стоял в воинственной позе, придерживая рукой кобуру нагана,— наверное, на этом настоял фотограф.

Следующее письмо было сержанту Тарасову из первой роты. Сабуров знал, что Тарасов тоже погиб в первом бою, но как и при каких обстоятельствах — не знал. Это было письмо из деревни, написанное крупными буквами на клетчатой тетрадочной бумаге, с

упоминанием всех родных — короткое обычное письмо, в котором, однако, за каждой буквой его чувствовались любовь и тоска, неумело выраженные, но от этого не менее сильные... И, отвечая на это письмо, не зная, как погиб Тарасов, Сабуров все-таки написал, что тот был хорошим бойцом, погиб смертью храбрых и что он, командир, гордился им.

Потом Сабуров взялся за третье письмо и, дописав его до конца, позвонил в первую роту, где были сейчас комиссар и Лопатин.

— Уже пошли к вам,— ответил командир роты Гордиенко.

— Лазили? — спросил Сабуров.

— Порядочно.

Сабуров услышал, как Гордиенко усмехнулся в телефон, и, положив трубку, облегченно вздохнул.

Обедали вчетвером: кроме комиссара и Лопатина, подошел и Масленников. Лопатин, вернувшись в штаб, был полон той радостной облегченности, какая появляется у человека на войне, когда чувство опасности переходит в чувство относительной безопасности.

За обедом он заговорил как раз об этом.

— Вот вы вчера говорили, кому из нас страшней. Откровенно сказать, чувство опасности и возможность умереть — утомительное чувство, от него устаешь, не правда ли?

— Правда,— подтвердил Сабуров.

— В тылу часто не понимают, что опасность не есть величина постоянная, что на фронте все относительно. Когда после атаки солдат попадает в окоп, окоп кажется ему безопасностью, когда я из роты прихожу к вам в батальон, мне эта ваша нора кажется крепостью, когда вы попадаете в штаб армии, вам кажется,— там тишина, а на том берегу Волги, хоть его и обстреливают, для [illegible] курорт, между тем как для меня вчера утром уже тот берег казался страшной опасностью.

— Все верно,—согласился Сабуров,— с той поправкой для Сталинграда, что здесь сейчас штаб армии находится так же близко от немцев и в такой же опасности, как мы, а учитывая сегодняшнее затишье у нас, даже в большей.

После обеда Сабуров взял шинель и, надевая ее, без всякой задней мысли сказал:

— Ну, я пойду во вторую роту...

Но Лопатин воспринял это как приглашение или, может быть, даже вызов. Он тоже поднялся и молча надел шинель.

— А вы куда?

— С вами,— ответил Лопатин.

Сабуров посмотрел на него, хотел возразить, но потом понял, что если этот человек принял простые, не относившиеся к нему

слова за предложение идти, то теперь он все равно настоит на своем. И, питая неприязнь к лишним разговорам, Сабуров просто сказал:

— Ну, хорошо, пойдемте.

Второй ротой по-прежнему командовал сибиряк Потапов. Увидев Сабурова с незнакомым человеком, должно быть, из штаба, Потапов, по укоренившейся у фронтовиков в дни затишья привычке, начал с того, что пригласил их к себе в блиндаж закусить чем бог послал.

— Ничего особенного, правда, нет — наши сибирские пельмени, только и всего.

Сабуров знал, что если уж у Потапова есть пельмени, то это отличные пельмени. И вообще в тоне, которым было сказано Потаповым «ничего особенного», было то особое фронтовое щегольство, с которым младшие начальники приглашали к столу старших, повсюду, начиная с роты и кончая армией. Всегда, когда это было мало-мальски возможно, они старались устроить так, чтобы повар у них был лучше, чем у начальства, и готовил вкуснее...

Отказавшись от пельменей, Сабуров и Лопатин пошли по окопам.

Отделение, которым командовал Конюков, окопалось за передней стеной дома. Окоп был вырыт под самой стеной, вдоль фундамента. Два хороших хода сообщения шли из окопа назад под дом, где была вырыта покрытая обгорелыми бревнами землянка. Два пулеметных гнезда были аккуратно устроены, места для стрелков тоже, причем слева всюду были сделаны земляные полочки, где лежал всякий солдатский припас: гранаты, котелки и прочее.

— Курите, курите,— сказал Сабуров, когда собравшиеся перекурить бойцы вытянулись при его появлении.

— Насыпай табачок да кури, землячок,— подал команду Конюков.

Все кругом засмеялись, и Сабуров понял, что разговор в рифму не случайность, видимо, Конюков щеголяет этим.

— Ну, как живешь, Конюков?— спросил Сабуров.

— Хорошо, товарищ капитан.

В Конюкове не исчезла дисциплинированность, но после полумесяца боев среди опасностей он стал чувствовать себя на более товарищеской ноге с начальством.

— Как, привык к бомбам?

— Так точно, привык. Уж он («он» — на солдатском языке неизменно означало — немец) бросает их, бросает, приучает, приучает, как же тут не привыкнуть!

— Вот старший сержант Конюков,— сказал Сабуров, повернувшись к Лопатину.— За храбрость представлен мною двадцать седьмого числа к ордену.

Конюков счастливо улыбнулся. Он уже слышал от командира роты, что его представили к ордену, но то, что сейчас командир батальона вслух повторил это при бойцах, было ему приятно. Как это часто бывает с людьми в минуту волнения, он вспомнил не то, что требовалось сказать сейчас, а то, что въелось еще издавна, на действительной, и вместо «Служу Советскому Союзу» рявкнул: «Рад стараться...»

— Вот товарищ корреспондент из Москвы,— сказал Сабуров.— Расскажи ему, Конюков, чем ты двадцать седьмого отличился, а мне дай пока бинокль.

Конюков снял с груди и передал капитану большой цейсовский бинокль, подобранный им еще в день взятия дома. Он неизменно носил бинокль на груди, что придавало ему командирский вид, и сейчас отдал его Сабурову с некоторым душевным трепетом, ибо еще с той войны знал, что занимательные и полезные трофеи начальство любит отбирать у подчиненных для себя.

Пока Сабуров, примостившись за выступом стены, внимательно рассматривал в бинокль развалины соседней улицы, Конюков неторопливо приступил к рассказу. Двадцать седьмое число он и сам считал своим особенно удачным днем, и рассказывать об этом ему доставляло удовольствие.

Двадцать седьмого он был связным и семь раз засветло переползал по открытому месту из второй роты в первую и обратно там, где все остальные связные были убиты. Рассказывал он об этом со свойственной старым солдатам особой картинностью изображения.

— Ползу, значит, это я, а пули так поверх меня и летят, и летят, а у меня на спине тощий такой вещевой мешочек, и в нем табачок да хлебушко, потому что хлебушко да табачок хотя и легче без них ползти, но оставлять нельзя — знаешь, куда ползешь, вдруг обратно не приползешь... Или ранят посередь дороги, опять же перекурить надо и хлебушко пожевать... И котелок у меня за спиной поверх мешка, потому что нет едока, чтобы он был без котелка,— опять срифмовал Конюков.— Ползу, и так у меня котелок мотается из стороны в сторону, гремит. И не потому гремит, что привязан плохо, а потому, что пули по нему бьют,— он же высоко,— ползу и вдруг чувствую, что на спине у меня горячо... Вытащил нож, чиркнул по ремню и отрезал мешок. Свалился он рядом со мной и дымится; он его, значит, зажигательной пулей прожег. И тут я засмеялся,— мне смешно стало, потому что, думаю, что я, танк, что ли, что он у меня башню зажег... Ну, скинул мешок и

дальше пополз, а табак пропал, сгорел. Опять дальше ползу... Совсем ровное место, а грязно было, слякоть, и до того ползу к земле тесно, что грязь аж в голенища залезает. А он еще и еще по мне бьет. Ну, я уж совсем к земле прижимаюсь...

Конюков оглянулся: бойцы слушали его не в первый раз, и на лицах их изобразилась в этом месте готовность улыбнуться: они предвидели, что здесь будет уже известная им и неизменно доставлявшая удовольствие шутка.

— Ползу и до того тесно к земле прижимаюсь, как по первому году к молодой жене не прижимался, ей-богу, вот те крест,— серьезно перекрестился Конюков под хохот окружающих.— А потом я за развалину заполз, так он меня из пулемета взять не может и в живых отпустить тоже не хочет; обидно ему — вторую войну все в меня целит, а попасть не может, промахивается. Ну и начал он в меня мины бросать. А кругом грязища... Мина разорвется, а осколки кругом меня шлепают, будто овцы по грязи идут...

— Ну, вы еще тут пока поговорите,— сказал, прерывая Конюкова, Сабуров,— я сейчас вернусь,— и, отдав обрадованному Конюкову бинокль, вылез из окопа и пошел в соседний взвод.

Минут через тридцать, уже собираясь обратно, он услышал там, где было отделение Конюкова, несколько длинных пулеметных очередей из «максима», и сейчас же одна за другой пять или шесть немецких мин просвистели над головой. Выждав с минуту, Сабуров пополз обратно. Он застал Конюкова и Лопатина сидящими друг против друга в окопе.

— Вот видишь, я же говорил,— неодобрительно произнес Конюков.— Как мы по ему стеганули, так и он по нас.

— Ну и правильно,— отвечал несколько взволнованный Лопатин.

— В чем тут дело? — спросил Сабуров.— Ни в кого не попало?

— Нет, вот только ихнюю фуражечку попортило,— сказал Конюков, приподнимаясь и насмешливо двумя пальцами беря с края окопа лежавшую там донышком вниз фуражку Лопатина.— Они ее, как целиться стали, сняли и вот положили. А немец, аккурат, как яиц в лукошко, туда осколков и насыпал.

Действительно, на дне фуражки лежало два мелких осколка, попавших в нее уже на излете и не прорвавших фуражки насквозь.

Сабуров, вытряхнув осколки, посмотрел на фуражку.

— Все подумают — моль проела, никто не поверит, если расскажете, что осколки попали.

— А я не буду рассказывать,— усмехнулся Лопатин.

— Значит, это вы стреляли? — спросил Сабуров.

— Я... Вот по тем развалинам. Они мне сказали, там немцы сидят.

— Сидят, так точно,— подтвердил Конюков,— оттого и ответ дали, что сидят.

— А отчего сегодня так редко стреляете по ним? — спросил Лопатин.— Патроны бережете?

— Зачем патроны,— ответил Конюков,— не патроны бережем, а чего же стрелять, пока его не видать. Как его видать будет, так и будем стрелять...

— Кончили разговор? — спросил Сабуров.— Кончили? Ну и хорошо, пойдемте.

Когда они добрались до блиндажа Потапова, тот, встретив их на пороге, опять заговорил о пельменях.

— Очень прошу, хотя бы ради приезда гостя, а, товарищ капитан? — начал Потапов, и именно в этот момент сразу два тяжелых снаряда разорвались позади блиндажа.

Сабуров толкнул Лопатина в блиндаж, а сам, прижавшись к стенке, стал ждать. Вслед за первыми спереди и сзади обрушилось еще десятка полтора снарядов, потом начали рваться мины, и снова снаряды, и снова мины, и так продолжалось минут пятнадцать.

Стараясь перекричать грохот, Потапов уже давал приказания связным, и те по ходам сообщения бежали во взводы.

Сабуров поглядел на небо. Построившись гусиным клином, шли немецкие бомбардировщики. Он прикинул на глаз: отсюда трудно было разобрать, но казалось — их не меньше шестидесяти!..

После минутной паузы начала снова бить артиллерия. Сзади блиндажа вздымались черные фонтаны.

— Вот и кончилось затишье,— тихо сказал Сабуров скорее себе, чем Лопатину.— Потапов,— позвал он.

— Слушаю.

— Батальонный комиссар останется у вас, пока не кончится артподготовка. Выберете паузу и пошлете его с автоматчиком ко мне. Я пойду в батальон.

— Товарищ Сабуров, я с вами,— попросился Лопатин.

— Нет,— отрезал Сабуров.— Сейчас мы с вами дискуссировать не будем. Потапов выберет минуту и пошлет вас с автоматчиком.

— А не лучше ли...

— Все. Здесь хозяин я. Петя, пошли...

И, выскочив из окопа, Сабуров и Петя быстрыми перебежками двинулись к дому, где помещался штаб батальона.

Затишье действительно кончилось, и Сабуров, переползая от воронки к воронке, подумал о том, что если самое большее через полчаса не начнется немецкая атака,— значит, он еще ничему не научился на этой войне.

После затишья шли уже пятые сутки боев. Сабуров, пятую ночь спавший кое-как, проснулся от грохота канонады. Он пошарил рядом с собой свалившуюся с койки шинель, натянул ее и только тогда, сев на койку, открыл глаза. В первый раз за войну он почувствовал головокружение: в воздухе плясали огненные точки, потом они превращались в сплошные огненные круги и вертелись перед глазами. Сегодня это было особенно некстати: предстояли и трудный день и трудная ночь. Вчера вечером батальонный разведчик казанский татарин Юсупов, бывший борец, кроме «языка», принес еще интересные сведения. Судя по его рассказу, за южными развалинами (так теперь в батальоне называлось разрушенное здание заводского клуба) оставался свободный проход, не охраняемый немцами. Юсупов беспрепятственно лазил по нему уже вторую ночь и уверял, что если обмотать чем-нибудь сапоги и не греметь автоматами, то можно через этот проход выбраться дворами в тыл к немцам и ночью перебить целую роту. Перебить целую немецкую роту было соблазнительным делом, но хотя Сабуров и доверял Юсупову, однако, прежде чем пойти на такое предприятие, хотел лично удостовериться в точности его донесения. Сегодня на одиннадцать часов вечера он назначил рекогносцировку. И вот опять не выспался, хотя, готовясь к рекогносцировке, специально хотел выспаться. И еще это чертово головокружение... Впрочем, впереди был целый день; всего тяжелее с утра, пока не расходишься.

Он поднялся, подошел к лампочке и, взяв со стола зеркало, посмотрелся в него: «Сегодня можно еще не бриться». В блиндаже было душно и сыро, со стен текло. Кладя зеркало, он уронил его, и оно разбилось. Сабуров подобрал самый большой осколок, в который можно было еще смотреться, положил на стол.

«Разбить зеркало — к беде». Он усмехнулся. Война была такая, что все дурные приметы неизменно исполнялись. Не одно, так другое несчастье или беда приходили каждый день. Нетрудно стать суеверным.

Он свернул цигарку и чиркнул спичкой. Отсыревшая спичка не зажигалась. Потом чиркал еще и еще, подряд штук десять. Плюнув, бросил на пол и цигарку и спичечную коробку.

В этом блиндаже Сабуров обосновался позавчера. В первый же день немецкого наступления, после затишья, несколькими прямыми попаданиями разбило подвал котельной, где размещался его командный пункт. Пришлось перейти в другой, но на следующий день к вечеру разбило и другой. Тогда он перебрался сюда.

Здесь лежали когда-то канализационные трубы, уходившие под землю. Саперы расширили за одну ночь отверстие и сделали блиндаж. Это был третий КП за пять дней.

Он вышел из блиндажа, по ходу сообщения добрался до наблюдательного пункта и оттуда стал руководить отражением атаки. Телефонная связь с ротами рвалась три раза, за час убило двух связистов. Наконец немцев отбили. Вернувшись в блиндаж, Сабуров позвал Масленникова и отдал приказания, необходимые для отражения новых атак. Едва успел поговорить с Масленниковым, как к нему в блиндаж влез знакомый военюрист из дивизии, следователь прокуратуры. Сабуров, поднявшись с койки, поздоровался с ним.

— Что,— спросил он,— со Степанова допрос снимать будете?

— Да.

— Горячо сегодня, не время.

— Все время не время, неизвестно, когда время будет,— возразил следователь.— Ничего не поделаешь.

— Отряхнитесь,— сказал Сабуров.

Следователь только теперь заметил, что был весь в грязи.

— Ползли?

— Да.

— Хорошо, что благополучно.

— Почти,— сказал следователь.— У вас сапожника нет в батальоне?

— А что?

— Осколком, как на смех, полкаблука оторвало.

Он вытянул ногу: у сапога действительно было аккуратно отрезано полкаблука.

— Нет сапожника. Был один, вчера ранили. Где же Степанов? Петя! — крикнул Сабуров.— Проводи товарища командира к дежурному, там у него за помощника Степанов сидит,— босой, знаешь?

— Знаю.

— Как, помощник дежурного? — удивился следователь.

— А что же мне с ним делать? Охрану возле него ставить? У меня и так людей нет.

— Так он же под следствием.

— Так что же, что под следствием. Говорю вам — нет людей. Тут мне, в ожидании ваших решений, его охранять некем и, по совести говоря, не для чего...

Следователь вышел вместе с Петей. Сабуров, глядя им вслед, подумал, что война изобилует нелепыми положениями. Конечно, этот следователь делает свое дело и Степанова, может, и надо отдать под суд, но вот следователь приполз допрашивать его здесь...

Для того чтобы снять допрос, он рисковал жизнью... Его могли убить по дороге, и, когда он будет допрашивать, его тоже могут убить, и когда он пойдет обратно в дивизию и, может быть, возьмет с собой Степанова, то и Степанова и его на обратном пути совершенно одинаковым образом могут убить. А между тем все это, вместе взятое, как будто происходило по правилам, так, как и должно было происходить.

Забрав Степанова из дежурки и для порядка взяв конвоира, следователь устроился в полуподвале с обвалившимися окнами. Сквозь дыру в перекрытии просвечивало небо. Стена была в двух местах насквозь пробита снарядами, на каменном полу темнели пятна крови,— наверное, тут кого-нибудь убило или ранило.

Степанов сидел на корточках у стены, следователь — на кирпичах посредине подвала. Он записывал, положив на колени планшет.

Степанов был колхозник из-под Пензы, боец второй роты. Ему было тридцать лет. Дома у него остались жена и двое детей. Его призвали в армию, и он сразу же попал в Сталинград. Вчера вечером, во время последней атаки немцев, вместе со своим напарником Смышляевым он сидел в глубоком «ласточкином гнезде» и стрелял по танкам из противотанкового ружья, но промахнулся два раза подряд, и танк, прогрохотав гусеницами над головой, прополз дальше. Смышляев закричал что-то непонятное, приподнялся и бросил вслед танку, под гусеницу, тяжелую противотанковую гранату. Она взорвалась, танк остановился, но в это время второй танк с таким же ревом пронесся над окопом. Степанов успел нырнуть глубоко в гнездо, и его только засыпало землей. Смышляев не успел. Когда Степанов приподнялся, вместе с землей в «ласточкино гнездо» свалился Смышляев, вернее нижняя часть его, до пояса,— все, что выше, было раздавлено танком. Когда этот кровавый обрубок упал в окоп рядом со Степановым, тот не выдержал и, не думая больше ни о чем, пополз из окопа. Он полз все время к Волге, ничего не соображая, стремясь только отползти как можно дальше.

Ночью его нашли уже в расположении штаба полка. Степанов рассказал все, как было. Бабченко дал ему конвоира и с сопроводительной отправил к Сабурову, послав по официальной линии в дивизию сведения о нем как о дезертире.

Сабурову доложили об этом случае, но он в суматохе боя не успел сам во всем разобраться, а теперь по донесению Бабченко сюда уже явился следователь...

Обвиняемый сидел перед следователем и отвечал то же самое, что он отвечал вчера ночью Бабченко. Следователь, против обыкновения, медлил и задавал много вопросов. Он не знал, что

делать. Степанов был дезертир, но в то же время ничего преднамеренного не сделал. С ним был шок: он не вынес ужаса и пополз назад, и если бы дополз до берега Волги, то, возможно, опомнился и вернулся обратно. Так думал следователь, так думал сейчас, придя в себя, и сам Степанов. Но факт дезертирства оставался фактом, и ради общего порядка оставить это безнаказанным было нельзя.

— Я бы обратно пришел, ей-богу,— после молчания, не ожидая новых вопросов, убежденно сказал Степанов.— Я бы и сам пришел...

В эту минуту беспрерывно гремевшая кругом канонада прекратилась и раздались близкие автоматные очереди. Петя, пробегавший через подвал от Сабурова к дежурному, крикнул на ходу:

— Немцы прорываются. Капитан приказал всем, кто с оружием, в бой,— и побежал дальше.

Следователь, немолодой и, в сущности, штатский человек, переодетый в военное, снял очки, протер стекла, снова надел их и, взяв лежавший рядом с ним автомат — оружие, с которым уже давно никто в дивизии не расставался,— неторопливо вылез через пролом наружу. Красноармеец, охранявший Степанова, в сомнении посмотрел на него, потом на пролом в стене, потом на Степанова и, сказав: «Ты посиди пока тут», вылез вслед за следователем.

Это была вторая за день решительная атака немцев, когда их автоматчики, человек двадцать, через стену забрались во двор дома. Во дворе шла стрельба в упор.

Были подняты на ноги все, кто находился в штабе батальона и кругом него.

Сабуров сам выбрался наверх и руководил боем настолько, насколько вообще можно руководить рукопашной.

Часть немцев убили, часть выбили за ограду. Следователь и конвоир влезли обратно через пролом и устало опустились на кирпичи. У следователя из кисти руки, слегка задетой пулей, сочилась кровь.

— Надо перевязать,— сказал конвоир.

— У меня пакета нет.

Степанов, порывшись в кармане гимнастерки, вытащил оттуда индивидуальный пакет. Вдвоем с конвоиром они перевязали раненому руку. Потом Степанов отошел и снова присел у стены. Лишь теперь они вспомнили, что допрос был прерван атакой и что его, очевидно, надо продолжить. Но продолжать допрос следователю не хотелось. Чтобы протянуть время и отдышаться, он здоровой рукой вытащил из кармана кисет с табаком, с трудом,

помогая себе забинтованными пальцами, свернул цигарку, потом, посмотрев на Степанова и конвоира, с той автоматической привычкой делиться табаком, которая появляется у людей, долго пробывших на фронте, протянул им кисет.

Степанов вслед за конвоиром взял щепотку, вытащил заботливо хранимый обрывок газеты, оторвал полоску и свернул цигарку. Все трое закурили. Курение продолжалось минут десять. Тем временем снова началась канонада. Под звуки ее следователь стал наспех доканчивать допрос, с трудом придерживая планшет раненой рукой. Вскоре допрос был окончен, предстояло сделать заключение. В эту минуту, так же как и в первый раз, канонада прекратилась и снова началась немецкая атака.

Заслышав автоматные очереди, следователь снова молча потянул к себе автомат, взял его в здоровую руку и, не оборачиваясь, вылез из подвала. Конвоир последовал за ним.

Степанов снова остался один, растерянно огляделся по сторонам и, услышав за стеной близкие выстрелы, полез в пролом следом за конвоиром. Выскочив наружу и увидев рядом с лежавшим на земле убитым красноармейцем винтовку, схватил ее. Затем, пробежав несколько шагов, лег на груду кирпичей, неподалеку от следователя и еще трех лежавших тут же бойцов. Когда левее него немцы выскочили из-за стены, он вместе со всеми начал по ним стрелять. Потом поднялся и, перевернув винтовку, прикладом ударил по голове набежавшего на него автоматчика. Потом снова упал за камни и несколько раз выстрелил по двигавшимся в глубине двора немцам.

Немцы тоже стреляли. На этот раз во двор их пробралось человек десять, и через несколько минут они все были или убиты, или ранены.

Атака отхлынула, выстрелы гремели уже за стеной. Степанов встал и, не зная, что делать, пошел туда, где лежали следователь и конвоир. Конвоир встал, но следователь продолжал лежать: он был ранен в ногу. Степанов поднял его, увидел, что нога сильно кровоточит, и, взвалив на плечи, потащил в подвал. Там он опустил его на пол, подложив, чтобы было повыше, два кирпича в изголовье.

— Сходи за сестрой или санитаром,— сказал ему следователь.

Степанов привел санитара, который, согнувшись над раненым, стал перевязывать ногу. Раненый не стонал. Он лежал молча и ждал, когда кончится эта боль.

Конвоир вытащил из-за голенища жестянку с махоркой, свернул цигарку себе, потом дал щепотку Степанову и спросил раненого:

— Разрешите вам свернуть?

— Сверни,— ответил тот.

Конвоир свернул цигарку, лизнул, заклеил и, вложив в рот раненому, зажег спичку. Раненый несколько раз подряд жадно затянулся.

По дороге к себе в блиндаж, через подвал, прошел Сабуров. Сегодня он до того устал, что ему было тяжело нести автомат, и он волочил его за собой прикладом по земле.

— Перекуриваете? — В углу его рта была зажата потухшая цигарка. Он закурил еще в блиндаже перед боем, но так и забыл о ней.— Дайте прикурить.

И только уже прикуривая у конвоира, сообразил, что это за люди. Он посмотрел на Степанова, потом на раненого и спросил:

— Сильно задело?

— Порядочно.

— Сейчас скажу, чтобы вынесли, а то опять начнется.— Он посмотрел на белое, без кровинки лицо следователя.— С допросом закончили?

— Закончили.

— Ну, и какое же ваше заключение?

— Какое же заключение,— сказал следователь.— Будет воевать. Вот и все.

Взяв планшет, он вытащил оттуда протокол и написал внизу: «Состава преступления для предания суду трибунала нет. Отправить на передовые»,— и расписался.

— Отправить на передовые,— повторил он вслух и, превозмогая боль, усмехнулся.

— Отправлять недалеко, сто шагов.— Сабуров повернулся к Степанову: — Иди к себе в роту. Винтовка чья?

— С убитого взял, товарищ капитан.

— Будет твоя. Доложи Потапову, что я тебя прислал.

Был особенно тяжелый день, один из тех, когда напряжение всех душевных сил доходит до такой степени, что в самый разгар боя неожиданно и невыносимо хочется спать. После двух утренних атак в полдень последовала третья. В обращенной к немцам части двора высилось небольшое полуразрушенное складское здание. Было оно построено прочно, с толстыми стенами и глубоко уходившим в землю подвалом. Среди остальных зданий, занимаемых Сабуровым, оно стояло особняком, немного впереди и на отлете. Именно сюда и направили немцы свою атаку в третий раз.

Когда одному танку удалось подойти вплотную к складу и он, прикрывшись его стеной от огня артиллерии, стал стрелять из пушки прямо внутрь, немецкие автоматчики забрались через проломы, и через несколько минут там прозвучал последний выстрел.

Первое желание Сабурова было попытаться тут же, среди белого дня, отбить склад. Но он сдержал себя и принял трезвое решение: сосредоточить весь огонь позади склада, не давая немцам до темноты втянуться туда крупными силами, а контратаку произвести с темнотой, когда решимость и привычка к ночным действиям возместят ему недостаток людей.

Бабченко, которому он доложил по телефону о потере склада, ничего не ответил по существу, но долго и злобно ругался и в заключение сказал, что придет сам. Сабуров предчувствовал столкновение, и его опасения оправдались. Бабченко, согнувшись, влез в блиндаж, злой, потный, с головы до ног забрызганный грязью.

— Ишь, забрался,— проворчал Бабченко.— Сколько метров над головой?

— Три.

— Ты бы еще глубже залез.

— А мне глубже не надо. И так не пробьет.

— Залез в землю, как крот,— съязвил Бабченко.

В сущности, он ничего не мог возразить. Сабуров копал этот блиндаж не специально, а лишь расширил старый туннель, и то, что блиндаж его был глубок и не боялся даже прямых попаданий, было только хорошо. Но немцы только что захватили склад, и Бабченко хотелось сорвать зло на комбате.

— Закопался,— повторил он.

Сабуров был зол, устал и не меньше, чем Бабченко, расстроен потерей склада. Он знал, что до самой ночи — до тех пор, пока не удастся отбить склад обратно,— эта мысль, как заноза, будет мучить его, и поэтому в ответ на слово «закопался» сказал с вызовом:

— Что, товарищ подполковник, прикажете командный пункт наверх перенести?

— Нет,— отрезал Бабченко, почувствовав в словах Сабурова иронию.— Склад отдавать не надо было, вот что.

Сабуров молчал. Он ждал продолжения.

— Что думаешь делать?

Сабуров доложил свой план ночной контратаки.

— Что ж,— сказал Бабченко, посмотрев на часы.— Сейчас четырнадцать. Значит, так и будут они до темноты там сидеть? Ты приказ читал, что ни шагу назад, а? Или, может быть, ты с приказом не согласен?

— В восемнадцать я начну атаку,— стараясь сдержаться, сказал Сабуров,— а в девятнадцать склад будет у меня.

— Ты мне это не говори. Ты приказ читал, что ни шагу назад?

— Да.

— А склад отдал?

— Да.

— Сейчас же отбить! — крикнул Бабченко не своим голосом, вскакивая с табуретки.— Не в девятнадцать, а сейчас же!

По его лицу Сабуров понял, что Бабченко был на той грани усталости и нервного исступления, на которой находился сегодня он сам. Спорить с Бабченко в эту минуту было бесполезно, и если бы дело шло лишь о том, что вот сейчас ему, Сабурову, было бы приказано идти одному к этому сараю среди бела дня, то он бы встал и пошел, с горьким чувством, что если нельзя доказать командиру полка его неправоту ничем другим, кроме своей собственной смерти,— черт с ним,— он, Сабуров, докажет ему это своей смертью. Но в контратаку нужно было вести людей, то есть надо было доказывать Бабченко, что он не прав, не только ценой собственной жизни, но и ценой жизни других.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить...

— Ну?

Сабуров еще раз повторил все мотивы, по которым он решил отложить атаку до ночи, и поручился, что в течение дня будет держать всю площадь за складом под таким огнем, что до ночи там внутри не прибавится ни одного немца.

— Ты приказ, чтобы ни на шаг не отступать, читал? — еще раз спросил Бабченко все с тем же беспощадным упрямством.

— Читал,— ответил Сабуров, вытягиваясь, не сводя глаз с Бабченко и встречая его взгляд таким же беспощадным взглядом.— Читал. Но я не хочу сейчас людей класть там, где их не надо класть, где можно почти без потерь все взять обратно.

— Не хочешь? А я тебе приказываю.

У Сабурова мелькнула мысль, что надо вот сейчас же что-то сделать с Бабченко, заставить его замолчать, не дать ему больше повторять этих слов; что ради спасения жизни многих людей надо позвонить Проценко и доложить, что он отказывается делать так, как хочет Бабченко, а потом — будь что будет — пусть с ним, с Сабуровым, делают что хотят. Но уже въевшаяся в кровь привычка к дисциплине помешала ему.

— Есть,— сказал он, продолжая смотреть на Бабченко.— Разрешите выполнять?

— Выполняй.

Все, что произошло после этого, надолго осталось в памяти, как дурной сон. Они вылезли из блиндажа, Сабуров в течение получаса собрал всех, кто был под рукой, Бабченко по телефону приказал поддержать контратаку пятью оставшимися еще в полку пушками, которые, впрочем, едва ли могли принести тут пользу. И контратака началась.

Хотя всего двадцать дней назад батальон начинал бои почти в полном составе, но сейчас, когда понадобилось днем, среди боя, организовать контратаку, Сабуров собрал вокруг себя только тридцать человек. Это был весь резерв, на который он мог рассчитывать.

Бабченко торопил. Слова «ни шагу назад» он понимал буквально, не желая считаться с тем, чего будут стоить эти сегодняшние потери завтра, когда немцы снова пойдут наступать и их нечем окажется держать. К началу контратаки с левого фланга не успели перетащить даже минометы, а Сабуров со своими тридцатью бойцами, перебегая от стены к стене, от развалин к развалинам, уже пошел вперед.

Кончилось это так, как он и ожидал. Семь человек остались лежать между развалинами. Остальные нашли себе каждый какое-нибудь укрытие неподалеку от склада, и никакая сила не могла заставить их подняться. Атака не удалась и в таких условиях и не могла удаться.

Когда люди залегли, немцы стали засыпать их минами. Остаться лежать здесь, где попало, за ненадежными укрытиями, была верная смерть. Огонь все усиливался. Разорвавшаяся рядом мина слегка оглушила Сабурова; вся левая половина лица вдруг сделалась чужой, словно набитой ватой. Обломками кирпича его оцарапало, по лицу текла кровь, но он ее не замечал. Когда огонь стал совершенно невыносимым, Сабуров, дав знак остальным, пополз обратно.

На обратном пути убило еще одного. Через час после начала этой затеи Сабуров стоял перед Бабченко за низким обвалившимся выступом дома, где тот, почти не прячась, с самой близкой дистанции, все время под огнем, наблюдал за атакой.

Сабуров козырнул и с хрустом опустил на землю автомат. Должно быть, его измазанное кровью и грязью лицо было такое страшное, что Бабченко сначала ничего не сказал, а потом произнес:

— Отдохните.

— Что? — спросил Сабуров, не расслышав.

— Отдохните,— повторил Бабченко.

Сабуров опять не расслышал. Тогда Бабченко крикнул ему в самое ухо.

— Меня оглушило,— сказал Сабуров.

— Отдохните,— сказал Бабченко в четвертый раз и пошел по направлению к блиндажу.

Сабуров двинулся вслед за ним. Они не спустились в блиндаж, а сели на корточки рядом, у выступа стены, где была дежурка. Оба молчали, обоим не хотелось смотреть друг другу в глаза.

— Кровь,— заметил Бабченко.— Ранен?

Сабуров вытащил из кармана грязный, земляного цвета носовой платок, плюнул на него несколько раз и вытер лицо. Потом ощупал голову.

— Поцарапало.

— Вызовите из рот всех, кого можно вызвать,— приказал Бабченко,— я сам поведу их в атаку.

— Сколько людей? — спросил Сабуров.

— Сколько есть.

— Больше сорока не будет.

— Сколько есть, я уже сказал,— повторил Бабченко.

Сабуров распорядился вызвать людей и перетащить поближе минометы; все-таки они хоть чем-то могли помочь. При всем своем упрямстве Бабченко понимал, что атака была неудачной по его вине и что следующая атака тоже едва ли будет удачной. Но после того как на его глазах, по его приказанию, бессмысленно погибли люди, он считал для себя необходимым попробовать самому сделать то, что не сумели сделать его подчиненные.

Пока подтаскивали минометы и собирали людей, давали последние приказания перед атакой, Бабченко вернулся обратно за обломок стены, откуда он наблюдал первую атаку, и стал внимательно рассматривать лежавшее впереди пространство двора, прикидывая, откуда будет удобнее и безопаснее перебегать. Сабуров молча стоял рядом с ним. Шагах в сорока разорвалась немецкая мина.

— Заметили,— сказал Сабуров.— Отойдемте, товарищ подполковник.

Бабченко молчал и не двигался. Вторая мина разорвалась чуть подальше.

— Отойдемте, товарищ подполковник. Заметили,— повторил Сабуров.

Бабченко продолжал стоять. Это был вызов. Он хотел показать, что, только что посылая людей в атаку, он требовал от них такой же готовности к смерти, какой требовал и от себя.

— Пойдемте! — крикнул Сабуров в третий раз, когда мина разорвалась совсем близко, прямо перед стеной, и над их головами просвистело несколько осколков.

Бабченко молча повернулся, посмотрел ему в глаза, плюнул себе под ноги и твердыми недрогнувшими пальцами, достав из кисета щепоть табаку, свернул папироску. Потом достал из кармана зажигалку, несколько раз чиркнул, зажег ее, повернулся против ветра и низко наклонился, чтобы закурить. Может быть, если бы он не повернулся, его бы не убило, но он повернулся, и осколок разорвавшейся в десяти шагах мины попал ему в голову. Он молча

упал к ногам Сабурова, тело его только один раз вздрогнуло и замерло. Сабуров опустился рядом с ним на землю, повернул его изуродованную голову и с неожиданным равнодушием подумал, что так оно и должно было случиться. Он приложил ухо к груди Бабченко: сердце не билось.

— Убит,— произнес он и потом повернулся к Пете, лежавшему в пяти шагах за стеной.

— Петя, иди помоги.

Петя подполз к нему. Они взяли Бабченко за руки и за ноги и перетащили к блиндажу.

— Минометы на позиции,— доложил подбежавший к Сабурову лейтенант.— Прикажете открыть огонь?

— Нет,— сказал Сабуров.— Отставить!

Он подозвал Масленникова и распорядился отменить приготовления к атаке и вернуть людей на их места. Потом, спустившись в блиндаж, позвонил в полк. К телефону подошел комиссар. Сабуров доложил, что Бабченко убит, доложил, при каких обстоятельствах, и сказал, что доставит его тело в полк, когда стемнеет.

Конечно, ему было жаль, что Бабченко убили, но в то же время у него было осознанное, совершенно ясное чувство облегчения от того, что теперь он может распорядиться так, как считает нужным, и что не будет повторена еще раз эта нелепая атака, придуманная Бабченко ради собственного престижа. Он приказал вынести раненых и готовиться к ночной атаке склада.

Немцы не предпринимали ничего нового. На сегодня с их стороны, пожалуй, было все кончено. Сабуров поговорил по телефону с ротами и лег спать, приказав разбудить его в семнадцать, перед началом темноты.

XIII

Он проснулся не от шума, а от пристального взгляда. Перед ним стояла Аня. Она смотрела на него своими большими спокойными глазами. Он поднялся и молча сел, тоже глядя на нее.

— Как хорошо, что вы проснулись. Мне уже скоро уходить.— Она протянула Сабурову руку.— Здравствуйте.

— Садитесь,— предложил Сабуров, подвигаясь на койке.

Аня села.

— Вижу, вы совсем поправились.

— Да, совсем,— подтвердила Аня.— Я ведь была легко ранена. Только много крови потеряла. Вы знаете,— быстро добавила она, не дав ему ничего сказать,— я встретила маму. Мы теперь с ней вместе.

— Вместе?

— Ну, не совсем вместе. Она там же в деревне, в избе живет, где наш медсанбат стоит; я там ночую с нею вместе. То есть не ночую, а по утрам сплю, когда возвращаюсь с переправы.

— Вы уже давно опять ездите сюда?

— К вам первый раз, а вообще четвертый день. Я маме про вас рассказывала.

— Что?

— Все, что знаю.

— А что же вы знаете про меня?

— Очень много.

— Ну, а все-таки?

— Много, много, почти все.

— Все?

— Я даже знаю, сколько вам лет. Вы тогда говорили правду. Мне ваш ординарец сказал.

— А что он вам еще обо мне сказал?

— Что вас сегодня чуть не убили.

— Еще?

— Еще? Больше ничего. Мне некогда было спрашивать. Мы раненых сейчас сносили в одно место. У вас много раненых.

— Да, много,— помрачнев, вздохнул Сабуров.— Значит, некогда было. А если было бы время, еще бы спрашивали?

— Да.

— Тогда спрашивайте у меня самого.— Он посмотрел на часы.— Проснулся раньше времени.

— Это я вас разбудила. Я на вас так долго смотрела, что вы проснулись. Нарочно. Я хотела, чтобы вы проснулись.

— Я очень рад вас видеть.

— Я тоже,— сказала Аня и посмотрела ему в глаза.

Он понял, что тот неожиданный поцелуй ночью, когда она лежала на носилках, ею не забыт, и вообще ничего не забыто, и что все то немногое, что было между ними, на самом деле очень важно. Он почувствовал это сейчас, когда взглянул на нее.

— Я тут хорошо если два часа в сутки спал,— сказал он.— Даже почти не вспоминал о вас, так тут все у нас было...

— Я знаю... У нас в медсанбате несколько раз были ваши бойцы. Я у них спрашивала, как у вас тут.

Аня теребила пальцами краешек гимнастерки. Сабуров понял, что это не от смущения, а оттого, что она хотела сказать что-то важное и подбирала слова.

— Ну? — выжидающе спросил он.

Она молчала.

— Ну, что? — повторил он.

— А я много думала о вас, очень много,— сказала она с обычной, отличавшей ее серьезной прямотой.

— И что надумали?

— Ничего я не надумала. Просто думала.

Она вопросительно посмотрела на него, и он почувствовал — она ждет, чтобы он сказал что-то хорошее, умное и успокоительное: что все будет хорошо, что они оба будут живы и еще что-нибудь такое же, взрослое, от чего она почувствовала бы себя под его защитой. Но ему ничего не хотелось говорить, ему просто хотелось обнять ее. Он положил руку ей на плечо, как тогда на пароходе, чуть придвинул ее к себе и сказал:

— Я так и думал, что вы придете.

И за этими словами она почувствовала, что он тоже хорошо помнит тот поцелуй на носилках и что именно поэтому говорит: «Я так и думал».

— Вы знаете,— заговорила она,— наверное, у всех так бывает в жизни, как у меня сейчас. Приходит день, и чего-то в этот день очень ждешь. Вот сегодня я с утра весь день ждала, что увижу вас, и ничего кругом не замечала. Днем очень стреляли, а я почти не замечала. Буду вот так ездить к вам и сама не замечу, как храброй стану.

— Вы и так храбрая.

— Нет, так не храбрая, а вот сегодня храбрая.

Он посмотрел на часы.

— На улице уже начинает темнеть?

— Да,— ответила она,— наверное. Я не заметила. Наверное, наверное,— встрепенулась она.— Надо уже вывозить раненых. Я пойду.

Он был рад этим ее словам: «Я пойду», потому что по часам следовало уже начать готовиться к атаке, хорошо, что она уходит первой.

— В один раз не заберете всех?

— Нет. Я еще раза два буду сегодня. До утра бы всех успеть, и то хорошо...

Сабуров встал и сказал:

— У нас командир полка убит сегодня. Вы знаете?

— Знаю. Рядом с вами, мне сказали. Вас оглушило сегодня?

— Немножко, уже прошло.

Он посмотрел на нее и только теперь догадался, почему она сегодня говорила громче, чем обычно.

— Тоже Петя рассказал?

— Да... Я вас еще увижу сегодня?

— Да, да, конечно,— заторопился Сабуров.— Конечно, увидите. А как же. Только...

— Что?

Он хотел сказать, чтобы она была осторожнее, и замолчал. Как она могла быть осторожнее? Всегда один и тот же, обычный путь, по которому надо нести раненых в одно и то же время суток. Как она могла быть осторожнее? Просто глупо было бы говорить ей об этом.

— Нет, ничего,— произнес он.— Конечно, увидимся. Непременно.

Когда она вышла, Сабуров с минуту сидел молча. Потом встал и быстро надел шинель. Ему захотелось поскорей отбить склад не только потому, что это было нужно, но еще и потому, что только после этого он мог увидеть Аню. Он подумал об этом и сам удивился этой мысли, похожей на мысль о любви.

Однако мысль все-таки возникла и не исчезала. Она оставалась с ним и тогда, когда он давал последние распоряжения перед атакой, и когда они пошли в эту атаку и сначала ползли среди развалин, а потом перебегали под огнем, и когда, бросив две гранаты, он ворвался с остальными в склад и там началась та неразбериха с выстрелами, криками и стонами, которая называется рукопашной.

На этот раз он взял склад обратно, имея всего одного убитого и пять раненых. И хотя у него, как у многих русских людей, было не показное, а действительное правило не думать и не говорить плохо о мертвых, но он еще раз с раздражением подумал о Бабченко.

Ванин, вернувшийся днем из второй роты, участвовал в атаке вместе с ним. И хотя это было неблагоразумно, Сабуров не нашел в себе сил отказать ему. Вообще он сейчас испытывал такое душевное состояние, при котором ему трудно было отказать человеку в чем-нибудь хорошем. Они все время были рядом и вместе вернулись в блиндаж.

— Этот склад, между прочим, был для декораций,— сказал Ванин.— Вот тот дом, что впереди, это театр строился, а при нем склад для декораций. И двор. Там рельсы положены, чтобы на вагонетке декорации прямо со сцены увозить. Здорово, верно?

— Верно.— Сабуров невольно улыбнулся.

— Ты что? — спросил Ванин.

— Подумал, что нет ни одного дома кругом, о котором бы ты не знал всех подробностей.

— А как же? Я же все это строил. И не только дома, я почти всех людей тут знаю. Тут девушка-сестра была у тебя, да?

— Да,— настороженно подтвердил Сабуров, подумав, что сейчас Ванин позволит себе какую-нибудь шутку на этот счет.

— Ее тоже знаю,— сказал Ванин,— увидел и вспомнил. Она на Тракторном работала, в инструментальном, нормировщицей. Мы ее хотели комсоргом цеха рекомендовать.

Оказалось, это было все, что он хотел сказать о девушке.

— Почти всех знаю,— повторил он, уже забыв о ней.— И Тракторный себе представляю не таким, как он есть, а каким он был раньше. И за станками люди. Ты чего угрюмый сегодня?

— Я не угрюмый. Просто думаю.

— О чем? О Бабченко?

— И о Бабченко.

— Да,— сказал Ванин,— убили. Интересно, кого теперь назначат. Может, тебя?

— Нет,— отверг Сабуров,— наверное, Власова из первого батальона. Он майор.

Зазвонил телефон.

— Вас спрашивают,— обратился связист к Сабурову.

Сабуров подошел. У телефона был Проценко. Сабуров обрадовался его голосу.

— Как живешь? — спросил Проценко.

— Ничего.

— Что же хозяина своего не уберег, а?

— Не мог.

— А легко отбили склад? — спросил Проценко.

— Легко, с малыми потерями.

— Вот так с самого начала и надо было — отсечь подход подкреплений и отбивать ночью. Так и на будущее себе заведи.

Это звучало упреком. Сабуров хотел было сказать, что не он устраивал эту дневную атаку, но промолчал. Бабченко был уже мертв, и плох он был или хорош, но тоже погиб за Сталинград.

Аня сдержала свое слово и поздно вечером появилась еще раз. Она очень торопилась, забежала на минуту. И сразу ушла. И Сабуров почувствовал тревогу за нее. Окружавшие их здесь в Сталинграде опасности были теперь совсем разные: одни, сами собою подразумевающиеся,— для него и другие, очень страшные и неожиданные,— для нее. И он понял, что теперь всегда будет бояться за нее.

Все дневные и вечерние дела были закончены. Оставалось ожидать двадцати трех часов — времени, когда Сабуров приказал Юсупову прийти, чтобы вместе двинуться на рекогносцировку. Возможность разведать дорогу, а завтра ночью попробовать перебить немецкую роту после всех сегодняшних неудач и потерь казалась особенно заманчивой.

Юсупов явился через пять минут. Все у него было уже готово: на шее висел автомат, две гранаты в аккуратном холщовом

мешке были прикреплены к поясу. Он был без шинели, налегке, в одном наглухо застегнутом ватнике. Так он всегда ходил в разведку.

— Сейчас пойдем,— сказал Сабуров.— Петя, скажи Петрову, что он со мной пойдет.

Ефрейтор Петров сопровождал Сабурова в тех случаях, когда Петя оставался в штабе. Сабуров снял со стены свой автомат, надел так же, как и Юсупов, ватник, стянул его потуже ремнем и, положив в карманы две гранаты-лимонки, которые любил за их малый размер и сильное действие, повесил на шею автомат.

Они вышли: впереди Юсупов, за ним Сабуров, последним Петров. Стояла сырая и темная — хоть глаз выколи — октябрьская ночь. Моросил дождик. Было так темно, что в первую секунду им показалось, что они вышли не на улицу, а только в тамбур между двумя дверьми. Контуры стен сливались с небом, и казалось, что ввысь над развалинами поднимаются тоже дома, только выкрашенные в более светлую краску.

Выйдя из блиндажа, Сабуров подумал, что, в сущности, не грех бы отложить эту рекогносцировку до завтра. И так слишком много всего было за день, а день этот не последний. Но ночная свежесть, тихий дождик и черное низкое небо заставили его встряхнуться.

— Хорошая ночь,— заметил Сабуров.— Верно?

— Так точно, товарищ капитан,— подтвердил Юсупов.

— У вас где семья, Юсупов, в Казани?

— Нет, в Иркутске. Мы уже пятнадцать лет в Иркутске живем.

— Далеко,— задумчиво произнес Сабуров и подумал об Иркутске: наверное, там нет затемнения и на улицах горят фонари. Он на секунду представил тебе, что было бы, если бы весь этот свет перенести сейчас сюда, в Сталинград. Вот сюда, где они идут. На всех углах стоят фонари и горят в полный накал. И окна освещены.

Он невольно усмехнулся своей мысли.

Через пять минут они добрались до второй роты, где их встретили у развалин дома Потапов и Масленников.

О том, что Сабуров отправляется на рекогносцировку, Масленников знал, но не одобрял этого, считая, что рекогносцировку должен производить не Сабуров, а именно он, Масленников. Но поскольку Сабурова было трудно отклонить от раз принятого решения, Масленников заранее под каким-то предлогом отправился во вторую роту к Потапову, чтобы на всякий случай оказаться именно там, откуда Сабуров пойдет дальше. То, что Масленников

встретил его, было для Сабурова неожиданно, однако он не выразил удивления, а только улыбнулся в темноте.

— Ты уже здесь, Миша?

— Да, товарищ капитан, я...

Масленников начал объяснять, почему именно он оказался во второй роте.

— Знаю,— прервал его Сабуров все с той же невидимой в темноте улыбкой.

Ему было приятно, что Масленников тревожится за него и пришел сюда, чтобы на всякий случай быть поближе.

Когда они уже двинулись, Масленников еще раз подошел к Сабурову, задержал его руку в своей и сказал тихо:

— Алексей Иванович.

— Ну?

— Алексей Иванович,— повторил Масленников.

— Ну что?

Сабуров не сразу понял, что Масленников хочет обнять его.

Они обнялись, и Сабуров пошел. Масленников смотрел ему вслед. Не то что опасение, а какая-то безотчетная тоска, так часто оправдывающаяся на фронте, щемила сердце Масленникова с самого утра, когда он узнал о предстоящей рекогносцировке.

Сначала шли не прячась — темнота ночи позволяла это, потом Петров неосторожно брякнул дулом автомата о стену. Все трое замерли и притаились, ожидая посланной наугад пули. Но никто не стрелял. Тогда они пошли дальше.

Дождь все еще накрапывал. Стало холоднее. Ночь уже не казалась такой мягкой и спокойной, как вначале. Далеко за домами, левее, то и дело вспыхивала перестрелка.

Им пришлось продвигаться ползком между развалинами, по переулку, который был весь такой, словно здесь только что произошло землетрясение. Кроме обрушившихся вкось стен, превративших переулок в овраг, на земле, среди кирпичей, валялись самые разнообразные, иногда странные на ощупь вещи — обломки мебели, осколки посуды, разбитая ванна, исковерканный самовар, о разодранные края которого Сабуров оцарапал руку.

Так они ползли еще минут пять, может быть, восемь. Хотя расстояние между нашей и немецкой линиями было очень небольшое — кое-где достигало двухсот метров, а кое-где сближалось до пятидесяти, но пробираться приходилось извилистыми проходами, среди обломков, и порой трудно было точно разобраться, к кому они сейчас ближе находятся — к своим или к немцам.

Они шли и ползли до тех пор, пока с ними не произошла одна из тех нелепостей войны, которую не могли предвидеть ни немцы, ни русские, ни Юсупов, ни Сабуров — никто и которая тем не ме-

нее все-таки произошла. Когда, по расчетам Юсупова, они подползли уже на полсотни шагов к цели, над головами их раздалось знакомое, похожее на шум мотоцикла стрекотание мотора ночного У-2. Несколько, как из горшка высыпанных, мелких бомб разорвались кругом них. В этом не было ничего удивительного: они находились на «ничьей» земле, и летчик не добросил бомбы всего на пустяк.

В тот момент, когда рядом с ними разорвались бомбы, Юсупов полз впереди, Петров рядом с ним, а Сабуров, готовясь вслед за ними опуститься на колени, чтобы ползти, стоял у полуобвалившейся стены. Ближайшая бомба упала рядом со стеной, в угол, под корень ее. Обломок стены качнулся и рухнул на землю, накрыв кирпичами Сабурова. Кирпичи упали на него сбоку, как обвалившиеся детские кубики. Падая, Сабуров закрыл глаза. От этого удара, от силы взрыва и рванувшегося на него воздуха ему показалось, что все кончено, что он убит. Но когда он упал и сразу же открыл глаза, то почувствовал не смерть и не слабость, а только тяжесть навалившихся кирпичей, а в носу и во рту вкус кирпичной пыли.

— Юсупов,— шепотом позвал он,— Юсупов.

Юсупов не откликнулся.

— Петров,— прошептал Сабуров.

Никто опять не откликнулся. Ему почудилось, что впереди кто-то шелохнулся, но, придавленный кирпичами, он не мог двинуться. В теле было непривычное чувство страшной связанности, как будто его всего обкрутили канатом, оставив свободными только левую руку и голову. Кусок кирпича попал в лицо, и на глаза натекала кровь. Он дотянулся рукой и стер кровь с глаз, размазав ее по лицу. Потом пошарил вокруг себя и всеми пятью пальцами наткнулся на окровавленную мертвую голову Петрова. Он тихо, сквозь зубы, вскрикнул и сделал судорожное движение, чтобы отодвинуться от мертвеца. Но его тело, зажатое обвалившимся кирпичом, было неподвижно, он мог только убрать руку.

Небо над головой было такое черное, словно он ослеп. Дождь — он только сейчас это заметил — все еще шел. Рука онемела. Он придвинул ее к телу и пальцами нащупал заваливщие его кирпичи. Несмотря на боль, он помнил, что нельзя ни кричать, ни стонать, но никак не мог сообразить, где находится. Знал, что это где-то около развалин клуба. Но теперь, после того как его завалило кирпичами, не мог представить, куда лежит головой, с какой стороны находятся немцы и с какой свои. Над головой было только небо, одинаковое и темное. Он поймет, где находится, только когда рассветет. Он ужаснулся этой мысли. Никогда за войну, хотя он уже два раза был в окружении, мысль о плене не приходила ему в голову с такой ужасной ясностью. Когда рассве-

тет — его заметят и, если он ближе к немцам, чем к своим, возьмут в плен, и он ничем не в состоянии будет помешать.

Он закрыл глаза и, то теряя сознание, то снова приходя в себя, лежал еще пять, а может быть, десять минут. Потом, стиснув зубы, подтянул онемевшую руку до обломка кирпича и тихо оттащил его в сторону. Опять стиснул зубы от боли, опять подтащил руку к телу, взял ею другой обломок и снова оттащил его в сторону.

Капли дождя все падали и падали ему на лицо. Хотелось стереть их, но не стоило поднимать для этого руку. Она нужна была только для одного: брать кусок кирпича и тихо отодвигать его в сторону, брать другой кусок, снова отодвигать, и так до конца — до смерти, до потери сознания,— он не знал, до каких пор, но чувствовал, что, пока в его теле сохранится хоть проблеск жизни, он будет делать одно и то же движение — брать обломок кирпича и оттаскивать его в сторону.

Это была холодная дождливая ночь 12 октября — ровно тридцатая ночь с той первой, когда он со своим батальоном, переправившись через Волгу, вылез на этом берегу.

XIV

Стояла тишина. Ни шепот раненых, лежавших на соседних койках, ни прерывистое дыхание умирающих, ни звон аптечных пузырьков — ничто не могло нарушить ощущения тишины. Кругом было много белых простынь и халатов, и самая тишина казалась Сабурову белой.

Тишина длилась уже восемь дней, казалось, ей не будет конца и никто не может ее нарушить. За окнами падал и таял мокрый, первый снег, и он тоже был, как тишина, белый.

Тело продолжало еще болеть, но оно тоже болело тихо,— не скрежещущей, острой болью, как рваная рана, а тихой, щемящей. Кругом него, в сущности, было не так уж тихо: приносили и уносили раненых, иногда кто-то кричал, но после Сталинграда все это казалось Сабурову тишиной.

Его лечили, кормили, обмывали, но, в сущности, он был только одним из многих, и никто им тут особенно не интересовался. Он был привезен сюда с того берега весь в синяках и кровоподтеках. Теперь он выздоравливал. Это было записано в истории его болезни. Но как все произошло, как его спасли, как он остался жив, как он очутился на этом берегу, никто не знал. Одни санитары передали его с рук на руки другим, эти другие принесли его сюда, и когда он спросил врача, как он тут оказался, тот только развел руками:

— Вернетесь в часть, узнаете. Ничего не могу вам сказать.

Напрасно Сабуров силился вспомнить, как все произошло. Он помнил только, как начал откладывать в сторону обломки кирпичей, а дальше ничего не помнил.

Тишина была, пожалуй, лучшим лекарством, которое требовалось сейчас Сабурову. И хотя он чувствовал себя все лучше и лучше, ему все еще ничем не хотелось нарушать этой тишины, среди которой было так спокойно и хорошо. Последние недели в Сталинграде он столько приказывал, кричал, убеждал, спорил, что ему приятно было молчать, и он прослыл самым молчаливым больным в палате. Он лежал и молчал. Ему не хотелось говорить.

И даже на восьмой день, утром, когда в их палату своей легкой, неслышной походкой вбежала Аня и, пройдя между рядами коек, села у его ног, ему не захотелось говорить. Он смотрел на ее милое, усталое лицо, на ее руки, тихо лежавшие на коленях, смотрел в ее глаза, так глядевшие на него, как будто она все время прямо, прямо шла к нему целую тысячу верст,— и ему не хотелось говорить. Она в первую минуту тоже ничего не сказала. Потом заговорила вдруг, сразу и обо всем. Прежде всего она рассказала о том, как, беспокоясь долгим его отсутствием, Масленников пошел вслед за ним и нашел его лежавшим без сознания на полдороге между нашими позициями и тем местом, где остались мертвые Петров и Юсупов.

И все же Сабуров не вспомнил, как он полз, даже сейчас, когда Аня рассказала ему это. Значит, он все-таки стащил с себя обломки и пополз. Как странно, что он ничего не помнит.

Потом Аня рассказала, как его принесли в батальон и как она увидела его на носилках и подошла к нему.

Сейчас, рассказывая об этом, она посмотрела на него таким прямым взглядом, каким смотрят, когда уже ничего не выбирают и ничего не боятся.

— Я увидела, как вы лежите. И мне стало страшно, что вы умерли. Я вас стала целовать. Потом вы открыли глаза и сразу же закрыли. И я вас еще поцеловала, но вы уже не открывали больше глаза.

Потом Аня рассказала, как она вместе с санитарами несла его к берегу и как они переплывали на барже и в них стреляли, потому что было уже почти светло.

— Совсем как тогда стреляли. Помните? — спросила она.

— Помню.

— И я очень боялась,— сказала она.— Когда переправились, я сказала санитарам, чтобы они вас доставили непременно сюда, боялась, что вы куда-нибудь еще попадете и я вас уже не найду.

— Почему вас так долго не было? — спросил Сабуров.

— Я не могла,— произнесла она виноватым тоном.— Я переправилась обратно и думала, что на следующую ночь буду здесь, но переправу разбили. А потом там набралось столько раненых, что, пока их всех не переправили, меня оставили с ними там. Целых шесть дней. А вы лучше себя чувствуете?

— Да,— подтвердил Сабуров.— Я уже сегодня сидел и даже пробовал ходить.

Они помолчали. Потом она сказала:

— Вы знаете, мама тоже здесь...

— Вы мне говорили тогда еще...— как о чем-то очень далеком, сказал Сабуров.— Здесь, в этой деревне?

— Да. Мама хотела тоже прийти сюда, но я пошла одна. Я все сказала ей о вас.

Она сказала это «все» так, что Сабуров почувствовал, что это и в самом деле очень много.

— А у меня,— сообщила Аня,— теперь тоже орден.

— Ну? — улыбнулся Сабуров.— Где же он? Уже выдали?

— Да.

— Покажите.

Она приоткрыла халат, и он увидел у нее на гимнастерке орден Красной Звезды, только не запыленный, с потрескавшейся эмалью, как у него, а совсем новенький, блестящий.

Аня, скосив глаза, тоже посмотрела на орден. У нее был очень довольный вид. Сабуров улыбнулся. Она увидела его улыбку и тоже улыбнулась.

Он приподнялся на подушке на локтях.

— Милый,— сказала Аня, дотянувшись до его плеч обеими руками.— Милый,— повторила она.

Он снял ее руку со своего плеча и поцеловал долгим поцелуем, от которого она покраснела, но руку не отняла и даже не потянула к себе, а продолжала смотреть на него внимательным, счастливым взглядом.

— Если бы не война...

Он хотел сказать, что если бы не война, то он сейчас же увез бы ее далеко отсюда и никогда бы больше не отпустил.

— Если бы не война, мы не встретились бы, да? Ведь да? — настойчиво повторила она, словно боясь, что он будет спорить.

— Да,— согласился он.— Я это и хотел тебе сказать.

Он первый раз сказал ей «ты».

— Я знаю, что я сделаю,— сказала Аня, по-прежнему не отрывая от него взгляда.— Мне сегодня дали отпуск на целые сутки. Я вас...— Она запнулась. Она слышала, как он вместо «вы» сказал ей «ты», и поняла значение этой перемены, и ей, в свою оче-

редь, тоже хотелось сказать ему «ты», но его небритое, усталое, похудевшее в дни болезни лицо было такое взрослое, почти старое, что она не решилась.— Я вас отсюда возьму,— сказала она.

— Возьмешь? Куда?

— К маме. Вы будете дальше лечиться у мамы... у нас,— поправилась она.— Вам уже, наверное, можно переехать. Мама будет за вами ухаживать. И я, когда буду дома. Я буду уезжать вечером и ночью возить раненых, как всегда, а с утра ухаживать за вами.

— А когда же ты будешь спать? — улыбнулся Сабуров.

— Потом, когда вы выздоровеете.

Она соскочила с койки, сделала шаг к двери, потом вернулась, быстро и коротко поцеловала его в губы и выбежала.

Сабуров, ожидая услышать какое-нибудь замечание или увидеть насмешку на лицах людей, лежавших с ним в одной палате, выжидающе огляделся по сторонам. Но никто не заговорил и не усмехнулся.

Сабуров закрыл глаза, ему казалось, что так с закрытыми глазами ему легче будет дождаться возвращения Ани.

А она в это время стояла в том же здании школы в маленькой комнате нижнего этажа перед главным врачом.

Главный врач принадлежал к распространенной среди хирургов категории циников. Он был плотный, с румяным лицом и словно нарисованными черными усами и бровями. Хороший хирург, спасший на своем веку немало людей, он тем не менее считал своим долгом говорить, что относится к медицине скептически, делал операции с подчеркнутым хладнокровием, говорил об ампутированных руках и ногах с усмешкой и любил отпускать двусмысленные шутки, не стесняясь присутствия женщин. Аня это знала, и главный врач представлялся ей человеком меньше всего способным выслушать и понять то, что она ему хотела сказать.

Поэтому, войдя к нему, она вся напряглась и сжалась в комок, с твердой решимостью все равно сказать то, что она хотела, и не дать ему обидеть ни себя, ни Сабурова, ни, больше всего, то новое, что вошло и наполнило ее жизнь радостью.

— Товарищ военврач, у меня к вам просьба.

— Надеюсь, вам ничего не нужно ампутировать,— сказал он с привычной улыбкой.— Все обращаемые ко мне просьбы обычно ограничиваются этим.

— Нет,— ответила она.— Здесь лежит... один капитан, капитан Сабуров...

— Сабуров? Ага, помню. С ушибами. Ну?

— Он выздоравливающий.

— Совершенно верно. Очень приятно. Так что же из этого?

— У меня здесь мама живет в деревне...

— Тоже очень приятно. Но какое отношение имеет одно к другому?

— Я прошу,— продолжала Аня, подняв на него глаза,— я хочу, пока он выздоравливающий, взять его к нам.

У нее были такие ясные, обрекающие на молчание глаза, что главный врач, у которого с языка уже готова была сорваться неопрятная шутка, промолчал.

— Я его хочу взять к нам. Я вас очень прошу...

— Зачем? — уже серьезно спросил он.

— Ему там будет лучше.

— Почему?

— Ему там будет лучше,— упрямо повторила Аня.— Я знаю, ему там будет лучше. Я вас очень прошу.

— Он что, ваш родственник?

— Нет, но... мне это очень нужно. Я должна быть с ним вместе,— отчаянно сказала она, решившись с этой минуты на любые слова, к каким бы он ее ни вынудил, и на любые признания, даже ложные.

Главный врач считал в порядке вещей то, что у его сестер и санитарок бывали романы с выздоравливающими, и не преследовал их, присвоив себе лишь право беззлобно, но грубовато шутить над этими маленькими тайнами. Но с такой откровенной, бесстрашной просьбой к нему обращались впервые.

Он растерялся от неожиданности и от взгляда Ани, смотревшей на него с такой свиреной надеждой, что он почувствовал себя почти как за операционным столом во время трудной операции.

Он должен был решать судьбу чужой жизни,— это было ясно. Здесь нельзя было отвечать: «Посмотрим, как он себя чувствует», или: «Это не положено по правилам», или: «Надо подумать»,— и, к чести его, ему не пришло в голову сказать ни одной из этих фраз. Ему оставалось сказать только «да» или «нет», и он сказал:

— Да, хорошо.

Разговор оказался неожиданно коротким. Ни он, ни Аня не знали, что говорить дальше, особенно Аня, приготовившаяся к отпору. Она полминуты растерянно постояла против него и, даже не поблагодарив, вышла.

Через час Сабурова в маленьком докторском «газике» перевезли на другой конец деревни — на выселки, в один из стоявших

у самой воды домиков. Ниже домика протекала вода — спокойная, медленная и зеленая. Это был один из бесчисленных рукавов волжской Ахтубы. От воды к дому маленькой аллейкой поднималось несколько низкорослых ив. И вода, и оголенные деревья, и вросший в землю маленький домик показались Сабурову почти такими же тихими, как госпиталь.

В комнате, разгороженной на две половины — чистую и черную,— тоже было тихо. Тихо посторонился у дверей встретившийся им мальчик, тихо сидели за столом две покрытые черными платками немолодые женщины — хозяйка избы и мать Ани. Это начавшееся в госпитале ощущение тишины неизменно оставалось у Сабурова все десять дней, которые он здесь прожил.

Когда он вошел в избу, поддерживаемый под руки Аней и санитаром, хозяйка, степенно поклонившись ему, сказала: «Милости просим», а мать Ани сначала всплеснула руками, потом сказала: «Господи», потом: «Ой, до чего же вы переменились» — и только после этого: «Здравствуйте».

Санитар посадил Сабурова на широкую крестьянскую лавку у стола и остановился в сомнении.

— Ничего,— сказал Сабуров,— дальше сам дойду. Спасибо.

Санитар вышел. За ним на свою половину ушла хозяйка.

Аня подошла к большой кровати, стоявшей у русской печи, разделявшей избу на две половины, открыла одеяла и стала взбивать подушки, то есть сделала то, что санитарки каждый день делали в госпитале, но Сабурову казалось, что все это у нее выходит как-то особенно хорошо. Он любовался ею, и ему было почти жаль, когда она сказала:

— Ну, вот и готово.

— Сейчас я перейду, подожди,— сказал он.

Мать Ани сидела тут же, за столом, и по тому, как она на него смотрела, он понимал, что с дочерью был уже разговор о нем. Мать Ани выглядела сейчас совсем не так, как тогда в Эльтоне. Казалось, она уже все пережила и все измерила в своей душе и теперь только ждала, когда все это кончится.

— Да, здесь лучше, чем в Эльтоне,— сказал Сабуров после молчания.

— Лучше,— подтвердила она.— Мы тогда без памяти были. Я родню — и то забыла. Так до самого Эльтона и промахнула. А ведь тут у меня золовка. Конечно, хорошо. Разве сравнишь? Кабы под эту крышу да всю семью. Похудели как,— добавила она, поглядев в лицо Сабурову, и сразу перевела взгляд на Аню, молча сидевшую против него за столом.

И Сабуров понял, что мать этим взглядом прикидывает, как они будут вместе: он и Аня — такая молодая.

— Все ездит она,— сказала мать и кивнула в сторону Ани.— Все ездит, все ездит, по пять раз на дню. И когда только это кончится?

Она встала, подвязала углы платка и пошла к дверям.

— Мама, мама, подожди,— кинулась к ней Аня.— Помоги Алексея Ивановича уложить.

— Да я сам,— попробовал возразить Сабуров.

Он хотел встать, но Аня уже подошла к нему с одной стороны, мать — с другой, и он, опираясь на их плечи, доковылял до кровати. Ноги еще страшно ныли и подламывались. Когда он вытянулся на кровати, ему пришлось вытереть со лба испарину.

Мать вышла. Аня пододвинула скамейку и села рядом с ним.

— Ну? — сказал он.

— Хорошо? — ответила Аня вопросом на вопрос.

Сабуров протянул ей руку, она взяла ее в свои и долго сидела, глядя на него, чуть-чуть раскачиваясь на скамейке, то ближе к нему, то дальше от него. Вдруг она испуганно остановилась.

— А руку совсем не больно?

— Нет, совсем не больно.

И она снова начала раскачиваться, пытливо глядя ему в лицо, разглядывая на нем каждую морщинку. Это был ее человек, совсем ее. Вот он лежал здесь, в ее доме, и пусть дом был на самом деле не ее, и завтра опять нужно будет ехать в Сталинград ей, а скоро и ему, но сейчас она держала его за руку и смотрела на него, и все это было так неожиданно и хорошо, что у нее навернулись слезы.

— Что ты? — спросил он.

Не отпуская его руки, она вытерла глаза о его плечо.

— Ничего. Просто я очень рада.

Она отодвинула скамейку, пересела на кровать, уткнулась лицом ему в грудь и заплакала. Она плакала долго, поднимала заплаканное лицо, улыбалась и снова утыкалась ему в грудь. Она плакала, вспоминая переправы через Волгу и то, как ее ранили, и как ей было больно, и как он поцеловал ее тогда, и как она волновалась, и как долго она его не видела, и какой он страшный был, когда его нашли, и как потом шесть дней она не могла попасть к нему.

Он смотрел на ее волосы и медленно проводил по ним пальцами. Потом крепко и безмолвно прижал ее к груди обеими руками. Услышав шаги, он сделал движение, чтобы отстраниться, но Аня, наоборот, только крепче прижалась к нему. Потом она подняла голову, посмотрела на мать и снова еще крепче прижалась к нему. И тогда его осенило чувство, которое потом уже не исчезало,— что это навеки.

Весь день прошел как во сне. Мать Ани входила и выходила, всем видом своим стараясь показать, что дети могут не стесняться ее присутствия. Сабуров так и видел на ее губах это слово «дети», и ему было странно, что оно может быть отнесено к нему какой-то другой женщиной, кроме его матери.

Аня, как он ее ни удерживал, перед обедом убежала, принесла аптечный пузырек со спиртом и, щурясь, осторожно переливала из него спирт в бутылку и разбавляла водой. Все эти мелочи,— как она вбегала и выбегала, как разбавляла спирт, как щурилась,— были бесконечно милы Сабурову. Потом, когда к его кровати придвинули стол, Аня побежала за хозяйкой избы и притащила ее. Та на минуту церемонно чокнулась с Сабуровым и чинно выпила, не поморщившись,— так, как обычно пьют пожилые деревенские женщины. Потом она ушла.

Аня за обедом, сидя рядом с матерью, быстро рассказала Сабурову, как они раньше жили, о себе, об отце, о братьях,— словом, все то, что лихорадочно говорится вдруг, разом и только очень любимому человеку. А он полулежал, опираясь на здоровую руку, слушал ее и думал о том, что придет время — и она уже не будет ходить в кирзовых сапогах и не будет таскать носилок и возить через Волгу раненых. И они вместе уедут. Куда? Разве он мог знать — куда? Он знал только, что, наверное, это будет очень хорошо. О том же, что будет через несколько дней, когда он вернется в Сталинград, Сабуров думал вскользь; ему казалось, что все это как-то устроится. Может быть, даже удастся сделать так, чтобы Аня была с ним вместе, в его батальоне, надо только сказать Проценко. Он вспомнил хитрое, добродушное лицо Проценко и подумал, что, будь другое время, Проценко, наверно, приехал бы на свадьбу. «Свадьба»... Сабуров улыбнулся.

— Что ты улыбаешься? — спросила Аня, все еще запинаясь на слове «ты».

— Так, одной мысли.

— Какой?

— Потом скажу. Ты не сердись. Хорошо?

— Хорошо.

Он подумал «свадьба» и вспомнил свой блиндаж и представил себе, как, вернувшись, сидит там за столом с Аней и рядом те, кого он мог бы позвать в такой день: Масленников, Ванин, Петя, может быть, Потапов... Представил себе и подумал, цел ли блиндаж и как они там все без него.

Когда кончили обедать и мать стала убирать со стола, Аня снова села рядом с Сабуровым на кровати. Хозяйка принесла им большое антоновское яблоко, и они стали есть его вдвоем, поочередно откусывая и стараясь побольше оставить другому.

Потом Аня вдруг вскочила.

— Мама, погадай!

Мать отнекивалась.

— Нет, погадай.

Стол, который был уже отодвинут от кровати, опять придвинули, и мать, сказав, что она уже давно не гадала, да и что же гадать, раз они все равно люди неверящие, все-таки разложила карты.

Сабуров никогда не понимал, почему черная шестерка означает длинную дорогу, а трефовый туз — казенный дом и почему, если пиковая дама ложится к черной десятке, то это не к добру, а если выходят четыре валета, то это к счастью, но ему всегда нравилась уверенность, с которой гадающие объясняют значение разложенных карт.

Аня внимательно следила за руками матери, раскладывавшей карты. И так как ей в этот день казалось ясным все ее будущее, она легко находила объяснения всему, что говорила мать. Дальняя дорога была переправой через Волгу, а казенный дом — сабуровским блиндажом. Когда же мать выложила крестовую даму, которая в сочетании с бубновым королем означала, что у Сабурова есть крестовый интерес, то, хотя по всем правилам Аня была не крестовая, а червонная дама, она все равно, смеясь, сказала, что крестовая дама — это, безусловно, она, потому что она медичка с крестом.

Наконец матери надоело гадать, она собрала карты, завесила окна мешками и вышла.

Сабуров, утомленный долгим сидением, откинулся на подушку и лежал неподвижно. Аня взяла полушубок, подушку и стала стелить себе на лавке, у стены. Сабуров молча наблюдал за ней. Мать заглянула еще раз по хозяйственным надобностям и совсем ушла. Аня подошла к Сабурову, встала на колени около кровати, приникла к нему, послушала сердце и шепотом сказала «стучит», как будто в этом было что-то особенное. Но особенное было в тишине, стоявшей вокруг, в том, что мать ушла, а они остались, и, главное, в том, что им предстояло долго быть вместе.

Аня стояла на коленях и целовала его. Она не стыдилась его, и он чувствовал, что она полюбила в первый раз и любовь эта такая большая, что в ней тонет все остальное — и чувство страха, и чувство стыда, и смятение. Она поднялась с колен и села рядом с ним, потом обняла его. Он тоже крепко обнял ее и почувствовал, как у него болят руки и грудь оттого, что он крепко обнял ее, но ему было радостно: от этой боли, которую он испытывал, он чувствовал ее еще ближе к себе.

Он проснулся утром от шума самовара, и было странно, что он видит эту же комнату и что так же мать суетится у стола, как будто все не должно было перемениться.

Аня вбежала из сеней, откуда до этого слышался плеск воды.

— Ты проснулся? — спросила она.— Я сейчас.

Она выжала свои длинные мокрые волосы, накручивая их на кулаки, совсем как тогда, на пароходе, когда он увидел ее в первый раз.

Потом она снова ушла в сени. Сабуров закрыл глаза и вспомнил все подряд, минута за минутой, со вчерашнего утра — и утро, и день, и ночь. Кроме слов о любви, которые были ему сказаны, кроме поступков, которые свидетельствовали об этой любви, было еще что-то, из-за чего он сейчас безгранично верил в ее любовь к нему. Это было то подсознательное чувство, с которым она ночью касалась его избитого, больного тела. Никто не мог бы ей этого сказать, ни один врач, но она каким-то чутьем знала, где у него болит и где нет, как его можно обнять и как нельзя. В самих ее руках было заключено столько любви и нежности, что он, вспоминая об этом, не мог прийти в себя.

В четыре часа дня Аня должна была уходить. Она натянула сапоги, надела шинель, аккуратно заштопанную в трех местах, где ее пробило осколками мины, надвинула на голову пилотку и, быстрым шагом подойдя к постели, решительно и крепко один раз поцеловала Сабурова и так же решительно вышла.

Теперь до завтрашнего дня он ничего не будет знать о ней. За войну он привык, казалось бы, к самому страшному — к тому, что люди, здоровые, только что разговаривавшие и шутившие с ним, через десять минут переставали существовать. Но то, что творилось с ним сейчас, не имело ничего общего с этим привычным. Впервые в жизни он испытывал в этот день и в эту ночь трепет ожидания, тревогу, суеверный страх, что вот именно сейчас, когда, кажется, все так хорошо, с нею что-нибудь случится. Он вспоминал тысячи опасных вещей, которых он обычно не замечал. Он вспоминал переправу и берег, на котором рвутся мины, и ходы сообщения, такие мелкие, что если в них не нагибаться, то всегда видна голова, а она, наверное, не нагибается. Он рассчитывал по часам, когда примерно она будет на берегу, когда пойдет баржа, сколько времени займут переправа и выгрузка, сколько времени понадобится, чтобы добраться до батальона, сколько нужно для того, чтобы положить на носилки раненых, сколько займет дорога обратно. Но все эти праздные вычисления (праздные, ибо он луч-

ше, чем кто бы то ни было, знал, как нельзя на войне угадать, что и сколько займет времени) не успокаивали его.

До Сталинграда отсюда было километров восемнадцать. Всю ночь он слышал то удалявшуюся, то приближавшуюся канонаду. Она была как неумолчный стук часов, ею отмеривалось время. И хотя он знал, что канонада то слышнее, то глуше из-за ветра, это не помогало ему освободиться от тревоги. Когда канонада становилась громче, ему было тревожнее, как будто грохот ее мог быть действительно мерилом опасности для Ани.

Мать Ани вечером долго строчила на швейной машине в другой половине избы. Потом она вошла с огарком, поставила его на стол и взглянула на Сабурова.

— Не спите? — спросила она.

— Нет, не сплю.

— Я тоже первое время, когда она уходила, не спала, а теперь сплю. Ведь у меня все на фронте, и если за всех не спать, то умрешь в неделю. А у вас есть родные-то?

— Есть. Мать.

— Где?

— Там.

Сабуров сделал тот жест рукой, который делали многие и по которому все сразу понимали, что там — значит у немцев.

— А здесь кто?

— Никого. Одна она... Что вы шили?

— Я-то? Да тут золовка ситчику дала, я и шью Аньке. Девчонка ведь все-таки. Платье захочет надеть хоть раз в месяц, вот и шью. А на ноги все равно ничего нет. Или эти ей отдать?

Она села на стул, положила ногу на ногу и задумчиво посмотрела на свои старые, стоптанные, на низких каблуках туфли. Потом подняла голову, взглянула на Сабурова и, должно быть вспомнив их встречу, сказала:

— Тоже не свои. Добрые люди дали. Раньше у меня нога меньше была, чем у нее, а после, как сожгла, у меня ноги опухшие стали, наверное, ей туфли впору будут. Как думаете?

Она спросила это так, словно Сабуров знал о ее дочери больше, чем она, мать, и в этом маленьком, смешном, может быть, вопросе было признание всего, о чем он теперь думал.

Не отвечая прямо, Сабуров сказал:

— Я встану, и мы свадьбу сыграем,— и сам улыбнулся этому слову.— Вы не обидитесь на то, что мы там сыграем свадьбу?

— На той стороне? — спросила она просто.

— Да.

— Где вам жить, там и делайте,— произнесла она примирительно.

«Та сторона» была для нее Сталинградом, городом, в котором она жила и полной истины о котором, какие бы слухи ни доходили оттуда, она все же, в силу привычки, не могла себе представить.

— Главное, чтобы переправы этой не было по три раза на дню,— продолжала она.— Пусть уже лучше там, с вами.

Она еще долго сидела с Сабуровым и разговаривала о том, о чем любят говорить матери с мужьями своих дочерей,— как Аня росла, как болела скарлатиной и корью, как она отрезала себе косы и потом опять отпустила, как мать за ней ходила всю жизнь, потому что дочь-то ведь одна, и о многих иных мелочах, о которых ей было приятно рассказывать.

Сабуров слушал ее, и ему было и радостно и грустно,— радостно оттого, что он узнавал эти милые подробности, и грустно потому, что он всего этого не видел сам, а ему, как и всем сильно любящим людям, хотелось быть свидетелем всех ее поступков, всего, что у нее было в жизни до него.

Мать разговаривала с ним, и он чувствовал, что сейчас он был не сильнее, а слабее этой старой женщины, сидевшей против него. Она умела лучше ждать и быть спокойнее, чем он. И даже, пожалуй, она нарочно успокаивает его этим разговором.

Наконец она ушла. Сабуров не спал всю ночь и лишь часов в одиннадцать утра, когда солнце заглянуло в окна и желтой полосой легло на кровать, он неожиданно для себя задремал. Он проснулся так же, как когда-то в блиндаже, от пристального взгляда. Аня сидела на кровати у его ног и смотрела на него. Он открыл глаза, увидел ее, сел на кровати и протянул к ней руки. Она обняла его и силой уложила обратно.

— Лежи, милый, лежи. Как ты спал?

Ему было стыдно за эти пятнадцать минут, которые он продремал, не дождавшись ее, но говорить, что он не спал всю ночь, он не хотел,— это, наверное, огорчило бы ее больше, чем обрадовало.

— Ничего спал,— сказал он.— Ну, как там?

— Хорошо,— ответила Аня.— Очень хорошо.

Она говорила весело, но на ее оживленном лице лежали следы усталости, а веки были опущены, как у человека, который так долго не спал, что может заснуть в любую секунду. Он посмотрел на часы: было двенадцать, а в четыре ей снова уходить.

— Сейчас же ложись спать! — сказал он.

— А поговорить? — улыбнулась она.— Я ехала на пароме и все вспоминала, что я тебе еще не сказала. Я столько еще тебе не сказала.

Она наскоро выпила чашку чаю, прилегла рядом с ним и через минуту заснула на середине недосказанного слова. Он лежал

на спине, подложив руку под ее голову, и ему казалось, что случилось невозможное — время остановилось.

Это ощущение остановившегося времени продолжалось у него все десять дней, что он прожил здесь до своего возвращения в Сталинград. Как человек, привыкший смирять природную порывистость, он заставлял себя не думать о том, что сейчас происходило там, в его батальоне. Все равно он не мог там быть сейчас, и что пользы было ежеминутно думать об этом. Оставалось только то, с чем ничего нельзя было поделать,— все возраставшее ощущение огромности происходившей там, в Сталинграде, битвы. И чем дольше он отсутствовал, тем больше нарастало это ощущение. Он только здесь до конца понял, какой тревогой в человеческих сердцах звучало издали слово «Сталинград».

Вести доходили до него то через Аню, то через хозяйку, то через заходивших иногда из госпиталя раненых, и вести эти были нерадостны. Он удерживал себя от того, чтобы расспросить Аню подробней. Он не хотел отсюда, издали, узнавать эти подробности, откладывал все сразу до того дня, когда поедет туда сам. Но когда Аня появлялась, по ее глазам, по походке, по усталости он молча делал свои собственные заключения о том, что там происходило в этот день.

Однажды,— это было на седьмые сутки, часа через три после того, как Аня ушла,— он услышал, как на крыльце кто-то называет его фамилию, потом послышались быстрые шаги, и в комнату вошел Масленников.

— Алексей Иванович, дорогой! — торопливо закричал Масленников с порога, подбежал к нему, обнял, расцеловал, снял шинель, подвинул скамейку, сел против него, вытащил папиросу, предложил ему, чиркнул спичкой, закурил,— все это быстро, в полминуты,— и, наконец, уставился на него своими ласковыми черными глазами.

— Ты что же батальон бросил, а? — улыбнулся Сабуров.

— Проценко приказал,— сказал Масленников.— Пришел в полк, потом в батальон и приказал мне на ночь к вам съездить. Как вы, Алексей Иванович?

— Ничего,— сказал Сабуров и, встретив взгляд Масленникова, спросил: — Что, сильно похудел?

— Похудели.

Масленников вскочил, полез в карманы шинели, вытащил пачку печенья, пакет с сахаром, три банки консервов, быстро положил все это на стол и опять сел.

— Подкармливаешь начальство?

— У нас много всего сейчас. Снабжают хорошо.

— А по дороге топят?

— Иногда топят. Все как при вас, Алексей Иванович.

— Ну, какие же ты геройские подвиги там без меня совершил?

— Какие же? Все так же, как при вас,— сказал Масленников. Ему хотелось рассказать, что и он и вообще все ждут Сабурова, но, поглядев на похудевшее лицо капитана, он удержался.

— Как, ждете меня? — спросил сам Сабуров.

— Ждем.

— Дня через три приду.

— А не рано?

— Нет, как раз,— спокойно сказал Сабуров.— Где вы сейчас? Все там же?

— Все там же,— подтвердил Масленников.— Только левее нас они совсем к берегу подошли, так что проход до полка теперь узкий, только ночью ходим.

— Ну что ж, придется до вас ночью добираться. Ночью приду с ревизией. Как Ванин воюет?

— Хорошо. Мы с ним Конюкова командиром взвода назначили.

— Справляется?

— Ничего.

— Кто жив, кто нет?

— Почти все живы. Раненых только много. Гордиенко ранили.

— Сюда привезли?

— Нет, остался там. Его легко. А меня все не ранят и не ранят,— оживленно закончил Масленников.— Я иногда даже думаю, наверное, меня или так никогда и не ранят, или уж сразу убьют.

— А ты не думай,— сказал Сабуров.— Ты раз навсегда подумай, что это вполне возможно, а потом уже каждый день не думай.

— Я так и стараюсь.

Они целый час проговорили о батальоне, о том, кто где расположен, что переместилось и что осталось по-прежнему.

— Как блиндаж? — спросил Сабуров.— Все на том же месте?

— На том же,— ответил Масленников.

Сабурову было приятно, что его блиндаж все там же, на старом месте. В этом была какая-то незыблемость, и, кроме того, он подумал об Ане.

— Слушай, Миша,— неожиданно обратился он к Масленникову.— Не удивился, что я не в госпитале, а здесь?

— Нет. Мне сказали.

— Что тебе сказали?

— Все.

— Да... Я очень счастлив...— помолчав, сказал Сабуров.—

Очень, очень. А помнишь, как она сидела на барже и волосы выжимала, а я сказал тебе, чтобы ее накрыли шинелью? Помнишь?

— Помню.

— А потом мы пошли, а ее уже не было.

— Нет, этого не помню.

— Ну, а я помню. Я все помню... Я тут думал попросить, чтобы ее сестрой в наш батальон взяли, а потом как-то сердце защемило.

— Почему?

— Не знаю. Боюсь испытывать судьбу. Вот так она ездит каждый день и цела, а там... не знаю. Страшно самому что-то менять.

Сабурову хотелось продолжать говорить об Ане, но он удержался, оборвал разговор и спросил:

— А Проценко как?

— Ничего, веселый. Смеется даже чаще, чем всегда.

— Это плохо,— сказал Сабуров.— Значит, нервничает. Да, главного-то и не спросил. Кто командир полка?

— Совсем новый, майор Попов.

— Ну, как?

— Ничего. Лучше Бабченко.

Они поговорили еще минут десять, и Масленников вдруг заторопился; мысленно он был уже там, на той стороне.

— Буду через три дня к вечеру,— сказал Сабуров.— Ну, иди, иди, не мнись. Передай всем привет. Она сегодня в дивизию поехала. Может, и у вас в батальоне будет.

— Что передать, если будет?

— Ничего. Чаем напои, а то сама не догадается. Иди. Не прощаюсь.

Через два дня после прихода Масленникова Сабуров попробовал проходить целый час подряд. Ноги ныли и подламывались. Чувствуя головокружение, он немного посидел у калитки, прислушиваясь к далекому артиллерийскому гулу.

Аня с каждым днем приезжала все позднее и уезжала все раньше. По ее усталому лицу он видел, как было ей трудно, но они не говорили об этом. К чему?

Врач, по просьбе Ани забежавший к Сабурову на минуту из госпиталя, не стал осматривать его, только профессиональным движением пощупал ноги у колен и лодыжек, глядя ему в лицо и спрашивая, больно ли. Хотя на самом деле было больно, но Сабуров к этому приготовился и сказал, что не больно. Потом спросил, когда завтра уходят грузовики к переправе. Врач сказал, что, как обычно, в пять вечера.

— Удирать от нас собираетесь?

— Да,— ответил Сабуров.

Врач не удивился и не стал спорить: он привык,— здесь, под Сталинградом, это было в порядке вещей.

— Грузовики уходят в пять часов. Но все-таки помните, что вы еще не совсем здоровы,— сказал врач, вставая и протягивая Сабурову руку.

Сабурову захотелось созорничать: задержав руку врача в своей, он пожал ее не изо всей силы, но все-таки достаточно крепко.

— Ну вас к черту! — рассмеялся врач.— Я же говорю, поезжайте. Что вы мне доказываете? — и, потирая пальцы, пошел к двери.

Когда Аня приехала, Сабуров сказал, что завтра он возвращается в Сталинград. Аня промолчала. Она не спорила — и не просила его остаться еще на день. Все эти слова были бы лишними.

— Только вместе,— сказала она.— Хорошо?

— Я так и думал.

В этот день она была тиха и задумчива и хотя очень устала, но ее не клонило ко сну. Она молча сидела рядом с Сабуровым, гладила его по волосам и внимательно рассматривала его лицо, словно старалась лучше запомнить.

Она так и не заснула, а он задремал на полчаса, и она его разбудила, когда ей нужно было уходить, еще раз грустно погладила его по волосам и сказала: «Пора мне». Он встал, проводил ее до ворот и долго смотрел, как она торопливо шла по улице.

Утром Сабуров сложил вещевой мешок. Ани не было особенно долго. Он несколько раз выходил на дорогу, а она все не шла. Было уже два часа — ее не было, потом три, потом четыре... В половине пятого он должен был отправляться, чтобы не опоздать на попутный санитарный грузовик. Он вышел еще раз на дорогу, постоял, вернулся в избу и, присев к столу, написал короткую записку: что едет, не дождавшись ее.

Потом простился с матерью Ани. Она приняла его отъезд спокойно. Наверное, это спокойствие было их семейной чертой.

— Не дождетесь?

— Нет, уже время вышло.

Она обняла его и поцеловала в щеку. Только в этом и выразилась вся ее тревога и за дочь и за него.

Без десяти пять, вглядываясь в каждого встречного, он пошел по направлению к госпиталю. Накануне мальчишки срезали ему толстую вишневую палку, и он шел, прихрамывая и тяжело опираясь на нее.

Грузовики двинулись в начале шестого. Его хотели посадить с шофером в кабину, но он сел в кузов, надеясь, что оттуда скорее увидит Аню, если она встретится по дороге. Он ехал, лежа в

кузове, и выглядывал с левого борта, рассматривая встречные машины. Но Ани на них не было. К вечеру стало холодно; он надвинул поглубже фуражку и поднял воротник шинели.

Через три километра они свернули на главную магистраль, ведшую из Эльтона к переправам. Дорога была в ухабах, и грузовик сильно трясло. Ноги больно ударялись о днище кузова. Над головой шли последние, вечерние, воздушные бои. В воздухе было так же тяжело, как и на земле. Пока Сабуров ехал, немцы два раза бомбили колонну. К переправе шли грузовики, доверху набитые снарядными ящиками, коровьими тушами и мешками.

В прибрежной слободе прямо на улице лежали еще дымившиеся обломки «мессершмитта». Обогнув их, грузовик выехал к переправе. Немцы вели по слободе редкий, но методический огонь из тяжелых минометов. Внешне все было как и раньше, когда Сабуров переправлялся здесь в первый раз, только стало холоднее. Волга так же стремила свои воды, но они были скованные, тяжелые, чувствовалось, что не сегодня-завтра пойдет сало.

Когда, оставив грузовики, спустились пешком к переправе, Сабуров подумал, что на этом берегу встречи с Аней уже не будет. Он сел на холодный песок и перестал оглядываться по сторонам, закурил.

К пристани привалил пароходик с баржей. Невдалеке разорвалось несколько мин. С пароходика и баржи вереницей тащили носилки. Сабуров безучастно сидел и ждал. С разгрузкой и погрузкой торопились, но кругом стояло меньше шума, чем когда он переплывал в первый раз. «Привыкли»,— подумал он. Все кругом делалось быстро и привычно. И город на той стороне, когда он посмотрел на него, показался ему тоже привычным.

Предъявив документ коменданту переправы, он уже двинулся на полуразбитую баржу, служившую пристанью. В эту минуту его окликнула Аня.

— Я так и знала, что ты не будешь меня там ждать, что все равно уедешь.

— Хорошо, хоть здесь встретились. Я уже не надеялся.

— А я приехала еще с той баржей и размещала раненых. Сейчас вместе переправимся.

Они перешли по шатким сходням на баржу, а с нее перелезли на пароходик. Аня перескочила первая и подала Сабурову руку. Он принял ее руку и тоже перескочил с неожиданной для себя легкостью. Нет, он был прав, что поехал: он был почти здоров.

Пароходик отчалил. Они сидели на борту, спустив ноги. Внизу тяжело колыхалась Волга.

— Холоднее стало,— сказала Аня.

— Да.

Им обоим не хотелось говорить. Они сидели, прижавшись друг к другу, и молчали.

Пароходик приближался к берегу. Все кругом было почти как тогда, в первый раз. Казалось, ничего не переменилось, если не считать, что в их жизнь вошло то, чего тогда не было ни у него, ни у нее: они оба знали это про себя и молчали.

Берег все приближался.

— Готовь чалку! — послышался хриплый бас, точно такой же, как и тогда, полтора месяца назад.

Пароходик причалил к разбитой в щепы пристани. Сабуров и Аня сошли одни из последних, и хотя им до полка предстояло добираться вместе, Сабуров, сойдя на берег, притянул к себе Аню, погладил ее по волосам и поцеловал. Они пошли рядом. Пришлось взбираться вверх по темному, изрытому воронками откосу. Сабуров иногда оступался, но шел быстро, почти не отставая от Ани. Под ногами опять была земля Сталинграда — та же самая, холодная, твердая, не изменившаяся, не отданная немцам земля.

XVI

Стояли первые дни ноября. Снега выпало мало, и от бесснежья ветер, свистевший среди развалин, был особенно леденящим. Летчикам с воздуха земля казалась пятнистой, черной с белым.

По Волге шло сало. Переправа стала почти невозможной. Все с нетерпением ждали, когда Волга наконец совсем станет. Хотя в армии сделали некоторые запасы провианта, патронов и снарядов, но немцы атаковали непрерывно и ожесточенно, и боеприпасы таяли с каждым часом.

От штаба армии теперь была отрезана еще одна дивизия, кроме дивизии Проценко. Немцы вышли к Волге не только севернее Сталинграда, но и в трех местах в самом городе. Сказать, что бои шли в Сталинграде, значило бы сказать слишком мало: почти всюду бои шли у самого берега; редко где от Волги до немцев оставалось полтора километра, чаще это расстояние измерялось несколькими сотнями метров. Понятие какой бы то ни было безопасности исчезло: простреливалось все пространство без исключения.

Многие кварталы были целиком снесены бомбежкой и методическим артиллерийским огнем с обеих сторон. Неизвестно, чего больше лежало теперь на этой земле — камня или металла, и только тот, кто знал, какие, в сущности, незначительные повреждения наносит большому дому один, даже тяжелый, артиллерийский снаряд, мог понять, какое количество железа было обрушено на город.

На штабных картах пространство измерялось уже не километрами и не улицами, а домами. Бои шли за отдельные дома, и дома эти фигурировали не только в полковых и дивизионных сводках, но и в армейских, представляемых во фронт.

Телефонная связь штаба армии с отрезанными дивизиями шла с правого берега на левый и опять с левого на правый. Некоторые дивизии уже давно снабжались каждая сама по себе, со своих собственных, находившихся на левом берегу, пристаней.

Работники штаба армии уже два раза сами защищали свой штаб с оружием в руках, о штабах дивизий не приходилось и говорить.

Через четыре дня после того, как Сабуров вернулся в батальон, Проценко вызвали в штаб армии.

Когда в ответ на вопрос, сколько у него людей, Проценко доложил, что полторы тысячи, и спросил, нельзя ли малость подкинуть, командующий, не дав ему договорить, сказал, что он, Проценко, пожалуй, самый богатый человек в Сталинграде и что если штабу армии до зарезу понадобятся люди, то их возьмут именно у него. Проценко, схитривший при подсчете и умолчавший о том, что он за последние дни наскреб с того берега еще сто своих тыловиков, больше не возвращался к этому вопросу.

После официальной части разговора командующий ушел, а член Военного совета Матвеев за ужином включил радиоприемник, и они долго слушали немецкое радио. К удивлению Проценко, Матвеев, никогда раньше не говоривший об этом, сносно знал немецкий язык, он переводил почти все, что передавали немцы.

— Чувствуешь, Александр Иванович,— говорил Матвеев,— какие они стали осторожные! Раньше, бывало, только еще ворвутся на окраину города,— помню, так с Днепропетровском было,— и уже кричат на весь мир: «Взяли». Или к Москве когда подходили, уже заранее заявляли: «Завтра парад». А теперь и на самом деле две трети заняли,— а все же не говорят, что забрали Сталинград. И точных сроков не дают. А в чем, по-твоему, причина?

— В нас,— сказал Проценко.

— Вот именно. И в тебе, в частности, и в твоей дивизии, хотя в ней сейчас на этом берегу всего тысяча шестьсот человек.

Проценко был неприятно поражен этой истинной цифрой и изобразил на лице деланное удивление.

— Тысяча шестьсот,— повторил Матвеев.— Я уж при командующем не разоблачил тебя, что ты сто человек спрятал. Крик был бы.

Он рассмеялся, довольный, что поймал хитрого Проценко. Проценко тоже рассмеялся.

— Уже боятся объявлять сроки,— отучили. Это хорошо... Сеня,— крикнул Матвеев адъютанту,— дай коньяку! Когда-то еще ко мне Проценко приедет. Как, по Волге-то сало пошло, а?

— Да, начинает густеть,— сказал Проценко.— Завтра, наверное, переправы совсем не будет.

— Это мы предвидели,— сказал Матвеев.— Только бы скорей стала Волга. Одна к ней, единственная теперь от всей России просьба.

— Может не послушать,— сказал Проценко.

— Послушает или не послушает, а нам с тобой все равно поблажки не будет. Придется стоять, где стоим, с тем, что имеем.

Матвеев налил коньяку себе и Проценко и, чокнувшись с ним, залпом выпил.

Проценко не был подавлен этим разговором, наоборот, он возвращался в дивизию, пожалуй, даже в хорошем настроении. То, что ему сегодня окончательно отказали в пополнении людьми, как это ни странно, вселило в его душу неожиданное спокойствие. До этого он каждый день с возраставшей тревогой подсчитывал потери и ждал, когда придет пополнение. Теперь на ближайшее время ждать было нечего: надо пока воевать с тем, что есть, и надеяться только на это. Ну, что ж, по крайней мере, все ясно: именно те люди, которые уже переправились через Волгу и сидят сегодня вместе с ним на этом берегу, именно они и должны умереть, но не отдать за эти дни тех пяти кварталов, что достались на их долю. И хотя Проценко вполне отчетливо представил себе все последствия этого, вплоть до собственной гибели, но даже и об этом он подумал сейчас без содрогания. «Ну и что? Ну и убьют и меня и многих других. Все равно у немцев ничего не выйдет».

— Ничего не выйдет! — повторил он вслух так громко, что шедший сзади него адъютант подскочил к нему.

— Что прикажете, товарищ генерал?

— Ничего не выйдет,— еще раз повторил Проценко.— Ничего у них не выйдет, понял?

— Так точно,—сказал адъютант.

Они сели в моторку. Она еле шла, лед царапал борта.

— Становится,— сказал Проценко.

— Да, сало идет,— ответил сидевший на руле красноармеец.

В этот предутренний час Сабуров вышел из блиндажа на воздух, подышать.

У входа в блиндаж сидел Петя. Людей в батальоне было теперь так мало, что в последние дни он выполнял обязанности и

ординарца, и повара, и часового. Петя сделал движение, собираясь встать при виде капитана.

— Сиди,— сказал Сабуров и, прислонившись к бревнам, которыми был обшит вход в блиндаж, несколько минут стоял молча, прислушиваясь. Стреляли мало, только изредка, провизжав над головой, где-то далеко за спиной плюхалась в воду одинокая немецкая мина.

Петя поежился.

— Что, холодно?

— Есть немножко.

— Иди в блиндаж, погрейся. Я тут пока постою.

Оставшись один, Сабуров повернулся сначала налево, потом направо; его вдруг заново поразил, казалось бы, привычный ночной сталинградский пейзаж.

За те восемнадцать суток, что его не было здесь, да и за последние четыре дня Сталинград сильно изменился. Раньше все было загромождено пусть полуразбитыми, но все-таки домами. Сейчас тех трех домов, которые защищал батальон Сабурова, в сущности, уже не было: были только фундаменты, на которых кое-где сохранились остатки стен и нижние части оконных проемов. Слева и справа тянулись сплошные развалины. Кое-где торчали трубы. Остальное сейчас, ночью, сливалось в темноте в одну холмистую каменную равнину. Казалось, что дома ушли под землю и над ними насыпаны могильные холмы из кирпича.

Вернувшись в блиндаж, Сабуров, не раздеваясь, присел на койку и неожиданно заснул. Он проснулся и с удивлением обнаружил, что в блиндаж пробивает свет. Судя по времени, он проспал никак не меньше четырех часов. Очевидно, Ванин и Масленников, все еще считая его больным, ушли, решив не будить.

Он прислушался,— почти не стреляли. Ну что же, в конце концов это естественно: должна же когда-нибудь, хоть на некоторое время, наступить тишина. Он еще раз прислушался: да, как ни странно, тихо.

Дверь открылась, и в блиндаж вошел Ванин.

— Проснулся?

— Что ж не разбудили?

— А зачем? Когда еще в другой раз тихо будет...

— Что, в ротах был?

— Да, в третью ходил.

— Ну, как там, наверху? Никаких особых происшествий?

— Пока никаких. Как пишут газеты, «Бои в районе Сталинграда».

— Какие потери с вечера? — спросил Сабуров.

— Трое раненых.

— Много.

— Да. На прежнюю мерку немного, а сейчас много. Но из троих только одного в тыл отправляем, а двое остаются.

— А могут остаться?

— Как тебе сказать? В общем, не могут, а по нынешнему положению могут... Ты-то как сам — лучше себя чувствуешь?

— Лучше. Где Масленников?

— Ушел в первую роту.

Ванин горько усмехнулся.

— Все никак не можем привыкнуть, капитан, что батальон уже не батальон. Все называем: «роты, взводы». Сами уже, все вместе взятые, давно ротой стали, и привыкнуть не можем.

— И не надо,— сказал Сабуров.— Когда привыкнем к тому, что мы не батальон, а рота, придется два дома из трех оставить. Батальоном их еще можно оборонять. А ротой — нет. Стоит представить себе, что мы — рота, и уже сил не хватит.

— И так не хватает.

— Ты, по-моему, в пессимизм ударился.

— Есть немного. Смотрю на этот бывший город, и душа болит. А что, нельзя? — Ванин улыбнулся.

— Нельзя,— сказал Сабуров, глядя в его печальные, несмотря на улыбку, глаза.

— Ну что ж, нельзя так нельзя... Мне Масленников сказал, ты вроде как жениться собрался,— добавил Ванин после паузы.

Ванин знал это еще до приезда Сабурова, но до сих пор не обмолвился ни словом.

— Да,— сказал Сабуров.

— А свадьба?

— Свадьба когда-нибудь.

— Когда?

— После войны.

— Не пойдет!

— Почему?

— А потому, что ты меня после войны на свадьбу не пригласишь.

— Приглашу.

— Нет. Это всегда на войне говорится: «Вот после войны встретимся». Не встретимся. А я на твоей свадьбе погулять хочу. Ты не знаешь, как я тут без тебя, черт, соскучился. И с чего бы это? Говорили с тобой пять раз в жизни, а соскучился. Так что давай не откладывай.

— Хорошо,— сказал Сабуров.— День вместе выберем?

— Вместе.

— И немцев не спросим?

— Нет,— тряхнул головой Ванин.— Что их спрашивать? Их спрашивать, до свадьбы не доживешь.

Он сказал это лихо, с вызовом, но глаза у него все равно по-прежнему были печальные. Он отвернулся и стал копаться в бумагах. Сабуров поудобнее уселся на койке, прислонился к стене и свернул самокрутку.

Слова Ванина заставляли снова думать об Ане. С тех пор как они расстались на берегу, он видел ее всего один раз. Уже через три или четыре часа своего пребывания здесь он понял, какого напряжения достигли бои. Все, о чем они с Аней думали, произойдет совсем не так, и их решение быть вместе не играет никакой роли в происходящем кругом. То, что ему казалось таким простым там, в медсанбате,— попросить Проценко, чтобы Аня была сестрой именно в его батальоне,— эта простая, казалось бы, просьба до такой степени была не ко времени сейчас, здесь, что у него не поворачивался язык заговорить об этом с Проценко.

Аня появилась лишь на третьи сутки, под вечер. Хотя у них и было пятнадцать минут на то, чтобы поговорить, они не сказали друг другу ни слова о решении, которое приняли на том берегу, и он был благодарен ей за то, что она не возобновила здесь этого разговора, потому что, как все мужчины, не любил ощущения собственной беспомощности.

Аня пришла, когда он вернулся после отражения очередной немецкой атаки и сидел у себя в блиндаже вдвоем с Масленниковым. Войдя в блиндаж, она быстро подошла к Сабурову и, не дав ему встать, крепко обняла его, несколько раз поцеловала прямо в губы сухими горячими губами, потом повернулась и, подойдя к Масленникову, поздоровалась за руку. По всем ее движениям, по ее взгляду Сабуров сразу понял, что она не возобновит того старого разговора, но что тем не менее она его жена и тем, как она пришла, она даст ему понять, что ничего не изменилось.

Масленников вышел. Ни Сабуров, ни Аня не удерживали его. Десять минут они просидели рядом на койке, обнявшись и откинувшись к стене. Им ни о чем не хотелось говорить,— все, что бы они ни сказали, было не важно по сравнению с тем, что они все-таки среди всего окружающего сидели рядом. Он не спросил ее о том, куда она пойдет (он знал, что за ранеными), не сказал ей, сколько у него в батальоне сегодня раненых (она это узнает и без него), он даже не спросил, ела она или нет. Он чувствовал, что эти десять минут у них лишь для того, чтобы сидеть вот так и молчать. И когда Аня встала, он не удерживал ее.

Она поднялась, взяла его за обе руки, чуть-чуть потянула к себе, потом отпустила, опять крепко прижалась к нему губами и молча вышла.

Больше она не приходила. Вчера за ранеными пришла другая сестра и принесла Сабурову записку, нацарапанную карандашом на обрывке бумаги. Там стояло: «Я в полку у Ремизова. Аня». Сабурова не обидело то, что записка была такой короткой. Он понимал, что никакие слова не могли выразить того, что теперь было между ними. Аня просто говорила этой запиской, что она жива. Она, наверное, и теперь, в эту минуту, была там, у Ремизова, всего в каких-нибудь пятистах коротких и непреодолимых шагах.

Целая серия снарядов одновременно рухнула над самым блиндажом, вслед за ней вторая и третья. Сабуров посмотрел на часы и усмехнулся: немцы, как всегда, пристрастны к точному времени. Они редко начинали с минутами, почти всегда в ноль-ноль. Так и сейчас. Залпы следовали один за другим.

Сабуров, не надевая шинели, вылез из блиндажа в ход сообщения.

— Ванин, опять начинается. Позвони в полк! — крикнул он, наклоняясь ко входу в блиндаж.

— Звоню! Связь прервана,— донесся до него голос Ванина.

— Петя, пошли связистов.

Петя выскочил из окопа и перебежал десять метров, отделявших его от блиндажа связистов. Оттуда выскочили два связиста и, быстро перебегая от развалин к развалинам, направились вдоль линии к штабу полка. Сабуров наблюдал за ними. Минуту они шли быстро, не прячась. Потом серия разрывов обрушилась неподалеку от них, и они легли, снова поднялись, снова легли и снова поднялись. Он еще несколько минут следил за ними, пока они не скрылись из виду за развалинами.

— Связь восстановлена! — крикнул из блиндажа Ванин.

— Что говорят? — спросил Сабуров, входя в блиндаж.

— Говорят, что по всему фронту дивизии огневой налет. Наверное, будет общая атака.

— Масленников в первой? — спросил Сабуров.

— Да.

— Ты оставайся тут,— сказал он Ванину,— а я пойду во вторую.

Ванин попробовал протестовать, но Сабуров, морщась от боли, уже натянул шинель и вышел.

То, что происходило после этого в течение четырех часов, Сабурову потом было бы даже трудно вспомнить во всех подробностях. На счастье, позиции батальона были так близко от немецких, что немцы не решались использовать авиацию. Но зато все остальное обрушилось на батальон.

Улицы были так загромождены обломками разрушенных зданий, что немецким танкам уже негде было пройти, но они все-

таки подобрались почти к самым домам, где сидели люди Сабурова. Из-за стен с коротким шлепающим звуком били их 55-миллиметровые пушки.

Несколько раз за эти четыре часа Сабурова осыпало землей от близких разрывов. Опасность была настолько беспрерывной, что чувство ее притупилось и у Сабурова и у солдат, которыми он командовал. Пожалуй, сказать, что в эти часы он ими командовал, было бы не совсем верно. Он был рядом с ними, а они и без команды делали все, что нужно. А нужно было лишь оставаться на месте и при малейшей возможности поднимать голову,— стрелять, без конца стрелять по ползущим, бегущим, перепрыгивающим через обломки немцам.

Сначала у Сабурова было ощущение, что бой движется прямо на него и все, что сыплется, валится, идет и бежит, направлено туда, где он стоит. Но потом он начал скорее чувствовать, чем понимать, что удар нацелен правее и немцы, очевидно, хотят сегодня наконец отрезать их полк от соседнего и выйти к Волге. На исходе четвертого часа боя это стало очевидно.

Уходя из второй роты на правый фланг, в первую, стоявшую в самом пекле, на стыке с соседним полком, Сабуров приказал перетащить вслед за собою батарею батальонных минометов.

— Последнее забираете,— развел руками командир второй роты Потапов; в голосе его дрожала обида.

— Где тяжелее, туда и беру.

— Сейчас там тяжелее, через час у меня.

— Не только о себе надо думать, Потапов.

В другое время он бы гораздо резче оборвал Потапова, но сейчас чувствовал, что тому действительно страшно остаться без этих минометов.

— Там на полк Ремизова жмут. Могут к Волге выйти. Надо им во фланг ударить. Прикажи, чтобы быстрее тянули.

Он посмотрел в лицо Потапову, удостоверился, что тот понял, и протянул ему руку:

— Держись. Ты и без минометов удержишься, я тебя знаю.

В первой роте, когда он пришел туда, творился сущий ад. Масленников, потный, красный от возбуждения, несмотря на холод, без шинели, с расстегнутым воротом гимнастерки, сидел, прижавшись спиной к выступу стены, и, торопливо черпая ложкой, ел из банки мясные, покрытые застывшим жиром консервы. Рядом с ним на земле лежали двое бойцов и стоял ручной пулемет.

— Ложку капитану,— сказал он, увидев Сабурова.— Садитесь, Алексей Иванович. Кушайте.

Сабуров сел, зачерпнул несколько ложек и закусил хлебом.

— Что за пулемет? Зачем?

— Вон, видите,— показал Масленников вперед, туда, где метрах в сорока перед ними возвышался обломок стены с куском лестничной клетки и двумя окнами, обращенными в сторону немцев.— Приказал снять с позиции пулемет. Сейчас полезем туда втроем. Прямо из окошка будем бить. Оттуда все как на ладони.

— Сшибут,— сказал Сабуров.

— Не сшибут.

— Первым же снарядом сшибут, как заметят.

— Не сшибут,— упрямо повторил Масленников.

Он не хуже Сабурова знал, что должны сшибить, но именно оттого, что сшибить непременно должны, а он все-таки полезет, у него было бессознательное чувство, что, вопреки всем вероятиям, его именно не сшибут и все выйдет очень хорошо.

— Справа весь седьмой корпус заняли,— сказал он.— На Ремизова жмут.

— В седьмом уже не стреляют? — спросил Сабуров.

— Нет, наверное, всех побили. Отрезать могут сегодня, если так пойдет.— Масленников кивнул на пулемет.— А мы выставим в окно и прямо оттуда их чесать будем. Хоть немного, да поможем, а?

— Хорошо,— сказал Сабуров.

— Могу идти?

— Можешь.

Масленников кивнул двум ожидавшим его бойцам, они втроем вышли из-за укрытия и двинулись к обломкам дома, перебегая, ложась и снова перебегая.

Сабуров хорошо видел, как они благополучно добрались до дома, как перелезли через обломки и, передавая из рук в руки пулемет, стали карабкаться по остаткам лестничной клетки. В это время несколько мин разорвалось рядом с окопом, в котором был Сабуров, и ему пришлось лечь.

Когда он поднялся, то увидел, что Масленников и бойцы уже устроились в окне и ведут оттуда огонь. Через несколько минут около обломка стены стали рваться немецкие снаряды. Масленников продолжал стрелять. Потом стена окуталась дымом и пылью. Когда дым рассеялся, Сабуров увидел, что все трое по-прежнему стреляют, но ниже их в стене немецким снарядом пробито сквозное отверстие. Еще один снаряд разорвался выше, и Сабуров увидел, как один из пулеметчиков, раскинув руки, словно ныряя, но только спиной, упал с выступа третьего этажа вниз, на камни. Если даже он был только ранен, то все равно, наверно, разбился насмерть.

Сабуров видел, как Масленников лег плашмя на выступ, сложил руки в трубку и что-то крикнул вниз один раз и еще раз,

потом повернулся к пулемету и опять начал стрелять. Хотя немцы, заметив Масленникова, били в него с близкого расстояния, но попасть в амбразуру окна им пока не удавалось.

Еще один снаряд пробил стену ниже Масленникова. Второй номер оторвался от пулемета, покачнулся, чуть не упал вниз и, сбалансировав, остался сидеть на краю уступа. Масленников оставил пулемет, подтянулся к раненому и положил его плашмя вдоль стены, так, чтобы тот не упал. Несколько секунд он оставался так, нагнувшись над раненым, и опять вернулся к пулемету. Теперь он стрелял один.

Тем временем от Потапова подтащили три миномета,— четвертый разбило по дороге. Сабуров вылез вместе с минометчиками вперед и расположил их за обломками каменного забора. Они сейчас же открыли огонь по немецкой батарее, которая била по Масленникову. Едва минометы открыли огонь, как немцы засекли их расположение.

Одним из осколков ранило командира батареи. Сабуров стал командовать вместо него. Немцы перенесли огонь на минометы, и Масленникову стало легче. Он все еще лежал и стрелял. Потом, когда Сабуров взглянул туда, он увидел один пулемет,— Масленникова не было. «Неужели убили?» — испугался он. Но через несколько минут Масленников снова появился на стене: у него вышли диски, и он лазил за новыми.

Уже перед темнотой Сабурова еще раз засыпало землей. Он с трудом поднялся, в глазах мелькали искры. Он сел и обхватил руками голову. Искры стали реже, и он, словно сквозь туман, начал различать окружающее.

Подполз Петя и что-то спросил у него.

— Что? — переспросил Сабуров.

Петя опять неслышно что-то прошептал.

Сабуров повернулся к нему другим ухом.

— Не задело? — спросил Петя, и голос его был неожиданно громок.

— Не задело.— Опустив голову, Сабуров увидел, что шинель его вдоль всей груди рассечена, а под ней рассечена гимнастерка. Осколок пролетел мимо, едва коснувшись его; стоявший рядом миномет был исковеркан, труба была начисто оторвана.

Судя по огню немцев, они все-таки отрезали полк Ремизова и стреляли теперь правее и ниже Сабурова, ближе к Волге. Он попробовал соединиться с Ваниным, но это оказалось безнадежным делом,— все провода были порваны.

Бой, кажется, начинал затихать.

— Где Масленников? — спросил Сабуров.

— Здесь.

Оказывается, Масленников стоял сзади; через всю щеку у него чернел кровоподтек.

— Контузило?

— Нет, сбросило. Пулемет разбило, а со мной ничего.

«Представлю,— подумал Сабуров.— Непременно представлю. На Героя. А там пусть решают. Он и в самом деле герой». А вслух сказал только:

— Что с бойцами?

— Один насмерть расшибся, а второго все же вытащил.

— Хорошо,— сказал Сабуров.— Затихает, а?

— Затихает,— согласился Масленников.— Только они все-таки к Волге вышли.

— Да, похоже,— сказал Сабуров.

Они замолчали.

К ним подошла толстая курносая задыхающаяся сестра и спросила, нет ли еще раненых.

— Только там, впереди,— сказал Сабуров.— Совсем стемнеет, тогда вытащите.

Он подумал, что, наверное, Аня вот так же сейчас разыскивает раненых там, в полку Ремизова, от которого они теперь отрезаны.

— Я сейчас вытащу,— вызвалась сестра.

— Не лезьте,— оборвал Сабуров грубо.— Обождите.— И ему захотелось, чтобы сейчас кто-то так же задержал Аню.— Через десять минут стемнеет, и полезете.

Сестра и двое санитаров прилегли за камнями. Если бы Сабуров не сказал «не лезьте», они бы сейчас поползли вперед, но им это запретили, и они были довольны, что можно еще десять минут пролежать здесь.

Позади, одна за другой, разорвалось несколько мин.

— Последний налет перед ночью делают,— сказал Масленников.— Верно, Алексей Иванович?

— Да,— согласился Сабуров.

— Говорят, по Волге сплошное сало идет.

— Говорят.

Сабуров откинулся на камни, повернул лицо вверх и только сейчас заметил, что снег все не перестает идти. Мокрые хлопья его приятно холодили разгоряченное лицо.

— Повернись так,— сказал он Масленникову.

— Как?

— Как я.

Масленников тоже лег на спину. Сабуров видел, как ему на лицо падают снежинки.

— Как думаете, долго будет сало идти?

— Не знаю,— сказал Сабуров.— Связь еще не установлена с Ваниным?

— Нет, все еще порвана.

— Оставайся пока тут, я пойду.

— Подождите,— попросил Масленников.— Сейчас стемнеет.

— Я тебе не медсестра.

Сабуров вылез из окопа, перепрыгнул через обломки и, укрываясь за стеной дома, пошел назад, к командному пункту батальона.

XVII

— С полком восстановили связь,— порадовался Ванин, когда Сабуров вошел в блиндаж.

— Ну?

— Ремизова отрезали.

— А что думают делать?

— Не говорили. Наверное, от Проценко приказания ждут.

Они помолчали.

— Выпьешь чаю?

— А разве есть?

После всего только что пережитого казалось, что ничего обыкновенного, привычного на свете уже нет.

— Есть. Только остыл.

— Все равно.

Ванин поднял с пола чайник и налил в кружки.

— А водки не хочешь?

— Водки? Налей водки.

Ванин вылил чай обратно в чайник и налил по полкружки водки. Сабуров выпил ее равнодушно, даже не почувствовал вкуса. Сейчас она была просто лекарством от усталости. Потом Ванин опять полез за чайником. Они медленно пили остывший чай. Говорить не хотелось. Оба знали: сегодня произошло то, о чем во фронтовых сводках потом напишут: «За такое-то число положение значительно ухудшилось» или просто: «ухудшилось». Выпив чаю, они еще помолчали. Давать распоряжения на завтра было рано, а о том, что уже было и прошло, говорить не хотелось.

— Хочешь радио послушать? — спросил Ванин.

— Хочу.

Ванин сел в углу и стал настраивать старенький приемник. Вдалеке заиграла музыка, но сразу кончилась. Ванин покрутил регулятор, но приемник молчал. Потом они услышали обрывки не то болгарской, не то югославской передачи, слышались знакомые, похожие на русские и в то же время непонятные слова.

— Ничего не получается,— посетовал Ванин.

— На Москву поставь.

Ванин, покрутив регулятор, довел до черточки с надписью «Москва». Оба прислушались. В приемнике стоял какой-то долгий, незатихающий треск; они не сразу поняли, что это аплодисменты. Потом из этого треска и гула возник совсем близкий голос человека, который, видимо, волновался.

— Заседание Московского Совета депутатов совместно с партийными и советскими организациями объявляю открытым. Слово для доклада имеет товарищ Сталин.

Снова начались аплодисменты.

— Разве сегодня шестое? — удивился Сабуров.

— Как видишь.

— Мне с утра казалось, что пятое.

— Откуда же пятое? — сказал Ванин.— Именно шестое. В прошлом году тоже не пропустили.

— Я в прошлом году не слышал. В окопах лежал.

— А я слышал,— сказал Ванин.— Тогда же у нас здесь была мирная жизнь. Мы за москвичей тревожились. Стояли здесь у репродукторов и слушали.

— Да, тогда вы за москвичей, теперь они за нас,— задумчиво сказал Сабуров и вспомнил ту первую речь Сталина в начале войны, в июле.

«К вам обращаюсь я, друзья мои!» — сказал тогда Сталин голосом, от которого Сабуров вздрогнул.

Кроме обычной твердости, была тогда в этом голосе какая-то интонация, по которой Сабуров почувствовал, что сердце говорящего обливается кровью. Это была речь, которую он потом на войне несколько раз вспоминал в минуты самой смертельной опасности, вспоминал даже не по словам, не по фразам, а по голосу, каким она была сказана, по тому, как в длинных паузах между фразами булькала наливаемая в стакан вода. И ему казалось с тех пор, что именно тогда, слушая эту речь, он дал клятву сделать на этой войне все, что в его силах. Он думал, что Сталину тяжело и в то же время что он решил победить. И это соответствовало тому, что чувствовал тогда сам Сабуров; и ему тогда тоже было тяжело и он тоже решил победить любой ценой.

Аплодисменты продолжались. Сабуров придвинулся вплотную к самому радио, тесня плечом Ванина. Сейчас ему было интересно не только то, что скажет Сталин, но и как скажет. Аплодисменты были так громки, что на секунду Сабурову показалось, что все это происходит тут, в блиндаже. Потом в репродукторе послышалось откашливание, и неторопливый голос Сталина сказал:

— Товарищи...

Сталин говорил о ходе войны, о причинах наших неудач, о числе немецких дивизий, брошенных на нас, но Сабуров все еще не вдумывался в смысл слов, а слушал интонации голоса. Ему хотелось знать, что сейчас на душе у Сталина, какое у него настроение, какой он сейчас вообще, как выглядит. Он искал в голосе интонации, знакомые ему по той речи, которую он слушал в июле сорок первого. Но интонации были другие. Сталин говорил отчетливее, чем тогда, и более низким, спокойным голосом.

Перед концом речи, когда Сабуров уже душевно успокоился, когда он почувствовал, что и то, как Сталин говорит, и голос, которым он говорит,— все это даже не совсем понятно почему, но вселяет в него, Сабурова, спокойствие, он особенно отчетливо услышал одну из последних фраз:

«Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей»,— медленно, не выделяя слов, сказал Сталин и сделал паузу, прерванную аплодисментами.

Ванин и Сабуров долго молча сидели у приемника.

То, что Сабуров только что услышал, казалось ему необычайно важным. Он мысленно представил себе, что этот голос звучит здесь не сейчас, когда все затихло, а час назад, когда он был рядом с Масленниковым среди еще не прекратившегося адского грохота боя. И когда он подумал об этом, спокойный голос, услышанный им в репродукторе, показался ему удивительным. Тот, кто говорил, хорошо знал обо всем, что происходит здесь, и все-таки его голос оставался совершенно спокойным.

— И в самом деле, ведь победим же мы их в конце концов! — неожиданно для себя вслух сказал Сабуров.— Ведь будет же это? А, Ванин?

— Будет,— сказал Ванин.

— Когда я из медсанбата уезжал, мне один врач сказал, что на Эльтон и вообще по всей ветке массу войск гонят, и пушек, и танков, и всего. Я тогда не поверил ему, а сейчас думаю: может, и правда?

— Возможно, что и правда.

— А нам не дают ни одного человека,— пожаловался Сабуров.

— Проценко дал, пока тебя не было, тридцать человек.

— Но это из своих же тылов, «Тришкин кафтан». А кроме этого?

— А кроме этого — ничего.

Ванин покрутил регулятор. Откуда-то что-то кричали на иностранных языках, потом заиграла какая-то незнакомая музыка. Сабурова вдруг охватила грусть.

— Играют. Странно, что есть еще что-то на свете. Города какие-то, страны, музыка.

— Что же странного?

— Нет, все-таки странно. Хотя, конечно, ничего странного нет. А все-таки странно...

В блиндаж влез Масленников, грязный, мокрый, замерзший. Он почернел и похудел за этот день. Щеки у него ввалились, но глаза блестели, и было в них что-то неистребимо юношеское, чего все еще никак не могла погасить война. Не сняв пилотки, он попросил закурить, два раза затянулся, сел, откинулся к стене и мгновенно заснул.

— Устал.— Сабуров снял с него пилотку, приподнял его ноги с пола и положил на койку. Масленников не просыпался. Сабуров погладил его рукой по волосам.

— Спит. Думаю его к Герою представить. Как ты считаешь, Ванин?

— Не знаю,— пожал плечами Ванин.— Хлопец он хороший, но на Героя...

— На Героя, на Героя,— сказал Сабуров.— Непременно на Героя. Что, герой только тот, кто самолеты сбивает? Ничего подобного. Он как раз и есть герой. Обязательно представлю, и ты подпишешь. Подпишешь?

— Раз ты уверен, подпишу.

— Подпишем,— сказал Сабуров,— и чем скорее, тем лучше. При жизни все это надо. После смерти тоже хорошо, но так, главным образом для окружающих. А самому тогда уже все равно.

Затрещал телефон.

— Сабуров слушает. Что делаю? Спать собираюсь. Слушаюсь, иду... Попов говорит, что Проценко меня к себе вызывает. К чему бы это?

Он вздохнул, надел ватник, тряхнул руку Ванину и вышел.

XVIII

Над передним краем немцев совсем близко полукольцом висели сигнальные белые ракеты. Сабуров шел рядом с автоматчиком, спотыкаясь и чувствуя, что засыпает на ходу.

— Погоди,— сказал он на середине пути.— Дай сяду.

Он присел на обломки и с горечью подумал, что начинает уставать не той усталостью, которая приходит каждый день к вечеру, а длинной, непроходящей, которой больны уже многие люди, провоевавшие полтора года. Они посидели несколько минут и пошли дальше.

Проценко они нашли не сразу. Их не предупредили, а он, оказывается, за эти четыре дня, что у него не был Сабуров, переместился. Теперь его командный пункт был, как и у Сабурова, в подземной трубе, но только в огромной, одной из городских магистральных труб, спускавшихся к Волге.

— Ну, как тебе нравится мое новое помещение, Алексей Иванович? — спросил Проценко у Сабурова.— Хорошо, правда?

— Не плохо, товарищ генерал. И, главное, пять метров над головой.

— Как бомба ударит, только посуда в доме сыплется, а больше ничего. Садись, как раз к чаю!

Сабуров, обжигаясь, выпил кружку горячего чаю. Он с трудом удерживался от того, чтобы не клевать носом при генерале.

— Ты все на прежнем месте? — спросил Проценко.

— Да.

— Значит, еще не разбомбили?

— Выходит, так, товарищ генерал.

Сабуров заметил, что во время всей этой болтовни Проценко внимательно присматривается к нему, так, словно видит впервые.

— Как себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Я не про батальон, а про тебя лично. Как ты себя чувствуешь? Поправился?

— Поправился.

Проценко помолчал и снова внимательно посмотрел на Сабурова.

— Хочу дать тебе одно задание,— сказал он вдруг строго, как бы удостоверившись, что он вправе дать это задание и Сабуров его осилит.— Ремизова отрезали.

— Знаю, товарищ генерал.

— Знаю, что знаешь. Но мне от этого не легче. Знаю, что его отрезали, но не знаю, как там у него: кто жив, кто убит, сколько осталось, что могут сделать, чего не могут,— ничего не знаю. Радио у него молчит, как мертвое. Наверно, разбили. А я обязан знать, и сегодня же, понимаешь?

— Понимаю.

— Потом легче будет, когда Волга станет, по льду можно будет обходить. А сегодня нужно идти туда по берегу. Я проверял. В принципе пройти можно; немцы до обрыва дошли, но вниз не спустились. Мы отсюда огнем не дали это сделать, а Ремизов оттуда. В общем, пока не спускаются. Придется тебе пройти под обрывом, низом.— Проценко сделал паузу, посмотрел на усталое лицо Сабурова и жестко добавил: — Сегодня же ночью. Мне нужно, чтобы пошел человек не просто так, а чтобы мог мне все точно

узнать, а если начальство выбито, взять на себя команду. Вот на этот случай приказ.— Он подвинул по столу бумагу.— В зависимости от обстановки буду ждать обратно сегодня же ночью, или тебя, или, если останешься там, того, кого пришлешь. Как — один пойдешь или автоматчиков с собой возьмешь?

Сабуров задумался.

— Немцев на самом берегу нет?

— Маловероятно.

— Если напорюсь на немцев, два автоматчика все равно вряд ли выручат,— пожал плечами Сабуров.— А если просто обстрел — одному незаметнее. По-моему, так.

— Как знаешь.

Сабурову очень хотелось посидеть еще минут пять здесь, в тепле и безопасности, но он поймал глазами движение Проценко, готовившегося встать, и поднялся первым.

— Разрешите идти?

— Иди, Алексей Иванович.

Проценко встал, пожал ему руку не крепче и не дольше обычного, словно хотел сказать этим, что все должно быть в порядке и незачем прощаться как-то по-особенному.

Сабуров вышел за перегородку, во второе отделение блиндажа, где сидел знакомый ему адъютант Проценко — Востриков, парень недалекий и вечно все путавший, но ценимый генералом за беспредельную храбрость.

— Востриков, я у тебя автомат оставлю.

— Хорошо, будет в сохранности.

Сабуров поставил в угол автомат.

— А ты дай мне две «лимонки» или лучше — четыре. Есть?

— Есть.

Востриков порылся в углу и, не без некоторого душевного сожаления, дал Сабурову четыре маленькие гранаты «Ф-1»; они были у него уже с веревочками, чтобы подвешивать к поясу. Сабуров, не торопясь, подвесил их по две с каждой стороны, предварительно попробовав, крепко ли сидят в них кольца.

— Тише,— сказал Востриков,— выдернете еще.

— Ничего.

Пристроив гранаты, Сабуров отстегнул неудобную треугольную немецкую кобуру, положил ее рядом с автоматом, а парабеллум засунул под ватник, за пазуху.

— Угощал на дорогу? — мигнул Востриков в сторону двери, за которой находился Проценко.

— Нет.

— Что же это он?

— Не знаю.

Сабуров пожал руку Вострикову и вышел.

— Востриков! — крикнул Проценко.

— Слушаю вас.

— Что вы там копались?

— Капитан Сабуров собирался.

— Чего он собирался?

— Автомат оставил, гранаты у меня взял.

— Ну, ладно, иди.

Проценко задумался. По правде говоря, он посылал Сабурова не только потому, что Сабуров мог на крайний случай заменить Ремизова, но еще и потому, что Сабуров уже раз наладил ему связь с армией, и у Проценко было чувство, что именно Сабуров должен и на этот раз дойти и сделать. И хотя было очевидно, что сделать это нелегко, Проценко верил в удачу. Он сидел за столом и подробно обдумывал предстоящее. Вернется ли Сабуров или, оставшись там за командира полка, пришлет кого-нибудь сюда, все равно, так или иначе, эти триста метров обрыва, на которые выскочили немцы, надо брать обратно. Проценко позвал к себе начальника штаба, и они с карандашом в руках подсчитали, сколько у них осталось людей на сегодняшнюю ночь. Еще две недели назад цифра эта испугала бы Проценко, но сейчас он уже так привык к собственной бедности, что ему после подсчета показалось — все еще не так плохо. Он не знал, как обстояло дело у Ремизова, но здесь в двух полках сегодня были даже меньшие потери, чем следовало ожидать.

Чем же, какими силами отбивать берег? О том, чтобы целиком снять с позиций хотя бы один батальон, не могло быть и речи: надо было вытягивать людей отовсюду, из каждого батальона, и создать к завтрашней ночи сборный штурмовой отряд. Только так, другого выхода не было.

— Как вы решили, товарищ генерал? — спросил начальник штаба.

Проценко взял листок бумаги и подсчитал состав отряда.

— Вот,— сказал он,— здесь написано, по скольку человек откуда взять. За ночь выведи людей сюда в овраг. Днем сколотим их, подготовим, а завтра ночью, будем живы, отберем берег.

Проценко был мрачен. Его лицо ни разу не осветила обычная хитрая улыбка.

— Подпишите донесение в штаб армии.— Начальник штаба вынул из папки бумагу.

— О чем донесение?

— Как всегда, о событиях.

— О каких событиях?

— О сегодняшних.

— О каких?

— Как о каких? — с некоторым недоумением и раздражением переспросил начальник штаба.— О том, что немцы к Волге вышли, о том, что Ремизова отрезали.

— Не подпишу,— сказал Проценко, не поднимая головы.

— Почему?

— Потому что не вышли и не отрезали. Задержи донесение.

— А что же доносить?

— Сегодня ничего.

Начальник штаба развел руками.

— Знаю,— сказал Проценко.— За задержку донесения на сутки беру ответственность на себя. Отобьем берег и донесем все сразу. Если отобьем, нам это молчание простят.

— А если не отобьем?

— А если не отобьем,— сказал Проценко с обычно ему не присущей мрачной серьезностью,— некого будет прощать. Я сам поведу штурмовой отряд. Понятно? Что смотришь, Егор Петрович? Думаешь, ответственности боюсь? Не боюсь. Не боялся и не боюсь. А не хочу, чтобы знали, что немцы еще и здесь на берег вышли. Не хочу. Я в штаб армии сообщу, из штаба армии — в штаб фронта, из штаба фронта — в Ставку. Не хочу. Это же на всю Россию огорчение. Все равно, если сообщу, скажут: «Отбивай, Проценко, обратно». И ни одного солдата не дадут. Так я лучше сам, без приказов, отобью. Все огорчения на одного себя беру. Понимаешь?

Начальник штаба молчал.

— Если понимаешь — хорошо. А не понимаешь — как знаешь. Все равно будешь делать так, как я тебе приказал. Все. Иди выполняй.

Проценко вышел из блиндажа. Ночь была темная, свистел ветер, и шел крупный снег. Проценко посмотрел вниз. Там, в просвете между развалинами, видна была замерзавшая Волга. Отсюда, сверху, она казалась неподвижной и совсем белой. На земле, кое-где в ямках, уже плотно лежал падавший весь день снег. Правее по берегу хлопали минометы.

Проценко подумал о Сабурове, который сейчас, наверное, уже полз там, и невольно поежился.

В той роте, которая стояла на берегу, Сабуров взял автоматчика и с ним вместе добрался до одиноко высившихся впереди развалин, куда уже ночью был выдвинут крайний пулемет и откуда надо было спускаться прямо к Волге и ползти мимо немцев.

Командир роты предложил ему взять с собой автоматчика до конца, до Ремизова, но Сабуров снова отказался от этого.

Цепляясь за торчавшие из земли кирпичи и застывшие комья грязи, он тихо спустился вдоль откоса и теперь был на самом

берегу. Он хорошо помнил это место: когда-то, вначале, во время переправы они высаживались именно здесь. Узкая полоска берега была совсем отлогой, и сразу над ней, уступами, поднимались глинистые террасы. Кое-где высились остатки пристаней, по берегу были разбросаны обгорелые бревна.

Едва Сабуров спустился вниз, как почувствовал, что его прохватывает насквозь.

Река была белая. Дул холодный ветер. Если бы он вздумал идти по самому обрезу берега, его силуэт на белом фоне был бы заметен сверху. Поэтому он решил идти чуть выше и ближе к обрыву. Отправляясь, он договорился с командиром роты, что, если немцы откроют по нему огонь, рота тоже откроет огонь из пулеметов по всему обрыву. Это была, правда, ненадежная помощь, но все-таки помощь на всей первой половине пути. Дальше предстояло самое трудное. Ремизова нельзя было предупредить никакими способами, и, заметив человека, оттуда могли и даже должны были открыть огонь. Оставалось полагаться на собственное счастье.

Первые сто метров он прошел, не ложась на землю, стараясь двигаться как можно бесшумнее и быстрее. Никто не стрелял. На берегу было пустынно; один раз он споткнулся обо что-то, упал на руки и, приподнимаясь, ощупал препятствие — это был окоченевший мертвец, и в темноте трудно было узнать — свой это или немец. Сабуров перешагнул через труп.

Но едва он сделал еще два шага, как впереди него прошла поверху косая очередь трассирующих пуль.

Он быстро отполз в сторону и прилег за выкинутыми на берег обгорелыми бревнами.

Немцы дали еще несколько очередей и осветили берег позади Сабурова, там, где лежал мертвец. Они принимали его за живого. Очереди ложились все ближе, и наконец одна попала прямо в труп. Лежа за бревнами, Сабуров ждал. Видимо считая, что нарушивший тишину убит, немцы прекратили огонь.

Сабуров пополз дальше. Теперь он полз, не отрываясь от земли и стараясь не производить ни малейшего шума. Еще два или три раза он натыкался на мертвые тела. Потом больно ударился о камень и тихо, про себя, выругался. Ему показалось, что впереди что-то шевелится. Он остановился и прислушался. Послышался плеск воды. Он тихо прополз еще несколько шагов. Плеск теперь был слышнее. Это был такой звук, словно черпали ведром воду. Он вдруг вспомнил, как в детстве, поспорив с товарищами, пошел ночью через все городское кладбище и в доказательство принес горсть фарфоровых цветов, выломанных из венка в самом конце кладбища. Сейчас ему было почти так же жутко, как тогда.

Он подполз ближе и увидел появившуюся из-за обломков лодки согнувшуюся фигуру. Человек пошел сначала как будто мимо, но потом, огибая бревна, двинулся прямо к нему.

Сабуров ждал. У него не было никаких мыслей, было только ожидание: вот сейчас тот ступит еще раз, потом еще раз, и потом можно будет до него дотянуться. Когда человек сделал еще шаг, Сабуров протянул вперед руку, схватил его за ногу и дернул к себе.

Человек, падая, страшно закричал, и в ту же секунду что-то ударило Сабурова по голове и окатило ледяной водой. Человек закричал не по-русски и не по-немецки, а просто отчаянно: «А-а-а...» Сабуров изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Крикнув что-то по-немецки, человек схватил его руку и вцепился в нее зубами. Понимая, что теперь уже все равно, тихо или нет, Сабуров вытащил свободной рукой парабеллум и несколько раз подряд выстрелил, упирая дуло в тело немца. Тот дернулся и затих.

Сверху раздались автоматные очереди; несколько пуль с грохотом ударились в ведро. Сабуров нащупал привязанную к ведру веревку; убитый немец ходил к Волге за водой.

Сверху продолжали стрелять.

«Спустятся или побоятся?» — подумал Сабуров.

Он лег, подперев плечом труп, который теперь полулежал на нем и прикрывал его от пуль.

«Когда же все это кончится?» Он чувствовал, что коченеет; немец, падая, вылил на него все ведро. Сверху продолжали стрелять, и так они могли стрелять всю ночь. Сабуров сбросил с себя мертвеца и пополз. Пули ударялись в землю то впереди, то позади него, и когда он прополз шагов тридцать, а стрелять продолжали чуть ли не вдоль всего берега, к нему вернулось ощущение, что в него не попадут.

Он прополз пятьдесят шагов. По берегу все еще стреляли. Еще несколько шагов...

Руки его так окоченели, что уже не чувствовали земли. Были хорошо видны огоньки выстрелов там, на обрыве, откуда стреляли. Теперь и сзади, откуда он шел, и спереди, от Ремизова, виднелись трассы пуль, шедшие по направлению к стрелявшим немцам. Перестрелка разгоралась все сильнее, немцы стали все реже стрелять вниз и чаще отвечать, влево и вправо. Тогда Сабуров вскочил и побежал,— он больше не мог ползти. Он бежал, спотыкаясь, перепрыгивая через бревна. У него мелькнула мысль: там, у Ремизова, должны понять, что немцы стреляют по кому-то из наших. Несмотря на грязь и темноту, он бежал отчаянно быстро. Он упал оттого, что кто-то подставил ему ногу; упал лицом в

грязь, ушиб плечо, а кто-то в это время сел ему на спину и стал крутить руки.

— Кто? — спросил хриплый голос.

— Свои,— почему-то все еще шепотом сказал Сабуров и, чувствуя, как ему выкручивают пальцы, толкнул свободной рукой одного из навалившихся на него так, что тот покатился.

— Чего пихаешься? — огрызнулся тот.

— Говорю, свои. Ведите меня к Ремизову.

Немцы, должно быть, услышали возню и пустили несколько очередей. Кто-то всхлипнул.

— Что, ранило? — спросил другой.

— В ногу, больно.

— Сюда.— Схватив Сабурова за руку, кто-то потащил его вперед.

Они пробежали несколько шагов и спрятались за остатками стены.

— Откуда? — спросил тот же хриплый голос, который он услышал вначале.

— От генерала.

— Кто это, в темноте не вижу.

— Капитан Сабуров.

— А, Сабуров... Ну, а это Григорович.— И голос сразу стал знакомым Сабурову.— Это ты мне плюху влепил? Ну, ничего, от старого друга.

Григорович был одним из командиров штаба, которого Проценко месяц назад по его просьбе отправил командовать ротой.

— Пойдем к Ремизову,— сказал Григорович.

— Ремизов жив?

— Жив, только лежит.

— Что, тяжело ранили?

— Не так чтоб тяжело, но неудобно. Сегодня весь день по матери ругается. Ему, по-научному говоря, в обе ягодицы по касательной из автомата всадили, или лежит на животе, или с грехом пополам ходит, а сесть не может.

Сабуров невольно рассмеялся.

— Тебе смех,— сказал Григорович,— а нам — слезы.

Сабуров нашел Ремизова в тесном блиндаже лежащим на койке плашмя, с подушками, подложенными под голову и грудь.

— От генерала? — нетерпеливо спросил Ремизов.

— От генерала,— сказал Сабуров.— Здравствуйте, товарищ полковник.

— Здравствуйте, Сабуров. Я так и думал, что кто-нибудь от генерала, и велел стрельбу не открывать. Как там у вас?

— Все в порядке,— ответил Сабуров,— за исключением того, что от генерала Проценко до полковника Ремизова приходится ползать на пузе.

— Хуже, когда приходится командовать лежа на пузе,— сказал Ремизов и затейливо выругался. Потом, подозрительно прищурясь, посмотрел из-под густых седых бровей на Сабурова и спросил: — Уже небось доложили о моем ранении?

— Доложили.

— Ну еще бы: «Командир полка ранен в интересное место...» Погодите, погодите,— вдруг перебил он себя,— вы весь в крови? Ранены?

— Нет, немца убил.

— Снимите тогда хоть ватник, что ли. Шарапов, дай капитану умыться и ватник мой дай! Снимайте, снимайте.

Сабуров стал расстегиваться.

— Что вам генерал приказал?

— Уточнить положение и сообщить,— сказал Сабуров, умалчивая о том, что Проценко предполагал худшее и в этом случае приказал ему возглавить полк.

— Ну что ж, положение,— сказал Ремизов,— положение не столько плохое, сколько постыдное. Отдали кусок берега. Комиссар полка убит. Два командира батальонов убиты. Я, как видите, жив. Как генерал, настроен восстанавливать положение?

— Думаю, в предвидении этого он меня и послал.

— Я тоже так полагаю. И с двух сторон действовать надо, разумеется,— сказал Ремизов.— Значит, обогреетесь и придется двигаться обратно?

— Придется,— согласился Сабуров.

— А может, останетесь у меня; командира туда пошлю. Как вам приказано?

— Нет, я вернусь.

— Семен Семенович! — крикнул Ремизов.

Вошел майор, начальник штаба.

— Схемочка нашего расположения сделана?

— Сейчас кончим. Уточняем.

— Давайте скорее, шевелитесь... Вы меня опередили,— обратился Ремизов к Сабурову,— я сам хотел командира посылать. Схемочку готовили, из-за этого и задержались. Сейчас ее дадут, и я вместе с вами офицера связи пошлю. Филипчука знаете?

— Нет, не знаю.

— Хороший, смелый командир. Пойдет с вами.

Ремизов попробовал приподняться и опять длинно выругался.

— Представляете, куда угодило. А у меня такой характер скверный, что я бегать все время должен: и думать не могу, но

бегая, и командовать не могу,— ничего не могу. Шестой десяток, пора бы отвыкнуть — а не отвыкается. Шарапов! — снова крикнул он.

Появился ординарец.

— Помоги с койки слезть.

Поднимаясь с койки, Ремизов кряхтел, стонал и ругался, и все это как-то сразу, одним духом. Подпявшись, он, морщась от боли, проковылял несколько раз взад-вперед по блиндажу.

— Схемочка готова?

— Готова,— ответил майор, подавая бумагу.

— Вот тут при схемочке все записано,— взяв, скорее вырвав у майора бумагу и продолжая ковылять, сказал Ремизов.— Что у меня где стоит и что можно сделать с моей стороны. Как-то сразу все вышло: обоих командиров батальонов убили, комиссара убили и меня ранили,— всех в течение получаса. Как раз в этот момент и вышла вся история.

— Потерь много? — осведомился Сабуров.

— Одного батальона почти нет. Того, что берег занимал. А два почти как были. В общем, сражаться еще можно.

— А как у вас с вывозкой раненых? — спросил Сабуров с некоторой запинкой.

Он долго готовился к этому вопросу. Знал, что Аня здесь, в полку Ремизова, и все не решался начать этот разговор, боясь наткнуться на страшное известие.

— Ну, какой же вывоз — на Волге сало. Подкопали землю и держим в пещерах.

— Далеко отсюда? — заинтересовался Сабуров.

— Да, далеконько. На правом фланге тише, там и держим... Как, Филипчук, собрался? — крикнул Ремизов.

— Собрался,— ответили из другой половины землянки.

— Сейчас пойдете. Эх, да как же я вам ничего выпить не предложил. Шарапов! Я не вспомнил, старый стал, а ты что же?

Шарапов тут же, не сходя с места, отцепил от пояса немецкую флягу, отстегнул от нее стаканчик, налил и подал Сабурову.

Сабуров выпил и закашлялся,— это был спирт.

— Забыл вас предупредить. Водки, по возможности, не пью,— добавил Ремизов.— В финскую войну был на так называемом петсамском направлении. К спирту там приучился. Удивительная теплота от него. Шарапов, помоги мне!

Шарапов подошел к Ремизову, и снова с кряхтеньем, стонами и ругательствами повторилась та же операция в обратном порядке.

— Трудно все же ходить,— сказал Ремизов, улегшись.— Несколько раз был ранен, но такого идиотского, с позволения ска-

зать, ранения... Честное слово, если б того немца поймал, который мне это сделал, против всех воинских законов взял бы и выпорол. Кому же бумаги вручить — вам или Филипчуку? Филипчук!

— Здесь.

В блиндаж вошел рослый человек в ватнике, с автоматом.

— Мне дайте,— сказал Сабуров.— Сюда дошел, авось и обратно дойду.

— Раз так — берите. Доложите командиру дивизии, что полковник Ремизов сделает все, чтобы вернуть берег, искупит свою вину сам. И других заставит искупить,— добавил он сердито.— Доложите: настроение бодрое, к бою готовы. Про ранение мое сказал бы, чтоб не докладывали, но все равно не удержитесь, пусть смеется. К вам, Филипчук,— обратился Ремизов к ожидавшему командиру,— единственная просьба и приказание: добраться до штаба и впоследствии вернуться сюда живым и здоровым.

— Есть вернуться,— вытянулся Филипчук.

— Все. Да, вот еще что...

Прервав себя на полуслове, Ремизов зажмурил глаза и стиснул зубы. Так он пролежал несколько секунд, и Сабуров понял, что старик говорит через силу.

— Так вот еще что,— открыв глаза, прежним тоном продолжал Ремизов.— Считаю, что сегодня на рассвете и днем возвращать позиции не надо. Немцы будут ждать контратаки. Сегодня надо удержаться там, где находимся, подготовиться, а завтра ночью, когда они уже будут считать, что мы смирились со своим дрянным положением, как раз и надо будет ударить. Доложите это мое мнение командиру дивизии. Филипчук, вы готовы?

— Так точно.

— Тогда ступайте!

Когда они, сползая по скользким уступам, стали пробираться вниз, к берегу, Сабуров вновь спросил, на этот раз Филипчука:

— Как у вас тут с ранеными? Вывозите?

— Где же вывозить? Мало,— теми же словами, что и полковник, ответил Филипчук.— А что?

— Ничего, так.— Сабуров вдруг вспомнил, с какой откровенностью Аня в последний раз подошла и обняла его при Масленникове, и устыдился своего смущения.— Дело в том, что тут у вас в полку моя жена.

— Жена? — удивленно переспросил Филипчук.— Где?

— Она медсестра. Вообще-то она в медсанбате, но сейчас здесь у вас, в полку. Клименко, не знаете?

— Клименко,— повторил Филипчук.— Клименко...

— Аня,— добавил Сабуров.

— Аня? Так бы сразу и сказали. Конечно, знаю.

— С ней все в порядке? — спросил Сабуров.

— По-моему, да,— ответил Филипчук.— Я ее вечером, часов в шесть, видел. По-моему, все нормально,— повторил он с некоторым сомнением в голосе, потому что с тех пор, как он видел Аню, прошло уже семь или восемь часов, а за семь-восемь часов в Сталинграде все могло случиться.

— Если увидите ее, когда вернетесь,— сказал Сабуров,— сообщите ей, что с Сабуровым все в порядке... И что я ей привет передал. Или даже не надо,— просто, что со мной все в порядке.

— Хорошо,— сказал Филипчук.— Я не только сегодня, а и вчера ее видел у Ремизова. Старик ее почем зря ругал.

— За что? — уже догадываясь, спросил Сабуров.

— За то, что лезет, куда не надо. А старик до сих пор видеть не может, когда женщину ранят или убивают. Кричал, ногами топал и выгнал. А потом вызвал своего Шарапова и велел наградной лист принести. У него это все сразу делается.

Сабуров улыбнулся и почувствовал благодарность к Ремизову не столько за наградной лист, сколько за то, что он ругал Аню и топал на нее ногами.

Они дошли до развалин, около которых Сабурова схватили полчаса назад. Там по-прежнему сидел Григорович.

— Сабуров? — спросил он тихо.

— Да.

— Обратно идешь?

— Обратно.

Григорович придвинулся ближе и пожал руки Сабурову и Филипчуку. На голове у него белела повязка.

— Что это у тебя? — спросил Сабуров.

— Еще спрашиваешь. Рука-то у тебя как кувалда. Так меня пихнул, что весь лоб об камни раскровенил.

— Ну, прости.

— Бог простит. Между прочим, немцы до сих пор никак не успокоятся. Видишь, шарят по всему берегу.

Сабуров посмотрел вперед. На обрыве вспыхивали автоматные очереди.

— Придется всю дорогу ползти,— тихо сказал он Филипчуку.

— Хорошо,— ответил тот.

— Я пакет прямо за пазуху, вот сюда кладу,— на всякий случай предупредил Сабуров. Он взял руку Филипчука и дал ему пощупать пакет.— Чувствуете, где?

— Чувствую,— ответил Филипчук.

— Ну, ладно, поползли.

Для Сабурова, отличавшегося острой памятью, теперь берег был уже знаком. Он вспоминал одно за другим все бревна и обломки, за которыми можно было укрыться.

Филипчук полз за ним. Время от времени, когда пули ударялись близко от них, Сабуров спрашивал: «Ты здесь?», и Филипчук тихо отвечал: «Здесь».

По расчетам Сабурова, они уже приближались к нашему переднему краю с той стороны, когда вокруг них сразу ударило несколько очередей.

— Ты здесь? — спросил Сабуров.

Филипчук молчал. Сабуров, не поднимаясь, прополз два шага обратно и нащупал тело Филипчука.

— Ты жив? — спросил он.

— Жив,— чуть слышно отозвался Филипчук.

— Что с тобой?

Но Филипчук уже не отвечал. Сабуров ощупал его. В двух местах — на шее и на боку — под ватником было мокро от крови. Он прижался ухом к губам Филипчука. Филипчук дышал. Сабуров подхватил его одной рукой под мышки и, подтягиваясь на другой руке и отталкиваясь ногами, пополз дальше. Через тридцать шагов изнемог от усталости, опустил Филипчука и лег рядом с ним.

— Филипчук, а Филипчук?

Филипчук молчал.

Сабуров залез руками под ватник и гимнастерку и дотронулся до голого тела Филипчука. Тело заметно похолодело. Сабуров расстегнул карманы гимнастерки убитого, вынул пачку документов, вытащил из кобуры наган, засунул его к себе в карман брюк и пополз. Ему не хотелось оставлять здесь тело Филипчука, но пакет, лежавший за пазухой, не позволял долго раздумывать.

Когда он прополз еще шагов сорок, впереди послышался свистящий шепот: «Кто?»

— Свои,— тоже шепотом ответил Сабуров, встал на онемевшие ноги и, не видя ничего перед собой, пошел вперед. Оказалось, что ему нужно было сделать всего три шага до выступа стены, где его ждали.— Командир роты где? — спросил он.

— Здесь.

— Там, шагах в сорока, лежит командир, с которым я полз.

— Раненый? — спросил командир роты.

— Нет, убитый,— ответил Сабуров сердито, чувствуя за этими словами вопрос, вытаскивать или нет.— Убитый, но все равно надо вытащить. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан,— сказал командир роты.— Вы документы взяли у него?

— Взял,— сказал Сабуров.

— Ну, так что же, товарищ капитан? Ему все равно... легче не будет. А двух человек мне посылать — пропасть могут.

— Я вам уже приказал вытащить,— повторил Сабуров.

— Есть, товарищ капитан,— сказал командир роты,— но...

— Что «но»?

— В другое время не стал бы говорить, а сейчас каждый человек на счету.

— Если не вытащите,— с неожиданным для себя бешенством сказал Сабуров,— отнесу пакет к генералу, вернусь, сам вытащу, а вас за невыполнение приказания застрелю. Дайте мне провожатого до штаба.

Он повернулся и нетвердой походкой вслед за автоматчиком двинулся к блиндажу Проценко. Еще секунда — и он мог бы ударить этого командира роты. Может быть, тот по-своему прав и люди у него на счету, но в том, чтобы вытащить тело убитого командира, было что-то такое важное и святое для армии, что на взгляд Сабурова оправдывало даже потери, если они были неизбежны.

Когда Сабуров ввалился в блиндаж, у него потемнело в глазах, и он сразу сел на лавку. Потом открыл глаза, хотел встать, но Проценко, который был уже рядом, положил руку ему на плечо и посадил его обратно.

— Водки выпьешь?

— Нет, товарищ генерал, не могу,— устал, свалюсь от нее. Если бы чаю...

— А ну дайте ему скорей чаю! — крикнул Проценко.— Ремизов жив?

— Жив, только ранен. Вот от него пакет.— Сабуров полез за пазуху и вынул пакет.

— Добре,— сказал Проценко, надевая очки.

Увидев, что Проценко читает донесение, Сабуров привалился к стене, и только когда Проценко, неизвестно через сколько времени, тряхнул его за плечо, понял, что заснул.

— Сиди, сиди,— удержал его Проценко.

— Я долго спал?

— Долго. Минут десять. Ремизов ранен, говоришь?

— Ранен.

— Куда?

Сабуров сказал. Как и предвидел Ремизов, Проценко рассмеялся.

— Небось ругается старик?

— Еще как.

— А какое настроение у них?

— По-моему, неплохое.

— Он мне пишет, что может собраться с силами и со своей стороны по немцам ударить. Тоже с таким положением мириться не хочет.— И Проценко постучал пальцем по бумаге, которую держал в руке.— Ты один пришел оттуда?

— Один.

— Что же он тебе командира не дал для связи, чтобы его обратно послать? Старый, старый, а тоже маху дает.

— Он дал командира, его убили по дороге.

Только теперь вспомнив, что у него документы и оружие Филипчука, Сабуров выложил все на стол.

— Так.— Проценко нахмурился.— Сильно стреляли?

— Сильно.

— Днем не пройти там?

— Днем совсем не пройти.

— Да...— протянул Проценко. Он, очевидно, хотел что-то сказать и не решался.— А мне завтрашней ночью штурм делать. Как же это его убили?

— Кого?

— Его.— Проценко кивнул на лежавшие перед ним документы Филипчука.

— Смертельно ранили, потом тащил его, потом умер.

— Да...— опять протянул Проценко.

У Сабурова смыкались глаза от усталости. Он смутно чувствовал, что Проценко хочет послать его обратно к Ремизову, но не решается об этом сказать.

— Егор Петрович,— обратился Проценко к сидевшему тут же начальнику штаба.— Пиши приказ Ремизову. Все предусмотри, как решили: и точный час и ракету — все.

— Я уже пишу,— отрываясь от бумаги, ответил начальник штаба.

Проценко повернулся к Сабурову и чуть ли не в пятый раз повторил:

— Да... Ну ты чего сидишь-то? Ты приляг пока.— Он выговорил это слово «пока» осторожно, почти робко.— Приляг пока. Ну-ну, приляг. Приказываю.

Сабуров вскинул ноги на скамейку и, приткнувшись лицом к холодной, мокрой стене блиндажа, мгновенно заснул. Последней блеснувшей у него мыслью была мысль, что, наверное, его все-таки пошлют, ну и пусть посылают, только бы дали сейчас поспать полчаса, а там все равно.

Проценко, прохаживаясь по блиндажу, ждал, когда начальник штаба допишет приказ. Иногда он на ходу взглядывал на Сабурова. Тот спал.

— Слушай, Егор Петрович, а если Вострикова послать?

— Можно Вострикова,— согласился начальник штаба.— Вы на словах ничего не будете добавлять, только приказ?

— Плохой приказ, если к нему надо еще что-то на словах добавлять.

— Если на словах не добавлять, можно Вострикова.

— Я бы его послал,— кивнул Проценко на Сабурова,— да трудно в третий раз за ночь идти.

— Идти труднее, а дойти легче,— заметил начальник штаба.— Он на животе уже два раза прополз, каждый бугорок, каждую ямку знает.

— Да...— опять протянул Проценко.— Придется. Должен быть там приказ. Алексей Иванович,— растолкал он Сабурова.

— Да,— поднялся Сабуров с той готовностью, с какой спохватываются накоротке заснувшие люди.

— Вот приказ, возьми,— сказал Проценко.— Когда дойдешь до Ремизова, пусть дадут нам зеленую и красную ракету над Волгой. А если ракет нет — три очереди из автоматов трассирующими. И после паузы еще одну. Отсюда будет видно?

— Да,— подтвердил Сабуров.

— Буду знать, что дошел и приказ донес. Ты по дороге-то не заснешь? — спросил Проценко, похлопывая Сабурова по плечу.— Вдруг проснешься, а уже день?

— Не засну. Немцы не дадут.

— Разве что немцы,— усмехнулся Проценко.— Здорово устал?

— Ничего, не засну,— повторил Сабуров.

— Ну, ладно. Садись за стол.

Сабуров присел к столу, а Проценко, приоткрыв дверь, крикнул:

— Как там насчет чая?

Потом Проценко сам вышел за дверь и тихо отдал какое-то распоряжение. Через две минуты, когда Проценко, Сабуров и начальник штаба сидели рядом за столом, Востриков внес медный поднос, на котором, кроме трех кружек с чаем, была горстка печенья и стояла только что вскрытая банка с вишневым вареньем.

— Вот,— сказал Проценко,— варениками угостить не могу, а украинской вишней — пожалуйста.— Он повертел в руках банку и подчеркнул ногтем надпись на этикетке.— «Держконсервтрест. Киев». Чуешь? С Киева вожу.

— Так все время с Киева и возите? — спросил Сабуров.

— Сбрехал, конечно. Где-то под Воронежем выдали. Люблю вишню... Ну, давайте чай пить.

Теперь Проценко уже не возвращался к своим сомнениям — посылать Сабурова или не посылать. Выражать излишнее беспо-

койство — значило напоминать человеку, что ты думаешь о его возможной гибели. И Проценко неожиданно завел разговор о школе Червонных старшин при ВУЦИКе, где он когда-то учился.

— Ничего учили. Вид был хороший: форма, галифе. Между прочим, хотя тогда и не принято было, но даже танцам и хорошим манерам учили.

— Ну и как, научили? — усмехнулся начальник штаба.

— А что, разве не заметно?

— Как когда.

Сабуров выпил кружку горячего чаю, и ему опять захотелось спать. После второй он как будто немного разгулялся. Варенье было вкусное, какое он любил с детства,— без косточек. Проценко приказал подать по третьей кружке. Тут Сабуров почувствовал, что пора идти, и, сделав несколько глотков, поднялся.

— Что же не допил? — спросил Проценко.

— Пора, товарищ генерал.

— Значит, если ракет нет, дадите автоматные очереди, три и одну.

— Ясно,— сказал Сабуров.

— В сторону Волги...

— Ясно.

Откозыряв, Сабуров повернулся и вышел. Проценко и начальник штаба помолчали.

— Ну, как,— обратился Проценко к вошедшему штабному командиру,— людей из батальонов вывели сюда?

— Выводят.

— Поторапливайтесь, скоро рассвет. Тогда выводить будете — людей потеряете... Считаешь, дойдет? — подумав о Сабурове, спросил Проценко начальника штаба.

— Надеюсь, что да.

— И я надеюсь. Была минута, когда отправлял его, хотел сказать прямо: дойдешь в третий раз — орден Ленина тебе, генеральское слово. Не утвердят — свой сниму, отдам!

Тем временем Сабуров полз по окончательно обледеневшей земле. То ли дело близилось к рассвету и немцы считали, что никто здесь больше не пойдет, то ли им просто надоело всю ночь стрелять по берегу, но он уже прополз половину пути, а сверху не грохнуло ни одного выстрела. Его даже начало пугать это — не будет ли засады? Он взвел парабеллум и, отвязав от пояса одну «лимонку», взял ее в правую руку. Хотя так ему было труднее ползти, но он не выпускал гранаты, держа ее таким образом, чтобы метнуть в первое же опасное мгновение. Потом он вспомнил о приказе. Ну что ж, вторую гранату в крайнем случае он бросит себе под ноги. Он благополучно прополз еще полсотни шагов и

начал отгонять эти мысли. Подсознательное чувство говорило ему, что и на этот раз все сойдет. И действительно, он дополз до развалин на той стороне без единого выстрела за всю дорогу.

— Опять ты, Сабуров? — окликнул Григорович.

— Я.

— А Филипчук где?

— Убит.

— Где?

— Шагов семьдесят не доползли,— сказал Сабуров и вспомнил мертвое лицо Филипчука. Возвращаясь сюда, он спросил у командира роты, вытащен ли Филипчук. Услышав, что вытащен, он захотел сам посмотреть, где лежит тело, и посветил ручным фонарем в лицо Филипчуку. Лицо было бледно. Кто-то из бойцов стер с него грязь и кровь. И в который раз в жизни Сабурову стало не по себе, что вот с этим человеком какой-нибудь час назад он перешептывался. «Ты здесь?» — говорил он. «Я здесь»,— отвечал Филипчук.

Войдя к Ремизову, Сабуров вручил ему приказ. Ремизов прочел приказ, потом спросил о Филипчуке. Повторился почти тот же разговор, что с Григоровичем.

— А документы принес? — спросил Ремизов.

— Генералу отдал. Приказано дать сигнал, что я добрался. У вас зеленые и красные ракеты есть?

— Должны быть. Посмотри, Шарапов, есть ракеты?

— Ракеты все, товарищ полковник.

— Тогда приказано дать три автоматные очереди трассирующими над Волгой. Три сразу и одну вслед.

— Это можно,— оживился Ремизов и снова крикнул: — Шарапов! Помоги мне встать.

Шарапов помог ему встать, и он, кряхтя и разминаясь, пошел по блиндажу.

— Дай мне автомат и диск с трассирующими. Пойдемте, Сабуров. Я сам, коли так, тоже очередь дам.

Шарапов и еще один автоматчик вышли из блиндажа вслед за Ремизовым и Сабуровым.

— Становись рядом со мной. Стрелять по команде «три», очередью. Будем считать, что это наш прощальный салют Филипчуку.— Ремизов повернулся к автоматчику.— Отдайте свой автомат капитану. Возьмите, Сабуров. Вместе с вами помянем товарища!

Небо уже начинало сереть, когда по команде «три» они выпустили по автоматной очереди. Светящиеся трассы пуль, изгибаясь где-то в конце пути, взлетели высоко в темно-сером воздухе над Волгой. Ремизов дал вдогонку еще одну очередь и посмотрел

на Сабурова, как раз в эту минуту хотевшего сказать, что ему пора идти обратно.

— Не пущу вас, уже светает. И вообще не пущу. До трех раз судьбу испытывать можно, больше не надо. Пробьемся завтра ночью — вернетесь.

— У меня там батальон без командира,— сказал Сабуров.

— А у меня тут два батальона без командиров. Идите спать. Шарапов, устрой капитана на комиссарскую койку. Погиб у меня комиссар. Прекрасный был человек. Только месяц назад из райкома партии прислали. Воевать не умел, а бодрость душевную даже в меня, в старого черта, вселял. Очень жалею. Даже удивительно, как жалею. Пойдемте в блиндаж.

XIX

Когда Сабуров проснулся, было уже три часа дня: он проспал почти восемь часов. В углу блиндажа кто-то копошился.

— Кто там? — спросил Сабуров.

— Я.

Перед ним стояла толстая девушка, рукава у нее были засучены, а поверх гимнастерки надет передник.

— А где полковник? — спросил Сабуров.

— На передовой.

— А где у вас передовая?

— А тут, рядом.

Сабуров спустил ноги на пол и только теперь обнаружил, что во время сна кто-то снял с него сапоги и портянки.

— Сидите,— сказала девушка.— Портянки сушатся, сейчас принесу.

— Кто же это с меня сапоги снял? — спросил Сабуров.

— Ясно кто — Шарапов.

Девушка вышла и тут же вернулась, держа в одной руке покоробившиеся просушенные сапоги Сабурова, а в другой — портянки.

— Нате, надевайте.

— Как вас зовут? — спросил Сабуров.

— Паша.

— Что ж вы тут одна за всех?

— Одна,— ответила Паша,— все на передовую ушли, и телефон там.

— Стало быть, вся охрана штаба на вас возложена? — спросил Сабуров, подвертывая портянки.

Паша промолчала, видимо не одобряя этого праздного вопроса.

— Кушать хотите?

— Хочу.

— Полковник приказал, чтобы вы, как проснетесь и покушаете, к нему шли. Вас автоматчик проводит.

— А чем же ты меня кормить будешь?

Паша огорченно пожала плечами: этот вопрос ей доставил страдание.

— Кицытратом. Грешневым. Кушали?

— Случалось.

— Я в него сала положила. А чего завтра буду готовить, не знаю.

— Все еще не стала Волга? — спросил Сабуров.

— А шут ее знает. То говорят — стала, то — не стала. А продуктов не везут. Вот и мучайся.

Она вышла и вернулась со сковородкой каши.

— Кушайте.

Потом полезла в угол, достала флягу, встряхнула и, не спрашивая Сабурова, налила ему полстакана.

— Где Шарапов? — спросил Сабуров.

— С полковником. Он всегда с полковником, от полковника не отстает.

Она, не дожидаясь приглашения, села на табуретку напротив Сабурова и, подперев рукой подбородок, стала его разглядывать. В полку она, наверное, уже всех разглядела, а он был новенький.

— Ну, что ты смотришь? — сказал Сабуров.

— Ничего, так. Теперь у нас будете?

— Нет, не у вас.

— А чего же вы?

— Временно сюда прибыл. Завтра отбуду. Как, можно?

— А почему же нельзя? — не поняв шутки, сказала она.— Может, еще чего хотите покушать, так больше нет ничего. Может, чаю еще хотите, так чай есть.

— Нет, не хочу,— ответил Сабуров.

— А Сергей Васильевич всегда чай пьет.

— Кто это Сергей Васильевич?

— Да полковник.

— Ну, а я не хочу.

— Как ваше желание. Может, вам шоколаду дать?

— Нет.

— Сергей Васильевич сказал, чтоб вас всем, что есть, кормить.

— Спасибо, не хочу.

— Ладно, как хотите, а то у него одна плитка осталась,— как показалось Сабурову, с некоторым облегчением сказала девушка.

— Так где же автоматчик? — спросил он, доев концентрат.

— Там, в окопе.

Сабуров поднялся.

— Спасибо.

— Будьте здоровы. Вы чего-то кушаете мало.

Сабуров вышел. В окопе около блиндажа его действительно ждал автоматчик.

— Ну что ж, пойдем до полковника,— сказал Сабуров.

— А что до него идти, товарищ капитан,— сказал автоматчик.— До него рукой подать.

В хозяйстве Ремизова чувствовалась аккуратность. Вперед от блиндажа, через развалины, шли ходы сообщения, прерывавшиеся только там, где можно было безопасно пройти в рост.

Через пять минут Сабуров был на наблюдательном пункте, устроенном довольно остроумно. На самом краю обрывистого оврага, отделявшего здесь позиции Ремизова от немцев, стоял разрушенный дом, по остаткам которого беспрерывно била немецкая артиллерия. Ремизов подкопался под фундамент и внизу под ним сделал довольно просторную землянку с двумя замаскированными глазками в сторону немцев.

Земля за ночь окончательно обледенела. На дне оврага лежал опрокинутый, сорвавшийся с откоса танк и валялось много трупов.

— Как позавтракали? — вместо приветствия спросил у Сабурова Ремизов.

— Отлично, товарищ полковник.

— Значит, Паша не подвела. Она кулачка: все для меня бережет. Никак ее к гостеприимству не приучу.

— Наоборот,— сказал Сабуров,— даже шоколаду мне предлагала.

— Неужели? Ну, это прогресс. Тихо сегодня у меня. Зато, кажется, там на генерала нажимают. Слышите?

Действительно, левее слышалась стрельба.

— По звукам судя, уже два раза до гранатного боя доходило. Я бы на вашем месте после таких пластунских подвигов сутки спал. Приказал не будить. Конечно, в крайнем случае разбудили бы, но пока ничего такого нет. Шевелиться — шевелятся, это да. Вот извольте бинокль.

Сабуров взял из рук Ремизова бинокль и долго просматривал ту сторону оврага. То здесь, то там перебегали люди. В просветах между домами промелькнул один, потом другой танк.

— Бомбили уже? — спросил Сабуров.

— У нас нет. Тот, левый берег бомбили. Все «катюш» ловят. «Катюши», как всегда, арии пели утром. Отдохнули?

— Вполне.

— Сегодняшний день вы у меня прямо как прикомандированный офицер Генерального штаба — можете наблюдать за общим ходом боя. Впрочем...

Ремизов, прихрамывая, отвел Сабурова в сторону, они вышли из блиндажа и оба прислонились к стене окопа.

— Впрочем,— повторил Ремизов,— хорошо, если бы вы пошли на правый фланг. У меня такое чувство, что они сегодня мной не интересуются, я для них уже отрезанный ломоть. Считают, что всегда успеют разделаться. Но все же, на всякий случай, пойдите. У меня на правом фланге слабенько,— лейтенант Галышев батальоном командует, совсем мальчик. Всех поубивало вчера, что сделаешь? До вечера понаблюдайте там от моего имени. Если надо будет, команду примете. А ночью вместе пробиваться будем. Тут уже я вас от себя никуда... Хорошо?

— Хорошо,— согласился Сабуров, удивляясь той непринужденной мягкости, с какой разговаривал Ремизов, хотя совершенно ясно было, что он приказывает.

— Ну-ка, пойдемте в блиндаж,— быстро сказал Ремизов, когда тяжелый снаряд разорвался наверху, в сотне шагов от них. Он потянул за рукав Сабурова.— Мне кажется, они очень хорошо знают, где мой наблюдательный пункт, но сверху меня не пробьешь, а чтоб в эти окошечки прямое попадание было, нужно пушечку выкатить прямо на ту сторону оврага, напротив меня. Вот тогда попадут. Они уже два раза выкатывали, но мы сшибали. А в третий раз боятся. Ночью, правда, попробовали, но попасть не могут. Они ведь артиллеристы изрядно плохие. Вот, слышите, все по нас...

Они пережидали налет в блиндаже.

— Ну, теперь, наверное, на четверть часика передышку сделают. Идите, вас автоматчик проводит.

Землянка командира батальона была вырыта так же, как и наблюдательный пункт у Ремизова, под фундаментом разбитого дома, и из нее назад вел точно такой же глубокий ход сообщения.

Командир батальона Галышев, как и рекомендовал его Ремизов, оказался совсем молодым парнем, только недавно выпущенным из военного училища. Впрочем, он приобрел уже фронтовые привычки, и когда они с Сабуровым присели у выхода из блиндажа, Галышев, вытащив из-за голенища кисет, скрутил таких размеров самокрутку, что Сабуров невольно улыбнулся.

— Дайте и мне, не курил со вчерашнего вечера.

— Где командир батальона? — послышался сзади них знакомый голос.

— Здесь,— сказал Галышев и радостно улыбнулся.— Здесь, Анечка, я теперь командир батальона.

Сабуров повернулся и встретился глазами с Аней.

Аня, которая, входя, рылась в своей санитарной сумке, сразу удивленно и устало опустила руки и теперь стояла, безмолвно глядя на Сабурова.

— Аня,— сказал он и шагнул к ней.

Она продолжала стоять неподвижно. Только подняла на него глаза. В них стояли крупные слезы.

— Как, вы здесь? — наконец спросила она.— Когда вы пришли?

— Ночью.

— Это, значит, вы пришли из дивизии, да?

— Я,— ответил Сабуров.

— А мы все думали, кто бы мог прийти. Но я не думала, что это вы.— Она была так удивлена и взволнована, что впервые за последнее время снова обращалась к нему на «вы».

Он стоял и молча смотрел на нее.

— У вас раненые есть? — повернулась Аня к Галышеву.

— Есть двое.

— Сейчас мы их в овраг снесем. Значит, вы здесь? — Она смотрела на Сабурова так, словно все еще не могла в это поверить.

— Здесь.

Не меняя выражения лица, она потянулась, обняла его за шею обеими руками, коротко поцеловала в губы и снова опустила руки.

— Как хорошо,— сказала она.— Я очень боялась.

— Я тоже,— сказал Сабуров.

Галышев молча наблюдал за этой сценой.

— Сейчас пойдем,— еще раз сказала ему Аня и подвинулась к Сабурову.

— Ты что, насовсем здесь? — Теперь, после поцелуя, она, словно оправившись от болезни, во время которой у нее отшибло память, стала ему говорить опять «ты».

— Нет,— сказал Сабуров.— Как только соединимся, вернусь к себе.

— Проводи меня немного по окопу. Там меня санитары ждут.

— Сейчас я приду, товарищ лейтенант,—сказал Сабуров Галышеву и пошел вслед за Аней.

За поворотом, там, где Галышеву уже не было их видно, Аня взяла Сабурова за ремень и спросила:

— Ты ничего не говорил?

— Что не говорил?

— Чтобы вместе. Я очень хочу, чтобы вместе. Я тебе не говорила, но очень хочу...

— Пока не говорил.

— Мне показалось, когда мы с тобой сюда, на этот берег, переехали, что здесь не до того, чтобы говорить. И тебе так показалось?

— Да.

— Но ведь теперь так все время будет. А может быть, и хуже. И здесь и там у тебя, везде одинаково.

— Да.

— Так почему тебе стыдно попросить?

— Мне не стыдно,— сказал Сабуров.— Я попрошу.

— Попроси... Очень страшно было, когда вчера нас совсем отрезали. Я подумала, что, может быть, больше тебя никогда не увижу. Я хочу вместе. Нет, нет, не слушай, делай как хочешь. Но я все-таки хочу вместе. Вот если бы сейчас сюда бомба попала, мне это не страшно, потому что вместе. Я храбрее буду, если мы вместе, понимаешь? И ты, наверное, тоже. Да?

— Наверное,— с некоторым колебанием сказал Сабуров, подумав, что, если Аня будет рядом с ним, может быть, он действительно меньше будет бояться за себя, но за нее, пожалуй, будет бояться еще больше.

— Наверное,— не заметив его колебания, повторила Аня,— я знаю, у тебя так же, как у меня. А у меня так. Ну, я пойду раненых переносить. Тебе нельзя отсюда уйти?

— Нельзя.

— Я знаю. Ты не представляешь, сколько их у нас сейчас в овраге, никогда не было столько. Это потому, что через Волгу переправиться нельзя. Я пойду,— еще раз сказала она, протянув Сабурову руку.

Только сейчас Сабуров заметил, что у нее другая шинель — не та, в которой он видел ее раньше.

— Откуда у тебя эта шинель?

— Это не моя, мне с убитого дали. Вот видишь.— И она показала на маленькую дырочку на левой стороне груди.— А так совсем целая. В мою мина попала и изорвала в кусочки.

— Как мина?

— Мне жарко было, когда я вчера раненых выносила, я сняла ее и сложила аккуратненько,— знаешь, как на койке шинель складывают,— а в нее как раз мина угодила.

Сабуров задержал ее руку в своей. Он увидел, что шинель ей не по росту и рукава подвернуты. Сукно натерло ей руку, и там, где был край рукава, на руке остались поперечные ссадины.

— Ну-ка, дай другую,— сказал он.

На другой руке было то же самое.

— Видишь, как натерла,— заметил Сабуров.— Ты скажи, чтобы тебе дали другую шинель.

— Хорошо.

— Непременно скажи.

Он крепко сжал ее руки в своих, поднес к губам и по нескольку раз поцеловал каждую руку там, где были ссадины.

— Ну, иди,— сказал он.— Я увижу Проценко и попрошу, чтобы мы были вместе.

— Он не откажет,— сказала Аня.— Ни за что не откажет.

Она глубоко засунула руки в карманы, наверное, чтобы Сабурову больше не было ее жалко, и пошла по ходу сообщения.

Проведя у Галышева почти спокойный день, Сабуров, когда стемнело, возвратился на командный пункт к Ремизову. Ремизов курил, полулежа на койке. Поодаль сидел начальник штаба.

В блиндаже была тишина, какая бывает, когда все уже решено и подготовлено, больше никаких распоряжений отдавать не нужно и остается только дожидаться назначенного часа.

— Майора Анненского,— сказал Ремизов,— я оставляю здесь командовать всем остальным участком, а сам пойду со штурмовыми группами.

Начальник штаба за спиной Ремизова делал знаки Сабурову, означавшие, что пойти со штурмовыми группами должен именно он, Анненский, а полковник должен как раз остаться, потому что он ранен и идти ему бессмысленно. Так, по крайней мере, понял его Сабуров.

— Что вы там жестикулируете? — не поворачиваясь, спросил Ремизов.— Я не вижу, но чувствую. Меня вы не уговорите и напрасно капитану знаки подаете, он меня тоже не уговорит, да и уговаривать не будет. Да, капитан?

— Так точно,— сказал Сабуров, зная по себе, что в таких случаях спорить бессмысленно.— Но мне, надеюсь, разрешите находиться при вас?

— Как с утра условились, уговор дороже денег. Будете со мной, скорей до своих доберетесь.

— А вы, Семен Семенович,— обратился Ремизов к Анненскому,— хороший командир, но вам уже пора полк получать. Серьезно. Я так генералу и скажу при случае. У вас слишком много темперамента для начальника штаба. Начальник штаба должен быть расположен к некоторому уединению, к блиндажу в пять накатов... Да, да, я без иронии вам говорю. А вы, если вашего командира полка обстреляли за день три раза, а вас только два, уже считаете, что вы позорно окопались и что вам необходимо поскорее лично сходить в атаку, чтобы восстановить свое душевное равновесие. И не спорьте со мной: вам пора на командную должность. И если вам попадется такой же начальник штаба, как мне, и вам придется все время держать его за фалды, чтобы не убегал на передовую,

вот тогда вы меня поймете и посочувствуете.— Ремизов рассмеялся.

Анненский молчал, обескураженный неожиданным оборотом разговора. Подозвав Шарапова, Ремизов с его помощью надел поверх гимнастерки ватник, затянулся ремнем и нахлобучил фуражку.

— Не люблю пилоток,— сказал он, поймав взгляд Сабурова.— Может, и удобней, но лихости нет.— Потом, приложив руку тыльной стороной к козырьку, проверил, правильно ли сидит фуражка, прицепил к поясу две гранаты и взял автомат. Сделав все эти приготовления, Ремизов посмотрел на часы, Сабуров, который знал из приказа Проценко, что атака должна начаться ровно в двадцать два, тоже взглянул на свои часы. Оставалось двадцать минут.

Через пять минут они уже сидели в узком, спускавшемся к Волге овражке с нарытыми по откосам окопами,— здесь по приказу Ремизова сосредоточивались штурмовые группы.

Люди сидели в окопах, держа в руках оружие, прислонившись к земляным стенкам и друг к другу. Разговоры велись шепотом. В одну сторону до немцев было метров двести, зато в другую, насколько позволяли судить дневные расчеты, всего полсотни. Разговаривали только тогда, когда над головой, вереща, проходил У-2.

— Опять королевская авиация полетела,— сказал кто-то рядом с Сабуровым, когда еще один У-2 прожужжал над оврагом.

— Кукурузник.

— А у нас на Северо-Западном его «лесником» звали.

— Где как. Где какая природа...

— Через три минуты должна начаться артподготовка,— сказал Ремизов.— Гранат помногу взяли? — обратился он к бойцам, сидевшим рядом с ним в окопе.

— По шесть штук, товарищ полковник,— отрапортовал сержант.

— Тише, не кричи,— сказал Ремизов.— По шесть? Это ничего. А ежели стена, а за стеной немцы и не обойти ее?

— Тогда взорвем, товарищ полковник,— ответил сержант.

— А тол взяли?

— А как же, товарищ полковник!

— А чего у тебя винтовка без штыка? — спросил Ремизов одного из бойцов.

— У меня вот сестрица есть.— Боец хлопнул рукой по завеневшей на боку сабле.

— Казак, что ли?

— Из конного корпуса Героя Советского Союза генерал-майора Доватора.

— Что ж ты, казак, а не на коне? — усмехнулся Ремизов.

— Я про коня забыл. С лета в глаза не видел.

— Скучаешь?

— Здесь скучать нет возможности, товарищ полковник.

— Пора.— Ремизов подозвал к себе командира роты, который непосредственно руководил атакой, спросил его, все ли готово.

— Все,— ответил тот.

— Значит, начинаете выдвигаться после первых же залпов с левого берега. Понятно?

— Так точно.

— Пора,— второй раз нетерпеливо повторил Ремизов, повернувшись лицом к Волге.

Сабуров тоже повернулся. И как раз в этот миг далеко, на левом берегу, вспыхнуло зарево, и гремящие снаряды «катюш» пронеслись над головами.

Вслед за «катюшами» с левого берега заговорила артиллерия. Наши тяжелые снаряды шли прямо над головой. Впереди у немцев все небо было в красных вспышках. Когда снаряды рвались особенно близко, вспышки вырывали из тьмы то угол дома, то обломок стены, то железные лохмотья изуродованных бензиновых цистерн. Штурмовые группы стали вылезать из оврага и выползать вперед. Один тяжелый снаряд разорвался совсем близко от оврага.

— Недолет,— сказал Ремизов.— Ну, что ж, пойдемте.

Он с неожиданной легкостью вылез из окопа и, не оглядываясь, пошел вперед. Сабуров двинулся вслед за ним. Рядом пошли Шарапов и четыре автоматчика.

Наш артиллерийский налет продолжался. На немецких позициях и далеко в глубине все грохотало от разрывов тяжелых снарядов. Подожженные «катюшами», горели остатки бензина или нефти, красные языки пламени поднимались к небу.

Но и немцы понемногу начинали отстреливаться; мины уже несколько раз проносились над головой Сабурова и разрывались позади. Потом заговорили пушки. И наконец впереди послышались автоматные очереди.

Штурмовые группы быстро миновали полосу от оврага до своих старых окопов, в которых сейчас сидели немцы. Этот участок, отбитый вчера немцами, был хорошо известен Сабурову. Он представлял собою квадрат примерно триста на двести метров. Все было изрыто окопами и ходами сообщения, и лишь кое-где почти на голом месте торчали развалины и обломки. Когда-то здесь были бензохранилища, от которых теперь остались только фундаменты и огромное количество раскиданного повсюду рваного листового железа.

Сабуров несколько раз наступал на перегоревшие железные листы, которые со страшным грохотом коробились под ногами. Впе-

реди были остатки каменной сторожки. Туда устремился Ремизов, а вслед за ним и Сабуров. У самых развалин кто-то из бежавших сзади Сабурова тяжело, со стуком, упал на землю. В развалинах несколько человек уже устанавливали два пулемета.

— Вот правильно,— одобрил Ремизов.— Гаврилов?

— Я, товарищ полковник.

— Выходит, взяли?

— Взяли, товарищ полковник.

— А дальше двигаются?

— Двигаются.

— Иди вперед. Передай, что я буду здесь.

Около сторожки свистели и шлепались пули. Слева, совсем близко, слышались взрывы гранат. Справа продолжали стрелять, но взрывов не было: до гранатного боя там еще не дошло.

— Ах, негодяи! Ах, негодяи! — возмущался Ремизов.— Залегли ведь. Раз гранаты не рвутся, значит, залегли. Командира, что ли, убило? Сабуров, идите туда. Любыми средствами поднимите.

Сабуров вылез из сторожки и пополз направо, в темноту. Действительно, командир там был убит. Бивший из развалин немецкий станковый пулемет не давал возможности подойти. Но заминка произошла не из-за того, что убили командира, а из-за того, что три сапера поползли в обход с толом, чтобы подложить заряд под развалины дома, на втором этаже которого находился пулемет. Остальные ждали взрыва, чтобы двинуться дальше. Распоряжался всем какой-то старшина, который, когда Сабуров к нему подполз, объяснил ему суть происходящего:

— Если не взорвут, и так пойдем, товарищ капитан, а то людей жалко — обождем немного.

Сабуров согласился и несколько минут лежал рядом со старшиной и ждал. Кругом шел ночной бой, как всякий ночной бой, похожий на уравнение со многими неизвестными.

«Что сейчас делается у Проценко?» — подумал Сабуров. Судя по грохоту взрывов и частой сетке трассирующих пуль, на участке, где должен был наступать Проценко, тоже шел бой. Наши снаряды с левого берега все еще проносились над головами, но разрывались они теперь далеко в немецком тылу. Разрывы гремели беспрестанно через каждые одну-две секунды, и Сабуров на мгновение представил себе, что творилось бы кругом, если бы такая канонада обрушилась сейчас не на немцев, а на него с его людьми. В сущности, этот огонь был ужасным, и, как все пехотные командиры, он от души благословлял русскую артиллерию.

Когда впереди, там, где прятался немецкий пулемет, раздался оглушительный взрыв, Сабуров и старшина подняли людей в атаку.

Дважды за ночь Сабурова осыпало комьями земли. Рукав ватника просекло автоматной очередью, и слегка обожгло левую руку. Многие из тех, с кем он пошел в атаку, уже не отзывались на голоса товарищей. Многие были ранены, сестры и санитары вытаскивали их с поля боя. Сабуров так и не сумел в темноте и горячке разглядеть, была ли среди санитаров Аня.

Но, в общем, бой сложился легче, чем можно было предполагать. Две штурмовые группы на правом фланге, которые по ходу боя пришлось взять под свою команду Сабурову, довольно быстро заняли приходившиеся на их долю окопы. Когда Сабуров пошел после этого очищать траншеи, уходившие влево, в одной из них он столкнулся с шедшими навстречу автоматчиками. Это были бойцы одной из левофланговых штурмовых групп. Значит, весь этот участок был взят целиком.

— А как там, еще левей? — спросил Сабуров.— Соединились с дивизией?

— Вроде как соединились, товарищ капитан,— сказал автоматчик, к которому он обращался,— дали жару фрицам.

Сабуров подумал, что главные неприятности еще предстоят утром. И даже то, что немцы были ночью сравнительно легко выбиты, не предвещало ничего хорошего. Очевидно, они не ввели в бой свои резервы, решив отложить это на утро.

Сабуров в темноте проверил, кто остался в живых, вместе со старшиной расположил пулеметы, кое-где приказал углубить окопы и восстановить обвалившиеся от взрывов гранат амбразуры. Потом он послал двух связных с записками — к Ремизову и к начальнику штаба. Он писал, что с рассветом ждет контратаки, остается здесь и просит скорее подбросить противотанковые ружья. «И если можно,— добавил он в конце обеих записок,— хотя бы одну противотанковую пушку».

От Ремизова связной не вернулся. От Анненского, когда уже начинало сереть, прикатили вручную две 45-миллиметровые пушчонки на резиновом ходу и пришли пять бронебойщиков со своими длинными «дегтяревками» и полтора десятка автоматчиков. В записке, которую принес связной, Анненский писал: «Наскреб все, что мог. Держитесь».

XX

С восьми утра, когда рассвело и началась первая немецкая атака, и до семи вечера, когда стемнело и все кончилось, прошло одиннадцать томительных часов.

Когда на этом участке дивизию в последнюю неделю оттеснили к самому берегу, Проценко постарался укрепиться здесь осо-

бенно тщательно. Вся площадь была изрыта окопами, ходами сообщения, под остатками фундаментов были вырыты многочисленные норы и блиндажи, а впереди тянулся неширокий, но довольно глубокий овраг, через который немцам, чтобы достичь наших позиций, необходимо было так или иначе перебираться.

Если бы можно было начертить кривую нарастания звуков на поле боя, то в этот день она бы, как температура у малярийного больного, три раза стремительно лезла вверх и падала вниз.

Утром немцы начали обстрел из полковой артиллерии. Потом к ней прибавились полковые тяжелые минометы, потом дивизионная артиллерия, потом тяжелые штурмовые орудия, потом началась свирепая бомбежка. Когда грохот возрос до последнего предела, он вдруг оборвался, и под неумолчную пулеметную трескотню неприятель пошел в атаку. В эту минуту все, кто высидел, вытерпел, выжил в наших окопах,— все прильнули к пулеметам, автоматам и винтовкам. Овраг, который еще неделю назад, в дни первых немецких атак, был прозван «оврагом смерти», сейчас снова оправдал свое название. Некоторые из немцев не добежали до окопов всего десять — пятнадцать метров. Казалось, еще секунда — и они проскочат это пространство. Но они не проскочили. Ужас смерти в последнюю секунду охватил тех, которые почти добежали, и заставил повернуть обратно, и тот, кто не был убит, когда бежал вперед, был убит на обратном пути.

Когда первая атака не удалась, все началось сначала. Но если в первый раз этот ад продолжался два часа, то во второй раз он продолжался уже пять с половиной часов. Немцы решили не оставить живого места на берегу. Весь берег был до такой степени изрыт воронками, что, если бы все снаряды, мины и бомбы разорвались одновременно, здесь действительно не осталось бы в живых ни одного человека. Но снаряды рвались в разное время, и там, где только что разорвался один, в воронке уже лежали и стреляли люди, а там, где разрывался следующий, их не было, и эта смертельная игра в прятки, продолжавшаяся пять с половиной часов, кончилась тем, что, когда на исходе шестого часа немцы пошли во вторую атаку, оглохшие, полузасыпанные землей, черные от усталости бойцы поднялись в своих окопах и, ожесточенно, в упор расстреливая все, что показывалось перед ними, отбили и эту атаку.

После недолгой тишины кривая грохота опять полезла вверх. Самолеты заходили по пять, по десять, по двадцать раз и пикировали так низко, что иногда их подбрасывало вверх воздушной волной. Не обращая внимания на зенитный огонь, они штурмовали окопы, и фонтанчики пыли поднимались кругом так, словно шел дождь.

Бомбы, фугасные и осколочные, большие и маленькие, бомбы, вырывающие воронки глубиной в три метра, и бомбы, которые рвались, едва коснувшись земли, с осколками, летящими так низко, что они брили бы траву, если бы она здесь была,— все это ревело над головой в течение почти трех часов. Но когда в шесть часов вечера немцы пошли в третью атаку, они так и не перепрыгнули через «овраг смерти».

Сабурову впервые пришлось видеть такое количество мертвецов на таком маленьком пространстве.

Утром, когда после прихода подкрепления Сабуров пересчитал своих людей, у него было — он твердо запомнил эту цифру — 83 человека. Сейчас, к семи часам вечера, в строю осталось 35, из них две трети легко раненных. Должно быть, так же было и слева и справа от него.

Окопы разворочены, ходы сообщения в десятках мест прерваны прямыми попаданиями бомб и снарядов, многие блиндажи выломаны и вздыблены. Все уже кончилось, а в ушах еще стоял сплошной грохот.

Если бы Сабурова когда-нибудь потом попросили описать все, что с ним происходило в этот день, он мог бы рассказать это в нескольких словах: немцы стреляли, мы прятались в окопах, потом они переставали стрелять, мы поднимались, стреляли по ним, потом они отступали, начинали снова стрелять, мы снова прятались в окопы, и когда они переставали стрелять и шли в атаку, мы снова стреляли по ним.

Вот, в сущности, все, что делал он и те, кто был с ним. Но, пожалуй, еще никогда в своей жизни он не чувствовал такого упрямого желания остаться в живых. Это был не страх смерти и не боязнь, что оборвется жизнь, такая, какая она была, со всеми ее радостями и печалями, и не завистливая мысль, что для других придет завтра, а его, Сабурова, уже не будет на свете.

Нет, весь этот день он был одержим одним-единственным желанием высидеть, дождаться той минуты, когда наступит тишина, когда поднимутся немцы, когда можно будет самому подняться и стрелять по ним. Он и все окружавшие его трижды за день ждали этого момента. Они не знали, что будет потом, но до этой минуты они каждый раз хотели дожить во что бы то ни стало. И когда в седьмом часу вечера была отбита последняя, третья, атака, наступила короткая тишина, и люди в первый раз за день сказали какие-то слова, кроме команд и страшных, нечеловеческих, хриплых ругательств, которые они кричали, стреляя в немцев,— то эти слова оказались неожиданно тихими. Люди почувствовали, что случилось нечто необычайно важное, что они сегодня сделали не только то, о чем потом будет написано в сводке Информбюро: «Часть

такая-то уничтожила до 700 (или 800) гитлеровцев», а что они вообще победили сегодня немцев, оказались сильнее их.

В половине восьмого, уже в темноте, в окоп к Сабурову пришел Анненский. Сабуров сидел, прислонившись спиной к стенке окопа, и лениво ковырял вилкой в банке с консервами, пытаясь убедить себя, что он голоден и надо поесть, хотя есть ему совсем не хотелось.

— Отбились,— сказал Анненский.

Лицо у него было такое же черное и усталое, как у всех,— наверно, там, где был Анненский, сегодня происходило то же, что и здесь.

— Здесь отбились,— сказал Сабуров.— А как вообще?

— И вообще отбились,— ответил Анненский.— Я пришел с лейтенантом, он вас сменит,— вас генерал срочно вызывает.

— А там как? — спросил Сабуров.

— Тоже отбились.

— А где Ремизов?

— Отнесли в блиндаж.

— Опять ранили?

— Нет,— сказал Анненский.— Полчаса назад, как только все кончилось, в обморок хлопнулся. Легко ли с таким ранением сутки на ногах! Идите к генералу. Он на новое капе перешел — метров триста отсюда, на самом обрыве.

Сабуров пошел по ходу сообщения. Два или три раза ему пришлось переступать через засыпанные землей, еще не убранные тела своих бойцов. Пройдя шагов четыреста, Сабуров увидел Проценко, стоявшего на краю обрыва. Он был в таком же, как и все, ватнике, но в генеральской, с красным околышем, фуражке, недавно привезенной ему с того берега. Немного поодаль двое бойцов тесали бревна для накатов.

— Сабуров, это ты? — крикнул Проценко еще за десять шагов.

— Я, товарищ генерал.

Проценко сделал три шага навстречу, остановился и, против обыкновения, очень официально сказал:

— Товарищ Сабуров, благодарю вас от лица командования.

Сабуров вытянулся.

— Я вас представил к ордену Ленина,— сказал Проценко.— Вы его заслужили. И я хочу, чтобы вы знали об этом.

— Очень большое спасибо,— неожиданно для себя не по-уставному ответил Сабуров и улыбнулся.

Проценко тоже улыбнулся и, обняв Сабурова, тихо похлопал его по плечу.

— Живой?

Сабуров не ответил. Что сказать на это?

— Когда-нибудь мы с тобой, Алексей Иванович, еще вспомним этот день,— сказал Проценко.— Помяни мое слово. Может быть, кто и другой день вспомнит, а мы именно этот.

Сабуров молча кивнул.

— Вот командный пункт сменил,— сказал Проценко.— Тут раньше штаб батальона был, я приказал расширить для себя. Они завтра сюда главный удар направят. А мы не отступим. Сегодня все это почувствовали — я знаю: и ты, и я, и все почувствовали. Так я это чувство у людей закрепить хочу собственным пребыванием. Понимаешь?

— Понимаю,— ответил Сабуров.— Только у вас там удобнее было.

— Там удобнее, но я и здесь ведь прочно устраиваюсь. Смелость смелостью, а четыре наката над головой у командира дивизии все равно должно быть. Должен тебя огорчить: убит Попов... С Ремизовым теперь, можно считать, познакомился?

— Познакомился.

— Будет у вас командиром полка вместо Попова.

— А у них?

— Там Анненского оставляем. Это во-первых. Во-вторых, пришлось ослабить вчера полки, чтобы штурмовые группы выделить. Ну и заплатили за это — кое-где потеснили нас. И твой батальон потеснили. Дивизия опять вся вместе, а к берегу нас поплотней прижали, пять домов отдали.

— И у меня тоже? — спросил Сабуров с тревожным чувством человека, которому еще не сказали самых неприятных известий.

— Да. Мой грех — слишком много твоих людей взял, но не взял бы — не соединились бы с Ремизовым. В общем, там, где у тебя командный пункт, теперь передовая. А Г-образный дом немцы забрали.

Проценко говорил спокойным тоном, но было заметно, что он чувствует за собой как бы некоторую вину перед Сабуровым,— что взял у него из батальона и людей и его самого, и теперь Сабурову может казаться, что, будь он там, всего этого бы не случилось, хотя вполне могло случиться и при нем.

— В общем, иди в батальон и стой там, где зацепились, это главное. Не огорчайся,— Проценко похлопал по плечу упорно молчавшего Сабурова,— важнее, что вся дивизия опять вместе — это подороже, чем твой дом. Да, кстати, старые мы сослуживцы с тобой, а не знал, что ты такой скрытный.

— Почему скрытный? — удивился Сабуров.

— Конечно, скрытный. Я у тебя в батальоне был. Мне там все рассказали.

— Что рассказали? — все еще продолжая не понимать, спросил Сабуров.

— Женился, говорят.

— А, вот что.— Сабуров только теперь сообразил, что имел в виду Проценко, так далеко от этого были сейчас его мысли.— Да, женился.

— Говорят, даже свадьбу хотел устроить. Так бы и устроил, а меня не пригласил?

— Не устроил бы,— сказал Сабуров.— Просто разговоры были. Хотелось, чтобы так было.

— А почему этого не может быть? Я эту девушку знаю. Даже орден ей выдавал. У тебя фельдшер в батальоне есть?

— Последнее время нет. Убили, пока я в медсанбате был.

— Могу ее фельдшером к тебе в батальон. Раз по штату положено.

— Мне даже врач по штату положен,— сказал Сабуров.

— Мало ли что кому положено. Тебе в батальоне положено восемьсот штыков иметь, а где они у тебя? А фельдшера могу дать, только с условием...

— С каким?

— Меня на свадьбу позвать. И еще одно. Для тебя она жена, а для батальона фельдшер и никакого касательства к батальонным делам, кроме как по санитарной части, иметь не вправе. А то жены иногда советы подавать начинают... Так вот этого на войне быть не может.

— По-моему, тоже,— сказал Сабуров.— Если сомневаетесь, пусть остается там, где сейчас.

— Я не сомневаюсь. Просто подумал и сказал. Иди к себе. Тебя там уже заждался Масленников твой.

— А кто же вам все-таки рассказал о моих личных делах, товарищ генерал?

— Кому по штату положено, тот и рассказал. Ванин рассказал.— Проценко протянул Сабурову руку.— Думаю, немцы завтра повторят. Но если сегодня у них не вышло, завтра тем более не выйдет. Однако учти — если Волга еще два дня не станет, снаряды и мины на этом берегу кончатся. Экономь. И паек экономь!

XXI

Ночь была темная. Вдали шлепались случайные мины, и именно потому, что разрывы были редки и неожиданны, Сабуров несколько раз вздрогнул. Добравшись до своего батальона, он встретил бойца, который узнал его.

— Здравствуйте, товарищ капитан.

— Здравствуйте,— сказал Сабуров.— Проводите меня на командный пункт. Где он теперь, знаете?

— А где был, там и есть,— ответил боец.

Когда Сабуров подошел к блиндажу и увидел в окопе знакомую фигуру Пети, ему показалось, что он пришел домой.

— Товарищ капитан! — обрадовался Петя.— А мы-то уж вас ждали...

— Вы бы меньше ждали, да лучше воевали,— упрекнул Сабурова, стараясь скрыть свою растроганность.— Дом отдали.

— Это верно,— согласился Петя.— Очень уж навалились, а то бы не отдали. Сил не было. Сорок человек генерал от нас забрал.

— Не только у вас забирали.

— Так и других потеснили,— обиженно сказал Петя.— Не было человеческой возможности... А уж комиссар и Масленников вас ждали, ждали.

— Где они?

— Товарищ Ванин здесь.

— А Масленников?

— А Масленников, как темнеть стало, пошел в дом. Туда теперь днем не пройдешь.

— А до немцев отсюда сколько теперь?

— Слева далеко, как были, а с этой стороны,— Петя кивнул направо,— шестидесяти метров не будет. Все слышно.

— Много народу потеряли? — спросил Сабуров.

— Одиннадцать убитых, тридцать два раненых. И Марью Ивановну убило.

— А дети?

— И детей. Всех вместе. Прямо в их подвал бомба. Одна воронка — и кругом ничего.

— Когда это?

— Вчера.

Сабуров вспомнил, как эта женщина давно, теперь казалось, целую вечность назад, сказала ему равнодушным голосом: «А если бомба, так пусть — один конец всем, вместе с детьми».

И вот ее пророчество исполнилось.

— Да, много ты мне всего наговорил. Лучше бы меньше.— Подняв плащ-палатку, Сабуров вошел в блиндаж.

Ванин дремал за столом. Он писал политдонесение и так и заснул, уронив голову на бумагу и разбросав по столу руки. «Отрицательных случаев морально-политического поведения нет» — была последняя фраза, которую успел дописать комиссар, засыпая.

— Ванин,— позвал Сабуров, постояв над ним.— Ванин!

Тот вскочил.

— Ванин,— повторил Сабуров,— это я.

Ванин долго тряс ему руку, глядя на него как на выходца с того света.

— А мы уже за тебя тревожились.

— У вас тут, кажется, некогда было тревожиться.

— Представь себе, нашли время. Черт тебя знает, что-то такое в тебе есть, что скучно без тебя. Будто из комнаты печку вынесли.

— Спасибо за сравнение,— улыбнулся Сабуров.

— Между прочим, дело к холодам, так что напрасно обижаешься: печка — теперь самая необходимая техника, чтоб согревать живую силу.

— Тем более когда эта техника топится.

Сабуров сел на койку, стащил сапоги и портянки и протянул ноги к огню.

— Хорошо,— сказал он.— Очень хорошо. Нажаловался на меня генералу?

Ванин рассмеялся.

— Нажаловался. Я же комиссар. Увидел, что у тебя душа не на месте, и нажаловался.

— У всех душа не на месте, и раньше, чем война не кончится, она на место не встанет... Что Масленников, вперед ушел?

— Да.

— К утру вернется?

— Должен. Если к утру не вернется, значит, до следующего вечера. Туда и оттуда днем не пройдешь.

— Кто ж там остался в доме?

— Человек пятнадцать. И Конюков за коменданта. Потапов-то убит.

— Ну?

— Убит. Конюкова я в критическую минуту своей властью командиром роты назначил. Больше некого было. Когда нас вышибли, он с тем, что от роты осталось, засел в доме.

— Неужели пятнадцать человек всего во второй роте?

— Нет,— сказал Ванин,— еще человек десять здесь есть. Они с двух сторон отошли, а он в доме остался. Если точно — двадцать шесть человек во второй роте.

— А в остальных?

— В остальных немножко больше. На, смотри.

На листочке бумаги было расписано наличие людей по всем ротам.

— Да, много потеряли. А где передний край теперь проходит?

— Вот, пожалуйста.— Ванин вынул план.

На плане было нанесено расположение батальона. Батальон уже не выдавался уступом вперед, как это было раньше, а после потери Г-образного дома стоял на одной линии с остальными батальонами, вдоль правой стороны разрушенной улицы, и только один дом, номер 7, обведенный на плане пунктиром, языком выходил вперед.

— В сущности, дом в окружении,— сказал Ванин.— Немцы днем не пускают. Ползаем ночью.

— Когда всю улицу обратно придется брать, будет хороший опорный пункт для продвижения,— сказал Сабуров.— Надо его удержать.

— Когда обратно брать будем...— протянул Ванин.— Боюсь, далеко еще до этого. Дай бог удержаться там, где сидим.

— Конечно,— согласился Сабуров,— я об этом и говорю, что дай бог удержаться. А удержимся, так и обратно возьмем.

— Ты что-то веселый вернулся,— сказал Ванин.

— Да, веселый. Это ничего, что один дом отдали. То есть плохо, конечно, но ничего. А что удержались сегодня на берегу и не пустили их к Волге, это самое главное. И дальше не пустим.

— Убежден? — спросил Ванин.

— Убежден.

— А почему убежден?

— Как тебе сказать? Могу привести некоторые логические доводы, но не в них дело. Верю в это. Такое сегодня выдержали, чего раньше не выдержали бы. Сломалось у них что-то. Знаешь, как игрушка заводная. Заводили, заводили, а потом — крак — и больше не заводится.

— Рад слышать это от тебя. А мы тут с этим домом так огорчились, что ни вчера, ни сегодня никаких чувств у нас, кроме горькой досады, не было.

Ванин поднялся и, прихрамывая, прошелся по блиндажу.

— Ты что хромаешь?

— Ранен. Ничего, до свадьбы заживет — до моей, конечно, а твоя, говорят, не за горами.

— Кто говорит?

— Проценко. Как Масленников вернется, мальчишник устроим. Без мальчишника все равно не дадим тебе жениться.

— Не возражаю, только у Пети с запасами, наверное, слабовато. А, Петя?

— Как-нибудь уж постараюсь, товарищ капитан.— Петя открыл флягу, налил водки в кружки, стоявшие перед Ваниным и Сабуровым.

Но не успели они поднести кружки к губам, как плащ-палатка поднялась, и Масленников, веселый, шумный, растрепанный Масленников, появился на пороге блиндажа.

— Подождите,— поднял он руку.— Что вы делаете? Без меня?

Бросившись к Сабурову, Масленников схватил его, приподнял с места, обнял, расцеловал, отодвинул от себя, посмотрел, опять придвинул к себе и снова расцеловал,— все в одну минуту. Потом плюхнулся на третью, стоявшую у стола табуретку и басом крикнул:

— Петя, водки мне!

Петя налил ему водки.

— За Сабурова,— произнес Масленников.— Чтобы он скорее стал генералом.

Но Ванин, подняв кружку, улыбнулся своей грустной улыбкой и возразил:

— А я за то, чтобы он поскорее стал учителем истории.

— Значит: или — или,— улыбнулся Сабуров.— А я готов всю остальную жизнь быть поливальщиком улиц, если бы из-за этого война кончилась хоть на день раньше. Разумеется,— победой. Может, за нее и выпьем? — Он выпил залпом и, переведя дух, добавил: — А что до учителей,— то после войны все мы понемножку будем учителями истории... Ну, как там в доме, а? — повернулся он к Масленникову.

— В доме правит Конюков; объявил себя начальником гарнизона, нацепил старый «Георгий» и говорит, что носит его в ожидании, когда комбат выдаст законно причитающийся ему, согласно приказу командующего, орден Красной Звезды. Петя, что смотришь? — крикнул Масленников.— Кружки пустые.

Сабуров искоса посмотрел на Масленникова, но, решив, что тот все равно валится с ног от усталости и ему, так или иначе, надо спать, не стал возражать. Петя налил им еще по одной.

— Интересно, что Петя никогда не ошибается: всегда наливает ровно по сто грамм,— заметил Ванин.

— Точно, товарищ старший политрук.

— Я знаю, что точно. Даже если в разную посуду. Может, объяснишь секрет?

— Я разливаю не на глаз, товарищ старший политрук, а на слух. Держу фляжку под одним углом и по звуку отсчитываю; раз, два, три, четыре, пять — готово!

— Похоже, что ты после войны будешь работать в аптеке,— пошутил Масленников.

— Никогда, товарищ лейтенант,— сказал Петя.— Вот уж именно — никогда! — с неожиданным жаром повторил он.— Зря

вы думаете, товарищ лейтенант, что я так люблю считать каждую каплю, что даже после войны мечтаю об этом!

— А ты часом не выпил, Петя? — улыбнулся Сабуров.

— Да, товарищ капитан, когда вы выпили за победу, я тоже немного выпил.— Водка, против обыкновения, ударила Пете в голову, потому что еда была на исходе и он, экономя для командиров, за день съел лишь два сухаря.— После войны я буду работать по снабжению, как и работал. Но я мечтаю за такое время, когда все, что я делал когда-нибудь раньше, показалось бы людям смешным. Я считался королем, потому что мог достать пятьдесят мешков картошки или три мешка репчатого лука. Но когда-нибудь, после войны, мне скажут: «Петя, достань в рабочую столовую устриц». И я скажу: «Пожалуйста». И к обеду будут устрицы.

— А ты ел когда-нибудь этих устриц? — спросил Сабуров.— Может, они — дрянь?

— Не ел. Я только к примеру, хотел назвать что-нибудь такое, о чем вы сейчас меньше всего думаете. Налить вам еще?

— Нет,— отказался Сабуров,— довольно.— Он опустил голову на руки и задумался над тем, сколько людей, мечтавших, желавших, мысливших, каявшихся, погребено за эти полтора года в русской земле и никогда они уже не осуществят того, о чем думали. И ему показалось, что все это исполнимое, но не выполненное, все задуманное, но не сделанное теми, кто теперь мертв, всей своей тяжестью ложится на плечи живых и на его плечи. Он задумался над тем, как все будет после войны, и не мог себе этого представить, так же как не мог бы себе представить до войны того, что происходило с ним сейчас.

— Чего загрустил? — спросил Ванин.— Генерал говорил с тобой?

Сабуров поднял голову.

— Я не грущу, я просто думаю.— Он рассмеялся.— Почему у нас, если кто-нибудь задумается, считают, что он грустит? Петя, возьми автомат. Сейчас пойдем с тобой.

— Куда? — спросил Масленников.

— Обойдем позиции.

— Поспите, Алексей Иванович. Утром...

— Нет, утром обходить их... мне жизнь дороже,— усмехнулся Сабуров.

— Тогда я с вами,— вызвался Масленников.

— Нет, я один.— И Сабуров положил руку на плечо Масленникова.— Все, Миша. Когда командир возвращается в часть, его принимают как гостя первые полчаса, а потом хозяин снова он. Понял? Ложись спать. Ты бы тоже вздремнул,— вставая, посоветовал Сабуров Ванину.

— Я уже,— улыбнулся Ванин.— Никак политдонесение не кончу, три раза засыпал.

— А ты их скучно пишешь,— съязвил Сабуров,— так скучно, что сам в это время засыпаешь, а представь себе, как другие засыпают, когда их читают!

Сабуров и Петя вышли из блиндажа. Масленников растянулся на койке и сразу же, по-детски посапывая носом, заснул, а Ванин сел за стол и, положив перед собой незаконченный лист политдонесения, задумался. Потом полез под койку, достал оттуда потрепанный клеенчатый чемодан и вытащил из него толстую общую ученическую тетрадь. На первой странице ее было написано: «Дневник».

Он положил дневник рядом с листком сегодняшнего политдонесения и подумал, что, может быть, именно то, что он записывает в эту заветную тетрадь, и нужно было писать в политдонесениях. Разговоры, мысли, чувства, события, показывающие людей с неожиданной стороны,— все, что он записывал, потому что это было интересно ему,— может быть, именно это и вообще интересно, а то, что он пишет каждый день по графам «положительные явления», «отрицательные явления»,— не особенно интересное для него, может быть, так же неинтересно и для тех, кто будет читать.

В эту минуту, приподняв плащ-палатку, в блиндаж вошла Аня.

— Здравствуйте, товарищ старший политрук,— сказала она.

Ванин поднялся ей навстречу.

— А где капитан Сабуров? — спросила Аня.

— Ушел в роту, скоро вернется.

— Разрешите обратиться к вам?

— Пожалуйста.

— Назначенная в ваш батальон военфельдшер Клименко по месту назначения явилась,— доложила Аня. Потом, опустив руку, спросила: — А Алексей Иванович скоро будет?

— Скоро.

— Хочу его поскорее увидеть.

— Сочувствую вам,— улыбнулся Ванин.— Он скоро будет. Садитесь.

Они сели и с минуту молчали.

— Не смотрите на меня так. Я никого не просила об этом.

— Знаю.

— И он не просил.

— Знаю. Я просил.

— Вы?

— Я. И прекрасно, что это вышло, что вы здесь. Мы тут с Алексеем Ивановичем часто спорили. Мы с ним очень разные

люди. Но как бы вам это объяснить... Стойте, вы же меня давно знаете,— вдруг прервал себя Ванин.

— Конечно, товарищ Ванин,— сказала Аня.— Кто же из сталинградских комсомольцев вас не знает?

— Когда мы тут встретились с Сабуровым, то поспорили из-за зеленых насаждений. Помните, мы все тут зелеными насаждениями увлекались. Он мне доказывал, что, предвидя войну, мы поменьше должны были заниматься этим и побольше многим другим. И я с ним, в общем, даже согласился. Но вы помните, с каким увлечением мы это делали, как это было хорошо!

— Помню,— сказала Аня.

— Это же было счастье,— продолжал Ванин убежденно,— самое настоящее счастье. Мне всегда хотелось, чтобы у всех было счастье, и все, что я делал, я делал для этого. Иногда ненужные мероприятия проводил — для этого, лишние директивы писал — все равно для этого. Так я, по крайней мере, всегда считал.

Хотя Ванин говорил путано и сбиваясь, но Аня понимала, что он говорит о том, что мучило его все это время.

— А вот сейчас,— сказал Ванин,— хотя мне всегда казалось, что я все делал правильно и для счастья людей,— сейчас я все-таки чувствую, что, наверное, прав Сабуров: может быть, меньше нужно было зеленых насаждений, меньше вольных движений на физкультурных парадах, меньше красивых слов и речей,— больше надо было топать с винтовками и учиться стрелять. Но я же тогда так не думал, это же я теперь, задним числом, здесь, на берегу Волги, так считаю. Вы понимаете меня?

Ванин откинул падавшие на лоб волосы, и Аня вспомнила давнее комсомольское собрание, где Ванин выступал с трибуны, горячился вот так же, как сейчас, и так же откидывал со лба назад мешавшие ему пряди. Не все, что Ванин говорил сейчас, ей было понятно; то, что он говорил, наверно, было лишь продолжением его споров с Сабуровым, но она понимала главное, что перед ней сидит очень хороший и очень добрый человек.

— Да...— снова прервал себя Ванин.— Вот и я говорю: особенно рад я, что вы будете с Алексеем Ивановичем вместе, когда кругом происходит все такое, черт его знает, страшное или не страшное, но, в общем, трудное для человека. Хорошо, когда вместе... Вы что, прямо с вещами?

Аня улыбнулась.

— Вот вещи.

Она показала на большую, набитую до отказа санитарную сумку.

— А еще?

— А еще — все,— сказала Аня.

Она сняла шинель и присела к столу.

— А все-таки мы зеленые насаждения опять тут устроим,— сказал Ванин.— Как были, так и будут.

— Конечно,— согласилась Аня, невольно вспомнив тот Сталинград, через который она шла сюда сегодня.

Масленников пошевелился под шинелью, потом быстро сел на койке, нащупал сапоги, надел их на босу ногу, встал и подошел к Ане поздороваться.

— Вот и вы.

Ане было приятно, что он сказал так, как будто здесь давно ждали ее.

— Кушать хотите?

Аня отрицательно покачала головой.

— Спать хотите?

Аня покачала головой.

— Ничего не хочу. Я рада вас видеть.

— Завтра у нас, наверное, будет тихо,— произнес Масленников, то ли чтобы успокоить ее, то ли чтобы просто продолжить разговор.

— Моя старая комсомолка,— представил Ванин.— «Друзья встречаются вновь»,— кажется, была такая картина?

— Была,— сказала Аня.

— Давно не видел кино. Тут «Правду» получили как-то, смотрел в ней список картин в московских кинотеатрах. Даже «Три мушкетера» там идут.

— Я видела «Три мушкетера», когда совсем маленькая была.

— С Дугласом Фербенксом? — спросил Масленников.

— Да.

— Говорят, теперь другие артисты играют. Дуглас Фербенкс умер.

— Неужели? — удивилась Аня.

— Умер, давно умер. И Мэри Пикфорд умерла.

— Неужели и Мэри Пикфорд? — спросила Аня с таким огорчением, как будто это было самое печальное событие из всех, происшедших в Сталинграде за последний месяц.

— Умерла,— жестко сказал Масленников.

Собственно говоря, он не знал, умерла или жива Мэри Пикфорд, но, раз заговорив на эту тему, хотел поразить слушателей своей осведомленностью.

— А Бестер Кейтон? — с тревогой спросила Аня.

— Умер.

Ванин рассмеялся.

— Что смеешься?

— Говоришь о них, как будто пишешь сводку потерь за последние сутки.

— Очень хороший был артист,— огорчилась Аня.

Ей было грустно, что Бестер Кейтон умер. Она вспомнила его длинную, печальную, никогда не улыбавшуюся физиономию, и ей стало жаль, что умер именно он.

— Не умер он,— сказал Ванин, посмотрев на Аню.

— Нет, умер,— горячо возразил Масленников.

— Ну, ладно, пусть умер,— согласился Ванин, вспомнив о смешной стороне этого спора здесь, в Сталинграде.— Я пойду проверю посты,— добавил он, надевая шинель и этим тоже давая понять, что разговор окончен и в конце концов не так уже важно, умер или жив Бестер Кейтон.

— Там капитан уже обходит,— сказал Масленников.

— Он, может быть, в роте где-нибудь задержался, а мне все равно надо проверить...

Ванин вышел из блиндажа.

— А вы все-таки прилягте,— предложил Масленников.— Мы вам тут в углу завтра койку сколотим, а пока на моей ложитесь.

Ане не хотелось ложиться, но она не стала спорить и, стянув сапоги, прилегла на койке, плотно, до самой шеи накрывшись шинелью.

— Послушала вас, а спать не хочется,— улыбнулась Аня.— Рассказывайте, как вы здесь живете.

— Прекрасно,— ответил Масленников таким тоном, словно перед ним была не Аня, а прибывшая из Читы делегация с подарками. Потом, спохватившись, что это же была Аня, которая не хуже его знает, что здесь происходит, добавил: — Сегодня все атаки отбили. Капитан прекрасно выглядит. Мы за него тут беспокоились.

— Я тоже.

— Но его даже не поцарапало. Генерал сказал, что представил его к ордену Ленина за то, что два раза ходил к Ремизову ночью. Ну, что же еще? По случаю встречи выпили немного за победу. А я, про себя, и за вас выпил.

— Спасибо.

— Я очень рад, что вы здесь,— продолжал Масленников.— Знаете ли, когда все мужчины да мужчины, как-то грубеешь в этой обстановке.— Он почувствовал, что фраза у него вышла нарочито мужская, и залился румянцем.— Может, закурить хотите?

— Я не курю.

— Я тоже до войны не курил. Но в этой обстановке тянет. Время быстрее летит. Закурите.

— Ну, хорошо,— согласилась Аня, понимая, что, закурив, доставит ему удовольствие.

Он вынул из кармана гимнастерки единственную лежавшую там папиросу и подал Ане, сам же стал свертывать самокрутку. Потом спохватился, что не дал спичку, вскочил, рассыпал табак из самокрутки, чиркнул спичку и поднес Ане. Она неумело закурила, быстро втягивая и сразу же выпуская дым.

— Может быть, все-таки хотите кушать? — спросил Масленников.

— Нет, спасибо.

— А воды вам принести?

— Нет, спасибо.

Масленников замолчал. Здесь под его защитой находилась жена его начальника и товарища, и он относился к ней с той трогательной предупредительностью, какая бывает только у мальчиков. Ему хотелось окружить ее заботой, дать ей понять, что он самый верный друг ее мужа, что она вполне может на него положиться и что вообще нет ничего такого, чего бы он не сделал ради нее.

Так они помолчали несколько минут.

— Миша.

— Да.

— Вы ведь Миша?

— Да.

— Вы очень хороший.

Услышав эти слова «вы очень хороший», Масленников почувствовал, что хотя они, наверное, однолетки с Аней, но она чем-то много старше его.

— Миша,— словно запоминая его имя, повторила она, закрыв глаза.

Когда Масленников о чем-то спросил ее, она не ответила. Она заснула сразу, в ту же секунду, как закрыла глаза.

Он сидел один за столом в тишине, которая изредка прерывалась далекими выстрелами. На койке, в двух шагах от него спала женщина, жена его товарища, очень красивая (как ему казалось), в которую он бы влюбился, если бы она не была женой его товарища (так думал он), и в которую он уже был влюблен (так было на самом деле, но он бы никогда себе в этом не признался). Он почему-то вспомнил брата и шумную подмосковную дачу, куда брат его часто ездил после того, как вернулся из Испании, и потом, когда вернулся из Монголии. Должно быть, потому, что брат много раз рисковал жизнью, он любил, чтобы в эти приезды кругом него было шумно и весело. Он приезжал на дачу с красивыми женщинами, сначала с одной, потом, через год, с другой. Он был

всегда шумный, веселый, и казалось, что все дается ему легко — и друзья и любовь. И Масленников замечал, что от этого брату бывало скучно. Приехав на дачу в большой компании и с женщиной, которая казалась Масленникову такой замечательной, что он бы не отошел от нее ни на шаг, брат вдруг говорил: «Мишка, пойдем на бильярд»,— и они, запершись, играли по три часа на бильярде. А когда стучали к ним в дверь и женский голос звал: «Коля»,— брат прикладывал к губам палец и говорил: «Тс-с-с, Мишка»,— и они молчали, пока легкие шаги не удалялись от двери, и тогда продолжали играть снова. Брат говорил: «А ну их к господу богу»,— и Масленников удивлялся: ему было это непонятно и казалось, что сам он, если бы его звал этот женский голос, не смог бы вот так промолчать и играть на бильярде. Кончив играть на бильярде, брат возвращался ко всей компании и с той женщиной, на голос которой он только что не откликался, бывал так нежен, что казалось, он на все для нее готов. А потом незаметно подмигивал Масленникову, как сообщнику, словно говоря: «Не в этом счастье, милый, не в этом счастье». Но Масленникову казалось, что счастье именно в этом.

Он вспомнил брата, и дачу, и бильярд. Где же брат? О нем давно уже ничего не было в газетах. И вдруг он представил себе, что брат погиб, и невольно подумал, что если те, кто бывал тогда в шумной компании на даче, и женщины тоже, узнают о гибели брата, они, конечно, поговорят о нем, наверное, даже выпьют за него и будут вспоминать, как бывали с ним на даче, а больше, пожалуй, ничего и не произойдет. А вот если Сабуров погибнет,— что тогда сделает Аня? Она, наверное, станет совсем не такая, как сейчас, с ней произойдет что-то страшное. С теми же, кто бывал у брата, ничего страшного не сделается, и, может быть, поэтому брат уходил с ним играть на бильярде и не отзывался на их стук.

Он посмотрел еще раз на Аню, и юношеская тоска по любви,— не к ней, а вообще по любви,— охватила его. Ему очень захотелось дожить до конца войны, чтобы тоже приезжать к брату на дачу, и тоже не одному, но чтобы это было совсем не так, как у брата. Он стал придумывать, какая она будет, эта женщина, но когда думал о ней вообще, то наделял ее самыми замечательными качествами, а когда воображал себе ее лицо, ему чудилось лицо Ани.

Он задремал, сидя на табуретке у стола, и вздрогнул, когда его окликнул Ванин, вернувшийся с обхода постов.

— Где Сабуров?

— Ушел.

— Уже шесть часов,— сказал Ванин,— не иначе, как забрался в дом к Конюкову. Нигде его больше нет.

XXII

Сабуров действительно отправился в дом к Конюкову.

Ходить туда можно было только ночью, и то большую часть пути ползком, с риском угодить под случайную пулю.

Сабуров с Петей сначала прошли вдоль полуразрушенной стены, потом свернули. Здесь Петя весь подобрался, как бы готовясь к прыжку.

— Ну, как, товарищ капитан? Тут место открытое.

— Знаю,— сказал Сабуров.

— Как, поползем или махнем?

— Махнем,— ответил Сабуров.

Они выскочили из-за стены и пробежали тридцать метров, отделявших их от следующей стенки, за которой уже можно было сравнительно безопасно пробираться к дому. Немцы услышали шум, и позади запоздало ударила по камням пулеметная очередь.

— Кто идет? — тихо спросил кто-то в темноте.

— Свои,— отозвался Петя,— капитан.

Они прошли еще несколько шагов вдоль стенки.

— Сюда,— послышался тот же шепот.— Это вы, товарищ капитан?

— Я,— ответил Сабуров.

— Сюда, головой не ударьтесь.

Сабуров пригнулся и спустился на несколько ступенек вниз. Ощупью они повернули за угол и вошли в подвал.

Это была часть той самой большой котельной, из которой когда-то лейтенант Жук вылавливал спрятавшихся немцев. За два месяца времена переменились, и место, считавшееся ранее опасным, сейчас, в этом сровненном с землей городе, казалось комфортабельным помещением. Часть котельной обвалилась от прямого попадания пятисотки, но другая, меньшая часть, была цела.

В двух стенах, углом обращенных к немцам, были сделаны бойницы для четырех пулеметов. Лестничная клетка обрушилась, но к отверстию в потолке приставили кусок притащенной откуда-то пожарной лестницы. Пролом в стене, образовавшийся от попадания бомбы, завалили обломками котлов, а оставшийся проход завесили двумя сшитыми вместе плащ-палатками. Именно отсюда, приподняв плащ-палатку, Сабуров вслед за провожатыми вошел в котельную.

В котельной было дымно. Прямо на цементном полу горела железная самодельная печка. Труба была выведена наружу, через стену, но вставлена она была неплотно, и из всех колен ее просачивался дым. Один боец сидел у печки на корточках, а пятеро или

шестеро вповалку спали в углу на нарах, сооруженных из двух пружинных матрацев и нескольких дерматиновых сидений, снятых с разбитых машин.

Когда Сабуров вошел, сидевший у огня боец вскочил, откозырял и спросил:

— Прикажете разбудить Конюкова, товарищ капитан?

— Разбудите.

— Товарищ старшина, товарищ старшина! — стал расталкивать Конюкова красноармеец.

Конюков, оправляя на ходу ремень, подбежал к Сабурову.

— Разрешите доложить! — гаркнул он, остановившись за три шага.— Гарнизон дома номер семь по Татарской улице находится в боевой готовности. Больных нет. Раненых двое. Особых происшествий нет. Докладывает старшина Конюков.

— Здравствуй, Конюков.

— Здравия желаю,— отчеканил Конюков и, отступив на шаг, опять вытянулся.

Несмотря на всю его дисциплинированность, было во внешности Конюкова что-то новое, чуть-чуть партизанское, что появляется у людей, долго сидящих в осаде, постоянно рискующих жизнью и отрезанных от остального мира. Ремень у Конюкова был по-прежнему затянут так, что не просунешь двух пальцев, но ушанка была надета залихватски набекрень, у пояса в треугольном черном футляре висел немецкий парабеллум, а на ногах красовались немецкие летные сапоги с меховыми отворотами.

И по тому, как красноармеец спросил: «Прикажете разбудить Конюкова?» — не решаясь сам произвести это действие, и вообще по царившему в гарнизоне порядку Сабуров понял, что Конюков за эти дни поставил себя здесь как положено.

— Давно не был я у тебя, Конюков. Пришел посмотреть, как живете.

— Хорошо живем, товарищ капитан.

— Скажи, пусть скамейку к печке принесут — я замерз, и садись — поговорим.

— Прикажете разбудить людей? — спросил Конюков.

— Зачем будить? Устали, наверное?

— Точно так, устали.

— Это все, что есть у тебя?

— Никак нет, не все. Половина на постах, половина спит. По очереди и воюем, если только атаки нет.

— А если атака?

— А если атака, все на постах, по расписанию. Антонов! — позвал Конюков.

— Да.

— Найди товарищу капитану скамеечку. Одна нога здесь, другая там.

Скамеечки не нашлось, вместо нее боец принес два автомобильных сиденья и положил их немного поодаль от печки, а сам стал ворошить дрова.

— Вольно, Конюков,— сказал Сабуров.— Садись,— и сам сел к огню.

Конюков тоже сел, наискось от него, но, даже сидя на низкой автомобильной подушке, ухитрялся сохранять подтянутый вид.

— Значит, теперь один в осаде сидишь? — спросил Сабуров.

— Так точно. За командира роты остался, как убило его.

— Сколько сейчас у тебя людей?

— Пятнадцать человек, считая меня.

— А было, когда принял команду?

— Семнадцать было. Двое за вчера и сегодня убыли по причине смерти. Убиты, значит,— пояснил он свое, даже ему самому показавшееся витиеватым официальное выражение.

— Как же ты войско свое расставил?

— Разрешите доложить. Значит, так. Днем у амбразур с пулеметами четверо лежат все время. Двое в окопах по сторонам сидят, чтобы не обошли, чтобы с флангов наблюдать. Закопаны хорошо, и прямо из подвала туда ход идет, чтобы головы не снесло, когда ползти будут. Вон дыра идет, видите? Двое на первом этаже все время дежурят: глядят вперед, чтобы не подошли. Закрыты, конечно, меньше, но защита устроена. Мы туда из танка башню сволокли, кирпичами обложили. Вчера убило Максимюка. Не знали?

— Кажется, знал.

— Такой рыжий, у меня в отделении был. Ну, вчера в него попало. А так — бог милует. Все предназначено по порядку, товарищ капитан. Сами сможете убедиться.

— Посмотрю,— сказал Сабуров.

— А пока не хотите ли картошечки отведать? Как раз жарим ее. Мороженая, но она еще слаще.

— Откуда же у тебя картошка?

— Ночью вчера пробрались до того подполья, где женщина была с детьми, которых убило. Помните?

— Помню.

— Пробрались. Сам лично я пробирался. Там от взрыва разбросало. Полмешка набрал. Вы мороженую не кушаете?

— Нет, почему же? Ем,— сказал Сабуров.

— Сейчас мы все сделаем. Антонов, поверни еще раз картошку. Погоди, я сам.

Конюков встал и, вытащив из-за пояса широкий трофейный нож, стал поворачивать на сковороде картошку.

— У нас тут хозяйство, товарищ капитан. Я люблю, чтобы всему свое место было. Отведайте картошки,— предложил он, стаскивая с времянки сковородку и ставя ее на пол.— Вот, пожалуйста, ножичек.

Сабуров взял нож и, обжигаясь, съел несколько кружков картошки.

Конюков, у которого на боку болталась немецкая, обшитая войлоком, фляга, хотел спросить у капитана, выпьет ли он, но дисциплина взяла верх: начальство само знает, когда пить, когда не пить.

— А ты чего не ешь? — спросил Сабуров.

— Отведайте еще, потом и мы покушаем.

Сабуров отказался и подвинул сковородку Конюкову. Тот наскоро подцепил ножом немножко картошки и, еще не дожевав, позвал дежурного:

— Буди бойцов. Ужин готовый.

Сабуров поднялся.

— Пока будут ужинать, сходим наверх.

— Есть, товарищ капитан. Вот сюда, пожалуйста.

Они вылезли наверх по обломку пожарной лестницы. Раньше она служила для того, чтобы взбираться на шестой или седьмой этаж, под небо, а теперь они поднялись всего на семь или восемь ступенек и оказались уже под небом, хотя на самом деле это был всего лишь первый этаж, едва поднимавшийся над уровнем земли.

Ночь была темная и морозная.

— Пригнитесь, товарищ капитан, к парапету. Тут нет-нет да и стеганет.

Пригнувшись, они прошли шагов десять и за углом стены нашли первого из часовых. Он лежал между обломками, на которые наискось были положены два рельса, а сверх них несколько мешков с цементом.

— Сидоров,— шепотом позвал Конюков.

— Я.

— Что наблюдаешь?

— Ничего не наблюдаю.

— Замерз?

— Пробирает.

— Терпи, скоро смена выйдет. Картошку жарить будешь. Ты сегодня за повара.

— Только бы до печки добраться. А там я что хочешь испеку. Холодно!

— Ну, наблюдай,— распорядился Конюков.— Приказаний не будет, товарищ капитан?

— Не будет,— сказал Сабуров.

Они переползли ко второму наблюдателю, устроившемуся в поставленной между обломками стены пустой башне танка. Верхний люк башни сейчас был открыт, и наблюдатель стоял в ней так, что была видна одна его голова.

— Дюже ледяная башня,— сказал Конюков.— Мы уже в ней матрац положили, чтоб была возможность сидеть. А уж что зимой будет, в январе или феврале,— страсть, если холода ударят. Как уж тут сидеть? Прямо хоть водки двойной паек выдавай тому, который дежурный тут.— Конюков говорил об этой танковой башне так, словно она величина постоянная и ему со своими дежурными придется сидеть именно в этой башне еще и в январе и в феврале.— А весна придет, солнышко пригреет, тогда, конечно, легче станет,— продолжал Конюков свою мысль.— Чего наблюдаешь, Гавриленко?

— Шуршало малость,— шепотом отозвался Гавриленко.— А сейчас тихо.

— Ну, смотри. Приказаний у вас не будет, товарищ капитан? — опять, как в прошлый раз, спросил Конюков у Сабурова, и тот, как и в прошлый раз, ответил:

— Нет, не будет.

Потом они осмотрели оба внешних поста по сторонам дома и вернулись в подвал.

Конюков сделал такое движение, словно искал кого-то глазами, но один из красноармейцев уже выскочил вперед и отрапортовал:

— Товарищ капитан, взвод принимает пищу.

— Кушайте,— сказал Сабуров.— Принимайте пищу. Значит, сейчас пойдут сменять? — обратился Сабуров к Конюкову.

— Так точно.

Они отошли к освободившимся теперь тюфякам, присели на них и стали говорить на разные интересовавшие Сабурова темы — о том, сколько у Конюкова патронов и где они хранятся, в разных местах или все вместе, на сколько хватит продовольствия в случае, если бы двое или трое суток не удавалось ничего подносить по ночам,— как вдруг сверху раздались один за другим три выстрела.

— По местам! — закричал Конюков, вскакивая.— Сидоров предупреждение делает,— обратился он к Сабурову.— Как, товарищ капитан, наверх со мной пойдете или здесь будете?

— Наверх пойду.

Выбравшись наверх, они прилегли вместе с выскочившими

красноармейцами за бруствер, сложенный из кирпича и мешков с цементом.

Ночная атака продолжалась около часа. Немцы небольшими группами, с разных сторон пытаясь подобраться к дому, осыпали обломки стен автоматными очередями. Но в конце концов, потеряв несколько человек, отступили, и все опять затихло.

Сабуров спустился в подвал и отдал Конюкову несколько распоряжений на будущее. Уже начинало светать. Решив все-таки добраться до батальона, Сабуров вышел вместе с Петей, но едва кончилась стена и они поползли по открытому месту, как перед ними стали ложиться сплошные пулеметные очереди, и им ничего не оставалось, как отойти обратно за стену.

— Придется уж вам день у меня пожить, товарищ капитан,— сказал вышедший проводить их Конюков.— Раз засекли, теперь будут сыпать до самой ночи. Значит, вам такая судьба сегодня вышла.

Сабуров не упорствовал. Он и сам понимал, что Конюков прав.

За день он подробно осмотрел позиции Конюкова и распорядился, чтобы перетащили в более удобное место один из пулеметов. Остальное было в порядке. Несколько раз он поднимался наверх, на первый этаж, и наблюдал за немцами. В этот день они вели себя сравнительно тихо, по крайней мере здесь, против конюковского дома, и только в конце дня, в четвертом часу, сразу начало бить несколько тяжелых минометов и по дому и через него — туда, где были расположены остальные роты.

Когда после этого немцы тремя группами перешли в атаку на командный пункт и правофланговую первую роту, то сразу выяснились выгоды местоположения конюковского дома: немецкие солдаты в горячке, не прячась в ходы сообщения, выскакивали на закрытое со стороны батальона, но открытое отсюда место, и тогда Конюков, сам лежавший за пулеметом, с остервенением строчил по ним, и проскочившие между развалинами немцы падали на снег.

Забыв о субординации, Конюков несколько раз поворачивал разгоряченное лицо к Сабурову и хвастливо подмигивал.

Ровно в четыре часа (Сабуров хорошо запомнил время, потому что как раз посмотрел на часы) немцы, судя по звукам боя, прорвались к штабу батальона. После минутной угрожающей паузы там сразу раздалось пять или шесть гранатных разрывов, потом еще два и еще пять или шесть. Сабурова охватило щемящее чувство тревоги, смешанное с неопределенным предчувствием горя. В первый раз за все время в Сталинграде он подумал, что у него не в порядке нервы. Отстранив Конюкова, он сам лег за пулемет.

Это немного привело его в себя, но тревога не исчезла, хотя, судя по тому, что гранатные разрывы прекратились и немцы отползали назад, атака была отбита.

Через полчаса снова стало тихо, и только редкие мины, перелетая через дом, шлепались позади.

В начале шестого Сабуров откинул плащ-палатку и выглянул за порог. Уже начинало темнеть.

— Пора!

— Разрешите доложить, товарищ капитан,— обратился Конюков.— Имейте терпение. Обождите еще десять минут.

— Ладно,— согласился Сабуров,— обожду... Да,— вспомнил он,— орден, что тебе вышел, в следующий раз приду — принесу. Специально в дивизию пошлю за ним.

— Вот спасибо, премного буду вам благодарен.

— Рад ордену?

— А кто же ему не рад? Ему только бессмысленный человек не рад. А я свою гордость имею. Алексей Иванович,— Конюков впервые так обратился к Сабурову,— после войны, может, и встретимся где. Увидите меня и скажете: «Вон Конюков идет». А может, и женюсь я. Я ведь вдовый... Может, закурите, Алексей Иванович? — спросил он, доставая жестяную коробочку с махоркой.

Видимо, он так вольно обращался сейчас к комбату потому, что у них впервые зашел разговор о том, что будет после войны, когда он станет опять штатским человеком и именно так — Алексеем Ивановичем — назовет Сабурова, если встретит его.

— А может, медаль выйдет нам, как за Шипку,— сказал Конюков, когда они закурили.— За то, что мы тут сидели, а, Алексей Иванович?

— Все может быть.

— На Шипке все спокойно,— сказал Конюков, прислушиваясь к наступившей тишине.

В ту минуту, когда Сабуров услышал сзади, в батальоне, далекие взрывы гранат и когда его душу охватило щемящее предчувствие, которое он заглушил, но преодолеть не мог, именно в эту минуту по стечению обстоятельств произошло то самое несчастье, которого он мог бояться.

Раздосадованные несколькими неудачными атаками, немцы решили взять быка за рога и, скопившись между развалинами, бросились прямо к командному пункту батальона. Перед этим была та подозрительная минута тишины, которую для себя отметил Сабуров.

Когда немцы выскочили, на командном пункте были только Масленников, пришедший сюда из роты, чтобы позвонить командиру полка, двое дежурных в пулеметном гнезде над входом в

блиндаж и двое связистов, сидевших рядом в своем блиндаже. Одному из них как раз в этот момент Аня, разрезав рукав, бинтовала раненую руку.

Когда появились немцы, пулеметчики сделали секундную паузу,— у них на миг перекосило ленту, и несколько немцев перескочили то мертвое пространство, на котором пулемет в следующую секунду положил остальных. Те, которые проскочили, залегли за камни совсем рядом с блиндажом, несколько гранат полетело в окоп и в ходы сообщения.

В первую секунду Аня ничего не поняла: она только услышала взрывы и увидела, как стоявший перед ней связист, которому она бинтовала руку, вдруг рванулся от нее, волоча за собой разматывающийся бинт, и со всего маху упал на спину.

Аня наклонилась к нему, в это время второй связист грубо толкнул ее, так что она упала на дно окопа, а когда подняла голову, то увидела, что связист схватил автомат и, поднявшись над окопом, куда-то стреляет.

Упав, Аня больно ударилась лицом о что-то жесткое,— это был лежавший на дне окопа автомат убитого связиста. Она взяла автомат, положила его на бруствер окопа и, поднявшись так же, как второй связист, стала стрелять, не видя еще, куда она стреляет.

Потом она увидела, как слева, из блиндажа, выскочил Масленников, пригнулся и, как мальчишка (она почему-то именно так это запомнила), одну за другой, вырывая их из-за пояса, бросил четыре маленькие гранаты.

Потом опять затрещал пулемет, кто-то крикнул на незнакомом языке, спереди на них что-то полетело, связист пригнулся в окопе, она сделала то же самое, а наверху раздались взрывы.

Связист опять поднялся и начал стрелять. Аня, нажав на гашетку, почувствовала, что стрелять дальше нельзя, так как первыми же очередями она расстреляла весь диск и теперь там не было патронов. Она нагнулась и стала смотреть, не лежит ли где-нибудь в окопе другой диск. Диск действительно лежал в двух шагах от нее — в холщовом мешочке, на поясе у убитого связиста. Аня быстро пробежала по окопу и, наклонившись, отстегнула диск. Еще раз оглянувшись, она увидела, как Масленников опять приподнялся над окопом и, что-то крича, снова бросил гранату. Она подумала про себя, какой он храбрый, и, отстегнув диск, пошла обратно — туда, где у нее лежал автомат.

А когда она нагнулась, чтобы поднять автомат, что-то пролетело над ее головой и упало в окоп. Она увидела, что между ней и связистом, который стрелял из автомата, в окопе, как волчок, крутится граната. Связист бросил автомат и упал на дно окопа.

Аня, совсем почему-то не подумав о себе, испугалась — сейчас эта граната убьет связиста, и вспомнила, как кто-то ей говорил, что гранату можно успеть выбросить обратно. Она схватила гранату и вышвырнула ее из окопа. Граната рванулась уже на бруствере, и Аня, ничего не помня, без сознания упала на дно окопа.

В горячке боя Масленников не сразу заметил все происшедшее. Он с ожесточением бросал в немцев гранаты, которые заранее лежали в козырьке окопа, у самого входа в блиндаж. Он, наверное, бросил их штук пятнадцать, одну за другой, пока наконец в первой роте, услышав звуки боя, не догадались, что на командном пункте неблагополучно, и не отправили во фланг немцам автоматчиков, которые сравнительно быстро перестреляли из-за укрытия нескольких прорвавшихся и залегших на открытом месте немцев, а остальных заставили отступить.

Когда Масленников после этого спустился в окоп, он увидел Аню, лежавшую между двумя мертвыми связистами,— двумя, потому что того, кто бросился ничком, когда упала граната, тоже убило. Аня лежала неподвижно, неловко прижавшись щекой к краю окопа. Масленников нагнулся над ней, потом встал на колени и, вытащив из кармана платок, вытер с ее лица кровь. Кровь была от маленького осколка, поцарапавшего лоб у самых волос. Масленников несколько раз назвал Аню по имени, но она не отвечала, хотя слабо дышала. Ее шинель и гимнастерка были порваны в двух местах, на плече и на груди.

Гранату рвануло в одну сторону,— в ту, где лежал бросившийся ничком связист, и он был весь изорван осколками. А в Аню попали этот маленький осколочек в лоб и два в грудь и плечо.

Мелкий снег падал в окоп на лицо Ани, на ее шинель, на обнаженную голову Масленникова, который, наклонившись над Аней, скинул с себя ушанку. Он все еще стоял на коленях и неустанно, почти беззвучно продолжал повторять ее имя, и в сердце у него была невообразимая тоска. Так он стоял, может быть, целую минуту, а потом, все еще не зная, что делать, но подчиняясь инстинктивной душевной потребности, поднял Аню на руки и понес — голова ее беспомощно свесилась, испугав его этим безвольным движением. Он понес ее по окопу, внес в блиндаж и положил на свою койку, на ту самую, где она, усталая, спала эту ночь. Только сейчас он увидел, что через плечо у нее по-прежнему висит большая санитарная сумка, про которую Ванин вчера спрашивал, неужели это все ее имущество, и Аня сказала, что да, все.

Он приподнял ее голову, снял сумку и положил под койку. Потом, отступив спиной и все еще продолжая смотреть на Аню, взял

телефонную трубку и позвонил в полк начальнику штаба, что у него есть убитые и раненые, а фельдшер сама тяжело ранена и чтобы скорей прислали врача или фельдшера. Ему обещали. Он повесил трубку и вышел из блиндажа отдать распоряжение на случай повторения атаки. Но немцы пока молчали.

Масленников вернулся в блиндаж, сел на койку рядом с Аней и, посмотрев на нее, заметил, что струйка крови из ранки на лбу опять потекла вниз по щеке. Он опять вынул платок и стер кровь.

Лицо Ани было очень бледно и спокойно. Если бы не эта ранка на лбу и не темные пятна на гимнастерке, можно было бы подумать, что она спит. Это спокойствие и незаметность ран пугали Масленникова, который много раз видел кровоточащие, страшные на вид раны, после которых люди оставались живы, и знал, как часто незаметная рана, наоборот, делает человека мертвым.

Он сидел и, как будто этим можно было помочь, вытирал набегавшие на лоб Ани капли крови и думал о том, как придет Сабуров и что он ему скажет. Потом он вспомнил о лежавшем у него в чемодане, присланном перед седьмым ноября наркомовском подарке,— там было несколько плиток шоколада, печенье и сгущенное молоко,— он все это не трогал потому, что думал подарить, когда у Сабурова и Ани будет свадьба. У него мелькнула мысль: «А может быть, все это пройдет, все будет хорошо». Он еще раз послушал, как Аня дышит. Она почти не дышала. Тогда он понял, что она, наверное, умрет, может быть, даже до прихода врача. Это молчание наедине с ней было таким тягостным, что он, вспомнив о немцах, пожалел, что они не идут еще раз в атаку и он не может, забыв обо всем, выскочить отсюда с автоматом в руках. Но немцы, как нарочно, вели себя тихо, и это обозлило его. А кровь все набегала каплями на лоб Ани, и он вытирал их, пока не заметил, что платок промок насквозь. Он полез под койку к себе в чемодан, нашел чистый платок и, поднимаясь с колен, увидел вошедшего в блиндаж врача.

— Где раненые? — щурясь, спросил врач.

— Вот,— указал Масленников.

— А, Клименко,— и движением, которое удивило Масленникова своим профессиональным спокойствием, врач поддернул рукав над часами и взял руку Ани, слушая пульс. Потом, расстегнув у Ани пояс и разрезав гимнастерку, осмотрел раны. Рана на груди заставила его поморщиться. Он наскоро перевязал ее и, посмотрев на Масленникова близорукими, сощуренными глазами, сказал:

— Надо немедленно эвакуировать — и на стол!

— Что? — спросил Масленников.— Ну, что?

Но врач ничего не ответил и позвал в блиндаж санитаров.

— Больше раненых нет? — обернулся он к Масленникову.

— Нет. Только убитые.

— А вы?

— Что я?

— Да голова-то.

Масленников потрогал голову, и когда отнял руку, ладонь была красная и липкая.

— Это пустяки,— сказал он, не храбрясь, а потому, что действительно не чувствовал никакой боли.

— Ну-ка, ну-ка.— Врач вынул из кармана пузырек со спиртом, смочил вату и протер висок и лоб Масленникова.

— Да, действительно пустяк. Санинструктор есть в батальоне?

— Где-то должен быть.

— Пусть перевяжет, а то загрязните.

Санитары за это время уже переложили Аню с койки на холщовые носилки и, дожидаясь врача, поставили их на пол. То, что ее положили на пол, Масленникову показалось грубым и обидным, хотя он десятки раз до этого видел, как раненых клали на пол или просто на землю.

— Все,— сказал врач.— Пошли.

Когда санитары подняли носилки, одна рука Ани беспомощно свесилась. Санитар поправил ее, положив на носилки.

Масленников вышел вслед за врачом, но увидел только спину шедшего сзади санитара.

Он еще продолжал стоять в остолбенении и смотреть вслед ушедшим, когда где-то близко опять застучали автоматы. Он почти с облегчением подумал, что вот снова началось, вылез из окопа и, перебежав в следующий, спрыгнул к пулеметчикам, уже стрелявшим по немцам.

XXIII

Сабуров вернулся к себе в блиндаж сразу же после наступления темноты. Там был один Масленников, который сидел за столом и составлял донесение. Голова у него была небрежно, наискось, повязана промокшим бинтом.

— Ранили? — спросил Сабуров.

— Поцарапали.

— А где Ванин?

— Пошел в полк представляться новому командиру.

— Ах да, ведь теперь у нас Ремизов,— вспомнил Сабуров.

— Да,— сказал Масленников.— Вот он и пошел ему представляться.

Он повторил это, умолчав о том, что Ванин заодно обещал узнать про Аню.

Петя за плащ-палаткой гремел котелками. Сабуров и Масленников сели к столу друг против друга. Говорить не хотелось,— оба не могли говорить о том, что занимало их мысли. Сабурову хотелось рассказать Масленникову о щемящем чувстве, которое он испытал сегодня в четыре часа дня. Но он стыдился и не хотел заговаривать об этом, а Масленников, знавший, что Сабурову неизвестно не только о ранении Ани, но и о том, что она вообще была здесь, колебался, сказать или не сказать, и думал, не лучше ли будет, если он пока вообще ничего не скажет.

В то время как они оба сидели так друг против друга, не решаясь заговорить, их глаза в одно и то же мгновение сошлись на одном предмете — на большой санитарной сумке Ани, лежавшей под койкой. Они посмотрели на эту сумку, потом друг на друга, потом опять на сумку, и Сабуров перевел взгляд на Масленникова.

— Анина? — спросил он, и по тону его, и по выражению лица Масленников понял, что он, несомненно, знает, что эта сумка принадлежит Ане.

— Да,— сказал он.

— А где Аня?

Когда Масленников секунду помедлил с ответом, сердце у Сабурова похолодело, внутри его все оборвалось и осталась пустота.

— Она тут была,— сказал Масленников.— Вчера пришла, как только вы ушли... Ее сегодня ранили... и эвакуировали,— вдруг почему-то повторил он холодное докторское слово.

— Когда?

— В четыре часа.

Сабуров молчал, продолжая смотреть на сумку. Он не спросил, куда Аня ранена, тяжело или легко. Когда Масленников сказал «в четыре часа», он почувствовал, что произошло несчастье. Ему не хотелось больше спрашивать.

— Ее ранило тяжело, но небольшими осколками,— сказал Масленников, которому показалось, что Сабурову, должно быть, важно, что ее не изуродовало, а ранило именно небольшими осколками.— В грудь, в плечо и вот сюда еще. Но это тоже, как у меня,— царапина.

Сабуров молчал и все еще глядел на сумку.

— Ванин пошел к полковнику, он, наверное, что-нибудь узнает,— продолжал Масленников.

— Хорошо,— безразлично сказал Сабуров.— Хорошо. Ты посты поверял?

— Нет, не поверял еще.

— А ты поверь.

— Сейчас пойду,— заторопился Масленников, подумав, что Сабуров хочет остаться один.

— Нет, почему сейчас? — сказал Сабуров.— Можно потом, когда кончишь донесение.

— Нет, я сейчас пойду.

— Как хочешь,— сказал Сабуров.

Масленников вышел, а он подошел к койке Масленникова, сел на нее, увидел на одеяле пятна крови и понял, что, наверное, Аню клали сюда. Тогда он потянулся за сумкой, поднял ее и положил на койку. Он делал все это не спеша. У него было такое ощущение, что главное несчастье уже произошло, теперь ему совсем некуда торопиться, он все успеет. Он медленно расстегнул сумку и, ничего не вытаскивая, несколько минут смотрел на то, что лежало в ней. Потом так же медленно начал вынимать все, одно за другим. Сумка была туго набита: в ней лежали аккуратно сложенная пилотка, зубная щетка и мыло, два полотенца, один носовой платок. В другом отделении были медикаменты — он их не тронул. Потом он вынул две новые зеленые медицинские петлицы с привинченными к ним кубиками, потом маленькую деревянную круглую коробочку, которую он открыл и увидел там иголки и нитки. Он закрыл ее. Последнее, что он, побледнев, вынул из сумки, были рубашки — две солдатские рубашки, большие, не по росту, у одной из них были подвернуты и подшиты рукава, так же как на шинели, тогда, когда он встретил Аню в окопе и поцеловал ее руки там, где были ссадины. И он подумал, что вот именно тогда, наверное, увидел ее в последний раз и больше никогда не увидит. Упав лицом на все эти разбросанные по койке вещи, он заплакал, уже ничего больше не замечая вокруг себя.

Когда через полчаса в блиндаж вошел Ванин, Сабуров сидел у стола в своей обычной позе, откинувшись спиной к стене и вытянув ноги. На лице его не было выражения печали или страдания. Он встретил Ванина тяжелым, пристальным взглядом. Это был взгляд человека, потерявшего что-то, без чего он не представлял своей жизни, и все-таки решившего продолжать жить, взгляд человека, у которого вынули кусок души и ничего не вложили на это место.

Ванин подошел к столу и сел напротив Сабурова. Они помолчали.

— Ну что? — спросил Сабуров.

Ванин понял, что он не ждет хорошего ответа.

— Ранение тяжелое. Здесь только перевязали и отправили на ту сторону.

— Разве Волга совсем стала?

— Да, стала. Сегодня первых раненых переправляют.

— Да...— сказал Сабуров.— Ну, что ж,— и опять замолчал.

Тогда Ванин вдруг, помимо своей воли, стал ему говорить все, что обычно говорят в таких случаях. Сам сердясь на себя за это, но не в состоянии удержаться, он говорил то, что совсем не нужно было говорить,— что все это обойдется, что ранение, конечно, тяжелое, но не опасное, что пройдет месяц и они снова увидятся с Аней, и вообще все будет в порядке, и они здесь (он даже ударил рукой по столу, именно здесь еще отпразднуют свадьбу.

Судя по выражению лица Сабурова, несколько раз можно было ожидать, что он прервет Ванина. Но он слушал и молчал. И когда Ванин под этим взглядом осекся и перестал говорить, выражение лица Сабурова не изменилось, настолько ему было все равно, говорят сейчас или не говорят, утешают его или не утешают. Когда Ванин замолчал, Сабуров только еще раз повторил:

— Ну, что ж...

Потом стянул сапоги, лег на койку и, не притворяясь, что спит, лежал безмолвно, не делая ни одного движения. Он лежал с закрытыми глазами и беспощадно, во всех подробностях, вспоминал этот день, в который — кто знает! — могло бы ничего не случиться, будь он сам все время здесь, а не за сто метров отсюда.

В это время двое санитаров несли Аню на носилках через Волгу. За островом, на коренном течении, лед был толще и уже установился санный путь, но через ближайшую волжскую протоку до острова, почти километр, раненых сегодня несли по еще не окрепшему льду. Волга стала только вчера. Немцы не думали, что по ней уже могут что-то тащить или везти, и над Волгой стояла странная тишина. Кругом все было белое, неподвижное, и только снег, все еще продолжавший падать, чуть-чуть поскрипывал под сапогами санитаров.

Нести было далеко; санитары несколько раз осторожно ставили носилки на лед и, постояв некоторое время на одном месте, похлопав замерзшими руками, потом снова всовывали их в рукавицы и брались за носилки. С того берега, навстречу раненым, двигались люди, посланные из тыла дивизии, чтобы наметить трассу завтрашнего санного пути, найти, где лед потверже. Они шли, притопывая, пробуя лед ногами. Один из них, немолодой высокий красноармеец, прошел совсем близко от носилок, на которых несли Аню, и остановился.

— Что, сестрицу ранило? — спросил он у санитаров и, повернувшись, прошел несколько шагов рядом с носилками.

— Да,— ответил санитар.

— И шибко ее ранило?

7*

— Шибко,— подтвердил санитар.— У тебя закурить нет?

— Есть.

Санитары поставили носилки, и красноармеец замерзшими, негнущимися пальцами насыпал им по щепотке табаку. Они начали свертывать самокрутки.

— Что же вы положили ее? Не заморозите?

— Ничего, сейчас подымем,— проговорил один из санитаров.— А ты что, знаешь ее?

— Она нас переправляла, когда еще вода была,— заметил красноармеец.— Добрая сестрица, только молоденькая еще.

— Молоденькая,— согласился санитар.

Они подняли Аню и понесли дальше. Когда они уже почти подошли к острову, от которого начиналась санная дорога, Аня вдруг, может быть, от холода, а может быть, от скрипящего покачивания носилок, очнулась. Она открыла глаза, увидела над собой черное небо, а сбоку, краем глаза, заметила, что все — белое, белое. В первую секунду она поняла, что Волга стала и что ее несут через Волгу. Но тут же ее мысли стали путаться, путаться, и ей показалось, что это уже не ее несут, а она кого-то несет и говорит, как всегда: «Тише, родненький, сейчас, сейчас донесем». На самом же деле это говорила не она, а санитары, которые услышали гудение немецкого самолета. Они говорили: «Сейчас донесем»,— успокаивая друг друга, а ей казалось, что это говорит она, и в мыслях своих она старалась нести носилки осторожнее, чтобы их не так раскачивало. Потом ей показалось, что на носилках лежит Сабуров и что это ему она говорит: «Родненький»,— но что она его еще не знает и он не знает, что это она, Аня. И тогда она захотела ему объяснить и что-то сказала, но он не услышал. Тогда она опять что-то сказала. Мысли ее совсем спутались, и она опять потеряла сознание.

— Ишь, как стонет, бедная,— сказал санитар.

А самолет в это время сделал несколько кругов над Волгой, сбросил осветительную ракету, от которой все сразу стало белым и ярким, и вслед за ракетой — бомбы. Они упали справа и слева от людей, тащивших носилки. Ракета еще не погасла, и на льду были видны черные дыры, и вода, вырываясь из-под них, заливала лед. Сначала, когда разорвалась первая бомба, санитары опустили носилки на лед и сами легли плашмя, а потом, когда разорвалось еще несколько бомб и самолет стал гудеть, делая новые круги, они, не сговариваясь, поднялись, взялись за носилки и пошли вперед, между полыньями, крупным шагом торопящихся людей.

Остров был уже недалеко, впереди кто-то кричал: «К саням, сюда»,— и за бугром — там, где начиналась первая санная дорога,— слышались скрип полозьев и ржанье лошадей.

XXIV

Над приволжскими степями стояла густая ноябрьская тьма. С пяти часов, когда темнело, сразу нельзя было разобрать — вечер это, полночь или пять часов утра, потому что ночь, длившаяся четырнадцать часов, была все время одинаково непроглядна. Все так же завывал над степью холодный ветер, и, словно спохватившись, что его слишком долго не было, падал все усиливавшийся снег; все так же беспрерывно скрипели по накатанному насту колеса грузовиков и железные ободья двуколок и молчаливо поворачивались на перекрестках военные регулировщики со своими фонариками.

Все это было однообразно и похоже час на час и день на день, и только тот, кто вздумал бы постоять подряд сутки или двое на одной из этих дорог, ведших к Сталинграду от Эльтона и от Камышина, понял бы все величие этого однообразия, все угрожающее спокойствие того, что происходило в эти дни на прифронтовых дорогах.

Подобно тому как год назад, в ноябре 1941 года, бесконечные эшелоны с пехотой и артиллерией шли к Москве и, не доходя до истекавшего кровью фронта, растворялись в подмосковных лесах,— подобно этому и здесь с последних чисел октября ночь за ночью, сначала по грязным, а потом по заснеженным фронтовым дорогам, в пургу, в гололедицу, двигались войска, ползли крытые машины, закутанные в чехлы гигантские орудия РГК, приземистые танки Т-34 и подпрыгивающие вслед за грузовиками на кочках маленькие противотанковые пушки.

Иногда осветительная ракета, сброшенная с немецкого самолета, вырывала из мрака ночи белое пятно, в котором сворачивали в сторону с дороги грузовики, разбегались и бросались на землю люди, а бомбы с грохотом рвались среди грязи и снега. Потом все снова становилось черным, и движение на дороге останавливалось на несколько минут, пока убирали обломки разбитого грузовика и оттаскивали в сторону мертвых. И все опять начинало ползти, катиться и ехать в прежнем направлении. Часть всего этого шла от Камышина и Саратова в степи и лесистые балки севернее Сталинграда. Другая часть людей, орудий и танков двигалась от Эльтона к Волге, пряталась где-то в извилинах Средней, Нижней и Верхней Ахтубы и спускалась оттуда к югу.

И в этом огромном движении людей, машин и оружия, и в том, как все это двигалось, и в том, как все это останавливалось, не доходя до Сталинграда, чувствовались та же воля и тот же характер, которые однажды уже во всей своей почти нечеловеческой выдержке проявились год назад под Москвой.

Когда командующий армией и Матвеев несколько раз в критические минуты просили в штабе фронта подкреплений, им каждый раз категорически отказывали, и только с левого берега Волги, сосредоточивая там все больше артиллерии и гвардейских минометных полков, поддерживали дравшиеся в Сталинграде дивизии щедрым огнем. Лишь дважды в самые тяжелые дни штаб фронта, с разрешения Ставки, дал по дивизии. Они прямо с марша были брошены в Сталинград и в течение недели, сделав свое дело, растаяли, сравнявшись по численности с остальными дравшимися там дивизиями.

В ту ночь, когда Сабуров молча, закрыв глаза, лежал у себя в блиндаже, а двое санитаров несли Аню по неокрепшему льду, член Военного совета армии Матвеев сделал пешком большую петлю по Волге и явился в блиндаж к Проценко, где имел с ним длинный разговор при закрытых дверях, если так можно было назвать две перекрывавшие друг друга плащ-палатки.

Матвеев вечером вернулся с того берега из штаба фронта, и Проценко был уже вторым командиром дивизии, которого он посещал за ночь. Когда Матвеев накануне был вызван в штаб фронта, он приехал туда с твердым намерением обрисовать всю тяжесть положения армии и еще раз попросить подкреплений. Он ехал в штаб фронта, твердо убежденный в том, что будет просить дивизию и что выпросит ее, потому что она была ему абсолютно необходима. Он предвидел обычный отказ, но считал, что на этот раз его доводы окажутся сильнее.

Однако все вышло наоборот. И командующий и член Военного совета фронта спокойно выслушали сначала его доклад, потом его просьбу и, против обыкновения, не сказали сразу ни да, ни нет. Потом, после длительной паузы, они переглянулись, и член Военного совета фронта, пододвинувшись вместе со стулом ближе к столу, где лежала карта фронта, положив на нее обе руки, сказал:

— Мы не хотим вам отказывать, товарищ Матвеев, в том, что вы просите, потому что вы просите законно, но мы очень хотим, чтобы вы отказались от своих просьб сами. А для этого вам нужно, по крайней мере, хотя бы немного прочувствовать, что должно произойти в будущем.

Он внимательно посмотрел на Матвеева, и на его похудевшем, добром, простом лице появилась улыбка человека, который знает что-то, что его бесконечно радует.

— Если мы вам скажем, товарищ Матвеев, что у нас нет дивизии, чтобы вам дать, или даже двух дивизий, то мы скажем неправду: они у нас есть.

Матвеев подумал, что это обычное предисловие к тому, что всегда говорилось в таких случаях,— что войска есть, но их нужно держать в резерве, что, кроме Сталинграда, несмотря на всю его важность, есть еще огромный фронт от Черного до Баренцева моря и что все это можно защищать, только имея под рукой свободные войска.

Но член Военного совета фронта ничего этого Матвееву не сказал, а, подвинув по карте обе руки так, что Матвеев невольно обратил внимание на его движение, остановил их — одну южнее, а другую севернее Сталинграда, потом повел их обе вперед и далеко за Сталинградом, там, где на карте были Серафимович, Калач и другие придонские города, решительным движением сомкнул руки.

— Вот,— сказал он, и в голосе его в эту минуту было что-то торжественное.— Вот,— повторил он.

Матвеев запомнил это слово и это движение рук по карте так ясно и отчетливо, что потом вспоминал все это много раз и когда говорил с другими людьми, и когда думал об этом сам, и, в особенности, когда произошло то, о чем говорил этот жест.

— Вы так думаете? — взволнованно спросил он.

— Да, я так думаю. Вот и все, что я пока могу вам сказать,— добавил член Военного совета фронта после паузы,— для того, чтобы вы сами это чувствовали и в трудные дни, что остались, дали почувствовать своим людям не планы наши, конечно, а то, что слова: «Будет и на нашей улице праздник»,— слова не о таком уже далеком будущем. А теперь вернемся к вопросу о дивизии. Значит, вам, чтобы удержаться, непременно нужна дивизия?

— Нет, мы так вопрос не ставим,— сказал Матвеев.

— Ну, хорошо. Но она вам нужна?

— Нет, мы ее не просим,— сказал Матвеев.

И с этим чувством, под влиянием которого он, даже не согласовав это с командующим армией, отказался от дивизии, Матвеев вернулся в армию, говорил с командующим, а потом отправился в части. Он взял на себя трудную задачу — за одну ночь попасть в обе отрезанные от главных сил дивизии. К Проценко он попал уже ко второму, усталый и озябший.

Проценко был рад приходу Матвеева. В последнюю неделю он лишь иногда с трудом связывался с командующим армией по телефону и сейчас, подробно доложив Матвееву обо всем происшедшем за это время в дивизии, впервые почувствовал, что какую-то часть тяжести переложил со своих плеч на чужие.

Матвеев выслушал все, что Проценко ему сказал, и задал несколько вопросов, клонившихся к одному: сколько дней сможет продержаться Проценко с тем, что у него есть. Потом, сделав

рукой такой жест, словно отбрасывал в сторону все, о чем они говорили до этого, спросил, как Проценко представляет себе слова Сталина о том, что будет и на нашей улице праздник.

При этом неожиданном вопросе Проценко посмотрел в лицо Матвееву и уловил в его блестящих черных глазах то оживление, которое рождается у людей на войне, когда они еще не могут сказать другим, но уже знают сами о чем-то предстоящем, хорошем и важном.

— Я понимаю эти слова так,— ответил Проценко,— что товарищ Сталин сказал их седьмого ноября, значит, они должны скоро исполниться. Во всяком случае, до февраля.

— Почему до февраля?

— А потому, что если бы после февраля,— он бы сказал их двадцать третьего февраля, а если бы после мая, так сказал бы их первого мая. Такие слова на войне раньше времени не говорятся.

Проценко выжидательно посмотрел и понял по ответному взгляду, что и сам Матвеев такого же мнения на этот счет.

— Так как же? Чи прав я, чи ни?

— Прав. Только надо додержаться.

— Додержаться? — переспросил Проценко так, словно это слово показалось ему обидным.— Я лично, товарищ член Военного совета, не думаю дожить до того часа, когда немец будет здесь, где мы с вами сидим. Пока я жив, этого не будет.

Матвеев чуть заметно поморщился: слова Проценко показались ему слишком громкими.

Но Проценко, сказавший их от души, сразу же вслед за этим перешел к текущим житейским делам и просьбам.

Текущими делами были пополнение боеприпасами (что Матвеев обещал), вылеты еще большего количества У-2 по ночам (что Матвеев тоже обещал) и, наконец, присылка нескольких командиров из армейского резерва (в чем со свойственной ему быстротой и краткостью член Военного совета тут же отказал).

Матвеев был доволен, что упрямый и хитрый Проценко оказался настолько хитрым, чтобы сразу понять, зачем Матвеев приехал к нему, и не настолько упрямым, чтобы расспрашивать о подробностях. Поэтому, хотя уже пора было двигаться в обратный путь, Матвеев согласился задержаться и выпил две кружки крепкого чаю, о котором Проценко, любивший похвастаться, сказал почему-то, что он цейлонский и с цветком.

— С цветком так с цветком,— согласился Матвеев.— Главное, что горячий.

Проводив Матвеева до берега и вернувшись к себе, Проценко приказал Вострикову подать карту. Востриков подал ему схему,

сделанную от руки в штабе дивизии. Схема изображала те пять кварталов, где дралась в последнее время дивизия.

— Карту, а не схему!

Тогда Востриков принес общий план Сталинграда, на котором был виден весь растянувшийся вдоль Волги шестидесятикилометровый город.

На этот раз Проценко рассмеялся:

— Да нет, не эту. Большую карту. Цела она у тебя?

— Какую большую?

— Большую, всего фронта.

— А... цела.

Востриков долго копался в чемодане, отыскивая карту, которую давно не вынимали.

И именно оттого, что Востриков так долго искал ее, Проценко подумал о том, как безраздельно он сам привязал все свои мысли к Сталинграду и как мало последнее время думал обо всем остальном — так мало, что целых два месяца не вынимал карту фронтов.

Когда Востриков расстелил перед ним на столе карту, где были старые, еще сентябрьские пометки, Проценко, разгладив ее руками, склонился над ней и задумался. Он стал глазами отыскивать города, реки и отметки прежних позиций, и у него возникло такое чувство, как будто он вылез из своих домов и кварталов, из Сталинграда на волю. Увидев всю огромность карты, он с полной ясностью почувствовал, что значит Сталинград, если, несмотря на то что это всего лишь точка на огромной карте,— все другие города и все люди, которые в них живут, последние два месяца живут именно этой точкой — Сталинградом, и в частности этими пятью кварталами и блиндажом, в котором сидит он, Проценко. Он с новым интересом посмотрел на карту. И обе руки его невольно поползли по ней тем же движением, что и руки члена Военного совета фронта, и сомкнулись где-то на западе, далеко за Сталинградом.

И в этом движении было не только случайное совпадение, но и закономерность, потому что на войне самые крупные стратегические решения где-то в основе своей бывают ясны и общепонятны благодаря их простоте, рожденной железной логикой правильно понятых обстоятельств.

Под утро, но с таким расчетом, чтобы все могли еще затемно вернуться к себе, Проценко созвал у себя командиров полков и батальонов.

Ночью через Волгу наконец перетащили по льду санный обоз с продовольствием и водкой, и в тесном блиндаже Проценко на столе были разостланы газеты и стояло несколько фляг с водкой,

а взамен стаканов — аккуратно обрезанные банки из-под американских консервов. На двух блюдах лежала нарезанная толстыми кружками колбаса и подогретое консервированное мясо с картошкой. В центре стояла тарелка, на которой повар, решив блеснуть, устроил витиеватое сооружение из масла, с завитушками и розочками.

Проценко сидел на своем обычном месте, в углу. В блиндаже было жарко натоплено. Против обыкновения, на генерале была не гимнастерка, а вытащенный из чемодана чистый китель; китель был расстегнут, и из-под него сверкала белизной рубашка. Сегодня ночью для Проценко вскипятили воду, и за час до прихода гостей он вымылся, здесь же в блиндаже, в детской оцинкованной ванночке, в которой мылся уже не первый раз, но ни за что не признался бы в этом никому. Проценко сидел распаренный и благодушный, ощущая приятную свежесть от полотна рубашки.

Обстановка — тесный блиндаж, длинный стол и хозяин, сидевший в распахнутом кителе во главе стола, вызвали у вошедшего Ремизова неожиданную ассоциацию.

— У вас, товарищ генерал, совсем как на море.

— Почему на море?

— Как в кают-компании.

Собрались почти все одновременно. Ремизов с пунктуальностью старого военного явился ровно в 18.00, а остальные — кто раньше на две минуты, кто позже. Сабуров пришел последним, с опозданием на пять минут: в ходе сообщения он споткнулся и сильно ушиб колено.

— Простите за опоздание, товарищ генерал.

— Ничего, нальем тебе штрафную, не будешь в другой раз опаздывать.

— Садитесь,— пригласил Ремизов, подвигаясь на табуретке,— со мной пополам. Вот так, в тесноте, да не в обиде.

— Прошу всех налить.

Когда все налили водку и наступила тишина, Проценко сказал:

— Я сегодня собрал вас не на совещание, а просто чтобы встретиться, посмотреть в глаза друг другу. Может быть, не все мы доживем до светлого часа (слова «светлый час» прозвучали у него торжественно), но дивизия наша — доживет! И мы выпьем за то,— он встал, и все поднялись вслед за ним,— что скоро наступит и на нашей улице праздник!

И в том, как он произнес сейчас эти слова, тоже была какая-то особая торжественность.

После тоста наступило молчание. Все азартно закусывали, в последние дни с едой было плохо и недоедания не замечали толь-

ко потому, что слишком уставали. Потом был провозглашен второй тост, уже традиционный в каждой уважающей себя дивизии,— за то, чтобы она стала гвардейской.

Сабуров, сидевший напротив Проценко, внимательно наблюдал за генералом, которого знал давно и хорошо. Сейчас он несколько раз замечал, что Проценко начинает фразу так, словно хочет сказать что-то важное, известное только ему одному, но посередине останавливается и переводит разговор на другое, с трудом сдерживая себя.

Когда пришла пора расходиться, Проценко еще раз обвел взглядом сидевших за столом.

«Вот сидит Ремизов,— думал он,— до него полком командовал Попов,— его нет, до Попова — Бабченко,— его тоже нет. Вот сидит Анненский, он, может быть, и слабоват немножко для командира полка, пока еще слабоват, но зато он прошел всю школу осады, и полк его прошел, и все-таки он может командовать. Вот сидит Сабуров, сидит и не знает о себе того, что если, не дай бог, убьют или ранят Ремизова, или Анненского, или командира восемьдесят девятого полка Огурцова, то он, Проценко, если сам к тому времени будет жив, назначит Сабурова командиром полка. И все эти люди кругом не знают, какая судьба им выпадет на войне, чем они будут еще командовать, где будут сражаться и под стенами каких городов найдут свою смерть, если найдут ее».

И Проценко, который уже давно, каждодневно и беспрерывно, был по уши занят делами, хлопотами, сводками и донесениями — всей повседневностью войны, увидев сейчас вместе всех этих, собравшихся за столом, усталых людей, своих командиров, вдруг впервые, словно взглянув на них со стороны, почувствовал что-то волнующее, что заставляет холодеть спину, от чего подкатывает ком к горлу, о чем будут потом писать в истории и чему будут завидовать не испытавшие этого потомки.

Ему захотелось сказать на прощание какие-то особенные, высокие слова, но, как это часто бывает, он не нашел их, так же, как не находил их в другие, самые решительные и, быть может, самые красивые минуты своей жизни. Он просто поднялся и сказал:

— Ну, что же, друзья, пора, утром — бой.

Все поднялись. Он пожал каждому руку, и один за другим все вышли. Он задержал только Сабурова.

— Присядь на минуту, Алексей Иванович. Сейчас пойдешь.

Проценко решил проверить, как поняли присутствующие то, что он хотел им сказать, и, оставшись вдвоем, спросил Сабурова:

— Ты меня понял, Алексей Иванович? Понял меня?

— Понял, товарищ генерал. Очень хочется дожить до этого часа.

— Вот именно, вот именно,— сказал Проценко,— очень хочется дожить. Я с завтрашнего дня стану чаще голову пригибать, когда по окопам ходить буду,— до того хочется дожить. И тебе советую.

Они помолчали с минуту.

— Курить хочешь? — Проценко протянул Сабурову папиросу.

— Спасибо.

Они закурили.

— Мне Ремизов доложил насчет твоей беды. Я к начальнику тыла человека отправил сегодня, дал приказание ему, чтобы он попутно узнал, в какой госпиталь попала. Чтобы ты след не потерял.

— Спасибо, товарищ генерал,— сказал Сабуров почти равнодушно. Он мучился не оттого, найдет или не найдет Аню; он знал, что, если она будет жива, он обязательно найдет ее,— но жива ли она? И рядом с этим самым страшным вопросом то, о чем говорил Проценко,— найдет он или не найдет ее, сейчас почти не волновало Сабурова.— Большое спасибо, товарищ генерал,— повторил он.— Разрешите идти?

XXV

Хотя говорят, что страдание удлиняет время, но первые три дня, которые прожил Сабуров после случившегося с Аней несчастья, промелькнули так же быстро, как и все сталинградские дни. Когда он впоследствии пробовал вспомнить свое душевное состояние в те дни, ему казалось, что кругом была только одна война. Боль потери была такой постоянной, неуходящей, что именно от ее беспрерывности он забывал, что она есть.

Сабуров возвратился от Проценко к себе в батальон с чувством необходимости сделать в эти дни что-то такое, о чем потом будешь помнить всю жизнь. То, что они делали сейчас, и то, что им предстояло делать дальше, было уже не только героизмом. У людей, защищавших Сталинград, образовалась некая постоянная сила сопротивления, сложившаяся как следствие самых разных причин — и того, что чем дальше, тем невозможнее было куда бы то ни было отступать, и того, что отступить — значило тут же бесцельно погибнуть при этом отступлении, и того, что близость врага и почти равная для всех опасность создала если не

привычку к ней, то чувство неизбежности ее, и того, что все они, стесненные на маленьком клочке земли, знали здесь друг друга со всеми достоинствами и недостатками гораздо ближе, чем где бы то ни было в другом месте.

Все эти, вместе взятые, обстоятельства постепенно создали ту упрямую силу, имя которой было «сталинградцы», причем весь героический смысл этого слова другие поняли раньше, чем они сами.

Человек в душе никогда не может поверить в бесконечность чего бы то ни было: в его сознании все должно иметь когда-нибудь свой конец. Сабуров так же, как и все находившиеся тогда в Сталинграде, не зная реально и даже не предполагая, когда все это могло кончиться, в то же время не представлял себе, чтобы это было бесконечно. И эта ночь, когда он у Проценко скорее почувствовал, чем понял, что речь идет уже не о месяцах, а о неделях, а может быть, даже днях, придала ему новые силы.

Рассказав Ванину и Масленникову об ужине у Проценко, он с рассветом оставил их на командном пункте, а сам отправился в роты. В батальоне осталось немного людей, и он задался целью поговорить с каждым, вселить во всех то чувство приближающейся победы, которое испытывал сам.

Весь день шел бой. Немцы всем своим поведением в этот день подтверждали мысли Сабурова. Они атаковали особенно часто и поспешно, словно боясь, что не взятое сегодня уже не будет взято завтра.

Сабурову казалось, что он видит последние судороги тяжело раненного зверя. И он радовался этому с мстительностью человека, два месяца ходившего рядом со смертью именно ради того, что начиналось сейчас.

Однако и в этот день и в следующие внешне все выглядело по-прежнему: бои продолжались с неослабевающей силой, немцы четырежды захватывали площадку между домом Конюкова и позициями первой роты и четырежды были выбиты оттуда.

Сабуров вел себя с обычной осторожностью — ложился, когда рвались мины, прятался за камни, когда рядом начинали чиркать пули снайпера, пережидал в укрытиях бомбежки. Горе не заставило его искать смерти. Это было ему чуждо всегда и осталось чуждо теперь. Он хотел жить потому, что нетерпеливо и убежденно ждал победы, и ждал ее в очень точном и определенном смысле: ждал, когда можно будет отобрать у немцев вот эту ближайшую площадку, этот дом, что отдали неделю назад, и лежащие за ним развалины, которые по старой памяти все еще назывались

улицей, и еще квартал, и следующую улицу,— словом, все, что было в его поле зрения.

И когда подводили итоги дня и разговоры шли о том, что убито еще двое и ранено семь человек, о том, что два пулемета на левом фланге надо перетащить из развалин трансформаторной будки в подвал гаража, о том, что если назначить вместо убитого лейтенанта Федина старшину Буслаева, то это будет, пожалуй, хорошо, о том, что в связи с потерями по старым показаниям старшин на батальон отпускают вдвое больше водки, чем положено, и это не беда — пусть пьют, потому что холодно,— о том, что вчера раздробило руку часовому мастеру Мазину и теперь если остановятся последние уцелевшие в батальоне сабуровские часы, то некому уже будет их починить, о том, что надоела все каша да каша,— хорошо, если бы перевезли через Волгу хоть мороженой картошки, о том, что надо таких-то и таких-то представить к медалям, пока они еще живы, здоровы и воюют, а не потом, когда это, может быть, будет и поздно,— словом, когда говорилось ежедневно о том же, о чем говорилось всегда,— все равно предчувствие предстоящих великих событий у Сабурова не уменьшалось и не исчезало.

Вспоминал ли он об Ане в эти дни? Нет, он не вспоминал — он помнил о ней, и боль не проходила, не утихала и, что бы он ни делал, все время существовала внутри него. Ему искренне казалось, что если Аня умерла, то уже никакой другой любви больше в его жизни никогда не будет. Никогда раньше не думавший о том, как он себя ведет, Сабуров стал наблюдать за собой. Горе тяготило его, и он как бы оглядывался на себя, мысленно спрашивая: так ли он делает все, как делал раньше, нет ли в его поведении чего-то такого, к чему понудило его горе. И, преодолевая страдание, он старался вести себя как всегда.

Ночью на четвертый день, получив в штабе полка орден для Конюкова и несколько медалей для его гарнизона, Сабуров еще раз пробрался в дом к Конюкову и вручил награды. Все, кому они предназначались, были живы, хотя это редко случалось в Сталинграде. Конюков попросил Сабурова привинтить орден,— у него была рассечена осколком гранаты кисть левой руки. Когда Сабуров по-солдатски, складным ножом, прорезал дырку в гимнастерке Конюкова и стал привинчивать орден, Конюков, стоя навытяжку, сказал:

— Я думаю, товарищ капитан, что если на них атаку делать, то прямо через мой дом способней всего идти. Они меня тут в осаде держат, а мы прямо отсюда — и на них. Как вам такой мой план, товарищ капитан?

— Обожди. Будет время — сделаем.

— План-то правильный, товарищ капитан? — настаивал Конюков.— Как по-вашему?

— Правильный, правильный.— Сабуров подумал про себя, что на случай атаки нехитрый план Конюкова действительно самый правильный.

— Прямо через мой дом и на них,— повторил Конюков.— С полным сюрпризом.

Слова «мой дом» он повторял часто и с удовольствием; до него, по солдатской почте, уже дошел слух, что этот дом так и называют в сводках «дом Конюкова», и он гордился этим.

— Выживает немец из дома,— сказал Конюков, когда Сабуров собрался уходить.— До чего дошли: хозяев бьют.— И он засмеялся, показывая на свою раненую руку.— И осколок-то небольшой, а поперек костей чиркнул: совсем пальцы не гнутся. Так вы доложите по начальству, товарищ капитан, чтобы когда наступление будет, то через мой дом атаку делали!

И хотя Сабуров уважал Проценко и понимал, что за его словами, наверное, стоят слова еще более высокого начальства, но то, что эта уверенность в будущем наступлении существовала не только у Проценко, но и у Конюкова, еще сильнее подкрепляло его собственную мысль, что так оно и будет.

Когда Сабуров вернулся от Конюкова (а это было уже под утро), Ванин был в роте, а Масленников сидел у стола, хотя работы у него не было и он вполне мог бы лечь спать. Последние дни он старался всюду быть вместе с Сабуровым, напрашивался с ним идти к Конюкову, но Сабуров наотрез отказал, ему пришлось остаться. Теперь Масленников сидел и волновался.

Сабуров вошел, молча кивнул и так же молча, стянув сапоги и гимнастерку, лег на койку.

— Курить хотите? — спросил Масленников.

— Хочу.

Масленников протянул ему портсигар с махоркой. Сабуров закурил. Он ценил то деликатное молчание, которое соблюдал Масленников,— редкое свойство, в минуты несчастья проявляемое только истинными друзьями. Масленников ни о чем его не спрашивал, не утешал и в то же время своим молчаливым присутствием все время напоминал ему, что он не один в своем горе.

И сейчас Сабуров вдруг почувствовал нежность к этому мальчику и впервые за все последние дни подумал о каком-то времени после войны, когда они встретятся где-то далеко отсюда, в совсем непохожем доме, совсем по-другому одетые, и будут вспоминать обо всем, что происходило в этой землянке под пятью накатами, в этих холодных окопах, под мелким леденящим снегом. И им

покажутся вдруг милыми эти жестяные кружки, и эти сталинградские лампы «катюши», и весь неуютный окопный быт, и даже самые опасности, которые уже будут позади. Он сел на койку, дотянулся рукой до Масленникова и, крепко обняв его за плечи, придвинул к себе:

— Миша!

— Что?

— Ничего. Увидимся с тобой когда-нибудь, будет что вспомнить, да?

— Конечно, вспомним,— сказал Масленников после молчания,— что вот сидели мы восемнадцатого ноября у железной печки в Сталинграде и курили махорку.

— Восемнадцатого ноября? — удивился Сабуров.— Разве сегодня восемнадцатое ноября?

— Да. А что?

— Странно, как быстро время идет! Завтра уже семьдесят дней, как выгрузились в Эльтоне...

Он продолжал сидеть на койке, раскачиваться и пускать колечки дыма, и ему было странно, что они сейчас сидят здесь, в блиндаже, и он после всего, что уже семьдесят дней происходит кругом, все-таки жив и здоров, а Ани нет и неизвестно, жива ли она. Он долго сидел и молчал. Потом лег на койку и почти сразу заснул, свесив с койки руку с зажатой в ней потухшей самокруткой.

Он проспал час, может быть, полтора. Когда его разбудил телефонист, было еще совсем темно и через вкось врытую в стену блиндажа двенадцатидюймовую трубу, служившую окном, еще не проступал дневной свет. Шлепая босыми ногами по холодному полу, Сабуров подскочил к телефону.

— Капитан Сабуров слушает.

— Проценко говорит. Спишь?

— Так точно, спал.

— Ну, так скорей вставай,— в голосе Проценко слышалось волнение,— выходи наружу, послушай.

— А что, товарищ генерал?

— Ничего, потом мне позвонишь. Доложишь, слышал или нет. И своих разбуди, пусть слушают.

Сабуров посмотрел на часы: было шесть утра. Он торопливо натянул сапоги и, не надевая гимнастерки, в одной рубашке выскочил наружу.

Время от шести до семи утра в Сталинграде было обычно временем наибольшей тишины. Иногда за целый час ни с той, ни с другой стороны не бывало ни одного артиллерийского залпа, разве только где-нибудь гремел отдельный винтовочный выстрел или глухо плюхалась вдалеке случайная мина.

Когда Сабуров выбежал из блиндажа, шел крупный снег, в нескольких шагах все заволакивалось пеленой. Он подумал о том, что нужно усилить охранение. После звонка Проценко он ожидал чего-нибудь особенного. Между тем ничего не было слышно. Было холодно, снег падал за расстегнутый ворот рубашки. Он простоял так минуту или две, прежде чем уловил далекий непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Стреляли далеко, за тридцать — сорок километров отсюда. Но, судя по тому, что звук этот все-таки доносился и, несмотря на отдаленность, сотрясал землю, чувствовалось, что там, где он рождается, сейчас происходит нечто чудовищное, небывалое по силе, что там такой артиллерийский ад, какого еще никто не видел и не слышал. Сабуров уже не замечал холода и, смахивая с лица хлопья снега, продолжал прислушиваться.

«Неужели это то самое?» — подумал он и повернулся к стоявшему рядом автоматчику:

— Слышишь что-нибудь?

— А как же, товарищ капитан. Слышу. Наша бьет.

— А почему думаешь, что наша?

— По голосу слыхать.

— А давно уже это?

— Да уж с час слыхать,— сказал автоматчик.— И все не утихает.

Сабуров быстро вернулся в блиндаж и растолкал сначала Масленникова, а потом недавно вернувшегося из роты, спавшего в сапогах и шинели Ванина.

— Вставайте, вставайте,— говорил Сабуров таким же взволнованным голосом, каким пять минут назад с ним разговаривал Проценко.

— Что? Что случилось? — спрашивал Масленников, надевая сапоги.

— Случилось? Очень многое случилось. Идите наверх, послушайте.

— Что послушать?

— Вот послушайте, потом поговорим.

Когда они вышли, Сабуров приказал телефонисту соединить его с Проценко.

— Слушаю,— донесся до него голос Проценко.

— Товарищ генерал, докладываю: слышал!

— А... Все слышали. Я всех перебудил. Началось, милый, началось. Еще увижу я свою ридну Украину, еще постою на Владимирской горке у Киеве. Розумиешь?

— Розумию!

— Уже четвертую ночь под утро не сплю,— сказал Проценко.— Все выхожу, слушаю: не начинается ли? У нас любят перед рассветом начинать. Выхожу сегодня, а она уже концерт начала... Хорошо слышно, Сабуров?

— Хорошо, товарищ генерал.

— Официального сообщения из штаба армии еще не имею,— предупредил Проценко.— Погоди людей оповещать. А хотя, чего их оповещать? Сами услышат, догадаются.

Проценко положил трубку, Сабуров тоже. Он не знал точно, как и где все это происходит, но с несомненностью почувствовал, что началось. И хотя началось всего час назад, но сейчас уже дальше нельзя было представить себе жизнь без этого далекого величественного гула артиллерийского наступления. Он уже существовал в сознании, независимо от того, был ли слышен в эту секунду или нет.

«Неужели началось?» — еще раз почти испуганно спросил себя Сабуров и сам себе решительно ответил: «Да, да, конечно, да».

И хотя он сидел, как в мышеловке, в блиндаже почти над самой Волгой и немцам оставалось здесь дойти до Волги восемьсот, а до его блиндажа шестьдесят метров, но все равно он второй раз в жизни испытал, так же как когда-то в декабре, под Москвой, ни с чем не сравнимое счастье наступления.

— Ну, как? Слышали? — торжествующе спросил он вошедших Ванина и Масленникова.

Они сидели неподвижно, изредка перекидываясь отрывочными фразами, оглушенные невероятной радостью.

— А не может сорваться, как в сентябре? — засомневался Ванин.

— Довольно, хватит! — прервал Сабуров.— Теперь, когда мы ради этого столько тут высидели, не может, не смеет сорваться.

— Ох, как бы я хотел сейчас быть там,— сказал Масленников.— Как бы я хотел быть там! — повторил он взволнованно.

— Где там? — спросил Сабуров.

— Ну, там, где наступают.

— Можно подумать, что ты, Миша, сидишь сейчас где-нибудь в Ташкенте.

— Нет, я хочу быть именно там, где наступают.

— А мы здесь будем тоже наступать,— сказал Сабуров.

— Ну, это еще когда...

— Сегодня.

— Сегодня? — переспросил Масленников.

Он ждал, что Сабуров будет продолжать, но Сабуров молчал. У него появился план, о котором не хотелось говорить раньше времени.

— Может, выпьем за наступление, а? — подождав, предложил Масленников.

— Петя! — крикнул Сабуров, но Петя не отзывался.— Петя! — крикнул он опять,

Петя стоял наверху, так же как за пять минут до этого стояли они, и слушал. Он слышал, как зовет его Сабуров, но впервые позволил себе пропустить это мимо ушей — так ему хотелось как следует расслышать звуки канонады. Сабурову пришлось самому выскочить в ход сообщения.

— Петя! — крикнул он еще раз.

Петя, словно только услышав, побежал к Сабурову.

— Что, слушал?

— Слушал,— улыбнулся Петя.

— Пойди, выдай нам по этому случаю паек!

Петя, с полминуты побрякав кружками и флягами, внес в блиндаж тарелку с тремя кружками и с открытой банкой консервов, из которой веером торчали вилки.

— Налей и себе,— сказал Сабуров, изменяя своему обыкновению.

Петя приподнял плащ-палатку, вышел и тут же вернулся со своей кружкой, судя по быстроте возвращения, налитой заранее.

Чокнувшись, они молча выпили, потому что все было ясно и больше говорить было не о чем: пили за наступление.

Через полчаса позвонил Проценко и уже более спокойным голосом, но все еще взволнованно, сообщил, что из штаба фронта получено официальное подтверждение, что наши войска в пять часов утра после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление севернее Сталинграда.

— Отрезать их будут, отрезать! — радостно закричал Масленников, когда Сабуров, положив трубку, рассказал им содержание разговора с Проценко.

— Идите,— распорядился Сабуров,— ты, Ванин, в первую роту, а ты в третью. Расскажите людям.

— А ты здесь остаешься? — спросил Ванин.

— Да. Я хочу с Ремизовым поговорить.

Сабуров очинил карандаш и, достав из папки штабных документов листок со схемой расположения участка батальона и впереди лежащих домов, задумался. Потом он сделал на схеме одну за другой несколько быстрых пометок. Да, они тоже сегодня должны наступать. Это было для него ясно. Он, конечно, представлял себе, что главные события разыгрываются теперь далеко от них на севере и, может быть, на юге, а их удел — пока что сидеть здесь. Но тем не менее сегодня, когда началось то великое, чего они все с таким трепетом ждали, у него появилась торопливая

жажда деятельности. То, что накопилось в душе и у него и у других, должно было найти свой выход. Он позвонил Ремизову.

— Товарищ полковник?

— Да.

— Разрешите прибыть к вам. У меня есть план одной небольшой операции.

— Операции? — сказал Ремизов, и даже по телефону было заметно, как он улыбнулся.— Лавры наступающих армий не дают покоя?

— Не дают.

— Ну, что ж. Это хорошо. Только не ходите ко мне, я сам приду.

Ремизов пришел через полчаса, разделся и, сев рядом с Сабуровым, стал пить принесенный ему Петей горячий чай.

— В некоторой степени подобное чувство я испытал после долгого стояния в Галиции в дни летнего наступления тысяча девятьсот шестнадцатого года. Прекрасное было чувство, особенно в первые дни. Но сейчас больше.

— Что больше? — спросил Сабуров.

— Все больше: и чувство и наступление, очевидно.

— А вы думаете, это очень большое наступление?

— Убежден. Ну, что у вас за план? — Ремизов отставил в сторону кружку.

— План простой — захватить вот этот, следующий за конюковским, бывший мой дом.

— Когда?

— Сегодня ночью.

— Каким образом?

Сабуров коротко развил перед Ремизовым план, о котором ему ночью, не предполагая, что осуществление так близко, говорил Конюков.

— Главное, атаковать не оттуда, откуда могут ждать, а прямо от Конюкова, из осажденного дома, где немцы ничего не ждут, кроме пассивной обороны.

Ремизов пощипывал седые усы.

— А люди? Это хорошо. Но люди?

— Меня тоже это раньше смущало,— сказал Сабуров.— Но сегодня, после этой канонады, я думаю, сделаем и так.— Сабуров улыбнулся.— Да и вы на радостях немножко дадите, а?

— Дам,— в свою очередь, улыбнулся Ремизов.

— И генерал, когда мы ему доложим, даст?

— Несомненно, даст,— подтвердил Ремизов.— Я-то не знаю еще, дам или нет, а генерал даст.

— Но и вы дадите?

— Дам. И первого — себя. О господи, до чего надоело сидеть в обороне! Вы знаете что? — прищурившись, посмотрел он на Сабурова.— Мы непременно возьмем дом. Под такой аккомпанемент с севера просто стыдно этого не сделать. Дом... Что такое дом? — Он усмехнулся, но тут же стал серьезным.— А между прочим, дом — это много, почти все, Россия.— Он откинулся вместе с табуреткой к стене и повторил протяжно: — Россия... Вы даже не представляете себе этого чувства, которое у нас будет, если мы на рассвете возьмем этот дом. Ну, что дом? Четыре стены, и даже не стены, а четыре развалины. Но сердце скажет: вот, как этот дом, возьмем обратно всю Россию. Понимаете, Сабуров? Главное, начать. Начать с дома, но почувствовать при этом, что так будет и дальше. И так будет дальше до тех пор, пока все не будет кончено. Все. Так как же вы предполагаете подтащить людей туда, к Конюкову? — спросил он уже деловым тоном.

Сабуров объяснил, как он предполагает подтащить за ночь людей к Конюкову, и как это сделать тихо, и как перенести на руках минометы и, может быть, даже перекатить тоже на руках несколько пушек.

Через полчаса они закончили предварительные расчеты и позвонили Проценко.

— Товарищ генерал, я нахожусь сейчас у Сабурова,— сказал Ремизов.— Мы с ним разработали план наступательной операции в его батальоне.

Услышав слова «наступательная операция», Проценко прервал:

— Да, да, сейчас же явитесь оба ко мне — и вы и Сабуров. Сейчас же.

Выбравшись в ход сообщения, они направились к Проценко. Уже начинало светать, но белая пелена метели по-прежнему со всех сторон закрывала горизонт. Далекий гул канонады не ослабевал, с рассветом казалось, что он слышен еще лучше.

Проценко был в приподнятом настроении. Он ходил по блиндажу, заложив руки за спину. На нем был тот же парадный китель, в котором он недавно принимал командиров, но сегодня в блиндаже было холодно, и генерал, не выдержав стужи, поверх кителя накинул на плечи старый ватник.

— Холодно. Холодно,— этими словами встретил он Сабурова и Ремизова.— Востриков, сукин сын, не позаботился, чтобы дрова были. Печка едва дышит.— И он притронулся рукой к чуть теплой чугунной печке.— Востриков!

— Да, товарищ генерал?

— Когда дрова будут?

— Через час.

— Ну, смотри. Очень холодно,— повторил Проценко.— Ну, какая же наступательная операция у вас намечена? — В его голосе чувствовалось нетерпение.— Докладывайте, полковник.

— С вашего разрешения,— сказал Ремизов,— пусть капитан Сабуров доложит. Это его план.

Сабуров второй раз за утро изложил план захвата дома.

— И за эту ночь вы успеете сосредоточить людей в доме Конюкова и до света атаковать? — спросил Проценко.

— Успею,— ответил Сабуров.

— Сколько у тебя на это может пойти людей?

— Тридцать.

— А вы сколько ему можете дать?

— Еще двадцать. Подумав.

— Значит, пятьдесят человек успеешь перебросить и подготовить? — спросил у Сабурова Проценко.

— Да. Успею.

— А если я дам вам еще тридцать и будет уже восемьдесят, тоже успеешь?

— Тем более успею, товарищ генерал.

— Ну, что же, добре, добре,— сказал Проценко.— Начнем свое наступление с этого. Только имей в виду,— обратился он к Сабурову,— транжирить людей я не дам. Дом возьмем, не сомневаюсь. Но все-таки в Сталинграде пока еще в осаде мы, а не немцы, как бы хорошо ни было там, на севере. Понимаешь?

— Понимаю,— ответил Сабуров.

— Товарищ генерал,— обратился Ремизов.

— Да?

— Разрешите, я лично приму участие в операции.

— Лично? — хитро прищурился Проценко.— Это что же значит: на командном пункте у Сабурова будете? Ну, что же, так и должно быть — вы же командир полка. Или, может быть, к Конюкову в дом полезете? Вы это имеете в виду? Полезете?

Ремизов молчал.

— Полезете?

— Полезу, товарищ генерал.

— Тоже допустимо. Но вот уже в тот, в другой дом вам не разрешаю лазить. Пусть один Сабуров туда идет. Понятно?

— Есть, товарищ генерал.

— Он туда, вы — в дом Конюкова, а я, может быть, сам на командный пункт приду. Вот так и решим. Сейчас прикажу подобрать вам тридцать человек. Только берегите. Последние, имейте в виду.

— Разрешите идти? — спросил Сабуров.

— Да. Сообщайте мне по телефону, как подготовка идет. Подробно сообщайте. Мне же интересно,— вдруг совсем просто добавил он.— Да, вот еще. От имени командира дивизии скажите бойцам и командирам: кто первым в дом ворвется — орден, кто следующим — медаль, кто «языка» возьмет — тоже медаль. Так и передайте. Конюков, говоришь, первоначальное предложение сделал? — спросил Проценко у Сабурова.

— Конюков.

— Конюкову — медаль. Я ему недавно орден дал, да?

— Да.

— Вот и хорошо. Теперь — медаль. Пусть носит. Так и скажи ему: медаль за мной. Все. Можете идти.

XXVI

Весь день прошел в подготовке к ночному наступлению. Все делалось быстро, без задержек и с удивительной готовностью. Казалось, лихорадочная жажда деятельности охватила всех. Уже через два часа Сабурову позвонил начальник штаба дивизии и сказал, что тридцать человек собраны. Артиллеристы с разных участков дали три пушки для того, чтобы после взятия дома сразу же, ночью, вкатить их туда. Петя в углу блиндажа возился с автоматами — своим, Сабурова и Масленникова, так тщательно прочищая и смазывая их, как будто от этого зависела судьба операции. Он даже вытащил из угла порванную холщовую сумку Сабурова для гранат и тщательно заштопал ее. Той строжайшей тайны, которой требуют военные уставы во время подготовки к операции, на этот раз в батальоне соблюдено не было. Напротив, каждый знал, что ночью готовится захват дома, и радовался этому, хотя кому-то из них, наверно, предстояло именно в эту ночь сложить свою голову.

И далекая непрекращавшаяся канонада, говорившая, что наступление продолжается, и эта неожиданная идея захвата дома после долгого стояния в обороне — все, вместе взятое, заставляло не думать о смерти или, точнее, думать о ней меньше, чем обычно.

Под вечер в батальон явился Ремизов. Он сказал, что его люди и люди Проценко уже готовы и ждут. Они вчетвером — Ванин, Масленников, Сабуров и Ремизов — наскоро закусили, не особенно сытно, потому что Петя, занятый чисткой автоматов, на этот раз сплоховал, и договорились о распределении обязанностей. Ванин должен был остаться в батальоне. Кстати сказать, он только что вернулся из роты. Весь день на позициях продолжалась обычная стрельба, и немцы даже переходили два раза в небольшие

атаки. Словом, все шло так, как будто на севере не было этой все перевернувшей в сознании людей канонады. Теперь Ванину предстояло дежурить ночь в штабе батальона, кого-то одного все-таки следовало оставить здесь. Он согласился, хотя Сабуров видел по его лицу, что он недоволен и с трудом сдерживается. Зато Масленников был в отличном настроении. Ему предстояло идти вместе с Сабуровым и Ремизовым в дом к Конюкову.

Сразу же, как стемнело, Сабуров вместе с первой партией бойцов и Масленниковым благополучно перебрался в дом Конюкова.

— Товарищ капитан, разрешите спросить? — Этими словами Конюков встретил Сабурова.

— Ну?

— Канонадой этой, стало быть, наши немцев в круг берут?

— Стало быть, да.

— Вот я так и объяснил,— сказал Конюков.— А то они меня все спрашивают: «Товарищ лейтенант (они меня все лейтенантом зовут, поскольку я начальник гарнизона), товарищ лейтенант, это наши наступают?» Я говорю: «Определенно наступают».

— Определенно наступают, Конюков,— подтвердил Сабуров.— И мы с тобой будем сегодня наступать.

Потом он передал Конюкову, что Проценко наградил его медалью, на что Конюков, вытянувшись, сказал:

— Рад стараться!

Конюковцы вместе с прибывшими бойцами тихо, перенося в руках по одному кирпичу, расчищали проходы, через которые должны были выползти из дома штурмовые группы. По ходу сообщения понемногу подносили тол, гранаты, потом притащили несколько противотанковых ружей и два батальонных миномета.

Когда Сабуров, оставив Масленникова распоряжаться дальше, вернулся к себе на командный пункт, он нашел там молоденького лейтенанта, командира батареи, доложившего, что три его орудия уже находятся здесь. Лейтенант просил распоряжений о том, как их подкатывать дальше.

— Кое-где и на руках придется перенести,— сказал Сабуров.

— На руках перенесем,— ответил лейтенант с той особенной готовностью, которая была сегодня у всех.— Мы хоть всю дорогу можем на руках.

— Нет, всю дорогу не надо. Но если зашумите и если даже немцы вам за это голову не снимут, так я сниму.

— Не зашумим, товарищ капитан!

Сабуров дал ему в провожатые Петю, уже три раза ходившего к Конюкову.

Была полночь, когда Сабуров, собрав в доме своих и ремизовских людей, встретил последнюю партию — тридцать человек, пришедших от Проценко, и, разделив их на мелкие группы, стал переправлять в дом Конюкова. Наконец он снова пошел туда сам вместе с Ремизовым.

В подвале, под цементными плитами, бойцы устроили курилку и по очереди, тесно усаживаясь на корточки, как куры на насест, курили. Когда не хватало табаку, они втроем или вчетвером затягивались по очереди одной и той же цигаркой. Сабуров вытащил кисет и раздал весь остававшийся у него, превратившийся в крошку табак. Самому ему курить не хотелось. Он все время мучительно старался вспомнить, не забыто ли что-нибудь и все ли сделано.

Связисты протянули от дома Конюкова до командного пункта Сабурова провод; днем немцы увидели бы и порвали его, но ночью он мог сослужить свою службу. По этому проводу Сабуров связался с Проценко.

— Откуда говоришь? — спросил Проценко.

— Из дома Конюкова.

— Молодцы. А я как раз хотел сказать, чтоб протянули. Ну, как?

— Последние приготовления, товарищ генерал.

— Хорошо. Через полчаса можете начать?

— Можем.

— Значит, в ноль тридцать. Хорошо.

Но начали все-таки не в 0.30, а на сорок пять минут позже. Противотанковые пушки никак нельзя было протащить через пролом, и пришлось по кирпичу разбирать стену.

Наконец, когда все пятьдесят человек, которым предстояло атаковать первыми, были разделены на четыре штурмовые группы, когда саперы с пакетами тола, гранатами и шедшие с ними автоматчики были окончательно готовы, а дула пушек высунулись из проломов,— в четверть второго был дан шепотом приказ о начале атаки.

Минометы рявкнули так оглушительно, что эхо, как мяч, отскакивая от стены к стене, пошло греметь вдоль развалин. Пушки начали бить прямой наводкой, и две штурмовые группы с Сабуровым и Масленниковым двинулись вперед. Немцы ждали атаки откуда угодно, но только не из этого, как им казалось, полностью блокированного дома. Они стреляли ожесточенно, но беспорядочно: видимо, растерялись.

Как и все ночные бои, эта схватка была полна неожиданностей: выстрелов в упор, разрывов гранат, брошенных прямо под

ноги,— всего, что делает в ночном бою главным не количество людей, а решимость и крепость нервов тех, кто дерется.

Сабуров кого-то застрелил в упор из автомата и несколько раз в темноте спотыкался о камни и падал. Наконец, пробежав через хорошо знакомые ему, полуразрушенные подвальные помещения дома, он выбрался на его западную сторону и, задыхаясь от усталости, приказал одному из оказавшихся рядом бойцов передать, чтобы сюда скорее подтаскивали пушки.

Для немцев все происшедшее было так неожиданно, что многие из них были убиты, а другие принуждены были бежать из дома раньше, чем сообразили, в чем дело, но сам факт, что русские отбили дом, очевидно, так возмутил немецких начальников, что они собрали всех, кто был под рукой, и, против обыкновения, послали их в контратаку, не дожидаясь рассвета. Первая контратака была отбита. Когда через полчаса, засыпав дом минами, немцы пошли в атаку вторично, Сабуров в душе еще раз поблагодарил Проценко за то, что тот добавил ему людей. В доме не осталось ни одной целой стены — всюду были развалины и проломы, через которые могли пролезть немцы, и нужно было защищаться в непроглядной темноте.

В разгар второй контратаки немцев к Сабурову подполз Масленников и спросил, нет ли у него гранат.

— Есть,— ответил Сабуров, отстегивая от пояса и передавая ему гранату.— Все истратил?

— Покидал,— признался Масленников виноватым тоном.

— Скажи, чтобы минометы сюда перетащили, хотя бы два. Сейчас не понадобятся, а под утро чтобы уже здесь стояли. Мы тут с тобой, Миша, командный пункт устроим и никуда отсюда не уйдем. Понял?

— Понял.

— Пойди скажи минометчикам.

— Сейчас,— сказал Масленников.

Он весь жил еще горячкой боя, и ему не хотелось отсюда уходить.

— Алексей Иванович,— тихо сказал он.

— Ну? — оторвался Сабуров от автомата.

— Алексей Иванович, удачно там наступление идет? Как думаете?

— Удачно,— подтвердил Сабуров и снова приложился к автомату: ему показалось, что впереди кто-то движется.

— Окружат их? — спросил Масленников, но не успел получить ответа.

Из пролома слева сразу выскочили несколько немцев, все-таки нашедших в стене дома незащищенную щель. Сабуров дал

длинную очередь, автоматный диск кончился. Он пошарил рукой у пояса, где должна была висеть граната, но ее не было — он только что отдал ее Масленникову. А немцы подскочили совсем близко, Масленников из-за плеча Сабурова швырнул гранату, но она почему-то не разорвалась. Тогда Сабуров перехватил автомат за дуло и со всего размаху ударил прикладом по возникшей рядом черной фигуре. Он размахнулся с такой силой, что не удержался и, обрушив автомат на что-то треснувшее, сам упал лицом вперед. Это спасло его — длинная автоматная очередь прошла над ним.

Масленников выстрелил несколько раз из нагана и увидел, как немец замахнулся автоматом над лежащим Сабуровым. Отбросив пустой наган, Масленников сбоку прыгнул на немца, и они оба покатились по каменному полу, стараясь перехватить друг у друга руки. Левая рука Масленникова попала между двумя камнями; он услышал, как она хрустнула, и больше не мог ею двинуть. Другой рукой он продолжал сжимать горло немца и катался, оказываясь то поверх него, то под ним. Последнее, что он ощутил, было что-то твердое, прижатое к его груди. Немцу удалось вытащить из-за пояса парабеллум, прижать свободной рукой к телу Масленникова и несколько раз подряд спустить курок.

Опомнившись от падения, Сабуров вскочил и увидел черный катавшийся под ногами клубок. Потом раздались выстрелы, клубок разорвался, и большая незнакомая фигура стала подниматься на корточки. У Сабурова ничего не оказалось под руками, он рванул с пояса автоматный диск, прямо, как был, в чехле, и опустил на голову немца раз, второй и третий со всей силой, на какую был способен.

Прибежавшие из соседнего подвала автоматчики уже лежали за выступом стены и стреляли. Контратака была отбита.

— Миша! — крикнул Сабуров.— Миша!

Масленников молчал.

Опустившись на землю, оттолкнув мертвого немца, Сабуров, шаря руками, дотянулся до Масленникова, ощупал петлицы, орден Красной Звезды на гимнастерке, потом дотронулся до лица Масленникова и снова позвал: «Миша». Масленников молчал. Сабуров еще раз ощупал его. Слева, у сердца, мокрая гимнастерка прилипала к пальцам. Сабуров попробовал поднять Масленникова. У него мелькнула дикая мысль, что если он сейчас поднимет Масленникова так, чтобы тот стоял, то это очень важно — тогда, наверное, он будет жив. Но тело Масленникова беспомощно обвисло на его руках. Тогда Сабуров поднял его на руки, так же как Масленников четыре дня назад поднял Аню, и понес, переступая через камни.

— Пушки выкатили? — спросил он, услышав голос артиллерийского лейтенанта, подававшего команды.

— Да.

— Где поставили? — опять спросил Сабуров, стоя так, словно он забыл, что на руках его лежит Масленников.

— Одну здесь, а две по флангам.

— Правильно.

Дойдя до подвала, где оставался еще кусок цементного потолка и можно было зажечь спичку, он опустил на пол тело Масленникова и сел рядом с ним.

— Миша,— позвал он еще раз и, чиркнув спичкой, сразу прикрыл ее рукой.

В слабом свете перед ним мелькнуло бледное лицо Масленникова с закинутыми назад кудрявыми волосами, одна прядка которых, мокрая и беспомощная, прилипла ко лбу. Сабуров поправил ее.

Хотя всего несколько минут отделяло их последний разговор от этого безмолвия, но Сабурову казалось, что прошло бесконечно много времени. Он вздрогнул и горько заплакал, второй раз за эти пять дней.

Через час, когда кончилась последняя немецкая ночная контратака и стало ясно, что немцы решили отложить следующие атаки до утра, Сабуров позвал к себе командира саперного взвода, участвовавшего в штурме дома, и приказал ему вырыть могилу для Масленникова.

— Здесь? — удивленно спросил сапер, знавший, что при всякой возможности тела убитых командиров выносили из боя куда-нибудь назад.

— Да,— сказал Сабуров.

— Может, лучше на нашей территории?

— Здесь,— сказал Сабуров.— Это теперь тоже наша территория. Выполняйте приказание.

Саперы поковыряли землю, пробуя найти рядом с фундаментом менее обледенелый грунт, но промерзшая земля не поддавалась лопатам и ломам.

— Что вы копаетесь? — угрюмо спросил Сабуров.— Я вам покажу, где вырыть могилу.

Он повел саперов в самый центр дома, где наверху, как черные кресты, еще виднелись остатки перекрытий.

— Вот здесь.— Он гулко ударил сапогом в бетонный пол.— Пробейте бурку, заложите тол, взорвите и похороните.

Голос его был непривычно суров. Саперы быстро сделали бурку, заложили тол и подожгли запал. Раздался короткий взрыв, мало чем отличавшийся по звуку от минных разрывов, слышав-

шихся кругом. В развороченном полу образовалась яма. Из нее выгребли обломки кирпичей и бетона и опустили туда тело Масленникова. Сабуров спрыгнул в яму. Он снял с Масленникова шинель, с трудом вынул из рукавов уже окоченевшие руки, накрыл тело шинелью по горло. Чуть брезжил рассвет, и когда Сабуров наклонялся, он хорошо видел лицо друга. Переложив к себе в карман документы из гимнастерки Масленникова и отвинтив орден, он поднялся и спросил:

— У кого винтовки?

— У всех есть.

— Залп в воздух и засыпайте могилу. Я скомандую. Раз! Два! — Сабуров перезарядил свой автомат и выстрелил вместе со всеми. Короткий залп сухо прозвучал в холодном воздухе.

— Теперь засыпайте.— Он отвернулся от могилы, не желая видеть, как комья цемента и камни будут сыпаться и ударяться о тело человека, которого еще час назад он не мог представить себе мертвым. Он не поворачивался, но чувствовал спиной, как падают холодные обломки камней в могилу, как они громоздятся все выше, как звук становится все тише, потому что их все больше и больше. И вот уже скребет саперная лопатка, сровнивая их с уровнем пола.

Сабуров присел на корточки, вынул из кармана блокнот и, выдрав листок, нацарапал на нем несколько строк. «Масленников убит,— писал он.— Я остаюсь здесь. Если вы согласны, считаю целесообразным, чтобы Ванин со штабом тоже перешел вперед, ближе ко мне, в дом Конюкова. Сабуров».

Подозвав связного, он приказал отнести записку Ремизову.

— Ну, а теперь будем воевать,— сказал Сабуров прежним угрюмым голосом, в котором дрожала готовая сорваться слеза.— Будем воевать тут,— повторил он, не обращаясь ни к кому в отдельности.— Командир роты здесь? — позвал он.

— Здесь.

— Пойдем. Там, в правом флигеле, нужно подрыть под фундамент пулеметные гнезда. У тебя пулеметы на первом этаже стоят?

— Да.

— Разобьют. Надо подрыть под фундамент.

Они прошли несколько шагов, топая по цементному полу. Сабуров вдруг остановился.

— Подожди.

Была минута тишины, когда не стреляли ни мы, ни немцы. Сквозь развалины дул леденящий западный ветер, и, доносимые ветром, отчетливо слышались обрывки канонады на западе.

На Средней Ахтубе, в пятидесяти километрах от Сталинграда,— там, куда не доносилась далекая канонада и куда только еще начинали доходить первые слухи о наступлении, рано утром в избе, служившей операционной, на носилках лежала Аня. Ей уже сделали одну операцию, но так и не вынули глубоко сидевшего осколка. Она в эти дни то приходила в сознание, то снова теряла его и сейчас лежала неподвижная, бледная, без кровинки в лице. Все было готово, и ждали главного хирурга, согласившегося сделать повторную операцию, на которую теперь возлагались все надежды. Врачи переговаривались между собой.

— Как вы думаете, Александр Петрович, выживет? — спросила молодая женщина-врач у пожилого хирурга в надвинутом по самые брови белом колпаке.

— Вообще нет, а у него, может быть, и выживет,— сказал хирург.— Если сердце выдержит, может выжить.

Распахнулась дверь, и из соседней половины избы, потянув за собой полосу холодного ветра, вошел быстрыми шагами маленький приземистый человек, вытянув вперед руки с грубыми толстыми красными пальцами, которые, очевидно, были у него уже протерты спиртом. Под его густыми буро-седыми усами топорщилась зажатая в углу рта папироса.

— На стол,— распорядился он, посмотрев в ту сторону, где на носилках лежала Аня.— Зажгите мне папиросу.

Ему поднесли спичку, и он, приблизив к ней папиросу, закурил, все так же держа руки впереди себя.

— Говорят,— сказал он, подходя к операционному столу,— что наши войска перешли в общее наступление, взяли Калач и окружают немцев за Сталинградом. Все. Все.— Он сделал руками решительный жест.— Подробности потом, после операции. Возьмите у меня папиросу. Дайте свет.

Шли вторые сутки генерального наступления. В излучине Дона, между Волгой и Доном, в кромешной тьме ноябрьской ночи, лязгая железом, ползли механизированные корпуса, утопая в снегу, медленно двигались машины, взрывались и ломались мосты. Горели деревни, и вспышки орудийных выстрелов смешивались на горизонте с заревами пожарищ. На дорогах, среди полей, черными пятнами лежали успевшие окостенеть за ночь мертвые тела.

Проваливаясь в снег, нахлобучив ушанки, прикрываясь руками от ветра, шла по снежным полям пехота. На руках, через сугробы, перетаскивали орудия, рубили сараи и настилали из досок и бревен колеблющиеся мостки через овраги.

Два фронта в эту зимнюю ночь, как две руки, сходившиеся по карте, двигались, все приближаясь друг к другу, готовые сомкнуться в донских степях, к западу от Сталинграда.

В этом охваченном ими пространстве, в их жестоких объятиях еще были немецкие корпуса и дивизии со штабами, генералами, дисциплиной, орудиями, танками, с посадочными площадками и самолетами, были сотни тысяч людей, еще, казалось, справедливо считавших себя силой и в то же время бывших уже не чем иным, как завтрашними мертвецами.

А в газетах в эту ночь еще набирали на линотипах, как всегда, сдержанные сводки Информбюро, и люди, перед тем как ложиться спать, слушая последние известия по радио, по-прежнему тревожились за Сталинград, еще ничего не зная о том, взятом с бою, военном счастье, которое начиналось в эти часы для России.

1913—1944

РАССКАЗЫ

1943—1945

МАЛЫШКА

На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми: машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шли бои, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл то на одну, то на другую дорогу, и обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откочевывая все глубже и глубже на юг.

В пять часов вечера на передовых, у разбитого снарядом сарая, остановилась старенькая санитарная летучка — дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее хозяйка — военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли Малышкой, потому что она и в самом деле была настоящая малышка — семнадцатилетняя курносая девчонка с тонким детским голосом и такими маленькими руками и ногами, что, казалось, на них во всей армии не подберешь ни одной пары перчаток и сапог.

Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила:

— Где раненые?

Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел Малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь тяжелораненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала:

— Ну вот, сейчас я вас отвезу,— и потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым, а в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и грудь, двое — в голову. Малышка физически, всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата — двадцать

километров страшных рытвин и ухабов — и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. Она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка.

Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен в ноги,— их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Теперь в летучке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал, то снова закрывал глаза, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд — мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь.

— Вы можете сидеть в кабине, а? — спросила она.— Сидя ехать можете?

— Могу,— сказал раненый и снова закрыл глаза.

Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему под мышку, дотащила до машины и усадила в кабине на свое место.

— А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер.

И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил:

— А вы где?

— А я на подножке,— сказала Малышка весело.

— Свалитесь,— угрюмо заметил шофер.

— Не свалюсь,— ответила Малышка и, захлопнув за раненым дверцу, стала на подножку.

— Товарищ военфельдшер...— начал снова шофер.

Но Малышка крикнула, чтобы он ехал, тем строгим, не допускающим возражений голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых и когда окружающие не понимали, что она, Малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше.

Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, переваливалась с боку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах Малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове ра-

ненных приподнимало в воздух и ударяло о дно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но, все-таки удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности.

К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с подножки, подбежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату: там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк.

— Уехали? — спросила Малышка.

— Да,— сказала хозяйка.— Вот уж час как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло, сложили все и уехали.

Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова.

— Что, выгружаемся, сестрица? — спросил старый казак, раненный в голову и в лицо и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.

— Нет, милый,— ответила Малышка.— Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда медсанбат. Мы прямо в госпиталь поедем.

— А далеко это, сестрица? — спросил раненный в живот, лежавший навзничь, и застонал.

— А ты зря языком не трепи,— сердито сказал ему усатый.— Сколько будет, столько и поедем.

И Малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос «далеко ли?», а на то, что раненый стонет при ней. У нее дрожали руки — не от холода, а от усталости, оттого, что всю дорогу приходилось крепко цепляться, чтобы не упасть.

— Замерзли, сестрица? — спросил усатый.

— Нет,— сказала Малышка.

— А то мы потеснимся, садитесь к нам в кузов.

— Нет,— сказала Малышка.— Я ничего. Поедем поскорей.

Она снова стала на подножку, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя осталось еще двадцать километров. Пошел дождь. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох, шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится, а если слезет, то онемевшие пальцы совсем откажут ей. По ее расчетам, машина уже проехала километров пятнадцать, когда начался дождь. Ветер дул навстречу, и косой дождь валил, заливая лицо и глаза. Ей много раз казалось, что она вот-вот свалится.

Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, Малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где — она знала — помещался госпиталь. Около дома стояла доверху груженная полуторка, у машины возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов.

— Здесь госпиталь? — спросила Малышка.

— Был здесь,— сказал красноармеец.— Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим.

— И никого, кроме вас, нет? — спросила Малышка.

— Никого.

— А куда уехали?

Красноармеец назвал село за сорок километров отсюда.

— Никого тут? Ни врача ни одного, никого? — еще раз спросила Малышка.

— Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли, кто будет приезжать.

Малышка побрела к летучке. Пять минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится, сейчас они приедут: еще пригорок, еще поворот, еще несколько домов — и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще сорок километров — еще столько же, сколько они проехали.

Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла:

— Товарищи...

— Что, сестрица? — спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он все понимает.

— Уехал госпиталь,— сказала Малышка упавшим голосом.— Еще сорок километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?

В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них.

— Дотерпим,— сказал он.— Дотерпим. Ты откуда сама-то, дочка?

— Из-под Каменской.

— Значит, песни казачьи знаешь?

— Знаю,— сказала Малышка, удивленная этим вопросом.

— «Скакал казак через долину, через маньчжурские края» знаешь песню? — спросил усатый.

— Знаю.

— Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем. Поняла? А ты нам тоже подпевай.

— Хорошо.

Она стала на подножку, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи, гудение мотора услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню:

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке...

Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот сейчас она перевернется и упадет в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь:

Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел. Казак стрелою
В село родное поскакал...

Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда запела, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче оттого, что они поют, и если кто-нибудь из них стонет, то другие не слышат.

Через десять километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно — так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете:

Навстречу шла ему старушка
И стала речи говорить...—

заводил усатый хриплым сильным голосом.

«Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала...» —

подтягивали другие.

Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы.

— Загаси, чего на нас смотреть,— сердито сказал усатый.— Давай лучше подтягивай.

Заглушая стоны, песня звучала все сильней и сильней, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя,

— Поехали! — крикнул шофер.

Машина тронулась.

Пропев до конца песню, раненые начинали петь ее сначала.

Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с Малышкой подошли к летучке, чтобы наконец выгрузить раненых, из кузова все еще лилась песня. Голоса стали тише, трое молчали, должно быть, потеряли сознание, но остальные пели:

«Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня».
Казак свернул коня налево.
Во чисто поле поскакал...

— До свидания, сестрица,— сказал усатый, когда его клали на носилки.— Значит, под Каменской живешь. После войны приеду за сына сватать!

Он был весь мокрый, усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент Малышке показалось, что его забинтованное лицо осветилось озорной улыбкой.

Она заснула в приемном покое не раздеваясь, присев на корточки у печки. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его, а летучка подпрыгивает, и Малышка вздрагивает во сне.

— Замучилась, бедная,— сказал проходивший врач.

Вдвоем с санитаром они стащили с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыли ее другой.

А шофер, который был настоящим шофером и, уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате с другими шоферами, разбирал карбюратор и говорил:

— Восемьдесят километров проехали. Ну, Малышка — ясно — она и черта заставит ехать, если для раненых нужно, одним словом — сестра милосердная.

7 марта 1943 г. «Красная звезда»

ПЕХОТИНЦЫ

Шел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого накануне поздно вечером немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было и мокро, однако не так уж холодно. Вечером не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди покрывалась огнем неприятеля. Роте было приказано окопаться и ночевать тут.

Разместились уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее «напоследки» и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа, до половины второго ночи, Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.

— Светает, что ли? — спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин.

— Начинает,— сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от утренней свежести.— А ты давай спи пока.

Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, и приказал подниматься.

Савельев несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.

Пришел командир роты старший лейтенант Савин, он с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня: надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное,

километра на два, а то и на три, и надо опять его настигнуть. Савин обычно говорил про немцев «фрицы», но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике.

— Противник,— говорил он,— должен быть настигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы выступим.

Встав в окопе, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да лопатку, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и, в зависимости от усталости, ему казалось то меньше пуда, то больше.

Когда они выступили, солнце еще не показывалось. Моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскисшая земля.

— Ишь какое лето паскудное! — сказал Юдин Савельеву.

— Да,— согласился Савельев.— Зато осень будет хорошая. Бабье лето.

— До этого бабьего лета еще довоевать надо,— возразил Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но склонный к невеселым размышлениям.

Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.

Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами.

— Все-таки бросают,— сказал Савельев.

— Да,— согласился Юдин.— А вот мертвых оттаскивают. Или, может быть, мы никого вчера не убили?

— Быть не может,— сказал Савельев.— Убили.

Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землей, а из-под земли высовывается нога в немецком ботинке с железными широкими шляпками на подошве, и сказал:

— Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят,— и кивнул на засыпанный окоп, откуда торчала нога.

Они оба испытали удовлетворение оттого, что Савельев оказался прав. Захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было бы досадно не увидеть ни одного мертвого врага. И хотя они знали, что у немцев имеются убитые, все-таки хотелось убедиться в этом своими глазами.

Через лесок шли осторожно, опасаясь засады. Но засады не оказалось.

Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел: впереди, в полукилометре, идет разведка. Но ведь немцы могли ее заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы по приказанию старшего лейтенанта Савина развернулись редкой цепью.

Двигались молча, без разговоров. Савельев ждал, что вот-вот может начаться обстрел. Километра за два впереди виднелись холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы.

В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как там, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савельев знал, что пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие минометы или заставить их переменить место, они не перестанут стрелять. Наверное, вот-вот перенесут огонь и будут пристреливаться по их роте.

Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперед быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевой мешок оттягивал Савельеву плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он почти забыл об этом.

Они шли еще минуты три или четыре. Потом где-то неподалеку за спиной Савельева разорвалась мина, и кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю.

Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому.

Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело.

Так они несколько раз ложились, поднимались, перебегали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней все были живы. Противник вел переменный, то минометный, то пулеметный, огонь. Савельеву и его соседям повезло: там, где они залегли, оказались не то что окопы, но что-то вроде них (наверное, их тут начали рыть немцы, а потом бросили). Савельев залег в начатый окоп, отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил ее перед собой.

Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Немецкие минометы один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по команде двинуться дальше. До холмов,

где находились немцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять после того, как они залегли, вернулся Юдин.

— Кого ранило? — спросил Савельев.

— Не знаю его фамилии,— ответил Юдин.— Этого, маленького, который вчера с пополнением пришел.

— Сильно ранило?

— Да не так чтобы очень, а из строя выбыл.

В это время над их головами прошли снаряды «катюш», и сразу холмы, на которых засели немцы, заволоклись сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупрежденный начальством старший лейтенант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепи приказание подниматься.

Савельев с сожалением поглядел на мокрый окоп и сдвинул с шеи ремень автомата. Несколько минут он, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего метров двести, а то и меньше, оттуда сразу ударили пулеметы, сначала один — слева, а потом два других — из середины. Савельев с размаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударяет прямо о землю. Кто-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал не своим голосом.

Над головой Савельева прошел сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щекой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что позади, шагах в полутораста, стоят наши легкие пушки и прямо с открытого поля бьют по немцам. Просвистел еще один снаряд. Немецкий пулемет, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, лежавший через четыре человека слева от него, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею вперед и пополз по-пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, ухватывался за траву, она резала пальцы.

Пока он полз, пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче.

Теперь до немцев было рукой подать. Пулеметные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное так же, как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минутой позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся сто метров.

Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая

с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок (он подумал, что придет за ним потом, когда они возьмут окопы), Савельев вскочил и на бегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился оземь, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание: поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретит немец, но знал, что если спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное — вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперед и уже нечем прикрыться.

Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив на бруствер и нырнув вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя — мокрую от дождя гимнастерку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и с маху наткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а ткнул немца в грудь автоматом, и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колено. Поднялся он с трудом, опираясь рукой о скользкую, мокрую стенку окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец, появился старшина Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые, сверкающие глаза.

— Убитый? — спросил он, столкнувшись с Савельевым и кивнув на лежавшего.

Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься со дна окопа. Это ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты кверху.

— Вставай! Вставай, ты! Хенде нихт,— сказал Савельев немцу, желая объяснить, что тот может опустить руки.

Но немец опустить руки боялся и все пытался встать. Тогда Егорычев поднял его за шиворот одной рукой и поставил в окопе между собой и Савельевым.

— Отведи его к старшему лейтенанту,— приказал Егорычев,— а я пойду,— и скрылся за поворотом окопа.

С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повел пленного впереди себя. Они прошли окоп, где лежал, раскинувшись, тот мертвый немец, которого, вскочив в окоп, увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения, и глазам Савельева открылись результаты действия «катюш».

Все и в самом ходе сообщения, и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом; поодаль друг от друга разметаны в траншее и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки.

«Наверное, хотел спрыгнуть, да не успел»,— подумал Савельев.

Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же, рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда была прорвана главная линия немецкой обороны. «Не поспевают»,— с удовольствием подумал он. И, повернувшись к командиру роты, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить.

— Хорошо, доставляйте,— сказал Савин.

В проходе землянки стояли еще трое пленных немцев, которых охранял незнакомый Савельеву автоматчик.

— Вот тебе еще одного фрица, браток,— обратился к нему Савельев.

— Сержант! — окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика.— Когда все соберутся к вам, возьмете с собой еще одного легкораненого и поведете пленных в батальон.

Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит одной правой рукой.

Савельев пошел обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и еще нескольких своих. В отбитых окопах все уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы.

— А где Юдин, товарищ старшина? — спросил Савельев, беспокоясь за друга.

— Он назад пошел, там раненых перевязывает.

И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдина: он делает то же, что и все, да еще ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. «Может, он с усталости такой ворчливый».

Егорычев указал Савельеву место, и он, вытащив лопатку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее на всякий случай.

— Их тут не так много и было-то,— сказал Егорычев, занимавшийся рядом установкой пулемета.— Как их «катюшами» накрыло, видал?

— Видал.

— Как «катюшами» накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их! — повторил Егорычев.

Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить «замечательно-удивительно» скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенно восхищало его.

Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин все еще не возвращался, а закурить одному было совестно. Однако едва успел он сделать себе «козырек», как вернулся и Юдин.

— Закурим, Юдин? — обрадовался Савельев.

— А высохла?

— Должна высохнуть,— весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и приспособил под табак.

— Товарищ старшина, закурить желаете? — обратился он к Егорычеву.

— А что, махорка есть?

— Есть, только сыроватая.

— Давай,— согласился Егорычев.

Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой взметнулась земля, и они все трое присели на корточки.

— Скажи пожалуйста! — удивился Егорычев.— Махорку-то не просыпали?

— Нет, не просыпали, товарищ старшина! — отозвался Юдин.

Присев в окопе, они стали свертывать цигарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался наземь. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку; он думал, что осталось на две завертки, а теперь выходило, что остается только на одну.

Едва они успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда комья земли падали прямо в окоп, в стоявшую на дне воду.

— Наверное, заранее пристрелялись,— сказал Егорычев.— Рассчитывали, что не устоят тут.

Новый снаряд разорвался в самом окопе, близко, но за поворотом. Их никого не задело. Савельев, выглянув за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было заметно никакого движения.

Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно.

— Который час, товарищ старшина? — спросил Савельев.

— А ну, который? — в свою очередь, спросил Егорычев.

Савельев поглядел на небо, но по небу трудно было что-нибудь определить: оно было совершенно серое, и по-прежнему моросил дождь.

— Да часов десять утра будет,— сказал он.

— А по-твоему, Юдин? — спросил Егорычев.

— Да уж полдень небось,— сказал Юдин.

— Четыре часа,— сказал Егорычев.

И хотя в такие дни, как этот, Савельев всегда ошибался во времени и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время.

— Неужто четыре часа? — переспросил он.

— Вот тебе и «неужто»,— ответил Егорычев.— С минутами.

Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь поодаль разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин пробыл там минут десять. Вдруг снова просвистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло, немцы больше не стреляли.

Спустя несколько минут к Савельеву подошел Юдин. Лицо его было совершенно бледное, ни кровинки.

— Что ты, Юдин? — удивился Савельев.

— Ничего,— спокойно сказал Юдин.— Ранило меня.

Савельев увидел, что рукав гимнастерки у Юдина разрезан во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьезных ранениях.

«Пожалуй, перебита»,— подумал Савельев.

— Как вышло-то?

— Там Воробьева ранило,— пояснил Юдин.— Я его перевязывал, и аккурат ударило. Воробьева убило, а меня... вот видишь...

Он присел в окопе, прежде чем уйти.

— Закури на дорожку,— предложил Савельев.

Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую цигарку и протянул Юдину. Тот левой, здоровой рукой взял цигарку и попросил дать огня.

Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.

— Ну, пока не стреляют, я пойду, дружище.— Юдин поднялся.

Зажав цигарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.

— Ты это...— сказал Савельев и замолчал, потому что подумал: вдруг у Юдина отнимут руку.

— Что «это»?

— Ты поправляйся и обратно приходи.

— Да нет,— сказал Юдин.— Коли поправлюсь, так все одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Поныри проезжать, слезь и зайди. А так — прощай. На войне едва ли свидимся.

Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся, что сказать ему, и Юдин, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, немного сутулясь, медленно пошел по полю назад.

«Привык, наверное, я к нему»,— глядя вслед, подумал Савельев, не понимая еще того, что он не привык к Юдину, а полюбил его.

Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать?

Минут через пять он отыскал свой мешок и пошел обратно.

Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, увидел на несколько секунд позже. Впереди, левее леска, лежащего на горизонте, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и спрыгнуть вниз. Не успел он это сделать, как танки открыли огонь,— не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Запыхавшись, он спрыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты.

Боец Андреев, долговязый бронебойщик из их взвода, пристраивал в окопе поудобнее свою большую «дегтяревку». Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату; она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячившись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за сто от него. И конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его, да Савельеву и самому было неловко, потому что выходило, будто он струсил, а про себя он знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он решил, что, если танк пойдет в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко.

Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились и, казалось, шли именно на них.

— Главное — сиди и жди,— сказал, проходя мимо, старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил.— Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдет. Будешь сидеть спокойно, ничем он тебя не возьмет.

Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца.

Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Один танк шел слева, другой — прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше — это был «тигр»,— а тот, который шел на Савельева,— обыкновенный средний танк, но потому, что он был ближе, Савельеву показалось, что этот танк самый большой. Савельев приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойнее.

В это время сбоку стал стрелять бронебойщик Андреев.

Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в двадцати шагах. Едва успел он укрыться на дне окопа, как танк прогрохотал над самой его головой, на него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом и посыпалась с краев окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут.

Танк перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со всей силой и, не удержавшись, упал вперед на землю. А затем, зажмурясь, повернулся и спрыгнул в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал рев танка и подумал, что, наверное, промахнулся. Тогда его охватило любопытство; хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал.

В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раздался оглушительный взрыв.

— Смотри, горит! — крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронебойку в ту сторону, где находился танк.— Горит! — крикнул он еще раз.

Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.

Другие танки были далеко влево; один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, вперед ли они идут

или назад. Когда он бросал гранату и когда взорвался танк, все в голове у него спуталось.

— Ты ему гусеницу подбил,— сказал почему-то шепотом Андреев.— Он остановился, а она как вмажет ему!

Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку.

Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие минометы.

Так продолжалось часа полтора и наконец прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.

— Вот он подбил фашистский танк,— сказал командир роты, остановившись около Савельева.

Савельев удивился его словам: он никому еще не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант уже знал об этом.

— Ну что же, представим,— сказал Матвеев.— Молодец! — И пожал руку Савельеву.— Как же вы его подбили?

— Он как надо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу.

— Молодец! — повторил Матвеев.

— Ему еще медаль за старое причитается,— напомнил старший лейтенант.

— А я принес. Я вам четыре медали в роту принес. Прикажите, чтобы бойцы пришли и командир взвода.

Старший лейтенант ушел, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, вынул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он вынул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли старший лейтенант и старшина.

Савельев поднялся и, словно он находился в строю, замер, как по команде «смирно».

— Красноармеец Савельев,— обратился к нему капитан Матвеев,— от имени Верховного Совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль «За отвагу».

— Служу Советскому Союзу! — ответил Савельев.

Он взял медаль задрожавшими руками и чуть не уронил.

— Ну, вот,— сказал капитан, то ли не зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова ненужными.— Поздравляю и благодарю вас. Воюйте! — И он пошел дальше по окопу, в соседний взвод.

— Слушай, старшина,— попросил Савельев, когда все остальные ушли.— Привинти-ка.

Егорычев достал из кармана перочинный ножик на цепочке, не торопясь открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева,

подлез рукой, проткнул повыше кармана ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.

— Жаль, закурить нечего по этому случаю! — сказал Егорычев.

— Ничего, и так обойдется.

Егорычев полез в карман, вытащил жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара немного табачной пыли.

— Для такого раза не пожалею. На крайний случай берег.

Они свернули по цигарке и закурили.

— Что же это, затихло? — удивился Савельев.

— Затихло. А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели,— я приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем.— И он отошел от Савельева.

Где-то впереди, слева, еще сильно стреляли, а тут было тихо — то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли.

Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть.

На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев.

Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили и они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и грыз сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке, с тем, чтобы ночью форсировать ее.

Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев так же, как и другие, уложил снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и выходили на ее опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в ста от него — наш, тоже сгоревший. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифру «120». «Сто двадцать, сто двадцать»,— подумал он. Эту цифру, казалось, он недавно видел перед собой. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, в пятый раз поднялись и пошли вперед, им попались стоявшие в укрытиях танки и на одном из танков была цифра «120». Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка:

— Что ж, пошли в атаку вместе?

Один из танкистов покачал головой и сказал:

— Нам сейчас не время.

— Ладно, ладно,— рассердился Юдин.— Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть вам девушки цветы дарят...

Он еще выругался тогда и пошел дальше. Савельеву тоже показалось в ту минуту обидным, что вот они идут вперед, а танкисты чего-то ждут.

Проходя мимо сожженного танка, он с огорчением вспомнил об этом разговоре и подумал, что вот они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идет, если уже не дошел, в медсанбат с перебитой рукой, перехваченной поясом.

«Такое дело — война,— подумал Савельев,— нельзя на ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра прощения просить поздно».

В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко.

Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к 24.00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, осторожно, чтобы не зашуметь, ступая в подававшуюся под ногами трясину. Он немного не дошел до берега, как вдруг над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завыла другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все шлепались и шлепались в болото то слева, то справа.

Ночь была темная. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку.

Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, взводного Егорычева и последнюю табачную пыль на дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось.

Было холодно, неуютно и очень хотелось курить. Если бы Савельеву пришло в голову считать дни, что он воюет, то он бы легко сосчитал, что как раз сегодня кончался восьмисотый день войны.

25 сентября 1943 г. «Красная звезда»

ПЕРЕД АТАКОЙ

Уже много лет не запомнят в этих местах такой непогожей весны. С утра и до вечера небо одинаково серо, и мелкий холодный дождик все идет и идет, перемежаясь с мокрым снегом. С рассвета и до темноты не разберешь, который час. Дорога то разливается в черные озера грязи, то идет между двумя высокими стенами побуревшего снега.

Младший лейтенант Василий Цыганов лежит на берегу взбухшего от весенней воды ручья перед большим селом, название которого — Загребля — он узнал только сегодня и которое он забудет завтра, потому что сегодня село это должно быть взято, а он пойдет дальше и будет завтра биться под другим таким же селом, названия которого еще не знает.

Он лежит на полу в одной из пяти хаток, стоящих на этой стороне ручья, над самым берегом, перед разбитым мостом.

— Вася, а Вася? — говорит ему лежащий рядом с ним сержант Петренко.— Что ты молчишь, Вася?

Петренко когда-то учился вместе с Цыгановым в одной школе-семилетке в Харькове и, по редкой на войне случайности, оказался во взводе у своего старого знакомого. Несмотря на разницу в званиях, когда они наедине, Петренко называет приятеля по-прежнему Васей.

— Ну, что ты молчишь? — повторяет еще раз Петренко, которому не нравится, что вот уже полчаса, как Цыганов не сказал ни слова.

Петренко хочется поговорить, потому что немцы стреляют по хатам из минометов, а за разговором время идет незаметней.

Но Цыганов по-прежнему не отвечает. Он лежит молча, прислонившись к разбитой стене хаты, и смотрит в бинокль через пролом наружу, за ручей. Собственно говоря, место, где он лежит, уже нельзя назвать хатой, это только остов ее. Крыша сорвана

снарядом, а стена наполовину проломлена, и дождь при порывах ветра мелкими каплями падает за ворот шинели.

— Ну, чего тебе? — наконец оторвавшись от бинокля, повертывает Цыганов лицо к Петренко.— Чего тебе?

— Что ты такой смурный сегодня? — говорит Петренко.

— Табаку нет.

И, считая вопрос исчерпанным, Цыганов снова начинает смотреть в бинокль.

На самом деле он сказал неправду. Молчаливость его сегодня не оттого, что нет табаку, хотя это тоже неприятно. Ему не хочется разговаривать оттого, что он вдруг полчаса назад вспомнил: сегодня день его рождения, ему исполнилось тридцать лет. И, вспомнив это, он вспомнил еще очень многое, о чем, может, было бы лучше и не вспоминать, особенно теперь, когда через час, с темнотой, надо идти через ручей в атаку. И мало ли еще что может случиться!

Однако он, сердясь на себя, все-таки начинает вспоминать жену и сына Володьку и трехмесячное отсутствие писем.

Когда в августе они брали Харьков, их дивизия прошла на десять километров южней города, и он видел город вдалеке, но зайти так и не смог и только потом, из писем, узнал, что жена и Володька живы. А какие они сейчас, как выглядят, даже трудно себе представить.

И когда он лишний раз сейчас думает о том, что три года их не видел, он вдруг вспоминает, что не только этот, но и прошлый, и позапрошлый дни рождения исполнялись вот так же, на фронте. И начинает вспоминать: где ж его заставали эти дни рождения?

Сорок второй год. В сорок втором году, в апреле, они стояли возле Гжатска, под Москвой, у деревни Петушки. И атаковали ее они не то восемь, не то девять раз. Он вспоминает Петушки и с сожалением человека, много с тех пор повидавшего, с полной ясностью представляет себе, что Петушки эти надо было брать вовсе не так, как их брали тогда. А надо было зайти километров на десять правей за соседнюю деревню Прохоровку, оттуда обойти немцев, и они сами бы из этих Петушков тогда посыпались. Как вот сегодня Загреблю будем брать, а не как тогда — все в лоб да в лоб.

Потом он начинает вспоминать сорок третий год. Где же он тогда был? Десятого его ранили, а потом? Да, верно, тогда он был в медсанбате. Хотя ногу и сильно задело, но он упросил, чтобы его оставили в медсанбате, чтобы не уезжать из части, а то в военкоматах ни черта не хотят слушать. Попадешь оттуда куда угодно, только не в свою часть. Да. Он лежал тогда в медсанбате, и до

передовой было всего семь километров. Тяжелые снаряды иногда перелетали через голову. Километров пятьдесят за Курском. Год прошел. Тогда за Курском, а теперь за Ровно. И вдруг, вспомнив все эти названия — Петушки, Курск, Ровно, он неожиданно для себя улыбается, и его угрюмое настроение исчезает.

«Много протопали,— думает он.— Конечно, все одинаково шли. Но, скажем, танкистам или артиллеристам, которые на механической тяге, так им не так заметно, а, скажем, артиллеристам, которые на конной тяге, тем уже заметней, как много прошли... А всего заметней — пехоте».

Правда, раза три или четыре подвезло марши на машинах делать, подбрасывали. А то все ногами.

Он пытается восстановить в уме, какое большое это расстояние, и почему-то вспоминает угловой класс семилетки, где в простенке между окнами висела большая географическая карта. Он прикидывает в уме, сколько примерно от Петушков досюда. По карте получается тысячи полторы километров, не больше, а кажется, что десять тысяч. Да, пожалуй. По карте — мало, а от деревни до деревни — много.

Он поворачивается к Петренко и говорит вслух:

— Много...

— Что «много»? — спрашивает Петренко.

— Прошли много.

— Да, у меня со вчерашнего марша еще ноги ноют,— соглашается Петренко.— Больше тридцати километров прошли, а?

— Это еще не много... А вообще много... Вот интересно — от Петушков...

— Какие Петушки?

— Есть такие Петушки... От Петушков досюда два года иду. И, скажем, до Германии еще тоже долго идти будем, не один месяц. А вот война кончится, сел в поезд, раз — и готово, уже в Харькове. Ну, может быть, неделю, в крайнем случае, проедешь. Сюда больше двух лет, а обратно — неделю. Вот когда пехота поездит...— совсем размечтавшись, добавляет он.— Будут поезда ходить. И до того докатаемся, что лень будет даже пять километров пешком пройти. Идет, скажем, поезд, проезжает мимо деревни, в которой боец живет, он — раз, дернет «вестингауз» — остановил поезд и слез.

— А кондуктор? — спрашивает Петренко.

— Кондуктор? А ничего. Нам тогда право будет дано,— продолжает фантазировать Цыганов,— по случаю наших больших трудов останавливать поезд каждому у своей деревни.

— Ну, нам-то прямо до Харькова,— рассудительно говорит Петренко.

— Нам-то? — переспрашивает Цыганов.— Нам с тобой пока что прямо до Загребли. А там и до Харькова,— после паузы добавляет он.

Над их головами пролетают несколько мин и падают позади, на поле.

— Должно быть, Железнов назад ползет,— повернувшись в ту сторону, говорит Цыганов.

— А ты его давно послал?

— Да уже часа два.

— С термосом?

— С термосом.

— Ох, горячего бы чего поесть,— мечтательно, как о недосягаемом, говорит Петренко.

Цыганов опять смотрит в бинокль.

Петренко лежит рядом, поглядывает на него и пробует себе представить, о чем бы в этот момент мог думать Цыганов. Он беспокойный. Все, наверное, соображает, как через ручей лучше перебраться. Два часа все смотрит. Высказывая эту мысль вслух, слово «беспокойный» Петренко произнес бы с некоторой досадой, однако именно об этом качестве Цыганова он думает с уважением.

Вот лежит рядом с ним Цыганов, Вася, с которым они вместе учились до седьмого класса, когда он ушел из школы, а Цыганов остался учиться в восьмом... Лежит и смотрит в бинокль... И не школа это, а война, и не Харьков, а село где-то около границы. И уже не Вася это, а младший лейтенант Цыганов — командир взвода автоматчиков. Над верхней губой у него рыжие усы, которые придают ему пожилой вид: один полковник даже как-то спросил его, не участвовал ли он в той германской войне.

Петренко сам на фронте недавно, месяца три. И когда он думает о том, что Цыганов воюет почти три года, и прикидывает это на себя, то Цыганов ему кажется героем. В самом деле, сколько уже воюет! И все идет своими ногами впереди батальона, первый в села входит...

Так думает он, глядя на Цыганова, а Цыганов, на время оторвавшись от бинокля, в свою очередь, думает о Петренко. И мысли его совершенно другие.

«Черт ее знает! — думает он.— Что, если не подвезли в батальон кухню? Железнов термос пустой притащит. А этому вот подай горячего. Он и так выдержит, конечно, он терпеливый, но горяченького хочется. Три месяца всего воюет, трудно ему. Если бы, как я, три года, тогда бы ко всему привык, легче было бы. А то попал прямо в автоматчики, да прямо в наступление. Трудно».

Он смотрит в бинокль и замечает легкое движение между обломками большого сарая, стоящего на той стороне ручья, на краю деревни.

— Товарищ Петренко! — обращается он на «вы» к Петренко.— Сползайте к Денисову, он там, у третьей хаты, в ямке лежит. Возьмите у него снайперскую винтовку и принесите мне.

Петренко уползает. Цыганов остается один. Он снова смотрит в бинокль и теперь думает только о немце, который ворошится в сарае. Надо его из винтовки щелкнуть, из автомата не стоит: спугнешь. А из винтовки сразу дать и — нет немца.

Правый берег высок и обрывист. «Если наступать, как тогда под Петушками, половину батальона уложить можно»,— думает Цыганов.

Он смотрит на часы. До наступления темноты осталось еще тридцать минут. Утром его к себе вызывал командир батальона капитан Морозов и объяснял задачу. И у него сейчас вдруг легче на душе оттого, что он заранее знает, как все будет. Что в двадцать тридцать одна рота обходным путем выйдет на дорогу за село, а он с шумом пойдет прямо, и тогда немцам капут со всех сторон.

Слева раздается подряд несколько автоматных очередей.

— Жмаченко бьет,— прислушиваясь, говорит он.— Правильно.

Он три часа назад приказал трем из своих автоматчиков через каждые десять — пятнадцать минут поддавать немцам треску... чтобы они по излишней тишине не догадались, что их обходят.

Подумав о Жмаченко, Цыганов начинает по очереди вспоминать всех своих автоматчиков. И тех шестнадцать — что сейчас лежат с ним вместе тут, на выселках, и ждут атаки, и других — тех, что выбыли из взвода: кто убит, кто ранен...

Много народу переменилось. Много... Он вспоминает рыжеусого немолодого Хромова, который когда-то соблазнил его отпустить такие же усы, а потом в бою под Житомиром спас его, застрелив немца, а потом, под Новоград-Волынским, погиб. Хоронили его зимой, но тоже шел дождь, и когда стали забрасывать могилу, то с лопат сыпалась грязь и было как-то тяжело и обидно, что земля — такая грязная, мокрая — падает на знакомое лицо. Он спрыгнул в могилу и накрыл лицо Хромова пилоткой. Да. А теперь кажется, что это было давно. Потом еще шли, шли...

Стараясь не думать о тех, которых нет, он вспоминает живых, тех, что сейчас с ним. Железнов ушел с термосом в батальон. Этот такой: в кровь разобьется, если в походной кухне есть хотя бы ложка горячей каши — принесет. А Жмаченко ленивый. Идет на своих длинных ногах, ватник без пуговиц, только ремнем затянут. Как грязь на ложе автомата налипла, так и носит ее с собой, а когда

окапываться приходится — другой за полчаса себе как следует выкопает, а он против всех только наполовину.

— Жмаченко, а Жмаченко, что ты своей жизни не жалеешь?

— Та земля, товарищ лейтенант, дуже грязная.

— Будешь так рассуждать, убьют тебя из-за твоей лени.

— Та ни...

И в самом деле: за два года во все атаки ходит — и ни разу не только не поцарапало, даже шинель не задело осколком.

После Жмаченко Цыганов вспоминает о Денисове, к которому он послал сейчас Петренко за снайперской винтовкой. Тот бережет оружие. И автомат и винтовку всегда при себе носит. Откуда она попала к нему — снайперская винтовка? Кто его знает. А следит хорошо. И сейчас небось пожалел, что винтовку требуют. Хотя лейтенант требует, а все же жалко отдавать. Хозяин...

Он вспоминает щуплого, рябоватого младшего сержанта по фамилии Коняга, на которого на прошлой неделе раза три накричал: плетется всегда в хвосте, отстает. Тот только покорно вытягивался и молчал. А потом на пятый или шестой день, когда пришлось наконец стать в деревне на ночь, Цыганов, неожиданно зайдя в хату, где расположился Коняга, увидел, как тот, разувшись, закрыв глаза и тихонько вскрикивая от боли, отдирает от ног портянки. Ноги у него были распухшие и окровавленные, так что идти ему не было никакой возможности. Но он все-таки шел... И когда Цыганов увидел, как он сдирает с ног портянки, и окликнул его, он вскочил и растерянно посмотрел на младшего лейтенанта, как будто был в чем-то виноват.

— Милый ты мой! — с неожиданной лаской сказал ему Цыганов.— Чертушка, что же ты не сказал?

Но Коняга, как обычно, стоял и молчал, и только когда Цыганов приказал ему сесть, и сел с ним рядом, и обнял его одной рукой за плечо, Коняга объяснил, почему он не хотел говорить: тогда ему пришлось бы уйти на несколько дней в медсанбат и потом, может быть, он обратно к своим не попал бы.

И Цыганов понял, что Коняга, человек от природы тихий и застенчивый, так привык к окружающим его товарищам, что расстаться с ними ему казалось более страшным, чем идти днем и ночью на своих распухших ногах. Он так и остался во взводе. Взводу сутки удалось передохнуть, и фельдшер помог Коняге.

Были во взводе и другие, разные люди. Цыганов у некоторых из них не успел подробно расспросить об их прошлой, довоенной жизни, но ко всем ним он уже присмотрелся и, шагая по дороге, иногда занимался тем, что представлял себе, кем бы они могли быть раньше, и бывал доволен, когда, спросив их, выяснял, что не ошибся в своих догадках.

— Товарищ лейтенант!

Во взводе его последний месяц, с тех пор как из старшин произвели в младшие лейтенанты, называли больше просто «лейтенант», отчасти для краткости, отчасти из желания польстить.

— Товарищ лейтенант!

Цыганов не оборачивается. Он и так слышит по голосу, что это вернувшийся из батальона Железнов.

— Ну, что скажешь? Кухня приехала?

— Нет, товарищ лейтенант.

— Что же ты?.. А говорил, из-под земли достану!

— Ночью будет кухня,— отвечает Железнов,— так в батальоне сказали. Кухня вышла, но грязь сильная, еще две лошади припрягли, так что ночью будет. Как село возьмем, прямо туда кашу привезут.

— Ночью — это хорошо,— говорит Цыганов.— А что сейчас нет — плохо.

— Зато подарочек вам принес.

— Что за подарочек? Фляжку, что ли, достал?

— Кабы фляжку! — прищелкивает языком Железнов при мысли о водке.— Подарочек от капитана. Сказал мне: «Вот, отнеси».

Железнов снимает ушанку и достает из-за отворота ее маленький комочек бумаги. Цыганов с интересом следит за ним. В бумажку, оказывается, завернуты две маленькие латунные звездочки.

— Капитан для себя делал, ну и для вас приказал сделать.

Цыганов протягивает руку и, взяв звездочки на ладонь, смотрит на них. Ему приятно и внимание капитана, и то, что у него теперь есть звездочки, которые можно нацепить на погоны.

— А вот и погоны,— говорит Железнов.— Это уже лично я достал.

И он, вытащив из кармана, протягивает Цыганову пару новеньких красноармейских погон.

— Так это ж красноармейские. Полоски нет.

— А вы на них звездочки прицепите и носите, а полоски я вам прочертить могу.

К Цыганову подползает Петренко.

— Принес? — не отрывая глаз от бинокля, спрашивает Цыганов и, не поворачиваясь, берет из рук Петренко снайперскую винтовку.

Отложив в сторону бинокль, он широко, чтоб было удобнее, раскидывает ноги и, прочно вдавив в землю локти, ловит в телескопический прицел тот угол развалин сарая, где прячется замеченный им немец. Теперь остается только ждать. В развалинах не заметно никакого движения.

Цыганов терпеливо ждет, весь сосредоточившись на одной мысли о предстоящем выстреле. Дождь продолжает накрапывать, капли падают за воротник шинели, и Цыганов, не отрывая рук от винтовки, вертит головой. Наконец показывается голова немца. Цыганов нажимает на спуск. Короткий стук выстрела — и голова немца там, в развалинах, исчезает. Хотя в этом нельзя убедиться сейчас, а потом, когда они возьмут село, уже и не до того будет, но Цыганов определенно чувствует, что он попал.

Жалость к людям живет в Цыганове, от природы добром человеке. Несмотря на привычку, он, не показывая этого, до сих пор внутренне вздрагивает, видя наших убитых бойцов, частица воспитанного с детства ужаса перед смертью оживает в нем. Но в каком бы жалком и растерзанном виде ни представали его глазам немецкие мертвецы, он вполне и непритворно равнодушен к их смерти, они не вызывают у него другого чувства, кроме подсознательного желания посчитать, сколько их.

Цыганов, устало вздохнув, говорит вслух:

— И когда же они все кончатся?

— Кто? — спрашивает Петренко.

— Немцы. Ты сиди тут, а я пойду, обойду позицию и вернусь.

Взяв автомат, Цыганов выходит из хаты и, то перебегая, то переползая, по очереди заглядывает ко всем своим автоматчикам. Немецкие мины продолжают рваться по всему берегу, и сейчас, когда он не лежит за стенкой, а передвигается по открытому месту, воющий их свист становится не то что страшнее, а как-то заметнее.

Цыганов переползает от одного автоматчика к другому и в последний раз рукой показывает каждому те переходы через низину и ручей, которые он давно приглядел для атаки.

— А колы прямо, товарищ лейтенант? — спрашивает верный себе ленивый Жмаченко.— Зачем идти наискоски, когда можно махнуть прямо?

— Дурья твоя голова! — говорит ему Цыганов.— Тут же берег отлогий, а там, вот видишь, гребешок, там как на берег выскочил — сразу и мертвое пространство. Он тебя из-за гребешка достичь не сможет огнем.

— А колы прямо, так швидче,— внимательно выслушав Цыганова, говорит Жмаченко.

— В общем, все,— рассердившись и уже официально, на «вы», говорит Цыганов.— Делайте, товарищ Жмаченко, как вам приказано,— и все. А вот когда село возьмем, будете кашу кушать, тогда ее ложкой из котелка як вам швидче, так и загребайте.

Цыганов заходит к Коняге. Тот лежит, укрывшись за земляной насыпью, насыпанной над глубоким погребом, подвернув ноги и положив рядом с собой автомат.

В дверях погреба, на предпоследней ступеньке, рядом с Конягой, сидит старуха, повязанная черным платком. Видимо, у них шел разговор, прерванный появлением Цыганова. Рядом со старухой на земляной ступеньке стоит наполовину пустая крынка с молоком.

— Может, молочка попьете? — вместо приветствия обращается старуха к Цыганову.

— Попью,— говорит Цыганов и с удовольствием отпивает из крынки несколько больших глотков.— Спасибо, мамаша.

— Дай вам бог, на здоровьице.

— Что, одни тут остались, мамаша?

— Нет, зачем одна. Все в погребе. Только старик корову в лес угнал. Вижу, хлопчик у вас лежит тут,— кивает она на Конягу,— такой тощенький, вот молочка ему и принесла.— Она смотрит на Конягу с сожалением.— Мои двое сынов тоже, кто их знает где, воюют...

Цыганову хочется рассказать ей о Коняге, что этот худой маленький сержант — храбрый солдат и уже которые сутки идет, не жалуясь на боль в распухших ногах, и пять дней назад застрелил двух немцев.

Но вместо этого Цыганов ободряюще похлопывает рукой по плечу Коняги и спрашивает его:

— Ну, как ноги, а?

И Коняга отвечает, как всегда:

— Ничего, подживают, товарищ лейтенант.

— В темноте, главное, друг друга не растерять,— говорит ему Цыганов.— Ты крайний, ты за Жмаченко и за Денисовым следи. В какую сторону они, туда и ты, чтобы к селу вместе выйти.

— А мы уже тут с Денисовым сговорились,— отвечает Коняга,— вот через тот бродик и влево брать будем.

— Правильно,— говорит Цыганов,— вот именно, через бродик и влево, это вы правильно.

Ему хочется сказать Коняге что-нибудь твердое, успокоительное, что, мол, ночью будут они в селе и что все будет в порядке, все, наверно, живы будут, разве кого только ранят. Но ничего этого он не говорит. Потому что не знает этого, а врать не хочет.

Цыганов возвращается к себе. Уж почти совсем стемнело, и немцы, боясь темноты, все бросают по косогору мины. Цыганов смотрит на часы.

Если в последний момент не будет какой-нибудь перемены, значит, до атаки осталось всего несколько минут. Но капитан Морозов, командир батальона, перемен не любит. Цыганов знает, что он сам пошел с ротой в обход Загребли, и, должно быть, если на то есть хоть какая-нибудь возможность, сейчас Морозов, утопая в

грязи, уже обошел село и даже перетащил туда, как и хотел, батальонные пушки.

Несколько минут.., Мысль о предстоящей смертельной опасности овладевает Цыгановым. Он представляет, как они побегут вперед и как будет стрелять по ним немец, особенно вот из тех домов — на самой круче. Он представляет свист и шлепанье пуль и чей-то крик или стон, потому что непременно же будет кто-нибудь ранен в этой атаке.

И неприятный холод страха проходит по его телу. Впервые за день ему кажется, что он озяб, сильно озяб. Он поеживается, расправляет плечи, одергивает на себе шинель и затягивает ремень на одну дырку потуже. И ему кажется, что уже не так холодно и страшно... Он упрямо старается подготовить себя к предстоящей трудной минуте, забыть о мокрой, грязной земле, о свисте пуль, о возможности смерти. Он заставляет себя думать о будущем, но не о близком будущем, а о далеком, о границе, до которой они дойдут, и о том, что будет там, за границей. И конечно, о том, о чем думает каждый, кто воюет третий год,— о конце войны.

«А через него все равно не перепрыгнешь»,— вдруг снова вспоминает Цыганов лежащее прямо перед ним село Загреблю.

И от этой мысли ему, только что жаждавшему растянуть оставшиеся до атаки минуты, начинает хотеться сократить их.

За селом, за полтора километра отсюда, разом раздается несколько пушечных выстрелов. Цыганов узнает знакомый голос своих батальонных пушек. Потом вспыхивает пулеметная трескотня, и снова стреляют пушки.

«Все-таки дотащил!» — с восхищением думает о капитане Морозове Цыганов.

Поднявшись во весь рост, закусив зубами свисток, Цыганов громко свистит и бежит вперед, по косогору, вперед, вниз, к броду через безыменный ручей.

23 апреля 1944 г. «Красная звезда»

БЕССМЕРТНАЯ ФАМИЛИЯ

Прошлой осенью, еще на Десне, когда мы ехали вдоль ее левого берега, у нашего «виллиса» спустил скат, и, пока шофер накачивал его, нам пришлось с полчаса, поджидая, лежать почти на самом берегу. Как это обычно бывает, колесо спустило на самом неудачном месте — мы застряли около наводившегося через реку временного моста.

За те полчаса, что мы там просидели, немецкие самолеты дважды появлялись по три-четыре штуки и бросали мелкие бомбы вокруг переправы. В первый раз бомбежка прошла заурядно, то есть как всегда, и саперы, работавшие на переправе, прилегли кто где и переждали бомбежку лежа. Но во второй раз, когда последний из немецких самолетов, оставшись один, продолжал, назойливо жужжа, бесконечно крутиться над рекой, маленький чернявый майор-сапер, командовавший постройкой, вскочил и начал ожесточенно ругаться.

— Так они и будут крутиться весь день,— кричал он,— а вы так и будете лежать, а мост так и будет стоять! По местам!

Саперы один за другим поднялись и, с оглядкой на небо, продолжали свою работу.

Немец еще долго кружился в воздухе, потом, увидев, что одно его жужжание перестало действовать, сбросил две последние, оставшиеся у него мелкие бомбы и ушел.

— Вот и ушел,— громко радовался майор, приплясывая на краю моста, так близко от воды, что, казалось, он вот-вот упадет в нее.

Я, наверное, забыл бы навсегда об этом маленьком эпизоде, но некоторые обстоятельства впоследствии мне напомнили о нем. Поздней осенью я снова был на фронте, примерно на том же направлении, сначала на Днепре, а потом за Днепром. Мне пришлось догонять далеко ушедшую вперед армию. На дороге мне бросалась в глаза одна, постоянно, то здесь, то там, повторявшаяся фамилия,

которая, казалось, была непременной спутницей дороги. То она была написана на куске фанеры, прибитом к телеграфному столбу, то на стене хаты, то мелом на броне подбитого немецкого танка: «Мин нет. Артемьев», или: «Дорога разведана. Артемьев», или: «Объезжать влево. Артемьев», или: «Мост наведен. Артемьев», или, наконец, просто «Артемьев» и стрелка, указывающая вперед.

Судя по содержанию надписей, нетрудно было догадаться, что это фамилия какого-то из саперных начальников, шедшего здесь вместе с передовыми частями и расчищавшего дорогу для армии. Но на этот раз надписи были особенно часты, подробны и, что главное, всегда соответствовали действительности.

Проехав добрых двести километров, сопровождаемый этими надписями, я на двадцатой или тридцатой из них вспомнил того чернявого «маленького майора», который командовал под бомбами постройкой моста на Десне, и мне вдруг показалось, что, может быть, как раз он и есть этот таинственный Артемьев, в качестве саперного ангела-хранителя идущий впереди войск.

Зимой на берегу Буга, в распутицу, мы заночевали в деревне, где разместился полевой госпиталь. Вечером, собравшись у огонька вместе с врачами, сидели и пили чай. Не помню уж почему, я заговорил об этих надписях.

— Да, да,— сказал начальник госпиталя.— Чуть ли не полтысячи километров идем по этим надписям. Знаменитая фамилия. Настолько знаменитая, что даже некоторых женщин с ума сводит. Ну, ну, не сердитесь, Вера Николаевна, я же шучу!

Начальник госпиталя повернулся к молодой женщине-врачу, сделавшей сердитый протестующий жест.

— А тут не над чем шутить,— сказала она и обратилась ко мне: — Вы ведь дальше вперед поедете?

— Да.

— Они вот смеются над моим, как они говорят, суеверным предчувствием, но я ведь тоже Артемьева, и мне кажется, что эти надписи на дорогах оставляет мой брат.

— Брат?

— Да. Я потеряла его след с начала войны, мы с ним расстались еще в Минске. Он до войны был инженером-дорожником, и вот мне все почему-то кажется, что это как раз он. Больше того, я верю в это.

— Верит,— прервал ее начальник госпиталя,— да еще сердится, что тот, кто оставлял эти надписи, к своей фамилии не прибавил инициалов.

— Да,— просто согласилась Вера Николаевна,— очень обидно. Если бы еще была надпись «А. Н. Артемьев» — Александр Николаевич, я была бы совсем уверена.

— Даже знаете что сделала? — снова перебил начальник госпиталя.— Она один раз к такой надписи приписала внизу: «Какой Артемьев? Не Александр Николаевич? Его ищет его сестра Артемьева, полевая почта ноль три девяносто «Б».

— Правда, так и написали? — спросил я.

— Так и написала. Только надо мной все смеялись и уверяли, что кто-кто, а саперы редко идут назад по своим же собственным отметкам. Это правда, но я все-таки написала... Вы, когда поедете вперед,— продолжала она,— в дивизиях на всякий случай спросите, вдруг наткнетесь. А вот тут я вам напишу номер нашей полевой почты. Если узнаете, сделайте одолжение, напишите мне две строчки. Хорошо?

— Хорошо.

Она оторвала кусочек газеты и, написав на ней свой почтовый адрес, протянула мне. Пока я прятал в карман гимнастерки этот клочок бумаги, она провожала его взглядом, как бы стараясь заглянуть в карман и проследить, чтобы этот адрес был там и не исчез.

Наступление продолжалось. За Днепром и на Днестре я все еще встречал фамилию «Артемьев»: «Дорога разведана. Артемьев», «Переправа наведена. Артемьев», «Мины обезврежены. Артемьев». И снова просто «Артемьев» и стрелка, указывающая вперед.

Весной в Бессарабии я попал в одну из наших стрелковых дивизий, где в ответ на вопрос о заинтересовавшей меня фамилии я вдруг услышал от генерала неожиданные слова:

— Ну, как же, это же мой командир саперного батальона — майор Артемьев. Замечательный сапер. А что вы спрашиваете? Наверное, фамилия часто попадалась?

— Да, очень часто.

— Ну еще бы. Не только для дивизии, для корпуса — для армии дорогу разведывает. Весь путь впереди идет. По всей армии знаменитая фамилия, хотя и мало кто его в глаза видел, потому что идет всегда впереди. Знаменитая, можно сказать даже — бессмертная фамилия.

Я снова вспомнил о переправе через Десну, о маленьком чернявом майоре и сказал генералу, что хотел бы увидать Артемьева.

— А это уж подождите. Если какая-нибудь временная остановка у нас будет — тогда. Сейчас вы его не увидите — где-то впереди с разведывательными частями.

— Кстати, товарищ генерал, как его зовут? — спросил я.

— Зовут? Александр Николаевич зовут. А что?

Я рассказал генералу о встрече в госпитале.

— Да, да,— подтвердил он,— из запаса. Хотя сейчас такой вояка, будто сто лет в армии служит. Наверное, он самый.

Ночью, порывшись в кармане гимнастерки, я нашел обрывок газеты с почтовым адресом госпиталя и написал врачу Артемьевой несколько слов о том, что предчувствие ее подтверждается, скоро тысяча километров, как она идет по следам своего брата.

Через неделю мне пришлось пожалеть об этом письме.

Это было на той стороне Прута. Мост еще не был наведен, но два исправных парома, работавшие, как хороший часовой механизм, монотонно и беспрерывно двигались от одного берега к другому. Еще подъезжая к левому берегу Прута, я на щите разбитого немецкого самоходного орудия увидел знакомую надпись: «Переправа есть. Артемьев».

Я пересек Прут на медленном пароме и, выйдя на берег, огляделся, невольно ища глазами все ту же знакомую надпись. В двадцати шагах, на самом обрыве, я увидел маленький свеженасыпанный холмик с заботливо сделанной деревянной пирамидкой, где наверху, под жестяной звездой, была прибита квадратная дощечка.

«Здесь похоронен,— было написано на ней,— павший славной смертью сапера при переправе через реку Прут майор А. Н. Артемьев». И внизу приписано крупными красными буквами: «Вперед, на запад!»

На пирамидке под квадратным стеклом вставлена фотография. Снимок был старый, с обтрепанными краями, наверное, долго лежавший в кармане гимнастерки, но разобрать все же было можно: это был тот самый маленький майор, которого я видел в прошлом году на переправе через Десну.

Я долго простоял у памятника. Разные чувства волновали меня. Мне было жаль сестру, потерявшую своего брата, не успев еще, быть может, получить письма о том, что она нашла его. И потом еще какое-то чувство одиночества охватывало меня. Казалось, что-то не так будет дальше на дорогах без этой привычной надписи «Артемьев», что исчез мой неизвестный благородный спутник, охранявший меня всю дорогу. Но что делать. На войне волей-неволей приходится привыкать к смерти.

Мы подождали, пока с парома выгрузили наши машины, и поехали дальше. Через пятнадцать километров, там, где по обеим сторонам дороги спускались глубокие овраги, мы увидели на обочине целую груду наваленных друг на друга, похожих на огромные лепешки немецких противотанковых мин, а на одиноком телеграфном столбе фанерную дощечку с надписью: «Дорога разведана. Артемьев».

В этом, конечно, не было чуда. Как и многие части, в которых долго не менялся командир, саперный батальон привык называть себя батальоном Артемьева, и его люди чтили память погибшего командира, продолжая открывать дорогу армии и надписывать его фамилию там, где они прошли. И когда я вслед за этой надписью еще через десять, еще через тридцать, еще через семьдесят километров снова встречал все ту же бессмертную фамилию, мне казалось, что когда-нибудь, в недалеком будущем, на переправах через Неман, через Одер, через Шпрее я снова встречу фанерную дощечку с надписью: «Дорога разведана. Артемьев».

24 мая 1944 г. «Красная звезда»

ОРДЕН ЛЕНИНА

Уже под утро, в ту первую ночь, когда меня перебросили в Южную Сербию к югославским партизанам, мы, четверо русских, после бесконечных разговоров о Москве наконец все-таки решили лечь спать. Полковник, старший среди нас, сел на сено, накрытое полотнищами грузовых парашютов и служившее нам общей постелью, и, подав этим сигнал остальным, первый начал стаскивать с себя гимнастерку. При этом он невольно вывернул ее наизнанку, и я с удивлением увидел, что внутри, против нагрудного кармана, был привернут орден Ленина с большим круглым отверстием посредине, очевидно пробитым пулей.

— Не мой,— сказал полковник, встретив мой взгляд.— Только держу на хранении, привернул, чтоб, не дай бог, не потерять.

Он приподнялся, прислонился к мешкам с трепаной коноплей, заменявшим нам подушки, и, закурив сигаретку, рассказал мне первую из многочисленных историй, услышанных мною здесь потом.

— Летчик Владимир Сергеевич Ерихонов, старый пилот-миллионер гражданского воздушного флота, был подожжен немецким ночным истребителем недалеко от Загреба, в ночь своего семьдесят третьего полета к партизанам. Самолет горел и начинал разваливаться в воздухе. Ерихонов выбросился последним. Приземляясь, он сломал ногу, и, когда через двое суток его, единственного из всего экипажа, нашли партизаны, он не мог сделать ни шагу без посторонней помощи. Собственно, его нашли не партизаны, а один партизан, Мирко Николич, тринадцатилетний хорватский мальчик, отличавшийся от всех других мальчиков своего возраста тем, что, во-первых, на груди его был значок с цифрой «1941», означавший, что Мирко Николич партизанит уже три года, и, во-вторых, у него через плечо на веревке висел немецкий автомат, из которого он умел хорошо стрелять. А это, в свою очередь,

определило и некоторые черты его характера: не удивляться и не пугаться при виде смерти и очень сердиться при всяком праздном упоминании о его возрасте, особенно со стороны людей, у которых не было такого значка с цифрой «1941», какой был у него.

В остальном он был вполне ребенок, доверчивый, наивный и любопытный.

Когда он, отправившись за ягодами (потому что в батальоне пятые сутки нечего было есть), вдруг наткнулся на сидевшего у скалы с револьвером в руке Ерихонова, он обрадовался, в первый раз в жизни увидав русского летчика.

Заметив звезду на пилотке мальчика, Ерихонов положил на землю револьвер, вздохнул и облегченно выругался разом за все: и за гибель самолета, и за сломанную ногу, и за двухсуточный страх плена.

Первые русские слова, которые, таким образом, услышал Мирко Николич, были отнюдь не цитатой из Тургенева. К счастью, он их не понял. Он понял только, что это летчик — по шлему, что это русский — по обмундированию и что это больной — по неестественно согнутой, безжизненно торчавшей ноге.

Объяснить самым деловым образом, что сейчас он пойдет за помощью, было для Мирко делом одной минуты. Ерихонов кивнул — он понял. Теперь надо было, не теряя времени, бежать за лошадью. Но в душе Мирко ребенок взял свое. Он опустился на колени рядом с Ерихоновым и уставился глазами в заинтересовавший его предмет.

На груди у русского летчика был портрет Ленина — несомненно, Мирко видел портреты Ленина раньше, но только этот почему-то был очень маленький, круглый и сделанный из золота и серебра.

«Ленин?» — спросил Мирко.

«Ленин»,— ответил Ерихонов, попробовал поудобнее сесть и крякнул от боли.

Мирко вскочил, положил рядом с Ерихоновым свой автомат и убежал. Через час партизаны пришли с лошадью и забрали Ерихонова к себе. Надо сказать, что Ерихонов попал к ним в неудачное время. Уже третью неделю здесь шла большая немецкая офанзива (так партизаны называли наступление), и приходилось уходить все дальше в горы, каждую ночь меняя место. Батальон, первоначально оставленный в арьергарде, был давно отрезан от всех остальных и мог рассчитывать только на свои силы.

Фельдшер наложил на сломанную ногу Ерихонова грубые лубки, и медицинская помощь на этом кончилась.

Лубки по указаниям фельдшера вытесывал из молодой елки сам Мирко, он же помогал стягивать веревки. И теперь, когда Ери-

хонов ехал, лежа на скрипучей узкой арбе, Мирко шел следом, то заговаривая с Ерихоновым, то молча шевеля губами и по целым часам думая о чем-то своем.

На третьи сутки, после короткого боя, партизаны еще раз повернули и забрались в совершенную горную глушь. Арбу пришлось бросить. Ерихонова посадили на лошадь верхом, подвязав справа к седлу доску, на которую Ерихонов мог положить свою сломанную ногу.

Мирко по-прежнему шел с ним, только теперь не сзади, а рядом и всегда со стороны больной ноги. Он охранял ногу Ерихонова, отгибал и ломал ветки и иногда брал лошадь под уздцы.

Так прошло больше недели. Несколько человек было убито. Кое-как перевязанные раненые, закусив губы, карабкались по камням рядом со здоровыми. Один, у которого были перебиты ноги, не предупредив никого, застрелился. Он не мог идти, а на единственной лошади, принадлежавшей раньше командиру батальона, ехал Ерихонов.

С общего молчаливого согласия честь заботиться о Ерихонове была предоставлена Мирко. Он поил Ерихонова водой из своей немецкой фляжки, он ощипывал и жарил ему на костре птиц, если удавалось их подстрелить. Когда же вовсе нечего было есть, он вдруг исчезал, уступив на время свое место другому партизану, и возвращался, неся в руках пилотку, в которой лежало несколько огрызков сухарей, крошечных кусочков засохшего сыра и два или три стручка паприки. Партизаны отдавали для русского последнее, что у них было припасено на совсем уже черный день.

Мирко не приходилось просить их об этом, он просто молча шел от одного к другому, и они знали, что сегодня он сам не достал ничего, чем можно покормить русского, и так же молча, как и он, шарили по карманам и ссыпали ему в пилотку последние крохи.

Подойдя к Ерихонову, Мирко протягивал ему пилотку и вдруг становился необычайно говорливым. Он чувствовал подозрительный взгляд летчика и изо всех сил старался не дать ему заговорить и спросить, откуда берется эта еда. Он задавал Ерихонову множество вопросов о Москве, о русской армии, о его полетах, и Ерихонов, который все еще понимал хорватский язык только с пятого на десятое, невольно отвлекался, пытаясь подыскать понятные для мальчика слова.

На третий или четвертый раз Ерихонов, приняв от Мирко пилотку, стиснул ее в свободной от поводьев руке и, не притрагиваясь к еде, приказал Мирко взять лошадь под уздцы и отвезти его к командиру батальона Николе Петричу.

Петрич был рослый, угрюмый белградский металлист, молчаливый и в обычных обстоятельствах, а в последние дни вообще

не выдавливавший из себя ни одного слова, кроме самых необходимых приказаний.

«Откуда эта еда? — сухо спросил Ерихонов, подъехав к нему.— Я не хочу есть один, когда все другие голодают».

Петрич посмотрел на дно пилотки, потом на Ерихонова и понял, что лгать в этих обстоятельствах бесполезно.

«Ты тоже сбрасывал нам пушки, машинки и патроны не потому, что они там, у тебя в России, были лишние»,— сказал Петрич.

«Все равно, если так будет продолжаться, я буду выбрасывать это на землю»,— упрямо ответил Ерихонов.

«Как хочешь,— сказал Петрич и, кивнув спачала на Мирко, а потом на пилотку, добавил: — Он все равно будет тебе приносить эти крохи каждый день, если не будет другой еды».

Они с минуту упрямо смотрели друг другу в глаза, потом Петрич повернулся и отошел.

Он возвращался по тропинке на свое обычное место в голове отряда и думал о том, что этот русский летчик — упрямый человек, но тем не менее нельзя отказываться от этой еды человеку, который семьдесят два раза (Петрич знал это от Мирко) перелетал ночью через горы, над головами немцев и, наверное, вооружил не одну и не две партизанские бригады, а теперь со сломанной ногой ехал на его лошади.

Петрич, как и большинство окружавших его людей, редко и неохотно говорил вслух о своем отношении к русским, но само собой подразумевалось, что последний сухарь в батальоне съест именно этот русский, и так же ясно было, что если придет конец, то будет сделано все, чтобы русский спасся.

Что до Ерихонова, то он, не притронувшись к еде, засунул пилотку в седельный карман. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на следующий день Мирко не подстрелил из автомата какую-то малосъедобную, но большую птицу. Ее хватило им на целых два дня. А на третий день после этого разговора остатки батальона были загнаны немцами в глубокое ущелье, почти не имевшее выходов. Оставалась только надежда неожиданно перевалить через неприступную вершину горы и так, может быть, выйти к своим. Но прямо через гору не было даже тропок, и лошадь не могла пройти. Нести Ерихонова на носилках было безнадежным делом — носильщики сорвались бы в пропасть вместе с ним.

Из ущелья, правда, вела в обход горы еще одна тропа, но она выводила на равнину, где в каждом селе был немецкий гарнизон. Отряд не мог идти туда, но два-три человека, пожалуй, смогли бы там спрятаться и потом незаметно исчезнуть.

Петрич вызвал к себе двух автоматчиков и Мирко.

«Вы пойдете с русским по тропинке в обход горы»,— сказал он автоматчикам.

Он объяснил, как и куда сворачивает тропинка: сначала нужно повернуть влево, а потом, когда будет развилка,— вправо.

«Вы дойдете с ним до ближайшего села и спрячете его там, пока он не выздоровеет».

«Нас, наверное, на тропе встретят немцы»,— покачав головой, сказал один из автоматчиков.

«Не знаю. Думаю, что они знают, что мы туда не пойдем. Во всяком случае, когда вы уйдете, мы здесь начнем бой: все немцы, что есть поблизости, пойдут на нас».

«Как же ты начнешь бой?» — снова рассудительно заговорил автоматчик, знавший, что главная надежда для батальона заключалась в том, чтобы начать взбираться на голую вершину сейчас же, в сумерках, и ночью.

Петрич поморщился. Он знал это и сам.

«Вы должны спасти летчика. Он русский, и он летчик»,— сказал он и отвел в сторону Мирко.

«Ты нашел летчика, ты должен его довести.— В голосе его не чувствовалось никакого снисхождения к возрасту Мирко.— Ну, иди».

Петрич похлопал его по плечу, повернулся и ушел.

Через десять минут два автоматчика, Мирко и Ерихонов двинулись по еле заметной тропке, шедшей вдоль горы, мимо немцев.

Когда Мирко сказал Ерихонову о предстоящем пути, умолчав, однако, о том, что Петрич будет тем временем вести бой, Ерихонов кивнул головой и сказал только два слова: «Ладно, Николич». Вынув пистолет из кобуры, он положил его за пазуху.

Мирко звал Ерихонова так же, как звали друг друга все партизаны,— на «ты» и по имени — Володей.

Что же до Ерихонова, то он всегда называл Мирко по фамилии — Николичем; он привык называть по фамилиям товарищей в своей летной части.

Но сейчас это привычное обращение: «Ладно, Николич» — прозвучало неожиданно грустно, словно они прощались, и Мирко вздрогнул, подумав о предстоящей опасности.

Через полчаса, когда стало смеркаться, они услышали позади себя перестрелку. Сначала послышались автоматные очереди, потом начали стрелять минометы — все чаще и чаще.

Ерихонов остановил лошадь и прислушался. Мирко видел в полутьме его удивленное, печальное лицо.

«Володя, поедем»,— сказал Мирко.

«Подожди!»

Ерихонов долго прислушивался, потом молча повернул лошадь и поехал назад. Он все понял.

Мирко забежал вперед и схватил лошадь под уздцы.

«Володя!» — умоляюще повторил он, глядя в глаза Ерихонову.

Оба автоматчика тоже стали перед лошадью Ерихонова, загораживая ему дорогу.

«Уйди!» — не своим голосом крикнул Ерихонов и дернул поводья.

Но Мирко и оба автоматчика продолжали стоять неподвижно.

Стрельба все разгоралась. Ерихонов понимал, что поздно что-нибудь изменить, что для этих людей, которые сейчас дрались там, спасая ему жизнь, не могло быть ничего страшней и бессмысленней его возвращения, и, однако, ему было не легче от этого. Стыд и отчаяние овладели им.

«Эх, вы! И помереть-то вместе со всеми, как человеку, не даете»,— сказал он и неожиданно для себя заплакал — первый раз за три года войны.

Теперь он относился ко всему безучастно. Мирко повернул его лошадь и повел ее под уздцы. Ерихонов ехал молча, угрюмо опустив голову, и за всю ночь не сказал больше ни одного слова.

За ночь они два раза повернули так, как им сказал Петрич. Второй раз Мирко долго сомневался: ему казалось, что идущая влево тропа — не тропа, а просто след высохшего ручья, но, посоветовавшись, они все-таки решили, что это развилка двух троп, и повернули направо.

На рассвете, поднимаясь по крутому склону и выехав из-за большого камня, они наткнулись на немцев. Немцы, как ожидал Петрич, ушли туда, где был бой, однако патруль из четырех человек они все же на тропинке оставили.

Их было четверо на четверо. Но немцы, потому что Ерихонов ехал верхом, первые заметили их и первыми начали стрелять.

Один автоматчик сразу молча упал, другой залег за осыпь камней и, хрипло крикнув: «Мирко, уведи летчика!», дал первую очередь.

Мирко изо всей силы наотмашь ударил рукой лошадь по крупу, она повернулась и бросилась вскачь назад, но Ерихонов, натянув поводья, круто остановил ее за огромным камнем, стоявшим у дороги. Перекинув здоровую ногу, он неловко пытался слезть с лошади.

«Володя!» — почти плача, крикнул Мирко.

Ерихонов не слушал его, он вытащил из-за пазухи револьвер и все пытался высвободить застрявшую ногу и слезть.

Мирко в отчаянье схватил лошадь под уздцы и силой потянул ее назад под гору.

Автоматная очередь задребезжала по камню, и Мирко увидел, что Ерихонов бессильно обвисает на лошади.

«Уведи летчика!» — еще раз, между двумя очередями, крикнул автоматчик.

Мирко вскочил на круп лошади, ухватил одной рукой поводья, а другой с недетской силой обнял Ерихонова и, дернув лошадь, выскочил из-за камня обратно на тропу.

Тропа шла под уклон. Лошадь, спотыкаясь, отчаянно запрыгала с камня на камень, все быстрее и быстрее, потом сползла, упираясь копытами, по каменной осыпи и галопом помчалась по узкому каменному руслу ручья между трещавшими и смыкавшимися над их головами ветками.

Так они проехали еще минут пять. Потом лошадь вдруг начала валиться на бок, и Мирко едва успел соскочить, чтобы поддержать беспомощно падавшего вместе с лошадью Ерихонова.

Кругом был глухой кустарник. Мирко оттащил Ерихонова от лошади, бившейся на земле, и, посмотрев на ее окровавленный круп, зажмурившись, в упор выстрелил ей в голову.

Ерихонов лежал неподвижно. Мирко расстегнул ему пояс и задрал гимнастерку. Вся левая половина груди Ерихонова была залита кровью, и Мирко подумал, что он убит.

Если бы Мирко был немножко старше и немножко терпеливее, он бы, наверное, растормошил Ерихонова, прислушался к его сердцу и понял бы, что Ерихонов жив и что две касательно прошедшие пули только разодрали ему грудь, даже не задев кости.

Но Ерихонов был в глубоком обмороке. Мирко не знал, что при этом у человека почти незаметно дыхания. Он трижды отчаянно крикнул:

«Володя!»

Летчик не отзывался, и, остолбеневший от горя и ужаса, Мирко опустился перед ним на колени.

Побелевшими губами он шептал про себя какие-то неслышные даже ему самому слова и с отчаяньем вспоминал, что говорил ему на прощанье Петрич. Наверное, ночью они все-таки спутали тропу.

Сзади громко донеслись выстрелы. Мирко вскочил, ощупал свой автомат, о котором в последние минуты совсем забыл.

Снова опустившись на колени, он дотянулся до окровавленной гимнастерки Ерихонова и стал отвинчивать орден Ленина. Он не тронул других орденов — только этот, о котором говорил Ерихонов, что он самый главный.

Отвинтив орден, Мирко скинул с себя домотканый рыжий армячок и остался в одной зеленой партизанской рубашке.

Пошарив по земле, он нашел ветку с острым сучком и, проколов им свою рубашку, привинтил орден на грудь.

Потом он встал. Он знал, что мертвым отдают честь, но, потянув руку к пилотке, почувствовал, что сейчас заплачет, повернулся и, на ходу перевесив автомат с плеча на шею, быстро пошел вверх по руслу ручья.

Он ясно, как никогда еще в своей детской жизни, знал, что ему теперь предстояло.

Через четверть часа он добрался до места, где они встретили немцев. Он вылез шагов на тридцать выше тропы. Сверху были видны неподвижно лежавшие тела четырех убитых. Тут же стояли два живых немца, один курил, прислонившись к дереву, второй, сняв каску, устало вытирал платком лицо и лысую голову.

Мирко сделал еще несколько шагов. Мелкие камешки посыпались из-под ног. Немец, стоявший у дерева, потянулся к автомату. Но Мирко уже нажал на спуск. Под треск длинной очереди, дергаясь вместе с прижатым к животу автоматом, он увидел, как немец взмахнул руками и стал падать.

Мирко в упоенье все еще нажимал на спуск онемевшим пальцем — и когда немец падал, и когда он уже лежал на земле. Второй немец выстрелил из винтовки. Мирко снова вскинул автомат, еще раз нажал на спуск и только тут понял, что он одной очередью выпустил все патроны.

Не отдавая себе отчета в том, что он делает, не выпуская из рук автомата, он побежал вниз, прямо на немца.

Немец выстрелил еще раз. В первую секунду Мирко не понял, что он ранен, ему просто показалось, что он споткнулся. Уронив автомат, он упал вниз с откоса, но, зажмурившись от боли, повернулся и сел. Он был ранен в живот, у него сразу онемели ноги, и он с удивлением почувствовал, что не может встать.

Он продолжал сидеть, прислонившись спиной к камню, молча глядя перед собой. Немец подошел к нему почти вплотную, но Мирко продолжал смотреть мимо него — его уже ничто больше не интересовало. Теряя сознание, он все силился понять, почему он не может подняться.

Так он и умер с этим удивленным выражением лица. Подойдя к мальчику, немец заметил на груди у него что-то блестящее — не то значок, не то орден. Он вскинул винтовку и, прищурив один глаз, тщательно прицелился и выстрелил...

— Вот и вся история,— сказал полковник.— Потом партизаны нашли тело и русский орден отдали нам, русским, хотя, по че-

сти говоря, будь я тогда там, я бы похоронил мальчика, не снимая орден с его груди.

— А что же с Ерихоновым? — спросил я.

— Ничего. Летает. Еще раз обнаружил живучесть русской натуры. Очнулся, пять суток полз, потом подобрали. Потом резали, сшивали и штопали. Это уж вам пусть лучше доктор расскажет.

Полковник помолчал и добавил:

— Уж месяц как снова летает, но все в Словению да в Черногорию. Обещал зайти за орденом, когда прилетит сюда.

Послышалось гудение снижавшегося самолета.

— Я подумал, больше никто не прилетит сегодня. Больно паршивая погода,— сказал полковник.

— А вдруг как раз Ерихонов? — спросил я.

— Возможно. Он, говорят, уже за сотню полетов перевалил. Когда никто не летает — он летает. Он говорит, что для людей, которые один раз воскресили его из мертвых, ему не жаль умереть второй раз.

16 декабря 1944 г. «Красная звезда»

НОЧЬ НАД БЕЛГРАДОМ

До войны Дуся Желябова работала осветителем в киностудии. В ее власти находилась дуговая лампа, слепящий свет которой она по приказанию оператора направляла то на пол павильона, то на декорации, то на загримированных артистов.

Дуся работала в киностудии лет восемь. При свете ее пятисотки Любовь Орлова бежала за поездом, прижимая к груди черного ребенка; Черкасов, поднимая огромный меч, вел русские полки на ливонцев; Щукин — так похожий в своем гриме на Ленина, что, неожиданно встретив его в коридоре, люди вздрагивали,— говорил речь с построенной в павильоне трибуны.

Дуся знала по имени-отчеству и в лицо всех киноартистов и хранила у себя дома кадры кинопленок из всех картин, на съемках которых светила своей пятисоткой.

Потом началась война. Киностудию эвакуировали. Дуся вместе с громоздким имуществом осветительного цеха долго ехала в теплушке все дальше в тыл, в Среднюю Азию. Там, в большом среднеазиатском городе, теплушка остановилась и дальше не пошла.

Киностудия временно разместилась на одной из узких улочек старого города, в маленьких помещениях, никак не предназначенных для киносъемок.

Время было тяжелое. С фронтов одно за другим доходили самые неутешительные известия. Давали свет только на несколько часов по ночам, и то с перерывами, потому что электроэнергия была нужна для эвакуированных сюда военных заводов.

Больших картин не снимали, делали только боевые киносборники, состоявший каждый из нескольких короткометражек.

Почти никто еще толком не знал, как снимать войну, но все хотели снимать именно войну, и в каждой короткометражке непременно было много выстрелов, беготни и умирающих людей.

Для съемок в городе не было танков, которые ушли на фронт; не было самолетов, которые улетели отсюда; не было немецких ка-

сок, обмундирования, оружия, потому что тогда немцев еще очень мало брали в плен. Не было, наконец, саксаула, чтобы топить павильон, и актеры, свободные от съемки, окружали Дусину пятисотку, чтобы хоть немного погреть около нее леденевшие руки.

Почти все осветители-мужчины ушли на фронт. Дуся приходила по утрам в барак, где было общежитие, ложилась на свой топчан прямо в ватнике, штанах и сапогах и, закрыв глаза, мучительно думала.

Ей казалось, особенно в дни плохих сводок, что все, что она и другие делают здесь, вовсе не нужно и ни к чему и что настоящее дело только там, на фронте, куда уехало большинство ее товарищей по цеху.

Однажды, весной 1942 года, она пошла в военный комиссариат и записалась добровольцем на фронт.

Когда она пришла прощаться в киностудию, режиссер, с которым она последнее время работала, раньше толстый, а сейчас похудевший наполовину, шумный, часто бранившийся человек, посмотрел на нее грустными глазами и сказал:

— Жалко, жалко.

Но ничего не возразил. Потом он посмотрел на нее еще раз и сказал:

— Я тоже просился на фронт, но мне не разрешили, сказали, что нужней, чтобы я делал вот это.

Он кивнул на угол павильона, где в это время стояла декорация подъезда какого-то дома с иностранной вывеской: в студии снималась картина о подпольной борьбе с немцами в оккупированных странах Западной Европы.

Дусе в ее нынешнем настроении съемки этой картины казались особенно ненужными.

«Какая уж там Западная Европа,— подумала она,— когда немцы Харьков взяли».

И, с сожалением последний раз посмотрев на режиссера, она протянула ему руку и попрощалась.

Над Белградом стояла тихая темная ночь. Сегодня утром были убиты последние, засевшие на чердаках, немцы. Бои перекочевали за Дунай и Саву, и в оглушенном семидневным сражением городе стояла небывалая тишина.

Генерал, командовавший стрелковой дивизией, которая брала южную часть города, любил музыку и песни до самозабвения. Когда-то мальчишкой он пел несколько лет на клиросе. Должно быть, любовь к пению возникла у него именно с тех пор. Во всяком случае, каждый человек в дивизии, который имел голос и умел петь,

был для него человеком особым, которого он знал по имени, отчеству и фамилии, держал на особом счету, даже берег, поскольку это было возможно здесь, где был не штаб фронта и не штаб армии, а просто-напросто стрелковая дивизия.

Всякими правдами и неправдами генерал устроил у себя в дивизии маленький ансамбль, члены которого по штату числились санитарами, в спокойное время сидели в дивизионном тылу, а в бурное — ничего не поделаешь — в самом деле выносили раненых, как им и было положено.

Белград был взят, и дивизия должна была наутро, не задерживаясь, идти дальше, за Дунай, на север.

Но генералу хотелось чем-то ознаменовать этот день, и, вспомнив о своем ансамбле, он решил в ночь перед наступлением дать концерт в Народном театре — в самом большом из сохранившихся театральных зданий Белграда.

Весть об этой затее быстро распространилась, и к ночи в просторное здание театра наехало гостей даже больше, чем ожидалось.

Приехало много югославских офицеров и партизан. Приехал член Военного совета армии, кто-то из политотдела фронта, двое генералов из танкового корпуса, и несколько корреспондентов, и даже интендантский полковник из главного трофейного управления, с которым не далее как утром генерал имел такой крупный разговор, что, казалось бы, им лучше никогда в жизни не встречаться.

Ночь была очень темная и очень тихая. Должно быть, поэтому оживление, царившее у подъезда театра, было особенно заметно.

Одна за другой к дому с полным светом подъезжали легковые машины и «виллисы». Перекликались шоферы, шумно хлопали дверцы, и, обшаривая тротуар белыми кругами света от ночных фонарей, ходили взад и вперед автоматчики.

Дуся Желябова вместе с остальными товарищами по ансамблю ходила по сцене за еще закрытым занавесом и примеривалась, где кто будет стоять, куда поставить табуретки для баянистов и как подальше отодвинуть рояль, чтобы он не мешал русской пляске.

Все волновались — потому, что устали за время боев и несколько ночей перед этим не спали, и потому, что это был незнакомый город, и, главное, потому, что вчера в последнем бою лучший танцор, сержант Лариков, был ранен, а Оля Соломина, певшая в их ансамбле лирические песни, была убита.

Дуся попала в ансамбль всего три месяца тому назад и совсем случайно. Просто она как-то вечером пела у себя в батальоне, где была санинструктором, свои родные самарские «страданья», а генерал как раз приехал, услышал и заставил ее петь еще раз уже

при себе, а потом, через два дня, приказал зачислить ее в ансамбль.

Обычно она пела «страданья», волжские и другие частушки под гармонику. Но сегодня, после того как Оля Соломина погибла, Дусе нужно было петь не только за себя, но и за нсе.

Ей было грустно, и жаль Олю, и тревожно за себя: как она споет? И она, не выдержав, слыша, как там за занавесом наполняется людьми зал, подошла к занавесу и, чуть раздвинув его, выглянула.

В зале было много знакомых лиц, но еще больше незнакомых. Три четверти зала зеленело куртками югославских партизан. В самом первом ряду друг подле друга сидело несколько югославских священников в черных клобуках и черных рясах, с большими нагрудными крестами.

Свои, красноармейцы, сидели молча. У них были истомленные семидневными боями лица, но они терпеливо ждали, не переговариваясь и ничем не пытаясь нарушить тишину зала.

Наконец занавес раздвинулся. Два баяна исполнили «Светит месяц» и прелюдию Листа. Потом шел танец, в котором принимал участие почти весь ансамбль. В конце первого отделения должна была выступить Дуся, сначала со своими частушками, а потом с песенками, которые ей приходилось петь вместо Оли Соломиной.

Дуся видела и слышала, как в зале слушали выступление ее товарищей. Весь зал дружно аплодировал и, словно никого не желая обидеть, всех поочередно подолгу не отпускал со сцены.

Выходя, Дуся была спокойна за себя. Она знала, что все будет хорошо. Она под саратовскую гармошку спела «страданья», а потом частушки «Если Волга разольется, Волга матушка-река». Она пела их заученно весело и даже видела уголком глаза, как сидевшие в первом ряду священники улыбались после каждой частушки и громко хлопали, высоко поднимая свои длинные черные рукава.

И, однако, ей было все грустнее и тревожнее с приближением той минуты, когда придется петь первую песенку Оли Соломиной.

И вот подошла эта минута. Нужно было петь песню, начинавшуюся словами:

> О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?
> Гармонь твоя стонет и плачет...

Это была песенка, которую Оля особенно хорошо, с душой, пела.

И вдруг Дуся почувствовала, что она не может ее петь. Она растерянно посмотрела на зал и впервые, только в эту секунду со всей ясностью почувствовала, что это — далекая страна, что это —

Белград и что в зале — три четверти югославов, людей, говорящих на похожем, но все-таки непонятном языке.

Должно быть, от этого внезапного ощущения, что она за границей, она вспомнила холодный павильон киностудии в среднеазиатском городе и лицо режиссера, говорившего: «Сказали, что нужней, чтобы я делал вот это», и декорацию подъезда, и вывеску с иностранной надписью на ней, и слова песенки из этой картины, песенки, которую в тот месяц пела вся киностудия.

И неожиданно для себя, для товарищей, для всего зала Дуся сделала шаг вперед и, закрыв глаза, тихо запела эти вдруг пришедшие ей на память слова:

Ночь над Белградом тихая
Вышла на смену дня.
Вспомни, как ярко вспыхивал
Яростный гром огня,
Вспомни годину ужаса —
Черных машин полет...
Сердце сожми — прислушайся:
Песню ночь поет.
Пламя гнева горит в груди,
Пламя гнева, в поход нас веди!
Час расплаты готовь!
Смерть за смерть! Кровь за кровь!
В бой, славяне! Заря впереди!

Она пропела первый куплет и второй. Она пела, не думая о словах, не замечая их.

Перед ее глазами проносились в эти минуты холодные зимние дни первого года войны, и далекий среднеазиатский город, и листы газет со сводками, кончавшимися словами: «После упорных боев нашими войсками оставлен...», и нетопленные павильоны, в которых тогда,— боже мой, как это было давно! — именно тогда, когда были эти страшные слова в газетах, снималась картина о далеком городе, где она сейчас пела эту песенку.

«Неужели кто-то думал и знал тогда о том, что через три года мы будем в этом самом городе? Неужели кто-то мог об этом догадываться и предвидеть? — мысленно спрашивала себя Дуся, И мысленно же отвечала: — Да, да, как это ни странно, но — да. Кто-то знал, и думал, и догадывался, и предвидел. Наверно, так, потому что иначе не могло быть ничего из того, что случилось за эти годы».

Она кончила песню. Зал молчал как завороженный.

А потом случилось такое, чего Дуся никогда не видела. Люди начали хлопать. Хлопали все сильней и сильней. Потом они начали что-то кричать и по одному подниматься с мест, и опять хлопать, и еще хлопать, уже стоя.

И она поняла, что она никуда не уйдет, если не споет эту песню второй раз. Она беспомощно подняла руки перед кричавшим и громыхавшим залом.

И зал так же неожиданно и покорно затих, как неожиданно и бурно поднялся.

И Дусе в этой тишине захотелось, перед тем как снова петь, сказать о том, что она только что подумала.

— Эта песня,— сказала она, делая шаг вперед,— из одной кинокартины о вашем Белграде. Эту картину мы снимали три года назад, очень далеко отсюда, в эвакуации. И немцы взяли Харьков. И были под Москвой. Но мы все равно снимали эту картину. Я тогда работала на киностудии.

И оттого, что она вспомнила о самой себе, она смутилась и, отступив на шаг, растерянно сказала:

— Вот... Я ее еще раз спою.

И начала петь еще раз.

На большой сцене Народного театра в Белграде стояла маленькая некрасивая девушка в солдатской гимнастерке, в грубых кирзовых сапогах и пела неуверенным, то звеневшим, то срывавшимся голосом песню «Ночь над Белградом».

А в зале плакали. Плакали люди, три с половиной года бывшие партизанами и не раз смотревшие смерти в глаза.

И когда я сейчас вспоминаю этот вечер, я думаю, что она пела, быть может, и не очень хорошо. Но люди плакали.

Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать.

20 декабря 1944 г. «Правда»

КАФЕ «СТАЛИНГРАД»

По дороге из Лясковаца на Пирот мы остановились на ночлег в городке Власотинцы. Городок был взят у немцев только позавчера, но маленькая харчевня, в которой мы, ужиная, засиделись далеко за полночь, уже называлась кафе «Сталинград».

Это величественное название, написанное красной краской на разбитом и заклеенном стекле единственного окна, выглядело наивно и трогательно, вызывая невольную улыбку.

Нас было человек пятнадцать, и хозяин сдвинул вместе все три грубых деревянных стола, находившихся в кафе.

Ужин, который, впрочем, был для нас одновременно и завтраком и обедом, потому что мы ничего не ели со вчерашнего дня, тянулся добрых два часа.

Покончив с мясом и красным перцем, составлявшими в разных комбинациях все наличное меню, мы еще долго сидели, греясь у большого очага и с удовольствием прополаскивая опаленные перцем глотки кисловатым белым вином.

Командир бригады майор Симич, взяв со стола кувшин с вином, поднял его и неуловимым движением, как-то по-особому наклонив и чуть повернув, на лету прямо ртом поймал начавшую литься оттуда струю. Потом он начал отодвигать руку с кувшином все дальше и дальше от лица, но струя по-прежнему неизменно попадала ему в рот.

Когда он снова поставил кувшин на стол, не произнесший до этого за весь вечер ни слова молчаливый русский капитан, приехавший в город для оборудования аэродрома, повернулся к Симичу.

— Наверное, в Испании бывали? — спросил он.

— Бывал.

— Там все так вино пьют,— сказал капитан и, закурив, снова погрузился в молчание.

Симич долго смотрел на бушевавший в очаге огонь и наконец задумчиво произнес, обращаясь ко мне:

— В очаге всегда видишь какие-нибудь картины. Верно?

— Картины?

— Да. Смотришь и вспоминаешь. Огонь всегда на что-нибудь похож. Вот сейчас он весь языками — как будто горы около Сантандера, и сучки щелкают, как выстрелы.

При этих словах лицо его, обращенное ко мне, стало печальным.

— Вы что, были в последние дни Сантандера? — спросил я.

— А иногда,— сказал он, прямо не отвечая на мой вопрос,— иногда видишь в огне лицо человека, которого нет, и это, конечно, уже вовсе фантазия, потому что огонь совсем не похож на лицо человека. А все-таки видишь... Да, я видел последние дни Сантандера и как раз вспомнил одного человека, с которым мы были там вместе в Интернациональной бригаде.

Симич не был разговорчив, но я успел заметить, что, раз начав говорить о чем-нибудь, он обычно договаривал до конца все, что было у него на душе.

Я молчал и ждал продолжения.

— Я командовал там батареей, а он у меня был в батарее командиром орудия,— после длинной паузы сказал Симич.— Он был болгарин, Попов. Правда, у него была там другая фамилия, но это не важно, я знал настоящую.

В последний день у нас из четырех осталось две пушки. Все лошади были побиты бомбежкой, пушки двигали на руках, а чтобы вообще утащить их, нечего было и думать. Испанская зима — дождь и грязь...

— Да, там зимой грязь отчаянная,— второй раз неожиданно отозвался русский капитан и так же неожиданно замолчал и отвернулся, как будто эти слова были сказаны не им, а кем-то другим.

— Совершенно верно,— подтвердил Симич,— грязь ужасная. Скоро мне разбили еще одну пушку и убили расчет, и я пошел к Попову. Последняя пушка была его.

В это время как раз пошли немецкие танки и марокканцы. Мы стали стрелять по ним. У Попова остался только один человек и я. Мы подносили снаряды и заряжали, а Попов стрелял. Потом у нас убило еще одного. Мы остались с Поповым вдвоем. Все время, не переставая, шел сильный дождь. Но Попов, когда я подошел, был без своей кожаной куртки, а потом стащил с себя рубашку и остался полуголым. Ему было жарко.

Скоро мы подожгли один танк и как будто еще один, но снарядов у нас оставалось всего три штуки.

Тогда Попов оторвался от пушки, нагнулся и достал наполовину закопанный в землю кувшин с пивом.

«Какая жара, а, Пабло?» — сказал он мне. (Меня так звали там — Пабло.)

Он пил из этого кувшина по-испански, как я недавно, ловя струю ртом, жадно глотал и все повторял: «Жара, Пабло, жара!» По его голому телу текли струи дождя.

Я тоже напился из кувшина, и мы выпустили последние три снаряда. Попова ранило прямо в грудь, и он упал. Я вынул замок из пушки, закинул его подальше и поднял Попова на плечи.

Он говорил мне то, что многие говорят в такие минуты: «Слушай, Пабло, оставь меня, Пабло». И ругался на всех трех языках, которые он знал.

Но я дотащил его до ущелья и спустился вниз. Республиканцы подобрали там нас обоих, потому что я тоже был ранен.

Его отправили из Сантандера с последней партией раненых, которая оттуда выбралась. А я остался. Я был ранен не особенно тяжело.

«Спасибо, Пабло, прощай»,— сказал он мне, когда его увозили.

«Почему — «прощай»? Еще увидимся»,— ответил я ему, хотя на самом деле совсем не думал, что мы с ним увидимся.

Симич долго молчал, ожесточенно колотя кочергой головешки в очаге. Потом сердито заговорил:

— Откуда я мог знать, что мы с ним увидимся? Я был из тех, кто в Испании допил всю чашу до дна. Ведь в Европе тогда еще не хотели понимать, что такое фашизм. Я переходил французскую границу, сидел два года во французском концлагере, бежал, потом сидел в немецком концлагере, опять бежал. Откуда я мог знать, что мы увидимся? Этого никто не мог тогда сказать.

Он снова свирепо заколотил кочергой по головешкам, словно вымещая на них неутихающую горечь своих воспоминаний.

Разбив все до одной головешки на маленькие угли, он сказал снова спокойно:

— Ну вот, теперь угара не будет... Полгода назад меня послали командовать бригадой в Северную Македонию. Там было тогда плохо, и туда многих посылали.

Я шел пешком через горы одиннадцать суток и добрался до бригады вечером на двенадцатые, усталый и более злой, чем обычно.

Начальник штаба доложил мне о делах, которые последний месяц шли невесело. В заключение, оставив эту неприятность под самый конец, он сказал, что из трех командиров батальона двух нет в строю: один убит, а другой вчера тяжело ранен.

«Где он?»

«Похоронен».

«Да нет, раненый».

«Здесь, в соседнем доме».

Я сказал, чтобы меня провели к раненому. В деревне уже два раза побывали немцы, и от нее остались только развалины. В доме, в который я вошел, не было ни дверей, ни оконных рам; с остатков крыши струи дождя падали прямо на глиняный пол. Раненый лежал в углу на охапке соломы, накрытый с головой двумя шинелями, и хрипло, со свистом дышал, так что было слышно на весь дом.

«Что, легкое прострелено?» — тихо спросил я.

«Да»,— сказал начальник штаба.

Раненый застонал и что-то быстро проговорил. Я наклонился к нему, стараясь понять.

«Это он бредит,— сказал мне начальник штаба.— Ты не поймешь. Он вообще хорошо по-сербски говорит, а когда бредит — по-своему. Он болгарин».

«Давно в бригаде?» — спросил я.

«Год. Перешел границу и пришел к нам. Бойцом сначала. Храбрый человек».

Раненый повернулся на соломе, открыл глаза, и, увидев его мокрое от холодного пота лицо, я узнал его.

«Попов!» — позвал я.

«А, Пабло»,— сказал он спокойно, и потому, что он нисколько не удивился, я понял, что он умирает.

«Сядь! — сказал он.— Только положи шинель, тут мокро».

Я сел рядом с ним и сказал, что назначен командиром их бригады и он снова будет служить под моей командой.

Он ничего не ответил: он знал, что уже не будет служить ни под чьей командой.

Мы несколько минут просидели молча. Потом он приподнялся на соломе, прислонил голову к стене и сказал:

«Опять в грудь. Как тогда. И, ты знаешь,— опять танк».

«Тяжелый танк,— вмешался в разговор начальник штаба.— Он сам встал за пушку и зажег его. Он тебе расскажет. Ты расскажи командиру»,— обратился он к Попову.

Но Попов ничего не ответил. Видимо, все это было уже далеко от него и мало его интересовало.

Помолчав с минуту, он дотронулся до моей руки и тихо сказал:

«Ты, Пабло, не ожидал меня здесь встретить, да?»

«Почему не ожидал?»

«Не ожидал, не ожидал,— упрямо повторил он.— Я же болгарин».

«Ты антифашист»,— сказал я.

«Да, да,— прошептал он.— И ты не верь тому, что говорят про наш народ из-за того, что этот проклятый болгарский экспедиционный корпус стоит здесь, в Македонии».

«Про народ ничего не говорят».

«Говорят, говорят,— зашептал он.— Болгары, болгары. И про меня когда-то говорили, когда я был жив».

Он уже так свыкся с мыслью о смерти, что сказал о себе в прошедшем времени.

«Хороший, хотя и болгарин, храбрый, хотя и болгарин... Нельзя так! Димитров тоже болгарин. А этих, которые сейчас там, в Софии, фашистов,— мы их расстреляем. Помнишь, как мы с тобой расстреляли тех, из пятой колонны, в Таррагоне? Помнишь?»

«Помню»,— сказал я.

Он еще выше приподнялся на соломе и, переждав приступ кашля, громко сказал:

«А танк был совсем как тогда, и дождь шел. Только не было пива, помнишь, из горлышка...»

Потом бессильно опустился на солому и, закрыв глаза, попросил:

«Слушай, спой «Бандера Роха».

Я молчал.

«Спой».

Было странно вдруг петь здесь, в разбитой македонской хате, старую песню испанских республиканцев, но я не мог ему отказать и спел один куплет.

«Дальше».

«Дальше я не помню».

«А я помню.— Он запел, но снова закашлялся.— Нет, не могу петь. А все-таки, Пабло, не для того,— сказал он совсем тихо, после долгого молчания,— не для того мы там вместе стреляли из одной пушки — ты и я, чтобы здесь сидел этот проклятый экспедиционный корпус. Не для того,— повторил он с нескрываемой горечью и мукой.— Не может быть, чтобы так было и дальше. Не может этого быть!»

Это были последние слова, которые я от него слышал. Он отвернулся к стене.

Не знаю, не хотел он дольше говорить или не мог, но через час он умер, не сказав больше ни одного слова.

— Вот о ком я вспомнил, глядя на огонь, когда вы меня спросили, был ли я в Испании,— сказал Симич, повертываясь к русскому капитану.— Вы там тоже, конечно, были?

— Как вам сказать,— в первый раз за весь вечер улыбнулся капитан,— но «Бандера Роха» напоминает мне молодость, и я бы тоже, пожалуй, не отказался услышать ее перед смертью.

— Дымно,— сказал Симич.— Давайте выйдем на воздух.

Мы открыли дверь и вышли. Была ясная лунная ночь. По Нишскому шоссе беспрерывно шли войска. Двигалась югославская пехота, ехали тупоносые грузовики «рено» с прицепленными к ним короткими полевыми болгарскими пушками. Болгарские и югославские солдаты шли, тихо переговариваясь, позванивая оружием. То здесь, то там вспыхивали красные точки сигарет.

— Попов был прав,— обратился я к Симичу,— этого не могло не быть.

— Да,— просто сказал Симич.— Хотя тогда казалось, что до этого еще очень далеко.

21 декабря 1944 г. «Красная звезда»

КНИГА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Высокий, покрытый хвойным лесом холм, на котором похоронен Неизвестный солдат, виден почти с каждой улицы Белграда. Если у вас есть бинокль, то, несмотря на расстояние в пятнадцать километров, на самой вершине холма вы заметите какое-то квадратное возвышение. Это и есть могила Неизвестного солдата.

Если вы выедете из Белграда на восток по Пожаревацкой дороге, а потом свернете с нее налево, то по узкому асфальтированному шоссе вы скоро доедете до подножия холма и, огибая холм плавными поворотами, начнете подниматься к вершине между двумя сплошными рядами вековых сосен, подножия которых опутаны кустами волчьих ягод и папоротником.

Дорога выведет вас на гладкую асфальтированную площадку. Дальше вы не проедете. Прямо перед вами будет бесконечно подниматься вверх широкая лестница, сложенная из грубо обтесанного серого гранита. Вы будете долго идти по ней мимо серых парапетов с бронзовыми факелами, пока наконец не доберетесь до самой вершины.

Вы увидите большой гранитный квадрат, окаймленный мощным парапетом, и посредине квадрата, наконец, самую могилу — тоже тяжелую, квадратную, облицованную серым мрамором. Крышу ее с обеих сторон вместо колонн поддерживают на плечах восемь согбенных фигур плачущих женщин, изваянных из огромных кусков все того же серого мрамора.

Внутри вас поразит строгая простота могилы. Вровень с каменным полом, истертым бесчисленным множеством ног, вделана большая медная доска.

На доске вырезано всего несколько слов, самых простых, какие только можно себе представить:

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

И дата:

1912—1918

А на мраморных стенах слева и справа вы увидите увядшие венки с выцветшими лентами, возложенные сюда в разные времена, искренне и неискренне, послами сорока государств.

Вот и все. А теперь выйдите наружу и с порога могилы посмотрите во все четыре стороны света. Быть может, вам еще раз в жизни (а это бывает в жизни много раз) покажется, что вы никогда не видели ничего красивее и величественнее.

На востоке вы увидите бесконечные леса и перелески с вьющимися между ними узкими лесными дорогами.

На юге вам откроются мягкие желто-зеленые очертания осенних холмов Сербии, зеленые пятна пастбищ, желтые полосы жнивья, красные квадратики сельских черепичных крыш и бесчисленные черные точки бредущих по холмам стад.

На западе вы увидите Белград, разбитый бомбардировками, искалеченный боями и все же прекрасный Белград, белеющий среди блеклой зелени увядающих садов и парков.

На севере вам бросится в глаза могучая серая лента бурного осеннего Дуная, а за ней тучные пастбища и черные поля Воеводина и Баната.

И только когда вы окинете отсюда взглядом все четыре стороны света, вы поймете, почему Неизвестный солдат похоронен именно здесь.

Он похоронен здесь потому, что отсюда простым глазом видна вся прекрасная сербская земля, все, что он любил и за что он умер.

Так выглядит могила Неизвестного солдата, о которой я рассказываю потому, что именно она будет местом действия моего рассказа.

Правда, в тот день, о котором пойдет речь, обе сражавшиеся стороны меньше всего интересовались историческим прошлым этого холма.

Для трех немецких артиллеристов, оставленных здесь передовыми наблюдателями, могила Неизвестного солдата была только лучшим на местности наблюдательным пунктом, с которого они, однако, уже дважды безуспешно запрашивали по радио разрешения уйти, потому что русские и югославы начинали все ближе подходить к холму.

Все трое немцев были из белградского гарнизона и прекрасно знали, что это могила Неизвестного солдата и что на случай артиллерийского обстрела у могилы и толстые и прочные стены. Это было, по их мнению, хорошо, а все остальное их нисколько не интересовало. Так обстояло с немцами.

Русские тоже рассматривали этот холм с домиком на вершине как прекрасный наблюдательный пункт, но наблюдатель-

ный пункт неприятельский и, следовательно, подлежащий обстрелу.

— Что это за жилое строение? Чудное какое-то, сроду такого не видал,— говорил командир батареи капитан Николаенко, в пятый раз внимательно рассматривая в бинокль могилу Неизвестного солдата.— А немцы сидят там, это уж точно. Ну как, подготовлены данные для ведения огня?

— Так точно! — отрапортовал стоявший рядом с капитаном командир взвода, молоденький лейтенант Прудников.

— Начинай пристрелку.

Пристрелялись быстро, тремя снарядами. Два взрыли обрыв под самым парапетом, подняв целый фонтан земли. Третий ударил в парапет. В бинокль было видно, как полетели осколки камней.

— Ишь брызнуло! — сказал Николаенко.— Переходи на поражение.

Но лейтенант Прудников, до этого долго и напряженно, словно что-то вспоминая, всматривавшийся в бинокль, вдруг полез в полевую сумку, вытащил из нее немецкий трофейный план Белграда и, положив его поверх своей двухверстки, стал торопливо водить по нему пальцем.

— В чем дело? — строго сказал Николаенко.— Нечего уточнять, все и так ясно.

— Разрешите, одну минуту, товарищ капитан,— пробормотал Прудников.

Он несколько раз быстро посмотрел на план, на холм и снова на план и вдруг, решительно уткнув палец в какую-то наконец найденную им точку, поднял глаза на капитана.

— А вы знаете, что это такое, товарищ капитан?

— Что?

— А все — и холм, и это жилое строение?

— Ну?

— Это могила Неизвестного солдата. Я все смотрел и сомневался. Я где-то на фотографии в книге видел. Точно. Вот она и на плане — могила Неизвестного солдата.

Для Прудникова, когда-то до войны учившегося на историческом факультете МГУ, это открытие представлялось чрезвычайно важным. Но капитан Николаенко неожиданно для Прудникова не проявил никакой отзывчивости. Он ответил спокойно и даже несколько подозрительно:

— Какого еще там неизвестного солдата? Давай веди огонь.

— Товарищ капитан, разрешите! — просительно глядя в глаза Николаенко, сказал Прудников.

— Ну, что еще?

— Вы, может быть, не знаете... Это ведь не просто могила. Это, как бы сказать, национальный памятник. Ну...— Прудников остановился, подбирая слова.— Ну, символ всех погибших за родину. Одного солдата, которого не опознали, похоронили вместо всех, в их честь, и теперь это для всей страны как память.

— Подожди, не тараторь,— сказал Николаенко и, наморщив лоб, на целую минуту задумался.

Был он большой души человек, несмотря на грубость, любимец всей батареи и хороший артиллерист. Но, начав войну простым бойцом-наводчиком и дослужившись кровью и доблестью до капитана, в трудах и боях так и не успел он узнать многих вещей, которые, может, и следовало бы знать офицеру. Он имел слабое понятие об истории, если дело не шло о его прямых счетах с немцами, и о географии, если вопрос не касался населенного пункта, который надо взять. А что до могилы Неизвестного солдата, то он и вовсе слышал о ней в первый раз.

Однако, хотя сейчас он не все понял в словах Прудникова, своей солдатской душой почувствовал, что, должно быть, Прудников волнуется не зря и что речь идет о чем-то в самом деле стоящем.

— Подожди,— повторил он еще раз, распустив морщины.— Ты скажи толком, чей солдат, с кем воевал,— вот ты мне что скажи!

— Сербский солдат, в общем, югославский,— сказал Прудников.— Воевал с немцами в прошлую войну четырнадцатого года.

— Вот теперь ясно.

Николаенко с удовольствием почувствовал, что теперь действительно все ясно и можно принять по этому вопросу правильное решение.

— Все ясно,— повторил он.— Ясно, кто и что. А то плетешь невесть чего — «неизвестный, неизвестный». Какой же он неизвестный, когда он сербский и с немцами в ту войну воевал? Отставить огонь! Вызовите ко мне Федотова с двумя бойцами.

Через пять минут перед Николаенко предстал сержант Федотов, неразговорчивый костромич с медвежьими повадками и непроницаемо-спокойным при всех обстоятельствах, широким, рябоватым лицом. С ним пришли еще двое разведчиков, тоже вполне снаряженные и готовые.

Николаенко кратко объяснил Федотову его задачу — влезть на холм и без лишнего шума снять немецких наблюдателей. Потом он с некоторым сожалением посмотрел на гранаты, в обильном количестве подвешенные к поясу Федотова, и сказал:

— Этот дом, что на горе, он — историческое прошлое, так что ты в самом доме гранатами не балуйся, и так наковыряли. Если что — с автомата сними немца, и все. Понятна твоя задача?

— Понятна,— сказал Федотов и стал взбираться на холм в сопровождении своих двух разведчиков.

Старик-серб, сторож при могиле Неизвестного солдата, весь этот день с утра не находил себе места.

Первые два дня, когда немцы появились на могиле, притащив с собой стереотрубу, рацию и пулемет, старик по привычке толокся наверху под аркой, подметал плиты и пучком перьев, привязанных к палке, смахивал пыль с венков.

Он был очень стар, а немцы были очень заняты своим делом и не обращали на него внимания. Только вечером второго дня один из них наткнулся на старика, с удивлением посмотрел на него, повернул за плечи спиной к себе и, сказав: «Убирайся», шутливо и, как ему казалось, слегка поддал старика под зад коленкой. Старик, спотыкаясь, сделал несколько шагов, чтобы удержать равновесие, спустился по лестнице и больше уже не поднимался к могиле.

Он был очень стар и еще в ту войну потерял всех своих четырех сыновей. Поэтому он и получил это место сторожа и поэтому же у него было свое особенное, скрываемое от всех, отношение к могиле Неизвестного солдата. Где-то в глубине души ему казалось, что в этой могиле похоронен один из его четырех сыновей.

Сначала эта мысль только изредка мелькала в его голове, но после того как он столько лет безотлучно пробыл на могиле, эта странная мысль превратилась у него в уверенность. Он никому и никогда не говорил об этом, зная, что над ним будут смеяться, но про себя все крепче свыкался с этой мыслью и, оставшись наедине с самим собой, только думал: который из четырех?

Прогнанный немцами с могилы, он плохо спал ночь и слонялся внизу вокруг парапета, страдая от обиды и от нарушения многолетней привычки — подниматься каждое утро туда, наверх.

Когда раздались первые разрывы, он спокойно сел, прислонившись спиною к парапету, и стал ждать — что-то должно было перемениться.

Несмотря на свою старость и жизнь в этом глухом месте, он знал, что русские наступают на Белград и, значит, в конце концов должны прийти сюда. После нескольких разрывов все затихло на целых два часа, только немцы шумно возились там наверху, громко кричали что-то и ругались между собой.

Потом вдруг они начали стрелять из пулемета вниз. И кто-то снизу тоже стрелял из пулемета. Потом близко, под самым парапетом, раздался громкий взрыв, и наступила тишина. А через минуту всего в каких-нибудь десяти шагах от старика с парапета кубарем прыгнул немец, упал, быстро вскочил и побежал вниз, к лесу.

Старик на этот раз не слышал выстрела, он только увидел, как немец, не добежав нескольких шагов до первых деревьев, подпрыгнул, повернулся и упал ничком. Старик перестал обращать внимание на немца и прислушался. Наверху, у могилы, слышались чьи-то тяжелые шаги. Старик поднялся и двинулся вокруг парапета к лестнице.

Сержант Федотов,— потому что услышанные стариком тяжелые шаги наверху были именно его шагами,— убедившись, что, кроме трех убитых, здесь больше нет ни одного немца, поджидал на могиле своих двух разведчиков, которые оба были легко ранены при перестрелке и сейчас еще карабкались на гору.

Федотов обошел могилу и, зайдя внутрь, рассматривал висевшие на стенах венки.

Венки были погребальные,— именно по ним Федотов понял, что это могила, и, разглядывая мраморные стены и статуи, думал о том, чья бы это могла быть такая богатая могила.

За этим занятием его застал старик, вошедший с противоположной стороны.

По виду старика Федотов сразу вывел правильное заключение, что это сторож при могиле, и, сделав три шага ему навстречу, похлопал старика по плечу свободной от автомата рукой и сказал именно ту успокоительную фразу, которую он всегда говорил во всех подобных случаях:

— Ничего, папаша. Будет порядок!

Старик не знал, что значат слова: «Будет порядок!», но широкое рябоватое лицо русского осветилось при этих словах такой успокоительной улыбкой, что старик в ответ тоже невольно улыбнулся.

— А что малость поковыряли,— продолжал Федотов, нимало не заботясь, понимает его старик или нет,— что поковыряли, так это же не сто пятьдесят два, это семьдесят шесть, заделать пара пустяков. И граната тоже пустяк, а мне их без гранаты взять никак нельзя было,— объяснил он так, словно перед ним стоял не старик-сторож, а капитан Николаенко.— Вот какое дело,— заключил он.— Понятно?

Старик закивал головой — он не понял того, что сказал Федотов, но смысл слов русского, он чувствовал, был такой же успокоительный, как и его широкая улыбка, и старику захотелось,

в свою очередь, сказать ему в ответ что-то хорошее и значительное.

— Здесь похоронен мой сын,— неожиданно для себя, в первый раз в жизни громко и торжественно сказал он.— Мой сын,— старик показал себе на грудь, а потом на бронзовую плиту.

Он сказал это и с затаенным страхом посмотрел на русского: сейчас тот не поверит и будет смеяться.

Но Федотов не удивился. Он был советский человек, и его не могло удивить то, что у этого бедно одетого старика сын похоронен в такой могиле.

«Стало быть, отец, вот оно что,— подумал Федотов.— Сын, наверно, известный человек был, может, генерал».

Он вспомнил похороны Ватутина, на которых он был в Киеве, просто, по-крестьянски одетых стариков-родителей, шедших за гробом, и десятки тысяч людей, стоявших кругом.

— Понятно,— сказал он, сочувственно посмотрев на старика.— Понятно. Богатая могила.

И старик понял, что русский ему не только поверил, но и не удивился необычайности его слов, и благодарное чувство к этому русскому солдату переполнило его сердце.

Он поспешно нащупал в кармане ключ и, открыв вделанную в стену железную дверцу шкафа, достал оттуда переплетенную в кожу книгу почетных посетителей и вечное перо.

— Пиши,— сказал он Федотову и протянул ему ручку.

Приставив к стене автомат, Федотов взял в одну руку вечное перо, а другой перелистнул книгу.

Она пестрела пышными автографами и витиеватыми росчерками неведомых ему царственных особ, министров, посланников и генералов, ее гладкая бумага блестела, как атлас, и листы, соединяясь друг с другом, складывались в один сияющий золотой обрез.

Федотов спокойно перевернул последнюю исписанную страницу. Как он не удивился раньше тому, что здесь похоронен сын старика, так он не удивился и тому, что ему надо расписаться в этой книге с золотым обрезом. Открыв чистый лист, он, с никогда не покидавшим его чувством собственного достоинства, своим крупным, как у детей, твердым почерком неторопливо вывел через весь лист фамилию «Федотов» и, закрыв книгу, отдал вечное перо старику.

— Федотов! — донесся снаружи голос одного из бойцов, наконец взобравшихся на гору.

— Здесь я! — откликнулся Федотов и вышел на воздух.

На пятьдесят километров во все стороны земля была открыта его взгляду.

На востоке тянулись бесконечные леса.

На юге желтели осенние холмы Сербии.

На севере серой лентой извивался бурный Дунай.

На западе лежал белеющий среди увядающей зелени лесов и парков еще не освобожденный Белград, над которым курились дымы первых выстрелов.

А в железном шкафу рядом с могилой Неизвестного солдата лежала книга почетных посетителей, где самой последней стояла написанная твердой рукой фамилия еще вчера никому не известного здесь советского солдата Федотова, родившегося в Костроме, отступавшего до Волги и смотревшего сейчас отсюда вниз, на Белград, до которого он шел три тысячи верст, чтобы освободить его.

28 декабря 1944 г. «Красная звезда»

СВЕЧА

История, которую я хочу рассказать, произошла 19 октября сорок четвертого года.

К этому времени Белград был уже взят, в руках у немцев оставался только мост через реку Саву и маленький клочок земли перед ним на этом берегу.

На рассвете пять красноармейцев решили незаметно пробраться к мосту. Путь их лежал через небольшой полукруглый скверик, в котором стояло несколько сгоревших танков и бронемашин, наших и немецких, и не было ни одного целого дерева, торчали только расщепленные стволы, словно обломанные чьей-то грубой рукой на высоте человеческого роста.

Посреди сквера красноармейцев застиг получасовой минный налет с того берега. Полчаса они пролежали под огнем, и наконец, когда немножко затихло, двое легкораненых уползли назад, таща на себе двух тяжелораненых. Пятый — мертвый — остался лежать в сквере.

Я ничего не знаю о нем, кроме того, что по ротным спискам его фамилия была Чекулев и что он погиб девятнадцатого числа утром в Белграде, на берегу реки Савы.

Должно быть, немцы были встревожены попыткой красноармейцев незаметно пробраться к мосту, потому что весь день после этого они с маленькими перерывами стреляли из минометов по скверу и по прилегавшей к нему улице.

Командир роты, которому было приказано завтра перед рассветом повторить попытку пробраться к мосту, сказал, что за телом Чекулева можно пока не ходить, что его похоронят потом, когда мост будет взят.

А немцы все стреляли — и днем, и на закате, и в сумерках.

Около самого сквера, поодаль от остальных домов, торчали развалины каменного дома. Его почти сровняло с землей в первые

же дни, и никому не приходило в голову, что здесь еще может кто-нибудь жить.

А между тем под развалинами, в подвале, куда вела черная, наполовину заваленная кирпичами дыра, жила старуха Мария Джокич. У нее раньше была комната на втором этаже, оставшаяся после покойного мужа, мостового сторожа. Когда разбило второй этаж, она перебралась в комнату первого этажа. Когда разбило первый этаж, она перешла в подвал.

Девятнадцатого был уже четвертый день, как она сидела в подвале. Утром она прекрасно видела, как в сквер, отделенный от нее только искалеченной железной решеткой, проползли пять русских солдат. Она видела, как по ним стали стрелять немцы, как кругом разорвалось много мин. Она даже наполовину высунулась из своего подвала и только хотела крикнуть русским, чтобы они ползли к подвалу, потому что она была уверена, что там, где она живет, безопаснее, как в эту минуту одна мина разорвалась около развалины, и старуха, оглушенная, свалилась вниз, больно ударилась головой о стену и потеряла сознание.

Когда она очнулась и снова выглянула, то увидела, что из всех русских в сквере остался один. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положив под голову, словно хотел поудобнее устроиться спать. Старуха окликнула его несколько раз, но он ничего не ответил. И она поняла, что он убит.

Немцы иногда стреляли, и в скверике продолжали взрываться мины, поднимая черные столбы земли и срезая осколками последние ветки с деревьев. Убитый русский одиноко лежал, подложив мертвую руку под голову, в голом скверике, где вокруг него валялось только изуродованное железо и мертвое дерево.

Старуха Джокич долго смотрела на убитого и думала. Если бы хоть одно живое существо было рядом, то она, наверное, рассказала бы ему о своих мыслях, но рядом никого не было. Даже кошка, четыре дня жившая с ней в подвале, была убита при последнем взрыве осколками кирпича. Порывшись в своем единственном узле, старуха вытащила оттуда что-то, спрятала под черный вдовий платок и неторопливо вылезла из подвала.

Она не умела ни ползать, ни перебегать, она просто пошла своим медленным старушечьим шагом к скверу. Когда на пути ее встретился кусок решетки, оставшейся целой, она не стала перелезать через нее, она была слишком стара для этого. Она медленно пошла вдоль решетки, обогнула ее и вышла в сквер.

Немцы продолжали стрелять по скверу из минометов, но ни одна мина не упала близко от старухи.

Она прошла через сквер и дошла до того места, где лежал убитый русский красноармеец. Она с трудом перевернула его лицом

вверх и увидела, что лицо у него молодое и очень бледное. Она пригладила его волосы, с трудом сложила на груди его руки и села рядом с ним на землю.

Немцы продолжали стрелять, но все их мины по-прежнему падали далеко от нее.

Так она сидела рядом с ним, может быть, час, а может быть, два и молчала.

Было холодно и тихо, очень тихо, за исключением тех секунд, в которые рвались мины.

Наконец старуха поднялась и, отойдя от мертвого, сделала несколько шагов по скверу. Вскоре она нашла то, что искала: это была большая воронка от тяжелого снаряда, уже начавшая наполняться водой.

Опустившись в воронке на колени, старуха стала горстями выплескивать со дна накопившуюся там воду. Несколько раз она отдыхала и снова принималась за это. Когда в воронке не осталось больше воды, старуха вернулась к мертвому русскому. Она взяла его под мышки и потащила.

Тащить нужно было всего десять шагов, но она была стара и три раза за это время садилась и отдыхала. Наконец она дотащила мертвого до воронки и стянула вниз. Сделав это, она почувствовала себя совсем усталой и долго сидела и отдыхала.

А немцы все стреляли, и по-прежнему их мины рвались далеко от нее.

Отдохнув, она поднялась и, став на колени, перекрестила мертвого русского и поцеловала его в губы и в лоб.

Потом стала потихоньку заваливать его землей, которой было очень много по краям воронки. Скоро она засыпала его полностью. Но это показалось ей недостаточным. Она хотела сделать настоящую могилу и, снова отдохнув, начала подгребать землю. Через несколько часов она горстями насыпала над мертвым маленький холмик.

Уже вечерело. А немцы все стреляли.

Насыпав холмик, она развернула свой черный вдовий платок и достала большую восковую свечу, одну из двух венчальных свечей, сорок пять лет хранившихся у нее со дня свадьбы.

Порывшись в кармане платья, она достала спички, воткнула свечу в изголовье могилы и зажгла ее. Свеча легко загорелась. Ночь была тихая, и пламя поднималось прямо вверх. Она зажгла свечу и продолжала сидеть рядом с могилой, все в той же неподвижной позе, сложив руки под платком на коленях.

Когда мины рвались далеко, пламя свечи только колыхалось, но несколько раз, когда они разрывались ближе, свеча гасла, а

один раз даже упала. Старуха Джокич каждый раз молча вынимала спички и опять зажигала свечу.

Близилось утро. Свеча догорела до середины. Старуха, пошарив вокруг себя на земле, нашла кусок перегоревшего кровельного железа и, с трудом согнув его старческими руками, воткнула в землю так, чтобы он прикрывал пламя, если начнется ветер. Сделав это, старуха поднялась и такой же неторопливой походкой, какой она пришла сюда, снова пересекла скверик, обошла оставшийся целым кусок решетки и вернулась в подвал.

Перед рассветом рота, в которой служил погибший красноармеец Чекулев, под сильным минометным огнем прошла через сквер и заняла мост.

Через час или два совсем рассвело. Вслед за пехотинцами на тот берег переходили наши танки. Бой шел там, и никто больше не стрелял из минометов по скверу.

Командир роты, вспомнив о погибшем вчера Чекулеве, приказал найти его и похоронить в одной братской могиле с теми, кто погиб сегодня утром.

Тело Чекулева искали долго и напрасно. Вдруг кто-то из искавших бойцов остановился на краю сквера и, удивленно вскрикнув, начал звать остальных. К нему подошло еще несколько человек.

— Смотрите,— сказал красноармеец.

И все посмотрели туда, куда он показывал.

Около разбитой ограды сквера высился маленький холмик. В головах его был воткнут полукруг горелого железа. Прикрытая им от ветра, внутри тихо догорала свеча. Огарок уже оплывал, но маленький огонек все еще трепетал, не угасая.

Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом молча и смотрели на догоравшую свечу, пораженные чувством, которое мешает сразу заговорить.

Именно в эту минуту, не замеченная ими раньше, в сквере появилась высокая старуха в черном вдовьем платке. Молча, тихими шагами она прошла мимо красноармейцев, молча опустилась на колени у холмика, достала из-под платка восковую свечу, точно такую же, как та, огарок которой горел на могиле. Подняв огарок, она зажгла от него новую свечу и воткнула ее в землю на прежнем месте. Потом стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармеец, стоявший ближе всех, помог ей подняться.

Даже и сейчас она ничего не сказала. Только, посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им и, строго одернув концы черного платка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно.

Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушить тишину, пошли в другую сторону, к мосту через реку Саву, за которой шел бой,— догонять свою роту.

А на могильном холме, среди черной от пороха земли, изуродованного железа и мертвого дерева, горело последнее вдовье достояние — венчальная свеча, поставленная югославской матерью на могиле русского сына.

И огонь ее не гас и казался вечным, как вечны материнские слезы и сыновнее мужество.

30 декабря 1944 г. «Красная звезда»

В ВЫСОКИХ ТАТРАХ

Рассказ доктора Бернарда

Зимой этого года мне довелось быть на польско-словацкой границе, в районе, в который после словацкого восстания один за другим выходили через фронт партизанские отряды и группы. Я хотел писать книгу о восстании, и каждый новый человек оттуда, из-за линии фронта, очень интересовал меня. Несколько раз в разговорах со мной партизаны, и русские и словаки, упоминали о каком-то докторе Бернарде, который может сообщить что-то очень интересное, более интересное, чем рассказали они.

— А что он может рассказать? — спрашивал я.

— Он спасал наших тяжелораненых два месяца в горах, в избушке... В общем, вы его только встретьте, он вам расскажет...

Наконец судьба свела меня с самим доктором.

Был морозный день. Мы сидели за чистым струганым деревянным столом в словацкой хате: доктор Юрий Бернард, две девушки-словачки — Божена и Катерина, работавшие с ним санитарками, и я. Девушки — родные сестры, обе бледненькие, худенькие, с большими глазами на исхудавших лицах. Должно быть, они еще как следует не отдохнули после всего пережитого.

Юрию Бернарду на вид лет тридцать, может быть — меньше. Он довольно высокий, худощавый, пожалуй, даже узкоплечий, с шапкой темно-каштановых, почти черных волос, с худым энергичным лицом и застенчивой, чуть иронической улыбкой. Мы просидели с ним за столом подряд пять или шесть часов, пока он мне не рассказал от начала до конца всей своей истории.

Все, рассказанное им, я записал слово в слово. И то, что вы прочтете, просто точная запись рассказа доктора Юрия Бернарда, услышанного мною в феврале 1945 года на границе Польши и Словакии, в селе Кремпахи.

«Я родился в 1916 году в селе, или, вернее, маленьком городишке Чоп в Закарпатской Украине, на самой границе с Венгрией, Учился в гимназии в Ужгороде, потом в медицинском институте: сначала окончил фармацевтическое отделение, потому что хотел стать аптекарем, как мой отец, но потом поступил на медицинский факультет.

Когда началась немецкая оккупация, моего отца, мать, сестру, невесту немцы увезли в концентрационный лагерь. Там они погибли.

Нас с братом, который так же, как и я, был врачом, арестовали и отправили в концентрационный лагерь в Елшаву. Мы там пробыли довольно долгое время, но в начале 1944 года нам обоим посчастливилось бежать оттуда в Словакию, в местечко Ревуцы. Там мы достали нелегальные документы, в которых была слегка изменена наша фамилия: мы именовались Иваном и Юрием Бернатами, словаками по национальности.

Вскоре мы установили связь с партизанами и ушли с ними в горы: им очень нужны были врачи. Сначала были в отряде, которым командовал бывший русский военнопленный Василий, а потом перешли в партизанский отряд Белича. Там мы с братом пробыли весь период восстания и в конце октября с транспортом раненых партизан отправились в район Тридуба, где сдали раненых на аэродром для перевозки на самолетах.

Отправив раненых, пошли обратно в горы, искать свой отряд, но на том месте, где мы его оставили, его уже не оказалось. Это было 28 октября 1944 года.

На горе Прошева, уже отчаявшись найти свой отряд, мы встретились с командиром партизанской бригады имени Стефаника — Петром Величко. Он спросил нас:

— Кто вы, ребята?

Мы ответили: партизаны из отряда Белича. Величко сказал:

— Белич уже давно ушел в другую сторону. Что вы можете делать, что умеете?

Мы ответили, что мы врачи.

— Ну что ж, таких нам и надо,— сказал Величко.— Идите к нам.

И мы с братом месяц с лишним работали в бригаде Величко.

В это время немцы организовали повсеместно карательные экспедиции против партизанских отрядов. Каждый день шли бои. Мы переходили из Высоких Татр в Низкие и обратно, кружили по горам, но кольцо вокруг нас все сжималось.

До 6 декабря раненые находились у нас в партизанском госпитале, в долине около деревни Зверовка. Но 7 декабря положение до того обострилось, что тяжелораненых перевели по указанию

командира бригады из деревни в охотничью избушку, стоявшую в глухом лесу в горах. Кому-то из нас двоих с братом нужно было идти с бригадой, а другому остаться лечить раненых в избушке. До этого мы с братом всю жизнь не расставались, но на этот раз расставанье было неизбежно...

Мы с ним посидели, помолчали, покурили. Мы не хотели говорить о том, кто останется в этой хате и кто уйдет с бригадой.

Но для того чтобы как следует осмотреть раненых, прежде всего мы оба отправились в избушку. Мы решили: кто первым придет в избушку, тот и останется в ней.

Мы пошли разными тропинками. Я первый добрался — и остался там.

Я, конечно, видел такие охотничьи шалаши и раньше, но мне никогда не случалось жить в них больше, чем один-два дня. А тут пришлось прожить больше двух месяцев, и не одному, а вместе с больными и ранеными.

Что представляла собой эта избушка? Она была очень невелика, примерно пять метров в длину и три метра в ширину. При своем росте выпрямиться я не мог. Не было стен, был только выложен фундамент из камней и земли, и прямо от земли начиналась крыша. Имелось одно крошечное окошко и кирпичная печка с железной трубой, выходившей наружу через дыру в крыше.

Нас разместилось здесь пятнадцать человек: я, две сестры-словачки — Катерина и Божена, оставленный для нашей охраны партизан-словак Ян Холеша и одиннадцать раненых и больных. С одной стороны избушки было двое нар, на них лежали двое самых тяжелораненых. Они были в лубках и не могли двигаться. Узкий проход отделял другие нары, на которых поперек лежали все остальные раненые. Мы, обслуживающий персонал — четыре человека,— спали на земле в проходе между нарами. Когда особенно дуло из щелей, мы по ночам сильно обмораживались. Сначала, правда, старались затыкать хоть некоторые щели мхом, но потом раненые повытаскивали весь сухой мох из щелей на курево.

Партизаны привезли в хату все, чем они располагали из продуктов,— с таким расчетом, чтобы хватило на десять дней. Через десять дней запасы должны были пополниться. Я надеялся также, что настанут лучшие времена и поправится положение с медикаментами; а пока я располагал горячей водой и пятнадцатью граммами марганца, который берег как зеницу ока. Правда, я по дороге к избушке приглядел еще одно лекарство: среди хвойного леса стояло несколько дубов, и я подумал, что если у раненых будут желудочные заболевания, то можно будет натолочь дубовой коры и приготовить порошки с танином. Так, кстати, впоследствии и пришлось сделать.

Вообще же дубы были редкостью на такой высоте в горах. Все кругом было покрыто хвойным лесом, и сама избушка стояла в таком густом ельнике, что можно было пройти в пяти шагах от нее и не заметить.

Невдалеке от избушки между камней бил из-под снега маленький родничок, никогда не замерзавший. Иногда он бил сильнее, иногда тек по капельке, но мы впоследствии сделали во льду углубление, и воды за сутки набиралось столько, что нам хватало.

Среди раненых у нас было трое словаков, один чех и семеро русских. За исключением одного-двух, все были или тяжело ранены в ноги, или тяжело обморожены, их предстояло долго лечить, и нечего было думать о скором передвижении.

Прошли первые полтора дня. Девятого с утра мы слышали звуки сильного боя, а к ночи в хату пришло пятьдесят человек — все, что уцелело от бригады имени Стефаника. Весь день накануне и весь этот день бригада вела тяжелый бой с немцами и с трудом вырвалась из кольца сюда, в глухие горы.

Чтобы продолжать борьбу, нужно было немедленно переваливать через Татры, выходить на новые места и собирать вокруг себя разрозненные после поражения восстания отряды и группы,— словом, все начинать сначала. О том, чтобы тащить с собой через перевал тяжелораненых, не могло быть и речи. Это значило погубить их.

Никогда не забуду той ночи, когда у нас в избушке ночевали все. Мне и брату, который пришел с партизанами, выпало много работы. Пришлось перевязать много свежих ран. Партизаны были угрюмы. Тяжелый бой, в котором погибло очень много людей, не выходил у них из головы. Раненые нервничали. Они думали прежде, что бригада останется где-то поблизости, не ожидали, что она уйдет за Татры.

Собственно говоря, уходившие не провели в сторожке даже одной ночи. Метель к утру начала утихать. Чтобы не оставить своих следов и не погубить раненых, командир решил уйти на рассвете, пока следы еще могло замести.

Как поместились, кроме нас, в избушке еще пятьдесят человек, сейчас трудно сказать, но как-то поместились. Лежали друг на друге так, что под утро не сразу могли встать: до того затекли руки и ноги. Разговоров было мало. Раненые не спали и вопросительно смотрели на тех, кто должен был уйти. Командир бригады лежал под окном и, беспрерывно затягиваясь, курил цигарку за цигаркой. С рассветом все стали подниматься. Двое из партизан, у которых были ранения — у одного в грудь, у другого в плечо и в руку, натянули шинели.

— Что это вы одеваетесь? — спросил командир.

— Пойдем с вами,— ответили они.

И они действительно ушли с отрядом.

У остальных раненых, которые никак не могли идти, было такое выражение лиц, такое отчаяние в глазах, как будто они все время просили: возьмите нас с собой.

Командир пожал каждому из них руку, а мне сказал:

— Доктор, учтите: пусть это даже будет стоить жизни некоторым из наших товарищей, но продукты от нас вы будете получать, где бы мы ни были.

Брат ушел с отрядом. Я в это время делал перевязку. Руки у меня были в крови и гною, мы не могли пожать друг другу руки, а только молча поклонились, и он ушел.

Метель еще не прекратилась и быстро замела следы отряда. Мы остались совсем одни.

Вот этот день был действительно страшным. Одиночество! У всех — гнетущее чувство, оно охватило и меня. В избушке — невообразимый смрад от гнойных ран. Я видел, что у меня остались одни тяжелораненые, им при отсутствии медикаментов почти невозможно помочь. Я готов был сделать для них все, но где взять медикаменты? Кроме того, отсутствовал брат, более опытный врач, чем я. Словом, было очень тяжело на душе, но другого выхода не оставалось. Надо было бороться за жизнь людей.

Вдобавок положение с продуктами не сулило ничего хорошего. После боев, которые отряд дал в окрестностях, немцы блокировали все окружающие села — Зуберец, Габовку, Гуты, Белый Поток, а в лежавшей под нами Зверской долине устроили стрельбище, через которое трудно было пройти.

«Как я буду кормить раненых?» — думал я.

Все наши припасы умещались в одном туго набитом вещевом мешке. Правда, ночевавшие партизаны не только ничего не съели из наших припасов, но некоторые отдали последнее — кто щепотку табаку, кто корку хлеба. Однако этого тоже было мало.

В этот день к вечеру — еще не стемнело — два отряда немцев прошли вблизи избушки, один — слева, другой справа. Очевидно, они искали следы бригады. Я до сих пор удивляюсь нашему счастью, потому что один из немецких отрядов прошел всего в ста пятидесяти метрах выше избушки. Мы хорошо слышали голоса немцев, и они могли услышать наши голоса, так как появились неожиданно.

С этого дня я ввел закон: разговаривать громко только ночью. Днем говорили вполголоса или шепотом. Кроме того, этот случай научил меня, что я не могу оставаться только доктором, а должен стать и комендантом гарнизона; мы организовали наблюдательный

пункт, где дежурили по очереди или я, или Божена, или Катерина, или Ян Холеша.

Так началась наша жизнь. По утрам мы слышали, как внизу немцы занимаются на стрельбище. Днем, а иногда и по ночам доносились к нам далекие звуки стрельбы. Это означало, что где-то кругом нас бродят еще партизанские группы, за которыми охотятся немцы.

Мы встретили много трудностей. Раненым нужно тепло, но топить печку днем было нельзя: даже самый легкий дымок мог быть замечен немцами. Топили печку только ночью, а за день избушка вымерзала. Нужны были дрова. Пилить деревья мы не могли: в морозном горном воздухе звук пилы разносится на километр, а немецкий сторожевой пост стоял постоянно недалеко от нас. Приходилось собирать валежник, сухие стволы. Но распиливать их нужно было в избушке, причем, чтобы пила не визжала, ее брали не за ручки, а за полотно и вдвоем медленно водили ею в то время, как двое других крепко держали бревно. Когда не находили валежника и притаскивали упавшую сосну, то весь день в хате стоял мороз: мы не могли все дерево втащить в хату, а втаскивали только конец, отпиливали кусок и опять втаскивали, опять отпиливали — и так до конца.

Из-за того, что мы не могли топить печку днем, временем еды установили раннее утро. Печка топилась всю ночь. Некоторые из раненых только к утру крепко засыпали, и их трудно было добудиться. Но кормить горячей пищей мы могли только утром, и приходилось каждый день их будить на рассвете.

То же самое и с перевязками. Главными средствами дезинфекции были у меня марганец и кипяток. Поэтому все перевязки делались ночью и под утро. Тяжелораненых я будил раньше, чтобы сначала их покормить, а потом, когда они подкормятся, делать им перевязки.

Больше всего меня тревожило, конечно, отсутствие медикаментов. Это было самое сложное и тяжелое. Иногда опускались руки и казалось, что ты бессилен. А хотелось непременно спасти всех этих людей. Мне было жалко на них смотреть, а почти каждого из них я должен был каждое утро мучить. У меня не имелось никаких заживляющих мазей, которые обычно позволяют врачу делать перевязки через два-три дня. Чтобы раны не гноились, мне приходилось их промывать и перевязывать каждый день, причем я поневоле причинял раненым адскую боль, ибо, скажем, для сквозных ранений, которые гноились и которые нужно было чистить каждый день, у меня ничего не было, кроме длинного и узкого куска резины. Эту резину я продевал через сквозную рану, натягивал ее и делал ею дренаж.

Почти все мои пациенты были ранены в ноги. Многие лежали в шинах и в лубках, но на коротких нарах не удавалось поместить неподвижно вытянутую ногу. Поэтому ноги в лубках обкручивали веревками и держали, подвесив к потолку. В ужасной тесноте раненые, поднимаясь, иногда задевали друг друга, а случалось, и сестры, уставшие от бессонницы, стараясь пробраться между ними, нечаянно задевали их. А какую боль причиняет в таких случаях даже легкое прикосновение, об этом лучше не говорить.

У меня было пятнадцать граммов марганца. Этот марганец я держал в мешочке под рубашкой на груди, чтобы ни при каких обстоятельствах не рассыпать его и не потерять. Я разводил его в кипятке и делал промывания. Обмороженных лечил по старому способу, применяя то холодные, то горячие ванны.

На пятый или шестой день, когда наши скудные продукты начали иссякать, у нескольких раненых появилась дизентерия. Я не знал, что предпринять, но принял бодрый вид и сказал им, что у меня в лесу спрятаны кое-какие медикаменты.

Медикаментов в лесу у меня не было, но я вспомнил про дубы и решил натолочь коры и приготовить порошки от дизентерии. Я сделал это тайно от раненых, мне было важно, чтобы они поверили в эти порошки. Я содрал несколько кусков коры и ночью, когда все спали, истолок их. В моем вещевом мешке случайно сохранились бумажки для порошков. Истолченную кору я аккуратно насыпал в эти бумажки, свернул настоящие фармацевтические пакетики и в таком виде давал порошки раненым. К моему счастью, это помогло: через неделю дизентерия затихла.

Все это время немцы кругом нас вылавливали партизан, гоняясь даже за одиночками. Они охотились не только за людьми, но искали в горах сторожки, охотничьи избы — словом, всякое жилье, где могли бы в эту суровую зиму скрываться партизаны. Найдя такое жилье, они немедленно сжигали его.

Ночью всегда можно было видеть над верхушками сосен отсвет пожара, всегда где-то что-то горело.

Кроме того, немцы днем и особенно по ночам беаприцельно, по квадратам, обстреливали горы из минометов, чтобы нагнать на партизан панику.

В один из таких дней к нам пришел начальник штаба Суворовского отряда Селезнев. Хотя я его раньше видел, но когда встретил, то не узнал: такой он был весь ободранный, обмерзший, страшный. Неделю назад, когда немцы окружили их отряд, он, оказывается, был в другом месте, в наряде, потерял своих и сколько потом ни искал их, не мог найти. Он шел по горам, шесть дней ничего не ел. Всюду, где бы он ни шел, он видел, как горят хаты, и ему казалось, что все горы объяты пламенем. Когда же он подо-

шел к нашему «госпиталю» и увидел, что ему навстречу идут люди, я и Божена, он без чувств упал на снег.

Селезнев семь дней прожил у нас. Он помог организовать наблюдательный пункт на лучшем месте, чем прежде, и, немного оправившись, стал ходить в разведку. Во время второй или третьей разведки он наткнулся на разведчиков из отряда капитана Тихонова. Хотя он был еще очень болен, но, зная, что у нас осталось считанное количество продуктов, необходимых для раненых, все-таки решил уйти с разведчиками. Яну Холеша, который был с ним, он передал записку.

«Доктор! Мне стыдно дольше сидеть, объедать раненых. Встретил партизан. Ухожу с ними. До свиданья».

Так мы расстались с Селезневым.

В следующие несколько дней стало как будто немного тише: затихли пожары, и немцы стали меньше стрелять. Брат, уходя, оставил мне записку, в которой описывал место в Зверовской долине, где он под одной из сосен зарыл небольшое количество медикаментов и сделал на этой сосне зарубку. Раньше туда не было возможности добраться, потому что как раз в этом месте было немецкое стрельбище, но сейчас немцы ушли оттуда и были примерно в километре.

Я решил пойти туда, отыскать во что бы то ни стало эти медикаменты. Но меня ожидало большое разочарование. Брат, чтобы не было заметно, сделал зарубку у самых корней, а за эти две недели повсюду в Татрах намело снегу на полтора метра. Брат же, понадеявшись, что зарубка будет видна, не дал никаких других особых примет.

Три ночи ходил я и наугад разрывал снег у десятков деревьев, но дерева с зарубкой не нашел. А в долине стояли тысячи деревьев... И, зная, что где-то здесь лежат медикаменты, нужные мне до зарезу, я принужден был оставить мечту найти их.

На третье утро, возвращаясь оттуда после бесполезных поисков, я встретил в Зверовской долине одного словака, нашего партизанского лазутчика из деревни Габовки. От него я узнал, что за эти дни мы чуть не погибли...

Избушку, в которой мы жили, нам посоветовал занять лесник Людвиг Майер, который во все время восстания много помогал партизанам. После боев в Зверовской долине, когда немцы жгли все сторожки и дома кругом, они спалили и домик лесника. Майер ушел с женой в Габовку. Там предатели указали немцам, что это тот самый Майер, у которого когда-то жили партизаны. Как раз в это время немцами был пойман один боец из нашей бригады,— нам так и не удалось выяснить, кто он,— после избиения на

допросе он сказал, что где-то здесь, в горах, есть партизанская больница. Немцы вызвали лесника и сказали:

— Ты должен знать, где их больница, и должен свести нас туда.

Они говорили с ним через переводчика-чеха. Этот переводчик, когда переводил их слова, тем же тоном добавил:

— Если только ты знаешь и скажешь им, где эта больница, я тебя застрелю.

Майер только посмотрел на него и улыбнулся, сделал ему знак глазами, чтобы он не беспокоился, и попросил перевести немцам, что он знает, где больница.

После этого немцы снарядились в дорогу, и Майер повел их к выходу в Зверовскую долину. Госпиталь наш был расположен в правой стороне, наверху, а лесник повел их в левую, вниз. Он знал, что там есть хата, в которой когда-то жили евреи, прятавшиеся от гестапо. Он привел немцев в эту хату и сказал:

— Вот эта хата, где помещалась партизанская больница.

Хата, конечно, была пуста. Немцы спросили:

— Чем ты докажешь, что здесь была больница?

Майер ответил:

— Докажу тем, что здесь есть следы жилья и остатки продуктов.

— А где же раненые?

Майер сказал, что раненых партизаны, наверное, забрали с собой.

Немцы пошарили по хате, действительно нашли остатки продуктов и, поверив, что здесь была партизанская больница, отпустили Майера.

Так мы избавились от, казалось бы, неизбежной гибели.

Понемногу начал поправляться один из раненых, словак Антон Гута. Я смог оставлять для охраны «госпиталя» Яна Холеша, а на разведку ходил с Гутой. Мы пытались пробраться хоть в какую-нибудь деревню, чтобы достать продуктов, но все деревни были по-прежнему блокированы немцами, около них стояли немецкие посты. А есть было совершенно нечего.

Я уже приходил в отчаяние. Но в одну из наших разведок мы встретили партизана из отряда Тихонова, он сказал нам, что видел вчера в Рогачевской долине брошенную кем-то лошадь. Услышав это, мы, не возвращаясь в «госпиталь», пошли прямо в Рогачевскую долину.

Идти туда двадцать пять километров по глубокому снегу. Мы шли всю ночь и пришли только утром. В самой котловине действительно нашли следы брошенного партизанского лагеря, обрывки палаток; там лежал мешок с чечевицей, половина которой была

рассыпана по снегу, и бродила старая костлявая лошадь, при виде которой я обрадовался так, как еще не радовался никогда в жизни.

Мы долго, по зернышку, собирали рассыпанную чечевицу и собрали, как потом оказалось, около десяти килограммов. Погрузили мешок на лошадь и тронулись домой.

Домой вернулись к вечеру. Радости раненых, узнавших, что мы привели лошадь и привезли чечевицу, не было границ. Лошадь мы привязали стропами от старого парашюта к дереву рядом с избушкой и решили зарезать ее утром. Я до полуночи занимался вычислениями, на сколько нам хватит этой лошади, если выдавать каждому в день по сто пятьдесят граммов.

После всех вычислений, отчаянно усталый, я уснул мертвым сном, зная, что, слава богу, нам суток на двадцать пять — тридцать не грозит голод.

Наступило утро. Один из раненых, старшина Иван Решетнев, в молодости работал на бойне. Сейчас у него были отморожены ноги, он почти не мог ходить. Мы обмотали ему ноги тряпками и обвязали веревками, чтобы он мог выйти на улицу. Он взял единственный наш топор, я захватил ведро, и мы вышли из избушки. Вслед за нами выбрались еще двое или трое больных, которые были в состоянии хоть как-то передвигаться.

И вдруг, к нашему ужасу, оказалось, что лошади на месте нет. Она за ночь оборвала стропы, которыми была привязана, и убежала. Кто-то из нас нашел в себе силы пошутить и сказал:

— Вот странная история! Может быть, эта лошадь — немецкая шпионка?

Однако никто не улыбнулся шутке. Исчезновение лошади означало для нас голодную смерть.

Вместе с начавшим выздоравливать раненым словаком Яном Ковачем мы отправились искать лошадь. На наше счастье, конские следы были хорошо видны. Они вели в Зверовскую долину.

Но оттуда доносились выстрелы. Должно быть, немцы опять устроили там стрельбище. Вдруг следы повернули направо.

Мы шли целый день. В конце концов следы вывели нас в ту же долину, где мы в прошлый раз нашли лошадь. Мы увидели ее понуро стоящей почти на прежнем месте.

Состояние, которое мы испытали в эту минуту, может понять только человек, знающий, что его ждут пятнадцать голодных ртов.

Мы взяли лошадь и, не медля ни минуты, пошли назад. Километрах в пяти от нашей избушки в лесу мы увидели человека, который на четвереньках полз по снегу. Мы подошли. Он оказался русским партизаном из Суворовского отряда, Максимом Олейниковым. Он смог только назвать свое имя и фамилию, пытался сказать еще что-то, но был в почти бессознательном состоянии.

Как впоследствии выяснилось, он несколько дней тому назад пошел в разведку. Немцы заметили разведчиков, открыли огонь из пулеметов. Товарищи его были убиты, а он, пытаясь перебраться через речку, провалился под лед, выбрался, потом пришел в село Зуберец, где тоже были немцы. Крестьяне тайком дали ему несколько кусков хлеба и на ноги — домашние туфли, папуши: никакая другая обувь уже не влезала на его обмороженные ноги. Оставаться в деревне не было возможности, немцы находились чуть не в каждом доме. Он пошел в горы, заблудился, совершенно обмерз. Мы положили его на лошадь и, придерживая с двух сторон, привезли к себе.

Зарезав лошадь, мы в первый раз за многие дни сварили себе мяса. Мясо показалось нам вкусным, как гусятина. Около избы вырыли в снегу глубокие норы и закопали туда мясо, чтобы оно не портилось.

Старшина Иван Решетнев, мастер на все руки, вырезал из одеял верхи туфель, из конской шкуры — подметки и сделал нам обувь: мы к этому времени остались чуть не босиком. В этих туфлях мы теперь стали ходить в разведку; кстати, они имели то удобство, что следы от них были такой странной формы, что их можно было принять скорее за следы какого-нибудь неведомого животного, чем за следы человека.

Словом, все пошло в дело.

Но через два-три дня кончилась соль. Несколько дней мы терпели, а потом решили во что бы то ни стало достать хоть немножко соли.

Антон Гута, еще один раненый и я спустились в Зверовскую долину и пошли дальше — в село Зуберец. Но буквально в пятидесяти метрах от крайней хаты мы услышали немецкую речь. В селе по-прежнему были немецкие патрули. Между тем ночь стояла тихая, на метель не было никакого намека. А мы подошли так близко, что наши следы должны были утром увидеть.

Мы решили возвращаться в нашу избушку порознь, кружными путями, чтобы запутать немцев. Мы хотели сделать вид, что тут прошло много людей, и поэтому шли, волоча ноги, оставляя почти сплошной след.

Так все мы разными путями добрались до условленного места, где по склону протекал незамерзший родник. Вошли в родник, долго поднимались в гору по воде и только гораздо выше снова вышли на снег. Ноги нестерпимо замерзли, и в избушке мы едва отогрели их.

У меня в эти дни появилась новая забота. Максим Олейников был в состоянии еще более тяжелом, чем все мои остальные раненые. Стоило мне посмотреть на его ноги, чтобы увидеть, что ступ-

ни у него почти мертвые, отмороженные до такой степени, когда уже трудно их спасти.

Я делал все, что мог: и холодные, и горячие ванны, и промывания марганцем, но мясо уже гнило и разлагалось, и я почувствовал, что мне не обойтись без операции, иначе человек погибнет. А мне хотелось спасти его во что бы то ни стало, тем более что я многое видел, но еще никогда в жизни не видел такого терпеливого и благородного человека.

Многие раненые нервничали, стонали, он же, когда я промывал ему ноги, ни разу не издал ни одного стона. Он еще успокаивал меня:

— Ничего, ничего, доктор.

Всегда готов преклониться и снять шапку перед этим человеком. Мне очень хотелось его спасти, но делать операцию было нечем. А омертвение ног у него шло все дальше и дальше. Температура — 40. Я понимал, что если ему не сделать операцию, то он погибнет от заражения крови. Но у меня не было абсолютно ничего, даже самого примитивного инструмента...

И вот пришла первая весть из нашей партизанской бригады. Это было под утро, когда я перевязывал раненых. Ян Холеша спал после дежурства, Катерина помогала мне, а Божена с автоматом стояла на посту.

Открылась дверь, и Божена вошла в хату. Только я хотел ей сказать: «Зачем ты ушла с дежурства!» — как она, не дав мне выговорить ни слова, крикнула:

— Пришли!

Я даже не понял, кто пришел, но в следующую минуту из-за спины показалось хорошо знакомое мне лицо закарпатского украинца Миши — не помню его фамилии,— который был у нас в бригаде. Он снял с плеч небольшой вещевой мешок и положил его к моим ногам. Все раненые хором закричали: «Миша! Миша!» — и стали спрашивать, что он принес и есть ли курево.

На полу расстелили одеяло, Миша стал выкладывать все, что принес в сумке. Курева он не принес, отдал шесть своих сигарет. Мы растянули их на шесть дней: по сигарете в день на всех. Каждый из раненых делал одну затяжку и передавал сигарету следующему.

Миша принес килограмма полтора соли, немножко рисовой крупы, немножко сала и три плитки шоколада. Идти ему пришлось более ста километров и переваливать через два хребта. Из-за тяжелой дороги он не мог тащить на себе более пятнадцати килограммов; пять килограммов себе на оба конца и десять килограммов нам. Путь его занимал пять суток в один конец и пять суток обратно. И все это из-за десяти килограммов провианта.

Раненые расспрашивали в эту ночь Мишу, как в бригаде: кто жив, кто убит? И он, как мог, отвечал на все вопросы. Сведения он принес, в общем, хорошие: бригада уже усилилась в своем составе, хотя положение оставалось тяжелым и беспрерывно шли бои.

С тех пор Миша сделал за время существования нашего «госпиталя» четыре таких рейса, занявших сорок дней, причем каждый раз до такой степени торопился, что ни разу не выспался у нас как следует, а только, приходя ночью, отдыхал час или два и до рассвета уходил обратно...

Увидев Мишу, я принял решение делать Олейникову операцию и передал Мише записку к командиру бригады, чтобы тот прислал мне ножницы, нож, пилу и, если возможно, какое-нибудь наркотическое средство. Я объяснил Мише, насколько важно все это получить как можно раньше, даже важнее, чем продукты.

Двенадцать дней я ждал его. Все это время старшина Олейников находился между жизнью и смертью. Своими промываниями и ваннами я, видно, только терзал этого человека. Он совершенно ослабел, и лишь железная воля не давала ему кричать и стонать, мучить других больных.

На тринадцатый день Миша вернулся и принес то, что нашлось в бригаде: обыкновенный большой перочинный нож, обыкновенные ножницы, столярную пилу и пинцет. Брат прислал записку: он делится всем, а пинцет отдал единственный, который у него был.

Чтобы чувствовать себя тверже, я перед операцией проспал больше обычного, почти полдня.

Сразу же с наступлением темноты, как только вскипятили воду, я приступил к операции. Катерина, которая как медицинская сестра должна была мне помогать, удивленно раскрыла глаза, никак не ожидая, что я решусь на операцию. Но я, заметив ее изумление, не дал ей сказать и слова, потому что мне самому достаточно трудно было решиться. Она прокипятила нож, пилу, пинцет и обрывки парашюта, которыми был застлан наш так называемый операционный стол, а вообще-то говоря, не стол, а освобожденный от одеял край нар.

Несколько раненых, которые чувствовали себя лучше, собрались вокруг, чтобы помогать мне. Они накололи лучину. Божена держала лучины, освещая «операционный стол». Антон Гута парашютными стропами туго перетянул выше колен ноги Олейникова. Он держал их, а Божена подавала мне инструменты.

Нары были низкие. Пришлось стать на колени. Света было мало. Инструменты не годились. Но главное, что меня терзало,— это, конечно, не физические трудности, а моральная тяжесть от того, что я не был уверен, действительно ли смогу спасти челове-

ка, а не просто доставлю ему перед смертью лишние мучения. Но иного выхода не было — надо было оперировать.

Начал я оперировать левую ногу. Я отпилил Олейникову пальцы, после чего началось сильное кровотечение и я искал кровеносные сосуды, которые надо перевязать, чтобы остановить кровь.

Я старался не думать об Олейникове. Но он, как мог, старался помочь мне: то лежал тихо, то едва слышно напевал какие-то русские песенки. Что он в эти минуты чувствовал, не берусь представить.

Два с половиной часа я оперировал ему левую ногу. Когда закончил, сделал общую перевязку, и кровотечение остановилось. Но я не мог сразу продолжать операцию, простояв на коленях без перерыва два с половиной часа, я лег на пол, вытянув онемевшие ноги. Пришлось пролежать минут двадцать, пока ноги отошли.

После этого я перешел к правой ноге. Она была отморожена еще больше, чем левая. Когда я отпилил пальцы, то оказалось, что кровеносные сосуды и мясо так распались, что трудно найти место, где надо перевязать сосуды и остановить кровь. Наконец удалось сделать это, и операция была окончена.

После окончания операции меня угнетала мысль: неужели я сделал все напрасно, неужели операция будет неудачной?

Я вышел из хаты на мороз. Пот тек градом по лицу, и я не замечал холода. Катерина, которая все время мне помогала, вышла вслед за мной, села на снег и разрыдалась.

— Ну, не плачь,— успокаивал я ее,— не плачь, слышишь?

— Я же там не плакала,— сказала она,— во время операции...

— Если бы ты там заплакала, я бы тебя ударил,— сказал я ей и, вернувшись в избушку, подошел к Олейникову. Он лежал на спине, закрыв глаза, и что-то пел, но так тихо, таким ослабшим голосом, что слов почти не было слышно.

Два дня, пока у него не установилась нормальная температура, я не находил себе покоя ни днем, ни ночью. Потом ему стало легче, температура упала. Я понял, что он, наверное, спасен.

Дни тянулись за днями. Лошадь все-таки обманула наши ожидания: в ней оказалось гораздо меньше мяса, чем мы предполагали. Вышло, что мы можем давать людям лишь по сто граммов в день. Ежедневное меню составлял суп, сваренный из конины с чечевицей. Делился он таким образом: сначала выдавался каждому кусочек мяса, потом по очереди в единственной нашей жестяной кружке подавалась каждому его порция навара, и, наконец, когда в кастрюле не оставалось ничего, кроме чечевицы на дне, Божена, которая была у нас за главного повара, отсчитывала каждому по десять чечевичных зернышек. Ошибки тут быть не могло, ибо чечевица засыпалась в кастрюлю не по весу, а по счету.

Как всегда бывает у очень голодных людей, эта скудная еда занимала много места в жизни, о ней много говорили, ее ждали. Но я бы сказал, что мы в конце концов даже привыкли к этому трудному рациону. Гораздо больше мучило нас всех отсутствие курева. Правда, в дальнейшем Миша приносил нам уже не по шесть сигарет, а по десять и даже по пятнадцать,— это было все, что нам могли выделить из своих запасов товарищи,— но что такое даже пятнадцать сигарет для нашего «госпиталя» на десять дней!

В один из томительных вечеров, когда Миши не было особенно долго — четырнадцать или пятнадцать дней — и всем до бесконечности хотелось курить, вдруг кто-то из раненых, кажется, Василий Ткаченко, сказал:

— А помните, ребята, когда командир бригады здесь ночевал (надо сказать, что с тех пор прошло уже полтора месяца), он, помоему, курил. А?

— Как будто курил,— согласились остальные.— Не то три, не то четыре самокрутки выкурил. Где он тогда лежал?

Стали вспоминать, где лежал командир бригады. Общими усилиями вспомнили:

— Вот здесь, около окна.

Василий Ткаченко с трудом слез с нар, дотащился до того места, где когда-то лежал командир бригады, и стал рыться в углу, среди камней, которыми были засыпаны щели между нижними бревнами и полом. Четырех окурков он, правда, не нашел, но два отыскались.

Командир в ту ночь, перед уходом, волновался и не докуривал цигарки до конца, в обоих окурках осталось немножко табаку. Этот табак Ткаченко бережно высыпал, собрал на ладонь, потом добавил немного мху, и все это было скручено в одну довольно толстую самокрутку. Ее, с наслаждением затягиваясь, по очереди курили все. Хватило ровно на две затяжки каждому. Два раза она обошла по кругу, не миновав и меня.

По правде говоря, с каждым днем жить становилось все труднее и труднее. Кроме трудностей с едой и куревом, сказывалось на нашем настроении и то, что шел уже второй месяц нашего житья здесь, но, хотя большинство раненых чувствовали себя лучше и даже передвигались, о том, чтобы всем нам предпринять большой самостоятельный переход, пока не могло быть и речи.

Зима стояла суровая. Представьте себе обычный наш зимний день на исходе второго месяца. В единственное крошечное заиндевевшее окошко пробивается скудный свет, озаряя неприглядную картину нашей жизни: потолок весь заиндевел, со стен, если топится печка, беспрерывно стекает вода, ветер стучит в окно, мечет в него хлопья снега. А мы сидим, изредка переговариваясь, и ду-

маем, что бы еще такое употребить на бинты, потому что перевязывать больных все-таки нужно каждый день, а бинтов делать уже вовсе не из чего. Вначале было небольшое количество бинтов, потом они превратились в стираные и перестиранные тряпки.

Были у нас обрывки парашюта. Мы нарезали из него бинтов, но и их извели. Потом я приказал всем больным снять с себя белье и лежать в верхней одежде или просто завернутыми в одеяла: пришлось пустить и белье на бинты.

Давило нас полное незнание того, что творится в мире. Часто, особенно под вечер, будучи не в состоянии заснуть от холода, да и от голода тоже, мы подолгу говорили о том, что бы могла, например, сейчас передавать Москва, если бы у нас было радио, какие могли за это время произойти события. И каждый фантазировал на эту тему.

Мы почти ничего нового не узнавали, даже когда приходил Миша. Он, правда, сообщал нам сведения о бригаде, но во время последних боев там была разбита миной рация, и сведения из внешнего мира не доходили даже в бригаду.

Очень много времени отнимала гигиена. Все мы чувствовали, что в этой тяжелой обстановке нельзя распускать себя. Поэтому, когда удавалось пожарче натопить печку и нагреть побольше воды, мы не только делали перевязку и стирали бинты, но и по возможности мылись сами.

Один из раненых, Ян Крепсчак, когда-то был парикмахером, и те ножницы, которые принес Миша и при помощи которых я оперировал Олейникова, теперь использовались по прямому назначению: все мы понемногу, не спеша были пострижены — не спеша потому, что торопиться было некуда.

В самом конце второго месяца жизни в сторожке случилось происшествие, чуть не погубившее нас. Я совсем забыл сказать, что еще в первый месяц к нам пришел, отбившись от одного из отрядов, старик повар, словак. Он не был ни ранен, ни болен, а просто стар. Ему трудно было переваливать через хребты вместе с остальными партизанами. Мы приютили его у себя. Он ничем особенным не проявлял себя, ни плохим, ни хорошим, жил, как все мы жили, старался помогать, чем мог.

В начале февраля, когда было опять очень плохо с едой, повар вызвался пойти вниз и, воспользовавшись тем, что он старый человек и его едва ли кто заподозрит, пробраться в деревню и принести хоть что-нибудь из продуктов. У меня душа не лежала его пускать, но он настаивал, а еда совершенно подходила к концу, и я его отпустил.

Как потом мне рассказывали, он благополучно добрался до деревни, собрал немного продуктов, взвалил на плечи и пошел об-

ратно. Но немцы видели, как он пришел, нарочно дали ему собрать продукты и стали следить за ним, когда он двинулся в обратный путь.

Это кончилось бы нашей гибелью, если бы кто-то из немцев не понервничал и, догоняя повара, не окликнул его. Услышав немецкий окрик, повар побежал. Немцы стали по нему стрелять, и пуля прошла ему сквозь легкое. Он упал. Когда немцы подскочили к нему, он стал просить, чтобы его отнесли куда-нибудь и оказали помощь, тогда он им все расскажет.

Нам так и осталось неизвестным, была ли это с его стороны уловка и он хотел выиграть время и спасти нас, или он действительно испугался и рассказал бы о нашей избушке. Никто этого никогда так и не сможет узнать: пока немцы донесли его до деревни, он умер.

Этот случай сослужил нам плохую службу. Немцы почувствовали, что все-таки здесь кто-то скрывается, и стали опять шарить по горам.

В один из дней я находился на сторожевом посту, метрах в полутораста от избы, и вдруг услышал, что кто-то кричит внизу и на словацком языке просит о помощи. Первое невольное движение было — бежать вниз и узнать, кто просит помощи; я подумал, что это, наверное, какой-нибудь раненый или замерзающий партизан.

Но, на мое счастье, бывший со мной вместе старшина Решетнев, всегда отличавшийся осмотрительностью, и тут сказал мне:

— Подожди, доктор, может быть, это немцы провокацию устраивают. Давай подождем.

Мы притаились и стали ждать. Внизу еще несколько раз крикнули по-словацки, а потом я отчетливо услышал немецкую речь. Кто-то сказал по-немецки:

— Нет, идем дальше, никого нет.

Потом немцы отошли метров на триста дальше, и я опять услышал, как они кричали по-словацки:

— Помогите! Помогите!

Решетнев оказался прав: это была действительно провокация.

А еще через день двое раненых, ходивших в разведку, спустились в Зверовскую долину и встретили там крестьян из ближайшей деревни, которые рассказали, что началось большое русское наступление и что немецкая команда, стоявшая в деревне, снялась.

Раненые спустились с крестьянином в деревню, взяли немножко провианта (много они и не старались брать, потому что торопились сообщить нам радостную весть) и вернулись в сторожку. Это было вечером.

На следующее утро я взял с собой троих раненых, всех, кто мог ходить, и пошел вниз, чтобы принести побольше продуктов и разузнать точнее, что происходит.

Но еще подходя к Зверовской долине, мы насторожились. Оттуда тянуло дымком. Мы спустились ниже. В Зверовской долине горели костры, и нам из-за деревьев было видно, как немцы возились там, спиливая деревья. Они строили что-то вроде блокгауза. Прокрасться в деревню не было никакой возможности.

Оказалось, что русское наступление действительно началось. Из деревни снялась немецкая тыловая часть, но вместо нее пришли фронтовые части.

Как ни кляли себя те двое раненых, что поторопились нам принести радостные известия и захватили так мало продуктов, поправить что-либо было поздно. Из еды у нас осталась только половина лошадиной головы.

Пришла пора принимать меры к спасению раненых. Дольше оставаться здесь было невозможно.

Я, в общем, неплохо знал эту местность и представлял себе, как нужно идти, чтобы добраться до русских. По отрывочным сведениям наших разведчиков и рассказам Миши можно было предполагать, что на северо-восток от нас фронт проходит всего километрах в сорока пяти — пятидесяти и что польский пограничный курорт Закопане уже в руках русских. Туда-то я и решил пробраться, чтобы привести с собой помощь и переправить раненых на территорию, занятую советскими войсками.

У меня не было ни карты, ни компаса. Предстоял тяжелый путь. Продуктов я, конечно, не мог взять ни грамма. Одеться потеплее было не во что, на мне были только надетые на голое тело штаны и куртка и на ногах — сшитые Решетневым из лошадиной шкуры туфли.

Я решил идти через Рогачевскую долину, потом еще через одну долину, перевалить через Высокие Татры и оттуда уже пробираться в Закопане. Это был наиболее глухой и не самый прямой маршрут, но зато он, по моим представлениям, давал возможность обойти немецкие заставы и посты...

Не буду рассказывать, как я шел. Мне трудно сейчас это вспоминать. Я только шел и думал, что мне необходимо дойти и что, если я умру, это будет не только моя смерть, но смерть всех, кто остался в сторожке.

Шел я до Закопане шестьдесят часов. Немцы ни разу не встретились. Только однажды слышал я слева и справа отдаленные выстрелы; должно быть, когда переходил линию фронта.

Закопане — известный польский курорт. Мне раньше приходилось в нем бывать. Это красивый город с отелями и хорошими домами. Оказалось, что его почти совсем не тронула война.

Я так спешил добраться до советского коменданта, что сначала даже не заметил, как на меня смотрели люди на улицах. Вид у меня, как я сейчас соображаю, был действительно странный: лохмотья одежды, надетой на голое тело, всклокоченные волосы, автомат через плечо, почти босые ноги.

Я сидел у коменданта, рассказывал и ел. Как сейчас помню, я очень боялся заснуть: такая теплота разливалась по моему телу, что меня каждую секунду мог одолеть сон.

В городе не было воинских частей, все они ушли вперед, оставалась только маленькая комендантская команда.

— Чем я вам могу помочь? — спрашивал меня комендант.

Я попросил у него провожатого, с которым мог бы найти в городе нужных мне людей.

Когда-то я занимался альпинизмом и знал в Закопане нескольких хороших альпинистов, которые могли мне помочь больше, чем кто бы то ни было.

К чести поляков-спортсменов, живших в Закопане, должен сказать, что в течение каких-нибудь двух часов я набрал четырнадцать человек. Все, к кому я обращался, согласились пойти спасти раненых.

Среди этих людей хочу упомянуть братьев Войтеха, Якова и Станислава Воврицко, Симона Зарицкого, Станислава Марусеша, братьев Станислава и Якова Гасьяниц; их примеру последовали остальные.

На пятые сутки после того, как я покинул своих раненых, мы добрались до сторожки.

Трудно описать нашу радость. Мы все заплакали.

Я не знаю подробностей встречи: я дошел до хаты, сказал, чтобы раненые собирались, и тотчас же заснул. Когда меня растолкали, все уже были готовы в дорогу.

Опытные альпинисты взяли с собой запасные лыжи. Для тех раненых, кто никак не мог идти сам, они скрепили по нескольку пар лыж, набили на них доски и настлали еловых ветвей.

Раненые были туго привязаны к самодельным саням. Местами глубокий снег проваливался, и нередко приходилось протаскивать сани под снегом.

Ослабевшие девушки увязали в снегу, несколько раз пришлось брать их на руки.

Теплой обуви не было. Ноги у всех были обмотаны тряпками. Я то засыпал на ходу, то меня снова охватывало беспокойство,

как бы кто-нибудь не отморозил ног, и я шел вдоль колонны и упрашивал следить за ногами.

Особенно тяжело доставалось на перевалах, где сильные ветры сдули снег и остались только ледяные гребни, через которые все-таки надо было переходить. К своим альпинистским саням мы привязали восьмиметровые канаты. Альпинисты шли впереди, ползли на четвереньках, прорубали лед, потом подтягивали сани, забивали кол, наматывали на него канат, чтобы сани не скатывались обратно, опять шли вверх, снова прорубали ступеньку, снова забивали кол, перетягивали канат с одного кола на другой и снова шли дальше.

Так за двадцать шесть часов мы одолели перевал, перешли незаметно для немцев линию фронта и выбрались в Кохоловскую долину, где была уже освобожденная русскими войсками территория и где нас, как я условился с закопанским комендантом, ждали заранее приготовленные сани.

Здесь всех раненых погрузили в сани и отправили в закопанский госпиталь. Я с девушками тоже попал в госпиталь. У его ворот я поблагодарил польских альпинистов за раненых. Сами раненые были полумертвы от усталости, и ни у кого из них не было сил пошевелить губами в знак благодарности и прощания.

Я не помню, как мы вошли в госпиталь, как я раздевался, мылся. Меня куда-то положили, я заснул и проснулся без малого через двое суток.

Вот и вся история. Недели через две мне рассказали о судьбе нашей избушки. Словно какое-то чутье подсказало нам тогда, что пора спасаться. Через день после того, как мы ушли, на избушку все-таки набрели немцы и сожгли ее.

Спустя два дня это место заняли советские войска, и партизаны из нашей бригады, соединившись с ними, нашли только головешки и ужаснулись, подумав о нашей судьбе.

Лишь потом они узнали, что мы живы и здоровы и что вся эта история, тянувшаяся два с лишним месяца, окончилась благополучно».

27—30 декабря 1945 г. «Правда»

ПЬЕСЫ

1940–1945

История одной любви

Комедия в трех действиях, четырех картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Алексей Степанович Марков, 35 лет.
Катя — его жена, 29 лет.
Андрей Сергеевич Ваганов, 35 лет.
Николай Семенович Голубь, 60 лет.
Мария Петровна — соседка Марковых, очень далеко за сорок.
Посыльный из магазина.
Капитан.
Корреспондент.
Врач.

Время действия — 1939 год.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Комната в московской коммунальной квартире. Летний день. Две двери, через одну из них видна вторая комната. Несколько полок с книгами. Шкаф. Письменный стол. Накрытая ковром тахта. Перед тахтой медвежья шкура. Два потертых кожаных кресла. Марков, в старой шерстяной рубашке, без галстука и в домашних туфлях, читает, сидя в одном из кресел. Катя стоит перед ним с плетеной кошелкой в руках.

Катя. Так вот и просидишь до конца отпуска?

Марков молчит.

Слышен звонок в передней. Катя выходит и возвращается вместе с посыльным из цветочного магазина. У посыльного в руках очень большая корзина цветов.

Посыльный. Куда поставить-то?

Катя *(показывая на обеденный стол)*. Сюда пожалуйста.

Посыльный ставит корзину на стол.

Спасибо. Сейчас я за вами закрою. *(Выходит вместе с ним и через несколько секунд возвращается. Подойдя к столу, достает вложенный в цветы конверт и, открыв его, читает вынутую из него записку.)*

Марков *(глядя на Катю)*. Ты, кажется, меня о чем-то хотела спросить?

Катя *(не спеша, складывая записку)*. Да. Я хотела тебя спросить — неужели ты так вот и просидишь до конца отпуска?

Марков. Не знаю, может быть...

Катя. Придет Андрей, я пойду купить что-нибудь к чаю.

Марков. Сходи.

Катя. Что ты на меня так посмотрел?

Марков. Ничего.

Катя. Да, придет Андрей. Что тут особенного?

Марков. Ничего особенного. Только бы он не присылал больше этих корзин. От них уже и так не продохнуть.

Катя. Я рада, когда мне приносят цветы, я давно от этого отвыкла.

Марков. Ну что ж, радуйся, но только нельзя ли ставить их там, у тебя?

Катя. Они тебе мешают?

Марков. Да.

Катя. Хорошо. *(Выходит с корзиной в другую комнату.)*

Звонит телефон.

Марков *(снимая трубку)*. Я слушаю. Алло! *(Молчание. Вешает трубку.)*

Входит Катя.

Катя. Кто звонил?

Марков. Очевидно, Андрей. У него появилась дурная привычка вешать трубку, когда подхожу я.

Катя. Она появилась у него с тех пор, как у тебя появилась привычка грубо разговаривать с ним.

Марков. Говорю, как умею.

Катя. Ты плохо относишься к нему, гораздо хуже, чем он к тебе.

Марков. Ко мне?

Катя. Да, к тебе. *(После паузы.)* Почему ты молчишь?

Марков. Я думал, что хоть на это я имею право.

Катя. Нет! Теперь ты не имеешь права так молчать. Было время, когда тебе стоило сказать одно слово!..

Марков. Было? Значит, я его пропустил. Ведь теперь поздно сказать это слово?

Катя. Да, поздно.

Марков. Ну, вот я и молчу.

Катя. Ты раньше тоже часто молчал. Но я чувствовала, что ты обо мне думаешь, что ты меня любишь. А теперь... Мне все чаще кажется, что ты молчишь просто потому, что тебе нечего мне сказать.

Марков. Тебе видней.

Пауза.

Катя. С тех пор, как умер Сережа...

Марков *(резко перебивая ее)*. А вот об этом мы с тобой, по-моему, условились не говорить.

Катя. Хорошо. Но скажи тогда сам, почему у нас с тобой все так плохо? Почему?

Молчание.

Да, последнее время я говорила, что мне плохо с тобой, я старалась меньше бывать дома, наконец, Андрей... Но почему ты ни

разу не сказал, что я тебе нужна, что ты меня любишь, что тебе будет плохо без меня? Если бы ты сказал это...

Марков. Зачем ты оправдываешься?

Катя. Когда ты так говоришь, мне хочется только одного — уйти и хлопнуть дверью! Ты думаешь — твое вечное спокойствие принесло мне много счастья? Когда я в первый раз сказала тебе, что нам стало плохо, а сама в глубине души ждала, что ты накричишь на меня, рассердишься, скажешь — все это глупости,— что ты ответил? Ничего. Пожал плечами и ушел на работу! Когда я стала говорить тебе, что любовь проходит,— ты ответил: «Тебе виднее!» Когда я сгоряча крикнула, что нам надо разойтись, ты сказал: «Как хочешь!» Да, может быть, сейчас я так хочу, но тогда... Почему ты ни разу не остановил меня, если я что-то напутала в жизни? Почему ты ни разу не захотел помочь мне разобраться, решить? Что вы, как можно, пусть решает сама, одна! А я не хочу решать сама!

Марков. Придется. Я за тебя решать не буду.

Катя. Ну конечно, так легче!

Марков. Там уж легче или не легче,— а не буду.

Катя. Эх ты! «Буду», «не буду» — словно палку о колено ломаешь. Встань, поцелуй мне руку. Я ухожу.

Марков не двигается.

Я тебя очень прошу, встань, поцелуй мне руку!

Марков по-прежнему не двигается. Катя, подождав еще секунду, поворачивается и выходит, хлопнув дверью. Марков встает и долго ходит по комнате. Звонок телефона.

Марков *(снимает трубку)*. Да, Марков. В два тридцать? С вещами? Нет? Хорошо. Есть. *(Положив трубку, продолжает ходить по комнате.)*

В коридоре звонок. Слышно, как там кто-то отворяет наружную дверь, В комнату входит Голубь, еще крепкий, даже очень крепкий для своих лет человек, одетый в полувоенный костюм и высокие охотничьи сапоги с ремешками. В руке у него большой рюкзак, под мышкой потертое, видавшее виды кожаное пальто.

Голубь. Обед есть?

Марков. Нет.

Целуются.

Голубь. И коньяку нет?

Марков. Нет.

Голубь. Я вижу, за два года в этом доме ничего не изменилось. Скажи, пожалуйста, чему тебя с детства учил твой старый учитель?

Марков *(став навытяжку, с улыбкой)*. Мой старый учитель учил меня с детства, что, когда он приходит, на столе должна стоять бутылка коньяку.

Голубь. И за...

Марков. ...куска!

Голубь. Я не вижу плодов своего воспитания. А впрочем, может, ты просто стал скуп? Тебе жаль бутылки коньяку для своего старого учителя? Может, когда я позвонил, ты бросился к этим полкам и спрятал сюда бутылку? *(Подходит к книжным полкам и, вынув несколько пыльных томов, достает из-за них бутылку коньяку. Долго смотрит на свет, удивленно нюхает.)* Коньяк!

Марков. Дай сюда, ничего не понимаю!

Голубь. Вот это уж стыдно. Ну, купил. Ну, поить меня жалко, ну, спрятал. Но зачем же кривить душой! *(С улыбкой.)* Э-эх, ты! Это я купил коньяк! Я, два года назад, уезжая зимовать и не надеясь на ваши заботы, заложил бутылку за сочинение господина Элизе Реклю «Человек и земля», которое, кстати сказать, все покупают и никто не читает.

Марков ставит на стол стаканы.

Ты прав, сынок. Это как раз та посуда. Это уже потом выдумали разные бокальчики, лафитнички, рюмочки. Что же до старика Ноя, я уверен, он пил из обыкновенного мосторговского чайного стакана. Итак, выпьем за нее?

Марков. За кого?

Голубь. За нее! За единственную, бесценную, за Катерину Алексеевну! Надеюсь, она для тебя по-прежнему о н а?

Марков. Да. Она скоро придет. Выпьем!

Пьют.

Голубь *(развязав рюкзак, вынимает из него вышитую детскую оленью доху, унты, малицу)*. Ну-с, а где же Сергей Алексеевич?

Марков. Нет его.

Пауза.

Нет Сергея Алексеевича. Умер.

Голубь *(пораженно)*. Как... Подожди, ничего я не понимаю.

Марков. А ты думаешь, я понимаю? В прошлом году, в это же время, пришел из детского сада, сказал, что болит голова. Смерили температуру, температура высокая. Пришел врач, сказал все, что полагается, и сделал все, что полагается. А температура все выше. Пришел второй врач — тоже сказал все, что знал, и сделал все, что мог. Потом пришел третий, сказал, что надо взять в больницу. А через неделю все трое вместе очень подробно объяснили

мне и Кате, почему именно не смогли спасти нашего сына и какой у него был редкий, небывалый и так далее случай менингита. Кажется, все так оно и было. И они сделали все, что смогли, и случай был действительно редкий. Все так, но сын-то у нас был один — вот в чем дело. И должен был с этой осени идти в школу. Вот. Ну, что смотришь? Убери сейчас же все это! Катя увидит, опять будет плакать.

Голубь *(встав, мрачно засовывает вынутые вещи в рюкзак и туго завязывает его)*. Сейчас же объясни мне...

Марков. Что объяснить? Ну что тебе еще объяснить?

Голубь. Нет, так не бывает. Так не может быть!

Долгое молчание.

Ты помнишь, как я его тогда брал на руки, а она сказала: «Дядя Коля, у вас медвежьи лапы, вы никогда не научитесь держать в них детей». Накаркала.

Долгое молчание.

Марков. Как ты зимовал?

Голубь. Как всегда. Первый год и думать о вас забыл, а к концу второго соскучился. Причалы построил, дома под крыши подвел, зеленый лук на подоконниках в ящиках вырастил. Все для новых зимовщиков приготовил, сел, положил ногу на ногу и заскучал.

Марков. Я тоже тут без тебя не веселился... Плохие у нас дела, дядя Коля.

Голубь. Уж чего хуже...

Марков. И с Катей — тоже плохо...

Голубь. А с ней что случилось?

Марков. Пока ничего. Как говорится, маленькое, не сразу заметное несчастье. Она разлюбила меня, ну а я, я тоже, значит, разлюбил ее, что же мне оставалось делать?

Голубь. Когда же началось это маленькое, не сразу заметное несчастье?

Марков. Если бы знать день, когда оно началось, так можно бы, пожалуй...

Пауза.

Незаметно это начинается, дядя Коля. Почему я молчаливый, почему я невнимательный, почему я не говорю, что она мне нужна, что я ее люблю? Она хочет, чтобы я каждый день напоминал ей об этом, а я не умею. Сказал раз на всю жизнь. И пусть помнит.

Голубь. Неумно.

Марков. Не знаю. Может быть. А тут — горе, да еще такое! Раньше, бывало, когда беда — словно какой-то силой толкало друг

к другу, а здесь, как назло,— забились по углам. Она плакала. Много. А я — нет. Ее обижало, что я не плачу. Я чуть с ума не спятил. А она не понимала. Совсем перестала меня понимать. Может, без чужой помощи в конце концов и поняли бы друг друга, но тут как раз и помощь подоспела...

Пауза.

Ваганова Андрея помнишь, конечно?

Голубь. Того, что на год раньше тебя институт кончил и *(кивнув на Маркова)* у одного бедного студента невесту пробовал отбить? Как не помнить. Но он ведь, по-моему, оставшись ни при чем, сразу же, как уважающий себя человек, исчез с горизонта. Что, снова объявился?

Марков. Объявился.

Голубь. Давно?

Марков. Из Москвы, как выяснилось, никогда и не уезжал. *(Обведя рукой комнату.)* А здесь появился с год.

Голубь. Зачем пустил?

Марков. А как было не пустить? Пришел овечкой: «Кто старое помянет, тому глаз вон. Узнал о вашем горе. Друзья познаются в беде...» И так далее. Язык у него и раньше был хорошо подвешен... А за десять лет и многое другое приобрел. Ума и таланта не отнимешь: директор научно-исследовательского института новых строительных материалов — и звучит внушительно, и на самом деле промышленности уже кое-что полезное дал. В тридцать четыре года — доктор технических наук! Вдобавок — в гордом одиночестве.

Голубь. Не женат?

Марков. Нет. Не знаю уж, как там у него жизнь складывалась, не расспрашивал. Но факт остается фактом — не женился. И, конечно, сразу дал понять, что по причине десятилетней безответной любви. А для женщины это много значит! Глупа, умна, любит сама или не любит — все равно приятно. В общем, она ему поверила.

Голубь. А ты?

Марков. Я? Нет. Просто имеет человек дар замечать, где что плохо лежит. Да и какое это имеет значение, поверил или не поверил я?

Голубь. Как какое? Раз не поверил, надо было сказать!

Марков. Кому?

Голубь. Ей!

Марков. Да ведь вроде как-то некрасиво... Гордость не позволила... Да... В общем, стал ходить к нам. Есть же такие люди. У них какой-то нюх на чужую беду. Я ее не умел утешать, сам го-

ревал. А он... Он это умеет: и нежность, и внимание, и «ты мне нужна», и «я без тебя не могу». Худо я про него говорю?

Голубь. Да, с пристрастием говоришь.

Марков. Не могу иначе. Не люблю его. За все. А больше всего за то, что она его любит.

Голубь. Что ты болтаешь?

Марков. Я не болтаю. Это так, дядя Коля. Она его полюбила, и теперь уж тут ничего не сделаешь.

Голубь. Как ничего? Как ничего, я тебя спрашиваю? А ты что ж? Молчишь? Пожалуйста, уходи, наплевать мне на десять лет жизни, на то, что любили друг друга, каждый кусок делили, на то, что она легкой жизни с тобой не искала, носом не крутила, медвежьих углов не боялась: куда тебя пятилетки бросали, туда за тобой и ехала! На все наплевать, так, что ли?

Марков. Последние два-три года все уже немножко не так, конечно...

Голубь. А что ж, ей прикажешь во второй раз университет оставлять? И так из-за тебя в тридцать лет кончит. А ведь она, я помню, еще девчонкой способная была — о литературе своей, бывало, говорила, заслушаешься! Кабы не ты да не ваши кочевья, может, уже в ученые б вышла!

Марков. Может быть.

Голубь. Вот то-то и оно-то. Так что теперь потерпи, посиди раз в жизни возле ее юбки, пока доучивается. Еще успеешь — накочуешься!

Марков. Не кричи. Отвык я от тебя. Шумный ты очень.

Голубь. Зато ты слишком тихий.

Марков. Тихий? Эх, старик, ну пусть другие, пусть даже она так думает, но ты... Тихий! Если б я, как раньше, верил, что она любит меня, я бы всех утешителей в окно покидал! Но ты же знаешь ее! Упади ей в ноги, скажи, что жить без нее не можешь — и разлюбит, а не уйдет. Не хочу этого говорить! Не желаю! Ну и все, и ладно! Что ты в самом деле — все Катя да Катя!

Голубь. Я?

Марков. Ну не ты, я. Все равно нехорошо. А ведь мы с тобой и до нее знакомы были и ведь находили, о чем говорить.

Голубь. Да, прямо скажем, в молчанку не играли.

Марков. А помнишь, что ты мне в Верхоянске сказал, когда мне вот так же, ну, не так же, но, в общем, тоже худо было?

Голубь. Нет, не помню. Что, коньяку, что ли, выпить посоветовал?

Марков. Нет, ты меня считать заставил: во скольких мы с тобой местах были; сколько домов за первую пятилетку построили, сколько за вторую; сколько спирта выпили; сколько пешком,

сколько верхом, сколько па собаках. А когда сосчитали, ты меня спросил: «Ну, так в чем же дело?» Вот и я теперь себе говорю: «Так в чем же дело?»

Голубь. Да ты не бодрись. И так верю, что не пропадешь. Как-никак, двадцать первый год в твоих приемных отцах хожу. Знаю тебя. Немножко. С четырнадцати годков.

Марков. А я не бодрюсь. Я просто вспоминаю, что на свете есть еще много разных хороших вещей. *(Улыбаясь.)* Вот взять хотя бы твои сапоги. Прекрасные сапоги. Сразу видно, что покоритель пространств. Хотя, по правде говоря, по летнему времени в Москве в ботинках удобнее.

Голубь. Ты моих сапог не трогай, молод еще.

Марков. Шучу. Я сам скоро, кажется, тоже сапоги надену. Только не такие. Армейского образца.

Голубь. Что, никак, снова в армию берут?

Марков. А ты что удивился? Газет не читаешь?

Голубь. Уж не в Монголию ли?

Марков. Не исключено. Между прочим, когда я служил на действительной, мы как раз в тех краях стояли.

Голубь. Не совсем, положим...

Марков. Ну, почти. Там ведь семьсот верст за расстояние не считают. Стояли и все ждали, ждали... И, понимаешь, сейчас, черт его знает, какое-то странное чувство. Как-то неуютно сидеть тут, когда там все это происходит, когда кто-то другой, а не ты, там первым на себя удары принимает.

Голубь. Да, уж когда такое чувство, стало быть, надо ехать. Если есть возможность.

Марков. Сегодня вызвали. *(Смотрит на часы.)* Я уже давно сижу, жду, Катя сердится, что кресла просиживаю.

Голубь. А ты что, ей не говорил, что ли?

Марков. Нет, говорил, вернее, намекал. Но это еще тогда было так, в неопределенном будущем. Вызвали меня в военкомат, переаттестовали. Потом спрашивают: «А что, если мы вас снова в кадры, в саперные части на Дальний Восток возьмем? Возражений нет?» — «Что ж, говорю, если надо — готов».— «Ну, идите, вызовем». Неделя, две, три — звоню. «Значит, пока не надо!» — говорят. Я уж думал, и правда не надо, а сегодня звонок. Ну, а Катя, что ж... Ты же меня сам когда-то учил сообщать о таких вещах в последнюю минуту, когда чемодан уложен. Скажу, успею.

Голубь. Правильно, сынок.

Марков. Не хочешь ли переодеться с дороги?

Голубь. Не прочь. Развяжи-ка рюкзак. Там у старика, помнится, есть чистая сорочка.

Марков *(развязывая рюкзак)*. Однако, завязал же ты!

Голубь. Ничего, если поднатужусь, еще и трубу могу в узелок завязать. Давай. *(Берет рюкзак.)*

Марков *(сбросив с ног туфли)*. Возьми мои туфли, надень. Или ты, может *(показывает на сапоги Голубя)*, зарок дал их не снимать?

Голубь. Ничего, сниму. У меня отпуск полярный. Четыре месяца. Вы еще со мной хлебнете горя. *(С рюкзаком и туфлями в руках проходит в другую комнату.)*

Марков достает из-под тахты ботинки, надевает их и начинает зашнуровывать. Входит Катя.

Катя. Еще не пришел?

Марков. Кто?

Катя. Андрей.

Марков. Нет.

Катя *(заметив брошенное на тахту кожаное пальто Голубя)*. Дядя Коля? Дядя Коля!

Голубь выходит ей навстречу.

Дядька, родной, когда вы приехали? *(Целует его в лоб.)*

Голубь *(целует ей руку)*. Катерина Алексеевна, душенька! Старому хрычу очень нужно было тебя увидеть. Дай-ка я тебя поглажу по головке. Ей-богу, ты, правда, выросла. Тебе скоро пошьют первое длинное платье. Небось уже во вторую ступень перешла? А?

Катя. Еще год, дядя Коля, и кончу университет.

Голубь. Ну, и что дальше?

Катя. Не знаю. Может быть, еще в аспирантуре останусь. Хочется еще поучиться. Очень долго я этого ждала, дядя Коля. И поздно смогла. Ведь со мной рядом за столами совсем девочки сидят...

Голубь. Значит, в ближайшее время дороги да зимовки со мной и с Алексеем Степановичем не поедешь строить?

Катя. Едва ли. Во всяком случае — не хотела бы.

Голубь. Ишь ты, не хотела бы! Такая маленькая, а уже самостоятельная. Да сколько же тебе теперь лет, Катерина Алексеевна.

Катя. Двадцать девять, Николай Семенович. Тридцатый.

Голубь. Неправда. Тебе девятнадцать. Не возражай, не порти мне жизнь. Мне до зарезу нужно, чтобы тебе всегда было девятнадцать. Тогда я старости не чувствую. Я приезжаю — тебе девятнадцать. Я уезжаю — тебе девятнадцать. Я возвращаюсь — через два года — тебе все еще девятнадцать. Ей-богу, я гораздо больше

рад видеть тебя, чем этого глупого парня, который мне тут... *(Останавливается под взглядом Маркова.)*

Катя. Он вам, наверное, уже всего наговорил. Он ведь только со мной такой неразговорчивый.

Голубь. А мне все равно, что он говорил. Я этого и слышать не хочу. Мне только в одно поверить пришлось. Бедная ты моя девочка. Бедная, бедная. Только не плачь. А то и я начну. Ну и глупо будет. Усы, как у моржа, а тоже ревет!

Катя. Ах, дядя Коля! Вы лучше про себя что-нибудь расскажите. Хорошо? Ну, пожалуйста, очень вас прошу!

Молчание.

Голубь. Про себя так про себя. Видите ли, дети мои, начальство считает, что мне пора на покой, в управление. Теперь, говорят, не двадцатые годы: в Арктику ехать — от молодежи отбою нет. А вы свое там сделали! Они даже наивно предлагают мне здесь в Севморпути казенную комнату, чуть ли не квартиру. Но я не возьму. Я скажу, что у меня есть комната, и буду пока жить у вас. Да, у вас. У обоих. А когда они отдадут мою квартиру другому, я скажу, что мне негде жить, и им из-за отсутствия жилплощади опять придется отправить меня не на Диксон, так на Игарку! Не правда ли, старик был хитер?

Катя. А может, вам и правда остаться в Москве?

Голубь *(подходит к дверям соседней комнаты, вытаскивает из-за дверей сапоги)*. Видишь, сапоги? Я могу проходить в них по Москве, ну, день, два, неделю,— дальше это будет вроде как смешно. А надолго снять, понимаешь ли ты, уже боюсь. Мне ведь пятьдесят семь.

Марков. Убавляешь.

Голубь. Ну, пятьдесят восемь... Пятьдесят девять! Шестьдесят! Тем хуже! Нет-нет да и войдет в голову мысль: а не пора ли тебе, старик, и в самом деле сменить эти бахилы на ночные туфли? *(Подходит к зеркалу.)* Кстати, туфли мне определенно к лицу.

Катя. Вы в них похожи на большого кота. Вам бы к ним еще хвост трубой...

Звонок. Марков выходит открыть дверь и возвращается с Вагановым.

Ваганов *(Кате)*. Вот и я.

Катя. Здравствуй.

Ваганов *(разглядывая Голубя)*. Николай Семенович! Да неужели это вы?

Голубь. Да, по-моему, это я. Представьте себе, еще не помер. Здравствуйте, Андрей... Сергеич — по батюшке? Не ошибаюсь? Давненько мы друг другу не попадались.

Ваганов. Десять лет.

Катя. Может, кофе сварить?

Ваганов. Кофе? Не откажусь.

Голубь. Свари, Катенька, свари. Из всех неспиртных напитков — единственный стоящий.

Катя выходит.

Ваганов. Что, Николай Семенович, все по-прежнему путешествуете?

Голубь. А что ж? *(Хлопнув себя по коленям.)* Пока подставки есть — путешествую. А вы тут, рассказывают, за это время в большие чины вышли?

Ваганов. Да как вам сказать...

Голубь. Что — в недостаточные, что ли?

Ваганов. Да что ж скрывать, если сил и способностей хватит, в будущем мечтаю о большем, грешный человек. А может, это и не такой уж грех, а, Николай Семенович?

Голубь. Ну, это кто как считает. У нас с вами, помнится, были старые споры на этот счет.

Ваганов. Еще бы, как же, помню ваши тогдашние заповеди: настоящему строителю непременно надо ездить с места на место, не считаться с удобствами, не думать об оседлой жизни и уж тем более о завтрашнем дне... Так, что ли? Не перепутал?

Голубь. Никак нет. Польщен. Запомнили. Хотя я своих заповедей никому не навязывал. Каждому — свое.

Ваганов. Вот с этим я согласен. А впрочем, нет, не согласен. Возьмите хоть Алексея, у него же золотые руки, а чем дольше я его здесь в Москве наблюдаю, тем ясней вижу, что он не умеет заставить ценить себя. В этом смысле у него просто горы потерянного времени.

Входит Катя.

Голубь. Ну, уж это неправда. Он никогда времени не терял. Он жил.

Марков *(Кате)*. Ты слышишь, они говорят обо мне, как о покойнике: покойный терял время; нет, покойный не терял времени... Как, по-твоему, терял я время?

Катя. По-моему, вы все сейчас теряете время, потому что кофе уже на столе.

Голубь. Что верно, то верно.

Все подсаживаются к столу.

Ваганов. Ну, ладно, терял, не терял... *(Голубю.)* Но ответьте мне здраво — неужели даже эти три последних года, когда

(кивнув на Маркова) он волей-неволей оказался в Москве, неужели верно — не использовать их, чтобы по праву выдвинуться, имея за плечами такой, как у него, практический опыт? *(Маркову.)* А у тебя только и свету в окошке, чтобы при первой возможности снова удрать рядовым прорабом на свой возлюбленный Север! Никогда не пойму!

Марков. Север я действительно люблю. А на том, чтобы ты понимал меня,— не настаиваю. *(Смотрит на часы. На них — два часа.)* Дядя Коля, ты что ж туфли-то надел? Забыл, что нам надо с тобой идти?

Голубь *(не сразу поняв)*. Куда идти? А, ну да, конечно. Сейчас переоденусь. *(Выходит в другую комнату.)*

Катя. Хоть бы кофе допили. Куда вы собрались?

Марков *(надевая пиджак)*. Так, вообще, по городу, к парикмахеру, еще кой-куда.

Катя *(подойдя к Маркову, тихо)*. Почему ты уходишь?

Марков *(так же тихо)*. Нужно. Правда, нужно. Не нарочно.

Катя. Как хочешь!

Марков *(громко)*. Пошли, дядя Коля!

Голубь *(выходя из другой комнаты.)* Не прощаюсь!

Марков и Голубь выходят.
Долгое молчание.

Катя. Знаешь, мне показалось, вы сейчас как-то нескладно говорили с дядей Колей. Как-то зло.

Ваганов. Возможно. Он и в давние времена меня недолюбливал.

Катя. Почему?

Ваганов. Слишком уж разные мы с ним люди. Как и с Алексеем, впрочем. Вот и не любит.

Катя. А я ведь знаю, тебя многие не любят. Ценят, а не любят. Говорят, что ты сухой, недобрый... Но я не верю. Те, кто так думает, просто плохо знают тебя. Да?

Ваганов. А мне все равно, что они думают. Мне важно, что думаешь ты. И если ты говоришь так,— значит, так, и если ты говоришь — плохо, значит — плохо; надо иначе. Мне тридцать пять. Я не мальчик, Катя! И я прожил довольно одинокую жизнь, по внешности вполне благополучную, а на поверку не слишком-то счастливую. От такой жизни человек черствеет, даже если он не черств от природы. И если меня кто-то и не любит, то, наверное, есть за что. Но мне кажется, что если меня без оглядки, безрассудно, беззаветно полюбит только один, всего один человек,— меня потом полюбят и все остальные. Ведь это так украшает человека,

когда его любят! И так смягчает его, когда его жалеют... хоть немножко.

Катя. Немножко — не умею. *(Задумчиво.)* Жалеют... Мама-покойница по деревенской привычке, бывало, всегда это слово — жалеют — говорила вместо любят.

Ваганов. Да, хочу, чтоб жалела! Ты... ты сама не знаешь, что такое ты для меня. Когда я в прошлом году получил докторскую — и не за красивые глаза, между прочим, как, очевидно, считает ваш дядя Коля, а за некоторые технические расчеты, которые завтра ему же помогут строить там у них на Севере в зоне вечной мерзлоты...

Катя. Мне кажется, дядя Коля совсем не хотел...

Ваганов. Ладно, не в этом дело... Когда я получил докторскую, меня поздравляли на всех углах,— это было не то; мы, как водится, пили с сослуживцами водку — это тоже было не то; я пришел домой — дома было пусто. И тогда я понял, что вот так же нерадостны будут все мои удачи, вся моя жизнь, если...

Звонок телефона.

Катя. Если что?

Ваганов. Если...

Опять звонок. Катя снимает трубку.

А вдруг Алексей?

Катя. Ну и что же? Ты не договорил. Говори.

Ваганов. А что говорить? Что я был тут вчера и приду завтра? Что я счастлив сидеть здесь и пить чай? Я не хочу больше этого говорить.

Катя. А что ты хочешь говорить?

Ваганов. Все. Если бы ты знала, как ты мне нужна.

Катя. Нужна?

Ваганов. Катя, родная...

Катя. Нет. Родная — это я слышала, а вот нужна... В этом доме мне последнее время все чаще казалось, что я никому не нужна.

Ваганов молча целует ее руки.

Да, я счастлива, что вот ты на людях такой независимый, резкий, а приходишь ко мне — и жалуешься и говоришь красивые слова. Нет, я не смеюсь, это ведь так нужно! Красивые слова. Я отвыкла от них.

Ваганов. Нет, я так больше не хочу, я скажу тебе все, все, что ты мне запрещаешь, и скажу это сегодня, вот сейчас!

Катя. Дай руку. *(Берет его руку.)* Видишь, какая длинная линия жизни. А ты все торопишься, непременно сегодня, сейчас...

Ваганов. Да, сейчас! Если б ты была одна и никого рядом с тобой и если б ты мне сказала: «Я не могу сейчас говорить об этом, я еще не решила,— потом, завтра, когда-нибудь!» — я бы ушел, уехал и ждал бы вдали еще месяц, год, два, как я ждал уже десять лет! Но когда рядом с тобой человек, который тебя не любит, да, не любит...

Катя жестом останавливает его.

Нет, на этот раз я не замолчу! Я знаю, ты прожила с ним десять лет, но это годами не меряется. Он тебя не любит, он каждым словом, каждым жестом доказывает, что ты ему не нужна. Но я ухожу, а он остается с тобой! Он, а не я. И вот так я не могу ждать. Не могу, слышишь?

Катя молчит. Ваганов, подойдя к ней, крепко взяв ее за плечи и приблизив свое лицо к ее лицу, долго смотрит ей в глаза. Входит Марков в плаще, с большим свертком под мышкой.

Марков *(после молчания, овладев собой, почти спокойно).* А я звонил, звонил, думал, вы ушли... *(Оглядывает комнату, Ваганова, безмолвно застывшую Катю, снятую с рычага телефонную трубку, повторяет.)* А я звонил, звонил, думал, вы ушли. Шел по Садовой. Начинает моросить.

Ваганов. Да, вот и здесь...

Катя. Ты же все видишь, почему ты молчишь?

Марков. Что я вижу? Я ничего не вижу. *(Кладет на рычаг телефонную трубку.)*

Катя. Это жестоко.

Марков. Что?

Катя. Делать вид, что ты ничего не видишь, молчать. Тогда я сама скажу, да, и этот телефон, и все... *(Оглянувшись на Ваганова, с внезапной решимостью.)* Я не могу так дальше. Я ухожу отсюда.

Марков. Когда?

Катя. Сегодня.

Марков. Хорошо. *(Идет к двери.)*

Катя. Куда ты?

Марков. Снять плащ. *(Выходит.)*

Ваганов благодарно целует Кате руку. Марков возвращается без плаща и свертка.

Катя. Я думала...

Марков. Ты думала, я убегу и не вернусь, пока вы не уйдете? Наоборот. Останусь и даже перекушу. Пока ты еще здесь, может, покормишь меня по старой памяти? *(Садится за стол, дотрагивается до кофейника.)* Оказывается, даже и кофе еще не остыл.

Катя. Что ты говоришь? Ты только послушай, что ты говоришь! Неужели тебе все, все равно?

Марков. Нет, мне не все равно. Но я не люблю переживать на пустой желудок. Сначала я поем. Потом вы уйдете. Потом я начну переживать.

Катя. Уйдет только Андрей. Я останусь. Мне нужно с тобой поговорить.

Марков. Как хочешь.

Катя *(Ваганову, который остановился в нерешительности)*. Иди. Потом придешь, или я приду, или позвонишь мне... А пока иди, пожалуйста, хорошо?

Ваганов *(по дороге к дверям, останавливаясь перед Марковым)*. Послушай, Алексей!

Марков. Ну?

Ваганов. Мне бы тоже нужно было...

Марков. Вот как! Тебе еще что-то нужно? Что тебе нужно?

Ваганов. Если ты намерен продолжать в таком тоне — ничего! *(Резко поворачивается и выходит.)*

Долгое молчание.

Марков. Ты мне что-то хотела сказать?

Катя. Да.

Марков. Ну?

Пауза.

Ну, говори.

Пауза.

Ну, что же ты не говоришь? Все думаешь — что бы такое мне сказать? Брось, Катя. Все равно ничего не придумаешь. Что уходишь от меня? Вижу. Что любишь его? Верю. Что же еще?

Катя. Мне многое надо тебе сказать.

Марков *(незаметно для Кати взглянув на часы)*. А стоит ли? По-моему, не надо.

Катя. Алеша, я не хочу с тобой так говорить!

Марков. Ну, так не говори.

Катя. Так говорить!

Марков. А как же ты хочешь? Чтобы я просил тебя остаться?

Катя. Не знаю. Мне страшно, что ты такой спокойный.

Марков. Уж какой есть. Прости, пожалуйста.

Катя. Нет, это ты меня прости. Я, кажется, сказала глупость. Разве я имею право тебя упрекать?

Марков *(снова взглянув на часы)*. Ты куда теперь? Туда, к нему?

Катя. Почему ты меня спрашиваешь об этом? Зачем?

Марков. Хочу знать. Туда?

Катя *(теряя самообладание)*. Да, туда, туда! Вот сейчас возьму вещи, и прямо туда! Ты этого хочешь, этого, да? *(Достает из шкафа чемодан и лихорадочно начинает швырять в него все, что попадается под руку.)*

Марков молча наблюдает за ней.

(Остановившись.) Знаешь, мне вдруг стало так грустно... Я никогда не думала, что мы с тобой будем так прощаться.

Марков. А как ты думала? Прощаться со мной неделю, месяц, понемножку? А я не хочу прощаться понемножку. Я хочу сразу. Сейчас.

Катя. Алеша!

Молчание. Катя, отшвырнув раскрытый чемодан, идет, почти бежит, к двери. У самой двери останавливается. Говорит негромко, почти шепотом, но с силой.

Я тебя ненавижу. Слышишь? Ненавижу.

За ее спиной приоткрывается дверь. В дверь просовывается голова Марии Петровны.

Мария Петровна. Можно? *(Не дожидаясь ответа, входит, прикрыв за собой дверь.)* Хотела у вас электрический утюг одолжить. Мой опять испортился.

Катя *(молча посмотрев на Марию Петровну и повернувшись к Маркову, рукой показывает на чемодан)*. Я приду за этим потом, когда тебя не будет. *(Пройдя мимо Марии Петровны, как будто ее нет здесь, молча выходит.)*

В тишине слышно, как щелкнула наружная дверь. Мария Петровна поворачивается вслед Кате, потом долго оглядывает комнату, останавливается взглядом на открытом чемодане, на разбросанных вещах. Марков продолжает сидеть все так же неподвижно, как он сидел.

Марков *(после долгого молчания)*. Присаживайтесь.

Мария Петровна садится. Снова молчание.

(С чуть заметной иронией.) Спросить хочется? Да?

Мария Петровна. А чего спрашивать-то. Сама вижу. Поругались.

Марков. Разве слышно было?

Мария Петровна. А вы что думаете? Ругаются — это только когда слышно? Когда не слышно — это еще хуже! Когда тихими голосами друг другу разные выражения говорят: он ей то, она ему это... Это самое и есть!

Марков. Что — это самое?

Мария Петровна *(кивнув на раскрытый чемодан)*. А вот это самое. Вы что думаете, я еще год назад своим заказчицам говорила: тихие у меня соседи, а чувствую — ругаются. *(Нагибается, подбирает с полу лепестки цветов, кладет на стол.)* Я, если хотите знать, все это год назад чувствовала.

Марков. Неужели? А я вот, представьте себе, не чувствовал.

Мария Петровна *(вдохновленная тем, что Марков поддержал с ней разговор)*. Если хотите знать...

Марков *(спокойно)*. Не хочу я знать, Марья Петровна.

Мария Петровна. И напрасно! Когда вас обоих с утра нет — кто дверь-то открывает? Я эти корзины из цветочного магазина сосчитать могу...

Марков *(взглянув на часы, встает)*. Извините, Марья Петровна, мне недосуг.

Мария Петровна *(тоже вставая)*. Э-эх! Алексей Степанович! Все у вас недосуг. Ни с женой, ни с людьми поговорить не умеете. Вот и выходит... *(Идет к дверям.)*

Марков *(когда она уже в дверях)*. Марья Петровна, забыли!

Мария Петровна. Что забыла?

Марков. Утюг забыли. Вы же за утюгом пришли? *(Идет к шкафу, открывает дверцу, достает утюг, отдает Марии Петровне.)* Пожалуйста.

Мария Петровна *(сердито)*. Спасибо. *(Выходит.)*

Марков *(оставшись один. Смотрит на Катин открытый чемодан, захлопывает крышку. Задумчиво)*. Да-а... *(На секунду выходит в коридор. Возвращается со свертком. Развертывает его. В свертке обмундирование. Смотрит на часы. На них четыре.)* Итак, у нас с тобой, Алексей Степанович, еще целый час на сборы.

Вынимает из карманов кисет, спички, трубку, документы и горкой складывает все это на столе.
Потом неторопливо снимает пиджак.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Та же комната. На стенных часах пять часов. Марков в форме военного инженера укладывает свой чемодан. Голубь ходит по комнате.

Голубь. Машину вызвал?

Марков. Да, сейчас будет.

Голубь. Когда поезд отходит?

Марков. В семнадцать сорок.

Пауза.

Голубь. Значит, ушла, и все? Да?

Марков. Да.

Голубь. Почему не сказал ей, куда едешь?

Марков. Зачем? Чтобы осталась из благородных побуждений?

Голубь. А что, не хотел, чтобы осталась?

Марков. Хотел? Мало сказать — хотел! Но я хотел, чтобы вот просто так, взяла и осталась. А из благородных побуждений — нет, не хочу.

Голубь. Мало любишь ее. Вот что я тебе скажу!

Марков. Мало? Ну, что ж, пусть мало. Если б мало — так, наверно б, не ушла. Сказал бы, что еду, уговорил бы, умолил, мне б тогда все равно было, что с ней, как она — только бы осталась.

Голубь. Ну и хорошо, и пусть бы осталась.

Марков. Не хочу. Раз не любит — пусть уходит. Давно хотела уйти, но не решалась. А я ей сегодня помог. Только и всего.

Голубь. Не любит, не любит, заладил свое! А откуда ты знаешь, что не любит?

Марков. Знаю. Сама сказала.

Голубь. А ты: раз-два, и готово — поверил! Неверно все это!

Марков. А если ее последний год со мной ничего, кроме любви, не связывало, а любовь, как выяснилось, прошла? Как прикажешь быть? Если она другого полюбила, что ж ей со мной, с нелюбимым, жить? Это, что ли, верно?

Голубь. Это ты-то нелюбимый? Был, был любимый и вдруг стал нелюбимый?

Марков. А что, не бывает?

Голубь. Бывает. Не сумел удержать! Дурак!

Марков. Возможно. Умным в таких случаях редко кто оказывается. Честным остаться — и то хорошо. А насчет того, чтобы удерживать,— в любовь на канатах — не верю! И если не хочешь со мной ссориться, то мы закончили этот разговор. Ты купил табаку?

Голубь. Вот он.

Марков, взяв из рук Голубя пачку табаку, укладывает ее в чемодан. Звонок. Голубь выходит в коридор и возвращается с Вагановым.

Я же вам доложил, что ее здесь нету.

Ваганов *(увидев Маркова в военной форме, чемодан, взволнованно)*. Ты что? Уезжаешь! И так неожиданно! Куда?

Марков. Ну, скажем, в Монголию. А что, тебя это огорчает? Или меняет твои планы?

Ваганов *(примирительно, кладя ему руку на плечо)*. Послушай, Алексей...

Марков *(стряхнув его руку)*. Только без этого!

Ваганов. Прости, но на этот раз я тебя не понимаю.

Марков. Чего ты еще не понимаешь?

Ваганов. Твоего поведения. Особенно сейчас, в такую минуту. Мы с тобой слишком старые товарищи, чтобы так прощаться.

Марков. Скажи пожалуйста, как сговорились: со всеми я не так прощаюсь. Как же прикажешь с тобой прощаться?

Ваганов. Ты, судя по твоим словам, кажется, едешь не на курорт!

Марков. Предположим, что так. Что из этого следует?

Ваганов. Я думал, что мы все-таки простимся с тобой по-хорошему. Тем более теперь, когда ты уезжаешь.

Марков. Напрасно думал. Ты ждал, что я скажу: живите, будьте счастливы, благословляю. Так? Не дождешься. Не благословлю!

Ваганов. Все?

Марков. Да. Все... Нет, не все! *(Подходит к Ваганову.)* У Кати есть недостаток — она слишком верит людям, ее легко обмануть и обидеть. Сначала сама придумает себе человека, а потом...

Ваганов *(перебив его)*. А откуда ты меня знаешь? Да, ты знаешь, какой я с тобой *(кивнув на Голубя)*, с ним, с Иваном Ивановичем, с Петром Петровичем! Но откуда ты знаешь, какой я буду с женщиной, которую я люблю? Уж не собираешься ли ты, чего доброго, следить за моим поведением?

Марков. Собираюсь.

Ваганов. Глупо!

Марков. Там уж глупо или не глупо,— а предупреждаю. *(Остановив взгляд на разбросанных по комнате Катиных вещах, отворачивается от Ваганова и вновь принимается за укладку своего чемодана.)*

Ваганов. Прощай! *(Горько.)* Я ошибся, думал, что есть вещи, которые выше наших с тобой личных неурядиц. Я думал, что бы там ни было, но двое старых товарищей, наконец, двое советских людей не должны терять голову из-за женщины, не должны так прощаться, когда они могут больше не увидеться! *(Уходит.)*

Голубь. Ишь ты,— не увидеться! Ничего, увидитесь. Так повернул, словно он уезжает, а ты остаешься.

Марков *(после паузы)*. Ты без меня где будешь жить? Здесь?

Голубь. Нет. Не люблю жить на пепелище. В гостиницу поеду. Денежки буду проживать. Куда они мне теперь.

Марков. Не расстраивайся. Ты же у меня старый полярный волк. Сам же говорил, что даже любишь одиночество!

Голубь *(задумчиво)*. По секрету тебе скажу: не люблю я одиночества. Писать будешь?

Марков. А ты в какую гостиницу собираешься?

Голубь. Не знаю. Подберу — какая пошумней.

Марков. Ну, значит, для начала — почтамт, до востребования. Да, вот что: ты здесь не очень перед ней распространяйся, что вот, мол, уехал, и так далее... Куда бы я ни уехал, это дела не меняет.

Голубь. Как раз меняет!

Марков. Нет, не меняет.

Звонок.

Голубь *(выходит и возвращается)*. Такси.

Марков *(взглянув на часы)*. Посидим минуту перед дорогой.

Голубь. Что ж, посидим.

Садятся.

Марков *(вынимает из кармана деньги)*. На, уплати вперед за квартиру, а то еще отдадут кому-нибудь, как пустующую... А впрочем, хоть бы и отдали!

Молчание.

Шесть суток — и буду на месте.

Голубь. Да, если бы заранее знал, проводил бы тебя.

Марков. Далеко?

Голубь. Да тысяч на пять верст составил бы компанию. Сколько там от чугунки-то?

Марков. Семьсот.

Голубь. До последней станции и проводил бы.

Марков. А там уж заодно со мной и в район конфликта. Так, что ли?

Голубь. Стар. Не пустят. Шестнадцать лет назад выпустил последнюю пулю по их благородиям. В двадцать третьем году в якутской тайге. Последняя банда есаула Кондратьева.

Марков *(вставая)*. Пора.

Голубь. На вокзал-то проводить?

Марков. Знаешь ведь — не люблю, когда меня провожают.

Голубь. Знаю. Сам учил. Ну, до дверей-то можно?
Марков. До дверей? Что ж, так и быть.

Голубь и Марков выходят, слышны голоса, хлопанье дверей.

Голубь *(возвращается. Долго ходит по комнате, трогает вещи. Взяв в руки штатский пиджак Маркова и вытянув его за пустые рукава, говорит, ни к кому не обращаясь)*. По секрету тебе сказать, не люблю я одиночества... *(Ложится на тахту, лицом в подушки.)*

Входит Катя.

Катя. Дядя Коля!

Молчание.

Дядя Коля!
Голубь. Что?
Катя. Где Алеша?
Голубь. Нет его.
Катя. Я пришла... Мы так нехорошо, не по-человечески с ним простились... Все это было так страшно!
Голубь. Что — это?
Катя. Как мы простились.
Голубь *(равнодушно)*. А...
Катя. А вы что думали?
Голубь. Я думал, вообще все это... *(Встав с тахты и посмотрев на часы.)* Поздно пришла. Уехал он. *(Опять посмотрев на часы.)* Нет, поздно.
Катя. Как? Куда уехал?
Голубь. В армию. В Монголию.
Катя. Как же так? Не может быть!
Голубь. Он что, никогда тебе не говорил?
Катя. Нет, он говорил, но месяц назад, давно, что может быть.
Голубь. Ну, вот,— сначала может быть, а теперь уехал.
Катя. Значит, когда я уходила, он уже знал об этом?
Голубь. Знал.
Катя. Он не сказал мне ни слова!
Голубь. Не сказал? Все тебе говорить надо, сама понять не можешь. Десять лет с ним прожила, вдруг понимать разучилась. Не по-человечески, видите ли, простились! А что ему прикажете делать, если у него через два часа поезд уходит, а он, чтобы ты знала об этом, не хочет?
Катя. Но почему, почему же он не сказал?

Голубь. А потому, что любит тебя, дуру, потому, что связывать тебя по рукам и ногам не хотел, портить счастье твое не хотел. Как будто у тебя без него счастье будет!

Катя. Дядя Коля!

Голубь. Ну, ладно, не буду, не буду, неделикатно я сказал, извините! В восемнадцатом году отец его, на руках у меня помирая, просил, чтобы я за отца ему был. Дядя Коля! Дядя Коля! Какой я вам дядя Коля?! Отец я ему! И тебе — тоже! Умные люди, а понять не можете! *(Вытирает глаза рукавом.)* До чего довели человека, чертовы дети!

Катя. Если кому плакать, так скорей уж мне.

Голубь. Тебе, тебе, много ты понимаешь! Вы что думаете, мне вас жаль? Мне себя жаль. У меня, может быть, личная жизнь не удалась. Бобыль, хоронить некому будет. Разве какой-нибудь незаконный отыщется. Не отыщется. Кому надо, у того не отыщется. Вот возьму да и вам назло *(ткнув рукой в стену)* за эту вашу Марью Петровну выйду замуж. Она уж второй приезд ко мне пристреливается!

Катя. Дядя Коля, мы...

Голубь. Кто это — мы? Были вы — и нет вас! Я, на вас глядя, думал: неправда, есть и у меня дом, есть и у меня дети. Я, может быть, по два года на любых широтах мерзнуть мог, потому что около вас потом месяц грелся. Счастье! Где оно, это счастье? Куда дели?

Катя. Дядя Коля! *(Хочет обнять его.)*

Голубь. Не трогай! *(Отвернувшись от Кати, ложится на тахту.)*

Катя. Дядя Коля!

Молчание.

Резкий звонок в передней. И сразу же вслед за этим в комнату почти вбегает Ваганов.

Ваганов. Где ты была? Я сбился с ног, искал тебя.

Катя. Я только что пришла сюда.

Ваганов. Катя!

Катя. Да?

Ваганов. Что же дальше?

Катя *(задумчиво)*. Дальше?

Голубь встает с тахты и молча выходит в соседнюю комнату. Ваганов и Катя провожают его глазами.

Дальше... Ты знаешь, Алеша уехал.

Ваганов. Знаю. Я говорил с ним. Да, уехал. Ну, и что же?

Катя. Ничего.

Ваганов. Это ничего не должно менять.

Катя. Не должно? Послушай, но только не сердись на меня, хорошо?

Ваганов. Хорошо. Я заранее готов ни на что не сердиться, все выслушать, принять все условия, но прошу только об одном — дай мне руку, и сейчас же прочь отсюда! *(Кивнув на разбросанные по комнате Катины вещи.)* Все это можно взять через месяц и можно не брать вовсе. Надо только одно: дать мне руку, встать и уехать со мной.

Катя. Нет, я пока никуда не поеду с тобой.

Ваганов. Пока? Пока что? Пока он не вернется?

Катя. Не знаю...

Ваганов. А что тут знать? Что нового произошло за эти два часа? Он уехал? Да, человека взяли в армию — и он уехал. Взяли бы меня — уехал бы я. Что тут такого? Что переменилось?

Катя. Он даже не сказал мне, что уезжает. Ни слова. Не захотел, чтобы я что-нибудь меняла из-за этого...

Ваганов. Вот именно! А о чем говорю тебе я? О том же самом, ради чего он уехал, не сказав тебе ни слова. Да, он благородно поступил. Но ты и раньше знала, что он хороший человек. Это тоже ничего не меняет, это для тебя не новость.

Катя *(задумчиво)*. Да, это для меня не новость...

Ваганов. Что ты со мной делаешь? Ты только подумай!

Катя. Я никогда не понимала женщин, которые говорят: подожди, не надо, сегодня рано — завтра, послезавтра. Говорят из осторожности, из приличия, из расчета. Но я правда хочу какое-то время побыть одна. Совсем одна. И ты должен, должен меня понять!

Ваганов. Да, понимаю. *(Горько.)* А что толку, что понимаю? Все равно я не могу оставить тебя здесь!

Катя. Здесь? А разве это так важно — где? Хорошо, пусть не здесь. Ты прав. Я переменю комнату, найду, сниму, уеду... Что ты молчишь?

Ваганов. А что говорить? Ты уже все сказала сама. А ты для меня... Хорошо, я больше ни слова не скажу тебе об этом, пока ты сама не решишь по-другому.

Катя. Ты все-таки понял меня! Я так и знала. Дай мне, пожалуйста, там на столе в графине — вода.

Ваганов *(подавая Кате воду)*. Ты плохо себя чувствуешь?

Катя. Немножко. *(Выпив воды, несколько мгновений сидит неподвижно, потом, решительно встав, берет со стола сумочку.)*

Ваганов. Куда ты?

Катя. На телеграф. Мне нужно послать телеграмму.

Ваганов. Куда?

Катя. Ему, в поезд. Что ты смотришь? Ты же знаешь, куда он едет. Мы плохо простились с ним, и я просто хочу пожелать ему доброго пути.

Ваганов. А нельзя — завтра? Ты же только что сказала, что плохо себя чувствуешь.

Катя. Нет, нет. Сейчас же!

Ваганов. Хорошо, тогда схожу я.

Катя. Ты? Не надо, ведь тебе это, наверно, будет...

Ваганов *(перебив ее)*. Глупости. Когда человек едет туда, куда уехал Алексей, о таких вещах забывают. Ты плохо знаешь меня.

Катя. Да, но, по-моему... Ну, хорошо. Я сейчас напишу. *(Вырвав листок из блокнота и написав на нем несколько строк, отдает листок Ваганову.)*

Ваганов. Я потом вернусь и еще немножко посижу у тебя.

Катя *(нерешительно)*. Я так смертельно устала сегодня. Может быть... Только не обижайся...

Ваганов. Хорошо. Я не приду. Приду завтра. Все, как ты хочешь. *(Поцеловав Кате руку, выходит.)*

Катя устало садится посреди комнаты, где повсюду следы поспешных сборов — раскрытый чемодан на полу, разбросанные по тахте платья, небрежно переброшенные через спинку кресла рубашка и пиджак Маркова.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Та же комната. Начало осени. Вечер. На письменном столе стоит пишущая машинка с начатой работой. Мария Петровна, стоя перед Катей, примеряет на ней жилет. Весь последующий разговор, до прихода Голубя, проходит во время примерки.

Мария Петровна. И все-таки как хотите, а не могу я понять вас, особенно последние два месяца.

Катя. Ах, Марья Петровна, сама себя и то не всегда понимаешь.

Мария Петровна. А я люблю, чтоб я людей понимала. Я их понимаю хорошо. А когда не понимаю,— значит, делают неверно. Зачем же это, между двух стульев-то сидеть? Разве это дело?

Катя. Да ведь не так все это, Марья Петровна!

Мария Петровна. Так. Только слов этих не любите. Вот и все. *(После паузы.)* Я не поклонница бывшего вашего супруга. Я вам это прямо скажу. *(Заметив, что Катя поморщилась.)* Вот видите — теперь вам слова «бывшего супруга» не понравились. А разве не так? Разве — не бывший? *(Упрямо.)* Нет, не любила я его, как хотите! Заносчивый человек. Бывало, слова не скажет. Буркнет «здрассте!» — и все.

Катя. Он просто молчаливый.

Мария Петровна. Я и говорю — заносчивый. Хороший человек молчать не будет. А Андрей Сергеевич — дверь откроешь — всегда скажет: «Извините, что затруднил». Поговорит, о здоровье спросит. Все это мелочи, конечно, но в них человек виден! Я бы свою дочь за такого человека — минуты не думала — отдала, если бы встретился. А она, вместо этого, вышла замуж за такого же бирюка, как ваш бывший благоверный, и уехала от матери, и страдает теперь, наверно, так же, как вы страдали. Я, если хотите знать, слезы лила, наблюдая вашу прошлую жизнь. Не сомневайтесь, я женщина добрая.

Катя. Я знаю.

Мария Петровна. Знаете, а не слушаете меня. Отступится от вас Андрей Сергеич, вот что я вам скажу. Надоест — и отступится. Ходит, ходит, а потом возьмет и не придет: день не придет, два не придет, три не придет. Что будете делать? Вот вчера ведь не пришел?

Катя. Я вчера занята была.

Мария Петровна *(кивнув на машинку)*. И занятие зряшнее. Только рассердить любящего человека может. Из-за грошей на машинке стучите; старые жакеты переделываете... Из-за чего канитель-то разводите?

Катя. Думаю.

Мария Петровна. А вы думаете, что хорошо думать? Иногда самое лучшее — не думать. А взять — да и сделать. Я, если хотите знать, женщин так знаю, как никто не знает. Пока примерку делаешь, всю душу из заказчицы вывернешь. А иная и молчит, а я все равно все вижу. Вот теперь вам жакет перешиваю; стала булавками накалывать, сразу вижу — похудели. Вы молчите, а знаю: изводитесь.

Слышно, как хлопнула входная дверь в передней. Входит Голубь, он сменил свой полувоенный костюм на черный штатский.

Голубь *(увидев Марию Петровну)*. А, сорока-ворона, кашку варила... *(Подает ей руку.)* Очередную лекцию читаете — как жить, как быть?

Мария Петровна. Всегда вы так, Николай Семенович. Влетите — и сразу какую-нибудь грубость! Пользуетесь тем, что не сержусь, что добрый человек.

Голубь. Ничего вы не добрая, а просто не сердитесь потому, что я вам как мужчина нравлюсь. И ждете, когда предложение сделаю. А я не сделаю.

Мария Петровна. Невозможный вы человек, Николай Семенович!

Голубь. Наоборот! Вполне возможный. Хуже бывают.

Мария Петровна. Едва ли! *(Сняв с Кати жакет, складывает его и перебрасывает через руку. Обращаясь к Кате.)* Сегодня мастерице отдам. Завтра готов будет. Пусть другие ждут. А вам всегда по-соседски, без очереди.

Катя. Спасибо.

Мария Петровна. Шьете только больно редко. *(Повернувшись к Голубю, с некоторым кокетством.)* До свидания, невозможный вы человек!

Голубь. Прощай, ангел!

Мария Петровна выходит.

Катя. Ох и грубиян же вы, дядя Коля. И как она только терпит?

Голубь. А я ей правда как мужчина нравлюсь. Дай ей волю — раз-два, и окрутила бы меня; еще и перед заказчицами зеркало бы держать научила, и на ножной машине строчить!

Катя *(улыбнувшись)*. И в то же время она все-таки добрый человек.

Голубь. Да разве я спорю? Конечно, добрый. Мужа по доброте душевной до того лекарствами залечила, что он по целым суткам все губами шлепал *(показывает)* — капли считал. Так от лекарств и помер, а здоровый был, как бык! А сына тоже по доброте из дома сжила: почему не доктор, почему на завод пошел, когда ему нужно было доктором быть. Тоже хорошего ему хотела, а он сбежал. А дочь уехала, потому что муж у нее был нехороший, а она ей хорошего искала. Теперь сидит одна, как кукушка, не к кому доброту проявлять — к тебе проявляет. За Андрея Сергеевича тебя сватает, потому что хороший человек. *(После паузы.)* Да и квартира у него хорошая.

Катя. При чем это?

Голубь. А как же! Съедешь к нему, глядишь — вдруг одна из ваших комнат ей перепадет. И тебе хорошо, и ей неплохо. В общем — млекопитающее! *(После паузы.)* Я тебе звонил, никто не отвечал. Давно пришла-то?

Катя. Примерно с час.

Голубь. Что так поздно? Все лекции?

Катя *(кивнув на машинку)*. Нет, заходила за работой.

Голубь. Денежки зарабатываешь. У богатого старичка не хочешь брать?

Катя. Нет, дядя Коля. Только вы не обижайтесь. Ладно?

Голубь. А я не обижаюсь. Правильно. Зарабатывай, зарабатывай. Уважаю гордых женщин. Но, надеюсь все же, за мной остается право от времени до времени кое-что доставлять на твою зимовку? *(Приносит из коридора большой сверток.)*

Катя. Опять! Что это такое?

Голубь. Извините, окорок. Я, Катенька, зимовщик. Я этих мелочей по двести, по триста граммов не понимаю. У меня натура цельная. Веревку на кухне протяну, окорок подвешу, а ты бери и режь, когда надо!

Катя. Где вы были сегодня? Вы такой парадный...

Голубь. А какое твое дело! Мои годы еще не такие, чтобы меня спрашивать. Мало ли где был! В Третьяковской галерее был. Да, да. Довольно мне из отпусков досрочно возвращаться. Я на этот раз все четыре месяца просижу. Все музеи обойду. Интелли-

гентный стану, прямо как присяжный поверенный. Похож я на присяжного поверенного?

Катя. Да не очень.

Голубь. А мне одна барышня говорила, что похож!

Катя. Какая барышня?

Голубь. Так. Одна. В девятьсот десятом году. Приеду я на зимовку, буду свою интеллигентность показывать. Каждый вечер. Надоем всем до смерти.

Катя. Дядя Коля, а вам еще не надоело в Москве?

Голубь. Нет, Катерина Алексеевна, не надоело.

Катя. Я про гостиницу «Москва» спрашиваю. Не надоело еще упрямиться? Когда сюда переедете?

Голубь. Для чего? Сторожить тебя, чтоб не сбежала?

Катя. Нет, просто скучно без вас.

Голубь. Скучно? Это полезно, поскучай.

Катя. Да и вам там в гостинице тоже, наверное, скучно без меня.

Голубь. А почему же это мне должно быть без вас скучно, позвольте спросить? Во-первых, я, как уже доложил вам, по музеям и театрам хожу, во-вторых, с приятелями гуляю, денежки прокучиваю, в-третьих, приду к себе вечером в номер, радио заведу — пожалуйста! *(Помолчав.)* Скучно, Катенька, да еще как скучно! Был бродяга, да весь вышел! Ну, положим, весь не весь, а посидеть в семейном доме хочется, ноги в тепле погреть. Ну, за что я так тебя люблю, а?

Катя. Давно знаете, привыкли.

Голубь. Привык? Нет. Странная ты женщина — и ничего в тебе такого особенного, и не глупей тебя есть, и добрей бывают, и вообще — кто ты мне теперь? Никто! А вот ведь хожу не к кому-нибудь другому, а к тебе.

Катя молча гладит его по голове.

(Вскочив.) Ну, ну, ты и правда. Рано меня еще жалеть.

Катя. Ох и нескладный вы человек, дядя Коля!

Голубь. Ты больно складная. Себя пожалей.

Катя. Переезжайте все-таки, а?

Голубь *(помолчав)*. Алешка-то не пишет нам с тобой! Третий месяц, а?

Катя молчит.

А то, может, написал тебе, а ты от меня скрываешь?

Катя. Вечные у вас фантазии, дядя Коля.

Голубь. Да уж каюсь, фантазер я стал.

Пауза.

Ты мне только раз по секрету скажи: Алексея-то вспоминаешь, хоть иногда?

Катя. Ведь знаете. Зачем спрашиваете?

Голубь. И спросить ее нельзя.

Катя. Мне трудно об этом говорить.

Голубь. Еще бы не трудно! Что он был такой-сякой, молчаливый или говорливый, грубый или ласковый,— это еще можно забыть. А вот как ты во время тифа подле него ночей не спала — этого, врешь, не забудешь; как в Петропавловске, когда разная дрянь его со свету сживала, ты с ним до конца, до победы была — этого не забудешь. Или как он тебя в родильный дом на себе в метель десять верст тащил — этого ведь тоже не забудешь?

Катя. Вы правы, многого нельзя забыть. Пробуешь — и не можешь. И все-таки последние годы, уже здесь, в Москве, мне все чаще казалось, что все у нас с ним как-то не так и не то,— не настоящее.

Голубь. Посмотри на меня. Я тоже так думал: это не настоящее, то — не настоящее, и вот живу один как перст.

Катя. Дядя Коля, хотите начистоту?

Голубь. Давно пора бы!

Катя. Только поймите меня, хотя бы попробуйте. Я ведь уже училась на втором курсе университета, когда вышла за него замуж. А он сгреб и увез меня!

Голубь. За это и полюбила!

Катя. Да, наверное. Семь лет у меня не было своей жизни. Только его. Всегда с ним. С места на место. Разве он меня когда-нибудь спросил, ехать или не ехать? Приходил, говорил, что снова перебрасывают на новую стройку. Радостно потирал руки: «Эх, и глушь! Дела будет! Собирайся, Катенька!» И Катенька собиралась. Сначала одна, потом с сыном... Да, я тоже работала. Но как? И кем? Кто нужен был рядом с ним — тем и была. Машинистка — машинисткой; няня в детском саду — няней; готовить надо было на сто человек — готовила; понадобилась медсестра — стала медсестрой.

Голубь. А разве тебе все это так уж тошно было?

Катя. Зачем вы так говорите? Вы же знаете, что я не белоручка. Но все-таки я же не об этом мечтала! Я в душе-то учиться хотела! А на это на все шла ради того, чтоб с ним быть!

Голубь. А что он, не ценил, что ли, этого?

Катя. Не знаю, не слышала.

Голубь. А тебе непременно слышать это надо?

Катя. А как вы думаете? Да, надо.

Голубь. Разные люди бывают. Иной горы для тебя своротит, а цветы принести забудет.

Катя. Цветы! Я не о цветах говорю, а о том, что он ни разу за столько лет даже не задумался,— а вдруг я другой жизни хочу? Может, я и не сказала бы ему этого, но хоть бы спросил! И вот наконец его вызвали в Москву и оставили здесь. Он пришел мрачный и сказал, что раньше чем через год ему не вырваться. А я сказала, что хочу кончить университет и для этого мне надо не год, а четыре. Если бы вы видели его лицо в ту минуту! Нет, он не возразил мне. Он стиснул зубы и сказал: хорошо! И потом ни разу не попрекнул меня. Но сколько раз я видела, как он молча тоскует здесь, как он всей душой рвется обратно на Север, как ему надоели канцелярии Главсевморпути, как ему надоела и я, и то, что он из-за меня сидит здесь.

Голубь. И опять тебе скажу: обижаться нельзя. Разные люди бывают. Бывают и такие, для которых Москва дороже не тут, когда он в ней сидит, а когда он для нее же где-то на Диксоне причалы рубит или в тайге дороги кладет.

Пауза.

Да и с женщиной так же...

Катя. Что?

Голубь. Слов не найдет, а жизнь отдаст.

Катя. Вы опять мне все толкуете, что люди бывают разные. Я знаю это. Но мне-то всего один человек нужен, а не разные! Он всегда был ко мне очень добр и очень невнимателен. А так молчать, так молчать, как он, по-моему, даже камни не умеют. Даже когда умер Сережа, когда было такое горе, такое отчаянье, что хоть руки на себя накладывай; даже тогда он не нашел слов для меня... *(Махнув рукой.)* И тут уж все покатилось.

Пауза.

Да! *(Подняв голову, с вызовом.)* И пришел человек, которому было дело до меня, до моих дел, до моего горя, который давно любил меня и после многих лет разлуки снова заговорил о своей любви. Да, да, о любви! И думал при мне обо мне, а не о причалах на Диксоне! И можете меня как угодно судить! Я полюбила его!

Голубь *(неожиданно для Кати, совершенно спокойно и даже чуть-чуть насмешливо)*. Показалось. Ей-богу, показалось! Все — блажь! Никого, кроме Алешки, не любила и любить не будешь. Вот тебе и вся моя резолюция.

Катя. Опять вы за свое! Кончено это. Понимаете — кончено. Правильно или неправильно, а кончено!

Голубь *(встав)*. А ты на меня не кричи. Я пока еще на твою жилплощадь не переехал.

Катя. Дядя Коля!

Голубь. Шучу, шучу! К телефону встал, позвонить время вышло. *(Подойдя к телефону, набирает номер.)*

Звонок в передней. Катя выходит.

(В телефон.) Ваня? Я. Да на что мне твоя машина? Сам доеду. Лучше скажи, как Ольга Федосеевна, исполнила свое обещание или нет?

Ваганов *(входя вслед за Катей и целуя ей руку)*. Не видел всего два дня, а кажется — год! *(Кладет на стол небольшой кожаный портфель, видимо, он пришел прямо с работы.)*

Голубь *(в телефон)*. Коли так, то выезжаю. *(Вешает трубку.)*

Ваганов. Здравствуйте, Николай Семенович.

Голубь. Мое почтение.

Катя. Куда это вы едете?

Голубь. Ишь ты — куда! Ладно уж, можешь не ревновать. Мне сейчас Ванька Терехов по телефону подтвердил, что ему сестра по случаю именин неслыханную настойку приготовила. На семи травах. Необходимо испробовать действие.

Ваганов. Это какой Терехов? Тот известный, с ледокола?

Голубь. Кому известный, а мне — Ванька. Я его еще в коммерческом училище мутузил. Да, надо ехать. *(После паузы — Ваганову.)* А у меня ведь к вам дело есть!

Ваганов. Длинное?

Голубь. Да нет, не длинное, но конфиденциальное. Давайте-ка зайдем на минуту в ту комнату.

Катя. Уже завелись от меня секреты? Ладно, сидите здесь, я там все равно сегодня еще не прибирала. *(Выходит, притворив за собой дверь.)*

Голубь. Что нынче так поздно пожаловали? Все на службе пропадаете?

Ваганов. Что ж, надо кому-то и служить.

Голубь. Да, это вы правы, засиделся я в отпуску. Засиделся. А вы молодец, Андрей Сергеевич, ей-богу, молодец! Все у вас в жизни выходит так здорово, гладко. Только знаете, чего боюсь — всю жизнь вам будет все удаваться, а под старость окажется — вспомнить нечего.

Ваганов. Разные вещи мы с вами будем вспоминать, Николай Семенович.

Голубь. Разные, Андрей Сергеевич. Я — дороги да моря, а вы — должности да чины...

Ваганов. Бывает, что у человека и то и другое совпадает.

Голубь. Бывает, да не всегда!

Ваганов. Может, скажете, какое у вас дело ко мне? Вы ведь, кажется, торопитесь?

Голубь. Все у вас дела, дела... А под поезд броситься не хотите?

Ваганов. Под поезд? *(Насмешливо.)* Предложение, конечно, интересное, но зачем?

Голубь. А так, знаете, душевное движение. Просто так, без расчету.

Ваганов. Все шутите, Николай Семенович.

Голубь. Все шучу, Андрей Сергеевич. Шутник. *(Встав, проверяет, плотно ли закрыта дверь.)* Ну, что ж, давайте ближе к делу. *(Сухо.)* Извольте сегодня ж отдать письмо Катерине Алексеевне.

Ваганов. Письмо? Какое письмо?

Голубь. Известное вам письмо.

Ваганов. Известное мне. А вы тут при чем?

Голубь. Я? Вы меня за глупца не считайте. Кроме надежды на ваши благородные чувства, у меня есть вот *(достает из кармана письмо)* — от Алексея Степановича.

Ваганов. Покажите.

Голубь. Нате. Да не хватайте так. Тут один конверт.

Ваганов. А где письмо?

Голубь. Письмо мне. А вы тут при чем? Уж поверьте мне на слово. Он пишет, что за две недели до этого письма послал полевой почтой письмо Катерине Алексеевне на ваш адрес. Он, изволите видеть, думает, что она там у вас живет. Где письмо?

Ваганов. А вам какое дело?

Голубь. Андрей Сергеевич, вы же умный человек, ведь хуже будет.

Ваганов. Предположим,— я его сжег.

Голубь *(укоризненно)*. Ну, Андрей Сергеевич!

Ваганов. Хорошо. Вот оно. *(Достает из кармана письмо.)* Я просто не хотел тревожить Катю.

Голубь. Я так и думал.

Ваганов. Да, не хотел тревожить Катю.

Голубь *(разглядывая конверт)*. Аккуратный вы человек, Андрей Сергеевич! Столько времени в кармане носили, хоть бы уголочек измяли! *(Отдает письмо Ваганову.)*

Ваганов. Чего вы от меня хотите?

Голубь. Отдайте письмо Катерине Алексеевне.

Ваганов. Хорошо.

Голубь. Сегодня.

Ваганов. Хорошо.

Пауза.

Ну, а что, если не отдам?

Голубь. Тогда я ей свое прочту. Если бы он с меня честного слова не взял — мое письмо ей не показывать, я бы вам тут устроил...

Ваганов. Не сомневаюсь.

Голубь. И не надо, не сомневайтесь. Вы не покажете — я покажу, так и быть, возьму грех на душу, нарушу слово. *(Встает.)*

Ваганов. Николай Семенович!

Голубь. Ну?..

Ваганов. Я редко кого просил в жизни. Но вас очень прошу — не вынуждайте меня отдавать это письмо.

Голубь. А я не вынуждаю. Как хотите.

Ваганов. Вы что думаете, она от этого письма счастливей станет? Вы же знаете, что между ними все кончено. Все. И если она еще здесь, то все равно в душе она уже давно и бесповоротно ушла отсюда. Зачем же, кому нужны, кому принесут счастье эти воспоминания? Зачем вам нужно портить жизнь мне и ей? Да, ей!

Голубь. Когда Алексей Степанович уезжал, вы, Андрей Сергеевич, очень правильно высказались, что есть вещи, которые для советских людей должны быть выше всяких этих личных дел!

Ваганов. Да, сказал. Но когда я верю, что женщина будет со мной счастлива, я готов на все, чтобы это было так, а не иначе. Даже если она сама этого еще не понимает. Подумаешь, письмо! Я на что угодно готов ради ее покоя, ради нее!

Голубь. Ради нее? Да так ли это, Андрей Сергеевич? Я ведь вас, не скрою, за эгоиста считаю. А у эгоистов любовь, знаете ли, всегда ради себя любовь, а не ради кого-нибудь. Извольте видеть, вы, по вашим словам, на все готовы ради любви, даже, извините, на некрасивые поступки. А по моему мнению, некрасивых поступков любовью не оправдывают. По-моему, так.

Ваганов. По-вашему так, а по-моему — иначе. И что б вы ни говорили,— а по-своему я прав!

Голубь. Бывает и так: человек по-своему прав, а по-моему — подлец!

Ваганов *(резко)*. Что?

Голубь. Пока — не о вас. Пока — вообще.

Ваганов. А, да что вы во всем этом понимаете! Вы говорите мне прописные истины. А я вот — живой человек, третий месяц почти каждый день хожу сюда. Прихожу и ухожу, ухожу от жен-

щины, без которой мой дом пуст, а моя жизнь несчастна. Я люблю ее. А вы, вы даже не знаете, что это такое!

Голубь *(повышая голос)*. А вы что такое солдатское письмо — знаете? Что такое с войны письмо — вы знаете?

Ваганов. Война! Не слишком ли громко сказано?

Голубь. Война или не война, а людей-то там убивают — это вы понимаете?

Катя *(входя)*. О чем вы тут шумите?

Голубь *(неестественно улыбаясь)*. Да так, мы тут с Андреем Сергеевичем о жизни немножко поговорили...

Катя *(насмешливо)*. Ну, и что же вы выяснили?

Голубь. Выяснили, что в общем жизнь — штука не простая. Андрей Сергеевич тоже так считает.

Катя. Ты тоже так считаешь?

Ваганов. Да.

Катя. Очень интересный разговор.

Голубь. Ну, я пойду, Катерина Алексеевна. До свидания. *(Взглянув на Ваганова.)* До свидания, Андрей Сергеевич!

Ваганов. До свидания.

Голубь выходит.

Катя. О чем вы говорили с дядей Колей?

Ваганов. Он же ответил тебе.

Катя. Я хочу знать правду.

Ваганов *(улыбнувшись)*. Предположим, что у нас с ним были свои мужские секреты.

Катя. Ради бога, не хочешь — не говори.

Ваганов. Может, пойдем сегодня куда-нибудь? А? В театр?

Катя. Сегодня не удастся. Мне нужно допечатать еще двадцать страниц.

Ваганов. Опять!

Катя. Не сердись. Я ведь тебя предупредила, что буду сегодня занята.

Ваганов. Ну, когда ты на лекциях, в университете, хорошо, я все понимаю. Но если бы ты знала, как меня злит эта твоя стукотня на машинке.

Катя. Ничего не поделаешь. Приходится.

Ваганов. Приходится! Сидеть ежедневно из-за этих несчастных денег. Прости, не могу об этом спокойно. Думать об этой ерунде, когда, кажется, на свете нет вещи, которой бы я для тебя не сделал.

Катя. А ведь об одной вещи я тебя просила, а ты не сделал.

Ваганов. О чем ты просила?

Катя. Не говорить со мной об этом.

Ваганов. Хорошо. Трудно не говорить об этом, но хорошо, не буду. Сиди, работай, я сейчас уйду. Я ведь только так, на всякий случай спросил про театр — вдруг ты передумала. А зашел потому, что у меня есть для тебя новость. Тебе письмо от Алексея. На мой адрес.

Катя. На твой адрес?

Ваганов. Да, на мой адрес. Как видишь, он решил раньше, чем ты. Вот оно.

Катя, торопливо вскрыв конверт, начинает читать письмо. Постепенно лицо ее становится спокойнее.

(Наблюдая за нею.) Ну, что там? Что он пишет? Все в порядке?

Катя. Да, кажется, в порядке... Пишет, что раньше был на передовых, а теперь попал в тыл — жив, здоров...

Свет постепенно гаснет. В темноте слышны далекие разрывы. Свет снова загорается, но левая и правая части сцены остаются в полумраке. Посредине задняя стена комнаты исчезла. Там, где она была, теперь виден кусок выжженной солнцем степи. Вдалеке — синие холмы, и над ними ярко-красный закат. Большая госпитальная палатка, в отдалении виднеется еще несколько. В землю вкопан столбик с умывальником. Марков пишет, положив на колени планшет. У него перевязана голова. Капитан — человек лет тридцати, с правой рукой на перевязи, ходит, поглядывая на Маркова. За брезентовым оконным переплетом видна белая шапочка врача, сидящего внутри палатки.

Капитан. Пиши — дочке трофейную куклу привезу. *(Вытаскивает из кармана пеструю куколку на шнурке.)* Доктор, хороша кукла, а?

Врач *(из окна)*. Ничего.

Капитан. С их штабной машины снял. На заднем стекле болталась. Говорят, самураи на счастье этих кукол вешают. Вроде амулета. На счастье! А она — вот она! Не помогла!

Марков. Ладно, диктуй.

Капитан. Сейчас. Так. Значит, про куклу написал... А хорошо корреспондент сделал, что за письмами заехал. Хороший парень. Да?

Марков. Хороший, хороший. Ты диктуй, а то не успеешь.

Капитан. Он куда пошел-то?

Марков. За папиросами на дорогу. Диктуй, а то брошу.

Капитан. Значит, про куклу написал. Черт его знает, не умею я — письма. Когда увидишь, то откуда слова берутся. А начнешь писать: люблю, целую — и все. Хоть бы ты посоветовал.

Марков. Плохой я советчик, капитан. Мне на мои письма и то не отвечают.

Капитан. А сам виноват. Не надо врать: мол, извините за почерк, тороплюсь, нахожусь в глубоком тылу и все в порядке. А ты, чем врать, все, как тогда было, описал бы. Что ранен, что в госпитале лежишь, сто страниц бы накорябал, да руки еще от слабости не действуют как положено. В два счета ответила бы!

Марков. Хорошо говоришь, капитан, но нельзя мне было этого написать ей.

Капитан. А почему же?

Марков. Долго объяснять.

Капитан. Все гордость. Ну, ничего, может, еще ответит.

Марков. Едва ли. На письма чаще всего или сразу отвечают, или никогда. Ты лучше диктуй.

Капитан. Сейчас.

Пауза.

Красивая?

Марков. Диктуй!

Капитан. Пиши: привет матери; скажи, что скоро вернусь.

Входит корреспондент. Он в военном обмундировании, каска прицеплена к поясу, на груди болтается «лейка». Излишнее количество предметов военного снаряжения выдаст в нем человека глубоко штатского.

Корреспондент. Написали?

Капитан. Сейчас. Доктор! У вас как?

Врач *(из окна)*. Подвигается.

Марков. В Москву самолетом, а обратно?

Корреспондент. Тоже самолетом. У нас ведь тут в пустыне цинкографии нет. Подскочу в Москву с негативами, клише сделаю,— и обратно.

Марков. Примерно через неделю?

Корреспондент. Может, и раньше. Хотя кто знает?! Там, на западе, кажется, тоже что-то начинается. Скажут: Гофман! Три часа на сборы! Вот и не вернусь через неделю. Думаешь так, а выходит иначе. Я с вами тоже месяц назад договаривался за рекой встретиться, а вы в тылу окопались.

Капитан. Что?

Корреспондент. Шучу. Все известно. А я рад, что опять вас вижу, ей-богу. Меня, когда я у вас во время боев в батальоне сидел, уж ругали, ругали в редакции — что ты все у саперов да у саперов. А я говорю: люблю саперов!

Капитан. И правильно делаешь. Хорошие люди — саперы. Вон хоть Алексей Степанович! Ты спроси его, сколько он на гражданке мост строил? А?

Корреспондент. Сколько?

Марков. Год, два.

Капитан. А здесь за сколько мы с тобой мост навели?

Марков. За девятнадцать часов.

Капитан. Вот то-то и оно-то. Саперы...

Корреспондент. Быстро. И это ведь под огнем!

Марков *(улыбнувшись)*. Потому и быстро, что под огнем.

Пауза.

А вы, Гофман, стали окончательно военным человеком.

Корреспондент. Правда?

Марков. Амуниции у вас поубавилось. Много амуниции — это ведь штатская страсть!

Капитан. Да уж ты поначалу прямо как ходячий цейхгауз был.

Корреспондент. Ладно, ладно. Вы, чем смеяться, лучше бы писали. Мне до аэродрома еще двадцать верст ехать.

Капитан. Сейчас. Одну минуту. *(Задумывается.)* А, все равно. Пиши: люблю, целую, обнимаю и так далее. И точку ставь. *(Берет письмо здоровой рукой и отдает корреспонденту.)* Доктор, как вы там?

Врач *(из окна)*. Сейчас готово.

Капитан *(заглядывает в окно)*. Да вы там целую диссертацию написали!

Корреспондент *(Маркову)*. А вы что ж?

Марков. Писать? Нет. А вот... *(Отводит корреспондента в сторону и пишет что-то на папиросной коробке, оборвав у нее края.)* Вот вам адрес и просьба: приедете в Москву — сходите по адресу. Там в том же доме, что этот строительный институт, живет его директор — Андрей Сергеевич Ваганов.

Корреспондент. Что передать ему?

Марков. Ему — ничего. Но у него, если не ошибаюсь, есть жена, Катерина Алексеевна.

Корреспондент. Что передать ей?

Марков. Ничего. Просто придите и посмотрите на нее,— как она выглядит, как... В общем, посмотрите как следует, понимаете?

Корреспондент *(нерешительно)*. Более или менее. А о вас ей ничего?

Марков. Ни слова. Посмотрите, а когда вернетесь — расскажете. Вот и все.

Корреспондент. Постойте, постойте, я ведь незнаком! Как же...

Марков. А вот это уж — не знаю. Не мне вас учить — вы же корреспондент!

Корреспондент. Да... Однако задали вы мне задачу. *(Решительно.)* Ладно, что-нибудь совру! Хоть и не положено по штату, но раз просьба фронтовая — значит, и ложь святая!

Врач *(выйдя из палатки)*. Вот, пожалуйста, письмо. Не затруднит?

Корреспондент. Ничего. *(Хлопнув по полевой сумке.)* Девятнадцатое. Одним больше, одним меньше...

Марков. Да, когда вернетесь, здесь нас не ищите, мы уже опять там будем. *(Показывает рукой вдаль.)*

Врач. Это еще как я скажу.

Капитан. Ничего, скажете!

Корреспондент. Ну, особенно не прощаюсь, поскольку на днях увидимся! *(Выходит.)*

Шум отъезжающей машины.

Капитан. Правда, когда выпишете в часть, а?

Врач. Дней через пять. А куда вас выписывать? Вчера Зеленую сопку взяли, сегодня Песчаную. Дела к концу. Я уж вас прямо на курорт.

Капитан. Это как сказать. Время такое: тут к концу, в другом месте — к началу. Радио-то сегодня слушали? Тут на востоке одним самураям морду набьешь, глядишь — уже другие там, на западе, просятся.

Врач. Самураи?

Капитан. А, все они, в общем,— самураи! Всем им мы — как кость в глотке. Не верю я, доктор, в ваши курорты!

Гудок машины.

Врач. Кажется, раненых привезли. *(Уходит в палатку.)*

Слышен голос: «Спирт! Полейте! Еще полейте!»

Капитан. А ты почему письма не написал?

Марков. А что писать? Нечего писать. Я и тогда долго думал — писать или нет. Только из-за того, что ТАСС о наших боях сообщение передал,— только потому и написал. Чтобы не тревожилась понапрасну. Хоть и отрезанный ломоть, а все-таки могла забеспокоиться по старой памяти. Как думаешь, могла?

Капитан. Не знаю. По мне, коли поругались — так вообще пустяки. А коли отрезано — так отрезано. Значит, нечего и думать.

Марков. Так-то так. Да ведь даже хлеб режут — крошки остаются.

Капитан. Вижу только, что здорово она тебя обидела!

Марков. Нет... А хотя — да. Под конец — обидела. Когда я уже уехал, телеграммку вдогонку в поезд прислала.

Капитан. Ну, и что там?

Марков. Ничего. Пожелание доброго пути.

Капитан. Что ж тут обидного?

Марков. Это не обидно. А вот что подписи две — ее и еще одна... Могла бы обойтись и без этого. Ну да ладно, бог с ней... Может, и сам я кое в чем виноват. На расстоянии, как говорят, вся картина виднее. А расстояние теперь более чем достаточное.

Капитан. Шесть тысяч триста.

Марков. Не в километрах дело. Много я, капитан, глупостей наделал в своей жизни. Скверный у меня характер.

Капитан. Да, уж характер у тебя неважный. Упрямый, как стенка! Такой характер — это ничего, если мост под огнем наводить, а в личной жизни такой характер — последнее дело.

Марков *(усмехнувшись)*. И рад бы переменить, да уже некому попросить. Что имеем — не храним, вот что плохо! А что, потерявши, все-таки не плачем,— это, пожалуй, хорошо, а то бы вовсе скверные дела были! *(После молчания вполголоса запевает. Капитан тихонько подтягивает ему.)*

С порога дорога идет на восток,
На север уходит другая,
Собачья упряжка, последний свисток,
Но где ж ты, моя дорогая?
Тут нету ее, нас не любит она,
Что ж делать, не плакать же, братцы,
Махни мне платочком хоть ты, старина:
Так легче в дорогу собраться...

Темнота. Когда загорается свет, на сцене снова комната. Катя и Ваганов в прежних позах.

Катя *(складывая письмо и пряча его в конверт)*. Пишет, что кругом степь, тишина; ни о чем не жалеет, и мне советует тоже не жалеть. Вот и все.

Ваганов. Видишь, я был прав, сколько раз я тебе говорил, что ты напрасно за него тревожишься.

Катя. Да. Только как-то уж все слишком подозрительно спокойно в этом письме. Недавно, помнишь, было сообщение, что наши и монголы сбили сорок японских самолетов. Значит, там большие бои. А в письме — все спокойно... Почтовый ящик семьсот тридцать два — это что, обратный адрес?

Ваганов. Должно быть.

Катя *(разглядывая конверт)*. Боже, сколько же оно шло!

Ваганов *(решительно)*. Я не сегодня получил его.

Катя. Что?

Ваганов. Да, я получил его уже давно, но все колебался, если хочешь, даже боялся отдавать его тебе.

Катя. Боялся? Чего ты боялся?

Ваганов. Всего, что напоминает тебе о нем. И, откровенно говоря, зная характер Алексея, я не ждал от него этого письма.

Катя. Зато я ждала.

Ваганов. Ждала! В этом — все несчастье! Ждала — потому отдал. Ты что думаешь, я сейчас в первый раз принес его тебе? Я каждый день приносил его сюда в кармане и каждый раз в последнюю минуту не решался отдать. Но сегодня я решил, что не уйду, пока не сделаю этого.

Катя. Лучше поздно, чем никогда!

Ваганов. Да, лучше. Думаешь, я не понимаю, что мне не делает чести то, что я задержал это письмо. Но ты сама в этом виновата.

Катя. Я?

Ваганов. Да, ты. Я стал из-за тебя трусом. Я всего боюсь. И этих воспоминаний, и этой комнаты! Я не знаю, что будет завтра. А я хочу это знать!

Катя. Ответь мне честно: неужели тебе важно только одно, чтобы я поскорей переехала к тебе?

Ваганов. Но ведь ты совсем рассталась с ним? Да или нет?

Катя. Да.

Ваганов. И он сам сделал все для того, чтобы это случилось!

Катя. О да!

Ваганов. И теперь он сам думает, что ты ушла ко мне?

Катя. Думает.

Ваганов. Ну, хорошо. Он вернется. Что дальше?

Катя. Ничего. Мы разошлись.

Ваганов. Ты даже не уехала отсюда.

Катя. Ты же знаешь, что я ищу, куда переехать.

Ваганов. Тебе незачем искать!

Катя. Опять?

Ваганов. Да, опять. Я не могу больше так, не могу и не хочу!

Катя. Наверное, многие назвали бы меня сейчас просто глупой бабой, которая не знает, где ее счастье, и пожалели бы тебя. А меня осудили. И, может быть, были бы правы. Но и я, я — тоже права. Мы слишком долго прожили с ним вместе. Я хочу его забыть, совсем забыть, и не умею. А пока я помню, я хочу быть одна. Неужели это непонятно?

Ваганов. Почему непонятно? Понятно. Ты просто не любишь меня. Вот и все.

Катя. Не люблю? Помнишь день его отъезда, когда я сказала тебе, что останусь здесь, что я еще ничего не решила, а ты ответил, что все понимаешь, и молча ушел? Я тогда верила, что очень люблю тебя. Но потом...

Ваганов. Что потом?

Катя. Потом?.. Ты когда-то говорил, что если бы я была одна, ты бы молчал и ждал. Я сейчас одна. Что ж, это были слова?

Звонок. Катя выходит и возвращается с корреспондентом. Он без фуражки, на нем штатский плащ, из-под которого видны сапоги.

Корреспондент. Товарищ Ваганов?

Ваганов *(удивленно)*. Да, я.

Корреспондент. Извините за вторжение. Я из ТАССа. Мне поручено сфотографировать вас в связи с последними работами вашего института и лично вашими научными работами.

Ваганов. Собственно, я больше занимаюсь техникой...

Корреспондент *(решительно.)* Блестящая техника — всегда наука. *(Улыбнувшись.)* А в общем, я не специалист. Я только фотокорреспондент, и мне поручено сделать ваш снимок именно сегодня. Так что еще раз простите за вторжение, и прошу не отказать. Ровно одна минута!

Ваганов *(машинально поправляя галстук)*. А почему, собственно, так спешно и почему не в институте?

Корреспондент. Ничего не поделаешь! Оперативность — наш бич! Был у вас в институте, потом на квартире — направили сюда. Попрошу вас вот так, поближе к лампе. Отлично. *(Повернувшись к Кате и внимательно посмотрев на нее.)* Как вам кажется, такой ракурс будет хорошо?

Катя *(пожав плечами)*. Не знаю.

Корреспондент. Хорошо! *(Два раза небрежно щелкает «лейкой»)*. Все. Благодарю! *(Обращаясь к Ваганову, но поглядывая на Катю.)* Учтите, что, являясь редким исключением среди людей своей профессии, я действительно пришлю вам снимки. *(После короткой паузы, придумав, как еще протянуть время.)* Только если не затруднит, напишите, пожалуйста, сами на бумажке ваш точный адрес, а то я вечно — нацарапаю на папиросной коробке, а потом теряю.

Ваганов *(ощупывает карман)*. У меня нет с собой...

Катя. Там у меня на письменном столе блокнот и ручка.

Ваганов выходит в другую комнату.

Корреспондент *(глядя на Катю, тихо и быстро)*. Когда я был на квартире у товарища Ваганова, мне сказали, что он у

жены. Вы его жена, да? *(Не дождавшись ответа, наводит на Катю «лейку».)*

Катя. Что вы делаете?

Корреспондент. Как видите — снимаю вас.

Катя. На это обычно просят разрешения.

Корреспондент *(улыбаясь)*. А мне разрешили.

Катя. Кто разрешил?

Корреспондент. Да уж разрешили. *(Пряча «лейку», на секунду распахивает плащ.)*

Катя *(заметив мелькнувшее под плащом обмундирование)*. Откуда вы? Скажите, откуда вы?

Входит Ваганов.

Корреспондент. Я из ТАССа. Очень вам благодарен. Всего доброго.

Ваганов *(отдавая корреспонденту записку)*. До свидания!

Корреспондент *(обращаясь неопределенно: не то к Ваганову, не то к Кате)*. А фотография будет доставлена! Можете быть спокойны! *(Выходит.)*

Молчание. Слышно, как захлопнулась наружная дверь. Катя поворачивается к Ваганову.

Катя. Что все это значит?

Ваганов. Что?

Катя. То, что этот человек пришел сюда?

Ваганов. Ты же слышала. Ему сказали у меня дома, что я ушел сюда. Я всегда говорю, куда ухожу.

Катя. Да, но почему ты сказал у себя дома, что ты уходишь к жене?

Ваганов. Не может быть, это какая-то путаница.

Катя. Андрей!

Ваганов. Я же тебе говорю...

Катя. А ты не говори. Лучше молчать, чем говорить неправду.

Ваганов. Хорошо. Я тебе сейчас все объясню. Я виноват, но и ты сама тоже в этом виновата.

Катя. Опять я виновата?

Ваганов. Ну, хорошо, я виноват, я один. Я так верил, что ты придешь ко мне, что ты будешь моей женой, и так ждал этого, что уже говорил дома, и, признаюсь тебе, не только дома, в институте говорил так, словно это будет завтра. Я не мог себе представить, что будет иначе. И когда все вышло не так,— стыдно, глупо, все вместе, но я уже не мог сказать правду. Я стал объяснять, что ты еще просто не переехала ко мне. Глупо, но что поделаешь, могу только обещать, что этого больше не будет,

Катя *(с горечью)*. Больше не будет... Нам бы с тобой в детский сад. Там, как скажешь: больше не буду,— все прощают.

Ваганов. Неужели это такой позор, если кто-то подумал, что ты моя жена?

Катя. Разве я об этом? Но неужели ты не понимаешь, как это нехорошо, нелепо устроить так, чтобы люди думали, что я на самом деле твоя жена, и только пока, из приличия, не желаю переезжать к тебе?

Ваганов. Неужели тебе так важно, что о тебе подумают?

Катя. Ты опять не понимаешь меня. Пусть думают, что хотят. Но ты, как мог сделать это ты, которому я так верила?

Ваганов. Верила?

Катя. Да, верила. Мне сейчас даже кажется, что ты не сам отдал это письмо. О чем вы так шумели тут с дядей Колей, пока я выходила?

Ваганов *(после молчания)*. Да... Что дальше?

Катя. Что?

Ваганов. Да, ты угадала. Да, я не хотел отдавать тебе письма, а он меня вынудил. Правду так правду, до конца так до конца. Это так. Я это сделал потому, что люблю тебя и считал и сейчас считаю, что это правильно. И говорю это прямо и спрашиваю тебя: что дальше?

Катя растерянно молчит.

Ты молчишь потому, что сама не знаешь — что дальше? А я знаю. И скажу. Дальше — одно из двух. Или ты принимаешь меня таким, какой я есть и, скажу честно, меняться не собираюсь...

Катя. Или?

Ваганов. Не спеши. Это трудно сказать, но я скажу! *(После молчания.)* Только сначала ты ответь мне! Да, я такой-сякой, плохой — об этом не прочь был поговорить Алексей, об этом любит говорить твой дядя Коля. Один я ни разу не сказал тебе дурного слова о них, а они... О! Когда дело касается меня, они за словом в карман не лезут... Ну, ладно, пусть я такой, каким они желают меня изобразить в твоих глазах... Подожди, не перебивай меня. Пусть я такой. Но что же меня держит тут, в конце-то концов? Что, кроме любви, я спрашиваю? Почему я высиживаю тут все эти бесконечные вечера? Почему терплю все твои сомнения и колебания? Почему я жду, чего я жду? Что мне тут нужно, кроме тебя? Что мне надо от тебя, кроме того, чтоб ты любила меня, хоть вполовину того, как я люблю тебя! Да, ты просто-напросто еще не знаешь, что такое настоящая любовь. Не такая, как у этих ангелов — им только крылышек не хватает, не такая, чтоб выбирали дорожку посуше, чтобы — песочком посыпана... А чуть подождли-

вей — уже задумаются, как бы ноги не промочить. Не такая! А такая, когда все средства хороши, чтобы услышать: да! Да, да, не боюсь этих слов: все средства хороши! Такая любовь все оправдывает, все! Я говорю тебе правду — нравится она тебе или не нравится, как знаешь, потому что на самом деле уже пора сказать: или — или. И тебе и мне. Или тебе нужна такая любовь — и тогда ты уходишь со мной сегодня же, завтра же, без раздумий,— потом разберешься, какой я: плохой или хороший, об этом заранее не думают. Или ты остаешься, а я ухожу. И тогда довольно, конец этой каторге *(резким движением скрещивает руки в запястьях так, словно они в наручниках)*, на которую я сам...— никого не упрекаю — сам согласился, а теперь не согласен. И если...

В дверь просовывается голова Марии Петровны.

Мария Петровна. Можно?

Ваганов *(повернувшись, почти яростно)*. Пожалуйста!..

Мария Петровна. Я, кажется, помешала...

Ваганов. Наоборот — помогли! *(Берет со стола свой портфель с явным намерением уйти.)*

Катя. Ты хотел еще что-то сказать...

Ваганов. Нет. Я буду ждать, что скажешь ты. Буду ждать сегодня и завтра, а послезавтра уже не буду ждать. А пока — прощай! *(Уходит.)*

Мария Петровна *(после молчания)*. Даже и забыла, зачем пришла... *(Садится.)*

Катя *(не заметив, что она уже сидит)*. А вы не вспоминайте... Садитесь...

Мария Петровна. Да я уже сижу. *(Грустно.)* Слово-то какое: «Прощай». Как в могилу!

Катя *(походив по комнате, останавливается возле Марии Петровны)*. Марья Петровна, вы не обижайтесь, и я не обижусь, скажите правду, вы слышали, что мы тут говорили?

Мария Петровна протестующе поднимает руки.

Марья Петровна, милая, скажите правду, это очень важно...

Мария Петровна *(прервав на половине протестующий жест)*. Ну, слышала. Как не слышать — такой крик был, что я в коридор вышла, а там уж, конечно, все слышала.

Катя. Ну, и очень хорошо, что слышали. Так вот, ответьте мне, но только честно, совсем честно: как по-вашему, я дура? Да?

Мария Петровна молчит.

Ну, откровенно,— как будто вы мать мне. Как бы вы сказали? Я не обижусь!

Мария Петровна *(еще немного помолчав, говорит так убежденно и серьезно, что это слово не звучит обидно)*. Дура.

Катя. Спасибо за откровенность.

Мария Петровна. А вы не обижайтесь, сами выражение выбрали...

Катя. Конечно, сама. Сама выбрала и сама иногда думаю: может, и правда дура, смешная дура! Вообразила себя какой-то... бог знает чем, в общем... И сижу и мучаю себя и человека, который имел глупость меня полюбить. Ведь это глупость с его стороны — меня любить? Он ведь себе таких сколько угодно найдет, ничем не хуже! Как по-вашему?

Мария Петровна пожимает плечами, не зная, что сказать.

А он ведь любит меня, а?

Мария Петровна *(всплескивает руками)*. Да вы действительно глупости спрашиваете: такую любовь поискать, такая любовь раз в тысячу лет!

Катя. А я не ценю, вот ведь глупая-то! Вместо того чтобы в объятья броситься, канитель развожу какую-то!

Мария Петровна. Вы что, смеетесь надо мной?

Катя. Нет, над вами — нет. А над собой — да. *(После паузы.)* Как жакет-то мой? Будет завтра готов?

Мария Петровна *(поднимаясь)*. Да до того ли вам, милая моя?!

Катя. До того, до того, именно. Вы, пожалуйста, завтра, как обещали. А то как же? Без нового костюма в торжественный день... Слышали тут, как мне сроку двое суток дали? Надо решать... И вдруг жакет не будет готов! Я ведь все-таки женщина, мне красивой надо быть... Вы уж, пожалуйста... *(Не дождавшись ответа, идет к письменному столу.)*

Мария Петровна после некоторого колебания выходит, пожав плечами и тихо прикрыв за собою дверь.

(У стола, не оборачиваясь.) Вот странное дело. Первый раз в жизни хочется закурить. У вас когда-нибудь так бывало, Марья Петровна, а?.. И папиросы ни одной. *(Берет коробку с табаком, насыпает табак в бумажку и пробует завернуть. У нее ничего не получается. Бросает бумажку.)*

Звонок телефона.

(Все еще не видя, что Мария Петровна вышла, Катя подходит к телефону.) Да... *(Долго молча слушает.)* Подожди. *(Зажимает трубку рукой, поворачивается, видит, что Мария Петровна вышла. В трубку.)* Нет, я просто думала, что не одна... Да, одна... Да.

(Опять молча слушает.) Нет, тебе совсем не за что просить прощения. Ты сказал то, что думал. Нет, наоборот, я благодарна тебе за это. Ты прав — надо решать. *(Слушает.)* Почему погорячился? Нет, и в этом ты прав — надо решать именно сейчас... Подожди минуту! *(Отнимает трубку от уха и зажимает ее обеими руками так, как делают, когда хотят, чтобы тот, кто на другом конце провода, не услышал ни слова. Молча стоит, прижав трубку к груди.)* Бывает же так! Никогда не думала раньше. Говорит и делает так, что нельзя, нельзя пойти к нему! А любит так, что нельзя не пойти! Как будто плывешь туда, а течением тащит сюда, сюда... Может быть, правда... любовь оправдывает все средства?.. Нет, неправда. Неправда! Но любит ведь? Очень ведь любит, а? Может, и правда — я дура? Может, и правда — надо думать потом, когда-нибудь... А сейчас решить... И станет сразу легко, легко... Вот и она говорит: такая любовь раз в тысячу лет... Может, и правда! *(С силой сжав трубку, вспоминает о том, что держит ее в руках. В трубку.)* Андрюша, ты слушаешь... Нет, никого нет. Нет, никто не помешал. Я думаю... *(И снова, отняв трубку от уха, сжимает ее в руках и долго сосредоточенно молчит, вся уйдя в свои мысли.)*

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Поздняя осень. За окнами, на крышах, первый выпавший снег. Та же комната. В углу, возле тахты, лежит рюкзак Голубя. Сцена пуста. За сценой слышен голос Марии Петровны, напевающей романс. В комнату входят Марков и капитан в шинелях, в походном снаряжении. Марков с небольшим чемоданом.

Марков *(снимая шинель и сбрасывая ее на тахту)*. Открыли и вошли. Вот что значит, капитан, иметь в Москве квартиру!

Капитан. А разве квартира вся твоя?

Марков. Да нет. Одну комнату соседка занимает. Слыхал, как вошли, в ванной плескание и пение — она! *(Прохаживается по комнате.)* Да. Давно не был: что-то пустовато здесь стало, капитан.

Капитан. Почему пустовато?

Марков. А впрочем, верно. Почему пустовато? Вещи стоят; все в порядке. *(Замечает рюкзак Голубя.)* А ну-ка, ну-ка,— так и есть, наврал мне старый черт, здесь он живет!

Капитан. Кто?

Марков. Да мой старик, я тебе сто раз говорил о нем. Дядя Коля! Куда же он ушел, а?

Капитан. Ничего, придет!

Марков. Ты переспросил у майора, когда отправление?

Капитан. В двадцать один сорок, с Октябрьского вокзала. Эшелон прямо на Октябрьский перегонят. На запасные.

Марков *(посмотрев на часы)*. Значит, два часа в нашем распоряжении. Отсюда до Октябрьского самое большее пять минут езды.

Пауза.

Куда он мог деться? Неужели не увидимся?

Капитан. Придет! Если хороший друг — носом почует, что ты здесь, прибежит! *(Доставая папиросу.)* Это как, вагон для курящих?

Марков. Для курящих.

Капитан. Ох, уж мне эта дорога! Даже сейчас странно, что за окном все на одном месте стоит. *(Оглядывая комнату.)* Вторая — тоже твоя?

Марков *(приоткрывает дверь второй комнаты)*. А хотя что тебе ее смотреть? *(Решительно закрывает дверь.)* На два часа нам с тобой и этой одной хватит. *(Открыв чемодан, роется в нем.)*

Капитан *(поглядев на Маркова)*. Комната раньше ее, что ль, была?

Марков. Да, ее и сына. Все там было, капитан. А теперь нет там ничего. *(Вынимает из чемодана фотографию и, взяв со стола портрет Кати, сравнивает их.)* Все переменилось, а она все та же.

Капитан. Похожа. Только здесь вроде как глаза другие — удивленные.

Марков. Это уж Гофман виноват. Приходит чужой человек, вдруг начинает снимать. Конечно, удивилась!

Капитан. А как он прорвался-то, как все было?

Марков. Не знаю, я его всего секунду и видел. Он мне фотографию уже в окно вагона, на ходу, сунул: «Полный отчет о командировке на профессиональном языке!»

Капитан. Фотография — ничего не скажешь!

Марков *(глядя на фотографию)*. Очень любил я эту женщину, капитан.

Капитан. А что ты мне говоришь-то, ты ей скажи!

Марков. Поздно теперь ей это говорить... Трус я, капитан!

Капитан. Ну, этого, положим, я за тобой не замечал.

Марков. Я тоже раньше не замечал, а вот теперь оглядываюсь назад и замечаю. Промолчать из гордости, сказать: «Не любишь — я тоже; уходишь — пожалуйста!» Я ведь это за большую храбрость считал. Конечно, силой не удержишь, но когда дело о жизни идет,— гордость в карман спрятать, ничего не боясь сказать, что любишь, что не отдашь! В этом, пожалуй, больше храбрости, а?

Капитан. Правильно говоришь.

Марков. Говорю. В том-то и беда, что тебе говорю, а увидел бы ее, опять, наверное бы, молчал. А молчать нельзя, нельзя!

Капитан. Что ты на меня кричишь?

Марков. А я не на тебя. Я на себя. Не такое сейчас время, капитан, чтобы молчать да откладывать. В одном месте отвоевались, в другом, того и гляди, начнется... В такое время надо всегда и всюду все до конца договаривать. И дома тоже. А то мы часто домой приходим, а самые нужные слова где-то в передней на вешалке оставляем. Нельзя! *(Помолчав.)* Ну, что будем делать?

Капитан. Не люблю я жалеть о том, чего нет, а все-таки пожил бы недельку в Москве.

Марков. Ничего не поделаешь. Сами хвастались — саперы, саперы, а теперь мы и правда первые люди. Вот и не выходит она — неделька.

Капитан. Куда же пойти? Пойдем в театр?

Марков. Неплохо бы... *(Улыбнувшись.)* Да вот беда, пьесы все больше длинные идут — часа по три, по четыре. В два часа не уложимся.

Капитан. Тогда в ресторан можно.

Марков. Тоже неплохо. А все-таки, уж если идти, давай пойдем совсем в другое место!

Капитан. Куда?

Марков. Есть такое хорошее коренное московское заведение — Сандуны! Давно мы с тобой, капитан, в настоящей бане не были, а?

Капитан. У меня белье в вагоне.

Марков. Ничего, дам. У меня тут все есть. *(Усмехнувшись.)* Ответственный съемщик! *(Присев на корточки, роется в шкафу. Вместе с бельем вынимает Катину плетеную сумку. Несколько секунд смотрит на сумку, потом запихивает ее обратно в шкаф.)* Даже и вещей не забрала.

Капитан *(не расслышав)*. Что ты говоришь?

Марков. Так, ничего. Ты пока, чтобы время не терять, записку моему старику напиши, а то вдруг без нас придет.

Капитан. Да ты лучше сам!

Марков. Я под твою диктовку писал?

Капитан *(садится за стол)*. Ладно, диктуй!

Марков. Пиши: «Старый черт!»

Капитан. Неудобно.

Марков. Ничего, пиши: «В Москве всего на два часа. Если придешь раньше меня, поджарь яичницу». *(Капитану.)* Прекрасную яичницу жарит, сорок лет холостого стажа. Пиши: «Вернусь через полтора часа». И час поставь. *(Взяв у капитана записку, подписывается и кладет ее на стол среди разбросанных книг и трубок.)* Идем!

Марков и капитан надевают шинели.

Да, совсем забыл. *(Открывает чемодан и, вытащив оттуда бутылку коньяку, подходит к книжной полке и прячет бутылку за книги.)*

Капитан. Это еще зачем?

Марков. Так, на всякий случай. Старые счеты. Пошли, капитан, пошли.

Марков и капитан выходят.
Сцена некоторое время пуста. Долго звонит телефон. Потом слышен звонок в коридоре. За дверью шлепанье туфель. Снова звонок. Слышен звук отворяемой двери.
В комнату входит Ваганов. Осматривается.

Ваганов. Катя!

Молчание.

Николай Семенович!

Молчание.

(Проходит через комнату, заглядывает в другую. Возвращается, садится в кресло в позе ожидающего человека. Взгляд его падает на стоящий возле тахты чемодан Маркова. Первую секунду в совершенной растерянности, потом осторожно дотрагивается до чемодана, словно желая проверить — правда ли это. Подходит к столу, замечает записку. Читает, не дотрагиваясь до нее. Взяв лежащую рядом книгу и перелистав, небрежно бросает ее на стол, поверх записки. Подходит к телефону, поспешно набирает номер.) Учебная часть? Скажите, пожалуйста, лекции уже кончились? Да? А нет ли у вас случайно там товарища Марковой? Ушла? *(Вешает трубку и так же лихорадочно набирает новый номер.)* Редакция? Скажите, пожалуйста, Екатерина Алексеевна не заходила к вам за работой? Уже ушла? *(Вешает трубку и ходит по комнате, прислушиваясь. Опять снимает трубку.)* Гараж? Василенко? Это я. Подайте мне машину на Домниковку. Да, сейчас же.

Стук в дверь.

Ваганов быстрым движением ноги запихивает под тахту чемодан, стремительно подходит к телефону, снимает трубку, делая вид, что продолжает начатый разговор.

Мария Петровна *(просовывая в дверь голову)*. Можно? *(Входит в комнату. Ваганову.)* А где Екатерина Алексеевна?

Ваганов. Оказывается, ее нет. Вот сижу, ожидаю.

Мария Петровна. А Николай Семенович?

Ваганов. Тоже нет.

Мария Петровна *(присаживается на тахту. Она в домашнем довольно, впрочем, нарядном халате, с кокетливо повязанной поверх мокрых волос косынкой)*. Странное дело. А я вам так уверенно сказала... Я когда купалась, как будто в коридоре голоса слышала.

Ваганов молча пожимает плечами.

Все эти новые дома! Через стены слышно, через потолки слышно... не знаешь, куда прислушиваться! *(Оглядев себя, поправляет халат.)* Извините, что в таком виде. Но я уже так привыкла к вам за этот год, как к своему.

Ваганов нетерпеливо смотрит на часы.

А вам, между прочим, вчера икаться должно было. Тут Николай Семенович вчера один сидел, я зашла и почти весь вечер с ним о вас проспорила.

В а г а н о в *(без особого интереса)*. Да?

М а р и я П е т р о в н а *(с готовностью)*. Весь вечер. Он возмущался, что вы к Екатерине Алексеевне ходить продолжаете, что это не по-мужски, а я ему говорю: вот именно — самое и по-мужски! Кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет! Так мужчина и должен. Мало ли что отказала! Женщина еще сто раз перерешить может. А вы сто, тысячу раз правы, что ходите: снова и снова любовь свою доказываете. Вы даже не знаете, как это на нас, женщин, действует!

В а г а н о в. Вы так думаете?

М а р и я П е т р о в н а. Я не думаю, я знаю.

Слышен звук открываемой входной двери. Мария Петровна встает, поправляя халат.

Вот, наверное, и Николай Семенович!

Входит Г о л у б ь.

Г о л у б ь. Здравствуйте, Марья Петровна. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.

В а г а н о в. Здравствуйте.

М а р и я П е т р о в н а. Николай Семенович, вам не икалось?

Г о л у б ь. Да нет, все нормально протекало. Не икалось. А что?

М а р и я П е т р о в н а. Вас вспоминали. Наш вчерашний разговор с вами.

Г о л у б ь. А вот это напрасно. Разговор-то у нас был с вами, а не с кем-нибудь еще. А впрочем, с женщиной по секрету разговаривать — все равно что по радио.

М а р и я П е т р о в н а *(заметив, что у Голубя оторвана на пиджаке пуговица)*. Николай Семенович, а где ваша пуговица?

Г о л у б ь. На данном отрезке времени — в кармане.

М а р и я П е т р о в н а. Давайте-ка мне ее.

Г о л у б ь. А может, не надо? Я, знаете ли, к полной независимости привык.

М а р и я П е т р о в н а *(настойчиво)*. Давайте, давайте.

Голубь нехотя достает пуговицу.
Мария Петровна, вынув из кармана халата коробочку с нитками и иголками, подходит к Голубю.

Голубь *(воздев руки жестом человека, сдающегося в плен)*. Ох, чует мое сердце, в конце концов жените вы меня на себе!

Мария Петровна *(пришивая пуговицу)*. Опять вы шутите, Николай Семенович!

Голубь. Какие уж тут шутки, я же знаю, что всегда с петель да с пуговиц начинается...

Мария Петровна *(не без кокетства)*. А кончается?

Голубь. Кончается известно чем — петлей!

Звонок в передней.

Мария Петровна *(кончив пришивать пуговицу, обрывает нитку)*. Слишком разных мы с вами на мир воззрений, Николай Семенович!

Голубь. Насчет на мир воззрений — это верно. А за пуговицу тем не менее благодарствую.

Мария Петровна *(смотрит на часы)*. Ну вот, всегда так. Заказчица. Нет чтобы опоздать. Пропадаю я с этой работой, честное слово, и зачем мне она?!

Голубь. Как это так — зачем? Намедни шифоньер красного дерева купили? Вот вам и зачем! Глядишь — еще какой-нибудь буфет приглядите, и совсем комнату заставите, будете между шкафами змеей ползать. Вы бы их уж лучше один на другой ставили. Потолки высокие — влезут!

В передней снова звонят.

Мария Петровна. Вы смеетесь — а я люблю красивые вещи. Это моя страсть!

Третий нетерпеливый звонок в передней.

Проклятая работа. Ни сна, ни покоя. В кои-то веки захочешь с людьми поговорить... *(Уходит.)*

Голубь *(проводив ее взглядом, добродушно)*. Добрая, в общем, баба, но глупая! Зачем живет — сама не знает. Еще шесть шкафов красного дерева купит — и помрет среди них, как в индийской гробнице. Кругом шкафы, посредине стол красного дерева. А на нем — гроб. Даже жалко, ей-богу!

Ваганов. Как вы думаете, Катя скоро придет?

Голубь. Наверное, скоро. *(Неожиданно.)* А зачем она вам, позвольте спросить?

Ваганов. Странный вопрос, Николай Семенович.

Голубь. Странный? Да нет, я ведь вас не про сейчас спрашиваю. Сейчас-то я понимаю,— повидать захотели. Я вообще спрашиваю: зачем она вам, зачем сюда ходите?

Ваганов. А уж это разрешите мне ей объяснить.

Голубь. А мне не хотите?

Ваганов. Нет, не хочу.

Голубь. А вот и напрасно, Андрей Сергеевич. Если я козлом иногда прыгаю, это так — от беспокойного характера, а ведь в сущности-то старый человек. Две войны воевал, Советскую власть ставил в таких местах, что вы и на карте не найдете. Друзей имел. И врагов иметь не боялся. Женщин встречал. Любил, страдал, сердце хоронил. В общем, кое-что видел на своем веку. И с вами, по-дружески,— ну не по-дружески, не друзья мы с вами,— а просто так, по-человечески поговорить бы хотел.

Ваганов *(встревоженно)*. Что такое?

Голубь. Ишь как встрепенулись! Да нет, ничего особенного. Никаких новостей. Просто по-стариковски мораль вам прочесть хочу. Будете слушать или нет?

Ваганов. Говорите, я слушаю.

Голубь. Не понимаю вас, Андрей Сергеевич, извините старика. Раньше хоть с вашей точки зрения, но понимал, а теперь совсем не понимаю. Вот месяц назад, когда с письмом и вообще все это произошло...

Ваганов. Дело ваших рук...

Голубь. Не важно — чьих, важно, что истина выяснилась. Мне кажется, у вас тогда вполне достаточный разговор вышел с Катериной Алексеевной, чтобы не приходить сюда больше.

Ваганов. Если бы она считала так, сказала бы. Это ее и мое дело, а не ваше.

Голубь. Сказала! Не сказала! Вам что, непременно «убирайтесь вон» надо сказать, без этого не понимаете?

Ваганов. Николай Семенович, не пользуйтесь тем, что вы старый человек.

Голубь. А я еще не такой старый. Так что если претензии ко мне имеете — к вашим услугам. *(Выжидающе помолчав.)* Я-то ничем не пользуюсь, а вот вы действительно пользуетесь. Добротой ее, деликатностью, сердцем ее чересчур доверчивым — пользуетесь. Конечно, сказали, что погибнете, если видеть ее не будете! А она вот меня, по секрету вам сказать, переехать сюда упросила, потому что последнее время в тягость стали ей ваши визиты! И, по-моему, за прямоту не взыщите, раз такой оборот, лучше вовсе не ходить — коли ты мужчина!

Ваганов. Николай Семенович!

Голубь. Я людей люблю, Андрей Сергеевич, и не люблю смотреть, как человек себя унижает. Не делайте вы этого.

Ваганов. А вы думаете, я сто раз не говорил себе того, что вы мне сейчас сказали? Но вся история и с этим письмом, и с тем,

что я кому-то где-то сказал, что она моя жена,— как ничтожно все это рядом с моим желанием заставить ее все забыть, увезти ее отсюда в другое место, даже в другой город,— чем дальше, тем лучше! Вот вы считаете, что я прирос к Москве, держусь за свой институт, за свое положение. Да, держусь. Но я готов все оставить, взять и уехать, если она поедет со мной. На Москве свет клином не сошелся. И когда мы уедем,— какой мелочью покажутся ей все эти наши здешние недоразумения, рядом со счастьем, которым я окружу ее там. Вы или уже забыли это, или, простите меня, никогда не знали, что значит завоевывать любовь!

Голубь. Завоевывать? Домогаетесь вы, а не завоевываете.

Ваганов. По крайней мере, хоть не издевайтесь надо мной!

Голубь. А вы не кричите, я вам правду говорю. У вас сейчас ведь какое чувство? Чем ей хуже — тем лучше. Тяжело ей? — Хорошо! Грустно? — Хорошо! Скучно? — Еще лучше! Вы ждете, чтобы она совсем соскучилась и с тоски к вам пришла? Терпеливо ждете. С умом. С расчетом. Разве это любовь? Нет, я это любовью не называю. Вот вы все любите говорить — советские люди! Новые люди! А это ведь не по-новому, а по-старому у вас получается-то! Понимаю, нелегко вам, но вы в работе, в других-то своих делах — человек, а не тряпка!

Ваганов. Что же прикажете делать?

Голубь. Уехать без всяких «если»: одному уехать — и весь разговор! Страна большая, дел много. Сами же сказали, что на Москве свет клином не сошелся.

Ваганов. Завидую Алексею. Если бы не на его, а на моей стороне был такой друг, как вы...

Голубь *(перебив его)*. Напрасно завидуете. Если бы вы поступали как он, а он как вы,— я бы ему был не потатчик! Вы что думаете, я ему друг, только чтоб по головке гладить да под ручки провожать? Я ему, если надо будет,— и поперек дороги стану! Как друг!

Звонок телефона. Ваганов вскакивает, но Голубь подходит к телефону раньше его.

(В телефон.) Екатерина Алексеевна? Я. Иди скорей. Жду.

Ваганов *(после короткого колебания, решительно)*. Николай Семенович!

Голубь. Что?

Ваганов. Благодарю вас за этот жестокий разговор. Вы правы — надо решать. Вы правы — надо уезжать. И раз это невозможно вдвоем — одному. И, наконец, вы правы — надо с завтрашнего же дня перестать ходить сюда, как бы это ни было трудно. Рубить — так рубить!

Голубь. Вы это что, серьезно?

Ваганов. Вполне. Серьезно и окончательно.

Голубь. Тогда вот вам моя рука. Уважаю.

Ваганов *(пожав руку Голубю)*. И у меня к вам есть просьба.

Голубь. Какая?

Ваганов. Мне хочется, чтобы сегодняшний последний вечер не был вечером перед разлукой. Чтобы это был просто вечер как вечер, словно ничего не случилось, словно все хорошо!

Голубь. Ну, и правильно. Это — по-мужски. А просьба-то в чем?

Ваганов. У меня здесь машина. Уже, наверное, пришла. Давайте, когда вернется Катя, сразу сядем и уедем отсюда куда-нибудь за город, куда угодно, только чтобы не оставаться здесь, в этих стенах. Снег выпал — по первому снегу! А потом в ресторан, до ночи. Но именно все втроем — она, я и вы. Хорошо?

Голубь. План хорош, но при чем тут я?

Ваганов. Во-первых, скажу честно, боюсь, что со мной вдвоем она не поедет. А во-вторых, если поедет,— боюсь, что не удержусь и заведу свою старую песню все про то же... А при вас — удержусь.

Голубь. Как хотите, Андрей Сергеевич! Если я вам так необходим на прощанье, пожалуйста. Только придется мне, раз за город, надеть бурки, уж не взыщите.

Ваганов. Чего же взыскивать?

Голубь. Да ведь в ресторацию потом собираетесь. Придется там краснеть за старика. Где ж они, проклятые, под тахтой, что ли?

Ваганов *(с тревогой следит за его движениями)*. А разве так уж холодно? *(Подойдя к окну.)* Смотрите, все налегке бегают, в ботинках!

Голубь *(тоже подойдя к окну)*. Ну, так ведь то молодежь! А вон старичок в валенках идет, и другой тоже. Как хотите, без бурок не поеду! *(Направляется к тахте.)*

Ваганов *(раньше Голубя отошедший от окна, первый нагибается и, достав из-под тахты бурки, подает их Голубю)*. Что с вами сделаешь, надевайте.

Голубь *(несколько удивленный)*. Весьма благодарен. *(Сбросив ботинки, начинает надевать бурки.)* Я уж до ее прихода, а то придет, не позволит. «Вы еще у меня кавалер, скажет, рано вам в таком виде ходить!»

Входит Катя.

Катя. Добрый вечер.

Ваганов. Здравствуй.

Голубь *(подойдя к ней и взяв ее за плечи)*. Ишь ты какая у меня с морозу красивая. Эх, скинуть бы мне лет тридцать.

Катя. Дядя Коля! Вы эту фразу где прочли, а?

Голубь. В романах, Катерина Алексеевна, в романах. Не хочешь, не надо, могу и по-другому. *(Мечтательно.)* Эх, прибавить бы тебе лет тридцать!

Катя. Вот это другое дело! А чай мне вскипятили?

Голубь. Виноват, матушка, никак нет. Я пришел, а тут уже Андрей Сергеевич сидит, ну и заболтались, забыл. Да и стоит ли сейчас чай пить? Тут к тебе одно предложение есть.

Катя. Какое?

Ваганов. Я вызвал машину. Съездим сейчас покататься за город?

Катя. Кататься? Холодно сегодня.

Ваганов. Вот и хорошо. Мы этим медведем *(показывает на медведя, лежащего перед тахтой)* ноги накроем, как на лихачах — медвежья полость! Куда-нибудь по шоссе, свернем на проселочную, немножко пешком по снежку! А потом с холоду в ресторан — по рюмке водки!

Голубь. Ну, как же? Уж больно хорошо рассказывает!

Катя. Это, конечно, все очень хорошо, но мне что-то не хочется, не знаю...

Ваганов *(тревожно взглянув на часы)*. А что ж тут знать? Поедем, и все.

Катя *(Голубю)*. А вы поедете?

Голубь. Ну, хорошо, поедем. Сейчас чаю выпьем, и поедем.

Ваганов *(опять взглянув на часы)*. Нет, уж если ехать, так прямо сейчас!

Катя. Ладно. Ехать так ехать. Одевайтесь. Я сейчас, только платье переодену. *(Выходит в другую комнату.)*

Ваганов, еще раз посмотрев на часы, выходит в переднюю, за ним Голубь. Через несколько секунд оба возвращаются в пальто.
Голос Кати: «Я сейчас. Принеси мне пальто».
Ваганов снова выходит и, вернувшись, останавливается посреди комнаты с Катиным пальто в руках. Шум в коридоре. В комнату, громко продолжая начатый еще на улице разговор, входят Марков и капитан.

Капитан. А я ему говорю: нет, брат!

Оба одновременно замечают Голубя и Ваганова. Секунда молчания.

Голубь. Алешка! *(Обнимает его.)* Чертов сын! Приехал!

Марков. Здравствуй, старик. *(Оглядывает его.)* Нет, ничего, еще хорош! *(Капитану.)* Хорош у меня старик, а? Знакомься!

Капитан. Валуев!
Голубь. Голубь.

Долго трясут друг другу руки.

Марков *(Ваганову)*. Здравствуй.
Ваганов. Здравствуй.

Пауза. Из соседней комнаты слышен голос Кати: «Я сейчас, одну минуточку».

Марков *(глядя на Ваганова, сжимающего в руках Катино пальто.)* Дядя Коля, что тут происходит?

Голубь. Ничего особенного, вовремя приехал, а то мы уже было собрались...

Марков *(перебивая его)*. Собрались? Куда собрались?

Входит Катя.

Катя. Поехали? *(Замечает Маркова. Ее первое инстинктивное движение — броситься к нему, но в следующее мгновение она опускает уже протянутые руки.)* Алеша...

Марков. Здравствуй, Катя!

Общее молчание.

А ты что так удивилась? *(Кивнув на Голубя.)* Он что, тебе не сказал? *(Голубю.)* Что это за сюрпризы! *(Оглядываясь.)* Куда дел мои вещи?

Голубь. Какие вещи?

Марков. Мои, которые я тут оставил полтора часа назад. *(Рассмеявшись.)* Брось притворяться! Я же тебя знаю! *(За кончик ремня вытаскивает из-под тахты чемодан.)* Ты что думаешь, если вещи спрятал, так я уже и не уеду? Все равно надо ехать нам с капитаном. Через полчаса на поезд. Эх, ты!

Голубь. Отстань! Ничего ты не понимаешь! *(Поворачивается к Ваганову.)* Андрей Сергеевич, может, вы объясните, а?

Пауза.

Катя *(отчаянно, почти плача, Ваганову)*. Ехать, сейчас же, сию минуту, за город, по снежку, да? Машину вызвал, скорей, да? *(Бросается к Голубю.)* Дядя Коля, как он смел, как он смел? *(Не удержавшись от рыданий, выбегает в другую комнату.)*

Молчание.

Марков. Значит, ты не знал, ты даже... *(Подойдя к столу, приподнимает книгу и, незаметным движением скомкав записку, прячет ее в карман. Не вынимая рук из карманов, словно желая*

этим сдержать себя, подходит к Ваганову, говорит тихо, в упор.) Уходи!

Ваганов. Алексей, я должен...

Марков. Ты мне ничего не должен. Мы с тобой потом объяснимся. Через год, когда я успокоюсь. А сейчас уходи, пока цел! Ну?

Молчание. Ваганов, растерянно оглядев всех, молча выходит.

Капитан *(с неестественной бодростью)*. Вот, значит, какие дела!

Марков. Какие дела, капитан? Плохие, что ли?

Капитан. Да нет, чего ж плохие? Только вот ехать нам с тобой надо.

Голубь. Опять ехать? Ну, ничего, три месяца прозимовали тут с Катериной Алексеевной, еще позимуем.

Марков. Что?

Голубь. А вот то! То, о чем тебе давно бы самому догадаться пора! Учил, учил! Все без толку. Ты что, наше с ней письмо не получил?

Марков. Нет. Когда вы его послали?

Голубь. Поздно послали. Меньше месяца.

Марков. Значит, разъехались. *(После паузы, посмотрев на Голубя.)* Ну, прав, прав. Ты прав, а я виноват. Что дальше?

В дверях появляется не замеченная ими Катя.

Голубь. Ничего. Куда едете?

Капитан. На границу, на новые квартиры.

Голубь. А задержаться нельзя? Эшелоном, что ли?

Капитан. Эшелоном.

Голубь. И надолго?

Капитан. Если все спокойно будет, расквартируемся, да и в отпуск можно, ну, а если уж... сами понимаете!

Катя. Алеша!

Марков *(оборачиваясь и беря ее за руки)*. Что?

Катя. Ты все-таки здесь, да?

Марков. Здесь, Катенька, здесь.

Катя. Ты скажешь, что тебе сделать, что уложить?

Марков. Да нет, Катенька, ничего мне не нужно. Все у меня есть. *(Кивнув на портрет Кати, стоящий на столе.)* Разве что вот это с собой дай. А впрочем, даже и этого не нужно. *(Подойдя к чемодану, роется в нем.)* Я уже одной девушки вожу с собой портрет.

Голубь. Это что еще за девушка?

Марков *(доставая фотографию)*. Ничего, хорошая. Вот капитан одобряет, говорит — красивая.

Катя *(глядя на фотографию)*. Это ты ко мне его послал, да?

Марков. Почему я? Он сам придумал: дай, говорит, съезжу, сфотографирую. Что же, говорю, съезди, сфотографируй. Я послал, я... Что же мне было делать? На письмо ты мне не ответила...

Голубь. Тут, брат, с письмами — тысяча и одна ночь...

Марков *(прервав его)*. Не надо, догадываюсь...

Голубь. Ну ладно, едете, так едете. Но яичницу-то все-таки вам еще можно успеть поджарить?

Марков. Можно. Я уж капитану говорил про твои яичницы!

Голубь. Вот и очень хорошо! Я его себе в помощники возьму.

Капитан *(с подчеркнутой готовностью)*. А то как же, конечно.

Голубь и капитан стремительно выходят.

Катя *(им вслед)*. Куда же они? Ведь тут все в шкафу...

Марков *(улыбаясь)*. Ничего, им это не важно. Они, кажется, просто считают, что нам с тобой надо остаться вдвоем.

Катя. А разве не надо?

Марков. Надо, очень надо, Катенька.

Пауза.

Ты меня простишь за это глупое письмо?

Катя. Что ж прощать, письмо как письмо.

Марков. Нет, не за письмо, за адрес прости. Простишь?

Катя. Зачем ты спрашиваешь?

Пауза.

Почему ты не ответил на мою телеграмму в поезд? Неужели ты не понял, как мне нужен был твой ответ?

Марков. На твою телеграмму?

Катя. Да, на мою телеграмму. Или ты не получил ее?

Марков. Да нет, я получил ее, но, видишь ли... *(Махнув рукой.)* Ладно, бог с ней, с телеграммой, и вообще со всем этим. Так уж вышло, что не ответил. *(После молчания, задумчиво.)* Был у меня, Катенька, один знакомый. Очень гордый был, между прочим, человек. Ему говорят: «Встань и поцелуй мне руку» *(берет руку Кати и целует)*, а он сидит. Ему говорят: «Прошу тебя, встань и поцелуй мне руку» *(опять целует ей руку)*, а он не целует. Глупый он был человек, да?

Катя. Глупый, очень глупый. *(Бросившись ему на шею, чуть слышно, сквозь счастливые слезы.)* Очень, очень, совсем глупый.

За дверью сильный шум и шарканье, производимое Голубем и капитаном, старающимися обратить на себя внимание.

Марков. Да входите же!

Голубь и капитан входят.

Ну, где же ваша яичница?

Капитан *(переглянувшись с Голубем)*. Да вот, продуктов, оказалось, нет.

Марков. Что же вы делали?

Голубь. Искали.

Марков. Так все и искали?

Голубь. Так все и искали.

Марков. Ну, хорошо. Но хоть коньяк-то у тебя есть в доме?

Голубь. Откуда же? Предупреждать надо было, молодой человек!

Марков. А может, ты просто стал скуп и тебе жаль истратить на меня бутылку коньяку? Может, когда я вошел, ты спрятал эту бутылку за популярное сочинение Элизе Реклю «Человек и земля», которое все покупают и никто не читает? *(Роется на книжной полке.)* Постой, постой. *(Достает бутылку, смотрит на свет, нюхает.)* Коньяк?

Голубь. Молодец! Моя школа! Поймал старика. Катерина Алексеевна, штопор! *(Открывая бутылку, капитану.)* Ловко он меня поддел!

Марков *(подражая Голубю)*. Три месяца назад, уезжая и не надеясь на ваши заботы, я заложил эту бутылку...

Голубь *(перебивая его)*. Ладно, ладно. Молод еще смеяться над стариком. Лучше делом займитесь — посуду давайте!

Катя, вынув из шкафа рюмки, ставит их на стол. Голубь, покосившись на поставленную перед ним рюмку, меняет ее на чайный стакан и наливает всем, последнему — себе, доверху.

За добрую дорогу, во-первых! За скорое возвращение, во-вторых! Ну, а если уж гром грянет,— так за победу!

Пьют.

Марков *(Кате, показывая на Голубя)*. Ты тут построже с ним без меня. Хорошо?

Катя. Хорошо.

Марков. И сама тоже не очень скучай... Вру я! Скучай! Очень скучай! Слышишь?

Катя. Слышу, милый!

Капитан. Алексей Степанович, пора!

Марков. Идем, капитан, идем!

Капитан направляется к двери. Марков на секунду останавливается.

Голубь. Проводить-то тебя как, можно или нельзя?

Марков. Проводить? *(Берет с тахты Катино пальто, подает ей его.)* Ты же знаешь, что я не люблю, когда меня провожают...

Занавес

1940—1954

Парень из нашего города

Пьеса в трех действиях, девяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сергей Луконин.
Аркадий Бурмин.
Варя — его сестра.
Петька — их двоюродный брат.
Анна Ивановна — тетка Бурмина.
Женя — практикантка в клинике Бурмина.
Володя Гуляев.
Алексей Петрович Васнецов.
Гулиашвили.
Севастьянов.
Сафонов — шофер такси.
Полина Францевна Сюлли — преподавательница иностранных языков в военной части.
Врач.
Помощник режиссера.
Командир роты.
Телефонист.
Связной.
Офицер.
Переводчик.
Командиры, танкисты, санитары.

Действие происходит в годы 1932—1939.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

1932 год. Конец лета. Волжский город. Старая докторская квартира. Столовая. Двери во внутренние комнаты. Большое окно, за ним дерево. По нему видно, что это второй этаж. В глубине за круглым столом Анна Ивановна раскладывает пасьянс.

Анна Ивановна. Опять не сходится. К чему бы это? *(Задумывается.)*

В окне появляется голова Петьки.

Петька *(глядя вниз, тихо)*. Нет ее. Только тетка.

Анна Ивановна поворачивается. Голова Петьки исчезает, и немедленно появляется голова Сергея.

Сергей. Анна Ивановна!

Анна Ивановна *(вздрогнув)*. Да. Что вы? Вы с ума сошли! Вы упадете!

Сергей. Ничего. Я на пожарной лестнице. Анна Ивановна! Вари нет?

Анна Ивановна. Нет, нет еще. Слезьте, ради бога!

Сергей. Ну, я потом зайду.

Анна Ивановна. Только уж, пожалуйста, с парадного.

Сергей. Хорошо. *(Скрывается.)*

Анна Ивановна *(задумчиво)*. Увезет он Варвару. И глазом моргнуть не успеем. *(Смотрит на карты.)* Оттого и не сходится.

Входят Аркадий и Женя.

Аркадий. Здравствуйте, тетушка!

Женя. Анна Ивановна, здравствуйте!

Аркадий. Где наша сестра?

Анна Ивановна. Не пришла еще.

Аркадий. Где наш уважаемый двоюродный брат?

Анна Ивановна. Петя опять пропал с утра. Он берет пример с тебя. Мне это надоело. Три раза подогревала тебе обед.

Аркадий. Обед? Сейчас пообедаю. Хотя погодите, я ведь, кажется, уже обедал.

Анна Ивановна. Где ты обедал?

Аркадий. Вы не помните, где я обедал, Женечка?

Женя. Вы, Аркадий Андреевич, обедали в клинике. И я с вами обедала.

Аркадий. Верно. И я еще пиво опрокинул. *(Анне Ивановне.)* Оказывается, я обедал в клинике. Будем чай пить. Видите, Женечка, я вас не только подбирать препараты сюда вожу, а еще и чай пить. С вареньем. Вы любите варенье?

Женя. Да. Вы меня уже раз сорок спрашивали об этом.

Аркадий. Сорок раз? Вот видите, какой я заботливый. Тетя, дайте ей побольше варенья. В детстве все любят варенье.

Анна Ивановна. А сегодня были пельмени.

Аркадий. Были пельмени? Ужасно! Но я был занят.

Анна Ивановна. Меня это не интересует.

Аркадий. Вот видите, Женечка, меня в этом доме в грош не ставят ни тетя, ни сестра, и вообще никто. А я доцент. Ведь я доцент, Женечка?

Женя. Анна Ивановна, Аркадий Андреевич правда был занят. У него сегодня была очень трудная операция.

Анна Ивановна *(значительно)*. А у меня тут была Любовь Сергеевна.

Аркадий. Все равно, тетя, я не женюсь на вашей Любовь Сергеевне.

Анна Ивановна. И очень глупо сделаешь.

Аркадий. Может быть. Но жениться... Как, по-вашему, Женечка, жениться мне на Любовь Сергеевне?

Женя. Не знаю.

Аркадий. Как мой практикант и друг, вы могли бы в такую трудную минуту дать мне совет.

Женя. Не знаю. Как хотите, Аркадий Андреевич.

Аркадий. Нет, не женюсь. Она слишком красивая. А я видите какой? Нос — и вообще. Выйдет замуж, а потом скажет: будь благодарен. Не хочу я ей быть благодарным. Не женюсь. Верно, Женечка?

Женя. Верно. Нос.

Аркадий. Что — нос?

Женя. Неважный у вас нос. Длинный.

Аркадий. Ну вот видите, тетя. Все против моей женитьбы. Даже Женечка.

Анна Ивановна. Ну, конечно, тебе чей угодно совет дороже моего. Ты бы еще у Сергея Ильича спросил совета.

Аркадий. А что вы так сердито? Опять Сережка что-нибудь натворил?

Анна Ивановна. Натворил? Нет, он просто сел вчера против Любовь Сергеевны и спросил ее, зачем она сюда ходит, все равно он не разрешит тебе на ней жениться.

Аркадий. Так и сказал?

Анна Ивановна. Так и сказал.

Аркадий. Молодец! Вот что значит — друг!

Анна Ивановна. Я боюсь, что скоро этот твой друг увезет из этого дома твою сестру.

Аркадий. А что, разве есть какие-нибудь тревожные симптомы?

Анна Ивановна. Не знаю, может быть, у вас так принято. Сегодня, чтобы спросить, дома ли она, он забрался в окно. Теперь, чтобы сделать предложение, он, должно быть, влезет через трубу, а чтобы жениться, он просто разберет стену и увезет Варвару. Бог знает что!

Аркадий. А вы не делайте вид, что возмущены. В глубине души вам же все это нравится.

Анна Ивановна. Мне?

Аркадий. Вам. Вас же самих в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, когда вы были актрисой, гусар через окно похитил. Не спорьте, сами рассказывали. Видите, я даже год запомнил. И Сережка вам нравится. Он вам напоминает того гусара. Ну вот, вы даже покраснели.

Анна Ивановна. Влезать в окно только для того, чтобы спросить, дома ли? Нет, я тревожусь за Варю.

Вбегает Варя.

Варя. Что тут говорят о Варе? Наверное, опять говорят, что она душечка, да?

Аркадий. Нет.

Варя. А что еще можно сказать о Варе?

Аркадий. Очень многое. Во-первых, что она ленивая девчонка и сегодня опять проспала и, наверно, опоздала в свой театральный техникум.

Варя. Да, но она так бежала.

Анна Ивановна. Во-вторых, что она сегодня опять не поздоровалась со своей теткой.

Варя. Я утром поздоровалась.

Анна Ивановна. Не заметила.

Варя. Когда вы еще спали.

Анна Ивановна. Когда я спала?

Варя. Нет, когда я спала... То есть... Ну, в общем, запута-

лась. *(С реверансом.)* Здравствуйте, тетя! Ну, в чем я еще виновата?

Женя. Я видела, как ты сегодня опять вела за собой по улице сразу четверых молодых людей. Один нес твой портфель, другой — косынку, третий — берет, четвертый — сумочку.

Анна Ивановна. Сразу четверо? Нехорошо!

Варя. Я не виновата, они сами шли. Я предпочла бы идти с одним.

Аркадий. А с кем, позвольте спросить?

Варя. С принцем. Как все хорошие девочки, я придумала себе принца. И очень люблю его.

Аркадий. Между прочим, этот твой принц сегодня влез в окно и спрашивал, дома ли ты.

Варя. Правда? Молодец! *(Спохватившись.)* Постойте, а о ком вы говорите, кто влез в окно?

Аркадий. Сережка.

Варя. А... А я думала — принц.

Пауза.

Тетя, а я вам что достала!

Анна Ивановна. Что?

Варя. Дюма. «Еще десять лет спустя, или Виконт де Бражелон». Здорово, а?

Анна Ивановна *(с деланным равнодушием)*. Спасибо.

Варя. Тетя, не делайте при гостях вид, что вы больше любите Льва Толстого. Все же знают: Дюма, шпаги, плащи — это же ваша стихия.

Анна Ивановна. Вечно ты, Варвара... Где книга?

Варя. Нет, я сначала посажу вас в кресло, дам вам ваше пенсне, и тогда... «Еще десять лет спустя, или Виконт де Бражелон». *(Делает воображаемый выпад и, взяв Анну Ивановну под руку, уводит ее в другую комнату. Через секунду возвращается.)* Вот что значит уметь обращаться с детьми. Теперь могу сообщить вам потрясающую новость.

Аркадий. Непременно потрясающую?

Варя. Непременно. Иван Григорьевич переходит в Москву в Малый театр, и знаешь, что он обещал? Он обещал зимой или весной меня и Зойку Петрову, как самых способных, перевести туда в театральное училище. Это будет великолепно. Варя соберет весь свой роскошный гардероб, и ее длинный брат понесет ее большой чемодан к московскому поезду. А через десять лет по городу развесят афиши — гастроли В. Бурминой или даже В. А. Бурминой. И все будут спрашивать, какая же она из себя, эта В. А. Бурмина, и вдруг увидят Варю...

Аркадий. Ты так радуешься, как будто уезжаешь завтра, а не через полгода.

Варя *(задумчиво)*. Когда мне чего-нибудь очень хочется, мне всегда кажется, что это будет завтра. *(Прохаживается.)* Женька! У меня тут с Аркадием мужской разговор будет.

Женя. Хорошо, я сейчас уйду.

Аркадий. Женечка, вы пока достаньте препараты. Я сейчас тоже приду.

Женя выходит в кабинет.

Ну, что за страшную тайну ты имеешь мне сообщить?

Варя *(обнимает его)*. Аркаша, я его так люблю. Тебе больно, да?

Аркадий *(с трудом поводя шеей)*. Нет, ничего. Если я выживу, то потом расскажу ему, как ты его любишь.

Варя. А все-таки мне хочется ехать учиться в Москву, в театр, даже если он не поедет. Значит, я его не люблю?

Аркадий. Нет. Это просто значит, что ты становишься большой, Варька! Если веришь в себя, надо ехать в Москву и ни о чем не думать и не жалеть.

Варя. Мне очень хочется объяснить это Сереже, но я боюсь, что вдруг он не поймет и обидится.

Аркадий. Поймет. И потом, если он тебя и вправду любит, ты можешь уезжать хоть за тридевять земель, расставаться хоть на пять лет, он все равно до тебя доберется.

Варя. Вечно ты его хвалишь. Если бы мы жили на Востоке, ты бы уже давно ему меня в жены продал!

Аркадий. Конечно. Я и так удивляюсь: что он тебя не увозит? Нанял бы карету, а ты бы связала простыни и к нему вниз через окно. И венчаться. А я бы, как брат, в погоню. Но только так, для виду, догонять бы не стал: шут с вами, венчайтесь. *(Уходит в кабинет.)*

Стук в дверь. Входит Володя Гуляев.

Варя. А, Володенька!

Володя. Здравствуй.

Варя. Что ты? Ты же собирался зайти завтра?

Володя. Да, но видишь ли... Я хотел с тобой поговорить.

Варя. О чем?

Володя. О Сергее. Только ты можешь на него повлиять. Он сегодня опять черт знает что натворил в институте.

Варя. Опять?

Володя. Да. И на этот раз его собираются выгнать.

Варя. Что же он сделал?

Володя. Ну, он, как всегда, конечно, считает, что ничего особенного.

Варя. Ну, а все-таки?

Володя. Его послали для практики читать литературу в девятую группу. Ну, он один час почитал им о Достоевском, а в начале второго вдруг сказал: «Знаете что, ребята? Достоевский, конечно, гениальный писатель, но лично я его не люблю. Поговорили о нем — и хватит. Пойдемте лучше до перемены в волейбол погоняем. Только никому ни звука!»

Варя. Ну?

Володя. Ну и гоняли до перемены. Потом, конечно, все узнали. Ты скажи ему, а то ведь этому просто конца нет. Его выгонят — и все.

Варя. Да, я скажу. Ну, что еще?

Пауза.

Володя. Я шел мимо кино. Там идет новый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Я взял билеты.

Варя. Что-то не хочется, Володенька...

Володя. Почему?

Стук в дверь. Входит Сергей.

Сергей *(подойдя к Варе)*. Здравствуй, Варя. *(Смотрит на Володю, потом медленно подходит к нему и говорит что-то на ухо.)*

Володя отрицательно качает головой.

Варя. Что ты ему сказал?

Сергей. Так, ничего, пустяки. *(Опять что-то шепчет на ухо Володе.)*

Володя, покраснев, снова отрицательно качает головой.

Варя. Сейчас же скажи, что ты там шепчешь?

Сергей. Я хотел ему тихо, а он... В общем, я ему говорю, чтоб он шел. Чего он тут сидит?

Варя. С ума ты сошел, уходи сейчас же!

Сергей. Видишь, говорят тебе — уходи, ну и уходи!

Варя. Я не ему.

Сергей. Ему, ему. Ну, что же ты, иди, иди, потом объяснимся. *(Решительно выпроводив Володю за дверь, возвращается.)*

Варя. Сейчас же убирайся вон, я не позволю, чтоб у меня дома...

Сергей. Чего ты не позволишь? Ты что, хочешь, чтоб он тут сидел? Так я сейчас побегу, верну его. Только правда хочешь?

Варя *(нерешительно)*. Нет...

Сергей. Ну так в чем же дело? Я его уже три раза предупреждал, чтоб не ходил. Нечего ему тут делать. Что он, в самом деле, ходит?

Варя. Дружит со мной — вот и ходит.

Сергей. Дружит? Это он только так из трусости говорит. А на самом деле ухаживает за тобой. Да, да.

Варя. Но ведь ты тоже ходишь?

Сергей. Я? Я — другое дело. Я так прямо и говорю, что ухаживаю, а потом возьму и женюсь.

Варя *(растерянно)*. То есть как это? Возьмешь и женишься? А я вот возьму и не пойду за тебя замуж.

Сергей. А я подожду.

Варя. А я и потом все равно не выйду.

Сергей. А я еще подожду.

Варя. Никогда не выйду.

Сергей. Выйдешь.

Пауза.

Я тебя знаешь как люблю? Я для тебя что угодно могу сделать. Даже глупость. Хочешь, сейчас со второго этажа прыгну?

Варя. Нет, не хочу.

Сергей. Жаль, а то бы прыгнул.

Варя. Вечный ты хвастун. Женюсь, прыгну!

Сергей. Хвастун? Ну что ж, пожалуй, верно. *(Подходит к окну.)* До скорого свидания. *(Помахав рукой, прыгает.)*

Варя *(подбегает к окну)*. Сумасшедший! *(Смотрит в окно, потом быстро идет к двери.)*

В дверях появляется Сергей.

Сейчас же убирайся вон отсюда. Сумасшедший.

Пауза.

Ты не ушибся?

Сергей. Нет. Во-первых, не так уж высоко. А во-вторых, две недели предварительной тренировки тоже что-нибудь да значат.

Пауза.

Ничего, не бойся, каждый день не буду прыгать. Скоро уеду.

Варя. Куда уедешь?

Сергей. Куда? Ну, ладно, семь бед — один ответ. На, читай. *(Протягивает ей бумажку.)*

Варя *(читая)*. Танковая школа. Омск... Ой, как далеко. Сережа, зачем, когда ты это решил?

Сергей. Давно, Варенька, еще месяц назад.

Варя. И все время молчал!

Сергей. Так я же не знал, примут ли. Опять бы вы все кричали, что я хвастаюсь.

Варя. Но тебе еще не скоро ехать, да?

Сергей. Завтра.

Варя. А как же я? *(Спохватившись.)* Так вдруг и так далеко... Ты же говорил... Как же ты можешь...

Сергей. Могу, Варенька. И уехать могу, и потом приехать за тобой, увезти тебя к себе. Все могу.

Варя. Сережа...

Сергей. Что?

Варя. Останься.

Сергей. Нет. Поеду. Я давно этого хочу.

Варя. Мне трудно здесь будет без тебя.

Сергей. Хорошо.

Варя. Что ж хорошего?

Сергей. Хорошо, что трудно,— значит, любишь меня.

Варя. Уезжай куда хочешь. Мне все равно. Я тоже уеду.

Сергей. Куда?

Варя. В Москву. В театр... учиться. Уеду и думать о тебе забуду!

Сергей. Значит, в Москву? Ну, что ж, кончу школу и приеду за тобой в Москву.

Варя. Никуда ты не приедешь.

Сергей. Приеду. Приеду и увезу тебя.

Варя. Сережа, уйди, скорей уйди, а то я в тебя чем-нибудь брошу.

Сергей. Бросай, все равно приеду и увезу.

Варя. Сейчас же уходи, слышишь? Или ты завтра никуда не едешь, или сейчас же отсюда уходишь.

Сергей. Все наоборот. Завтра я уеду, а сейчас не уйду.

Варя. Ну, так я уйду. *(Выбегает в наружную дверь.)*

Сергей *(кричит ей вдогонку)*. Варя! *(Снова садится в кресло.)*

Вбегает Петька.

Петька. Что с Варькой? Она, как ненормальная, прямо по перилам, чуть меня не сшибла.

Сергей *(после паузы)*. Где у вас бумага и конверты? Быстро.

Петька, порывшись на этажерке, подает бумагу и конверт. Сергей, присев к столу, пишет.

Петька. Что, поссорились?

Сергей кивает.

А ты когда едешь, завтра?

Сергей кивает.

Здорово!

Сергей. Как ты думаешь, придет она меня проводить, а?

Петька. Придет! Покажи бумажку.

Сергей протягивает бумажку.

Здорово. Печать со звездой. Это всегда так, печать со звездой?

Сергей. Да.

Петька. А на сколько едешь?

Сергей. На два года.

Петька. А потом?

Сергей. Командиром буду.

Петька. А чего командиром?

Сергей. Бригады.

Петька. Сразу бригады?

Сергей. Ну, не сразу. Но скоро.

Петька. А как же Варя?

Сергей. Кончу школу, приеду и женюсь.

Петька. А она вдруг возьмет и тут за другого выйдет?

Сергей. Не выйдет.

Петька. А если тут к ней опять Володька Гуляев ходить будет, мы с ребятами ему ноги переломаем. Ты только слово скажи.

Сергей. Не надо. Сама прогонит.

Петька. А если не прогонит, мы переломаем, ладно?

Сергей *(улыбнувшись)*. Ладно. Вот что. *(Вкладывает листок в конверт.)* Если завтра я Варю не увижу, в общем, если она не придет меня проводить, ты ей это послезавтра отдай. Понял?

Петька. Понял. А ты запечатать-то забыл?

Сергей. Это принято так, не запечатывать. Правило хорошего тона. Значит, доверяешь тому, кто письмо передает — и не запечатано, а все равно не прочтет. А если прочтешь — убью, понял?

Петька. Понял.

Пауза.

А ты еще не уходишь?

Сергей. Нет еще. А что?

Петька. Так просто спросил.

Сергей. Насколько я понимаю, господина дипломата интересует мой велосипед. Он стоит в передней. В вашем распоряжении есть десять минут.

Петька. Я только три круга по двору. *(Исчезает.)*

Сергей *(сидит задумчиво, потом подходит к двери кабинета, стучит и приоткрывает дверь)*. Аркаша! На минуту.

Входит Аркадий.

Аркадий. Ну, что слышно?

Сергей. Получил. Завтра еду.

Аркадий. Значит, это уже не тайна. Целый месяц хранил ее честно и притом бесплатно. Цени меня!

Сергей. Ценю. Хотя, судя по-сегодняшнему, кажется, лучше было сказать ей это заранее. Она тут мне такое устроила...

Аркадий. Кстати, где она?

Сергей. Убежала.

Аркадий. Ей-богу, хоть бы увез ты ее с собой. И тебе хорошо, и мне легче.

Сергей. Она мне тут наговорила... Ничего, Аркаша, не горюй, еще увезу когда-нибудь.

Пауза.

Ну, вот я и уезжаю. Да, все хорошо. Только время, время...

Аркадий. Что — время?

Сергей. Уходит. Двадцать два года — не шутка! «Товарищ Луконин, в порядке комсомольской дисциплины. Стране нужны педагоги!» Дисциплина дисциплиной, а в институт пошел все-таки зря. Не повезло. Двадцать два, а к тридцати человек — или уже человек, или нет. Одно из двух. Суворов, знаешь, к тридцати годам кем был? Хотя нет, Суворов как раз нет, он к тридцати годам даже полковником не был. Но это не важно, он не был, а я буду.

Аркадий. Опять хвастаешься?

Сергей. Нет. Просто верю. Знаешь, Аркаша, когда на параде знамена проносят, красные, обожженные, пулями простреленные, у меня слезы к горлу подступают. Мне тогда кажется, что за этими знаменами можно всю землю пройти и нигде не остановиться.

Пауза.

Говорят, многие мечтают на родине умереть, а я нет. Я, если придется, хотел бы на чужой земле, чтоб люди на своем языке — на китайском, на французском, испанском, на каком там будет,— сказали: «Вот русский парень, он умер за нашу свободу». И спели бы не похоронный марш, а «Интернационал». Он на всех языках одинаково поется.

Пауза.

Ты только не смейся, Аркаша. Я понимаю,— конечно, смешно. Еще формы не надел, а уже и полководец, и если погибну...

Аркадий. Я не смеюсь. Я верю. Только боюсь, что трудно тебе будет в армии.

Сергей. Почему?

Аркадий. Так. Школьные воспоминания. Нелепый ты человек. По старой привычке натворишь там бог знает чего, а ведь в армии этого не прощают.

Сергей. В армии... Нет, в армии я... В общем, увидишь!

Аркадий. Ну, что же, тем лучше. Когда поезд, вечером?

Сергей. Вечером. Придешь?

Аркадий. Конечно.

Пауза.

Придем, придем, помирю вас еще раз, так и быть.

Сергей. Думаешь, придет?

Аркадий. Думаю? Я все-таки как-никак старший брат.

Входит Варя.

Варя. Ты еще здесь? Уходи сейчас же, или я опять уйду.

Сергей *(молча поглядев на нее)*. До свидания, Аркаша. Значит, завтра. *(Остановившись в дверях, Варе.)* Завтра проводить придешь, два года ждать будешь, а потом замуж за меня выйдешь, а иначе...

Варя *(резко)*. Что иначе?

Сергей. А иначе... Очень плохо мне будет жить, Варя. Не делай иначе. *(Быстро выходит.)*

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Через два года. Осенние маневры в танковой школе. Задняя стена избы. Палисадник, завалинка. Начальник танковой школы Васнецов, командир роты и курсант Гулиашвили, все в кожанках, в походном снаряжении.

Васнецов. Значит, вы приказали искать брод, а Луконин повел машину напрямик, через мостик, в результате чего произошла авария?

Командир. Да, я приказал искать брод, потому что считаю, товарищ начальник школы, что такие временные мостики непригодны для прохода танков.

Васнецов. Ну, я этого, положим, не считаю. Но, так или иначе, вы ясно и четко приказали искать брод?

Командир. Да, точно.

Васнецов. Кто видел, как это произошло?

Командир. Вот, вызван курсант Гулиашвили.

Васнецов. А Луконина вызвали?

Командир. Да, сейчас явится.

Васнецов. Ну, расскажите, Гулиашвили. Вы видели?

Гулиашвили. Да, товарищ начальник школы. Луконин повел головной танк через мостик у мельницы. Мост обрушился. Глубина два с половиной метра. Луконин и башенный стрелок выскочили, а механик-водитель... Я считаю, товарищ начальник школы, что если бы не Луконин, то водитель погиб бы.

Командир. Если бы не Луконин, то водитель вообще бы не попал в воду.

Васнецов. Подождите. *(Гулиашвили.)* Почему водитель мог погибнуть?

Гулиашвили. Он внизу захлебнулся. Луконин три раза нырял с опасностью для жизни. Открыл люк и вытащил водителя. Я думаю, товарищ начальник школы, что это подвиг, если человек может такое сделать... Я очень прошу, товарищ начальник школы, чтобы вы учли это...

Васнецов. Товарищ Гулиашвили...

Гулиашвили. Я не могу не просить за друга... Вы извините, товарищ начальник школы.

Васнецов. Товарищ Гулиашвили! Мы с вами не в семилетке, а в военной школе. Я вас вызвал не для того, чтобы вы друзей выгораживали. Понятно вам это?

Гулиашвили. Понятно, товарищ начальник школы.

Васнецов. Что вы еще можете рассказать?

Гулиашвили. Ничего, товарищ начальник школы, я только хотел вам сказать, что такой человек, который с риском для жизни...

Васнецов *(безнадежно махнув рукой, прерывает его)*. Вы свободны. Можете идти, отдыхайте.

Гулиашвили выходит и, встретившись по дороге с Сергеем, делает ему ободряющий жест.

Сергей *(в кожанке, в туго нахлобученном шлеме)*. Явился по вашему приказанию, товарищ начальник школы.

Васнецов. Вы получили от командира роты приказ искать брод?

Сергей. Да, товарищ начальник школы.

Васнецов. Вы его выполнили?

Сергей. Нет, товарищ начальник школы.

Васнецов. А вы знаете, что маневры — это почти война?

Сергей. Да, знаю.

Васнецов. За невыполнение приказа двадцать суток ареста. В шесть здесь будет адъютант, явитесь к нему, скажете, что я приказал отправить вас на машине в город на гауптвахту! Повторите.

Сергей. Явиться к адъютанту, передать, что вы приказали отправить меня на гауптвахту. Разрешите идти?

Васнецов. Нет. Теперь объясните, почему вы не выполнили приказа?

Сергей. Я думал, товарищ начальник школы, что маневры — это почти война, а если бы я искал брод, как приказал товарищ командир, то я бы не успел выполнить задачу. Я считаю, что легкие танки могут на большой скорости проскакивать такие мосты.

Васнецов. Может быть, но раньше надо было проверить, попробовать.

Сергей. Я много раз просил об этом товарища командира, но он не разрешал. *(Пошатнувшись.)* Я решил на свой страх.

Васнецов. Что с вами?

Сергей. Ничего, товарищ начальник школы. Волнуюсь. Не рассчитал, не выдержал мост.

Васнецов *(командиру)*. Пойдите скажите, чтобы мне подали машину,— поеду посмотрю.

Командир. Есть. *(Уходит.)*

Васнецов. Ну, что еще можете сказать?

Сергей. Все, товарищ начальник школы.

Васнецов. А почему вы не говорите, как спасли водителя?

Сергей. Я считаю, что это не относится к делу.

Васнецов. Ну, а как все-таки вы его спасали?

Сергей. Сказать по правде, здорово спасал.

Васнецов. Ко всему еще и хвастаетесь!

Сергей. Я не хвастаюсь, товарищ начальник школы. Так и было. Я первый пловец по всей Волге; если бы не это, никогда бы его не спас. Очень трудно. Люк тяжелый. Три раза нырял. *(Опять пошатнувшись.)* Могу идти?

Пауза.

Васнецов. Слушайте, Луконин, вы все-таки понимаете, что вы наделали?

Сергей. Понимаю.

Васнецов. Нет, не понимаете. Если вам показалось, что ваш прямой начальник поступает неверно, боится выжать из тан-

ка все, что из него можно выжать, вы должны были подать рапорт мне, и я бы с вами сам попробовал — могут проходить наши танки по таким мостам или не могут.

Сергей. Могут.

Васнецов. Я тоже думаю, что если все рассчитать, то могут. Но это вас никак не оправдывает.

Сергей. А я не оправдываюсь.

Васнецов. А теперь что я должен: под суд вас отдать, поставить вопрос о вашем пребывании в партии? Вы вели себя как мальчишка. Угробили машину. Чуть не убили людей. Новаторство в нашем деле связано с кровью, зарубите себе это на носу. Тут не место для мальчишеских выходок.

Сергей *(глухо)*. Товарищ начальник школы!

Васнецов. Ну?

Сергей. Я вас очень прошу... Я даже не могу подумать о том, чтобы... Армия для меня — это все. Вся жизнь. Я знаю, я виноват во всем, но если мне будет позволено, я докажу, что это случайность, сто раз рассчитаю и докажу, что танки могут все. У нас даже еще не понимают, что они могут делать! Все. Я не за себя прошу, это очень важно. Потом делайте со мной, что хотите, хоть под суд. Только позвольте мне доказать.

Васнецов *(задумчиво)*. Не знаю, что с вами делать.

Входит командир.

Командир. Машина готова.

Васнецов. Сейчас. Идите.

Командир уходит.

И это перед самым выпуском из школы... Мне будет очень жаль, если придется вас отчислить. *(Встает.)* Но боюсь, что все-таки придется... *(Уходит.)*

Сергей в изнеможении опускается на завалинку. Стаскивает шлем и сжимает руками голову. Голова у него забинтована, сквозь бинт проступают пятна крови. Тихо входит Гулиашвили.

Гулиашвили. Что, дорогой, плохо?

Молчание.

Что с тобой, дорогой?

Сергей *(с трудом подняв голову)*. Это ничего, пройдет. А вот все остальное плохо, Вано, очень плохо.

Гулиашвили. Что, все объяснил начальнику?

Сергей. Все. Почти все. Ты понимаешь, какая глупость. Ведь прошел бы танк. Он не потому рухнул, что мост не выдер-

жал, а потому, что застрял посреди моста, бензинопровод засорился. Чертов сын водитель, три раза его спрашивал: «Проверил?» — «Проверил». Убить его мало за это.

Гулиашвили. Объяснил начальнику?

Сергей. Нет.

Гулиашвили. Водителя пожалел?

Сергей. Пожалел? Я жалею, что из воды его вытащил. Что его жалеть... Я ему такое устрою, когда с гауптвахты выйду. А начальнику — что ж говорить? «Я не виноват — водитель виноват!» А я где был? Где я был, когда сто раз самому надо было проверить?

Пауза.

А танки все равно еще будут через такие мосты перелетать и через рвы будут прыгать. Все будут делать. Только вот я этого, пожалуй, не увижу.

Гулиашвили. Почему, дорогой?

Сергей. А потому, что выгонят меня из армии, вот почему.

Молчание.

Тридцать три несчастья у меня сегодня, Вано.

Гулиашвили. Еще несчастье?

Сергей *(протягивает письмо)*. На вот, почитай.

Гулиашвили. От нее?

Сергей. От нее.

Молчание.

Гулиашвили *(возвращая письмо)*. Да, скучное письмо. Полную отставку тебе дают, дорогой...

Сергей. Да. *(Задумчиво.)* Да... *(Спохватившись.)* Почему отставку, кто тебе сказал?

Гулиашвили. Русским языком написано.

Сергей. Мало ли что написано. Ясно, соскучилась, два года не видала. Письма редко пишу — вот и соскучилась. А я часто писать не люблю. Часто писать — скоро забудет.

Гулиашвили. Ну, а редко писать — тоже забудет.

Сергей. Не забудет.

Гулиашвили. Так вот же, в письме...

Сергей. А я тебе говорю, мне все равно, что в письме. Пусть что хочет пишет, все равно приеду в отпуск в Москву и увезу ее.

Гулиашвили. Хорошо. Вместе поедем, вместе увозить будем. Возьмешь с собой?

Сергей. Возьму.

Пауза.

Эх, Вано, чего бы я не дал, чтобы сейчас в Москву попасть хоть на день, хоть бы одним глазком посмотреть, как она там. Театральное училище... Знаешь, она красивая. Наверно, ходят там всякие кругом. Дай письмо. *(Проглядывая письмо.)* Ничего особенного. Ну, скучает. Ну, письмо как письмо. Обыкновенное письмо.

Молчание.

(Смотрит на часы). Сейчас к адъютанту надо идти.

Гулиашвили. Зачем?

Сергей. На губу садиться. Двадцать суток. Плохи мои дела, Вано. Как думаешь, отчислят меня из школы, а?

Гулиашвили. Что ты, дорогой!

Сергей. Да брось ты утешать меня! Правду говори, как думаешь?

Гулиашвили. Правду? Не знаю, дорогой, боюсь, что отчислят.

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Лето 1936 года. Военный городок где-то в Средней Азии. Квартира Сергея. Двери прямо в переднюю и на веранду. За столом Сергей в форме старшего лейтенанта и Полина Францевна Сюлли.
На стене большая карта Европы.

Сергей *(читает)*. «Ces plaines désertiques ne permettent pas l'avancement rapide des troupes. Vu d'absence complète d'arbres naturels celles-ci sont toujours à la merci d'une attaque imprévue de l'adversaire». *(Захлопывает книгу.)* На сегодня довольно. Хорошо?

Полина Францевна. Хорошо.

Сергей. Как ни говорите, Полина Францевна, а я, по-моему, делаю огромные успехи.

Полина Францевна. Вы бы подождали, пока я это скажу.

Сергей. Нет, правда, я, ей-богу, молодец.

Полина Францевна. Ну, если считать, что это первый урок после вашего отпуска...

Сергей. Вы только подумайте, какое прилежание! Человек два года не был в отпуску — и что он берет с собой в московский поезд?! Он берет с собой учебник французского языка, и, вместо того чтобы спокойно пить пиво в вагоне-ресторане, он с тоской смотрит в окно и зубрит неправильные глаголы: je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, il font.

Полина Францевна. Меня очень растрогало, когда вы захотели брать уроки французского. Все занимаются английским, говорят — нужнее.

Сергей. И правильно говорят, я тоже занимаюсь английским.

Полина Францевна. Да, но вы и французским.

Сергей. А мне все нужно, Полина Францевна. Иностранные языки — все еще может случиться, они еще могут перестать быть иностранными. Вы знаете, когда я смотрю на карту, мне почему-то нравится только та часть ее, которая покрыта красным цветом.

Пауза.

Вы не скучаете по родине, Полина Францевна?

Полина Францевна. Скучаю? Нет, я ее вспоминаю. Далеко. Очень далеко. Я ведь родилась в Тулузе.

Сергей. Тулуза — ну, что ж, это хороший город.

Полина Францевна. Да, узкие улочки, старые дома с черепичными кровлями.

Сергей. Металлургические заводы, железнодорожный узел. Что еще? Да, аэродром Трансъевропейской компании.

Полина Францевна. Аэродром?

Сергей. Когда вы там жили, его еще не было. Он с тридцатого года.

Полина Францевна. Вы все знаете!

Сергей. География входит в число предметов, которыми я интересуюсь. Впрочем, это не тайна, все это можно прочесть в любом справочнике. А вот какие там дома... Вы говорите, с черепичными кровлями?

Полина Францевна. Да.

Сергей. Красивые?

Полина Францевна. Да, очень.

Сергей. Это недалеко от испанской границы.

Полина Францевна. Да, близко.

Сергей. А вы никогда не бывали в Испании?

Полина Францевна. Нет. Только много раз хотела. Но у меня ни разу не было достаточно денег. Говорят, Мадрид очень красив...

Сергей. Был. Сейчас там бои.

Полина Францевна. Да, я сегодня опять читала в «Правде». Его бомбят почти каждый день. Опять война. Какой это ужас! Хорошо хоть, что она достаточно далеко от нас.

Сергей. Война никогда не бывает достаточно далеко от нас.

Полина Францевна. Что вы этим хотите сказать?

С е р г е й. Пока ничего.

Пауза.

А все-таки тоскуете по родным местам?

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Не знаю. Это было так давно, слишком давно, Сергей Ильич. Если бы мне тогда было хорошо, я бы не уехала в чужую страну гуверанткой. Боже мой, сколько богатых и холодных домов, сколько чужих и скучных людей. А если люди были немножко лучше, то они старались для меня это сделать немножко похожим на настоящий дом,— и тогда бывало еще хуже...

С е р г е й. А сейчас?

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Сейчас? Сейчас нет. В этом военном городке никто не старается сделать вид, что здесь мой дом. И, может быть, поэтому я сама все больше чувствую, что я дома. Мне приятно, что меня вызывает полковник и говорит: «Товарищ Сюлли, доложите командованию о вашем плане командирской учебы». И я докладываю ему о своем плане командирской учебы. А вы... только не сердитесь, Сергей Ильич...

С е р г е й. Что мы?

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Вы все очень хорошие, хотя у всех у вас ужасное произношение, и я не знаю: может быть, там где-нибудь на маневрах вы суровые командиры, но у меня на уроках вы, наверно, вспоминаете школу и ведете себя как дети. «Полина Францевна, а можно — мы лучше будем десятый параграф, там с картинками, интересней». Как дети. Было даже несколько случаев, когда мне поверяли свои сердечные тайны.

С е р г е й. Вот как?

L'absence est à l'amour
Ce qu'au feu le vent:
Il éteint le petit
Et allume le grand.

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Но, по-моему, этих слов любви не было ни в одном из параграфов, которые я вам задавала.

С е р г е й. Да, я выучил их по личной инициативе. Здорово выучил, да?

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Да, но вот только произношение...

С е р г е й. Вот и она тоже так сказала: «Да, но вот только произношение...»

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Она? Кто она?

С е р г е й. Жена моя. *(Спохватывается.)* Умоляю, не выдавайте меня. Молчите! Друзья никогда мне не простят, если узнают.

П о л и н а Ф р а н ц е в н а. Что случилось, Сергей Ильич?

Сергей. Вы, наверное, слышали, что я поехал в Москву за невестой?

Полина Францевна. Да. Но я боялась спросить, вдруг...

Сергей. Никаких «вдруг». Все в порядке. Я на ней женился.

Полина Францевна. Ну, что ж, поздравляю вас, прекрасно!

Сергей. Конечно, прекрасно! Но только... Я обещал друзьям, что устрою тут роскошную свадьбу, я знаю, они уже приготовили подарки, и вдруг... Но что я мог сделать! У нее тоже свои друзья в Москве и тоже упрямый характер, и мы сыграли эту роскошную свадьбу не здесь, а там.

Полина Францевна. Да, здесь будут огорчены. Капитан Севастьянов сказал мне по секрету, что он специально настрелял сорок перепелов и отправил их на холодильник.

Сергей. Вот видите. Они просто убьют меня. Вы должны хранить полное молчание.

Полина Францевна. Хорошо, но чем это может помочь вам?

Сергей. Как чем? Они же тогда ничего не узнают. Я согласился играть свадьбу в Москве только с тем условием, что мы и здесь тоже будем играть свадьбу. Это даже интересно — две свадьбы. Не со всяким бывает. Но только полная тайна. Слышите, Полина Францевна?

Полина Францевна. Хорошо. Тайна. А когда приезжает ваша жена?

Сергей. Завтра. Если бы вы знали, что это за девушка!

Полина Францевна. Очень хорошая?

Сергей. Хорошая?! Это мало сказать! Когда она улыбается, то я готов достать ей луну с неба, только бы она улыбнулась еще раз.

Полина Францевна. Вы так влюблены, Сергей Ильич, что даже — только, пожалуйста, не сердитесь — чуть-чуть поглупели.

Сергей. Поглупел? Наверно. Я сегодня утром выстроил роту и делал поверку. Но вместо «равнение напра-во!» мне хотелось крикнуть: «Знаете, ребя-та, а ведь она меня любит! Она ко мне приезжа-ет!»

Пауза.

Все бросила, Полина Францевна. Москву, театр — и едет одна сюда ко мне, в нашу Тмутаракань, в глушь. Вот какая девушка. Она говорит, что если есть талант, то всюду можно играть, а если еще я буду сидеть в первом ряду партера, то, значит, вообще все хо-

рошо. Я только боюсь, что теперь все время буду сидеть в первом ряду партера. Как вы думаете, а?

Стук в двери.

Кто там?

Глухой бас: «Почта!»

Сергей отворяет дверь. В дверях стоит Варя в летнем платье, без всяких вещей.

Варя. Товарищ Луконин, вам из Москвы посылка. Примите и распишитесь. *(Бросается к нему на шею.)*

Сергей. Ты же должна была завтра, как же ты? Мы тут собрались тебя встречать.

Варя. Хорошо. Я завтра поеду обратно на вокзал и сделаю вид, что только что приехала, а вы сделаете вид, что меня встречаете. Ладно?

Сергей *(смеясь.)* Ладно!

Варя *(на ухо)*. Кто эта тетя?

Сергей. Ах ты, боже мой! Полина Францевна, познакомьтесь.

Полина Францевна. Сюлли.

Варя. Варя. Он мне рассказывал о вас. Значит, это вы, бедная, страдаете от его ужасного произношения?

Полина Францевна. Нет, почему же... Сергей Ильич...

Варя. Только не защищайте его. Все равно я давно знаю, что он ленив, упрям и... что-то еще... я забыла. Сережа, напомни, что ты еще?

Сергей. Еще я дурно воспитан.

Варя. Да, и еще он дурно воспитан. Но все-таки я его люблю, а это главное!

Сергей. Где же твои вещи?

Варя. Я по дороге взяла носильщика.

Сергей. Ну?

Варя. Ну, и он идет, наверно, по лестнице, бедняга, сгибаясь под тяжестью моих чемоданов. *(Открывает дверь.)* Носильщик!

Голос: «Иду!»

Варя. Дай ему сколько-нибудь, Сережа.

Сергей достает деньги, и в эту секунду в дверях появляется нагруженный чемоданами Аркадий.

Сергей. Аркаша!

Обнимаются.

Молодец! В такую даль — это, брат, не шутка.

Аркадий. Брат? Это, конечно, не шутка. Быть братом — это, как видишь *(показывает на чемоданы)*, тяжелая профессия.

Но все-таки сестра, плохая, но сестра. Пришлось провожать. Если бы ты жил поближе — не поехал бы. Но я решил, что поезда сюда и отсюда все равно идут так долго, что я могу провести в них свой отпуск.

Сергей. Знакомься, Аркаша.

Аркадий. Здравствуйте, Бурмин.

Полина Францевна. Сюлли.

Аркадий. Так это вы...

Варя. Тс!

Аркадий. Что такое?

Варя. Не надо. То, что ты хотел сказать, я уже сказала.

Аркадий. А что я хотел сказать?

Варя. Ты хотел пожалеть Полину Францевну за то, что она мучается с Сережиным произношением.

Аркадий. Да, сознаюсь, мне пришла в голову эта мысль.

Варя. Тебе всегда приходят в голову мои мысли. Лучше распакуй чемодан. На это ты еще способен.

Сергей. Я вижу, тобой по-прежнему помыкают.

Аркадий. И не говори. Пока я был доцентом, меня еще как-то жалели, теперь я — профессор, из меня сделали носильщика, а когда я стану академиком, меня, наверно, совсем превратят в мальчика на побегушках. Раньше мы хоть бегали пополам с Петькой, но с тех пор, как Петька удрал из дому...

Сергей. А где он?

Аркадий. Не знаю. Удрал куда-то на Памир с геологической экспедицией.

Сергей. Молодец!

Аркадий. Шалопай!

Сергей. А что Женечка, как она?

Аркадий. Кончила институт. Уехала в Астрахань. Весной.

Сергей. Это я знаю. Я спрашиваю, как она? Пишет?

Аркадий. Иногда.

Сергей. Значит, все по-прежнему? Эх ты!

Аркадий. Я категорически прошу тебя...

Сергей *(перебивая)*. Эх, профессор, профессор... Учить тебя да учить!

Полина Францевна. Я пойду, Сергей Ильич!

Варя. Ни за что! Вы хотите меня оставить на растерзание этим двум обезьянам? Они ведь через минуту забудут обо мне и начнут вспоминать, как они подкладывали пистоны под стул учителя грамматики. Нет, вы непременно должны остаться. Сережа, а где же твои хваленые друзья? Где твой Гулиашвили, где твой Севастьянов? Я немедленно хочу их видеть!

Сергей. Сейчас я им позвоню.

Варя. Я сама позвоню. Какой номер у Гулиашвили?

Сергей. Четыре — семнадцать.

Варя. Его зовут Вано?

Сергей. Да.

Варя *(в телефон)*. Четыре — семнадцать. Вано? Здравствуйте, Вано. Я говорю. Нет, вы меня не знаете. Нет, не видели. Нет, и я вас не видела. Но это не важно. Я хочу вам назначить свидание. *(Прикрыв трубку.)* Он спрашивает, интересная ли я,— как по-твоему?

Сергей кивает.

Да, я очень интересная, ей-богу. Вот и Сережа тоже кивает, что интересная. Какой Сережа? Сережка, он тебя не знает! Ах, знаете? Ну, бегите, бегите! *(Вешает трубку.)* А Севастьянова какой телефон?

Сергей. Не надо. Ему Гулиашвили скажет. А если ты позвонишь... Нет, не надо.

Варя. Почему?

Сергей. Ты его испугаешь. Он у нас робкий. Испугается женского голоса и убежит в степь до утра на охоту.

Полина Францевна. Правда, капитан Севастьянов очень застенчивый человек.

Варя. Неужели? Ну, слава богу, будет рядом хоть один застенчивый человек. Мне так надоели хвастуны. Если бы вы только знали, Полина Францевна, какой он хвастун!

Полина Францевна. Ну, что вы...

Варя. Разве он вам не клялся, что через год будет знать французский язык лучше вас?

Полина Францевна. Нет... правда, Сергей Ильич обещал вначале изучить язык за месяц.

Сергей. Я просто тогда не знал, что на этом языке все слова произносятся иначе, чем пишутся.

Варя. Аркаша, а ну давай учиним семейный допрос. Полина Францевна, как тут вел себя без нас этот мальчик? Довольны ли им старшие?

Полина Францевна. Да, очень. Я слышала, как Алексей Петрович недавно очень хвалил его.

Варя. Кто это — Алексей Петрович?

Сергей. Наш полковник. Он правда хвалил меня?

Полина Францевна. Да, очень.

Сергей. Странный человек. Сначала чуть не выгнал меня из школы, потом, когда переводился сюда, вдруг взял с собой. В глаза бранит, за глаза хвалит.

Варя. Он, кажется, просто знает твой характер.

Стук в дверь. Входит Гулиашвили. Он, как и Сергей, в форме старшего лейтенанта.

Гулиашвили *(обнимая Сергея.)* Поздравляю, дорогой, с приездом красавицы невесты.

Варя. Вы даже на меня не посмотрели.

Гулиашвили *(зажмурившись)*. Не хочу смотреть, и так знаю, что красавица. Мой друг другой привезти не мог. *(Открывая глаза.)* Ну, конечно, красавица!

Варя. Все-таки здравствуйте.

Гулиашвили. Здравствуйте. Поздороваться можно потом, сначала в глаза посмотреть надо. *(Смотрит на Варю.)* Хорошие глаза. В такие глаза час посмотреть — потом умирать не страшно! *(Аркадию.)* Гулиашвили.

Аркадий. Бурмин.

Гулиашвили. С ней приехал? Брат?

Аркадий. Брат.

Гулиашвили. Не такой красивый, но похож. Когда свадьба?

Сергей. Завтра.

Гулиашвили *(Аркадию)*. Ну, значит, нам с тобой, дорогой, сегодня ночь не спать, как завтра лучше гостей угостить — думать.

Входит Севастьянов.

Севастьянов. Можно?

Сергей. Входи, Севастьяныч, знакомься!

Севастьянов. Севастьянов.

Варя. Варя.

Севастьянов здоровается с Аркадием и молча смотрит на Варю.

Ну, что вы на меня так смотрите?

Севастьянов. Вот вы какая.

Варя. Что, не нравлюсь?

Севастьянов. Нет, что вы, я только хотел сказать, что вы мне рисовались совсем в другом облике.

Варя. В каком же другом облике?

Севастьянов. Сергей Ильич мне сказал, что вы актриса, и я вас рисовал себе несколько солидней и почему-то брюнеткой. Приехали играть в наш театр?

Варя. Да, и четырех ребят с собой притащила, скоро приедут.

Севастьянов. Какой больше репертуар предполагаете играть, современный или классический?

Сергей. Ну, конечно. Погибла Варька. Севастьянов, прекрати культурную беседу.

Гулиашвили. Ты лучше, дорогой, спроси ее, любит ли она перепелов!

Севастьянов. Да брось ты!

Гулиашвили. Нет, погоди. *(Варе.)* Как вы, любите перепелов?

Варя. Перепелов?

Гулиашвили. Да. Это птички такие. Капитан Севастьянов вам в подарок их сорок штук настрелял, целое свадебное ожерелье. Он считает, что сорок перепелов — лучший подарок для молодой девушки.

Севастьянов. Перепел, конечно, птица невидная, но в смысле охоты... *(увлекаясь)* охотничья птица, стоящая. Ее так не возьмешь, ее нужно со смыслом брать, на нее утром надо идти с самого рассвета.

Гулиашвили. Теперь насчет охоты целый трактат будет. Ты нам, дорогой, их жареных — и на стол, а как ты их там стрелял, это твое личное дело... *(Сергею.)* Где завтра ужин будет? На веранде?

Сергей. Я думаю.

Гулиашвили *(Аркадию)*. Пойдем, дорогой, стол мерить, как гостей сажать, чтобы локтям тесно не было. Пойдем, капитан. Пойдем, Полина Францевна.

Варя. И я с вами.

Гулиашвили *(задерживая ее в дверях)*. Нет! Стол как женщина, на него надо вечером смотреть, когда он красивый. Сережа, скажи ей, не слушаться тамады — самый большой грех на душу брать. *(Выходит вслед за остальными.)*

Сергей *(после молчания)*. Ну вот, Варька! Наконец мы и вместе.

Варя. Как я боюсь проговориться, что мы уже женаты...

Сергей. Да, уж лучше до завтра не проговариваться. Ребята подарки тебе приготовили. Очень ждали.

Варя. Очень ждали? А ты как? Тоже очень ждал?

Сергей. Я? Никуда я тебя больше не отпущу, Варька. Слышишь, никуда!

Варя. А я вдруг возьму и уеду.

Сергей. Не уедешь.

Варя. Это смотря как держать будешь.

Сергей крепко обнимает ее.

Ну, если так будешь держать, тогда не уеду.

Звонок телефона, один, другой, третий.

Сергей *(неохотно отпустив Варю, подходит к телефону. В трубку)*. Да, я, товарищ майор. Явиться к полковнику? Есть. Есть. Да, у меня. *(Вешает трубку. Кричит.)* Вано!

Варя. Что такое?

Сергей. Ничего, придется уйти на полчаса. Наш неугомонный полковник опять, наверно, будет нас пилить за подготовку к ночным учениям. *(Кричит.)* Вано!

Входит Гулиашвили.

Гулиашвили. Ну, что такое, дорогой? Что за крик? Тамада не может работать в такой нервной обстановке.

Сергей. Полковник вызывает. Пошли.

Гулиашвили. И меня тоже?

Сергей. Тоже. *(Изображая Васнецова.)* «Товарищ Луконин, я вызвал вас, чтобы еще раз обратить ваше внимание на материальную часть». Сейчас, Варька, мы быстро, он только еще раз обратит наше внимание на материальную часть, и — мы обратно, одна нога там, другая — здесь. Скажи Аркаше, чтобы он пока твой чемодан распаковал. Иди к нему. *(Открывает дверь, ведущую на веранду.)*

Аркадий *(появляясь в дверях)*. Иди сюда, тут капитан про охоту рассказывает. Я, кажется, уже почти понял, как надо стрелять этих перепелов.

Варя выходит на веранду.

Гулиашвили *(надевая фуражку)*. Что случилось? Почему так срочно?

Сергей. Кажется, тебе придется принимать мою роту.

Гулиашвили. Что?

Сергей. Кажется, удовлетворили мое ходатайство.

Гулиашвили *(кивнув на карту Европы, где в Испании флажками отмечено положение на фронтах)*. Туда?

Сергей. Кажется, да.

Гулиашвили. А как же она?..

Сергей. Она? Да... И все-таки... Все-таки, знаешь, Вано, вдруг бывает такая минута в жизни, когда уехать дороже всего. *(Кивнув на дверь, за которой скрылась Варя.)* Всего. Даже этого.

Сергей и Гулиашвили выходят.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Начало весны 1937 года. За кулисами еще не окончательно оборудованного театра в военном городке. Антракт. Маленькая актерская уборная. Варя, в старинном глухом черном платье, в гриме, перед зеркалом поправляет парик. За дверью голос: «Можно?»

Варя. Да.

Входит Севастьянов, держа в руках завернутый в бумагу букет.

Севастьянов. Здравствуйте, Варвара Андреевна! Разрешите преподнести по случаю дня рождения.

Варя. Что это?

Севастьянов. Цветы.

Варя. Цветы? Так рано?!

Севастьянов *(развертывая пакет, в котором несколько зеленых веточек)*. Во всяком случае, нечто напоминающее.

Варя. Спасибо! Где вы их достали?

Севастьянов. Я в пяти знакомых домах все горшки на подоконниках обстриг. Что было! Только и спасся тем, что за каждую веточку по зайцу обещал в выходной с охоты принести. Знаете, сколько тут зайцев! Пятнадцать зайцев тут.

Варя. Сумасшедший! Дайте я вас расцелую! *(Целует его.)* Нате платок, вытрите, всего измазала!

Севастьянов. Вы извините, что такие вот веточки...

Варя *(взяв его за портупею и снизу вверх глядя ему в глаза)*. Севастьяныч, милый, если бы вы только знали, что такое для меня сейчас эти ваши веточки.

Пауза.

(Взглянув на портупею.) У Сережи тоже такая. Висит у меня. Он уехал, а она висит.

Севастьянов *(пытаясь переменить разговор)*. Вы превосходно играли сегодня, Варвара Андреевна. С большим чувством.

Варя. Не надо, Севастьяныч. Вы очень смешно всегда успокаиваете меня: как только я о Сереже, вы сейчас же о моей игре. Ничего. Мне сегодня просто приятно вспомнить о нем. Что он вот сейчас, в эту минуту, делает, как вы думаете?

Севастьянов. Не знаю, Варвара Андреевна. Но полагаю, все в порядке.

Варя. Не знаете? Никто этого не знает. Ну, ничего. Мы его, когда вернется, спросим, что он в эту минуту делал. Только надо запомнить: сегодня пятое марта. А сколько времени?

Севастьянов. Двадцать один пятьдесят.

Варя. Десять... Он приедет, мы его непременно спросим, да?

Севастьянов. Да, конечно, я вот даже в блокнот запишу. *(Записывает.)*

Вбегает Гулиашвили.

Гулиашвили. Варя, дорогая! Все рыдали. Сам рыдал. Играла, как этот, как его, забыл кто, но ты лучше. Дай ручку, поцелую. *(Целует ей руку.)* Уже успел тебе свой веник подарить! Ботаник! А мой подарок не здесь — мой подарок у меня дома! Хороший стол, такой стол, чтоб за гостей сам смеялся. Всех позвал. Жениха твоего позвал, злодея позвал. Маму позвал. Папу позвал. На сцене ссорились — за столом все хорошие, все вместе будем. Такой день рождения тебе устроим!

Помощник режиссера *(показываясь в дверях)*. Варвара Андреевна, вы лучше сами посмотрите, какое вам там реквизиторы кресло поставили. А то опять я виноват буду. *(Исчезает.)*

Варя. Сейчас! Спасибо, Вано. Вы после спектакля сюда за мной зайдете, да? *(Выходит.)*

Гулиашвили. Почему грустная?

Севастьянов. Вот взяла меня за портупею. Вспомнила, где он сейчас, говорит... А я, что я ей скажу?

Гулиашвили. Что ей скажешь? Надо сказать ей, дорогой, что он сейчас сидит где-нибудь, не спит, ее вспоминает, улыбается...

Севастьянов. Да, но...

Гулиашвили. Что но? Он не улыбается, да? Мы с тобой не думаем, что он сейчас улыбается? Мы не думаем, а она пусть думает! Что ты думаешь, дорогой? Такой веселый человек Гулиашвили — ему только бы за стол сесть, бокал поднять?

Пауза.

Я тебе велел розовый мускат купить?

Севастьянов. Я белый купил.

Гулиашвили. Как белый! Она розовый любит, она белый не любит.

Севастьянов. Ну, пустяк, все равно.

Гулиашвили. Нет, дорогой, пустяк, но не все равно. Такой пустяк. Сережа здесь был бы, не забыл бы такой пустяк.

Пауза.

Один пустяк заметит, другой пустяк заметит, что его рядом нет — заметит. Нельзя, чтоб замечала.

Пауза.

А друзья что такое, знаешь? Во Владивостоке на плечо посадил, сюда пешком принес.

Пауза.

Поезжай, дорогой, где хочешь достань!

Севастьянов. Да где же? Поздно уже.

Гулиашвили. Где хочешь. Пошли, дорогой!

Гулиашвили и Севастьянов уходят.

Входит Полина Францевна.

Полина Францевна. Варвара Андреевна! *(Садится в выжидательной позе.)*

Входит Варя.

Варя. Здравствуйте, Полина Францевна!

Полина Францевна. Вы меня растрогали сегодня. Вы играли с такой грустью, с такой тревогой, что я вспомнила свои молодые годы.

Варя. Правда? Я очень старалась сегодня. *(Оглядывается.)* А где же Вано, где Севастьяныч?

Полина Францевна. Я их встретила. Они сказали, что скоро будут. Они очень хорошие. Они так хлопочут о вас, как будто ваш Сережа уехал бог знает куда, на войну.

Варя. Да, они очень хорошие.

Полина Францевна. Он все еще на этих танковых курсах в Бобруйске?

Варя. Да.

Полина Францевна. Вы мне говорили, что он там на три месяца, а уже восьмой.

Варя. Да, он писал, что задерживается.

Полина Францевна. Скучаете?

Варя. Да, очень.

Полина Францевна. Ну, ничего. Наверно, эти курсы скоро кончатся, и он приедет.

Варя *(рассеянно)*. Да, наверно.

Полина Францевна. Он у вас очень хороший, очень-очень. Я еще давно, когда только начала учить его французскому языку, подумала, что женщина, которая выйдет за него замуж, будет очень счастливой женщиной.

Варя вдруг лицом судорожно прижимается к ее груди.

Ну, что с вами такое?

Варя. Нет, ничего. Так, просто устала, наволновалась.

Полина Францевна. Да, у вас сегодня была очень волнительная роль. Я сама сидела и волновалась.

Варя. Полина Францевна, душенька, слышите, уже первый звонок, опоздаете, бегите. А после спектакля поедем вместе к Вано, они хотят там мой день рождения праздновать.

Полина Францевна. А я-то вам зачем?

Варя. Нет, обязательно, я без вас не поеду. Вы такая спокойная. Когда я бываю с вами рядом, мне тоже кажется, что все хорошо... *(пауза)* там, на курсах в Бобруйске.

Полина Францевна. Ну конечно же, хорошо. Смешная вы девочка. *(Выходит.)*

Варя беспокойно прохаживается. Входит Васнецов.

Варя. Наконец-то, Алексей Петрович. Я так вас ждала.

Васнецов. Вы прислали мне записку, чтоб я непременно зашел.

Варя. Да. Простите. Я знала, что вы на спектакле... Алексей Петрович!

Васнецов. Да, я вас слушаю.

Варя. Я уже не та девочка, которая приехала сюда прошлым летом. Вы мне все можете сказать. Там, где он сейчас,— там очень опасно, да?

Васнецов *(внимательно поглядев на нее)*. Да, быть может.

Варя. Уже восемь месяцев. Но я сначала хоть получала письма. Правда, в них ничего не было: ни что, ни где, ни как. Но он писал, что жив, здоров. А это ведь самое главное.

Пауза.

Нет, я не буду вас спрашивать, Алексей Петрович. Я знаю, об этом нельзя спрашивать.

Васнецов. Нет, почему же. То, что я смогу вам сказать, я скажу.

Варя. Что с ним? Уже пятый месяц ни звука. Что случилось? Если вы знаете, лучше расскажите мне сейчас. Если он не вернется, этого ведь от меня никто не скроет.

Васнецов. Далеко. Письма долго идут.

Варя. Но ведь раньше доходили.

Васнецов. Вы можете мне верить или не верить, но для вас будет лучше, если вы поверите моему чутью старого солдата. Я знаю Сергея Ильича не первый год, и мне всегда казалось, что он родился в сорочке. Такие, как он, проходят огонь и медные трубы. И ничего, выживают. Про меня в молодости тоже так говорили. И вот жив. Сорок восемь. Все будет хорошо. Жена солдата в это верить должна. Без этого вам жить нельзя, понимаете?

Варя. Понимаю. Я очень хочу вам верить, Алексей Петрович. Очень хочу.

Пауза.

Вам нравится, как я сегодня играла?

Васнецов. Да, очень.

Варя. Это хорошо. Я очень хочу хорошо играть. Особенно сейчас, когда он там. Мне тогда кажется, что он каждый спектакль сидит передо мной в первом ряду партера. Мне кажется...

Входит Гулиашвили.

Гулиашвили. Добрый вечер, товарищ полковник! Варя, совсем забыл, с дороги вернулся, эта старушка, она твою маму играет, она, кажется, мяса не кушает?

Варя. Да, у нее катар. А что?

Гулиашвили. Как что? Надо ей что-нибудь диетическое сделать.

Пауза.

Товарищ полковник, день рождения. *(Показывает глазами на Варю.)* Приехали бы?

Васнецов. Поздравляю. Простите, не знал. Боюсь, что не смогу. А поздно засидитесь?

Гулиашвили. Непременно.

Васнецов. Ну, если Варвара Андреевна со мной тур вальса согласится пройтись, то к концу подъеду.

Варя. Конечно, Алексей Петрович.

Звонки.

До свидания, мне на сцену. *(Выбегает.)*

Гулиашвили. Никаких известий, товарищ полковник?

Васнецов отрицательно качает головой.

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Низкая комната в полуразрушенном доме. Стены сложены из больших камней. Полутьма. Единственный свет идет из угла, где в очаге тлеют ветки. За наполовину разбитым и чем попало заткнутым окном идет снег. Посреди комнаты стол. За ним сидит офицер в трудно определимой в полутьме форме. Дверь распахивается, в нее врываются снег и ветер. Входит человек в плаще, отряхивается.

Офицер. Вы заставляете себя ждать, господин переводчик.

Переводчик. Простите. Дьявольская погода. Тут, наверно, много лет не запомнят такого снега. Совсем как в России.

Офицер. В России? Неужели двадцать лет эмиграции не вышибли ее у вас из памяти? Все еще вспоминаете вашу Россию?

Переводчик. Мою? Если б она была моя! Я просто говорю, что снег. Зачем вы приказали мне явиться?

Офицер. Вы мне сейчас будете нужны. Вам, кажется, предстоит встреча с соотечественником. Час тому назад мы взяли в плен танкиста.

Переводчик. Знаю. Мне сказали солдаты. Но разве он русский?

Офицер. Не знаю. Во всяком случае, у него русское упрямство. Он целый день просидел в разбитом танке. Потом вышел с пистолетом. Когда его окружили, он хотел застрелиться, но только ранил себя. Его взяли, когда он был без сознания. Я велел привести его в чувство и прислать сюда.

Пауза.

Да, весьма возможно, что он русский.

Дверь распахивается. Солдаты вводят в комнату неизвестного. На нем кожаные штаны, сапоги. Обгоревшая и разорванная рубашка. Черное лицо, обмотанное грязными, прокопченными бинтами, из-под которых торчат выбившиеся клочки волос.

Переводчик *(подойдя к неизвестному, в упор.)* Ну, как, приятно вам встретить здесь соотечественника?

Молчание.

Ну, что вы молчите? Небось удивлены, вдруг здесь встретив соотечественника, а?

Неизвестный *(глухим голосом).* Je ne vous comprends pas.

Переводчик. Ах, вы не понимаете? *(Офицеру.)* Он не понимает по-русски. Может быть, вы француз, а? *(Подходит вплотную.)* Но только откуда у вас тогда эта рязанская морда? Бросьте валять дурака! Слышите?

Неизвестный. Je vous ai déjà dit, que je ne vous comprends pas.

Переводчик. Опять не понимаете! Так, значит, вы француз?

Молчание.

Alors, vous seriez français?

Неизвестный. Oui.

Переводчик. Откуда же вы, француз?

Молчание.

Et d'où êtes-vous?

Неизвестный. Je suis de Toulouse.

Переводчик. Так, хорошо. Ну, и где же вы там жили, в вашей Тулузе?

Молчание.

Eh bien! Dans quelle rue habitiez vous dans votre Toulouse?

Неизвестный. J'ai toujours demeuré rue des Marrons.

Переводчик. Около старого моста?

Пауза.

Celle qui se trouve près du vieux pont? N'est-ce pas?

Неизвестный. Non, il n'y a aucun vieux pont.

Переводчик. Ах, там нет никакого старого моста... Вот как. Вас не собьешь. Вы даже знаете улицу. Но произношение? Неужели вы думаете меня уверить, что у француза может быть такое произношение? Вас, наверно, обучали французскому языку где-нибудь в Нижнем Новгороде, а?

Неизвестный. Je vous répète, que je ne vous comprends pas.

Переводчик *(выходя из терпения)*. Да вы будете со мной говорить или нет? Я тебя русским языком спрашиваю.

Молчание.

Vas tu parler russe à la fin?

Неизвестный. Puis ce que je vous dis, que je ne connais pas le russe.

Переводчик. Не знаешь русского языка? Ну, а такое слово, как расстрелять, ты знаешь по-русски?

Молчание.

Может, начнешь понимать, если я тебя расстрелять прикажу!

Неизвестный *(спокойно пожав плечами)*. Je ne vous comprends pas.

Переводчик. Mais tu seras fusillé! Ça tu le comprends?

Неизвестный. Maintenant j'ai compris.

Переводчик. Да я... *(Задохнувшись от ярости, машет рукой солдатам.)*

Солдаты выводят неизвестного. Молчание.

Офицер. Итак, встреча с соотечественником не состоялась.

Переводчик. Я дам руку на отсечение, что он русский.

Офицер. К сожалению, генерал хотел бы, чтобы он признался в этом сам. Но он не признался. И, значит, он не русский. А что думаете вы — на это всем наплевать.

Пауза.

Пожалуй, чтоб не было лишних неприятностей, лучше расстрелять его здесь, не отправляя в штаб. Да, конечно... Пойдите распорядитесь.

За сценой выстрел.

Переводчик. Кажется, там уже распорядились.

За сценой еще несколько выстрелов.

Офицер *(вскакивая)*. Нет, что-то не то.

За сценой опять выстрел, еще и еще. Грохот. Свет гаснет.

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Через два с лишним года. 1939 год. Лето. Обстановка первой картины. Гулиашвили, Женя, Аркадий, Анна Ивановна. За роялем Севастьянов. Анна Ивановна поет гусарский романс.

Анна Ивановна.

О бедном гусаре замолвите слово,
Ваш муж не пускает меня на постой,
Но женское сердце нежнее мужского,
И, может быть, сжалитесь вы надо мной.
Я в доме у вас не нарушу покоя,
Смирнее меня не найти средь полка,
И коли свободен ваш дом от постоя,
То нет ли хоть в сердце у вас уголка?

Варя *(появляясь из внутренних дверей)*. Тетя, кофе готов!

Анна Ивановна. Цикорий положила?

Варя. Ну конечно. Идемте, идемте.

Все проходят во внутренние комнаты. Звонит телефон. Женя и Аркадий задерживаются.

Женя *(в телефон)*. Профессора Бурмина? Сейчас.

Аркадий *(в телефон)*. Да, конечно, только так. Гипс. Да, неподвижную повязку и груз. Да, завтра заеду сам. *(Вешает трубку)*. Пойдемте, Женечка.

Женя *(садясь на диван)*. Нет.

Аркадий. Почему?

Женя. Не хочу.

Аркадий. Неудобно все-таки, друзей провожаем. Я как-никак хозяин. Пойдемте, неудобно.

Женя. Неудобно? А уже целую неделю обещать поговорить со мной и молчать — это удобно? Сядьте!

Аркадий *(садясь)*. Ну?

Женя. Вы обещали объяснить, почему вы не хотите отпустить меня из клиники.

Аркадий. Для вашей же пользы, Женечка, честное слово. Вы были на практике три года, да?

Женя. Да.

Аркадий. Зачем же, только что приехав, опять уезжать? У вас здесь научная работа. Чем вам плохо?

Женя. Плохо.

Аркадий. Почему?

Женя. Плохо. Я не могу так больше, потому что... Не могу, я хочу уехать.

Аркадий. К вам здесь все прекрасно относятся.

Женя. Все?.. Нет, я уеду.

Аркадий. Вы просто капризничаете. Скажите лучше прямо, что у директора клиники скверный характер, что вам не нравится его нос...

Женя *(вставая)*. Если бы вы хоть раз попробовали поговорить со мной серьезно...

Аркадий. Когда шутишь, веселей жить, Женечка. Я не хочу, чтобы вы слушали мои скучные рассуждения.

Женя. А я хочу! Я хочу... Ничего я от вас не хочу! *(Хлопнув дверью, выходит во внутренние комнаты.)*

Аркадий *(после паузы подсаживается к роялю; барабаня одним пальцем, напевает)*.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Сафонов *(появляясь в дверях)*. Тут товарищ командир велел ждать с такси. Так я предупреждаю: счетчик включенный.

Аркадий *(рассеянно)*. Ну так выключите.

Сафонов. Что значит — выключите?

Аркадий. Ну так включите.

Сафонов. Что значит — включите?

Аркадий. Ну что же вы хотите?

Сафонов. Вы ему скажите, что счетчик.

Аркадий. Хорошо, я скажу.

Сафонов выходит.

Гулиашвили *(выходя из внутренних дверей)*. Почему сидишь, дорогой? Нехорошо, пойдем.

Аркадий. Что, Женя прислала?

Гулиашвили. Ты не сердись. Она мне тихо, на ухо.

Аркадий. Сейчас. Сядь, посидим немножко.

Гулиашвили. Не могу, дорогой. Нельзя сидеть. Всю жизнь просидеть можно. Пойдем. Красивая девушка зовет. Нельзя не идти. Смелым надо быть!

Аркадий. Ты все забываешь, что я не военный.

Гулиашвили. Когда за счастье воевать — все военными должны быть, дорогой. Ты меня слушай. Я плохих советов не даю.

Аркадий. Но зато ты даешь так много хороших, что жизни не хватит все их выполнить. Машину водить я, по-твоему, должен, ходить на футбол — должен. С тех пор как все вы здесь, я только и слышу, что я всегда что-нибудь должен. У тебя слишком кипучая энергия, Вано. А я тихий штатский человек. Дай мне отпуск, а?

Гулиашвили. Хорошо, дорогой, вот уедем...

Аркадий. И верно, вы ведь завтра... Да... война такая вещь, даже до послезавтра остаться не попросишь...

Гулиашвили. Какая война, дорогой?

Аркадий. Ну, не знаю. Когда я читаю в газете, что у озера Буир-Нур мы вчера сбили тридцать семь самолетов, то мне, извини, все-таки кажется, что это война. Вы едете по Казанской дороге. Иркутск, Улан-Удэ, Чита, и вообще я немного знаю географию. Ведь география — это не военная тайна?

Гулиашвили. Безусловно. Пойдем — последний тост за географию.

Из-за двери слышен голос Анны Ивановны, поющей сердцещипательный романс.

Слышишь, все веселятся. Анна Ивановна опять романсы поет. Пойдем.

За окном гудок машины.

Ой! Совсем забыл, дорогой, меня же нетерпеливо ждет любимая девушка.

Аркадий. Все это время?

Гулиашвили. Да, дорогой. Я боюсь, что она уже потеряла терпение. Сказал, задержусь на минуту, а сижу уже целый час.

Входит Сафонов.

Сафонов. Товарищ командир, я уже потерял терпение. Таксомотор не может больше ждать. Сказали на минуту, а сидите уже целый час.

Аркадий. Это твоя любимая девушка?

Гулиашвили. А чем плоха? Нет, шучу! Правда, очень тороплюсь на свидание, Аркаша. *(Сафонову.)* Сейчас, дорогой. Сам за руль сяду, тебя в пассажиры возьму. За одну секунду доедем.

Сафонов мрачно молчит.

Что делать, дорогой, когда кругом друзья, все забываю. *(Идет к внутренним дверям, останавливается.)* Нет, не буду прощаться. Гости — такие люди: один уходит — все уходят. До свидания, дорогой.

Аркадий. До завтра.

Сафонов. Товарищ командир...

Гулиашвили. Иду, дорогой, иду...

Из внутренних дверей выходит Сергей. У него наполовину седая голова, петлицы майора, на гимнастерке ордена, в руках две чашки с кофе.

Сергей. Что же, вам сюда прикажете подавать? Ты куда?

Гулиашвили. Очень спешу, дорогой, в штабе увидимся. Таксомотор *(показывая на Сафонова)* не может больше ждать. Видишь, какой нетерпеливый у меня таксомотор. *(Выходит вместе с Сафоновым.)*

Сергей. Ну, а ты что тут сидишь? Заболел?

Аркадий. Хуже.

Сергей. Заскучал?

Аркадий. Да...

Молчание.

Не знаю, как потом будет, Сережа, а пока на свете на девять складных людей непременно попадается один нескладный, то есть не то что вообще нескладный, я не жалуюсь,— мне даже вон вчера черт знает откуда, из Австралии, письмо прислали, по моему методу операцию сделали — благодарят. Нет, это все хорошо, а вот... Как ты думаешь, если вот семь лет дружишь с человеком, а потом

вдруг признаешься ему в любви, он ведь рассердится, скажет, что же ты все семь лет думал?

Сергей. Да, непременно рассердится. Боже мой, как ты все-таки глуп, неслыханно глуп. *(Передразнивая.)* «Женечка, как по-вашему, жениться мне или не жениться? Женечка, почему меня не любят женщины?» А она не знает, почему тебя не любят женщины. Понял? Не знает и знать не хочет.

Аркадий. Почему?

Сергей. Потому что она сама женщина и сама тебя любит.

Пауза.

Нет, я чувствую, что без моего вмешательства тут не обойдется.

Аркадий. Ради бога, не вздумай сказать ей.

Сергей. Непременно скажу. *(Хлопнув его по плечу.)* Ничего, надейся на меня. Завтра же займусь устройством твоей свадьбы.

Аркадий. Завтра?

Сергей. Ну, не завтра, когда вернусь...

Аркадий. Когда вернешься... Знаешь что? Вот я смотрю сейчас на твое довольное лицо и думаю: будет ли когда-нибудь такое время, когда тебе больше захочется сидеть дома, чем ехать?

Сергей. Нет, не будет. Я люблю, когда меня посылают. Ей-богу, Аркаша, мы часто забываем, какое это счастье — каждый день знать, что ты нужен стране, ездить по ее командировкам, предъявлять ее мандаты. Я еще мальчишкой поехал первый раз от пионерской организации, потом меня посылал райком комсомола, потом райком партии, потом мне выдавали предписания со звездами на печатях: «Для выполнения возложенных на него особых заданий». Но почему-то всегда хотелось, чтобы там писали немного иначе: «Для выполнения возложенных на него особых надежд». Это лучше, верно?

Аркадий. Верно-то верно. Но война есть война, и это все-таки тяжело и опасно. Я слышал, что там иногда убивают.

Сергей. Да, но знаешь, Аркаша, «тяжело, опасно» — это мы все думаем, когда едет кто-то другой, а когда тебе самому говорят — поезжай, ты нужен,— ты уже ничего не думаешь, кроме того, что ты нужен. И тебе скажут — и ты поедешь, и у тебя никаких других мыслей, кроме того, что ты нужен, не будет.

Аркадий. Не знаю. Может быть.

Из внутренних дверей выходят Варя, Женя, Анна Ивановна, Севастьянов.

Севастьянов. Нет, пора, пора. Вот если бы Анна Ивановна нам еще один гусарский романс спела, тогда бы не выдержал, остался. Как это там:

Но если свободен ваш дом от постоя,
То нет ли хоть в сердце у вас уголка?

Спойте еще, Анна Ивановна. Пронзает сердце, ей-богу.

Анна Ивановна. Вы льстец, Петр Семенович. Пронзает сердце... Вот когда я была кокет в труппе у Зарайской, тогда правда пронзала.

Варя. А где Вано?

Аркадий. Уехал.

Сергей. Севастьяныч, у тебя, наверно, записаны завтрашние дежурства на погрузке. У тебя всегда все записано. Мы с шести сорока или с семи, а?

Севастьянов. Да. Кажется, с семи. *(Перелистывая записную книжку.)* Подождите... Это верно, у меня всегда все записано, у меня тут... Варвара Андреевна, забыли мы с вами уговор,— правда, больше двух лет прошло,— но все-таки спросим его, а?

Варя. Что спросим?

Севастьянов. Спросим его, что он делал пятого марта тысяча девятьсот тридцать седьмого года в двадцать один пятьдесят?

Варя. Да, верно, что ты делал в это время?

Сергей. Почему именно в это время?

Варя. Мы как раз в эту минуту о тебе вспоминали и решили спросить, когда ты вернешься.

Сергей. Пятого марта, пятого марта... В твой день рождения?

Варя. Да, помните, Севастьяныч, я тогда играла спектакль. Было холодно, метель. Вы мне принесли веточки... Ну, что же ты делал пятого марта вечером?

Сергей. Пятого марта вечером... я занимался французским языком. Впрочем, что я тогда делал, это не так уж важно, а вот что тогда делал один мой очень хороший знакомый, я, пожалуй, могу рассказать.

Анна Ивановна. Ну, что же делал ваш очень хороший знакомый?

Сергей. У него, как и у меня,— не правда ли, какое странное совпадение? — был тогда тоже день рождения жены. Но ему не повезло. Как раз в то время, когда я занимался французским языком, он попал в плен. Вы говорите — в десять? Ну да, примерно в это время его повели на расстрел.

Анна Ивановна. Кошмар!

Сергей. Совершенно верно, Анна Ивановна, кошмар. Но когда моего знакомого повели на расстрел, он вдруг услышал очень далекий, но очень знакомый звук, ему показалось, что это танки. В это время в стену дома недалеко от него ударил снаряд —

раз! И еще — два! Он вырвал винтовку у одного, ударил ею другого. Кругом рвались снаряды, так что всем было не до него. И он побежал навстречу танкам. Говорят, в тот вечер он поставил мировой рекорд в беге на один километр по пересеченной местности. Ну, вот и все, что делал мой очень хороший знакомый пятого марта вечером.

Севастьянов. Молодец твой хороший знакомый. Однако мне окончательно пора. Жаль, что вы, Анна Ивановна, именно здесь живете, а то проводил бы вас, честное слово!

Анна Ивановна. Да, очень жаль, Петр Семенович, очень жаль, что вы не встретились на моем жизненном пути лет сорок тому назад. Впрочем, вас тогда, пожалуй, еще не было на свете.

Севастьянов уходит.

Варенька, помогла бы мне со стола убрать.

Варя. Сейчас. *(Уходит с Анной Ивановной.)*

Женя. Я тоже, пожалуй, пойду.

Сергей. Куда так рано?

Женя. Завтра еще увидимся. И прощаться будем. До свидания, Аркадий Андреевич.

Аркадий. Я провожу вас, Женечка.

Женя. Что с вами, Аркадий Андреевич? Откуда вдруг такая галантность? Не надо, она к вам не идет. А потом, я боюсь, вы по рассеянности поведете меня куда-нибудь не в ту сторону или совсем потеряете. До свидания, Сергей Ильич. *(Уходит.)*

Сергей. До свидания!

Аркадий *(после паузы)*. Видал?

Сергей. Видал. Ну, что видал? Что видал? Беги скорее за ней!

Аркадий. Как?

Сергей. Очень просто. *(Хватает со стола сумочку.)* Скажи — сумочку забыла.

Аркадий выбегает и тотчас возвращается.

Аркадий. Да это ж Варина!

Сергей. Не важно, скажешь — спутал. Беги!

Аркадий, взяв сумочку, выходит. Некоторое время Сергей один.
Входит Варя.

Варя. А где Аркаша?

Сергей. Послал его Женю догонять. Нет, не решится. Пройдет пять шагов и вернется. Нет в нем этой решительности. *(Улыбнувшись и обняв ее.)* Не то что во мне, да?

Варя. Да. А знаешь, вот ты завтра уезжаешь, а мне все равно не хочется думать об этом... Знаешь, о чем я сейчас думаю?

Сергей. О чем?

Варя. Как мы с тобой первого сентября поедем в отпуск, на Кавказ, и пойдем пешком по Военно-Грузинской дороге. Утром будем просыпаться, а кругом горы. И все время вместе. Хорошо, да?

Сергей. Красота!

Варя. Первого сентября сядем в поезд. На Кавказ он ведь утром отходит?

Сергей. В одиннадцать.

Варя. И мне не нужно будет тебя провожать, махать платком. Я сама сяду и поеду. А платками пусть машут другие. Пусть. Не все же мне.

Сергей. Я, наверно, сейчас уеду не очень надолго...

Варя. Не надо, Сережа. Ты же сам не знаешь, на сколько. Не смей меня утешать — рассержусь.

Сергей. Ладно.

Варя. Я тебя люблю за то, что ты такой, я бы другого не любила. Да, ждать, ждать, пускай ждать, но зато, когда мы вместе... Да, я люблю эту жизнь, она и есть самая настоящая. А другой никакой не хочу... Слышишь? Не смей меня утешать.

Пауза.

Тебе надо было идти?

Сергей. Да, я в округ, ненадолго.

Варя. Я еще посижу у Аркаши, а потом поеду домой.

Сергей. Я позвоню.

Варя. Хорошо. Ну, иди же скорей, а то опоздаешь.

Сергей, обняв ее, быстро идет к двери. Сталкивается с Аркадием, выходит.

Аркаша!

Аркадий. Что?

Варя *(обняв Аркадия, сквозь слезы)*. Все неправда, все неправда, не хочу, чтобы уезжал. Каждый день хочу его видеть, каждый день, каждый день, чтоб всегда со мной...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Очень низкая большая землянка — командный пункт. Замаскированная щель в степе. Низкий деревянный стол. У стен — земляные выступы, заменяющие скамейки. В углу у полевого телефона — телефонист. Гулиашвили наблюдает за боем в перископ. У него забинтованы кисти обеих рук. Заглушенная землей, все время издали слышится артиллерийская канонада.

Гулиашвили *(отрываясь от перископа)*. Почему не идут, ты мне скажи, почему танки не идут? Сколько времени от майора сведений нет?

Телефонист. Час.

Гулиашвили. Где майор, ты скажи, где майор?

Телефонист *(показывая рукой вперед)*. Там, наверно, где же ему быть.

Гулиашвили. Я не вижу, что он там, там танки вперед не идут, там его нет. *(Смотрит в перископ.)* Пошли! Пошли, дорогой, пошли. Куда ты пошел? В ров попадешь, завязнешь! Налево иди, налево, газу дай, еще газу! Правильно, дорогой! *(Телефонисту.)* Соедини.

Телефонист. Зенит! Зенит! Говорит Глобус. Глобус говорит. Глобус. Семьдесят седьмой, Зенит мне дай... Не отвечает? Связь порвана, товарищ капитан.

По ходу сообщения входит Васнецов, в форме комбрига, и несколько штабных командиров (в одном из них можно узнать бывшего командира роты из второй картины).
Связисты несут телефоны и тянут провод.

Гулиашвили *(рапортуя)*. Начальник штаба первого батальона капитан Гулиашвили. Батальон выполняет ваше задание.

Васнецов. Где майор?

Гулиашвили. Лично повел в атаку третью роту вместо убитого капитана Горбаченко.

Васнецов. Так. *(Смотрит в перископ.)* Хорошо. *(Отрываясь от перископа.)* Здесь будет мой командный пункт. Телефоны! Быстро! *(Садится за стол и, стащив с головы кожаный шлем, вытирает лицо.)* Чаю! Все отдам за кружку чаю.

Дневальный подает ему кружку с чаем и газеты.

Телефонист. Командующий у телефона.

Васнецов *(беря трубку).* Да, Глобус слушает... Да, прервана была... Командный пункт менял... Да, поближе. Взята Зеленая сопка... Песчаную? Скоро возьмем. Первый батальон атакует... Майор Луконин. Да, лично. Есть, сообщу.

Входит танкист.

Танкист. Товарищ капитан! *(Замечая комбрига.)* Товарищ комбриг, майор приказал сообщить: высота Песчаная взята, пехота закрепляется, танки выходят из боя.

Васнецов. Хорошо. Можете идти.

Танкист уходит.

(Телефонисту.) Соедините с девяткой.

В блиндаж входят Сафонов и танкист, держа под руки Сергея, он без чувств. Сажают его на лавку, снимают шлем и расстегивают на груди кожанку. У Сергея совершенно черные, прокопченные лицо и руки.

(Вставая.) Что случилось?

Сафонов. Ничего, товарищ комбриг, обморок. Товарищ майор три часа из танка не вылезал. Ему с самого начала снаряд попал — пушку и пулемет разбило. Так он просто гусеницами их все время давил. Вот вывел танк, на воздух вышел — и...

Васнецов. Ранений нет?

Сафонов. Нет, товарищ комбриг.

Васнецов. Ну и хорошо. Повыше голову положите, как следует.

Телефонист. Девятка у телефона.

Васнецов *(в телефон).* Песчаная сопка взята, товарищ командующий.

Сафонов *(Гулиашвили).* Здорово он их покрошил. Семь грузовиков раздраконил. Одну штабную машину легковую догнал — прямо через нее, граммофонную пластинку из нее сделал. Неважная скорость у их машин!

Сергей *(приходит в себя; заметив Васнецова, пошатнувшись, встает).* Товарищ комбриг, задача выполнена. Песчаная сопка взята. Разрешите сесть?

Васнецов. Садитесь. Чаю ему налейте!

В землянку двое красноармейцев вводят третьего, молодого парня без каски, с рыжими волосами; мы с трудом можем в нем узнать Петьку. Он без оружия, его винтовку держит один из красноармейцев.

В чем дело?

Красноармеец. Из автобата, товарищ комбриг, послали команду на поддержку пехоте. Все в атаку пошли, а он лег за бугор и остался.

Васнецов. Так...

Его прерывает телефон.

(В телефон.) Да, я — Глобус. Переносите огонь на рубеж, южнее высоты Песчаной. Скорее!

Сергей внимательно смотрит на Петьку. Судя по выражению их лиц, оба узнали друг друга.

Сергей. Товарищ комбриг, разрешите, я с ним займусь.

Васнецов, не отрываясь от телефона, кивает. Сергей, с трудом поднявшись, отводит Петьку в угол.

Ты что же, сукин сын? Ты знаешь, что с тобой теперь надо сделать?

Петька. Испугался.

Сергей. Я знаю, что ты испугался. Я спрашиваю, что теперь с тобой надо сделать?

Петька *(почти шепотом)*. Знаю — расстрелять.

Сергей. Эх ты, волжанин! Из оружейной слободы. Не было там таких трусов. До тебя не было и после тебя не будет.

Пауза.

И ты не будешь.

Петька *(механически)*. Испугался.

Сергей. Отдайте ему винтовку.

Петька растерянно принимает винтовку.

Отведите его к капитану Синицыну, скажите, что я приказал дать ему флаг, и пусть первым пойдет в атаку и воткнет флаг на высоте. Повторите приказание.

Красноармеец. Отвести к капитану Синицыну и сказать, что вы приказали дать флаг и чтоб воткнул на высоте.

Сергей *(тихо Петьке)*. Иди. И если убьют, то умрешь как человек. А если останешься жив, то будешь жить как человек. Понял?

Петька. Понял.

Сергей. Идите, выполняйте приказание.

Красноармейцы и Петька уходят. Сергей опять устало опускается на лавку.

Пороховые газы, вот черт, прямо голова раскалывается. Сафонов, полей воды.

Сафонов из фляжки льет ему на голову воду.

(Отряхиваясь.) Вода — большое дело! *(Задорно.)* А ров-то мы все же с ходу перескочили!

Васнецов. Значит, все-таки прыгают?

Сергей. Прыгают. *(Шутливо погрозил кулаком своему бывшему командиру роты.)*

Гулиашвили. А говорил — не прыгают!

Смех.

Васнецов *(в телефон)*. Кто прорвался?.. Спокойней, медленней говорите, тогда я вас быстрей пойму... Японцы прорвались? А где вы были?.. Резерв бросьте!.. Бросили? Хорошо. Дам все, что есть. *(Бросает трубку.)* Полуэктов!

Командир. Я, товарищ комбриг.

Васнецов. Надо срочно что-нибудь бросить на помощь Филатову. Комендантский взвод собрать... Шоферов с машин снять, дать гранаты и патроны, писарям тоже. В роте связи свободные есть?

Командир. Десять человек.

Васнецов. Тоже дать гранаты и патроны. Отправляйтесь, собирайте. Сводную роту поведет... *(Медленно оглядывает присутствующих.)*

Сергей *(вставая)*. Я, товарищ комбриг.

Васнецов, словно не слыша, еще раз оглядывает всех.

Я, товарищ комбриг.

Васнецов. Сводную роту поведет майор Луконин. Левей Филатова у Песчаной прорвался батальон противника. Задержать во что бы то ни стало! Поняли?

Сергей. Понял.

Васнецов. Выполняйте!

Сергей. Есть. *(Идет к двери.)*

Его задерживает Сафонов.

Сафонов. Товарищ майор, разрешите с вами?

Сергей. Гранаты есть?

Сафонов *(с силой хлопая себя по набитым карманам)*. А то как же, товарищ майор!

Сергей *(вздрогнув от этого жеста)*. Тише ты. Взорваться захотел?

Сергей и Сафонов уходят.

Васнецов. Еще чаю. *(Телефонисту.)* Соедините с Филатовым. *(Гулиашвили.)* Вы слышали, что Луконин этому трусу сказал, которого приводили?

Гулиашвили. Сказал, чтобы винтовку ему дали, сказал, пусть первым флаг в сопку воткнет.

Васнецов. Ну и как полагаете, воткнет?

Гулиашвили. Думаю, товарищ комбриг, что если не убьют...

Телефонист. Филатов у телефона.

Васнецов. Майора Луконина вам послал. Сейчас будет... Уже? Как уже? Ну хорошо, вместе жмите. *(Бросил трубку.)* На грузовики посадил, и за две минуты... *(Гулиашвили.)* Что видно?

Гулиашвили. Левей Песчаной еще одну батарею выдвинули.

Васнецов *(командиру)*. Мой танк здесь?

Командир. Здесь, товарищ комбриг.

Васнецов. А еще сколько здесь?

Командир. Еще три.

Васнецов. Приготовьте. И мой приготовьте. Живей!

Гулиашвили. Товарищ комбриг, разрешите мне туда, к Луконину?

Васнецов. Что?

Гулиашвили. Товарищ комбриг, я говорю...

Васнецов. А вы не говорите. Я вам сам все скажу, когда будет нужно.

Пауза.

Ну как ожоги-то, зажили?

Гулиашвили. Заживают.

Васнецов. Да, не думал я вас тогда живым встретить, а вот видите — заживают. Ну что там?

Гулиашвили смотрит в перископ. В землянку вбегает связной. Он в кожанке, без шлема, голова повязана окровавленным бинтом.

Связной *(задыхаясь)*. Товарищ комбриг! Песчаная сопка... еще держится... Противник идет в контратаку. Во время штыковой атаки майор Луконин убит.

Васнецов *(встает, опершись руками на стол, говорит очень громко, почти кричит)*. Кто вам сказал, что майор Луконин убит? Вы что, сами видели?

Связной. Нет, я не видел, но мне сказали, все видели...

Васнецов. Неправду вам сказали. Майор Луконин не убит. Майор Луконин только ранен. Вы слышали?

Связной. Да, товарищ комбриг.

Васнецов. Вместо раненого майора Луконина команду над сводной ротой примет капитан Гулиашвили. Отправляйтесь.

Гулиашвили. Есть, товарищ комбриг! *(Уходит.)*

Васнецов *(другому командиру)*. Пусть водитель заводит мой танк. Быстро! *(Надевая шлем, на секунду останавливается, говорит тихо, ни к кому не обращаясь.)* Убит... а?

Занавес

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Спустя месяц. Степь. Задняя стена госпитальной палатки на самом краю расположения полевого госпиталя. У палатки сидит Сергей и строгает палку. На одной ноге у него сапог, на другой — носок и тапочка. Сергей скучным голосом напевает что-то под нос, видимо, уже в сотый раз одно и то же. Входит Сафонов.

Сафонов. Здравствуйте, товарищ майор!

Сергей. Здравствуйте, Сафонов. Как вы сюда попали?

Сафонов. Нелегально, товарищ майор. Капитан Гулиашвили вас проведать послал. «Съезди, говорит, Сафонов, проведай».

Сергей. Нет, неправда, не так он сказал. Он, наверно, сказал *(подражая Гулиашвили)*: «Почему, дорогой, мы здесь, а он там? Поезжай, дорогой, посмотри, дорогой, как он там живет, передай тысячу поцелуев». Так он сказал?

Сафонов. Точно, товарищ майор.

Сергей. Ну, как там у вас в батальоне? Где стоите?

Сафонов. За Баин-Цаганом, у левой переправы.

Сергей. Значит, на отдыхе.

Сафонов. Точно, товарищ майор.

Сергей. Слышал я — седьмого и восьмого тяжелый бой у вас был?

Сафонов. Да. Теперь Петренко командир первой роты.

Сергей. А Стасов?

Сафонов. Убили восьмого.

Сергей. Может, ранен только. Меня вон ведь тоже похоронили.

Сафонов. Сам видел. Как вы, тоже вылез из танка, пехоту стал поднимать — и прямо в грудь, на месте.

Сергей. Да, Сафонов, так близко я от смерти побывал, что теперь, кажется, вовсе никогда не умру.

Сафонов. А как себя чувствуете, товарищ майор?

Сергей *(пробуя плечо)*. Плечо ничего. Грудь тоже ничего, а вот нога. На одной ножке к вам не прискачешь.

Пауза.

Все мне было некогда вас спросить, Сафонов, у меня память на лица. Я ведь вас где-то раньше до фронта видел.

Сафонов. Видели, товарищ майор. У вас вроде именин было, а я к вам с такси приезжал за капитаном Гулиашвили.

Сергей. Верно, помню.

Сафонов. А вот капитан вид делает, что не помнит: он на меня сердитый, что я ему тогда баранку покрутить не дал. А мне нельзя было давать, нас за это милиция греет. Вы ему при случае разъясните, что я не мог. Хорошо?

Сергей *(улыбнувшись)*. Хорошо, разъясню. Ну, как тут после такси?

Сафонов. Прекрасно, товарищ майор. Никаких правил уличного движения, ни тебе красного цвета, ни стоп, ни правых поворотов. Красота. Правда, стреляют иногда. Но я этот звук так расцениваю, как будто просто баллон спустил.

Сергей. Так что ж, просто справиться обо мне приехал?

Сафонов. Да, скучают без вас в батальоне.

Сергей. Скучают...

Пауза.

Так и сказали, значит: справиться, как жив-здоров. А не говорили тебе *(снова подражая Гулиашвили)*: если ногами шевелит, посади в машину, привези сюда, а?

Сафонов. А не выдадите, товарищ майор?

Сергей. Не выдам.

Сафонов. Говорили. Если, мол, здоров, то намекни, а если болен, ни звука. Я считал, поскольку вы больной...

Сергей. Тоже мне доктор нашелся... А то мне их без тебя не хватало. Они у меня знаешь где сидят, доктора! Вот здесь. Я бы уже давно отсюда удрал, да тут главный врач — суровая личность. Зверь просто. Слова ему не скажи!

Пауза.

Ну, ладно. Уеду я сегодня отсюда, поняли?

Сафонов. Есть, товарищ майор.

Сергей. Сейчас вечерний обход будет. А часочка через полтора подъедете потихоньку — и поедем. Только поближе подъезжайте, а то ходить-то я еще не очень.

Сафонов. Можно, товарищ майор. Впритирочку машину подадим. *(Улыбнувшись.)* Как счетчик-то: выключать или если быстро, то можно не выключать?

Сергей. Быстро, быстро, можете не выключать.

Входит Аркадий в белом халате поверх военной формы, с полотенцем в руках, подозрительно смотрит на Сафонова.

Аркадий. Вы откуда? Почему без разрешения на территории госпиталя?

Сергей. Товарищ военврач, это ко мне из части навестить приехали.

Аркадий. Навестить? *(Смотрит вдаль.)* А машина ваша?

Сафонов. Моя, товарищ военврач.

Аркадий. Итак, вы, значит, навестили?

Сафонов. Да, товарищ военврач.

Аркадий. Ну, навестили — и поезжайте. Товарища майора волнуют визиты, особенно если с визитом приезжают на машине. Поезжайте.

Сафонов *(подмигивает)*. До свидания, товарищ майор.

Сергей *(тоже подмигивая)*. До свидания. Передайте: как выпишут, так приеду.

Аркадий. Какая-то подозрительная покорность — выпишут, приеду.

Сафонов уходит.

Сергей. Конечно, покорность,— ты же теперь начальство. И притом — суровое. За что на водителя набросился?

Аркадий. Знаем эти визиты. Сначала навестили, а потом увезли. Предупреждаю: если попробуешь — догоню, свяжу и обратно на месяц. Ну, как себя чувствуешь?

Сергей. Выписал бы, а?

Аркадий. Отстань.

Сергей. Я знаю, почему ты не хочешь: тебе просто приятно иметь под рукой родственника.

Аркадий. Товарищ майор...

Сергей. Да, товарищ военврач.

Пауза.

А помнишь, Аркаша, Саратов... Тишина... Клиника... Странно, да?

Аркадий *(присаживаясь)*. Да как тебе сказать? Иногда еще странно... Хотя, впрочем, этот госпиталь — еще не война. Сто верст от фронта. Я еще ни одного выстрела не слышал. Вот война кончится, тогда, я надеюсь, нас, врачей, на автобусе вдоль фронта повезут в экскурсию. Вот здесь, скажут, все это происходило, отсюда к вам везли тех, которых вы потом чинили, лечили, зашивали. И мы будем удивляться всему, как самые настоящие штатские люди.

Сергей. Значит, ни одного выстрела не слышал?

Аркадий. Нет.

Сергей. Ну, а бомбежки? Я, например, их, честно говоря, боюсь. А для тебя они, значит, уже не в счет.

Аркадий. Бомбежки? Да как тебе сказать? Когда первая была, у меня на очереди к операционному столу восемнадцать человек лежало, некогда было пугаться. А потом привык. Черт его знает, пожалуй, ты прав — война меняет человека, заставляет понять, что в жизни важно, а что — мелочь.

Сергей. Верно, Аркаша. По себе могу сказать — ох, не любят люди умирать. Но если уж умирать, то хотят умирать за что-то самое важное. И на войне, когда смерть перед глазами, забываем все наши обиды, неудачи, неурядицы, все, что можно забыть, забываем. А помним только то, чего забыть нельзя. Что помним, за то и умираем.

Аркадий. Да, ты прав. Как ни верти, хоть и делал все, что мог, а уже много людей у меня здесь на руках умерло. И странное дело: другой человек у тебя на руках умирает, а ты чувствуешь, что ты жил не так, как надо. Нет, не так я жил, совсем не так. Я здесь почувствовал, что ничего в жизни откладывать нельзя. Ни любви, ни дружбы, ничего. И знаешь что?

Сергей. Догадываюсь.

Аркадий. Да, я о Жене. Ты сто раз прав. Когда я вернусь, больше ни одного дня этой ерунды... В первый же день все ей скажу, и пусть решает.

Сергей. Первые умные слова, которые я слышу от тебя за пятнадцать лет знакомства.

Аркадий. Хорошо, смейся. Я уже написал ей письмо с объяснением в любви.

Сергей. Молодец! И послал?

Аркадий. Нет, завтра пошлю. Я хотел тебе показать.

Сергей. Мне? Зачем?

Аркадий. Ну, все-таки у тебя опыт. У Варьки лежит, по крайней мере, два пуда твоих писем.

Сергей. Неужели два пуда? Хотя, за столько лет... Но они все одинаковые: «Варька! Жду! Хочу видеть! Скорей! Варька! Жду! Хочу видеть! Скорей!» Тебе от меня будет мало проку.

Аркадий. Ничего, все-таки почитай.

Сергей. Ну, ладно, давай.

Аркадий передает ему письмо.
Вбегает врач.

Врач. Товарищ военврач!

Аркадий. Что такое?

Врач. Из авиаполка приехали за вами. Там над аэродромом воздушный бой был. Ихних несколько, но и наш один — капитан. Боятся, не довезут сюда его без операции, на месте просят.

Аркадий. Машина готова?

Врач. Они на своей.

Аркадий. Едем! *(Сергею.)* Я через час приеду, зайду, договорим. *(Уходит.)*

Сергей *(проводив его взглядом, развертывает письмо, проглядывает его)*. «Я давно люблю тебя»... Правильно, молодец!

Издалека слышится чья-то песня. На сцене темнеет. Полная темнота. Когда снова появляется свет, в степи уже сумерки. Сергей опять в прежней позе строгает палку. Время от времени Сергей прислушивается.

Входит Сафонов.

Сафонов. Что прислушиваетесь, товарищ майор? Я без гудка, тихо, с конспирацией.

Сергей. А я, Сафонов, не к вашему гудку прислушиваюсь.

Сафонов. Я думал, меня ждете. Что, раздумали?

Сергей. Нет, сейчас поедем. Я тут только дождусь, мне нужно... Вы пойдите к машине, посидите еще полчасика.

Сафонов *(пожав плечами)*. Есть, товарищ майор. Только ночь будет, растрясу я вас по кочкам.

Сергей. Ничего. Идите.

Сафонов уходит. Сергей опять прислушивается. Входит врач.

Что, товарищ Антоненко, все еще не приехал Бурмин?

Врач. Нет еще. Из чего у вас палочка, товарищ майор?

Сергей. Из пропеллера.

Врач. И ехать-то ему всего десять километров... Обход надо делать... Из пропеллера, говорите?

Сергей. Да, тут недавно во время бомбежки одна их птичка в землю уткнулась — вот принесли мне кусок пропеллера. А то ведь здесь на триста верст ни одного порядочного дерева нет!

Врач *(разглядывая палку)*. Ох, и терпение у вас!

Сергей. Ну, это когда как.

Пауза.

Что ж, Бурмина-то нет, а?

Врач. Может, начальнику по телефону звонили, пойду спрошу.

Сергей. И правда, сходили бы.

Врач уходит. Долгое молчание. Сергей рассеянно строгает палку. За сценой слышны голоса. Сергей прислушивается. Встает.

Голос Аркадия: «А я вам говорю — сюда!»

Двое санитаров вносят на носилках Аркадия. Он очень бледен. Рядом с носилками идет врач.

Аркадий *(хриплым голосом)*. Отстань, тебе говорю. Не хочу я под брезентом... Здесь положите.

Санитары ставят носилки.

Под голову повыше.

Ему подсовывают что-то попавшееся под голову.

Врач. Может, попробовать извлечь?

Аркадий. Что там извлечь! Что я, ребенок, что ли! Не знаю... когда... Сережа, скажи ему, чтоб отстал! *(Врачу.)* Будешь ковырять, а что толку? Отстань, дай три минуты пожить спокойно.

Врач. Аркадий Андреевич, может быть, все-таки...

Аркадий. Ну, жалко вам меня, ну, понимаю, но глупости-то зачем предлагать? Ведь видите сами... Сережа...

Сергей *(наклоняясь над ним.)* Аркаша, как?

Аркадий. Так. Шляпы. Нашему сделал операцию, стал пленного перевязывать,— так, шляпы, маузер у него взяли, а другой, маленький, в комбинезоне, не заметили. Всадил,— вот прямо когда нагнулся над ним. *(Замечает вопросительный взгляд Сергея, обращенный к врачу.)* Все, Сережа, все. Ты что его спрашиваешь? Ты меня спроси, я же лучше знаю. Он ординатор, а я профессор.

Пауза.

Везти сюда не хотели, боялись, а я велел. Тебя видеть хотел. Нагнулся над ним... а он... Пристрелили его, так и надо.

Сергей. Аркаша, ты не дури, слышишь! *(Врачу.)* Ну, что вы стоите! Сделайте же что-нибудь.

Врач за спиной Аркадия делает безнадежный жест.

Аркадий. Ничего он не может. Я только по дороге, что не доеду, боялся. А сейчас... Почему опять голову опустили? Поднимите.

Сергей поднимает его за плечи.

Сторожить не буду... удерешь теперь, да?

Пауза.

Что молчишь? Знаю... удерешь... Письмо прочел?

Сергей. Прочел.

Аркадий. Изорви. Пусть не знает, а то еще хуже. Изорви, слышишь?

Сергей. Слышу.

Аркадий. Нагнулся к нему, а он... Ты их...

Долгое молчание.

(Почти шепотом.) Это хорошо, что бреда у меня нет. Повыше... Выше... *(Запрокидывает голову.)*

Сергей медленно опускает его на носилки. Врач и санитары снимают фуражки. Долгое молчание. Сергей, встав, рукавом стирает с глаз слезы, оглядывается на врача и санитаров.

В р а ч. Я скажу начальнику, что родным вы напишете.

С е р г е й. Напишу.

Санитары поднимают носилки и молча уходят вместе с врачом.

(Механически, не замечая их ухода, повторяет.) Напишу. Напишу. А что я им напишу?

Входит С а ф о н о в.

С а ф о н о в. Ну, как, был обход, товарищ майор?

С е р г е й. Был.

С а ф о н о в. Хирург-то вас не задержит?

С е р г е й. Теперь не задержит. *(Смотрит себе на ноги.)* Сапог у вас нет каких-нибудь?

С а ф о н о в. Есть, только старые, ношеные, они вам просторны будут.

С е р г е й. Вот и хорошо. *(Поднимает палку и, прихрамывая, идет вслед за Сафоновым.)* Разобьем их, Сафонов?

С а ф о н о в. А то как же, непременно разобьем, товарищ майор!

С е р г е й *(угрюмо)*. Разобьем их! Чтоб и праху от них не осталось! Чтоб в урнах домой везти нечего было!

З а н а в е с

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Вечер следующего дня. Степь. Наполовину зарытая в землю машина — «эмка». В глубине палатка. За сценой женский голос поет последние слова какой-то арии. Аплодисменты. На заднем плане видны фигуры расходящихся после концерта бойцов.

Входят С е в а с т ь я н о в и Г у л и а ш в и л и.

С е в а с т ь я н о в. Что же ей говорить?

Г у л и а ш в и л и. То же самое, дорогой: вызвали к командующему, уехал на три дня. И коротко, и на правду похоже.

С е в а с т ь я н о в. Не поверит.

Г у л и а ш в и л и. Хорошее известие будет — правду скажем, а пока нельзя.

Севастьянов. Когда Сафонова послали?

Гулиашвили. Вчера в девять. Два дня. Не знаю, что и думать, дорогой. Хорошо думать — не могу. Плохо думать — не хочу.

Севастьянов. Боюсь, проболтается кто-нибудь.

Гулиашвили. Если я не проболтаюсь, никто не проболтается.

Входит лейтенант.

Лейтенант. Товарищ капитан, артисты в палатке, ужинают. Какие будут приказания?

Гулиашвили. Сейчас покушают, потом спать лягут. Утром в машину посадим, на другое место повезем. Куда им завтра?

Лейтенант. В политотдел.

Гулиашвили. В политотдел свезем. Пойдем посмотрим, как кушают. *(Направляются к выходу.)*

Навстречу идет Варя.

Куда? А кушать?

Варя. Я не хочу, я потом...

Гулиашвили. Нельзя потом. Сейчас вернусь — уговорю.

Лейтенант и Гулиашвили уходят.

Севастьянов *(сажая Варю на крыло «эмки»)*. Это наша с Сережей штаб-квартира. Комаров всех выкурим и спим в ней ночью. Если скучно— радио заводим, там радио есть. Хорошо вы пели. Испытал я удовольствие. И читали тоже хорошо.

Пауза.

Этот толстенький смешные рассказы читал,— он что, новый в труппе?

Варя *(рассеянно)*. Да. Что вы спросили?

Севастьянов. Я спросил: этот толстенький — новый в труппе?

Варя. Да, новый. Комик.

Севастьянов. Вы что, значит, с самолета — и прямо к нам?

Варя. Нет, мы уже утром в политотделе были, а потом у зенитчиков. У нас ведь свое расписание. Мне просто повезло, что в первый же день — сюда.

Севастьянов. Очень большое наслаждение приносят бойцам такие концерты.

Варя. А мы так и подумали. Пошли в политуправление округа и сказали: «Ваша бригада на фронте, мы тоже хотим туда свою

бригаду послать». Вот и приехали. Правда, наша бригада немножко меньше вашей, всего пять человек.

Входит Гулиашвили.

Гулиашвили. Зато какие люди!

Варя. Я, когда пела, смотрела — у вас много новых лиц, а знакомые не все. Где капитан Стасов? Я ему письмо от жены привезла.

Гулиашвили. Нет его. Погиб.

Варя. А она посылку хотела — и опоздала. Я видела, как она по платформе бежала, когда поезд уже тронулся.

Молчание.

Вано, где Сережа?

Гулиашвили. Я же русским языком сказал тебе, что его в штаб армии вызвали.

Варя. Петр Семенович, это правда?

Севастьянов. Безусловно. Он тут безусловно если не завтра — послезавтра будет,— сами убедитесь.

Гулиашвили. Ну, подумай сама, Варя, зачем я тебя обманывать буду? Сама увидишь, сама спросишь,— сам тебе скажет — правдивый человек Вано!

Севастьянов. Ну, что вы волнуетесь, Варвара Андреевна?

Варя. А я не волнуюсь, я просто должна сегодня видеть Сережу. Непременно сегодня.

Гулиашвили. Ну, а если завтра... нет, я, конечно, понимаю...

Варя. Нет, Вано, ты не понимаешь, ничего не понимаешь. Я должна его видеть, потому что...

Гулиашвили. Что потому что? Ну, говори же, что потому что? Я так не могу...

Варя. Мы были в политотделе утром, и там... там...

Гулиашвили. Что там? Что там? Или я сейчас пойду звонить туда... что там?

Варя. Там не знали, что я... и при мне сказали, что Аркаша погиб.

Севастьянов. Как погиб! Как он мог погибнуть? Глупости там болтают! Не верь им!

Варя. Они сказали, что профессор Бурмин погиб при исполнении обязанностей и что надо кого-нибудь вместо него. Вместо него... Аркаша... Но ведь он... я же думала, что увижу его, а оказывается, тогда последний раз был на вокзале, а я не знала, что последний, я шутила с ним, что он смешной очень в военной фор-

ме. И над Сережей тоже шутила, что он так долго меня обнимает, что проводники боятся — увезет с собой без билета. Но его я увижу! Увижу! Да?

Севастьянов. Конечно, Варвара Андреевна, конечно, увидите.

Варя. Я попрошусь и поеду туда, где он, хоть на один час. Мне разрешат?

Гулиашвили. Конечно, разрешат.

Варя. Вы не сердитесь, что я так. Я... я сейчас буду совсем в порядке. Там у вас ужин, я тоже пойду ужинать. Со всеми.

Гулиашвили *(обняв ее за плечи, идет с ней к палатке)*. У меня апельсин есть. Любишь апельсин?

Варя *(механически)*. Да.

Гулиашвили. Сейчас тебя провожу, схожу — принесу.

Варя и Гулиашвили скрываются в палатке.

Севастьянов *(один, кричит)*. Левшин!

Входит танкист.

Сейчас «эмку» заправьте, поедете в полевой госпиталь, найдете Сафонова, из-под земли достанете и узнаете, что с майором. Идите.

Входит Гулиашвили.

Гулиашвили. Даже не знаешь, что говорить ей. Мы живы, а Аркадий убит. Что с ней делать?

Севастьянов. Прежде всего достать апельсин, ты же за ним пришел.

Гулиашвили. Апельсин? Какой апельсин? Нету у меня никакого апельсина!

Прихрамывая, опираясь на палку, входит Сергей, за ним Сафонов.

Сергей. Кто тут апельсинами торгует, а?

Гулиашвили *(обнимая его)*. Дорогой! Вырос, красивый стал, не узнать.

Сергей. Ты на меня смотри, чего ты в гимнастерку-то уткнулся?

Гулиашвили. Так. Ближе рассматриваю. Возьми его, Севастьянов,— что он, в самом деле, такой красивый — плакать хочется.

Сергей молча обнимается с Севастьяновым.

Севастьянов. Что долго ехал?

Сергей. Растряс он меня вчера ночью, сегодня у летчиков полдня отлеживался. Потом в штаб являлся... Сафонов, похище-

ние благополучно окончено, теперь идите выполняйте свои прямые обязанности. Машину в укрытие заведите.

Сафонов уходит.

Ну, как тут у вас, Севастьянов?

Севастьянов. Третий день отдыхаем.

Сергей. События какие?

Севастьянов. События? Есть тут для тебя одно событие. Пойдем, капитан, пришлем ему это событие.

Севастьянов вместе с Гулиашвили направляется к палатке.

Сергей. Куда вы?

Гулиашвили. Сейчас, дорогой, одну минуту.

Оба скрываются в палатке. Сергей стоит в некоторой растерянности. Из палатки выходит Варя.

Варя *(вглядывается, бросается на шею Сергею)*. А мне сказали, что тебя вызвали куда-то.

Сергей. Соврали. Ранили меня. В госпитале был...

Варя. В госпитале?.. В каком? В том, где... в том, где Аркаша?

Сергей *(с запинкой)*. Нет, не в том. В другом. А что?

Варя. В другом...

Сергей. А что ты, что ты так... как-то...

Варя. Нет, я ничего.

Сергей *(заглядывает ей в глаза)*. Всё такие же. Только вот что: слезы — это ни к чему, Варька.

Варя. А сам?

Сергей. Мне можно. По слабости здоровья. Я же ранен был.

Пауза.

Как ты попала?

Варя. Я не одна. Мы впятером от театра по всем частям поедем.

Сергей. А я вот возьму и в своей части тебя оставлю. Придется им вчетвером дальше ехать, а?

Варя. Не оставишь.

Сергей. Я бы оставил... Тридцать семь атак у меня тут было, Варька. Тридцать семь раз тебя перед этим вспоминал. Два экипажа у меня сменилось. А я, вот видишь...

Входит Сафонов.

С а ф о н о в. Машина поставлена, товарищ майор.

С е р г е й *(быстро отстранив от себя Варю)*. Хорошо, можете идти.

Сафонов уходит. Варя снова хочет прижаться к Сергею, но он отодвигается.

Не нужно, Варенька, не нужно.

В а р я. Почему?

С е р г е й. Нельзя. Вот ты приехала ко мне к одному. Такое счастье! А тут у всех жены далеко. А им завтра в бой. Трудно им на нас с тобой смотреть.

Пауза.

Если все тихо будет, я к тебе на Хамардабу на целый день приеду! Вы ведь там, наверно, будете, в политотделе.

В а р я. Наверно.

С е р г е й *(другим тоном)*. Вы что там в палатке-то делали, ужинали?

В а р я. Да. Мы хотели сразу ехать, но Вано сказал, чтоб поужинали и заночевали, а утром обратно.

С е р г е й. Утром? Неправильно он вам сказал.

В а р я. Почему неправильно?

С е р г е й. А потому неправильно, Варенька... *(на секунду крепко прижав ее к себе, снова отпускает)* потому неправильно, что это передовая, и никто и никогда не знает, что здесь может случиться через час.

Пауза.

Сейчас подадут вам после ужина машину — и поедете.

В а р я. Сережа, я должна была тебе... Я не могу так, не поговорив...

Пауза. Из палатки выходит Г у л и а ш в и л и.

С е р г е й. Товарищ капитан, прикажите подать машину и сейчас же отправьте товарищей актеров в политотдел. Там будут тревожиться, если они не приедут сегодня...

Г у л и а ш в и л и. Товарищ майор, мы уж тут...

С е р г е й. Товарищ капитан, повторите приказание.

Г у л и а ш в и л и. Подать машину, отправить товарищей актеров в политотдел.

С е р г е й. Выполняйте.

Гулиашвили, козырнув, уходит.

В а р я. Сережа!

С е р г е й. Да.

Варя. Трудно мне уезжать.

Сергей. Верю, Варенька, верю. Я постараюсь к тебе скорей, как можно скорей.

Варя. Не только это трудно, трудно потому, что...

Гудок машины.

До свидания, Сережа.

Сергей *(пристально глядя на нее)*. Варя, ты что-то знаешь и молчишь. Что ты знаешь?

Варя. Я... Ты тоже знаешь. Да? Я не хотела... Но, значит, ты сам знаешь.

Сергей. Да. *(Обнимает ее.)* Я не мог. Сказать — и потом отпустить тебя. Не мог.

Варя. Сейчас я уеду. Сейчас. Я узнала еще утром. Он всегда был... Был, был... Не могу этого слова...

Входит Севастьянов.

Севастьянов. Варвара Андреевна, вас ждут.

Варя. Сейчас. Иду. Сережа, я не тревожусь за тебя, слышишь? С тобой ничего не может быть и не будет.

Сергей хочет обнять ее.

Не надо, ты же ко мне скоро приедешь. Дай руку. Вот так. Крепче... Разве так жмут? Крепче, еще крепче, так. На счастье. *(Вырвав руку, убегает.)*

Сергей пробует побежать за ней, но нога подвертывается, и он, хромая, добирается до «эмки», садится на крыло. Прислушивается. Шум отъезжающей машины. Молчание. Входят Гулиашвили и Севастьянов.

Гулиашвили *(сухо)*. Ваше приказание выполнено, товарищ майор.

Сергей. Ну, что ты обиделся? Не понял разве? Садись! Севастьяныч!

Гулиашвили присаживается рядом. Севастьянов залезает внутрь «эмки» и начинает настраивать радио.

А ведь неспроста вы уже три дня отдыхаете, когда другие дерутся.

Гулиашвили. Я то же думаю, дорогой.

Сергей. Я по дороге обогнал понтонный батальон. Они очень торопились к переправе. По-моему, в воздухе попахивает последним штурмом. И наша бригада... Словом, у меня есть нюх, я, кажется, правильно выбрал день, чтобы приехать сюда.

Гулиашвили. Очень правильно, дорогой. Так правильно, как будто ты за сто верст увидел, как командующий приказ пишет.

Сергей. Уже есть приказ?

Гулиашвили. Не знаю. Но я сегодня видел комбрига — у него было очень интересное лицо. Как будто он очень хочет что-то всем сказать, но пока не может.

Пауза.

Видал новые машины?

Сергей. Видал.

Из «эмки» слышится танцевальная музыка.

Попробуй Европу поймать, Севастьяныч.

Севастьянов. Трудно. Все время глушат друг друга. Вот слышишь?

Слышен треск. Тишина. Опять треск.

Гулиашвили. Ничего не сделаешь, дорогой, война. На земле война — в эфире война.

Врывается резкая военная музыка. Слова немецкой военной песни. Топот солдатских сапог.
Голос немецкого диктора: «Wir übertragen aus Krakov. Es marschieren augenblicklich unsere Soldaten auf den Strassen der uralten Stadt Polen».

Сергей. Немцы вступили в Краков. *(Переводит.)* «Наши солдаты маршируют по улицам древнейшего города Польши».

Голос диктора: «Es ist die Stadt die jemals die uralte Hauptstadt Polen gewesen ist».

Сергей. «Этот город когда-то был столицей Польши».

Голос диктора: «Diese Stadt, die sechshundert tausend Einwohner hatte...»

Сергей. «Этот город, в котором было шестьсот тысяч жителей»... Довольно, выключи.

Севастьянов выключает радио. Молчание.

Здорово здесь, в Монголии, чувствуешь расстояние, а?

Пауза.

Конечно, все эти Беки и Рыдз-Смиглы — дрянь и авантюристы, но когда я думаю о польских солдатах, просто о людях... Честное слово, надоело слушать, как эти фашисты маршируют по Европе...

Вбегает Сафонов.

Сафонов. Товарищ майор!

Сергей. Что?

Сафонов. Только самый конец поймали.

Сергей. Какой конец? Чего конец?

Сафонов. Указа. Я на рации был. Только включили и слышу: «Одиннадцать — красноармейца Якимчука Ивана Петровича. Сейчас мы передавали Указ Верховного Совета о награждении званием Героя Советского Союза участников боев в районе реки Халхин-Гол». Товарищ майор, разрешите «эмку» взять, я съезжу во второй батальон, может, там на рации все поймали.

Сергей. Если поймали — сами сообщат.

Сафонов. Нет терпенья, товарищ майор. Разрешите, за вас же интересуюсь!

Сергей. А что вы так за меня интересуетесь?

Сафонов. Я слышал, товарищ майор, что из нашей бригады...

Сергей. А вы слухам не верьте. Поняли?

Сафонов. Понял.

Сергей. Можете идти.

Сафонов уходит.

(Взволнованно прохаживается, говорит ворчливо себе под нос.) Слышал он! Я тоже, может быть, слышал.

Гулиашвили. А хочется поверить, дорогой.

Сергей. Конечно, хочется. Что я, каменный, что ли?

Гулиашвили. А знаешь, Сережа, все-таки здорово это придумано, дорогой, что будут ставить бюст героя там, где он родился. В том городишке, где играл в «казаки-разбойники» и гонял голубей, стоит твой бронзовый бюст, и все мальчишки города хотят быть похожими на тебя. Они проходят мимо твоего бюста и говорят: «Это же — парень из нашего города!» А про себя думают: «А чем мы хуже?»

Входит мотоциклист.

Мотоциклист. Товарищ майор! Пакет из штаба бригады. *(Передает пакет, вынимает из кармана кожанки газету.)* А это из политотдела. Приказали лично вам передать. Срочный выпуск фронтовой газеты. Разрешите ехать?

Сергей. Можете ехать. *(Разрывает пакет.)* К двадцати одному — на исходные позиции. Значит, правильно. Штурм. Севастьянов! Начинайте выводить вашу роту. Пойдете головным.

Севастьянов. Есть. *(Уходит.)*

Сергей *(Гулиашвили)*. Вы начнете через пять минут следом за ним.

Г у л и а ш в и л и. Дорогой! В этой газете Указ, непременно Указ о героях. Из нашей бригады — ты. Я точно знаю. Посмотри.

С е р г е й *(складывает газету вдвое, потом вчетверо, решительно засовывает ее под кожанку, застегивает пуговицу).* После боя прочту.

Г у л и а ш в и л и. Ну, как же ты, дорогой? Идти в бой, не зная: вдруг — да, а вдруг — нет.

С е р г е й. Ничего, злей буду.

Г у л и а ш в и л и. А если...

С е р г е й. Что — если? Если убьют? Да? Так эти «если» в нашей с тобой жизни уже десять раз были и еще сто раз будут. О них думать — воевать разучишься. *(Дотрагивается рукой до кожанки, там, где под ней спрятана газета.)* Здесь не только те, что дожили: здесь ведь и те, что не дожили. Победу одни живые не делают. Ее пополам делают: живые и мертвые. А война еще только начинается.

Г у л и а ш в и л и. Начинается? Последний штурм, дорогой.

С е р г е й. Последний штурм? Чего? Зеленой сопки на реке Халхин-Гол? Ты сегодня плохо слушал радио, Вано.

Г у л и а ш в и л и. Почему плохо?

С е р г е й. Плохо. Ты сейчас о последней сопке думаешь, а я — о последнем фашисте. И думаю о нем давно, еще с Мадрида. Пройдет, может быть, много лет, и за много тысяч километров отсюда, в городе... в общем, в последнем фашистском городе поднимет этот последний фашист руки перед танком, на котором будет красное, именно красное знамя. И вылезет из танка танкист и усталой рукой вытрет с лица пот. Кто это будет? Кто вылезет? Ты? Или я? Или не ты и не я, а кто-то совсем другой? Всякие будут «если». Только победа будет без «если». Просто будет — и все. *(Смотрит на часы.)* Иди, Вано, и выводи свою роту, я замыкаю через пять минут.

Гулиашвили уходит.

(Бессознательным движением расстегивает пуговицу кожанки.)

Долгая пауза.

(Снова застегивает пуговицу.) А все-таки, кто же там вылезет из танка?

Пауза.

И все-таки, я вылезу. Я. Сам.

З а н а в е с

1940—1941

Русские люди

Драма в трех действиях, девяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иван Никитич Сафонов — командир автобата.
Марфа Петровна — его мать, 55 лет.
Валя Анощенко — шофер, 19 лет.
Александр Васильевич Васин, 62 года.
Иван Иванович Глоба — военфельдшер, 45 лет.
Панин — корреспондент центральной газеты.
Ильин — политрук.
Шура — машинистка.
Харитонов — врач-венеролог, 60 лет.
Мария Николаевна — его жена, 55 лет.
Козловский — он же Василенко, 30 лет.
Морозов.
Лейтенант.
Старик.
Семенов.
Розенберг.
Вернер.
Краузе.
Неизвестный.
Раненый.
Командиры, красноармейцы, немецкие солдаты.

Место действия — Южный фронт.
Время действия — осень 1941 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Комната с большой русской печкой, с иконами в углу. Рядом с ними приширилена большая фотография Сафонова в кепке и шоферских рукавицах.

Вечер. Марфа Петровна сидит за картами. Против нее Мария Николаевна в пальто.

Марфа Петровна *(отрываясь от карт)*. А то, может, разденешься?

Мария Николаевна. Нет-нет, я ненадолго.

Марфа Петровна. А помнишь, Маруся, как мы на женихов с тобой гадали, а? Это в каком году-то было? Дай бог памяти. Это было в году... в тысяча девятьсот восьмом году это было. Думали все, какие они явятся? Ах, хорошие, наверно. И вот оказалось все напротив. Мой и пожить со мной не успел — помер. А твой, ты извини,— какой гадюкой оказался!

Мария Николаевна. Марфа Петровна...

Марфа Петровна. Ты уж извини — гадюка. Говорю, что думаю.

Мария Николаевна. Ну, а что же ему было делать? Что же ему было делать? Пришли, стали в доме жить. А потом городским головой назначили. Он не хотел.

Марфа Петровна. Верю, что не хотел, но его главная мысль не об этом. Ему все равно, кем быть. Его главная мысль, чтобы живым остаться. Раз струсил, два струсил, три струсил, а дальше и до подлости дошел. Ты мне не говори, я его тоже знаю. *(Наклоняется над картами.)* И выходит тебе, Маруся, казенный дом. А дальней дороги тебе не выходит. Как тут жила, так и помрешь, дура дурой. Вот сын твой придет с войны, он вас отблагодарит. Скажет: «Спасибо вам, родители, за то, что фамилию мою опоганили, отмыть нечем». Вот что он вам скажет.

Мария Николаевна. Только бы жив был... Я от него из Тирасполя последнее письмо получила.

Стук в дверь.

Марфа Петровна *(идет к двери)*. Кто там?

Голос: «Быстрей».

Марфа Петровна снимает крючок Входит немецкий фельдфебель, солдат и Козловский. Козловский в пальто, в полувоенной фуражке, с полицейской повязкой на рукаве.

Козловский. Сюда женщина входила? *(Замечает сидящую за столом Марию Николаевну, подходит, быстро поворачивает ее за плечи.)* Простите. Как вы сюда попали?

Мария Николаевна. Подруга детства. Здравствуйте.

Козловский. Здравствуйте. *(Смотрит на карты.)* Ах, гаданье... Тройка, семерка, туз... Давно вы здесь?

Мария Николаевна. Давно.

Козловский *(поворачивается к фельдфебелю)*. В следующий дом. Тут нет.

Козловский, немецкий фельдфебель и солдат уходят. Марфа Петровна, заперев дверь на крючок, брезгливо вытирает руки о висящее у двери полотенце.

Мария Николаевна. Козловский. Знаете, в первый день, когда познакомились с ним, милый был человек. Каких-то родственников своих здесь вспоминал: дядю пятнадцать лет не видал, говорил. Сидел, чай пил... А сейчас просто страшен. Дергается весь.

Марфа Петровна. Погоди, и твой тоже дергаться будет. Люди когда до окончательной подлости доходят, так сразу дергаться начинают. Эх ты! Взяла бы в платочек платьишки связала, с чем пришла тридцать годов назад, с тем и ушла бы от него. А немцам порошку бы на прощанье всыпала. Да где уж там... А ведь хорошая ты девка была, красивая, веселая. Где все, скажи, пожалуйста?..

Мария Николаевна. Я пойду. Поздно уже. Но только не думай так плохо...

Марфа Петровна. Иди уж! Тошно будет — заходи. Сперва поворчу, потом пожалею. Тебя, конечно. А твоего мне не жалко. Тьфу! Ну его к черту! *(Провожает гостью, закрывает дверь на крючок, прислушивается. Потом громко, повернувшись к печке, говорит.)* Ну!

С печки легко соскакивает Валя в куртке и мужских сапогах.

Ну вот, и проехали гости. Сердце-то колотилось небось?

Валя. Ага.

Марфа Петровна. Все ж таки страшно?

Валя. Ага.

Марфа Петровна. Эх ты, разведчица! Чаю-то хочешь?

Валя. Ага.

Марфа Петровна. Что ты мне все «ага» да «ага», как басурманка. Ты скажи: «Спасибо, тетенька, премного благодарна, налейте мне чаю».

Валя. Спасибо, тетенька, налейте чаю.

Марфа Петровна. Вот то-то.

Далекие выстрелы.

Опять стреляют.

Пауза.

Скажи-ка, девушка, а вот ко мне тут мужчина от вас являлся, про сына говорил, привет передавал. Ну, это, конечно, прочих дел не считая. Где тот мужчина?

Валя. Его вчера в бою убили. Потому меня и послали.

Марфа Петровна. Да, видный был. А ты что, девушка, через лиман вплавь, что ли?

Валя. Вплавь.

Пауза.

Когда он придет, а?

Марфа Петровна. Придет в свое время. Сейчас на улицах все патрули ихние топают. Вот оттопают, пойдут свой кофий пить, тут он и придет как раз. Человек он такой, аккуратный.

Валя. Как его звать-то?

Марфа Петровна. Как раньше звали, не помню, а теперь Василием зовут. Теперь всех у нас так зовут: кого Василием, кого Иваном...

Валя. Я ведь тут раньше шофером у председателя горсовета работала, так что я многих знаю.

Марфа Петровна. Шофером? Ну, тогда, может, и знаешь. Он, говорят, до немцев известный человек был в городе.

Валя. Кто — он?

Марфа Петровна. Да Василий.

За окном близкий выстрел.

Вон, опять бьют... А ты говоришь, почему не идет. Придет в свое время. Ты лучше чайку попей.

Валя. Ой, дайте.

Марфа Петровна *(наливает чай)*. Ишь какая. Пришла, целый кувшин воды сразу, а теперь чаю.

Валя. Да ведь нет у нас там воды. Водокачку взорвали. Стакан на день, хоть из лимана соленую пей!

Марфа Петровна. Да...

Пауза.

Ну, а сын-то живой, что ли? Все командует у вас там?

Валя. Командует. Он вам передавал поклон низкий. *(Замечает карточку на стене.)* А это что, он?

Марфа Петровна. Он. Да ты на карточку не гляди. Он не так чтобы интересный из себя, но зато орел парень.

Валя. Его у нас любят все.

Марфа Петровна. Это у него с издетства. Он отродясь заводилой был.

Валя. И маленький когда был — тоже?

Марфа Петровна. Ох, не приведи господи. Только ко мне и ходили с жалостями на него. Ну, а я говорю: лови. Поймаешь — уши надеру, а не поймаешь,— значит, ушел, его счастье. *(Задумчиво.)* А ты что это интересуешься, девушка?

Валя. Так просто.

Марфа Петровна. А-а. А то я подумала...

Валя. Что подумали?

Марфа Петровна. Может, любовь у вас...

Валя. Нет, он только шутить любит. У меня, говорит, мой шофер вместо невесты. Меня невестой объявил. Все невеста да невеста.

Марфа Петровна. Невеста? Да разве это звание сейчас есть?

Валя. А вы что, против него?

Марфа Петровна. Я не против, а только не время сейчас в невестах-то сидеть. Сегодня невеста, а завтра вдова. Так женой и не будешь.

Валя. Так «невеста» — это же он в шутку.

Марфа Петровна. Ну, если в шутку.

Пауза.

Сейчас жизнь такая — мало в ней шуток. Ты хоть глазком-то глянула, когда немцы были?

Валя. Нет, я только голоса слышала. Я шевельнуться боялась.

Марфа Петровна. По-русски говорил — это с ними Козловский был. Нездешний человек и подлый. Они его из Николаева привезли. А это, я считаю, хорошая примета, что привезли, потому что, значит, подлецов им в каждом городе не хватает. Одних и тех же из города в город возить приходится. *(Прислушивается, потом смотрит на стенные часы-ходики.)* Ну, вот теперь они кофий пьют. Это ежели уж нагрянут теперь, то, значит, бог попустил!

(Не сходя с места, говорит.) Василий?

Молчание.

А Василий?

Валя невольно смотрит на дверь

Василий?

Из-за занавески, в дверях соседней комнаты, потягиваясь, показывается бородатый мужчина.

Морозов. Ой, Марфа Петровна, и вздремнул я крепко.

Марфа Петровна. Даже немцы не побудили?

Морозов. Нет, на немцев у меня свое чутье, а как вы с девушкой журчать стали, так я опять заснул; думаю, пускай поговорят. *(Жмурясь от света, садится.)* Ох, и темно же у тебя в подполье!

Валя *(внимательно всматривается в него и вдруг всплескивает руками)*. Сергей Иванович!

Морозов. Я вам, товарищ водитель, не Сергей Иванович, а Василий. Ясно?

Валя. Ясно, товарищ Морозов!

Морозов. И я вам, товарищ водитель, не Морозов, а тоже Василий. Ясно?

Валя. Ясно.

Морозов. И я вам, товарищ водитель, не председатель горсовета, а опять-таки Василий. Тоже ясно?

Валя. Тоже ясно.

Морозов *(шутливо)*. Ну, а раз все ясно, то где же машина? Опять, наверно, не в порядке? Опять что-нибудь там? Рессора лопнула, да? Или как?

Валя. Все вы шутите, Сергей... Все вы шутите.

Морозов. Да. Все мы теперь шутим. Шутим, товарищ водитель.

Валя. Мы, значит, вас-то и ждали.

Морозов. Выходит, что нас. Ну, давай цидульку-то.

Валя достает из-за пазухи маленькую бумажку.

Ну, а ежели бы немцы?..

Валя. Проглотила бы.

Морозов. Ну ладно, коли так. *(Читает бумажку.)* Да уж придется вам, товарищ водитель, тут суточки посидеть. Тут мне такое воззвание прислали. Это не просто гранату в комендатуру кинуть. Это размышлений требует. Ну, что там слышно у вас в обороне вашей?

Валя. От лимана до поселка — наши. На Заречной — наши. И потом по Ряжской и до лимана обратно, а кругом немцы.

Морозов. Ясно, немцы. Они на тридцать верст вперед ушли уж. Вот, как говорят, не чаяли, не гадали, в тылу немецком оказались. Ну что ж, война. Бывает. У вас-то хоть в полгороде, за лиманом, Советская власть, а у нас — немецкая.

В дверь кто-то тихо скребется. Морозов вытаскивает револьвер. Марфа Петровна делает знак, чтобы они уходили. Валя залезает на печку. Морозов уходит за занавеску. Марфа Петровна подходит к двери.

Марфа Петровна. Кто там?

В дверь опять скребутся. Марфа Петровна открывает дверь, и через порог падает на пол комнаты окровавленный человек в штатском, видимо сидевший прислонясь к двери. Марфа Петровна молча втаскивает его и, заперев дверь на крючок, становится около него на колени.

Ты кто есть?

Раненый *(слабым голосом)*. А тут кто?

Марфа Петровна. Мы, свои.

Раненый. Водицы...

Марфа Петровна. Девушка!

Валя слезает с печки.

Подай воды. Подымем его.

Раненый *(услышав, качает головой)*. Не надо. Тут есть кто? Мне сказать надо... Я помру сейчас.

Марфа Петровна *(оставляет Валю с ним)*. Пои, пои его, девушка. *(Идет за занавеску и говорит негромко.)* Василий!

Раненый. Это кто, это свои?

Валя. Свои, свои...

Входит Морозов.

Раненый. Я из окружения шел... Они... меня увидели... и вот... А документы взяли они... Моя фамилия... Водицы...

Валя *(дает ему еще воды)*. Ну, фамилия?

Раненый. Моя фамилия... Ой, водицы...

Ему дают еще воды. Человек, вздрогнув, затихает.

Валя *(отпускает его голову; смотрит на его пиджак, у которого выворочены карманы и разорваны рукава)*. Ой, как разорвали все. Документы, наверно, искали.

Морозов *(поднимается, стоит руки по швам)*. Ну что ж, прощай, неизвестный товарищ. *(Неожиданно стирает слезу рукавом.)* Вот, кажется, и привык, а жалко людей. *(Смотрит на Валю.)* А ты что ж, водитель, не плачешь?

Валя. Не могу. Я уже все видала, Сергей Иванович, что и не думала никогда видеть — видала. Не могу плакать. Слезы все.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Штаб Сафонова. Прокуренная комната железнодорожного помещения. Несколько дверей. Сафонов, Ильин. За машинкой — Шура.

Сафонов. Одиннадцатый день. И Крохалева позавчера убили. Или нет, когда? Ты у меня какой день за комиссара? А, Ильин?

Ильин. Два дня. Нет, три.

Сафонов. Три? Дни через эту бессонницу мешаются. Ты вызвал этого... Васина?

Ильин. Вызвал.

Сафонов. Хороший старик, говорят?

Ильин. Говорят.

Сафонов. Он у меня начальником штаба будет, если хороший. А звание я ему восстановлю по случаю нашей полной осады. Да, Ильин, мало людей остается.

Ильин. Вали второй день нет. Неужели ее немцы взяли?

Сафонов. Не хочу я этого слышать.

Пауза.

Нет, ты мне скажи, почему мужики такие сволочи? Девка вызывается в разведку идти, а вы молчите.

Ильин. Женщине легче. Я могу пойти, если надо. Только толку меньше будет.

Сафонов. Это верно. А писателя вызвал?

Ильин. Вызвал.

Сафонов. Я его хочу начальником особого отдела.

Ильин. А разве Петров... ведь еще вчера вроде был совсем...

Сафонов. Что совсем? Умер. Вот тебе и совсем. Шура его вылечить обещала, а не вылечила, соврала.

Шура. Я около него двенадцать часов сидела. Я ему голову держала. У меня руки болят, я печатать не могу. Вот видите, как дрожат, а вы говорите...

Сафонов. Это все история. Это мы потом тебе благодарность вынесем, а теперь — не вылечила, соврала, вот что сейчас я знаю.

Открывается дверь. Входит Васин, очень высокий, сутуловатый, с бородой, в штатском пальто, подпоясан ремнем. На плече винтовка, которую он носит неожиданно ловко, привычно.

Васин. По вашему приказанию явился.

Сафонов. Здравствуйте, садитесь.

Васин. Здравия желаю.

Сафонов. Вы в техникуме военное дело преподаете?

Васин. Преподавал. Сейчас, как вам известно, у нас отряд.

Сафонов. Известно. Сколько потеряли студентов своих?

Васин. Шесть.

Сафонов. Да... Садитесь, пожалуйста. Курить хотите?

Васин *(берет папироску)*. Благодарю. *(Зажигает спичку, закуривает, дает прикурить Сафонову.)*

Прикуривать тянется Ильин. Васин неожиданно тушит спичку. Ильин удивленно смотрит на него.

(Чиркает другую спичку.) Простите. Старая привычка: третий не прикуривает.

Сафонов. Блажь. Примета.

Васин. Не совсем. Это, видите ли, с бурской кампании повелось. Буры — стрелки весьма меткие. Первый прикуривает — бур ружье взял, второй прикуривает — прицелился, а третий прикуривает — выстрелил. Так что примета почву имеет.

Сафонов. Вы, я слышал, в русско-японской участвовали?

Васин. Так точно.

Сафонов. И в германской?

Васин. Так точно.

Сафонов. А в гражданской?

Васин. В запасных полках, по причине инвалидности.

Сафонов. А в германскую войну, я слышал, вы награды имели?

Васин. Так точно. «Георгия» и «Владимира с мечами и бантом».

Сафонов. А чем доказать можете?

Васин. В данное время не могу, так как с собой не ношу, а доказать могу тем, что храню.

Сафонов. Храните?

Васин. Так точно, храню.

Сафонов. «Георгия» — это ведь за храбрость давали?

Васин. Так точно.

Сафонов *(после паузы)*. Вас Александр Васильевич зовут?

Васин. Так точно.

Сафонов. Так вот, Александр Васильевич. Хочу я вас к себе в начальники штаба взять. Как вы считаете, а?

Васин. Как прикажете.

Сафонов. Да что ж, прикажу. Как здоровье-то ваше? Можете?

Васин. Полагаю, что могу.

Сафонов. Город хорошо знаете?

Васин. Здешний уроженец. Родился здесь в тысяча восемьсот семьдесят девятом году.

Сафонов *(мысленно считает)*. Однако старый вы уж человек.

Васин. Совершенно верно.

Сафонов. А вот опять воевать приходится.

Васин *(пожимая плечами)*. Разрешите приступить к исполнению обязанностей. Вы приказом отдали?

Сафонов. Отдам. *(Шуре.)* Печатай: «Приказ номер четыре по гарнизону. Начальником штаба обороны города назначаю...» *(Васину.)* Ваше как звание-то? *(Прислушивается, прерывает диктовку.)*

Далекие пулеметные очереди.

Это на лимане, по-моему, а? *(Прислушивается.)*

Васин *(прислушивается)*. Так точно, на лимане у левого брода.

Сафонов *(Ильину)*. Поди свяжись с Заречной. *(Шуре.)* Она где туда переходила?

Ильин выходит.

Шура. У брода.

Сафонов. Ведь все тихо было, а?

Шура. Тогда тихо.

Сафонов. Да. *(В задумчивости ходит.)*

Васин. Вы спросили...

Сафонов *(спохватившись)*. Я говорю, вы какое звание в старой армии имели?

Васин. Штабс-капитан.

Сафонов. Ну, штабс — этого теперь нету. Значит, капитан. А из Красной Армии с каким званием в запас уволены?

Васин. В тысяча девятьсот двадцать девятом году, по инвалидности, в должности комбата.

Сафонов. Ну, комбата теперь тоже нет. Значит, майор. *(Шуре.)* Значит, пиши: «...назначаю майора Васина А. В.».

Пауза.

У меня шинели для вас нет. У меня тут только шинель комиссара моего осталась, так вы ее возьмите и носите.

Васин. Разрешите заметить, что все это будет незаконно.

Сафонов. Знаю, что незаконно. А что же, мне прикажете, чтобы у меня начальник штаба вот так, в лапсердаке ходил? Я вам должен звание присвоить, хотя и права не имею. Коли до наших додержимся, так и быть, простят они это нам с вами. Что, еще возражать будете?

Васин. Нет. Разрешите приступить к исполнению обязанностей.

Сафонов. Приступайте. Пойдем в ту комнату. Я тебе, Александр Васильевич, карту покажу. Только погоди. На дворе-то с утра холодно? Я еще не выходил.

Васин. Так точно, холодно.

Сафонов. Шура! У тебя там где-то бутылка стояла, а? *(Наливает в жестяные кружки.)* Водку-то пьете?

Васин молча пьет.

Как вижу, лишних слов не любишь?

Васин. Точно так, не люблю.

Сафонов *(вздыхая)*. А я вот, есть грех, люблю. Ну, это ничего, это пройдет. Ты мне напоминай в случае чего. Будешь?

Васин. Так точно, буду.

Сафонов и Васин выходят. Шура, бросив машинку, прислушивается. Когда она не стучит, стрельба за окнами слышнее. Входит Панин. По-штатски кланяется Шуре, снимает и кладет мешающую ему фуражку.

Панин. Здравствуйте, Шурочка.

Шура. Здравствуйте.

Панин. Как поживаете, Шурочка?

Шура. Хорошо. *(Возвращает ему тетрадку.)* Я прочла, товарищ Панин. Мы позавчера вечером сидели с Валечкой и плакали. Это вы сами написали?

Панин. Нет, я стихов не пишу. Это мой товарищ написал. Мы с ним вместе на Западном фронте были.

Шура. А где он сейчас?

Панин. Нету его, убили.

Шура. Неправда.

Панин. Я тоже, Шурочка, сначала думал — неправда, а потом оказалось — правда.

Шура. Мы позавчера ночью сидели. Печку зажгли. Капитан на полчаса спать лег, а мы с Валечкой все читали и плакали. А потом Валечка собралась — и туда, в разведку пошла. А капитан открыл глаза и меня спрашивает: «Вы чего тут с ней читали?» И я ему опять прочла все. А он грустный лежал. «Хорошо»,— говорит. Расстроился даже.

Панин. Капитан?

Шура. Ну да, капитан. А чего вы удивляетесь?

Панин *(пожимая плечами)*. Так...

Шура. Он еще оттого расстроился...

Входит Сафонов.

Сафонов. А, писатель! Здорово.

Панин. Привет.

Сафонов. Шура! Выдь на минуту.

Шура выходит.

Тут у нас теперь, писатель, дело такое. Сил нету больше. Мало сил. Ты себя к этой мысли приучил, что помирать, может, тут придется, вот в этом городе, а не дома? Сегодня-завтра, а не через двадцать лет. Приучил?

Панин. Приучил.

Сафонов. Это хорошо. Жена у тебя где?

Панин. Не знаю. Наверно, где-нибудь в Сибири.

Сафонов. Да. Она в Сибири, а ты вот тут. «В полдневный жар в долине Дагестана... и снилось ей...» В общем, ей и не снилось, какой у нас тут с тобой переплет выйдет. Положение такое, что мне теперь писателей тут не надо. Так что твоя старая профессия отпадает.

Пауза.

Член партии?

Панин. Кандидат.

Сафонов. Ну, все равно. Петров ночью умер сегодня. Будешь начальником особого отдела у меня.

Панин. Да... но...

Сафонов. Да — это правильно, а но — это уже излишнее. Мне, кроме тебя, некого. А ты человек с образованием, тебе легче незнакомым делом заниматься. Но чтоб никакой этой мягкости. Ты забудь, что ты писатель.

Панин. Я не писатель. Я журналист.

Сафонов. Ну, журналист — все равно, забудь.

Панин. Я уже забыл.

Открывается дверь, и входит Валя. Она вся мокрая, в накинутой на плечи шинели.

Валя. Товарищ капитан...

Сафонов. Будь ты неладная. *(Бросается к ней, неловко целует в щеку, отпускает.)* Что же ты людей с ума сводишь, а?

Валя. Я все сделала, товарищ капитан.

Сафонов. Ну и хорошо. Но ты что думаешь, нам только это и важно? А что ты есть — живая или мертвая,— нам это тоже важно, может быть. В кого из пулемета стреляли? В тебя?

Валя. Ага.

Сафонов. Да ты же обмерзла вся. Шура! *(Кричит.)* Шура!

Валя. Товарищ капитан, разрешите доложить...

Сафонов. Никаких доложить. Сушись иди.

Валя. Никуда я не пойду, прежде чем не доложу. Понятно?

Сафонов. Говорю тебе, иди сушись, потом... *(Останавливается под ее взглядом.)*

Валя. Понятно?

Сафонов. Понятно, понятно. Ну, давай скорей. *(Слушает ее нетерпеливо, стоя у стола и постукивая пальцами.)* Была?

Валя. Была.

Сафонов. Передала?

Валя. Передала.

Сафонов. Пакет где?

Валя. Вот.

Сафонов. Иди сушись.

Валя. Нет, еще не все.

Сафонов. Ну?

Валя. Василий велел передать, что завтра ночью переправлять людей будет, чтобы не стреляли.

Сафонов. Все? Сушиться иди.

Валя. Нет, не все.

Сафонов. Ты же зубами стучишь, дура. Сушись, говорю.

Валя. Он велел передать, что в два часа ровно.

Сафонов. Все?

Валя. Все.

Входит Шура.

Сафонов *(Шуре)*. Ну, иди, грей ее там. Я же не могу. Дай ей чего-нибудь. В крайнем случае мой полушубок, штаны дай. Ясно?

Шура. Ясно, товарищ капитан.

Шура и Валя выходят в другую комнату.

Сафонов. Проклятая девка.

Панин. Почему проклятая?

Сафонов. Упорная.

Панин. Это хорошо.

Сафонов. А я разве говорю, что плохо? Я любя говорю «проклятая».

Панин. Любя?

Сафонов *(услышал неожиданную интонацию этого слова)*. Ну да, сочувствуя. Что же я, человека на смерть пустил, так я за него уже и волноваться не могу? А если его нет два дня?..

Панин. Кого — его?

Сафонов. Ну, ее. Что ты ко мне, писатель, привязался?

Панин. Опять писатель?

Сафонов *(улыбнувшись)*. Прости, пожалуйста, товарищ начальник особого.

В комнату входит Васин. Он в сапогах и в кителе старого образца с кожаными пуговицами. На плечах у него шинель.

Васин. Товарищ капитан, портупея у вас есть?

Сафонов. Что? Есть, есть портупея, найдем. *(Подходит к Васину, берет его за пуговицу, радостно.)* Ага, помню. Это в тысяча девятьсот двадцать пятом году такие в армии носили; помнишь, Панин? С такими пуговицами. Да?

Васин. Совершенно верно.

Сафонов. Хорошие пуговицы.

Из другой комнаты выходят Шура и Валя. Валя в галифе капитана, в сапогах, закутанная в полушубок, крепко прижимает его руками к груди.

Валя. Ох, как тепло, Шурка, в капитанском полушубке. Прямо мехом к телу... Хорошо. *(Заметив Сафонова.)* Спасибо, товарищ капитан.

Пауза.

Входит Ильин.

Ильин. Капитан, к аппарату.

Сафонов. Пойдем, Александр Васильевич; пойдем, начальник особого.

Сафонов, Ильин, Васин и Панин уходят.

Валя. А я их и не заметила. Ну, ничего. Он и правда знаешь какой теплый. А я замерзла... вода, знаешь, даже льдинки в ней. Еле доплыла.

Шура. А он тут переживал.

Валя. Кто это — он?

Шура. Капитан.

Валя. Это почему же?

Шура. Не знаю. Может, ты знаешь?

Валя. Нет.

Пауза.

Все ты врешь, Шурка.

Шура. Ей-богу.

Валя. Ой, холодно. *(Поеживается.)* Вот даже в полушубке, а все-таки холодно. А знаешь, Шура, я думаю, наверно, мне скоро опять идти.

Шура. Да ну?

Валя. Наверно.

Шура. Неужели капитан тебя опять пошлет? Я просилась, а он не велит. Почему?

Валя. Потому что я здешняя. А ты нездешняя.

Шура. Опять тебя. А сам переживает.

Пауза.

Я на него иногда гляжу, а у него глаза озорные, даже страшно. Он, наверно, до войны озорник был. Беда для баб.

Валя. Он некрасивый.

Шура. Это ничего, что некрасивый. А все равно, озорник был, я знаю. А сейчас притих. Он что тебе, не нравится?

Валя. Нет.

Шура. А когда понравится?

Валя. После войны.

Шура. А война, она знаешь какая будет?

Валя. Какая?

Шура. А вдруг длинная-предлинная. Нельзя после войны. Не скоро.

Валя. Ничего, я терпеливая.

Шура. А я нет.

Молчание. Входят Ильин и Козловский, одетый в рваное штатское платье.

Ильин. Где капитан?

Валя. В той комнате.

Ильин *(Козловскому)*. Садитесь. Замерзли? Водки хотите?

Козловский. Не откажусь.

Ильин. Шура, налей водки товарищу.

Шура наливает в жестяную кружку водки. Козловский пьет.

Козловский. Ну вот. А то прямо из воды — и еще ведут тебя через город.

Ильин. А вы что же думали? Сразу: переправился — и полное доверие, да?

Козловский. Нет, я не думал, но все же... Немцы-то стреляли по мне. Довольно наглядно было. Как по-вашему?..

Ильин. Что верно, то верно. Потому и водки даем, что наглядно.

Входит Сафонов.

Товарищ капитан, вот переправился с той стороны, от немцев.

Сафонов *(подходит к Козловскому)*. Здорово! *(Пожимает ему руку.)* Откуда идешь?

Козловский. Из-под Николаева пробираюсь.

Сафонов. Так. Чего же это ты? Уж лиман перешел, а потом назад к нам?

Козловский. Я узнал в городе, что тут еще наши,— хоть в окружении, да все-таки наши. Я и подумал: чем дальше идти, дойдешь ли, а тут переплыл — и готово.

Сафонов. Документов небось нет?

Козловский. Есть.

Сафонов. Ишь ты. С документами.
Козловский. Девушки, у вас ножниц нет?
Шура. Зачем?
Козловский. Подпороть нужно.

Валя подходит к нему, помогает распороть рукав.

Партбилет без карточки, конечно. Но главное сохранилось, верно?

Сафонов *(рассматривает вымокший партбилет)*. Верно. Какое звание-то?

Козловский. Младший политрук Василенко Иван Федорович.

Сафонов. Тезки, значит. Что, замерз?

Козловский. Замерз.

Сафонов. Согрели тебя?

Козловский. Согрели.

Сафонов. Это насчет воды у нас плохо, а водка — это у нас есть. Только знаешь, такая жажда бывает, что без воды и водки пить не хочется. Ну, по случаю спасения придется тебе стакан чаю дать. Шура, а Шура!

Шура. Сейчас.

Сафонов. Ты давай сейчас иди спи. Хочешь?

Козловский. Хочу.

Сафонов. Там моя шинель лежит. На ней устройся. А потом мы тебе проверку сделаем и к месту определим. Мне каждый человек нужен. Я тебе отпуска по случаю твоих переживаний не могу дать. Понятно?

Козловский. Понятно.

Сафонов. Иди. Она тебе чай туда принесет.

Козловский идет к двери.

(Неожиданно.) Какой части?

Козловский. Сто тридцать седьмой гаубичной.

Сафонов. Кто командир?

Козловский. Чесноков.

Сафонов. Комиссар?

Козловский. Зимин...

Сафонов. Ну, иди, иди, грейся.

Козловский выходит.

Валя *(что-то мучительно вспоминая)*. Вот не видала я его. Не видала, а голос слыхала. Где я могла его голос слыхать? До войны, что ли?

Сафонов. Голос слыхала. Фантазия одна. Что он, Шаляпин, что ли, чтобы его по голосу запоминать?

Валя. Нет, я слышала, Иван Никитич.

Сафонов. Опять свое. Ты чего бегаешь? Тебе тоже спать надо. Ясно?

Валя. Ясно.

Сафонов. Ну и иди, пожалуйста. А то: голос слыхала. Увидала — интересный военный; конечно, познакомиться сразу захотелось. «Где-то я вас встречала, да где-то я ваш голос слыхала...» Ну, это я шучу, конечно. Ты, главное, спать иди, вот что.

Валя и Шура выходят.

(Ильину.) Панин ушел, что ли?

Ильин. Нет, здесь.

Сафонов. Ты ему скажи, чтоб он потом зашел, с ним поговорил. Человек этот, Василенко, вроде человек хороший. Я, конечно, с радостью. Но все-таки пусть поговорит, чтобы порядок был.

Молчание.

Что меня волнует, Ильин, это меня то волнует, что где Глоба. Дошел ли Глоба до наших войск, или не дошел Глоба — это меня больше всего волнует. Потому что помирать я готов, но помирать меня интересует со смыслом, а без смысла помирать меня не интересует. Ну, пошли. *(Выходит. В двери останавливается.)* Вернись, скажи Александру Васильевичу, чтобы с нами пошел.

Ильин пересекает сцену, заходит в одну из комнат. Из комнаты Сафонова выходит Козловский. Шинель внакидку, в руках бумажка, приготовленная для закурки. Из двери выходит Ильин, проходит через комнату, вслед за ним неторопливо идет Васин.

Козловский. Товарищ майор, разрешите обратиться?

Васин. Да.

Козловский *(вглядываясь в него)*. Только что из окружения. Закурить нет ли, товарищ майор?

Васин, достав баночку, аккуратно насыпает ему махорки.

(Испытующе глядя на него.) Товарищ майор, я вас где-то видал, по-моему.

Васин *(спокойно)*. А я вас нет. Простите, ваше звание?

Козловский. Василенко, младший политрук.

Васин. А я вас нет, не видал, товарищ младший политрук.

Пауза.

Огонь у вас есть?

Козловский. Спасибо. Есть.

Васин прячет коробку и выходит. Молчание. Козловский один на сцене.

(После паузы, удивленно присвистнув.) Дядя, а?

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Обстановка второй картины. На сцене Шура. У нее опухшие, заплаканные глаза.

Входит Панин.

Панин. Почему глаза заплаканные?

Шура. Ничего. *(Плача.)* Если бы вы знали, как мне Ильина жалко! Так жалко. *(Плачет.)*

Панин. Шура!

Шура плачет; не отвечая, уходит в другую комнату.

Входит Валя.

Валя. Здравствуйте, товарищ Панин.

Панин. Здравствуйте, Валечка.

Валя. Ох, дела! Сейчас ребятам патроны возила. Как начали строчить, мне мою машину поранили всю, прямо жалко. А меня нет.

Панин. Что, совсем машину?

Валя. Нет, ходит. Я ей говорю: отправляйся на ремонт. А она говорит: разрешите, товарищ водитель, остаться в строю. Я говорю: ну, разрешаю. Так она и осталась.

Панин. С Ильиным утром вы ездили?

Валя. Ага. И главное, знаете, я ему говорю: «Дайте я вас еще подвезу, мы быстро проскочим». А он говорит: «Нет, тебе дальше нельзя, я пешком пойду». Ну, я пошумела, а потом осталась — приказание! А если бы на машине — все в порядке было бы. Жалко мне его, товарищ Панин.

Панин. Что же делать, Валечка, без этого не бывает и, главное, быть не может.

Валя. Я ничего, а вот Шура; видели, наверное?

Панин. Видел.

Валя *(почти шепчет, доверительно)*. Вы знаете, они ведь уже сговорились обо всем с нею. Что там после войны будет, неизвестно, так они тридцать первого вечером, когда тихо, уже свадьбу решили сделать, а вот сегодня тридцатое, и убили его. Вы представьте себе, товарищ Панин, как это грустно. Вот она и плачет все.

Панин *(внимательно глядя на нее)*. А ведь это все неправда, Валечка.

Валя. Что неправда?

Панин. Да вот все, что вы говорите: свадьба... Тридцать первого. Просто так красивее, вот вы и придумали. И грустнее тоже.

Валя. А разве это хуже, если красивее?

Панин. Нет, лучше.

Валя. Его и так жалко, потому что он правда хороший был. А так если... так совсем жалко, до слез. У него, может быть, жена где-нибудь... Она, может, только через год узнает, а нам над ним сейчас поплакать хочется.

Панин *(задумчиво)*. Да, жена через год узнает. Это вы хорошо придумали.

Валя. Правда? Вы не смеетесь?

Панин. Нет, не смеюсь.

Пауза.

Слушайте, Валечка, вы умеете пистолеты разбирать, а?

Валя. Умею.

Панин. Вы же шофер, вы все умеете. Сделайте мне одолжение, разберите его, а я его тряпочкой вытру. А то вы знаете, что вчера случилось? Я ночью за слободой был. Там немножко побоялись наши. Ну, я же теперь начальник особого отдела. Я эту штуку в руки взял и пошел.

Валя. Я слышала. Мне Иван Никитич говорил.

Панин. Это он вам говорил, а самое главное, наверное, не сказал. Ко мне потом лейтенант подходит и говорит: «Вы, товарищ комиссар, кому-нибудь прикажите ваш пистолет почистить, а то у вас в дуле набилось — не выстрелит».

Валя *(смеясь, берет пистолет)*. А мне про вас что говорили!

Панин. Что?

Валя. Что вы раньше в кобуре вместо пистолета одеколон носили, и щетку, и зубной порошок. Это правда?

Панин. Правда. Это очень удобно.

Входит Козловский.

Козловский. Вы меня вызывали?

Панин *(тихо Вале)*. Вы его там в уголке почистите сами, а потом мы с вами поедем.

Валя отходит в угол, чистит пистолет.

Козловский. Вы меня вызывали?

Панин. Да, вызывал.

Козловский. Позвольте узнать зачем, а то ведь я с передовой пришел.

Панин. Ничего. Я должен вам заметить, что в следующий раз, если вы произведете такой самовольный расстрел, я вас судить буду.

Козловский. Была такая обстановка, что один трус мог увлечь за собой всех, и мне пришлось...

Панин. Ложь! У вас в роте не было такой обстановки. Вы должны знать, когда нужно расстрелять на месте, а когда судить.

Козловский. Товарищ Панин, да все равно же... *(Тихо.)* Между нами говоря, конец... Где тут суды разводить! И я погибну и вы!

Панин. Может быть, и вы погибнете и я, но это ни при чем. Пока здесь есть армия и есть закон. Ясно вам это?

Козловский. Ясно.

Панин. И бросьте мне эти разговоры: ах, была не была, все равно пропадать. Это не храбрость — это разложение.

Козловский. Да я сам готов двадцать раз под пули!

Панин. Возможно, но мне до этого дела нет. Все! Идите!

Козловский выходит.

Ну как, Валечка, собрали?

Валя. Сейчас. Раз-два — вот и все. Ой, ну скажите, товарищ Панин, ну где я раньше слышала его голос?

Панин. Да чей голос?

Валя. Василенко.

Панин. Не знаю, Валечка, откуда ж мне знать? Поехали! Только давайте уговоримся: где приказал стоять, там и стойте. За мной не ездить.

Валя. Есть за вами не ездить, товарищ комиссар!

Панин. А то я человек штатский, приказывать не умею, так я уж заранее на вас накричать решил. Чтоб с самого начала боялись.

Панин и Валя уходят.

Из соседней комнаты выходят Сафонов и Васин.

Сафонов. В третью роту? Ну что ж, иди. Только ты, Александр Васильевич, там не очень. Понятно?

Васин. Нет, непонятно. Я выполняю свой долг. Если... выполним его до конца — другим потом легче вперед будет идти.

Сафонов. Не хочу я этого от тебя слышать. Не другие, а мы еще с тобой вперед пойдем. Сталин что сказал? Сказал, что еще пойдем мы вперед. Пойдем, и все тут. *(Задумчиво.)* Сталин... Я, Александр Васильевич, тому иногда не верю, другому иногда не верю, а ему всегда и везде верю. Я его речь по радио когда слушал, у меня контузия еще не прошла, слова в ушах мешались, но и вместо них все равно для себя его слова слышал. Стой, Сафонов, и ни шагу назад! Умри, а стой! Дерись, а стой! Десять ран прими, а стой! — вот что я слышал, вот что он лично мне говорил.

Васин. Фантазер вы, Иван Никитич.

Сафонов. Конечно, а как же? И ты тоже фантазер. Мы все, русские, фантазеры. От этого воюем смелей. Но смелость смелостью, а все-таки...

Васин. Ничего. Меня, милый, в ту германскую войну шесть раз дырявили, а в эту еще ни разу. Так что у меня еще все впереди!

Сафонов. Вот это верно. Ты, Александр Васильевич...

Телефонист *(из другой комнаты)*. Товарищ капитан, вторая рота на проводе.

Сафонов. Иду.

Сафонов выходит. Входит Козловский.

Козловский. Здравствуйте, товарищ майор.

Васин. Здравствуйте, товарищ младший политрук.

Козловский. А где капитан?

Васин. Сейчас придет.

Пауза.

Козловский. Так где-то я вас все-таки видел, товарищ майор.

Васин. Я уже вам говорил! Не помню, чтобы я вас видел.

Козловский. Но, может быть, вы меня не видели, а я вас видел?

Васин. Может быть.

Козловский. Вы в Николаеве не жили?

Васин. Жил с двадцать третьего по двадцать девятый год.

Козловский. Может быть, я вас там видел?

Васин. Может быть, если вы там жили. Разрешите узнать, зачем явились?

Козловский. За боеприпасами. Но это ведь к капитану.

Васин. Нет, можете и ко мне. Винтовочных?

Козловский. Да.

Васин. Двести штук дам. *(Пишет.)* Получите у Семененко.

Козловский *(беря бумажку)*. А подпись капитана не нужна?

Васин. Нет.

Козловский. Хотя ведь вы, в сущности, старший начальник.

Васин *(сердито)*. Старший начальник? Капитан Сафонов — начальник гарнизона, а я — его начальник штаба, и это вам должно быть известно.

Козловский. Конечно, но я так сказал, потому что меня удивляет несоответствие знаков различия...

Васин *(вставая)*. А меня удивляет несоответствие ваших знаков различия и ваших мыслей, товарищ младший политрук, и несоответствие количества сказанных вами слов с количеством дел, которые вы делаете. И несоответствие этого разговора с той обстановкой, какая у нас есть.

Козловский *(присаживаясь)*. Зачем же вы так, товарищ майор, я же не хотел... Зря вы подумали!..

Васин. Встать, когда с вами разговаривает старший!

Козловский встает.

Можете идти. Вы свободны.

Входит Сафонов.

Сафонов. Что тут за шум? О чем спор идет?

Васин. Тут спора не может быть, товарищ капитан. Я сделал замечание младшему политруку, и все. Разрешите отправиться в третью роту?

Сафонов. Да, да. Александр Васильевич, иди.

Васин выходит.

Ты что это со стариком вздоришь? Ты мне не смей.

Козловский. Да я, Иван Никитич, с ним по-простому, по-нашему, а он, в общем... интеллигенция.

Сафонов. Что — интеллигенция? Ты этого даже и слова-то не понимаешь. Что ты, некультурный сукин сын, так этим гордишься? А между прочим, если тебя, дурака, за пять лет в университете обтесать, так ты тоже будешь интеллигенция, вот и вся разница. А если не обтесать, так не будешь. Старика обижать никому не позволю! Ишь ты: «по-простому», «по-нашему»... А он что же, не наш, что ли? Ты еще под столом ползал, когда он за то, что немцев бил, награды имел. Зачем пришел?

Козловский. За патронами. Да мало дал. Вот.

Сафонов. И смотреть не хочу. Раз мой начальник штаба тебе столько дал,— значит, столько мог. Ты мне тут этого не заводи: сначала к одному, потом к другому. Иди.

Козловский выходит. За дверью шум.
Голос Глобы: «Да что ты меня не пускаешь? Вот тоже!»
Входит Глоба в штатском. За ним красноармеец с винтовкой.

Красноармеец. Товарищ капитан, к вам. Разрешите пустить?

Сафонов. Ну конечно, пускай, ведь это же Глоба!

Глоба. Он самый.

Сафонов. Ой, Глоба, да ты ли это?

Глоба. Я.

Сафонов. Живой?

Глоба. Живой.

Сафонов. А может, не ты? Может, дух твой?

Глоба. Ну, какой же там дух! На пять пудов разве дух бывает? И потом, я же фельдшер, а медицина духов не признает.

Сафонов. Это верно. Убедил. Ну, садись. *(Кричит.)* Шура! Покушать дай. И воды там из бидончика стакан налей. Глоба пришел, ему порция причитается.

Шура *(показываясь в дверях, смотрит на Глобу)*. Здравствуйте.

Глоба. Здравствуй, Шура.

Сафонов. Ну, что же ты, радуйся — живой пришел!

Глоба *(махнув рукой)*. Они на меня не радуются. Они меня считают за нехорошего человека. Я им откровенностью своей не нравлюсь.

Сафонов. Это кому же им-то?

Глоба. Вот Шуре хотя бы и вообще всем им, женщинам, сословию ихнему всему.

Сафонов. Был?

Глоба. Да.

Сафонов. Что же слышно?

Глоба. Слышно то, что наши обратно наступать собираются.

Сафонов. Да? Может, и нас отобьют, Глоба, а?

Глоба. Может быть.

Сафонов *(закрыв руками глаза)*. Эх, Глоба. Иногда так захочется и чтобы сам живой был, и чтобы другие, которые... тут кругом, чтобы все живые были. Так, говоришь, наступать будут?

Глоба. Возможно. Я у генерала был.

Сафонов. Как ты доложил?

Глоба. Как приказано, чтобы выручали, сказал, но что если против плана это идет, то мы выручки не просим, сказал. Ну, и что все-таки жить нам, конечно, охота,— это тоже сказал.

Сафонов. И это сказал?

Глоба. И это сказал. Да они сами, в общем, представляют себе это чувство.

Сафонов. Что приказывают нам?

Глоба. Конечно, пакет с сургучом я нести не мог. Поскольку я шел как бегущий от красных бывший кулак, то мне, конечно, пакет с сургучом был ни к чему при разговоре с немцами. Но устный приказ дан такой: «Держись, держись и держись!» А что и как — это пришлю, говорит, на самолете известие.

Сафонов. А тебе больше ничего?

Глоба. Ничего. Я думаю, Иван Никитич, как и что — это еще там, где выше, решают. Этот генерал нам с тобой мозги путать не хотел. Говорит: «Держись!» — и все.

Сафонов. Тяжело добираться?

Глоба. Да ведь я такой человек — где как: где — смелостью, где — скромностью, а где — просто на честное слово. Меня и то генерал отпускать не хотел, говорит: «Сиди тут, Глоба». А я говорю: «Характер мне не позволяет. Там, говорю, ребята будут страдать, ожидая известия вашего». Он говорит: «Я скоро пришлю». А я говорю: «Так то же на самолете, а я на своих двоих, это быстрее». Что тут слышно, Иван Никитич?

Сафонов. Ну, что ж, как ты ушел, в ту ночь Крохалев от ран помер. Петров тоже. Сегодня утром Ильина убили. Так что я теперь и за командира и за комиссара. В общем, много кого уже нету. Ну, ладно, это лишнее.

Красноармеец *(открывает дверь)*. Товарищ капитан, к вам тут гражданский один.

Сафонов. Давай. *(Глобе.)* Я же начальник гарнизона, сколько есть делов — все ко мне. Давай гражданского.

Входит старик.

Старик. Просьба к вам, товарищ начальник.

Сафонов. Просьба? *(Морщится.)* Эх, мне просьбы эти...

Старик. И не за себя только, а еще за двух человек.

Сафонов. Чего же вы от меня хотите? Нет у меня ничего, так что и просить у меня — это лишнее. Если насчет еды, то, сколько могу, даю. Всем поровну — как мне, так и вам.

Старик. Нет, нам не то.

Сафонов. Если насчет воды, то опять же — вода как мне, так и вам. Старый человек, уважаю тебя, но стакан на душу — это уж всем.

Старик. Нам не воды.

Сафонов. А чего же вам?

Старик. Нам бы трехлинеечки.

Сафонов. Это зачем же вам трехлинеечки?

Старик. Известно зачем.

Сафонов. Ты, значит, папаша, это за троих просишь? Это, значит, в твоих годах все? Приятели, что ли?

Старик. Приятели.

Сафонов *(Глобе)*. Видал? *(Старику.)* А вы что, в армии были, что ли, папаша?

Старик. Все были, кто в германскую, кто в японскую. Я вот в японскую был. Мне в ту германскую уже года вышли. Ну, а в

эту вроде как опять обратно пришли. Так как же насчет трехлинеечек?

Сафонов *(вставая и подходя к нему).* Ты понимаешь, папаша, что значит, если ты, чтобы человек плакал, сделать можешь? Я огонь, воду и медные трубы прошел. Я в шоферах десять лет был. Это дело такое — тут плакать нельзя. А ты меня в слезу вогнал. Дам я тебе, папаша, трехлинеечки. Только ты приходи вечером, когда у меня тут начальник штаба будет, тоже с японской войны, вроде тебя. Вы с ним сговоритесь, по-стариковски.

Старик выходит.

Да, значит, такое дело. Неизвестно еще, что и как, куда наши ударят. Ну что же, придется тогда, что надумали, делать. *(Подходит к Глобе, закрывает дверь, тихо.)* А надумали мы с теми, кто на немецкой части города сидит, мостик через лиман у немцев в тылу рвануть. Не миновать мне завтра ночью Валю опять туда посылать.

Глоба. Жалко?

Сафонов. Мне всех жалко.

Глоба. Да... А я на это дело просто смотрю. Смерть перед глазами. Счастье жизни нужно человеку? Нужно. Ты его видишь? Ну и возьми его. Пока жив. Она девушка добрая. Вот, глядишь, и вышло бы все хорошо.

Сафонов. Ни к чему говоришь. Боюсь я за нее, вот и все.

Глоба. А за себя не боишься?

Сафонов. За себя? Конечно. Но только мы с тобой, Глоба, другое дело. Мы ж начальство. Мы себе не можем позволить бояться. Потому что если я себе раз позволю, то и другие позволят. А потом я уже не позволю, а они опять позволят. Мы с тобой, значит, ни разу бояться позволить себе не можем. Разве что ночью, под одеялом. Но одеял у нас с тобой нет, так что это исключается.

Входит Валя.

Что, привезла Панина?

Валя. Нет, он там остался.

Сафонов. Где — там?

Валя. Там, в первой роте. Ух, устала. *(Снимает рукавицы, садится.)*

Сафонов *(Глобе).* Ну, что ты будешь делать? Как назначил его начальником особого отдела, так он все показывает людям, что не боится.

Валя. Я уж его удерживала, удерживала.

Сафонов. Молчи уж! Удерживала она! Я знаю, как ты удерживаешь. Сама лезет не знаю куда, потом рассказывает — удерживала она!

Лейтенант *(в дверях)*. Товарищ капитан, к телефону.

Сафонов выходит.

Глоба *(Вале)*. Как живете, Валентина Николаевна?

Валя. Как все, товарищ Глоба. Как все, так и я.

Глоба. А как все живут?

Валя. А кто как.

Глоба. Эх, времена пошли. Женщины — и вдруг на фронте. Я бы лично вас берег, Валечка. И вас и вообще. Пусть бы вы нам для радости жизни живыми всегда показывались.

Валя. У нас что же, другого дела нет, как вам показываться для вашей радости живыми?

Глоба. А то как же? Для чего создается женщина? Женщина создается для украшения жизни. Война — дело серьезное. Во время ее жизнь украшать больше, чем когда-нибудь, надо, потому что сегодня она — жизнь, а завтра она — пар, ничего. Так что напоследок ее, жизнь-то, даже очень приятно украсить.

Валя. Так что же, по-вашему, жизнь — елка, что ли, игрушки на нее вешать?

Глоба. А хотя бы и елка. Вполне возможно. Я не про тебя говорю, ты девушка серьезная, тебе даже со мной разговаривать скучно. Но женщина все-таки — это радость жизни.

Валя. Не люблю вас за эти ваши слова.

Глоба. А меня любить не обязательно.

Входит Сафонов.

Сафонов. Что за шум?

Глоба. У нас тут с Валентиной Николаевной снова несогласие насчет роли женщины в текущий момент. До свидания, Иван Никитич, я к себе пойду. И, как всегда, в медицинской профессии будут меня ждать неожиданности. Семь дней меня не было, и кто, я ожидал, будет живой,— помер, а кто, я ожидал, помрет,— непременно живой. Вот увидишь. *(Выходит.)*

Валя. Устали?

Сафонов. Ну да, устал. Мне же думать надо. А это, Валя, Валечка, колокольчик ты мой степной,— это тебе не баранку крутить.

Валя. Ну вот, стали начальником, так уж баранку крутить... смеетесь.

Сафонов. А как же? С высоты моего положения. *(Усмехается.)* Хотя и баранку надо с соображением крутить, конечно. Не то что ты вчера.

Валя. А что?

Сафонов. А то, что когда я с тобой ехал, сцепление рвала так, что у меня вся душа страдала.

Валя. Я не рвала. Оно отрегулировано плохо. Я ехала правильно.

Сафонов. Неправильно. И на ухабах педаль не выжимала.

Валя. Выжимала.

Сафонов. Нет, не выжимала. Ты мне очки не втирай. Ты не думай, что если я с тобой тихий, так мне можно очки втирать.

Валя. Я ничего про вас не думаю. Я только говорю, что выжимала.

Сафонов. Ну, бог с тобой. Выжимала, выжимала... Только глаза на меня такие не делай, а то я испугаюсь, убегу.

Валя. Я вас как вожу, так и вожу. Я над машиной начальник, раз я за баранкой. Понятно?

Сафонов. Понятно.

Валя. Поспали бы. Ведь уже трое суток не спите.

Сафонов. А ты откуда знаешь? Ты сама только вчера от немцев вернулась.

Валя. Знаю. Спрашивала.

Сафонов. Спрашивала?

Валя. Так, между прочим спрашивала.

Сафонов. Да...

Пауза.

Тебе сегодня ночью или завтра в крайнем случае опять к немцам идти придется.

Валя. Хорошо.

Сафонов. Чего же хорошего? Ничего тут хорошего. Послать мне больше некого, а то бы ни в жизнь не послал бы тебя опять.

Валя. Это почему же?

Сафонов. Не послал бы, да и все тут. И вообще ты лишних вопросов начальству не задавай. Понятно?

Валя. Понятно.

Сафонов. Придется тебе *(оглянувшись на дверь)* идти к Василию и сказать, что мост рвать будем, и все подробности, чего и как. Но только это запиской уже не годится. Это наизусть будешь зубрить, слово в слово.

Валя. Хорошо.

Сафонов. Да уж хорошо или нехорошо, а надо будет. Два раза ходила и в третий пойдешь, потому что родина этого требует. Видишь, какие я тебе слова говорю.

Валя. А знаете, Иван Никитич, все говорят: родина, родина... и, наверное, что-то большое представляют, когда говорят. А я нет. У нас в Ново-Николаевке изба на краю села стоит и около речки две березки. Я качели на них вешала. Мне про родину

говорят, а я все эти две березки вспоминаю. Может, это нехорошо?

Сафонов. Нет, хорошо.

Валя. А как вспомню березки, около, вспомню, мама стоит и брат. А брата вспомню — вспомню, как он в позапрошлом году в Москву уехал учиться, как мы его провожали,— и станцию вспомню, а оттуда дорогу в Москву. И Москву вспомню. И все, все вспомню. А потом подумаю: откуда вспоминать начала? Опять с двух березок. Так, может быть, это нехорошо? А, Иван Никитич?

Сафонов. Почему нехорошо? Это мы, наверно, все так вспоминаем, всяк по-своему.

Пауза.

Ты только, как там будешь, матери скажи, чтобы она с немцами не очень ершилась. Она нужна нам, помимо всяких там чувств. И потом,— ты ей это тоже скажи,— я ее еще увидеть надежду имею.

Валя. Хорошо, я скажу.

Пауза.

Сафонов. Ну и сама тоже. Осторожней, в общем. Сказал бы я тебе еще кое-что, да не стоит. Потом, когда обратно придешь.

Валя. А если не приду?

Сафонов. А если не придешь,— значит, все равно, ни к чему говорить. *(Накрывшись шинелью, укладывается на диване. Лежит, открыв глаза.)*

Валя. Ну и засните. Хорошо будет.

Сафонов. Совсем спать отвык. Не могу спать.

Валя. А вы попробуйте. Я вам песню спою.

Сафонов. Какую?

Валя. Какую детям поют — колыбельную... *(Запевает.)* «Спи, младенец мой прекрасный...» Вы бы уж побрились, что ли. А то какой же это ребенок — с бородой.

Сафонов. Хорошо, вот ты вернешься, я побреюсь.

Валя. А если не вернусь, так и бриться не будете?

Молчание.

Придется уж вернуться, раз так.

Сафонов. Не могу спать.

Валя. И песня не помогает?

Сафонов. Не помогает.

Пауза. Сафонов закрывает глаза и мгновенно засыпает.

В а л я *(не замечает этого).* Знаете, Иван Никитич, а я вот не боюсь идти. В первый раз боялась, а теперь нет. Мне кажется, что приду обратно сюда, чтобы вы побрились. А вы будете ждать. И все будут. Чего вы молчите? *(Замечает, что Сафонов спит.)* Вот и заснул. А говорил, спать не могу. *(Тянется к нему. Ей, видимо, хочется разбудить его. Преодолевая это желание и уже не глядя на него, прислонившись к столу, тихо допевает.)* «Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой...»

Молчание.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

У Харитонова. Старый добротный дом частнопрактикующего провинциального врача. Большая столовая, очевидно служащая общей комнатой. Несколько дверей. Два стенных шкафчика — один с посудой, другой белый, аптечного вида. На сцене за чайным столом Розенберг и Вернер. Вернер, прихлебывая из рюмки вино, зубрит что-то вполголоса.

Розенберг *(открыв дорожный чемоданчик, раскладывает перед собой разные сувениры: фотографии, документы)*. Что, Вернер, все практикуетесь в русском языке?

Вернер. Да, практикуюсь.

Розенберг. Это хорошо. Нам тут долго придется быть.

Вернер. По-вашему, война...

Розенберг. Война — нет, недолго. После войны. Завоеватель может презирать народ, им покоренный, но он должен знать его язык, если бы даже ему пришлось лаять по-собачьи. В чужой стране никому нельзя верить, Вернер.

Вернер. Но вы же верите Харитонову?

Розенберг. Да, потому что он мерзавец. И если русские придут, они его расстреляют. Но его жене я уже не верю. Они могут прийти и не расстрелять ее. И уже по одному этому я ей не верю. *(Продолжает разбирать карточки.)* Сегодня Краузе подарил мне еще целый чемодан всего этого. Не смотрите так. Да-да, я люблю рыться в этом.

Вернер. У вас привычки старьевщика.

Розенберг. Ничего. По этим бумажкам и фотографиям я изучаю нравы. Иногда при этом обнаруживаются любопытные вещи. Вот, например, удостоверение личности младшего лейтенанта Харитонова Н. А.; Н. А.— замечаете? Оно разорвано пулей.

Очевидно, его владелец убит. Но меня интересует не это. Меня интересуют инициалы Н. А., потому что нашего хозяина дома зовут А. А. Трудно предположить, но вдруг предположим, что это его сын. А у него сын в армии, это мне известно. Что мы можем из этого извлечь? Очень многое. Во-первых, если даже это просто совпадение, то на нем можно построить интересный психологический этюд: узнавание, неузнавание, ошибка, горе матери и так далее. Все это входит в мою систему изучения нравов. Да, с чего же я начал?

Вернер. Вы начали с жены Харитонова.

Харитонов *(открывая дверь)*. Вы меня звали?

Розенберг. Нет, но раз вы уже вошли,— откуда у вас жена, доктор?

Харитонов. Из Вологды.

Розенберг. Вот видите, Вернер, она из Вологды, а мы еще не взяли Вологду. *(Харитонову.)* У нее есть родные?

Харитонов *(растерянно)*. Есть. Немножко есть.

Розенберг. Что значит немножко?

Харитонов. Сестры.

Розенберг. Сестры — это, значит, по-вашему, немножко? Но у сестер ведь есть мужья? А?

Харитонов. Я не понимаю вас, господин капитан.

Розенберг. Вы меня прекрасно понимаете. Скажите вашей жене, чтобы она принесла нам чаю в самоваре.

Харитонов уходит.

Вот видите, Вернер, у ее сестер есть мужья. Может быть, один из них инженер, другой — майор, это уж я не знаю. И может быть, этот майор завтра окажется здесь. А она — сестра его жены, и она скорее позволит ему убить нас, чем нам — его. Это ведь, в сущности, очень просто.

Входит Мария Николаевна с чайной посудой.

Скажите, Мария Николаевна, у ваших сестер есть мужья?

Мария Николаевна. Да, господин капитан.

Розенберг. Они русские?

Мария Николаевна. Да. Вы будете пить молоко?

Розенберг. Нет. Вы не завидуете им, что у них русские мужья, а у вас неизвестно какой национальности?

Мария Николаевна. У меня тоже русский.

Розенберг. Я не об этом говорю. Не притворяйтесь, что вы меня не понимаете.

Мария Николаевна. Может быть, нести вам самовар?

Розенберг *(вставая)*. Несите. Мы сейчас придем.

Мария Николаевна уходит.

(Вернеру.) И после этого вы думаете, что я могу ей верить?

Розенберг и Вернер уходят в соседнюю комнату.

Входит Мария Николаевна. За ней Харитонов. На улице несколько выстрелов. Мария Николаевна крестится.

Харитонов. Ну, что ты крестишься?

Мария Николаевна. За них.

Харитонов. За кого — за них?

Мария Николаевна. За наших.

Харитонов. Когда ты научишься держать язык за зубами?

Мария Николаевна. Тридцать лет учусь.

Харитонов. Опять?

Мария Николаевна. Да.

Харитонов *(тихо)*. Маша, поди сюда. Ты была у Сафоновой?

Мария Николаевна. Была.

Харитонов. Говорила все, что я велел?

Мария Николаевна. Говорила.

Пауза.

Противно мне это.

Харитонов. Противно? А если я буду убит, тебе не будет противно?

Мария Николаевна. При чем тут ты?

Харитонов. Очень просто. Ты завтра же пойдешь к ней опять и упомянешь, между прочим упомянешь, что мне надоели немцы, что я их не люблю и боюсь. Что я был не рад, когда меня назначили городским головой. Поняла?

Мария Николаевна. Поняла. Только зачем тебе все это?

Харитонов. Затем, что это правда. Затем, что я предпочел бы сидеть весь этот месяц в подвале и не трястись за свою шкуру. Я больше чем уверен, что к этой старухе ходят... Да-да, партизаны. Немцам она все равно не скажет, что я их не люблю, а им, этим, может быть, и скажет. В Херсоне уже убили городского голову...

Мария Николаевна. Боже мой! Чем весь этот ужас, бросили бы все и ушли, как я говорила, куда-нибудь в деревню, спрятались бы.

Харитонов *(шипящим, злым голосом)*. Куда спрятались бы? А вещи? Мои вещи без меня всегда вещи, а я без моих вещей — дерьмо. Да-да, дерьмо, нуль. Понятно тебе, дура?

Кто-то стучится в сенях.

Пойди открой.

Мария Николаевна выходит и сейчас же возвращается обратно. Вслед за ней идет Марфа Петровна — вне себя, простоволосая, со сбитым набок платком.

Марфа Петровна. Изверги!

Харитонов. Тише.

Марфа Петровна. Убили, на моих глазах убили!

Харитонов. Кого убили?

Марфа Петровна. Таню. Таню, соседку. Рожать раньше время собралась! Я думала — черт с тобой, но ты же доктор. К тебе повела. Нашла к кому! Лежит теперь там, у тебя под окнами.

Харитонов. Тише! При чем тут я?

Марфа Петровна. При всем. Ты подписывал, чтобы после пяти часов не ходили, чтобы стрелять?

Харитонов. Не я,— комендант.

Марфа Петровна. Ты, ты, проклятый!

На ее крик из соседней комнаты выходит и останавливается в дверях Розенберг.

Розенберг. Кто тут кричит?

Марфа Петровна. Я кричу! За что женщину посреди улицы убили?

Розенберг. Кто эта женщина?

Харитонов. Это тут одна... Они шли ко мне. Там роды... соседка у них. И вот патруль выстрелил.

Розенберг. Да, и правильно сделал. После пяти часов хождение запрещено. Разве нет?

Харитонов. Да, конечно, совершенно верно.

Розенберг. Если кого-нибудь застрелили после пяти часов — женщина это или не женщина, безразлично,— это правильно. А вас за то, что вы ходили после пяти часов, придется арестовать и судить.

Марфа Петровна. Суди. Убей, как ее... *(Наступает на него.)* Так взяла бы за горло сейчас этими вот руками...

Розенберг *(поворачиваясь к двери в соседнюю комнату)*. Вернер! Позвоните дежурному! *(Спокойно.)* Кажется, придется вас повесить.

Марфа Петровна. Вешай!

Розенберг *(Харитонову)*. Как ее фамилия?

Харитонов. Сафонова.

Розенберг. У нее, наверно, есть кто-нибудь в армии? Муж, сыновья?

Харитонов. Нет. То есть, может быть, есть... я не знаю.

Марфа Петровна. Есть. И муж есть, и сыновья есть. Все в армии.

Розенберг. Придется повесить!

Мария Николаевна *(вдруг бросается к Марфе Петровне, обнимает ее, став рядом с ней)*. И у меня тоже сын в армии. И меня вешайте! Я вас ненавижу! Ненавижу!

Харитонов. Маша, ты...

Мария Николаевна. И тебя ненавижу! Всех вас ненавижу, мучителей! А вот мы — подруги, и сыновья у нас у обеих в армии. Да... *(Рыдает.)*

Входят двое солдат.

Розенберг. Возьмите... *(Секунда колебания.)* Вот эту. *(Указывает на Марфу Петровну.)* А эту оставьте.

Харитонов. Спасибо, господин капитан. Она не будет больше...

Марфа Петровна. Благодари, благодари, иуда, в ножки поклонись.

Солдаты хватают ее за руки.

Плюнула бы этому немцу в морду, да лучше тебе плюну! *(Плюет в лицо ему.)*

Солдаты выталкивают Марфу Петровну. Мария Николаевна, обессилев, плачет.

Харитонов. Господин капитан. Вы не обращайте внимания. Она это так... Нервная женщина. Они, правда, подруги были.

Розенберг. Ничего, доктор, я прощаю вашу жену, помня о ваших заслугах. *(Говорит отчетливо, глядя на Марию Николаевну.)* Я же не могу забыть ваших заслуг. Ведь вы же как-никак составили мне список на семнадцать коммунистов и вчера еще на пять. Вы же мне указали местонахождение начальника милиции Гаврилова. Вы же меня предупредили, где спрятан денежный ящик вашего банка. Вы же... Впрочем, я не буду перечислять, этот перечень, кажется, расстраивает вашу жену. Она плачет, вместо того чтобы радоваться, что вы нам так помогли. Ну ничего успокойте ее. *(Уходит в соседнюю комнату.)*

Молчание.

Мария Николаевна *(тихо)*. Это все правда?

Харитонов. Правда. Да-да, правда! Ты говори спасибо, что ты жива после того, что наделала!

Мария Николаевна. Я не хочу быть живой, мне все равно. Если бы не Коля, я хотела бы только умереть.

Входят Розенберг и Вернер.

Розенберг. Мария Николаевна, не забудьте про чай.

Мария Николаевна выходит.

(Вернеру, тихо.) Сейчас мы произведем интересный психологический этюд. Еще немножко изучения нравов, того самого, которое вы так не любите... Доктор!

Харитонов. Слушаю.

Розенберг. Я надеюсь, что вы нам искренне преданы, доктор?

Харитонов. Искренне, господин капитан.

Розенберг. И все, кто борется против нас,— это и ваши враги, доктор? Так или не так?

Харитонов. Так, господин капитан.

Розенберг. Как так? Точнее.

Харитонов. Враги, господин капитан.

Розенберг. И когда они погибают, вы должны этому радоваться, доктор?

Харитонов. Да, должен, господин капитан.

Розенберг. Нет, точнее. Не «должен», а «рад». Так ведь?

Харитонов. Рад, господин капитан.

Розенберг. Я надеюсь, что ваша жена сказала неправду и ваш сын, конечно, не борется против нас?

Харитонов. Нет, господин капитан, к сожалению, это правда, он в армии. Я с ним давно уже в ссоре, но он в армии.

Розенберг. К вашему большому сожалению?

Харитонов. Да, господин капитан, к сожалению.

Розенберг. И если б его уже не было в армии, то ваши сожаления кончились бы?

Харитонов. Конечно, господин капитан.

Розенберг. Подойдите сюда поближе. *(Закрывая удостоверение одной рукой, оставляя только карточку.)* Это лицо вам знакомо?

Харитонов. Николай!

Розенберг. Я вижу, знакомо. *(Открывая все удостоверение.)* Здесь, на этой дырке, доктор, ваши сожаления кончились. Вы можете быть довольны. Ваш сын уже не в армии. Правда, я лично не видел, но я в этом уверен. Можете уже не сожалеть.

Харитонов молчит.

Ну как, вы рады этому, доктор?

В е р н е р. Розенберг!

Р о з е н б е р г *(поворачиваясь к нему, холодно)*. Да? Одну минуту терпения. Значит, вы рады этому, господин доктор? *(Резко.)* Да или нет?

Х а р и т о н о в *(сдавленным голосом)*. Да, рад.

Р о з е н б е р г *(Вернеру)*. Ну вот видите, Вернер, доктор рад. И мы с вами сомневались в нем совершенно напрасно. Вы можете идти, доктор. Мне все ясно. Спасибо за откровенность. Вы поистине преданный человек. Это очень редко в вашей стране и тем более приятно.

Харитонов выходит.

В е р н е р. Зачем вся эта комедия? Если нужно расстрелять — расстреливайте или скажите мне, если вы сами неврастеник и не умеете. Но то, что вы делаете,— это не солдатская работа.

Р о з е н б е р г. У вас устарелые взгляды, Вернер. Изучение нравов входит в наши обязанности.

В е р н е р. Вы мне осточертели с вашим изучением нравов. Я завтра же попрошусь в полк, чтобы больше не видеть вас с вашим изучением нравов. Я буду убивать этих русских, будь они прокляты, но без ваших идиотских предварительных разговоров. которые мне надоели.

Р о з е н б е р г. Вы не будете пить чай?

В е р н е р. Нет. *(Выходит.)*

Х а р и т о н о в входит и бессильно прислоняется к притолоке. Входит М а р и я Н и к о л а е в н а с самоваром.

Х а р и т о н о в *(тихо)*. Маша! Послушай, Маша!

М а р и я Н и к о л а е в н а. Что тебе?

Х а р и т о н о в. Я хочу тебе сказать...

М а р и я Н и к о л а е в н а. Что еще ты хочешь мне сказать?

Х а р и т о н о в. Я хочу тебе сказать... Нет, не могу. *(Уходит.)*

М а р и я Н и к о л а е в н а. Сейчас я принесу заварку.

Р о з е н б е р г *(искоса смотрит на нее, держа в руке удостоверение)*. У вас, оказывается, был сын в армии?

М а р и я Н и к о л а е в н а. Почему был? Он в армии и есть.

Р о з е н б е р г. Нет, был. Или, как говорит ваш муж, к сожалению, был. Но теперь, как говорит опять-таки ваш муж, его, к счастью, нет. Но знаете, ваш муж рад, что его нет.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Что вы говорите? Что вы говорите?

Р о з е н б е р г. Не подумайте только, что это имеет какое-то прямое отношение ко мне. Я не был бы так жесток с матерью. Но ко мне случайно попало вот это. Поэтому я и говорю «был».

Мария Николаевна сжимает в руках удостоверение, тупо смотрит на него и так, не выпуская, садится за стол. Сидит молча, оглушенная.

(После паузы.) Я бы не рискнул вам сказать, но я подумал, что вы разделяете взгляды вашего мужа, а ваш муж сказал, что он рад этому, несмотря на свои родительские чувства.

Мария Николаевна молчит.

Да-да, он так и сказал. Доктор!

Входит Х а р и т о н о в.

Доктор, вы ведь сказали, что вы рады, а?

Мария Николаевна поднимает голову, смотрит на Харитонова.

Харитонов молчит.

Или вы мне сказали неправду? Вы не рады?

Харитонов молчит.

М а р и я Н и к о л а е в н а *(молча кладет удостоверение и говорит механически)*. Сейчас я вам заварю чай.

Р о з е н б е р г. Спасибо, прекрасно.

Мария Николаевна за спиной Розенберга и Харитонова подходит с чайником к одному шкафчику, потом к другому, аптечному. Порывшись там, возвращается к столу.

М а р и я Н и к о л а е в н а. Вот чай.

Р о з е н б е р г. Прошу вас, налейте. Солдатам всегда приятно, когда женская рука наливает им чай или кофе. А, доктор?

Харитонов молчит.

Что вы молчите? Потеряли дар речи?

Мария Николаевна наливает Розенбергу чай.

Доктор, может быть, вы выпьете чаю со мной, а? Вы взволнованы. Ничего. Выпейте. Вы наш преданный друг. Я рад сидеть за одним столом с вами.

Х а р и т о н о в. Спасибо.

Р о з е н б е р г. Мария Николаевна, налейте чаю вашему мужу.

Пауза. Мария Николаевна смотрит на Харитонова, потом тем же механическим движением молча наливает чай и ему.

Ну, доктор.

Х а р и т о н о в. Я прошу простить, господин капитан, но мне дурно... я не могу...

Р о з е н б е р г. Ну, как угодно, как угодно.

М а р и я Н и к о л а е в н а *(спокойно)*. Вам больше ничего не нужно, господин капитан?

Розенберг. Нет, спасибо. Вернер, я иду к вам! *(Взяв чашку, выходит.)*

Харитонов сидит на диване, опустив голову на руки. Мария Николаевна стоит у стены. Молчание.

Харитонов. Маша!

Мария Николаевна. Что?

Харитонов. Маша, я не могу так.

Мария Николаевна. Оставь меня. Я не хочу тебя слушать.

Харитонов. Бросим все, уедем, убежим. Я боюсь их всех. Я ничего не хочу.

Мария Николаевна. Поздно. Я же тебе говорила. А теперь поздно. Ты даже не знаешь, как поздно.

Раздается грохот отодвинутого в соседней комнате стула. Дверь открывается. Вбегает Розенберг и останавливается.

Розенберг. Что вы там намешали?! Что вы там намешали, вы, вы! *(Падает лицом вперед на пол.)*

Мария Николаевна стоит неподвижно.

Харитонов *(суетясь)*. Что с вами? Что с вами? *(Подбегает к Розенбергу, пытается поднять его с полу.)*

Мария Николаевна безучастно молча стоит у стены. Входит Вернер.

Вернер *(четким шагом подходит к Розенбергу; нагнувшись, берет его за руку, слушает пульс)*. Кто это сделал?

Мария Николаевна. Мы. Мы его отравили — я и муж.

Харитонов *(с колен)*. Нет, господин капитан, она говорит неправду... Это не мы. Это не я. Не я...

Мария Николаевна. Мы, мы. Встань. *(Подходит к Харитонову, приподнимает его.)* Встань, Саша, встань. *(Быстро.)* Это мы с ним. Мы вас ненавидим. Мы это сделали, мы оба — я и он...

Харитонов. Господин Вернер! Господин Вернер!

Вернер. Вы думаете, что я вас буду отдавать под суд?

Харитонов. Господин Вернер, это не я.

Мария Николаевна. Да, мы это сделали. Вы убили нашего сына. Мы отравили этого вашего негодяя.

Вернер. Я вас не отдам под суд. Я вас просто повешу обоих через двадцать минут. *(Открывает наружную дверь.)* Эй, кто-нибудь.

Мария Николаевна *(прижав к себе совершенно обезумевшего от ужаса Харитонова, кричит, прислонясь к стене)*. Ну и вешай! Вешай!

КАРТИНА ПЯТАЯ

Ночь. Берег лимана. Деревья. Спуск к воде. Задняя стена какого-то строения. Через сцену медленно идут Валя и Сафонов. У Сафонова правая рука на перевязи.

Валя. А я в прошлый раз как раз тут и переплывала.

Сафонов. Вот как раз потому, что прошлый раз тут,— сегодня в другом месте поплывешь. *(Смотрит на часы.)* Сейчас поедем.

Валя. Светятся. Хорошие.

Сафонов. В Улан-Баторе купил, уже давно.

Валя. Где это?

Сафонов. Улан-Батор? Это город такой, в Монголии. Далеко... Сейчас меня на Южную балку отвезешь, провожу тебя и... Запалы и шнур не забыла?

Валя. В машине лежат. Что, поедем?

Сафонов. Сейчас...

Из-за дома выходит Васин.

Васин *(оглядываясь)*. Товарищ капитан!

Сафонов. Я.

Васин. Сейчас поедете?

Сафонов. Да, а что?

Васин. Я, с вашего разрешения, останусь тут, в роте, до утра. Телефон все еще не починили, я сам подежурю.

Сафонов. Только к рассвету в штабе будь, ладно?

Васин. Так точно. *(Уходит.)*

Сафонов. Сейчас поедем... Да, вот тебе и последнее испытание, Валентина Николаевна... Ты у меня теперь старая разведчица. Я теперь тебя по имени-отчеству принужден звать.

Валя. А вы — не надо.

Сафонов. Нет, теперь я уже принужден, ничего не поделаешь.

Слышна канонада.

Совсем близко к лиману подошли. Наступают. Ты представь себе: наступают наши!.. А то уж больно обидно помирать было, тем более что лично я в загробную жизнь не верю. Теперь и сказать можно. Я только вчера, когда эту канонаду в первый раз услышал, в первый раз поверил, что живы будем. И поскольку у меня надежда быть в живых появилась, прошу тебя, Валентина Николаевна, делай что надо, а так зря не прыгай. Я тебя очень хочу живой видеть.

Валя. Я тоже. *(Вдруг мечтательно.)* Сафоныч, а Сафоныч?

Сафонов. Что?

Валя. Ничего.

Сафонов. Ну, а все-таки?

Валя. Я когда у твоей матери была, твою фотографию увидела и спрашивала про тебя. А она рассказывала про тебя, какой ты — маленький был. А мне интересно, какой ты был маленький! А она вдруг меня спрашивает: «А чего ты, девушка, так интересуешься?» Я говорю: «Ничего, просто так». А она говорит: «А я думала, любовь у вас». Я говорю: «Нет, я просто так».

Сафонов. Валя... *(Хочет обнять ее здоровой рукой.)*

Валя. Не надо, Сафоныч, не перебивай, я тебе рассказывать хочу.

Пауза.

Я ей говорю: «Он меня все невестой в шутку зовет». А вернулась оттуда — ты меня сразу и звать перестал. Почему? Это ведь в шутку...

Сафонов. Потому и перестал, что в шутку... А когда вернулась... *(Снова пытается ее обнять.)*

Валя. Не надо. Это тебя Глоба научил, да?

Сафонов. При чем тут Глоба?

Валя. Я знаю, он это всем говорит: «Живем только раз. Она девушка добрая... а что завтра — неизвестно, может, умрем». А я не хочу только оттого, что, может, завтра умрем. Я хочу...

Сафонов *(отпустив ее, только продолжая держать за руку, ласково)*. Ну, чего ты хочешь, колокольчик ты мой степной? Чего ты хочешь? Что сделать мне для тебя?

Валя. Проводи меня, Сафоныч. И что-нибудь хорошее на прощанье скажи. А то я что-то боюсь сегодня. Нет, ты не думай, я немножко... Это ничего?

Сафонов. Ничего.

Пауза.

Ты с собой револьвер взяла в случае если что?

Валя. Нет. Я наган оставила, он тяжелый.

Сафонов *(морщась, достает здоровой рукой маленький браунинг)*. Вот мой, возьми.

Валя *(берет, смотрит на браунинг)*. Это хорошо. Если что-нибудь, если немцы — лучше тогда живой не быть.. Верно?

Сафонов. Верно. И лучше мне тогда тоже живому не быть. Вот что я тебе сейчас скажу. А остальное после. После, когда наши придут, когда поверишь, что не потому, что завтра умереть можем.

Пауза.

Ну, поедем. *(Идут к дому.)* Ты куда его положила?

Валя. В карман.

Сафонов. А ты лучше за пазуху, на грудь. Верней.

Сафонов и Валя уходят.

Некоторое время на сцене пусто. Потом снизу, из-за края обрыва, ведущего к воде, появляется голова неизвестного.

Тихий свист. Ответный свист. Входит Козловский.

Козловский. Вы здесь?

Неизвестный. Здесь.

Козловский. Черт бы их взял! Нашли место для прогулок.

Неизвестный. Вы хоть слышали, о чем они говорили?

Козловский. Нет. А мне это не нужно. Я знаю и так. Передайте Розенбергу...

Неизвестный. Он убит.

Козловский. Убит! А кто вас послал?

Неизвестный. Вернер.

Козловский. Передайте ему: во-первых, в городе затевается какой-то взрыв или что-то в этом роде, что — я пока не знаю; во-вторых, примерно через час у Южной балки будет переправляться вот эта, которую вы здесь видели. Фамилия — Анощенко, зовут — Валентина.

Неизвестный. Это связано со взрывом?

Козловский. Очевидно, да.

Неизвестный. У нее будут документы?

Козловский. Очевидно, нет. Но если как следует взяться...

Неизвестный. Конечно. Но это будет точно сегодня?

Козловский. Да, через час.

Неизвестный. Тогда я спешу.

Козловский. Да, конечно. Передайте Вернеру: то, что я задумал с дядей...

Неизвестный. Что?

Козловский. То, что я задумал с дядей,— он знает,— пока не выходит. Попробую еще.

Неизвестный. Все?

Козловский. Все. Да, я вас хотел спросить: из-за лимана слышна близкая канонада...

Неизвестный. Русские начали наступать и подошли ближе. Ну, все? Я спешу.

Козловский. Все.

Неизвестный исчезает. Долгое молчание. Слышны тихие всплески воды. Откуда-то сверху раздается близкий выстрел, потом второй. На сцену, не замечая Козловского, входит Васин с красноармейцем. У Васина в руках карабин.

Васин. Плохо следите. Здесь кто-то подплывал к берегу.

Красноармеец. Так вы же стреляли, товарищ майор. Ничего же не видно.

Васин. Не видно, потому что поздно заметили. Вызовите мне командира! Быстро! Я буду ждать здесь. *(Всматривается в темноту.)*

Козловский пытается незаметно пройти.

Стой! *(Вскидывает карабин.)*

Козловский *(видя, что ему не уйти)*. Свои.

Васин. Кто свои?

Козловский. Я, товарищ майор,— Василенко.

Васин *(подходя к нему, продолжает держать карабин наизготовку)*. Что вы здесь делаете?

Козловский. Товарищ майор... Да опустите карабин, это же я. Я вам сейчас объясню...

Васин *(не обращая внимания, продолжает держать карабин)*. Что вы здесь делаете?

Козловский. Да вот пошел проверять посты, как и вы, очевидно.

Васин. Это не ваша рота. Что вы здесь делаете?

Козловский. Я же говорю, товарищ майор. Проверяю посты. Ну что ж, что не моя рота? Мы, политработники, обязаны всюду иметь глаз.

Васин. Политработа тут ни при чем. Это не ваша рота. Извольте ответить, что вы здесь делаете, я вас в последний раз спрашиваю.

Козловский *(вдруг решившись)*. Александр Васильевич!

Пауза.

Дядя Саша!

Васин. Бросьте глупые шутки. Племянник!

Козловский. Да, племянник.

Васин. У меня нет племянника Василенко.

Козловский. Да, но у вас есть племянник Николай Козловский. Коля.

Васин. Так.

Козловский. Александр Васильевич, я вам сейчас все объясню.

Васин. Так. Я слушаю.

Козловский. Вы меня плохо помните?

Васин. Да. Плохо.

Козловский. Но вы вспомните Николаев, вспомните, как вы бывали у мамы на Трехсвятской улице. Мне тогда было пятнадцать.

Васин. Вы что, действительно мой племянник?

Козловский (*торопливо*). Действительно. Действительно. Я с вами поэтому и говорю сейчас так. Я же мог бы ничего не сказать.

Васин. Что вы здесь делали?

Козловский. Я... я буду говорить с вами начистоту. Вы должны понять меня, как бывший офицер, как дядя, как брат моей матери, наконец.

Васин. Ну? Я вас слушаю.

Козловский. Я хочу вас спасти. Немцы завтра же предпримут последнюю атаку города. Мы все погибнем. И вы погибнете, если...

Васин. Если что, разрешите узнать?

Козловский. Если я не спасу вас и себя. Зачем вам погибать? Вы же с ними ни душой, ни телом. Зачем?

Васин. Вы затем и явились сюда под чужой фамилией, чтобы меня спасти?

Козловский. Нет, не буду лгать. Не только за этим. Но и за этим. Да, за этим. Я знал, что вы здесь.

Васин. Что же вы мне предлагаете?

Козловский. Спастись.

Васин. Позвольте спросить: как?

Козловский. К утру переплыть туда. Вместе — вы и я. Вас хорошо встретят, я вам ручаюсь. Они поймут, что вы только по необходимости... Я уже говорил там о вас.

Васин. Говорили?

Козловский. Да, говорил. Я говорил, что у меня здесь дядя, что он нам не враг и что его нужно спасти.

Васин. Так. А сюда вы зачем пришли?

Козловский. Оттуда переплывал человек. Я с ним говорил... Я хотел переправиться туда с вами под утро и договорился об этом. Я все равно хотел отсюда идти к вам, так что даже лучше, что мы встретились здесь.

Васин. Весьма возможно.

Козловский. Вы согласны?

Васин. Мне надо подумать.

Козловский. Соглашайтесь. Другого выхода все равно нет. Ну, вы выдадите меня — и меня расстреляют. Я смерти не боюсь, иначе я не переправился бы сюда. Но что из этого? Погибну я — через полдня погибнете вы: я — от руки русских, вы — от руки немцев. Зачем вам это? Зачем вы на этой стороне? Что вам хорошего сделали они, чтобы из-за них губить и себя и меня? Если бы не все это, не эта революция, вы бы давно имели покой, ува-

жение, были бы генералом, наконец. Но даже не в этом дело. Дело в том, чтобы спастись. Понимаете вы это или нет?!

Васин. А вы точно знаете, что завтра предстоит атака?

Козловский. Да. Точно.

Васин. Хорошо. Пойдемте в штаб и там у меня спокойно обсудим, как лучше все это сделать.

Козловский. Что ж тут обсуждать?

Васин. Как что? Вы говорите со мной, как мальчишка. Если это делать, то делать как следует. Надо захватить штабные документы, карты. Если переходить, надо переходить так, чтобы это ценили; делать это, как взрослые люди, как офицеры наконец, а не как какая-нибудь дрянь. Неужели вы этого не понимаете?

Козловский. Да. Вы совершенно правы, но...

Васин. Боитесь, что я вас там выдам? Я мог бы сделать это и здесь, не таская вас в штаб. Не валяйте дурака. Кстати, вот вы — так называемый разведчик, а вы знаете, что сегодня через полчаса у Южной балки туда должна переходить Апощенко? Вы сообщили это вашему лазутчику? Не догадались?

Козловский. Нет, догадался. И сообщил. Вы обо мне слишком плохо думаете.

Васин. Если так, то хорошо.

Входят сержант и красноармеец.

Товарищ сержант, я снял с поста часового. Тут кто-то подплывал к берегу. Я слышал всплески, а он ничего не слышал — проспал. Замените другим.

Караульный начальник. Есть, товарищ майор.

Васин *(Козловскому, взглянув на часы)*. До рассвета осталось всего три часа, пошевеливайтесь!

Васин и Козловский скрываются.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Штаб Сафонова. Ночь. За столом, очевидно, после ужина,— Глоба, Панин, лейтенант. Шура убирает со стола. Глоба мурлычет себе под нос. Молчание. Лейтенант, вынув из кармана гимнастерки фотографию, разглядывает ее.

Глоба. Это что у тебя?

Лейтенант. Девушка.

Глоба. А ну, дай.

Все молча по очереди смотрят на карточку.

Интересная из себя. *(Передает Панину.)*

Панин. Да, красивая. *(Отдает лейтенанту.)*

Лейтенант. Полгода не видел. Забыла уже, наверно.

Глоба. Дай-ка! *(Смотрит еще раз. Отдает карточку.)* Нет, не забыла.

Лейтенант. Не забыла?

Глоба. Факт. Очень симпатичная девица. Полное доверие у меня лично вызывает. Не забыла. Ты и беспокоиться брось.

Лейтенант *(смотрит на карточку, Панину)*. А у вас есть, товарищ старший политрук?

Панин. У меня? Где-то есть.

Лейтенант. Показали бы.

Панин. Далеко где-то.

Лейтенант. Показали бы.

Панин *(роется в карманах, вынимает карточку)*. Измялась вся.

Лейтенант *(смотрит)*. Ишь какая! *(Перевертывает.)* Простите, тут письмо... Я случайно...

Панин. Ничего, тут ничего, собственно, не написано.

Лейтенант. А глаза какие! Эта — ждет! Эта непременно ждет...

Входит Сафонов.

Сафонов *(отряхиваясь)*. Первый снег пошел.

Пауза.

Что, дом вспомнить потянуло? Далеко теперь твой дом, а, писатель?

Панин. Далеко.

Сафонов. Глоба, а твоя где фотография? Не вижу.

Шура. А ему, по его характеру, целый альбом нужно возить.

Глоба. Вот это уж неверно, Шурочка. Человек я, правда, холостой, но чтобы целый альбом возить — это нет. Если возить фотографию, так это уж надо одну какую-нибудь, чтобы сердце билось при взгляде,— например, хотя бы вашу. Но вы же мне не подарите?

Шура. Нет, не подарю.

Глоба. Ну, вот видишь. Хотя у капитана, впрочем, тоже нет фотографии. То есть она могла бы тут с ним рядом сидеть, да он все отсылает ее от себя.

Сафонов. Ты не трогай этого. Знаешь же, что больше некого...

Глоба. А хотя бы меня.

Сафонов. Твое время еще придет. Я тебя на крайний случай держу.

Глоба. Это на какой же такой крайний случай?

Сафонов. А вот если пропадет она, ты пойдешь.

Молчание.

Теперь еще отсидеться два дня — и порядок. *(Панину.)* И придется тебе, начальник особого, сдать свои дела и опять в писатели податься.

Панин. Да, в газете уже, наверное, думают, что пропал их собственный корреспондент...

Быстро входит Васин, за ним Козловский.

Васин. Товарищ капитан, переправилась Анощенко?

Сафонов *(взглянув на часы)*. При мне нет, но сейчас уже, должно быть... А что?

Васин. Где, у Южной балки?

Сафонов. Да, а что?

Васин. Товарищ лейтенант, соедините со второй ротой! Быстро!

Козловский, стоящий рядом с Васиным, хватается за наган, но Васин, незаметно следивший за ним, поворачивается, перехватывает его руку и вывертывает ее. Наган падает.

Сафонов. В чем дело?!

Васин. Сейчас. Товарищ Панин, выведите его отсюда.

Панин *(отворив дверь в соседнюю комнату)*. Идите.

Козловский не двигается.

Ну!

Козловский и Панин выходят.

Сафонов. Что случилось, Александр Васильевич?

Васин. Сейчас. *(Лейтенанту.)* Соединили?

Лейтенант. Есть. Соединил.

Васин *(в телефон)*. Задержите Анощенко, если еще не переправилась... Я спрашиваю: переправили или нет?..

Пауза.

Я знаю, о чем можно по телефону разговаривать и о чем нельзя. Переправили или нет?.. Понятно. *(Положив трубку.)* Переправили. Опоздал.

Сафонов. Александр Васильевич, может, объяснишь все-таки?

Васин. Так точно. Сейчас объясню. *(Кивает на дверь, в которую увели Козловского.)* Вот этот мой племянник объяснит. Пойдемте.

Сафонов и Васин проходят в соседнюю комнату.

Шура. Иван Иваныч!

Глоба. Ну?

Шура. Что же это? Неужели пропадет Валечка? А?

Глоба *(угрюмо)*. Молчи.

Шура. Неужели пропадет?

Глоба. Молчи.

Шура. Неужели вам даже сейчас не жалко, что пропадет?

Глоба *(хватив кулаком по столу)*. Молчи об этом. Не будет этого!

Сафонов *(показывается в дверях)*. Глоба!

Глоба. Да?

Сафонов. Глоба, одевайся в штатское, скорей. Где оно у тебя?

Глоба. На медпункте.

Сафонов. Беги. *(Закрывает дверь.)*

Глоба. Вот и пришел мой крайний случай, Шурочка. *(Идет к двери, оборачивается.)* Там у тебя, наверно, из-под одеколона пузырек есть, так ты мне водки в него приготовь, чтобы, как переплыву, греться было чем. *(Выходит.)*

Шура *(подходит к столу, где стоит ее машинка, роется в ящиках, достает флакон, задумчиво смотрит на него)*. Валечкин. Осталось немножко... Все равно теперь...

Входят Сафонов, Васин, за ними между Паниным и красноармейцем Козловский, без пояса, в гимнастерке с сорванными петлицами.

Сафонов. Глоба ушел?

Шура. Да.

Сафонов. Хорошо. *(Васину.)* Ну что ж. Надо кончать. По-моему, все ясно.

Васин. Я не видел его четырнадцать лет, и он значительно изменился. Но все-таки, очевидно, мог бы узнать... если бы был внимательнее. Готов за это понести ответственность.

Сафонов. Да что там ответственность, Александр Васильевич. Подумаешь, из-за такой сволочи расстраиваться. Ну, племянник он тебе, ну и шут с ним. Расстреляем — и не будет у тебя племянника. Товарищ Панин! Составь протокол. Покороче. Ему до утра незачем жить, лишнее ему жить до утра. Понятно?

Панин. Понятно.

Красноармеец. Пойдем!

Козловский *(проходя мимо Васина)*. Я умру, но будьте вы прокляты!.. Вы... вы мне не дядя... вы...

Сафонов. Конечно, он тебе не дядя. Кто же захочет быть дядей такой сволочи?

Панин, красноармеец и Козловский выходят.

Васин. Я подам рапорт, товарищ капитан, и буду просить расследовать это дело, со своей стороны...

Сафонов. А иди ты со своим рапортом, Александр Васильевич. Нам с тобой некогда рапорты писать, нам еще завтра драться нужно. *(Опускает голову на стол, молчит.)*

Васин. Что с вами, Иван Никитич?

Молчание.

Сафонов *(глухо)*. Про мост она им не скажет, это мы поправим. Глобу пошлем. Она не скажет... А если... Все равно не скажет. А ты понимаешь, Александр Васильевич, что это значит — не скажет?

Входит лейтенант.

Лейтенант. Товарищ капитан, самолет из армии вымпел сбросил. Примите.

Сафонов. Из армии? Давно я приказов не получал, устала у меня голова от самостоятельных действий. *(Читает приказ.)* Да, вот какое дело. Видно, придется нам, Александр Васильевич, отложить эту мысль насчет в живых остаться. Армия нам поможет — это безусловно, но и мы ей, выходит, тоже помочь должны. Что ж, придется мост отставить, отставить придется мост, Александр Васильевич.

Васин. Отставить?

Сафонов. Отставить. *(Протягивает Васину приказ.)* Лейтенант! Позвони командирам, кто на месте есть, скажи, я собираю.

Лейтенант уходит.

Прочел, Александр Васильевич?

Васин. Так точно. Ну что ж, Иван Никитич, авось нас никто не попрекнет: будем живы — не попрекнут, умрем — тоже не попрекнут.

Входит Панин.

Сафонов. Ну что, закончили?

Панин. Да. А насчет протокола...

Сафонов. Не надо. Эти подробности мне теперь лишние. Панин, вот получил я приказ. Александр Васильевич, давай карту! Армия к лиману подходит. Немцы находятся прижатые к воде. И что была наша мысль взорвать мост у них в тылу, так теперь мысль эта неправильная. Приказано оставить город, собрать все силы и захватить мост, хотя бы на два часа, до подхода наших частей. Чтоб они по этому мосту потом дальше могли идти. Это решение командования, оно глядит в будущее.

Панин. Ясно.

Сафонов. Ясно, но тяжело. Придется нам с тобой, Панин, с людьми говорить. Потому что взорвать мост — это пустяки рядом с тем, чтобы взять мост. Потому что люди устали. Они уже надеялись, что им пережидать теперь два дня, пока наши придут, и все. А им еще надо теперь мост брать, жизнь свою класть за этот мост. Это объяснить надо людям. Понимаешь, Панин?

Панин. Объясним.

Сафонов. Это вроде как человек воюет полгода, потом ему отпуск завтра дают, а перед отпуском за два часа говорят: иди опять в атаку. Для него эта атака самая тяжелая. Сделаем, но тяжело. Мост — это я лично на себя беру, а ты, Александр Васильевич, возьмешь легкие орудия и у Южной балки будешь вид делать, что вдоль лимана прорваться хочешь. Но такой вид делать, Александр Васильевич, чтобы похоже было, чтобы они про мост забыли, совсем забыли, чтобы на тебя все внимание обратили.

Васин. Значит, демонстрация?

Сафонов. Да, демонстрация. Но только ты забудь это слово. Люди всерьез должны у тебя идти: это не всякий выдержит, чтобы знать, что без надежды на смерть идешь. Это ты можешь выдержать, а другой может не выдержать. Вот Панин с тобой пойдет за комиссара.

Васин. Я только опасаюсь, что они не попадутся на эту удочку.

Сафонов. Попадутся, я так придумал, что попадутся.

Входит Глоба в штатском.

Вот Глоба поможет, чтобы попались. Иди сюда, Глоба!

Глоба встает перед ним.

Вот какое дело. Пойдешь на ту сторону, найдешь Василия, передашь ему, что взрыв моста отставить. Ясно?

Глоба. Ясно.

Сафонов. Сделаешь это...

Глоба. И обратно?

Сафонов. Нет, сделаешь это и... потом пойдешь в немецкую комендатуру.

Глоба. Так.

Сафонов. Явишься к немецкому коменданту или кто там есть из начальства, скажешь, что ты есть бывший кулак, лишенец репрессированный, в общем, найдешь, что сказать. Понятно?

Глоба. Понятно.

Сафонов. Что угодно скажи, но чтобы поверили, что мы у тебя в печенках сидим. Понятно?

Глоба. Понятно.

Сафонов. Так. И скажешь им, что бежал ты сюда от этих большевиков, будь они прокляты, и что есть у тебя сведения, что ввиду близкого подхода своих частей хотим мы из города ночью вдоль лимана прорваться у Южной балки. Ясно? И в котором часу, скажешь. Завтра в восемь.

Глоба. Ясно.

Сафонов. Ну, они тебя, конечно, в оборот возьмут, но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят, но ты стой на своем. Тогда они поверят. И тебя держать как заложника будут: чтобы ежели не так, то расстрелять.

Глоба. Ну, и как же выйдет: так или не так?

Сафонов. Не так. Не так, Иван Иванович, выйдет не так, дорогой ты мой. Но другого выхода у меня нету. Вот приказ у меня. Читать тебе его лишнее, но имей в виду: большая судьба от тебя зависит, многих людей.

Глоба. Ну, что же.

Пауза.

А помирать буду, песни петь можно?

Сафонов. Можно, дорогой, можно.

Глоба. Ну, коли можно, так и ладно. *(Тихо.)* В случае чего, встречусь я с ней там, на один цугундер посажены будем,— что передать, что ли?

Сафонов. Что же передать? Ты ей в лицо посмотри: если увидишь, что ей, может, это ни к чему, то не говори, а если увидишь — к чему, то скажи: просил Сафонов передать, что любит он тебя. И все.

Глоба. Хорошо. Говорят, старая привычка есть: посидеть перед дорогой, на счастье. Давай-ка сядем.

Все садятся.

Шура!

Шура. Да.

Глоба. Ну-ка, мне полстаканчика на дорогу.

Шура наливает ему водки.

(Выпив залпом, обращается к Шуре.) Что смотришь? Это я не для храбрости, это я для теплоты пью. Для храбрости это не помогает. Для храбрости мне песня помогает. *(Пожимает всем руки. Дойдя до двери, поворачивается и вдруг запевает.)* «Соловей, соловей-пташечка». *(С песней скрывается в дверях.)*

Молчание.

Сафонов. Ты слыхал или нет, писатель? Ты слыхал или нет, как русские люди на смерть уходят?

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Обстановка четвертой картины. Дом Харитонова. Хозяев нет. Столовая обращена в караульное помещение. Все опустошено. Поломанная мебель, изорванные занавески, забытые портреты на стенах. Окна забиты снаружи досками. Одна из внутренних дверей обита железом и закрыта на засов. Через застекленный верх наружной двери от времени до времени видны каска и штык часового. На сцене за столом Вернер с обвязанной головой и писарь Краузе.

Вернер. Вы дурак, Краузе, потому что, когда взяли эту девицу, надо было сначала ее допросить *(кивнув на обитую железом дверь)*, а потом уже сажать с остальными.

Краузе. Разрешите доложить, господин капитан, ее посадили с остальными потому, что вас не было.

Вернер. Все равно, был я или не был, ее нельзя было сажать с ними. Теперь она говорит только то, о чем они сговорились. Теперь она уверяет, что она была прислана к этой старухе, и все. А причиной этому то, что вы дурак. Ясно вам это?

Краузе *(вставая)*. Так точно, господин капитан.

Вернер. Введите ее.

Солдат вводит Валю. У нее измученный вид. Руки бессильно висят вдоль тела.

Я слышал, вас избили?

Валя. Да.

Вернер. И вас опять изобьют завтра так же, как и сегодня, если вы сегодня будете говорить то же, что и вчера. Но если вы скажете что-нибудь новое, то вас больше не будут бить, вас просто расстреляют. Вы слышите, даже не повесят, а только расстреляют. Даю солдатское слово.

Валя молчит.

Зачем вы переправились?

Валя. Я уже сказала. Я переправилась сюда *(говорит смертельно усталым голосом заученные слова)*, чтобы успокоить мать одного нашего командира, чтобы сказать, что вскоре их всех освободят. Она сидит здесь, она может сказать, что я говорю правду.

Вернер. Конечно, она может сказать это после того, как вы сговорились, благодаря тому, что мой писарь — идиот. А зачем у вас с собой был браунинг? Для того чтобы передать сыновний подарок?..

Валя. Нет. Браунинг... я взяла его для того, чтобы застрелиться, если...

Вернер. У нас не дают стреляться женщинам. Мы их избавляем от этого труда. Имейте это в виду.

Валя *(все тем же смертельно усталым голосом)*. Я же сказала: я пришла к матери одного из наших командиров...

Вернер *(ударив по столу кулаком)*. Я слышал это! Краузе!

Краузе. Да.

Вернер. Давайте старуху.

Краузе вводит Марфу Петровну. У нее растрепанные седые волосы.

(Марфе Петровне.) Для чего вот эта *(кивает на Валю)* приходила к вам? Должна была прийти к вам, если бы мы не задержали ее?

Марфа Петровна молчит.

Сколько раз она у вас была?

Марфа Петровна молчит.

Сейчас без двух минут семь. Если до семи ты мне не ответишь, будешь повешена. Все. *(Откидывается на спинку кресла в позе ожидающего человека.)*

Марфа Петровна. Я вам отвечу, господин офицер. Если уже две минуты осталось, то я вам отвечу.

Вернер. Ну?

Марфа Петровна. Я слыхала, что вы из города Штеттина, господин офицер.

Вернер. Ну?

Марфа Петровна. Хотела бы я полететь к вам туда невидимо, в ваш город Штеттин, и взять ваших матерей за шиворот, и перенести их сюда по воздуху, и сверху им показать, чего их сыновья наделали. И сказать им: «Видите вы, суки, кого вы народили? Каких жаб на свет родили! Каких вы гадюк на свет родили!» И если бы они не прокляли вас после этого, то убила бы я их вместе с вами, с сыновьями ихними!

Вернер. Молчать!

Марфа Петровна. Молчу. Я тебе все сказала. Прошли твои две минуты. Вешай.

Вернер *(смотрит на часы)*. Еще десять секунд. Я жду.

Марфа Петровна. Нечего мне больше тебе говорить.

Пауза.

Вернер *(смотрит на часы)*. Ну?

Пауза.

Вывести и повесить.

Краузе уводит Марфу Петровну. Она в дверях молча поворачивается к Вале и низко ей кланяется. За дверью передав ее солдатам, Краузе возвращается. Пауза.

(Взглянув еще раз на часы.) Сейчас ее повесят. Через минуту. Только потому, что ее все равно повесят, я разрешил ей сказать то, что она мне сказала. Вы будете говорить?

Валя. Я уже вам сказала: я переправилась сюда успокоить мать одного из наших командиров...

Вернер. К кому вы сюда шли?

Валя. Я уже сказала.

Вернер. Хорошо. Значит, вы взяли браунинг на тот случай... Я сам, правда, не одобряю этих случаев, но вот Краузе, он их любит. Когда вы сменитесь с дежурства, Краузе, вы можете взять ее к себе под домашний арест. Ясно?

Краузе. Ясно, господин капитан.

Вернер. Он сменится с дежурства в десять, если вы, конечно, до этого не передумаете.

Входит солдат.

Солдат. Господин капитан, явился перебежчик. Разрешите?

Вернер. Давайте его.

Входит Глоба.

Откуда?

Глоба. Оттуда, господин офицер, сам перешел.

Вернер. Кто вы?

Глоба. Я фельдшер. Глоба моя фамилия.

Вернер. Садитесь.

Глоба. Покорно благодарю, господин офицер.

Вернер. Почему перешли?

Глоба. Да что ж, господин офицер, своя рубашка ближе к телу. Не пропадать же всем русским людям через этих большевиков.

Вернер. Ну, говорите, что вы хотели сказать. Наверное, что-то хотели?

Глоба. Конечно, господин капитан. Я во сне видел, как уйти оттуда, они у меня все отняли. Сам пять лет сидел, а теперь через них же и пропадай. У меня сообщение важное есть, только вот... *(Оглядывается на Валю.)*

Валя молча с ненавистью смотрит на него.

Вернер. Ничего. Ее сегодня все равно... В общем, можете при ней.

Глоба. Разрешите папиросочку, господин офицер.

Вернер. Краузе, дайте ему папиросу.

Глоба *(закуривает)*. Покорно благодарю! *(Тихо, перегибаясь через стол.)* Господин офицер, у них воды совсем больше нет. Патронов нет. Они решили, кто здоровые, особенно из начальства, сегодня к ночи у Южной балки вдоль лимана пробиваться. Они ночью атаку там думают делать. Они думают, что не ждет немец этого, то есть, простите, не ждете, значит, вы этого... и вот хотят.

Вернер. Это правда?

Глоба. Истинная правда, господин офицер. Я как только узнал, так сразу же и перебежать решился, потому что, думаю, если так просто, то, может, и расстреляете вы меня, а сообщение вам принесу, то вы сразу — что я человек преданный, увидите.

Вернер. Когда это должно быть?

Глоба. Скоро, в восемь часов.

Вернер *(задумывается, вынимает из планшета карту)*. Подите сюда. Здесь?

Глоба *(заглядывает)*. Так точно, здесь.

Вернер. А чем вы можете доказать?

Глоба. Так скоро же начнется. Сами увидите.

Вернер. А вы знаете, что русские подошли к самому лиману? Слышите?

Слышна канонада.

Глоба. Слышу, господин офицер. Так ведь это же тут. А у меня домик под Винницей. И жена там, и все. Я через вас только

туда и попасть могу. А что все правда, вы не сомневайтесь. Я же у вас, господин капитан. Вы, если что, меня раз-два, и готово. Это же мне вполне ясно.

Вернер. Да, это должно быть вам ясно, очень ясно. Краузе, уведите их.

Краузе выводит Валю и Глобу в комнату с железной дверью.

Возвращается.

А теперь соедините меня со штабом.

Краузе *(берется за телефон)*. Готово, господин капитан!

Вернер *(по телефону)*. Господин майор, тут прибыл перебежчик оттуда — из той половины города. Он заявляет, господин майор, что у них ни воды, ни патронов и что они, отрезанные от своих, не знают, что происходит на самом деле. Он сообщает точные сведения. Сегодня в восемь они будут пробовать прорваться из города у Южной балки, вдоль лимана. Он сообщает, что это должно начаться в восемь часов... Да... Да. По-моему, взять туда четвертую роту от моста... Да... Ну что ж, на мосту останется два взвода, и потом... потом, они никогда не решатся из города идти прямо на мост... Да, конечно, проверю... Слушаю... Будет сделано. *(Кладет трубку, берет лист бумаги и что-то пишет.)* Краузе! Сегодня вы им дадите есть. Ясно?

Краузе. Ясно.

Вернер. Вы вызовете их сюда, дадите им по куску, и когда подойдет этот, Семенов, вы передадите ему с куском незаметно эту записку. Это уже не в первый раз, он поймет.

Краузе. Может быть, просто вызвать его одного, господин капитан?

Вернер. Это слишком просто. Это просто для нас, но просто и для них. Мы его спросим через час.

Пауза.

Да, когда дадите им хлеб, до моего прихода оставьте их здесь. Здесь у них скорее развяжутся языки. А сами выйдите и посматривайте через эту дверь.

Краузе. Хорошо, господин капитан.

Вернер выходит.

(Отворив железную дверь.) Эй, вы! Идите сюда!

Входят Семенов, Глоба и Валя.

(Взяв тарелку с несколькими кусками хлеба.) Берите хлеб. Господин комендант приказал вам выдать хлеб. *(Вале.)* Вы берете?

Валя молчит.

(Швыряет к ее ногам кусок хлеба. Глобе.) Вы?

Глоба подходит и берет хлеб. Краузе подходит к Семенову и дает ему хлеб в руки. Семенов ест хлеб, стоя спиной ко всем.

Глоба внимательно смотрит на него. Краузе выходит.

Валя *(тихо)*. Ну, Иван Иванович, скажите, что это неправда, что вы это все придумали. Скажите, мы же здесь все свои, а?

Глоба *(громко)*. Еще чего. Довольно я там унижался. Я теперь за все отплачу. За все ваши пакости. За мой дом поломанный. За тюрьму, где я сидел, за все.

Валя. Какой же вы мерзавец. Если бы я только знала... Я бы вас убила. И Иван Никитич убил бы!

Глоба. Ну, это если бы да кабы... А теперь руки коротки.

Валя *(Семенову)*. Товарищ, вы слышите, что он говорит. Ведь вот он же сейчас пришел и всех выдал и рассказал, как наши хотят из города выйти, и где, и когда. Они все погибнут из-за него. Если бы у меня что-нибудь было. *(Подходит близко к Глобе, с трудом поднимает руку.)* Вот! *(Ударяет его.)*

Глоба с силой отталкивает ее. Она, пошатнувшись, валится на стул у стены. Долгое молчание.

Глоба *(заметив, что Семенов отвернулся, подходит к Вале, тихо толкает ее)*. Валя!

Валя *(громко)*. Что?

На ее голос оборачивается Семенов.

Глоба *(меняя тон)*. Вот что я вам скажу, барышня. Вы не очень! Я не люблю, когда меня руками трогают. Это я вам, конечно, на первый раз по вашей женской слабости прощу. А там, имейте в виду, и до вас руками коснуться можно.

Валя. Как я могла раньше не догадаться? Вы же всегда такие вещи говорили, что мне противно было. Вот вы какой! А я не догадалась.

Семенов *(быстро подойдя к ней)*. А ты не огорчайся! *(Кивнув на Глобу.)* Это же свой, товарищ, это же он так. Для осторожности. *(Глобе, сердито.)* Что ты, в самом деле, дурака валяешь? Что мы, немцы, что ли? Всем нам один конец. Что же, до самой смерти, что ли, теперь друг друга подозревать? Смотри, до чего ее довел. С заданием перешел?

Глоба. А иди ты знаешь куда? Все вы думаете, что для вас с заданиями ходят. Жить я хочу. Понятно? Вот и все мои задания. Ничего мне такого ваша Советская власть не дала, чтобы помирать мне за нее.

Валя *(Семенову)*. Они у меня все руки вывернули. Ну, ударьте же хоть вы его, ради бога, чтобы почувствовал он, какой он гадюка.

Семенов подходит к Глобе и замахивается.

Глоба *(выкрутив ему руку)*. Ну-ну, потише, а то я сейчас в дверь стукну, скажу немцам, что ты тут партизанскую войну разводишь. Я им знаешь какие сведения принес? Они тебе за меня ноги переломают.

Пауза. Внимательно смотрит на старые дубовые часы с маятником. На часах ровно восемь.

Что, часы правильные?

Все молчат.

Часы, говорю, правильные?

Семенов. А что тебе часы? *(С интересом)*. Зачем тебе, который час, знать надо?

Глоба. Я спросил: часы правильные? И больше я вопросов к тебе не имею, так что молчи. *(Прислушивается.)*

Из тишины доносятся первые далекие выстрелы.

Свет гаснет.

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Обстановка пятой картины. Берег лимана. Тревожная музыка близкого боя. Два красноармейца, поддерживая, вводят на сцену Васина. Сажают его.

Первый красноармеец. Ну, как, товарищ майор?

Васин. Ничего.

Второй красноармеец *(перевязывает Васину грудь)*. Ишь как бежит. Сейчас я стяну, товарищ майор, потуже: легче будет.

Васин. Кого-нибудь из командиров ко мне.

Первый красноармеец. Сейчас, товарищ майор. *(Уходит.)*

Васин. Седьмая и, кажется, последняя.

Входит Панин.

Панин. Александр Васильевич, куда вы ранены?

Васин. Кто это?

Панин. Панин.

Васин. Седьмая, и, кажется, последняя. Как там, товарищ Панин?

Панин. Немцы, видимо, ждали. Их много. Были готовы и встречают.

Васин. Это хорошо. Хорошо, что встречают. Очень хорошо, что встречают...

Пауза.

А от капитана никого нет?

Панин. Пока нет. Что прикажете делать, товарищ майор?

Васин. По-моему, нам приказ не меняли: наступать. Сейчас третий взвод подойдет, поведете его.

Панин. Есть.

Васин. Вместо меня примете команду.

Панин. Есть.

Васин. Кажется, слышно что-то от моста... а?

Красноармеец. Так точно. Слышно, товарищ майор.

Васин. Плохо слышу. Сильно стреляют, а?

Красноармеец. Сильно, товарищ майор.

Васин. Это хорошо.

Вбегает лейтенант.

Лейтенант. Где майор?

Васин. Я здесь. Откуда?

Лейтенант. Капитан просил передать, что наши уже у самого моста. Уже идет бой. Вы можете отходить.

Васин. Хорошо! *(Вдруг громким голосом.)* Последний раз в жизни хочу сказать: слава русскому оружию! Вы слышите?! Слава русскому оружию. А капитану передайте, капитану передайте... *(Опускается на руки красноармейца.)*

Панин *(наклоняется над ним, потом выпрямляется, снимает фуражку)*. А капитану передайте, что майор Васин пал смертью храбрых, сделав все, что мог, даже больше, чем мог. И еще передайте, что команду над ротой принял начальник особого отдела Панин. Можете идти.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Обстановка седьмой картины. Свет загорается снова, на часах десять. Глоба — по-прежнему ходит по комнате. Валя полулежит на стуле. Семенов из своего угла внимательно наблюдает за обоими. Слышна близкая канонада.

Глоба *(прислушиваясь)*. Уже десять... Что ж — время подходящее.

Семенов. Для чего?

Глоба. Для всего. Смотря что кому надо. Совсем забыли про нас хозяева. Видать, не до того им, а?

Семенов *(угрюмо)*. Не знаю.

Глоба. Не знаешь? А я думал, как раз ты и знаешь.

За степой раздаются совсем близкие выстрелы и пулеметная трескотня.

Семенов *(испуганно)*. На улицах стреляют, а? Уже на улицах!

Глоба. А чего ты боишься? Это же ваши небось стреляют. Небось в город входят! Это мне бояться надо. А тебе что?

Валя. Неужели пришли? *(Семенову.)* Наши идут, а?

Семенов. А ну тебя... *(Прислушивается.)*

Глоба *(подходит к нему)*. Ты что же? Тебе что, не нравится, что ли?

Семенов. Отстань. *(Прислушивается.)*

Глоба. А ну, повернись-ка!

Семенов поворачивается.

Дай-ка я на тебя посмотрю, какой ты был? Так. Ну, а теперь какой будешь? *(Бьет его по уху.)* А это — для симметрии. *(Снова бьет по уху и третьим ударом валит на пол.)* А теперь лежи, тебе ходить по земле не для чего. Привыкай лежать. Расстреляют — лежать придется.

Валя. Что вы делаете?

Глоба. А то и делаю, Валечка, что морду ему бью, сволочи. Наши в город ворвались. Теперь кончена моя конспирация. Немцы тикают. И сейчас нас с тобой стрелять будут. Это уж точно, это у них такая привычка. И не хочу я перед смертью, чтобы ты меня по ошибке за сволочь считала. Вот что значит.

Валя *(бросается к нему, обнимает его)*. Иван Иванович, милый! Иван Иванович!

Глоба. Ну, чего?

Валя молча прижимается к нему.

Ну, чего там? Чего расплакалась? Как на меня кричать — так не плакала. А теперь в слезу? Сердитая ты девка. Я думал, глаза мне выцарапаешь.

Валя. А я так измучилась. Если бы вы только знали, как измучилась!

Глоба. А я — на тебя глядя. Ничего, Валечка, ничего. Ты уж извини. Мы еще с тобой сейчас «Соловей, соловей-пташечка» споем. Только ты, голуба, имей в виду, сейчас расстреливать придут. Это уже непременно.

Валя. Пускай. Мне теперь все равно... Но наши, наши ведь придут?

Глоба. Придут! А как же! Потому нас и расстреляют, что наши непременно придут. Это как пить дать.

Семенов порывается к двери.

(Опять сваливает его на пол.) Ну, куда? Ты же сидел с нами и еще посиди. Тебе же немцы с нами сидеть велели. Ну и сиди. *(Обращается к Вале.)* Слезы-то вытри. Ну их к черту. Мне их показать можно, а им, сволочам, не надо. Дай-ка я тебе в глаза погляжу. *(Смотрит.)*

Валя. Что?

Глоба. Мне Иван Никитич наказал: в глаза тебе посмотреть и сказать, если вместе помирать будем, одно слово.

Валя. Какое слово?

Глоба. Что любит он тебя, просил сказать. Вот и все. Больше ничего.

Валя. Правда?

Глоба. Что ж, разве я перед смертью неправду тебе скажу?

Совсем близко выстрелы. Дверь с треском открывается, вбегают Краузе и солдат с автоматом.

Краузе. Все в камеру!

Глоба *(обняв Валю за плечи)*. Пойдем!

Глоба и Валя проходят в камеру.

Краузе. Быстрей! *(Семенову.)* Ты!

Семенов *(бросаясь к нему)*. Господин Краузе... я же ваш. Вы же знаете. Меня нарочно сюда...

Краузе *(отпихивает его сапогом)*. В камеру!

Семенов. Подождите! Я должен вам сказать очень важное.

Краузе. Ну, быстрей!

Семенов. Этот человек, он — их. Он все лгал.

Краузе. Теперь нам все равно. В камеру.

Семенов *(хватает его за руку)*. Господин Краузе, позовите господина капитана! Я сам позову! *(Бросается к наружной двери.)*

Когда он оказывается на пороге ее, Краузе стреляет ему в спину.

За дверью слышно падение тела.

Краузе *(солдату)*. Ну!

Солдат, подойдя к двери камеры, выпускает внутрь камеры автоматную очередь. Из камеры слышен голос Глобы, поющий: «Соловей, соловей-пташечка, канареечка жалобно поет... Эх, раз и два...»

Ну!

Солдат выпускает вторую очередь. Короткая тишина. За окном близкая трескотня выстрелов. Краузе и солдат выбегают. Снова выстрелы, потом долгая тишина. В дверях камеры появляется Валя. Она трогает себя за плечо, за руку. Рука не действует. Видимо, она ранена в плечо и в грудь. Прислоняется к стенке.

Валя *(обращаясь назад, в камеру)*. Иван Иванович!

Тишина.

Иван Иванович, Иван Иванович, вы живой?

Молчание.

Иван Иванович, милый, что же это? Смотрите, а я живая.

Молчание.

Неужели я одна живая?

Молчание.

Валя опускается в кресло у стены. Слышны выстрелы и грохот шагов. В комнату вбегают красноармейцы и Морозов.

Морозов *(останавливается в дверях)*. Товарищи!

Молчание.

(Всматривается.) Товарищи, есть тут живой кто?

Валя. Я.

Морозов *(подходит к ней)*. Это что? Это они сейчас тебя, да? У меня индивидуальный пакет есть.

Валя. Нет, вы сначала посмотрите... может быть, он там живой...

Морозов. Кто?

Валя. Глоба.

Морозов выходит и молча возвращается.

Он меня собой заслонил, когда они в нас стрелять стали. А может, он все-таки живой?

Морозов качает головой.

А наши совсем пришли, да?

Морозов. Совсем, совсем, успокойся.

В комнату вбегает Сафонов в сопровождении лейтенанта и красноармейца.

Сафонов. Ну, вот тут ихняя комендатура была. Тут у них арестованные где-нибудь поблизости... *(Замечает Валю.)* Валя!

Валя. Я...

Сафонов *(одному из красноармейцев)*. Давай кого-нибудь — врача или Шуру! Давай скорей! *(Бросается к Вале.)* Что это? Что ты молчишь?

Морозов. Должно быть, сознание потеряла. Только что говорила.

Сафонов *(берет ее за руку)*. Правда? Пройдет? Будет она живая, а?

Морозов. Будет. Она-то будет. *(Кивая на дверь камеры.)* А вот там...

Сафонов *(вскочив, проходит в камеру, возвращается с обнаженной головой)*. Глоба... Погиб Глоба... Хороший был человек... *(Вытирает глаза рукавом.)* Много у меня сегодня потерь. Почти силы нет все это выдержать. Но надо.

Вбегает Шура.

Шура. Ой! Валечка! Господи ты боже мой...

Сафонов. Не кудахтай! Перевяжи, пока врача нет. *(Подходит к столу, наливает стакан воды, возвращается к Вале.)* Вот воды ей дай. *(Отходит.)* Фамилии товарищей, которых немцы здесь повесили, узнали?

Лейтенант. Узнали. Вот список.

Сафонов. Завтра будем похороны делать. Последнее слово скажем погибшим товарищам. Последнее прости...

Пауза.

Так как же фамилии?

Лейтенант *(читает)*. «Антонов Иван Николаевич; Петрова Анна Сергеевна; Клинцов Петр Андреевич; неизвестный; Харитонова Мария Николаевна; Никольский Василий — это мальчик; Сафонова Марфа Петровна; Ганькин Алексей Тимофеевич...» Что с вами, Иван Никитич?

Сафонов. Ничего... Ничего. *(Вставая.)* Ничего такого. Только очень жить я хочу. Долго жить. До тех пор жить, пока я своими глазами последнего из них *(схватив из рук лейтенанта список)*, которые это сделали, мертвыми не увижу! Самого последнего, и мертвым. Вот здесь вот, под ногами у меня!

Занавес

1941—1942

Так и будет

Пьеса в трех действиях, шести картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Федор Алексеевич Воронцов — академик архитектуры, 55 лет.
Тетя Саша — его сестра, 60 лет.
Оля — его дочь, 23 года.
Дмитрий Иванович Савельев — инженер-полковник, 40 лет.
Вася Каретников — его адъютант, лейтенант, 28 лет.
Ваня — воспитанник Савельева, 13 лет.
Полковник Иванов — артиллерист, 40 лет.
Анна Григорьевна Греч — майор медицинской службы, 42 года.
Степан Степанович Чижов — управляющий домом, 50 лет.
Сергей Николаевич Синицын — архитектор, 26 лет.
Надя — старший сержант, зенитчица, 28 лет.

Дело происходит в Москве летом 1944 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Москва, начало осени. Большая общая комната в квартире Воронцова. Три двери. У круглого обеденного стола за утренним поздним чаем Воронцов и Надя.

Надя. Ну, как блинчики мои? Хуже не стали?

Воронцов. Лучше. Как все после долгой разлуки.

Надя. Я на батарее девочкам тоже иногда пеку.

Воронцов. Хвалят?

Надя. Хвалят. Это как развлечение — вдруг блинчики испечь. Скучно.

Воронцов. А тебе непременно чтоб бомбы? Наш-то старый дом проморгала. Мало тебе? Ты что же, теперь сержант?

Надя. Старший.

Воронцов. Старший. А нос все курносый. После войны обратно ко мне в работницы не пойдешь?

Надя. Не пойду.

Воронцов. И не ходи. Занятие обидное и вымирающее. Ну, как тебе моя Ольга после разлуки?

Надя. Еще лучше стала.

Воронцов. Уж сибиряки сватались, сватались.

Надя. Жалко, Виктор Иванович погиб.

Воронцов. Да. Вот тут, бывало, сидел. Не любил сладкий чай, помнишь?

Надя. Помню.

Воронцов. И погиб. Не муж ей был, но помнить себе о нем велела.

Надя. И помнит?

Воронцов. Помнит. Пока. До любви. Ведь память — она только от напрасного охраняет. А придет любовь, все сломает.

Надя *(кивнув на дверь)*. А Сергей Николаевич все дружит, ходит.

Воронцов. Дружит. Все мы так. Дружим, дружим...

Оля выходит из своей комнаты вместе с Синицыным.

Оля. И беру с тебя слово: после лекции — сразу к нам.

Синицын. Хорошо.

Воронцов. Первая публичная? Волнуешься?

Синицын. Немножко. До свидания. *(Уходит.)*

Оля *(в дверях)*. Приходи. А то поссоримся.

Воронцов. По-моему, и так поссорились.

Оля. Пока нет.

Пауза.

Дай блинчик!

Воронцов *(отправляя блинчик в рот)*. Какой блинчик? Вот у сержанта проси.

Надя *(улыбнувшись)*. Нажарить?

Оля. Нажарь. Мы его выгоним в кабинет, а сами тут, как он выражается,— навернем.

Надя выходит.

Воронцов. Объяснился?

Оля *(кивнув)*. И главное, зачем? Все было так хорошо.

Воронцов. Молчание — золото? Да? А мысли?

Оля. Что мысли?

Воронцов. Мысли его на этот предмет тебе — что — неизвестны были? А впрочем, сам виноват. Любитель слишком длинных осад. Глупо. Я сторонник штурмов. Штурмовал твою мать три дня и счастливо жил с ней до ее смерти. Итак, он сказал тебе «будь моей», а ты предложила ему взамен чистую дружбу? Так?

Оля. Не совсем так, но, в общем, да.

Воронцов. Не поймет.

Оля. Почему?

Воронцов. Потому что мужчина. Будет ходить и надеяться. Я в этих вопросах за старинное варварство: «Я прошу вашей руки, Глафира Степановна».— «Нет, я не буду вашей женой, Тимофей Лукич».— «Прощайте, Глафира Степановна». Цилиндр в руки, и больше в этот дом ни ногой. А вы: «Сереженька, приходи вечером, а то я рассержусь. И завтра приходи, и послезавтра. Будем вместе смотреть альбомы и пить чай с папой!»

Оля. А знаешь, ты, как фокусник,— раз, и самую серьезную вещь вдруг вывернешь так, что она выглядит глупо.

Воронцов. А почти в каждой серьезной вещи есть своя глупая сторона!

Оля. Что ты злишься на меня?

Воронцов. На тебя? Я на него злюсь. Он же талант! Я-то вижу. Он когда за проектную доску садится, чертом делается. Когда-нибудь такие города строить будет, что нам и не снилось! Я в сорок первом сам в ополчение пошел, а его, молокососа, заброни-

ровал, думаешь, так просто? Талант... А душа не по таланту. Средняя душа, небольшая. Ему бы, по его таланту, такую душу иметь, чтоб в ней все потонуло — и Виктор твой, и воспоминания. Такую душу — чтоб сгреб в нее тебя, как медведь, и не выпустил бы. Нет, где там...

Оля. Папа.

Воронцов. Что?

Оля. Если бы ты был не ты, а я — не я и тебе было бы лет на двадцать меньше, я бы тебя непременно полюбила.

Воронцов *(ворчливо)*. Слава богу, нашла наконец подходящего жениха. *(Подходит к этажерке, достает фотографию.)* Вот, пожалуйста, в двадцать четвертом году снимался. Возьми. Носи с собой в сумочке и смотри на проходящих мужчин, когда увидишь похожего — знай, жених!

Оля. Опять ты! А я почти серьезно.

Воронцов. А я тоже — почти серьезно.

Звонок. Оля уходит в переднюю. Возвращается с Чижовым.

Чем могу служить?

Чижов. Товарищ Воронцов, я в больнице был, когда вас сюда поселили...

Воронцов. Так точно. После возвращения из эвакуации третий месяц в ваших палестинах живу, поскольку мои немец разбомбил.

Чижов. Эта квартира, я хотел вас предупредить, инженера Савельева была, Дмитрия Ивановича... Вам ничего не говорили?

Воронцов. Ничего. Сказали, что вещи тут стоят, когда нужны будут — заберут.

Чижов. Вот именно, вещи. Это Савельева вещи. Надо вам сказать, как на грех, аккурат перед войной он с женой и дочерью на курорт какой-то поехал возле границы. И предполагается, что погиб там с семейством, иначе бы известия были.

Оля. Это их фотографии в той комнате висят?

Чижов. Их. Ну, раз вы даже ихние фото не тронули, мне вам незачем объяснять про сохранность. Конечно, об них и слуху нет, но я сам в ополчении был, знаю: пока без вести — это еще не помер!

Воронцов. В какой ополченской были?

Чижов. В нашей, Бауманской.

Воронцов. Стало быть, однокашники.

Чижов. А разве вы тоже?

Воронцов. Тоже! Не тоже, а я, милый, отделенным был. Оля, ну-ка налей по маленькой бывшим однополчанам.

Входит Надя.

Надя. А вот и блинчики.

Воронцов. Давай сюда. За ползающих и перебегающих, невзирая на возраст! *(Пьет.)*

Оля. Пропали мои блинчики...

Надя. Еще сжарим.

Оля. Какое там «сжарим», и так опаздываю. *(Быстро целует отца.)*

Воронцов. Вот женщины, Чижов. Мы с тобой, может быть, в соседних окопах лежали, а ей блинчиков жаль.

Оля. Лежали, стреляли, ползали. Воевал две недели, а уж разговоров...

Воронцов. А чем меньше человек воевал, тем он больше об этом разговаривает. Это уж такой закон природы.

Оля выходит.

Верно, Чижов?

Чижов *(поднимаясь)*. Верно. Рад я, что в хорошие руки квартира эта...

Воронцов. Да уж хорошие не хорошие, а как бывший однокашник, должен ты мне первому все поблажки делать — там свет включать, воду пускать...

Чижов. Безусловно.

Воронцов. Ты куда спешишь-то?

Чижов *(разводя руками)*. Ремонт.

Воронцов. И мне бы тут тоже неплохо — ремонт по знакомству, а? Как это поют-то: «Вспомню я пехоту, и родную роту...»

Чижов *(неожиданно подтягивает уже в дверях)*. «И тебя за то, что ты дал мне закурить».

Воронцов. Вот, вот.

Чижов выходит.

Вот именно. *(Не очень уверенно повторяет.)* «Вспомню я пехоту, и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить».

Надя. Федор Александрович, а я и не знала, что вы в ополчении были.

Воронцов *(недовольный тем, что она слышала, как он пел)*. Был. Объявили ополчение — и пошел. Три недели был. На четвертую вызвали к командиру батальона. «Воронцов?» — «Воронцов».— «Тот самый?» — «Тот самый».

Надя. Ну?

Воронцов. Что «ну»? Ну, и изъяли. Отправили в эвакуацию чуть не под конвоем. Вот, курносая, какие дела... Надоело в небо палить, а? Замуж хочешь?

Надя. По правде, Федор Александрович?

Воронцов. А соврешь — не поверю.

Надя вдруг, присев, закрыв лицо передником, всхлипывает.

Ну, чего?

Надя *(вытирая глаза)*. Ничего. Так бы... Так бы...

Воронцов. Что «так бы»?

Надя. Так бы его любила. Так бы ему хорошо было. Так бы...

Воронцов. Бедные вы, бабы, военные и не военные. Не плачь, Надежда, не плачь. Имя у тебя такое — плакать тебе нельзя.

Звонок. Надя выходит и возвращается с тетей Сашей. Это шестидесятилетняя женщина, одетая по-деревенски.

Знакомься, Надежда,— сестра моя. Садись, Саша. *(Подмигнув Наде.)* Может, водочки тебе налить?

Тетя Саша, строго поглядев на него, молча убирает в шкаф штоф и рюмки и только после этого садится.

(Проводив взглядом штоф, встает.) Однако заговорился с вами. Работать надо. *(Смотрит на Надю и на тетю Сашу.)* Александра Александровна. Старшая сестрица. Умнейшее в нашей семье существо, хотя и без высшего образования. Месяц назад из деревни Новые Дворы из-под Новгорода привез, откуда и сам произошел. Уже все знает, что где дают и где очередь меньше.

Тетя Саша. Все болтаешь, Федя. Балабон ты.

Воронцов. Кто?

Тетя Саша *(спокойно)*. Балабон. Иди, иди, а то заговоришь, обед не сготовлю.

Воронцов уходит в кабинет.

Надя. Я вам помогу. У меня сегодня отпускной день. Я у ваших раньше в работницах была.

Тетя Саша. Угадала. Говорили про тебя.

Надя. А вы так всю жизнь в деревне и жили?

Тетя Саша. Так и жила. Нас шесть девок было, так отец на нас — тьфу. Что мы ему? А его в семинарию определил. А потом уж он сам... *(Смотрит на стол.)* Это, что ли, твои блины-то хваленые? На чем печешь?

Надя. На соде.

Тетя Саша. Я им тут на дрожжах пекла. Не хороши им, все твои поминали. На соде, значит. *(Идет к двери.)* Пойдем, что ли, на кухню.

Надя. Пойдемте.

Тетя Саша. А фартук все же надела, мундир замарать боишься. Баба, она и есть баба, как ты ее ни ряди.

Тетя Саша и Надя выходят. В передней слышен скрип поворачиваемого ключа, потом голоса. В столовую входит Савельев в полковничьей шинели. Вслед за ним — Вася. Оба ставят на пол чемоданы.

Савельев. Ну, вот мы и дома. *(Устало опускается в первое попавшееся кресло.)* Да, Вася, странно, три года — и вдруг как будто ничего не переменилось. Да... *(Хлопает рукой по ручке кресла, смотрит на кресло.)* Первый раз в жизни вижу. Нет, шкаф мой. А стол не мой.

Воронцов *(появляясь в дверях кабинета)*. Стол мой.

Они смотрят друг на друга, Савельев встает. Вася, до сих пор стоявший, от удивления садится.

Воронцов. Будем знакомы. Воронцов.

Савельев. Савельев.

Воронцов. Савельев... Савельев?..

Савельев. Савельев.

Воронцов. Ну, коли Савельев, садитесь. Будьте как дома, тем более что вам это нетрудно себе представить.

Савельев. Спасибо.

Оба садятся.

Воронцов. В первую минуту не узнал вас, признаться. *(Показывает на его шинель и погоны.)* Переменились.

Савельев. Переменился?

Воронцов. Да. Фотографии ваши видел здесь, в квартире. Довоенные. Совершенно гражданским лицом были. Одни или с семейством прибыли?

Савельев. Один.

Воронцов. Прошу прощения за вторжение в вашу квартиру. Вселен вроде по закону, но чувствую себя сейчас несколько на воровском положении.

Савельев. Честно говоря, сам не рассчитывал после трех лет... Так, на бога заехал. *(Кивнув на Васю.)* Адъютант растерялся, в гостинице номер не достал. Решил: была не была, загляну на пепелище. Пока война — претензий не имею. В Москву на несколько дней всего. С вашего разрешения оставлю пока вещи. Надо ехать в наркомат. А к вечеру *(кивает на Васю)* он номер достанет.

Вася. Так точно.

Савельев. Простите, имя-отчество ваше?

Воронцов. Федор Александрович.

Савельев. Мое — Дмитрий Иванович. *(Смотрит на Воронцова.)* Ваше лицо мне знакомо. Где-то вас видел.

Воронцов *(пожав плечами)*. Если по профессии строитель или архитектор, могли видеть на съездах...

Савельев. Угадали — строитель, и видел на съездах. И дома ваши знаю, и мосты, и книги. Кто же из нашего брата строителей вас не знает. Ну, что ж. Рад, что это пепелище по крайней мере хоть в хороших руках... Вася, чего ждешь? В гостиницу! И чтоб к восемнадцати часам прибыл сюда и доложил, что номер готов. К восемнадцати и я буду здесь.

Воронцов. Подождите, молодой человек.

Вася задерживается.

Савельев *(встав)*. Иди.

Вася, козырнув, выходит.

Воронцов. Присядьте еще раз, полковник.

Савельев садится.

Значит, так: квартира эта — не пепелище, заметьте, а квартира, и не вообще, а именно сейчас — ваша! Не сомневаюсь, что для меня подыщут другую квартиру. Но не в этом суть. Прошу выкинуть мысли о гостинице и вашу командировку жить здесь. В вашем кабинете все как было, так и осталось. Там и живите. И не спорьте со мной.

Савельев *(подходит к двери кабинета, приоткрывает ее и, снова захлопнув, возвращается)*. Два раза за войну был накоротке в Москве, но не заходил. И сегодня не надо было.

Воронцов. Почему?

Савельев. А потому, что, как у многих людей, представьте себе, до войны у меня были жена и дочь. И жили именно здесь.

Воронцов. Понимаю. Но все же вы зашли сюда?

Савельев. Зашел.

Воронцов. А раз уж зашли — то я не отпущу вас. И если не хотите, чтобы я собственноручно вытащил свои вещи на тротуар и разбил там палатку, вам придется, пока вы в Москве, жить здесь, в своем кабинете. А там сообща разберемся.

Савельев. Ценю ваше великодушие, но вы даже не знаете, какую обузу собираетесь взять на себя.

Воронцов. Знаю. В первый раз фронтовика, что ли, вижу, который в Москву приезжает? Водку будете пить, друзья к вам будут ходить, шум будете устраивать. Все знаю. Тем лучше. Буду сам с вами и водку пить, и шуметь! И не спорьте со мной. *(Кричит.)* Надежда!

Надя. Что?

Воронцов. Иди в первый этаж, за управдомом. Веди его сюда.

Надя выходит.

Савельев. А зачем управдом?

Воронцов. Напрасный вопрос. Теперь я командую. Нужен управдом — и все. Что это вы в шинели сидите? Снимайте.

Савельев. Есть снять шинель. *(Снимает шинель и кладет на чемодан. На гимнастерке у него несколько орденов.)*

Воронцов. Ишь какой иконостас. Как в небольшой сельской церкви.

Савельев. Воспоминание о реках и мостах.

Воронцов. Строите?

Савельев. Полтора года рвал, а теперь скоро два, как строю. Рискую вас огорчить, но, кажется, и ваш один — взорвал.

Воронцов. Где?

Савельев. Через Донец. Ваш?

Воронцов. Ах вы бандит. Неужели взорвали?

Савельев. Взорвал. В сорок втором.

Воронцов. Первый мой мост, так сказать — первое уродливое, но любимое дитя. Может, вам еще и орден за это варварство дали?

Савельев. За это? Нет.

Воронцов. И правильно сделали.

Входят Надя и Чижов.

Чижов, хочу тебя с одним полковником познакомить.

Савельев. Чижов!

Чижов *(окаменев)*. Нет, Дмитрий Иванович, это не вы.

Савельев. Ей-богу, я.

Чижов. Нет, это не вы.

Савельев. Ну, не я — так не я. Здравствуйте, Степан Степанович.

Чижов. Здравствуйте.

Савельев обнимает его и целует.

Воронцов. Вот так, наверное, будет при коммунизме: все управдомы будут целоваться со своими жильцами.

Чижов *(смотря на Савельева, машинально пальцем считает ордена)*. Раз, два, три, четыре, пять... шесть... Дмитрий Иванович, это они тут без меня товарища Воронцова вселили. Вы же сами никаких известий не давали. Так они в жилотделе решили...

Савельев. Ничего, Степан Степанович. Не волнуйтесь, разберемся.

Чижов. И мебель ваша цела. И два чемодана у меня в кладовой лежат. Как эвакуация началась, я как раз с фронта после ранения вернулся, в два чемодана все ваше собрал, и под замок. Костюмы ваши, часы-будильник, рубашки. Сейчас принесу вам.

Савельев. Успеете.

Чижов. Нет, уж я сейчас. *(Идет к дверям. Видя, что Воронцов отвернулся, возвращается, шепотом говорит Савельеву.)* Они люди культурные, ничего не тронули. *(Быстро выходит.)*

Воронцов. Вот видите. Даже чемоданы нашлись. Рубашки, костюмы, часы-будильник. Куда ж теперь уезжать отсюда!..

Савельев. Да, теперь затруднительно.

Воронцов. В шесть часов прошу к обеду.

Савельев. Спасибо. *(Улыбнувшись.)* Разрешите идти?

Воронцов. Так и быть, идите.

Савельев выходит.

Воронцов идет в кабинет и, вытащив оттуда пишущую машинку, халат и еще какие-то свои вещи, на ходу кричит.

Надежда, Александра!

Входят тетя Саша и Надя.

Ту комнату очищайте! Табак, бумаги мои, все — долой!

Тетя Саша. Чего это вдруг-то?

Воронцов. Переезжаю.

Тетя Саша. Куда?

Воронцов. К тебе. А все эти свои поневы и кокошники тащи к Ольге в комнату. С ней будешь жить, вдвоем. И к обеду чтоб водка была.

Входит Чижов, ставит на пол два чемодана, оглядывается.

Чижов. А где Дмитрий Иванович?

Воронцов. Уехал. К обеду будет. Что там у тебя в чемоданах?

Чижов. Придет — поглядит.

Воронцов. Нечего ему глядеть. Мы и без него поглядим *(Открывает чемодан, достает костюм, бросает на диван.)* Не годится. *(Достает другой костюм.)* Вот этот, синий, хорош будет. Надежда, гладь этот костюм, чтоб готов был к обеду. *(Чижову.)* Что смотришь? Не украду — не бойся. Ишь, нафталину насыпал, как в египетской гробнице. А ну давай, у меня там чертежная доска, вынесем! *(Уходит с Чижовым в кабинет.)*

Надя и тетя Саша стоят в полной растерянности. Воронцов и Чижов вытаскивают из кабинета чертежную доску.

(Тете Саше). Это к тебе пойдет!

Н а д я *(робко)*. Федор Александрович.

В о р о н ц о в. Ну?

Н а д я. Там ваш водитель, когда я выходила, говорит: «Может, Федор Александрович забыл, что ему к двенадцати в академию на заседание ехать?»

В о р о н ц о в. Чего? Заседание? Ну, конечно! Доски вам таскай, а люди ждут. Где моя шляпа? Лежала тут шляпа. *(Замечает в открытом чемодане кепку Савельева, надевает ее, подходит к зеркалу.)* Ну, ничего?

Ч и ж о в *(растерянно)*. Ничего.

В о р о н ц о в. И даже — хорошо! *(Сбивает кепку набекрень.)* Идет. *(В дверях, Чижову.)* Не бойся, верну! Давайте мне тут все побыстрей переставляйте.

Т е т я С а ш а. И чего это ты затеял, балабон? Чего это ты пожар-то сделал?

В о р о н ц о в *(в дверях)*. Человек приехал. Жить здесь будет.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Вечер того же дня. Воронцов раздраженно ходит по комнате. На стуле с унылым видом сидит В а с я.

В о р о н ц о в. Сколько времени?

В а с я. Двадцать один час.

В о р о н ц о в. А по-человечески?

В а с я. По-человечески — девять.

В о р о н ц о в. Не могу я его больше ждать. Мне ехать надо... Я уеду, а он тут без меня удерет. Номер ему достали?

В а с я. До двадцати двух часов. Если не явимся — разбронируют.

В о р о н ц о в. И очень хорошо. И пусть разбронируют.

В а с я. А вы знаете, что мне за это от полковника будет?

В о р о н ц о в. Ничего, голову не оторвет! Добро б кадровый был, а то, как и я,— по сути — гражданский человек!

В а с я. Гражданский? Ого-го!

В о р о н ц о в. А вы сами до войны военным были или тоже гражданский?

В а с я. Был когда-то артистом.

В о р о н ц о в. Оперным?

В а с я. Нет, драматическим.

В о р о н ц о в. Ну, это еще так-сяк.

В а с я. С вашего разрешения, пойду в гостиницу, проверю.

Воронцов. Подождите, подвезу, мне тоже ехать. *(Вдруг перейдя на «ты».)* А хотя нет,— раз номер бронировать хочешь — не повезу. Иди пешком.

Вася выходит. Входит Оля.

Оля. Все еще не уехал? Ждешь своего полковника?

Воронцов. Черт бы его драл. К обеду не явился! Перетащила к себе тетку?

Оля. В основном. Она с ног свалилась, спит.

Воронцов. И очень хорошо. А то ходила бы тут, под ногами путалась — «балабон», «балабон». А что это за слово — и сама не знает. Балабон! Ну, я иду.

Оля. Ты уже полчаса это говоришь.

Воронцов. А я всегда о том, что я иду, говорю заранее,— надо привыкнуть. Поеду и вернусь в эти... как их... в двадцать три часа. А ты изволь, чтобы полковник не смел никуда удирать. Чтоб распаковался, принял ванну и вообще чтобы, когда я вернусь, мне уже с ним не спорить. Надоело. Поняла?

Оля. Постараюсь, насколько это в моих слабых силах, задержать столь драгоценного для тебя полковника.

Воронцов. Он не драгоценный, дура! Он человек, у которого все пропало! Он на пепелище приехал, а тут какие-то черти новоявленные живут, вроде нас с тобой. Он прекрасный, деликатный человек. Он, может, сто мостов под огнем построил. И даже один мой взорвал, черт бы его драл... И не смей ворчать, что тетку к тебе переселил! Ну, я иду.

Оля. Хорошо.

Воронцов. Что хорошо?

Оля. Иди.

Воронцов. Я сам знаю, когда мне идти. *(В дверях.)* И чтобы, когда я приду, полковник тут был. *(Выходит, снова просовывает голову в дверь.)* Дмитрий Иванович зовут его. *(Уходит.)*

Оля, оставшись одна, несколько раз проходит из кабинета в другую комнату и обратно, перенося какие-то, очевидно последние, вещи. Потом берет в столовой кувшин с цветами и переносит его в кабинет. Возвращается. В передней слышен звук поворачиваемого ключа. Стук в дверь.

Оля. Войдите.

Входит Савельев.

Савельев *(входя)*. Простите.

Оля. Пожалуйста, Дмитрий Иванович. Да?

Савельев. Так точно.

Оля. Отец велел мне вас встретить и не отпускать отсюда вообще, и до его прихода в частности.

Савельев. Так это ваш отец?

Оля *(невольно улыбаясь)*. Да.

Савельев *(тоже улыбается)*. Решительный человек! Разговаривал со мной, по крайней мере, как командующий армией. Итак, мне приказано ждать его?

Оля. Да. *(Проходит через комнату, открывает дверь в кабинет.)* Вот ваша комната. На диване вам постелено. Он удобный.

Савельев. В общем — да.

Оля. Хотя что я говорю глупости. Это же ваш диван. Костюм, по выбору отца почему-то синий, отутюжен, висит на кресле. Что еще? Полотенце, мыло и все прочее — в ванной. Газ зажигать умеете? Хотя опять, что я... Что еще?.. Да. Обед вам оставлен, сейчас принесу.

Савельев. Спасибо, я обедал.

Оля. Тогда будете пить чай. *(Выходит.)*

Савельев подходит к двери кабинета, на секунду задерживается, потом решительно проходит туда.

(Входя.) Дмитрий Иванович!

Савельев *(из кабинета)*. Сейчас. *(Входит.)* Скажите, вы там эти фотографии развесили, пока я в наркомате был?

Оля. Нет, они все время так и висели.

Савельев *(очень серьезно)*. Спасибо.

Оля. Почему спасибо?

Савельев. Так вот, бывает, тронет человека какая-нибудь мелочь. Мой адъютант тут не появлялся?

Оля. Появлялся.

Савельев. Не знаете, достал мне номер?

Оля. Кажется, да.

Савельев. И куда ж он исчез?

Оля. Поехал стеречь ваш номер, чтобы его не разбронировали. Как вам, покрепче?

Савельев. Скажите откровенно, когда придет ваш папа, он мне опять прикажет пить чай?

Оля. Очевидно.

Савельев. Тогда простите великодушно, но я уж его подожду.

Оля. Когда мне отец сказал, что вы приехали, я посмотрела на вашу фотографию, и мне странным показалось, что этот штатский человек в пиджаке вдруг полковник.

Савельев. Самому сначала странно было, а потом ничего, привык. Впрочем, полковник я всего неделю.

Оля. Вы что, в отпуск?

Савельев. Как вам сказать... Приехал за назначением. Но в дни временного затишья у нас стараются дать человеку попутно отдохнуть, по Москве походить. Завтра воскресенье, употреблю на это весь день.

Оля. Куда же вы пойдете?

Савельев. В самые непредвиденные места. Скажем, в зоопарк или вдруг в планетарий. Куда потянет, туда и пойду, сам еще не знаю. А вечером в театр, но только чтобы пьеса без стрельбы. А может, вообще никуда не пойду. Задрав ноги, буду лежать в гостинице на диване.

Оля. Опять в гостинице!

Савельев. Слушайте, это ведь несерьезно! Влезет в дом чужой человек, будет болтаться тут у вас под ногами! Кому это надо? Поверьте, ценю и благородство вашего отца, и вашу доброту, даже, как видите, не могу удержаться от соблазна вымыться и заночевать, но завтра — сами понимаете! И не на что тут сердиться.

Оля. И не понимаю, и сержусь. Что значит «чужой человек»?

Савельев. Очень просто — чужой.

Оля. Не знаю. Неужели на фронте, когда к вам кто-нибудь неожиданно приедет, вы его у себя в землянке не поселите?

Савельев. Так то же на фронте!

Оля. А я никогда на фронте не была и, наверно, не буду, но я хочу, чтобы тут было так же. Неужели так нельзя не только на фронте, но и просто в жизни? И молчите. И не спорьте.

Савельев улыбается.

Что смеетесь?

Савельев. Вы говорите точно как ваш отец,— и молчите, и не спорьте.

Оля. Да, и молчите, и не спорьте. И ни в какой гостинице с ногами на диване вы завтра не будете лежать, а я возьму с собой своих друзей, и все вместе пойдем куда захотите,— в зоопарк или на пьесу, где не стреляют!

Савельев. Слушаюсь.

Оля. Что?

Савельев. Слушаюсь. Пойду в зоопарк и на пьесу, где не стреляют, с вами и с вашими друзьями. И даже, с вашего разрешения, с собой одного майора, моего фронтового друга, возьму.

Оля. И майора возьмем! А чтобы вам и вашему майору не было скучно, пригласим кого-нибудь из моих подруг.

Савельев *(рассмеявшись)*. Прекрасная идея! Майор будет очень доволен.

Оля. Опять вы смеетесь.

Савельев. Я просто представил себе майора в роли кавалера. Мой майор — майор медицинской службы. И хотя, как фронтовой хирург, он, конечно, человек мужественный, но зовут его все-таки Анной Григорьевной.

Оля. Четвертый год войны, а я так и не видела фронта.

Савельев. И очень хорошо, что не видели. Побольше бы людей, которые его, к своему счастью, не видели. Особенно женщин, конечно.

Оля. Это неверно!

Савельев. Нет, верно.

Оля. Нет, неверно. Когда вы говорите о фронте — мне стыдно.

Савельев. По-моему, я меньше всего говорю о фронте.

Оля. Ну, не вы,— так другие.

Савельев. Другие... Ей-богу, вернувшись с войны, они не увидят большой беды в том, что вы не знаете, как рвется мина и как свистит снаряд. Зато вы знаете много других вещей, которые гораздо важнее для этих людей. Вы, например, знаете, что когда человек, вернувшись в родной город, говорит, что он проваляется весь день, задрав ноги, на диване, то это он только храбрится, а на самом деле просто боится одиночества и чужих лиц на знакомых улицах. Видите, какие вещи вы знаете! А как свистит мина — я согласен забыть в первый же день после войны.

Оля. Вот тут у отца хороший табак и трубки. Хотите?

Савельев. Спасибо. *(Набивает трубку.)* Хорошая трубка! И, если не ошибаюсь, вдобавок еще и английский табак.

Оля. Да. Отцу привезли из Шотландии. Он очень им хвастается и всех угощает.

Савельев. Значит, ваш отец приказал отгладить мне именно синий костюм.

Оля. Да.

Савельев. Насчет рубашки не распорядился?

Оля. Кажется, еще нет.

Савельев. Когда придет, попрошу дополнительных указаний. А он не отправится с нами по городу?

Оля. Нет. Поедет на дачу возиться со своим огородом.

Савельев. А зачем это ему-то?

Оля. А он во всем такой — и в большом и в маленьком. Объявили ополчение — пошел в ополчение, теперь у всех москвичей огороды — и он огород развел.

Савельев. Ну, что ж, пойдем по Москве без него. Не передумали?

Оля. Еще чего! Что вы улыбаетесь?

Савельев. Подумал, что вы характером в папу.

Оля. Немножко.

Савельев. А профессией?

Оля. Представьте себе — тоже.

Савельев. Архитектор?

Оля. Пока — строитель, защищаю дипломный проект. Отец, кстати, тоже начинал как строитель.

Савельев. Знаю.

Звонок. Оля хочет пойти открыть, но Савельев вскакивает первым.

Позвольте уж мне! *(Выходит. Возвращается вместе с Синицыным.)*

Оля. Добрый вечер, Сереженька.

Синицын *(целует ей руку)*. Добрый вечер. *(Передает ей букет цветов.)*

Оля. Полевые. Откуда взял?

Синицын. Ездил за город, гулял там.

Оля. А как прошла лекция?

Синицын. Ничего.

Оля. Совсем забыла, вы же не познакомились?

Савельев и Синицын знакомятся, обмениваются рукопожатием.

(Указывая на табак и трубки.) Кури! Отцу «кепстен» привезли.

Синицын *(садится)*. Где-то тут была такая кривая. *(Роется в трубках, замечает ее в руках у Савельева.)*

Савельев. Пожалуйста.

Синицын. Все равно, главное — табак.

Оля. А куда ездил?

Синицын. В Серебряный бор, купался там.

Оля *(Савельеву)*. А может, и нам завтра после зоопарка — в Серебряный бор? *(Синицыну.)* Забыла тебе сказать: мы тут с полковником сговорились на завтра — походить по Москве. Пойдем все вместе, ладно?

Синицын *(чиркает спичкой)*. У вас, кажется, погасла.

Савельев. Спасибо. *(Вставая.)* С вашего разрешения, ванну зажгу.

Оля. Налево по коридору, первая дверь.

Савельев. Знаю. *(Уходит.)*

Синицын. Кто этот всезнающий полковник?

Оля. Это бывший... то есть не бывший, а вообще хозяин этой квартиры. Сегодня утром у него был целый скандал с отцом.

Синицын. Выселить хотел?

Оля. Наоборот, никак не соглашался пожить здесь хотя бы ту неделю, что пробудет в Москве.

Синицын. И завтра в награду за его великодушие предложено водить его по Москве?

Оля. Почему в награду? Он сам вздумал идти в зоопарк, а я там не была, наверно, с пяти лет, мне тоже интересно. Приятный человек, верно?

Синицын. Разобраться не успел, но вполне допускаю.

Оля. У него в первые дни войны погибла вся семья.

Синицын. Да... Невесело. Хотя, впрочем, как и некоторые другие военные, вполне мог успеть обзавестись новой.

Оля. Не знаю. Так как все-таки прошла лекция?

Синицын. А мне было в общем-то все равно, как она пройдет.

Оля. Почему?

Синицын. Праздный вопрос, по-моему.

Оля. Ты обещал, что не будешь возвращаться к этому.

Синицын. А я не возвращаюсь, я только думаю. Думать-то себе не запретишь! Зачем ты тянешь меня завтра идти с вами? Только буду портить вам настроение.

Оля. Кому это «вам»?

Синицын. Тебе, полковнику.

Оля. Начинается!

Синицын. У меня вчера была Витина мать насчет пенсии. Я ей написал бумагу. Сказала, что на днях зайдет к тебе.

Оля. Хорошо.

Входит Савельев.

Савельев. Зажег.

Оля. Как горит?

Савельев. Как всегда — средне. *(Садится.)*

Молчание.

Синицын. С какого фронта приехали?

Савельев. Со Второго Украинского.

Синицын. Ну, как у вас там?

Савельев. В каком смысле? В смысле ближайших планов командования не осведомлен, а в смысле погоды неважно — дожди.

Синицын. Собственно, дожди меня меньше всего интересуют. Я хотел спросить, как дела.

Савельев. Читал сегодня в «Правде», что пока без перемен... Если я правильно расслышал, Ольга Федоровна спрашивала, как у вас прошла лекция?

Синицын. Да.

Савельев. Не на ту ли тему, о чем недавно была статья ваша в «Архитектурном ежемесячнике»?

Синицын. Почти. А вы что, читали?

Савельев. Был в штабе фронта, в инженерном отделе, и за целый год перелистывал журналы. Интересно написали. Даже позавидовал вам как профессионал.

Синицын. Чему же там завидовать?

Савельев. А хотя бы смелому взгляду в будущее. Война привязала нас в эти годы к земле, мостам, к тому, что нужней, скорей и проще. Практической фантазии много приходится употреблять в деле, а о будущем подумать некогда...

Пауза.

Синицын. Я пойду, Оля.

Оля. Сейчас отец придет, будем чай пить.

Синицын. Нет, пойду. Честно говоря, устал. Утром позвоню. До свидания.

Савельев. До свидания.

Оля *(провожает Синицына. Возвращается)*. Ну вот. А теперь идите, гасите ванну.

Савельев. Почему?

Оля. Потому что я, конечно, тронута вашей деликатностью, но ванну вы все же зажгли рано. Еще придет отец, и мы будем пить чай.

Савельев. Есть погасить ванну. *(Уходит. Тут же возвращается.)* Вот видите!

Оля. Что вижу?

Савельев. Жизнь есть жизнь, и мое пребывание здесь связано для вас с неудобствами. И молчите, и не спорьте. *(Смеется.)*

Оля. Нет, это вы молчите.

Савельев. Нет, на этот раз вы. Пришел ваш друг и, сдается мне, хотел с вами поговорить, но — увы — застал меня! Сколько я мог зажигать ванну! Пять минут — больше неприлично. Он посидел, посидел и ушел. Вот вам неудобство номер один. Если бы не я и не ваше неосторожное обещание, вы бы, наверное, завтра пошли с ним куда-нибудь вдвоем. И молчите, и не спорьте! Вот вам неудобство номер два.

Звонок телефона.

Оля *(подходит к телефону)*. Да. Сейчас. Вас.

Савельев. Савельев слушает. На сегодня разбронируй. Завтра разберемся. Здесь буду ночевать. Нет, не нужен. Поезжай к своим старикам и передай им от меня привет. Когда выспишься, позвони мне. Не в семь ноль-ноль и не в девять ноль-ноль, а когда

выспишься. У меня все. *(Вешает трубку.)* Посторонние люди звонят мне по телефону в вашу квартиру. Неудобство номер три.

За дверью слышны голоса — тети Саши и чей-то сильный бас. В комнату вваливается с чемоданом в руках полковник Иванов — плотный мужчина с удивительно зычным голосом.

Иванов. Здравствуй, Митя. *(Целует Савельева.)*

Савельев. Здравствуй.

Иванов. Не ждал, что воспользуюсь твоим приглашением?

Савельев. Честно говоря, не ждал.

Иванов. Когда уезжал, на всякий случай адрес давал?

Савельев. Давать давал.

Иванов. Ну вот. Я под Корсунью тебя под свою крышу принимал?

Савельев. Принимал.

Иванов. И не одного, а со всем батальоном?

Савельев. С батальоном.

Иванов. Ну вот. Черт знает что тут в гостиницах делается. Думаю, дай рискну. *(Ставит чемодан.)* Где спать-то будем?

Савельев *(растерянно)*. Вот там. *(Показывает на кабинет.)*

Иванов. Ты не бойся, я только до завтра. Завтра орден получу — и к семейству, в Казань. Хорошая у тебя квартира. *(Осматривается. Наконец замечает Олю.)* А это кто, сестра, что ли? Или племянница? Похожа. Здравствуйте. Полковник Иванов.

Оля. Ольга.

Савельев *(улыбаясь, подходит к Иванову и, обняв его за плечи, говорит Оле)*. А вот вам и неудобство номер четыре.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Кабинет Савельева. Просторная комната. В глубине дверь на балкон. Рояль. Письменный стол. Большой кожаный диван, около него чемоданы. В углу круглый стол и несколько стульев. На столе все приготовлено для чая. Савельев в штатском костюме, поверх которого надета полосатая куртка от пижамы, возится у стола. Входит Иванов с сапогом в руке.

Савельев. Раздул самовар?

Иванов. Раздул. *(Указывая на пижаму.)* Сними этот зоопарк. Похож на ту зебру, что мы сегодня видели.

Савельев. Накрою на стол и сниму.

Иванов. Прилично получается?

Савельев. Ничего. Даже мед есть.

Иванов. Если принимать в своем блиндаже, то как следует! У меня еще печенье есть в чемодане.

Савельев. Отставить. Вези жене. Мой блиндаж, я принимаю.

Стук в дверь.

Да.

Оля *(просовывает голову в дверь)*. Во-первых, папа приехал, а во-вторых, может, помочь?

Иванов. Нет, уж сегодня мы сами...

Савельев. Как самовар поспеет, просим к столу.

Оля. Только зачем вы выволокли этот самовар? В чайнике в три раза быстрей!

Иванов. Самовар?! Да вы знаете, что такое самовар? Самовар — как артиллерия. Бог! Бог мирной жизни!

Савельев. А где ваш Сережа?

Оля. Мой Сережа в данный момент чистит папу.

Савельев. То есть как это «чистит папу»?

Оля. Столовым ножом. Папа всегда приезжает с картошки заляпанный. А ваш хваленый майор медицинской службы хоть к чаю-то будет?

Савельев. К чаю непременно.

Оля скрывается.

Ну, кажется, все. *(Снимает пижаму и оказывается в привычно сидящем на нем синем костюме.)* А хорошо все-таки в штатском. Словно и войны не было. *(Останавливается против висящей на стене большой фотографии девочки.)* Сколько твоей младшей?

Иванов. Пять.

Савельев *(подходит к столу, достает из ящика коробку, открывает ее, вынимает куклу)*. Глаза закрывает, а?

Пауза.

Бери в чемодан — с глаз долой.

Иванов *(спрятав куклу, поднимается)*. Слушай, полковник. Знаешь кого ты мне напоминаешь в этом виде?

Савельев. Кого?

Иванов. Самого себя, каким ты ко мне в сорок первом году приблудился, под Белостоком. Как сейчас помню: кепочка и костюмчик примерно такой же у тебя был. Только рваный и погрязней малость. В руках узелок. На груди ничего такого не наблюдалось.

Савельев. Точно.

Иванов. «Позвольте с вашей частью идти, товарищ майор».

Савельев. Точно.

Воронцов *(приоткрывает дверь)*. Дмитрий Иванович, к вам дама.

Савельев. Пожалуйста. А вы-то, вы-то?

Воронцов. Сейчас обчищусь.

Слышно, как он говорит за дверью: «Пожалуйста, пройдите». Входит Греч. Иванов, увидев ее, быстро скрывается за шкафом.

Савельев *(улыбается)*. Майор! Слава богу, хоть к вечеру.

Греч. Здравствуй, Митя.

Савельев. Здравствуй, майор. А я думал, ты хоть тут в Москве в штатском.

Греч. Нет, знаешь, как-то уж привыкла. И потом, военная форма вообще мне идет, не правда ли? Ну, ну, будь кавалером.

Савельев. Майор, ты самая красивая женщина, какую я знаю.

Греч. Начинается!

Савельев. Ты самая красивая женщина, какую я знаю. У тебя такие глаза, такие большие, добрые глаза, что когда я смотрю в эти глаза...

Греч. Ты не видишь моего длинного носа. И не пробуй возражать, Митя, потому что я не только добра, но и проницательна!

Савельев. А раз проницательна — скажи, кто сейчас стоит за шторой?

Греч. Очевидно, кто-то, кого я когда-то резала. Увы, именно к этому сводится круг моих знакомств. Уточни, где я его резала?

Савельев. Уточняю: под Винницей.

Греч. Под Винницей?

Иванов *(выходя из-за шкафа)*. Вот он я. *(Целует руку Греч и победоносно смотрит на Савельева.)* Вот как встречать майора надо. А ты — «глаза», «глаза».

Греч. Петр Иванович! Кого я вижу?!

Иванов. Меня!

Греч. Слушайте, у вас как-то голос переменился. Еще громче стал.

Иванов. Кубатура не та. Для моего голоса нужна вселенная. А тут — двадцать метров.

Савельев. Двадцать четыре.

Иванов. Ну, двадцать четыре. Что мне двадцать четыре метра, когда я с наблюдательного пункта на огневые позиции могу без телефона команды подавать?

Греч. Да, да, совершенно верно. Я вас раньше слышала только на открытом воздухе. Только теперь поняла.

Иванов. Что?

Греч. Что вы самый шумный человек на свете.

Иванов. Зато я был самый тихий у вас на операционном столе. Вы из меня два килограмма осколков вынули, а я вам сказал хоть слово?

Греч. Не сказали.

Иванов. То-то.

Греч. Нет, ей-богу, так рада вас обоих видеть. Погоди, Митя, да ты — полковник.

Савельев. А как же? Мало того, кажется, бригаду получаю. Вот!

Греч. Ого, Митя. Ты становишься честолюбивым.

Савельев. А что же? Четвертый год. Да и после войны — все-таки полковник в отставке!

Стук в дверь.
Голос Оли: «Можно?»

Савельев. Пожалуйста.

Распахивается дверь.
Появляются Воронцов и Оля.

Оля. Мой вычищенный и выглаженный отец.

Воронцов здоровается, взаимные рукопожатия.

Савельев. А вот и майор, которому вы вчера хотели подыскать дамское общество.

Оля *(Греч)*. Дмитрий Ивнович вчера так воинственно говорил о вас «мой друг майор», что я невольно представила себе вас гвардейцем с усами.

Савельев *(Оле)*. А где же ваш Сережа?

Оля. Раздувает самовар. *(Иванову.)* Увы, он потух.

Иванов. Как раздувает самовар? Без меня? Где сапог? *(Вытаскивает из-под дивана сапог и выходит.)*

Оля *(взглянув на Савельева)*. Странно: сначала вы показались мне абсолютно военным, а штатское вам все-таки больше идет.

Савельев. Штатское вообще больше идет.

Оля. Смотря кому.

Савельев. Всем. Всем людям, человечеству.

Пауза.

Как ваш огород, Федор Александрович?

Воронцов. Ничего. Картошку копал. Сегодня, братцы мои, меня утешил профессор Фомин. Я по-мужицки, как у нас в Новых Дворах сажали,— посадил, и ладно, а они люди ученые, они по руководствам сажают. Так, видите ли, картошку по какому-то там особому способу можно не всю сажать, а только кусочки вырезать,

с глазками, а остальное, для экономии, идет в питание. Фомин этих книжек начитался и картошку свою изрезал, для экономии. Только малость спутал: ту часть, что надо было сажать, съел, а ту, что надо было есть, посадил.

Входит Синицын.

Синицын. По-моему, полковник распаяет вам самовар. Надел на него сапог и качает, как в кузнице.

Савельев. Знакомьтесь.

Синицын и Греч здороваются.

Прошу к столу.

Все подходят к столу. Последним появляется Иванов с самоваром в руках.

Воронцов *(Оле)*. Нет. Ты к самовару. Как, бывало, мать-покойница. И подумать только, что мы пять лет самовар не вынимали. *(Иванову.)* Хорошо придумал, полковник, по-домашнему, хотя и фронтовик.

Савельев. Именно потому, что фронтовик,— потому придумал по-домашнему. Ром! За качество не отвечаю — румынский.

Воронцов. Ничего. Попробуем румынский. Чай с ромом всегда хорошо. *(Иванову.)* Вам?

Иванов. Я с молоком.

Греч. Я думаю, Петр Иванович, что немножко рома в чай...

Иванов. Можно? Да? Покорно благодарю: предпочитаю не бередить ран. *(Воронцову.)* С тех пор как майор вместе с осколком по ошибке вырезала мне половину желудка, увы — не пью.

Греч. Ладно, сама выпью за потерпевших.

Синицын. За каких потерпевших?

Греч. За потерпевших от моей руки.

Оля *(Савельеву)*. Как, и вы тоже потерпели от руки майора?

Савельев. Было дело. В прошлом году.

Воронцов. А все-таки странно, полковник, что вы не пьете.

Иванов. Вам странно? Если б вы знали, как это странно мне самому.

Савельев. А как удивится его жена!

Греч. А дети!

Воронцов. А вы что, к семейству едете?

Иванов. Да. Впервые за войну.

Воронцов. И большое у вас семейство?

Иванов. Пять душ. И младшей душе всего пять. *(Савельеву.)* Жаль, поздно узнал тебя, Митя, а то бы позвал в крестные отцы.

Воронцов. Зачем ему в крестные, он еще и в настоящие годится.

Иванов. Правильно. Мы тебя еще женим. *(Обнимает Савельева за плечи.)* Ему же цены нет. Его же в лицо только мало кто знает, а по фамилии весь фронт. Тащишь свои пушки вслед за ним и читаешь на столбах, на хатах, на переправах, просто на досках: «Дорога разведана. Савельев», «Переправа наведена. Савельев», «Мост построен. Савельев», «Мины обезврежены. Савельев». Женю я тебя, Савельев. От жены вернусь и женю.

Савельев *(улыбаясь)*. Скорей возвращайся.

Иванов. Ты смеешься, а я серьезно говорю. Ну, смотрите, особенно в этом... во фраке своем, чем не жених полковник Савельев?

Оля. Я только пять минут назад говорила, что Дмитрию Ивановичу очень идет штатское.

Иванов. Что штатское? Ему все идет. А главное, ему счастливым быть идет! Счастливым быть идет тебе, Митя!

Савельев. Давай, Петр Иванович, потом это обсудим.

Иванов. Нет, сейчас. Если тебе не быть счастливым, кому же и быть? А, Оля? Слушайте, выходите за него замуж. Во всех саперных войсках нет другого такого человека. Вот так, сядьте — посмотрите раз, посмотрите два, посмотрите три — и влюбитесь! Ну, что вы скажете на это?

Оля *(улыбнувшись)*. Я подумаю.

Иванов. *(вздрагивает)*. Эй, Митя, не топчи мне ноги! Я и так через пятнадцать минут уеду. *(Взглянув на часы.)* Кстати, где же твой Вася? Где мой билет?

Савельев. Должен быть здесь в одиннадцать сорок пять, после театра.

Иванов *(Воронцову)*. Эта дверь на балкон? Открывается?

Воронцов. Смотря как нажать.

Иванов *(нажимая плечом на дверь)*. Открылась. Сейчас посмотрим, идет или нет. *(Проходит вместе с Воронцовым на балкон. Оттуда.)* Пока не видать. Зато какой воздух! Как на передовых. Идите сюда!

Греч и Савельев проходят на балкон.

Синицын *(Оле)*. Подожди. Противно, верно?

Оля. Что?

Синицын. Кукушка хвалит петуха! Один благородно молчит, пока другой его превозносит. Сегодня так, а завтра где-то в другом месте наоборот. И называется все это — фронтовой дружбой.

Оля. Замолчи. Поссоримся!

Синицын. Неужели тебя не разозлило это глупое сватовство?

Оля. Сватовство, пожалуй, верно, глупое — хотя и от доброй души. А в твоих умных словах столько злости...

Синицын. Хорошо. *(Повернувшись, молча выходит.)*

Иванов входит вместе с Савельевым.

Иванов. Слава богу, идет!

В противоположной двери появляется Вася.

Савельев. Пять минут опоздания, прошу учесть на будущее.

Иванов. Теперь мне две минуты на сборы, и все! *(Быстро идет через комнату. Сталкивается с Олей.)*

Секундная пауза.

Оля *(невольно)*. Что?

Иванов *(прикладывает руки к груди, тихо и виновато)*. Не обиделись? А?

Оля делает отрицательный жест.

Ей-богу?

Оля. Ей-богу.

Иванов. А знаете что?

Оля. Что?

Иванов. Я ведь серьезно. *(Выходит.)*

Оля. Вася, чем вас угощать?

Вася. Спасибо, я уже выпил с товарищами в театре пива.

Оля. А чаю?

Вася. Спасибо, не хочется. Большое спасибо.

Савельев. Что с тобой?

Вася. Ничего, Дмитрий Иванович.

Савельев. Спектакль хороший был?

Вася. Очень.

Оля. Так что же вы такой грустный?

Вася. Я не грустный. Просто так. Репетировал в этом театре и в этой пьесе до войны.

Оля. Кого?

Вася. Счастливцева.

Иванов *(появляясь в дверях)*. Вот и готов. Желаю всем здравствовать. *(Берет чемодан. Он не застегнут, и из него вываливается кукла.)*

Оля *(оказавшаяся рядом, поднимает ее)*. Какая хорошая! Где вы купили?

Иванов. Савельев подарил.

Савельев *(поворачиваясь к нему)*. Что? *(Замечает куклу.)* А...

Оля смотрит на Савельева, потом на куклу.

Иванов *(застегивает чемодан)*. Еще раз желаю здравствовать. Майор, где вы?

С балкона входят Греч и Воронцов. Рукопожатия. Все постепенно выходят вслед за Ивановым. Вася остается один. Садится к роялю, берет несколько аккордов и молча остается сидеть за роялем. В комнату входят Греч и Оля.

Греч. Где же я положила свою планшетку?

Оля. А вы не уезжайте еще.

Греч. Нужно, девочка моя. Мне завтра рано в госпиталь, а с полковником нам по дороге.

Оля. Не уезжайте.

Греч. Почему?

Оля. Посидим, поговорим. Мы с вами двух слов не сказали.

Голос Савельева: «Майор, сколько тебя ждать?»

Греч. Иду! Вы без матери, наверное, давно, лет с пяти, да?

Оля. С семи. Вам что, отец сказал?

Греч. Нет. Сама поняла. Вдруг потянулись ко мне — и поняла.

Голос Савельева: «Майор!»

Оля. Придете?

Греч. Приду.

Греч и Оля выходят.

Вася один, берет еще несколько аккордов. Входит Оля. Он замолкает.

Оля. Играйте, играйте. *(Убирает посуду со стола.)*

Входит Савельев.

Савельев. Не надо, мы сами. Посидите просто так. *(Усаживает ее на диван, садится поодаль в кресло.)* Вас не рассердил полковник?

Оля. Нет. Он просто очень вас любит. Знаете, о чем он мне говорил уже в парадном, на ходу?

Савельев. Что?

Оля. Опять о вас и о том, как вы спасли ему жизнь. Это правда?

Савельев. Отчасти правда. Все мы на войне понемногу спасаем друг другу жизнь.

Вася переходит на другую мелодию.

Оля *(подходит к роялю)*. У вас это тоже поют?

Вася. Да.

Оля *(обращаясь к Савельеву)*. Хорошая песенка. Да?

Савельев. Я не знаю ее.

Оля. Неужели не знаете? *(Тихонько напевает.)*

Ночь коротка,
Спят облака.
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог
Спит городок.
Я услышал мелодию вальса
И сюда заглянул на часок.
Хоть я с вами совсем незнаком
И далеко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоем,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чем.

Савельев. А дальше?
Оля. Дальше? Васенька!

Вася берет несколько аккордов.

(Напевает.)
Будем дружить,
Петь и кружить.
Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить.
Утро зовет
Снова в поход.
Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот.
Хоть я с вами совсем незнаком
И далеко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова
Возле дома родного.
В этом зале пустом
Мы танцуем вдвоем,
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чем.

Савельев. Хорошо.
Оля. Неужели не слышали? Ее много поют.
Савельев. Не слышал.
Вася. Дмитрий Иванович, да я же вам пел ее!
Савельев. Не помню. Хорошая песня. Немножко печальная.
Оля. Вальс.

Савельев. Разве?

Оля. Конечно, вальс. *(Напевает два такта мотива.)* Вы разве не танцуете?

Савельев.

Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить

Пауза.

Чего вам больше всего на свете хочется, а?

Оля. Чтоб кончилась война.

Савельев. Это ясно! Я не об этом. Чего вам больше всего хочется потом, после войны, для себя самой?

Оля. Не знаю.

Савельев. А я знаю. Мне хочется... У меня на фронте есть сирота, воспитанник, Ваня... Он еще приедет сюда, вы его увидите. Он за войну все потерял и слишком много видел. Но я ему недавно подарил венгерскую кавалерийскую трубу, и он неделю был совершенно счастлив. Вот и мне хочется, чтобы после войны...

Оля. Вам подарили венгерскую трубу?

Савельев. Почти так. Во всяком случае, чтобы я встал утром и был счастлив только оттого, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Понимаете?

Оля. Понимаю только одно, что вам сегодня грустно.

Савельев. Мне?

Оля. Не делайте веселых глаз. Сама умею. Да, вам. Но вы не грустите. Когда вы вернетесь с войны, я вам куплю большую серебряную трубу с кистями.

Пауза.

Нет, правда, не грустите. *(Протягивая руку.)* До завтра. Вы утром выйдете на улицу, и я вам обещаю: небо будет синее, а трава зеленая.

Савельев. К сожалению, это не в вашей власти. Но все равно спасибо. *(Целует ей руку.)*

Оля *(шепотом)*. И спросите вашего Васю, что с ним? Когда он играл на рояле, у него были слезы. Я видела. *(Громко.)* До свидания, Васенька. *(Уходит.)*

Савельев. Ну, я ладно, а ты что?

Вася. Ничего, Дмитрий Иванович. Разрешите мне идти?

Савельев. Не разрешу. Что, тебя в театре твоем плохо встретили?

Вася. Наоборот.

Савельев. А ну, садись, и давай как перед богом.

Вася *(садится и снова вскакивает)*. Не могу сидеть. Понимаете — хорошо играют. Хорошо. Петька Свешников, которому я

до войны дублировать должен был, так Счастливцева в «Лесе» играет, так играет!

Савельев. Как тебе не сыграть, что ли?

Вася. Не сыграть.

Савельев. Ничего, вернешься после войны, начнешь снова играть и...

Вася. Нет, Дмитрий Иванович. Нет. Чтобы играть в театре, знаете что надо иметь? Талант.

Савельев. Что же, он у тебя до войны был, а на войне пропал?

Вася. Не было. Никогда не было. Три года прошло, посмотрел на товарищей, и вижу: не было. Только большое желание было иметь талант. Пришел за кулисы, обнимают, ордена, нашивки трогают, хвалят, целуют. «Вася, когда вернешься?» Никогда.

Савельев. Почему? Не веришь им, что рады тебе?

Вася. Наоборот — верю. Они меня и в театр обратно возьмут, и роли дадут, и фотографию в фойе повесят — артист Каретников, фронтовик, дважды орденоносец.

Савельев. Ну, и чем плохо?

Вася. Так это же на фотографии ордена и нашивки за ранения видны. А на сцену Счастливцева играть с ними не пойдешь. Там ведь не биографию свою рассказывать,— там играть надо. Играть!

Пауза.

После войны возьмите меня с собой на строительство, а, Дмитрий Иванович?

Савельев. Иди-ка сюда.

Вася. Что?

Савельев. Берись за ту сторону, так — вверх, теперь клади.

Снимают и кладут на пол спинку дивана.

Вася. Зачем?

Савельев *(кладет ему одну из подушек)*. Спишь здесь сегодня. Еще будет с тобой разговор.

Вася. Дмитрий Иванович?

Савельев. Все. Иди шинели с вешалки принеси, свою и мою.

Вася выходит.

(В задумчивости останавливается у рояля. Проигрывает два такта молча и чуть слышно повторяет.)

Я совсем танцевать разучился
И прошу вас меня извинить.

Конец первого действия.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Обстановка первой картины. Вечер. Тетя Саша одна, прибирает в комнате. Бормочет под нос.

Тетя Саша. Насыплет табачища, насыплет табачища своего, убирай за ним. Простые блины ему не по вкусу. Небось как мать-то пекла, так нос не воротил. Табак всюду свой накладет. «Зачем ты табак мой английский с нашим вместе ссыпала?» А кто его разберет: табак он и табак. Не нравится — не кури.

В комнату поспешно входит Оля.

Оля. Дмитрий Иванович не возвращался?

Тетя Саша. Только и знай обеды вам грей. Один уйдет, другая придет.

Оля. Я уже обедала, мне не надо. Что, приходил и ушел?

Тетя Саша. Кто?

Оля. Дмитрий Иванович.

Тетя Саша. Нет его. Как утром ушел — так и нет. Вот ведь тоже курящий человек, а нет чтобы сыпать табак: вынесет свой портсигар, закурит — и в карман. А этот балабон — где сидит, там и насыплет.

Оля. Опять ты на отца нападаешь!

Тетя Саша. Так как же не нападать, Оленька? Ученый, понятие о себе имеет, а где сел, там и насорил. Сам ест, книжку перед собой поставил, в нее глядит, бороду во щи положил. «Я, говорит, мужик». Да какой ты есть мужик? Нешто папаша наш бороду когда в миске полоскал? А может, пообедаешь? Я суп по-вашему сварила, с крокодельками.

Оля *(смеясь)*. Нет, я правда обедала.

Тетя Саша. Ну, ладно. *(Идет к двери, останавливается.)* Слушай, скажи ты мне, Оля, какой это из себя английский табак и какой наш?

Оля *(подходя к ней с двумя пачками табака)*. Вот этот английский, а это наш.

Тетя Саша. Это, стало быть, мелкий, резаный, а этот, стало быть, крупный. Так бы и сказал, а то «английский», «английский». Балабон. *(Выходит и снова приотворяет дверь.)* Военный тут Дмитрия Ивановича спрашивает. *(Скрывается.)*

Входит Ваня.

Ваня. Гвардии полковник Савельев здесь живет?

Оля. Здесь.

Ваня. Разрешите узнать, как к нему пройти.

Оля. Его нет еще, он не пришел. Вы... Ты посиди. Как тебя зовут?

Ваня. Гвардии ефрейтор Шполянский.

Оля. Посиди. Дмитрий Иванович скоро придет. Боже мой! Сейчас мыться будешь.

Ваня. Разрешите, я при машине подожду.

Оля. Мне полковник твой приказал, если ты без него придешь, чтобы я первым делом вымыла тебя. Понял? *(Кричит.)* Тетя Саша!

Тетя Саша появляется в дверях.

Надо ванну напустить, помыть вот солдата.

Тетя Саша *(разглядывая Ваню)*. Господи боже мой... Да на что же таких в армию-то забирают! Кто же это позволяет?

Ваня *(гордо)*. Я добровольно.

Тетя Саша, покачав головой, выходит.

Оля. Фуражку сними. Как ты сюда приехал?

Ваня. На «виллисе», с Воронковым.

Тетя Саша *(появляясь в дверях)*. Какую зажигать, первую? Пыхтит, пыхтит, а не горит.

Оля. Сейчас. *(Выходит.)*

Ваня, сорвавшись с места, подходит к карте, на которую уже давно смотрел, и пальцами отмеривает по ней какое-то расстояние. Входит Оля.

Смотришь, что взяли сегодня?

Ваня. Это не на нашем фронте взяли. Я за свой фронт смотрю. Отстали мы теперь. Вон на сколько. *(Показывает пальцами.)*

Оля. У вас пока затишье.

Ваня. Конечно, затишье. А то бы разве гвардии полковника отпустили в Москву?

Оля. Давно ты с ним?

Ваня. С гвардии полковником? Второй год.

Оля. Может, пообедать хочешь?

Ваня. Нам сухой паек на дорогу выдали. Мы обеспечены.

Оля. За что у тебя медаль?

Ваня. За отвагу.

Оля. Нет, за что дали?

Ваня. Я в прошлом году гвардии полковника раненого до машины вынес.

Оля. Ты? Как же у тебя силы хватило?

Ваня. У меня вот, попробуйте. *(Показывает мускулы.)*

Оля *(с притворным удивлением)*. Да...

Ваня. Я могу стул за переднюю ножку поднять.

Оля. А ну, попробуй.

Ваня *(пробует несколько раз подряд, у него не выходит. Смущенно отставив стул)*. У вас стул тяжелый, а у нас я поднимал. Вы гвардии полковника спросите.

Пауза.

Вы в армии были?

Оля. Я? Нет.

Ваня *(подходя к карте)*. Одна двадцатитысячная. По ней мало что видно. Вот у гвардии полковника карта, так это карта.

Тетя Саша *(показывается в дверях)*. Готова ванна.

Ваня. А если, пока я моюсь, гвардии полковник придет?

Оля. Скажу ему, что ты здесь.

Ваня. Только сразу скажите. Может, у него приказания будут. *(Выходит.)*

Звонок в передней.

Входит Греч.

Греч. Здравствуйте, Оля.

Оля. Здравствуйте, Анна Григорьевна. Знаете кто приехал?

Греч. Кто?

Оля. Мальчик, о котором Дмитрий Иванович говорил.

Греч. Ваня?

Оля. Да.

Греч. А скоро Дмитрий Иванович придет? Не знаете?

Оля пожимает плечами.

Мне через час на дежурство. Так уж зашла, потому что они все — перелетные птицы. Отложишь на день — и не застанешь! *(Поднявшись.)* К нему пойду, посижу.

Оля. А я ведь вас тоже звала!

Греч. А вам не кажется, что мы, военные, окончательно заполонили ваш дом? Сначала Митя, потом полковник Иванов, потом

Ваня, теперь я. А я ведь начну ходить — привяжусь к вам, потом не обрадуетесь,— я человек одинокий.

Оля. Я тоже.

Греч. Ну, у вас одиночество, девочка моя,— это, как бы вам сказать... Вы подходите одна к театру, сейчас откроете двери и войдете туда,— вот ваше одиночество. Оно только до порога. А мое одиночество — другое, я уже была там и вышла и иду домой одна. Это совсем разные одиночества: у вас, у меня или у Дмитрия Ивановича, например. Совсем разные!

Оля. Он третьего дня так посмотрел на эту куклу, что у меня сердце перевернулось.

Греч. Когда-нибудь и это зарубцуется. Раны затягиваются — это закон. Иногда смотришь на какую-нибудь ужасную рану, и даже ты, врач, хотя и знаешь умом, а глазам не веришь, что затянется. И все-таки затягивается.

Оля. Даже самые страшные?

Греч. Да. Можете мне поверить. Вы в общем-то еще девочка, а я уже не молода и, главное, прожила не слишком счастливую жизнь...

Оля. У меня тоже бывало горе. То есть сначала — наоборот, казалось, что это счастье и что оно только-только начинается. А потом вместо этого началась война. И когда я провожала его на фронт, и был черный, черный вокзал, и так все было страшно там, куда он ехал, что я в последнюю минуту вдруг крикнула ему, чтоб он возвращался скорей, что я выйду за него замуж, что я была дура, что мне стыдно, что я сделаю это в тот же день, как его увижу! Он меня обнял, поцеловал и потом, знаете, так улыбнулся, так ужасно грустно улыбнулся, как будто он уже большой и где-то далеко от меня... И я поняла, что никогда его больше не увижу.

Греч. А потом?

Оля. Потом? Потом он погиб, через месяц. О нем писали тогда, а потом забыли. Только его мать помнит и я. И вот Сережа,— вы его видели... Мы все вместе учились.

Греч. Вы все еще любите его?

Оля. Не знаю. За эти три года за мной несколько раз ухаживали и говорили,— ну, что говорят, вы же знаете,— а я слушала все это и вспоминала, как он мне тогда улыбнулся, и мне это мешало ответить. Отец меня даже синим чулком прозвал.

Греч. Глупости.

Оля. Что глупости?

Греч *(прохаживаясь по комнате)*. Синий чулок — глупости. Не слушайте его.

Оля. А иногда вдруг хочется, чтобы ничего этого не было, как будто я только сегодня родилась и ничего не помню.

Тетя Саша *(входя)*. Оля! Мальчонку-то где положим? Решать надо. Да и белье-то постельное чтой-то не найду у вас.

Оля. Сейчас. *(Греч.)* Извините!

Оля и тетя Саша выходят.
Несколько секунд Греч одна. Входит Савельев.

Савельев. Заждалась меня?

Греч. Очень ты мне нужен. Я и не к тебе вовсе в гости пришла.

Савельев. А к кому же?

Греч. К Оле.

Савельев. А где она? Дома?

Греч. Дома.

Савельев *(с некоторой нерешительностью)*. Да... Ну, что ж, пойдем ко мне в комнату.

Греч. Пойдем.

Савельев *(подходит к двери своей комнаты, дергает ее. Она заперта. Дергает еще раз)*. Заперта. Ах да, ее же ветром открывает. Тут ключ должен быть где-то на рояле. Нет. Может, на столе? *(Ищет.)* А где Оля, она знает. *(Идет к двери в комнату Оли.)*

Греч. Не ходи. Здесь посидим.

Савельев. Почему?

Греч. Она занята.

Савельев *(после паузы)*. А ты давно пришла?

Греч. Скоро обратно пойду.

Савельев. Ну вот, сразу уж и пойду!

Греч. А что же? С Олей мы тут уже переговорили, а с тобой... Неинтересно мне с тобой говорить, Митя.

Савельев. Будто бы!

Греч. Конечно. Я же знаю все, что ты мне скажешь, и все, о чем спросишь.

Савельев. Например?

Греч. Например, тебе хочется меня спросить, о чем мы тут говорили с Олей. Если ты это спросишь, я скажу: о тебе. Ты скажешь: обо мне? И сделаешь удивленное лицо. Именно такое, как сейчас.

Савельев. Дальше!

Греч. Дальше я скажу: да, о тебе.

Савельев. А что я скажу?

Греч. А ты скажешь... Что же вы обо мне говорили? И сделаешь равнодушное лицо. А я тебе отвечу, что нет, я пошутила, мы о тебе вовсе не говорили.

Савельев. А на самом деле?

Греч. Что на самом деле?

Савельев. Что вы обо мне тут говорили?

Греч. Митя, по-моему, тебе нравится эта девушка.

Савельев. А по-моему, тебе нравится дразнить меня.

Греч. По-моему, ты сердишься, Митя.

Савельев. Слушай, майор, не порти мне жизнь. Я проживу здесь неделю и уеду. Так зачем задавать мне глупые вопросы именно сейчас? Я уеду и, не беспокойся, сам задам себе эти глупые вопросы, но не здесь, а там, за тысячу верст. Понятно тебе, майор?

Греч. Да. Ну, что ж, не буду задавать тебе глупых вопросов, Митя. Буду задавать умные. Был в наркомате?

Савельев. Был.

Греч. Еще не получил назначения?

Савельев. Нет. Сказали, чтобы неделю отдохнул и... знаешь что? *(Смущенно улыбается.)*

Греч. Что, Митя?

Савельев *(тихо)*. Путевку дали в Архангельское на неделю.

Греч. Ну и что?

Савельев. Не поеду.

Греч. Покажи путевку. *(Беря путевку.)* Архангельское. Прекрасный санаторий. Отдельная комната. Отличное питание. Воздух. Сосны. Не едешь?

Савельев. Не еду.

Греч *(кладет путевку на рояль)*. Можно задать тебе глупый вопрос?

Савельев. Отстань.

Пауза.

Только неудобно, что стесню их еще на неделю.

Греч. Еще бы! Они уже и так мучаются, не знают, что с тобой делать. Академик тебе весь свой английский табак отдал, тетка дни и ночи твои рубашки стирает. То Иванов у тебя ночевал, то я толкусь, наконец — твой Ваня приехал.

Савельев. Где он?

Греч. Если не ошибаюсь, Оля приказала ему купаться.

Савельев. Ваня! Ваня!

В дверях появляется Ваня, с головы до пят завернутый в мокрую простыню.

Ваня. Я, товарищ гвардии полковник.

Савельев *(в первое мгновение хочет броситься к нему, потом останавливается)*. Когда приехал?

Ваня. Только что, товарищ гвардии полковник.

Савельев. Здоров?

Ваня. Так точно, товарищ гвардии полковник.

Греч. Ну, что держишь ребенка на холодном полу, мокрого, в простыне? Пусть идет, оденется.

Савельев. Да, да, иди. Иди, одевайся, потом доложишь.

Ваня. Разрешите идти.

Савельев. Иди, я же тебе сказал.

Ваня выходит.

Греч. А ведь тебе хотелось его обнять и поцеловать. Только не ври.

Савельев. Ну, хотелось.

Греч. Почему же не сделал?

Савельев. После войны буду обнимать и целовать. Он у меня сейчас ефрейтор. Поняла? Ефрейтор!

Греч. Все у тебя — после войны! У меня самокрутка погасла. Спички тоже после войны дашь?

Савельев. Прости, пожалуйста. Знаешь что, майор?

Греч. Да, Митя.

Савельев. Что-то нога сегодня побаливает. От дождя, что ли?

Греч. Дай посмотрю.

Савельев. А ну тебя, еще уложишь.

Входит Оля.

Греч *(вставая)*. Я, пожалуй, пойду.

Оля. Анна Григорьевна!

Савельев. Слушай, майор!

Греч. Слушаю тебя, Митя.

Савельев. Оставайся, а?

Греч. Нет, Митя.

Савельев. Подожди. У меня теперь «виллис» есть. Сейчас тебя на нем отправлю. *(Пропускает Греч вперед. Оле.)* Спасибо, что моего чумазого купаете.

Оля. Он с таким презрением спросил меня, служила ли я в армии.

Савельев. Солдат до мозга костей. Сейчас я вернусь.

Греч *(видя, что Оля отвернулась, задерживается. Тихо)*. Что, Митя, страшно?

Савельев. Что страшно?

Греч. Страшно: ресницами махнет — и душа в пятки уходит. Да?

Савельев. Опять ты!

Греч и Савельев уходят.

Ваня *(говорит еще с порога)*. Гвардии полковник вышел?

Оля. Сейчас придет. Подожди, ты же непричесанный. Дай-ка. *(Вынимает из сумочки гребень.)* Вот так. А здесь пробор сделаем. Не больно?

Ваня. Нет.

Оля. Постой, да у тебя седые волоски. И вот еще, и еще!

Ваня. У меня мало. Вот у гвардии полковника, у него знаете сколько седых волос? Полголовы!

Оля. Иди посмотрись в зеркало.

Ваня, отойдя к зеркалу, внимательно рассматривает себя.

(Подходит к роялю и замечает оставленную там Греч путевку. Взяв ее, читает.) «Архангельское». С какого? С пятнадцатого. Сегодня...

Стук отворяемой двери. Оля быстро кладет путевку на прежнее место. Входит Савельев.

Ваня. Товарищ гвардии полковник, гвардии ефрейтор Шполянский по вашему приказанию прибыл.

Савельев *(подает ему руку)*. Здравствуй!

Ваня. Здравствуйте!

Савельев. Что-то ты, по-моему, прическу переменил.

Ваня *(смущенно)*. Я...

Оля. Это я его так причесала.

Савельев. А... Ну, ничего, хорошо. Как Воронков машину вел?

Ваня. Никаких замечаний!

Савельев. Иди за вещами. Он, наверное, уже вернулся.

Ваня выходит.

Вот видите, и сам доехал, и водителя по дороге в строгости содержал.

Оля. А как у вас в наркомате?

Савельев. Пока неопределенно. Говорят, ждать команды. *(Берет с рояля фуражку, замечает там путевку. Тревожно взглянув на Олю.)* Вы случайно не видели, я где-то тут бумажку оставил.

Оля. Нет, не видела. Какую бумажку?

Савельев *(облегченно)*. А, вот она. *(Прячет путевку в планшет.)*

Оля. Так какие же у вас теперь планы, Дмитрий Иванович?

Савельев. Ближайший план — сходить завтра в Художественный театр на «Три сестры». Как вы к этому относитесь?

Оля. Боже мой, ну конечно хорошо.

Савельев. Я выцарапал там у них четыре билета — нам с майором и вам с Сережей. Кстати, что-то его не видно, он не уехал?

Оля. Нет, он здесь. Там в книжке есть его телефон. Можете позвонить.

Савельев. Почему же я?

Оля. Как почему? Вы же взяли ему билет.

Савельев. Хорошо.

Входит Ваня, таща чемодан.

Оставь. Иди за остальными. *(Взяв чемодан, проходит с ним в свою комнату.)*

Ваня, на секунду задержавшись, вытирает платком пот со лба.

Оля. Ваня.

Ваня. Что?

Оля. Скажи, твой полковник очень умный человек?

Ваня *(уже на ходу.)* Кто, гвардии полковник? Конечно.

Оля *(задумчиво)*. Да... Минуту назад я бы этого не сказала.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Обстановка третьей картины. Савельев лежит на застеленном диване. Греч, стоя перед ним, обтирает руки спиртом. Видимо, она только что кончила осмотр.

Греч. Ну, что ж, Митя! В мирное время я бы сказала, что тебе нужно ехать месяца на два в Цхалтубо. Но война есть война, и ты есть ты. Ограничимся тем, что недельку полежишь.

Савельев. А что, собственно, случилось?

Греч. У тебя болит одна из твоих старых ран, Митя, вот и все.

Савельев. Между прочим, та самая, которую оперировала ты.

Греч. Совершенно верно, Митя: она как раз и была самая тяжелая.

Савельев. Слушай, майор!

Греч. Да, Митя!

Савельев. Договорились: я сегодня доковыляю в театр, а завтра утром поеду лежать в Архангельское,— видно, уж такая судьба.

Греч. Все будет наоборот, Митя: в театр идти тебе вредно, в Архангельское ехать полезно, но мне сдается, что ты останешься здесь.

Савельев. Теперь нет. Жизнь иногда *(похлопывает себя по ноге)* вовремя напоминает.

Греч. Митя, я, кажется, задам тебе все тот же глупый вопрос.

Савельев. И я тебе на него отвечу: да! И тем более должен уехать отсюда! И чем скорей, тем лучше.

Пауза.

Когда-нибудь после войны, где-нибудь на полустанке, где я буду строить какой-нибудь элеватор, найдется женщина, у которой за плечами будет столько же горя и лет, сколько у меня... Я уеду завтра в Архангельское, майор.

Стук в дверь.
Голос Оли: «Можно?»

Греч. Можно.

Оля входит.

Полковник проявил благоразумие, с утра ожидая меня в горизонтальном положении. За это ему скостятся дня три, и останется лежать всего неделю. Сейчас я допишу медицинское заключение. А вы, если не трудно, принесите мне с вешалки планшетку. Там бланки для рецептов.

Оля. Сейчас. *(Выходит.)*

Савельев. Ну-ка, дай. *(Берет из рук Греч заключение; вынув из-под подушки очки, надевает их и читает.)*

Греч. Скажи, Митя, та женщина...

Савельев *(читая)*. Какая женщина?

Греч. Та женщина, которую ты встретишь на полустанке, она тоже будет в очках?

Савельев. Почему в очках?

Греч. Чтоб уж равенство — так равенство! Столько же горя за плечами, столько же лет в паспорте, столько же седины в волосах, такие же очки.

Савельев. Отстань.

Стук в дверь.

Голос Оли: «Можно?»

Савельев быстро снимает очки и прячет их под подушку.

Греч. Оленька, милая. Это не планшетка, а полевая сумка.

Оля. Планшетка — это такая плоская, да?

Греч. Совершенно верно.

Оля выходит. Греч и Савельев смотрят друг на друга.

Савельев *(улыбаясь)*. Да, запихнул очки! Даже самому стыдно.

Греч. Ничего, Митя. Примитивное желание казаться моложе — это, в общем, здоровый инстинкт.

Входит Оля.

Оля. Эта?

Греч. Эта. *(Пишет рецепт.)* Пусть Ваня сбегает с этим рецептом. Завтра зайду еще раз посмотрю тебя. Хотя, впрочем, забыла, ты же уедешь в Архангельское...

Оля. Какое Архангельское?

Греч. Полковник думает, что ему эту неделю будет спокойнее полежать в Архангельском.

Оля. Но ведь туда, наверно, нужна путевка?

Савельев. У меня, собственно...

Греч идет к дверям.

Куда ты, майор?

Греч. С твоего разрешения иду помыть руки, Митя! *(Выходит.)*

Оля. Вы что-то хотели сказать, Дмитрий Иванович...

Савельев. Видите ли, тут неожиданно для меня выяснилась возможность поехать в Архангельское...

Оля. Совершенно неожиданно?

Савельев *(внимательно смотрит на нее)*. Вы все-таки заметили эту проклятую бумажку на рояле?

Оля. Заметила.

Савельев. И ничего мне не сказали?

Оля. А вы сказали?

Савельев. Да, глупо... Надо было уехать вчера.

Оля. Наоборот. Не надо уезжать завтра. Когда вы так поспешно спрятали эту вашу бумажку, я весь вечер думала: скажете или нет? Вы не сказали, и я поверила, что вам у нас правда хорошо и что вы поедете отсюда прямо туда, на войну.

Савельев. Вчера я сам так думал.

Оля. А сегодня?

Савельев. Теперь, когда я на целую неделю — калека, зачем валяться тут, портить вам настроение?

Оля. Ах да, совсем забыла. Я же рассчитывала с вами танцевать до упаду, а вы лежите. Такое разочарование...

Савельев. Зачем вы смеетесь?

Оля. Я не смеюсь. Я злюсь. Где эта неожиданно появившаяся путевка?

Савельев. Подождите, Оля!

Оля. А хотя я видела, куда вы ее положили. *(Подходит к столу, берет планшетку Савельева, расстегивает, вынимает путевку.)* Посмотрите на нее в последний раз. Посмотрели?

Савельев. Посмотрел.

Оля *(складывает в несколько раз, рвет)*. Вот и все. *(Кричит.)* Анна Григорьевна!

Греч *(появляясь)*. Я еще мою руки.

Оля. Кончайте. Путевка в Архангельское уже истреблена, и Дмитрий Иванович будет лежать здесь.

Греч. Ну, в таком случае будем считать, что я их уже вымыла. Так. Что дальше?

Оля. Дальше? Не знаю, что дальше. Только скажите, чтобы у меня совесть была чиста: Дмитрий Иванович может лежать здесь?

Греч. Да, конечно. Ему сейчас нужно просто отдохнуть. Окончательно залечивать раны он будет после войны, где-нибудь на полустанке.

Оля. На каком полустанке?

Греч. Так он мне говорил. Есть такой полустанок... с элеватором, с женщиной средних лет...

Оля. Какая женщина? Какой полустанок? Ничего не понимаю.

Греч. А он и сам не совсем понимает, но любит об этом поговорить. Я пойду, Митя. Во-первых, ты сердишься на меня, хотя напрасно, во-вторых, мне нужно зайти домой и надеть мое лучшее платье, которое я даже просила выгладить, рассчитывая идти с тобой в театр.

Оля. Анна Григорьевна, а может быть, и мы не пойдем?

Савельев. Наоборот, идите.

Греч. Не знаю, как вы, а я пойду. И вам советую. А он останется, ему полезно поскучать. Пусть подумает о будущем, о полустанках...

Савельев. Майор!..

Греч. Да, Митя?

Молчание.

Пойду. Только дайте оторву свой билет, а то, я знаю, вы опоздаете. Женщины всегда опаздывают. С вами не прощаюсь. До завтра, Митя.

Савельев. До свидания, майор.

Греч выходит.

Оля. Непременно хочется остаться одному?

Савельев. Скажите честно, вы вчера были рады, когда я принес эти билеты?

Оля. Да. Но...

Савельев. Но ваш подшефный полковник слег, и вы решились на самопожертвование. Вы с ума сошли! Идите! «Три сестры» — чудный спектакль. Не говоря уже о том, что сейчас зайдет Сережа, мы сговорились, что поедем отсюда. Он придет, вы переоденетесь, станете еще красивее, чем сейчас, и пойдете.

Оля. Какое прикажете надеть платье?

Савельев. Какое платье? Самое красивое.

Оля. Хорошо, постараюсь.

Стук в дверь. Входит Синицын.

Синицын. Здравствуйте. Что с вами, Дмитрий Иванович?

Савельев. Немного расклеился.

Оля. Посиди, Сереженька, с Дмитрием Ивановичем. Я переоденусь и приду.

Синицын. Только не очень долго.

Савельев. Ничего. Я дам вам «виллис».

Оля выходит.

Синицын. А вы?

Савельев *(разводя руками)*. Видно, не судьба. Вот билеты. Там при входе в театр, наверно, много страждущих — отдайте мой билет самой милой девушке по вашему выбору.

Синицын. Боюсь, у нас с вами могут не сойтись вкусы.

Савельев. Нет, почему же.

Синицын. А может быть, вы все-таки рискнете пойти?

Савельев. Честно говоря, это было бы неблагоразумно. Предстоит еще много топать, теперь уже, слава богу, по загранице. А для этого нужны подставки. Смешное чувство: иногда кажусь самому себе циркулем, которым измеряют расстояние от Сталинграда до Германии.

Синицын. Черт его знает, хотя два раза просился на фронт и не виноват, что не взяли, но испытываешь дикое чувство неудобства, когда думаешь, что люди вернутся с фронта, а ты так и просидел все эти годы в тылу. Такое чувство — что они тебе этого где-то в глубине души не простят.

Савельев. Знаете что? Постарайтесь построить этим вернувшимся с войны людям новые города, лучше прежних, дома с удобствами, от которых они давно отвыкли, и они от всей души простят то, что вы не были на фронте.

Пауза.

А вот если не построите, тогда, пожалуй, вы правы — сказать не скажут, а где-то в глубине души — не простят.

Синицын. Не так-то просто все это построить! Я только на днях закончил проект восстановления Полтавы. Получилось здорово. Но у этого проекта столько противников, что руки опускаются.

Савельев. Да будет вам! Я, например, как-то даже привык, что противник все эти три года не разделял ни одного проекта моих мостов. Прямо скажем, каждый раз встречал яростный огонь возражений. Конечно, тут нет прямого сходства, но все-таки... Когда пойдете в следующий раз в этот не утверждающий вашего проекта комитет, почувствуйте себя на один вечер сапером, и вы их опрокинете.

Синицын. Попробую.

Савельев. Интересно, какой будет новая Полтава. Прошлым летом наводил там, вблизи, мост через Ворсклу,— тогда город, честно говоря, имел неважный вид.

Синицын. Я тоже запроектировал мост, прямо с выездом на шоссе — с набережной, с барельефами и мемориальной доской погибшим за освобождение Украины.

Савельев. Да... Это хорошо. Что до наших саперных мостов, то это, конечно,— времянки. Армия прошла по ним, и все. Единственная память — холмики мертвых саперов по берегам... Когда будете делать мемориальную доску, я вам назову пяток фамилий своих ребят: они тогда здорово быстро навели мост через эту Ворсклу. Он был немножко ниже по течению, чем ваш, но это не важно.

Синицын. Конечно. *(Смотрит на часы. Приоткрыв дверь, кричит.)* Оля, ты готова?

Голос Оли: «Сейчас».

Совсем забыл, Дмитрий Иванович, сколько я вам должен за наши с Олей билеты?

Савельев. Бросьте вы глупости.

Синицын. Нет, с какой же стати? Это же житейская вещь.

Савельев. Ладно, кончим этот смешной спор. Посмотрите, сколько стоят два ваших билета, и положите деньги на стол.

Синицын, взяв со стола билеты и порывшись в бумажнике, достает деньги кладет их на стол. Входит Оля.

Оля. Я готова.

Синицын. Ну, что ж, до свидания. Жаль, что вы не можете. *(Оле.)* Мы с тобой тоже давно не были в Художественном. Помнишь, когда в последний раз?

Оля. Давно.

Синицын. Перед самой войной — ты, Витя и я, втроем. Помнишь?

Оля. Помню. *(Сухо.)* До свидания, Дмитрий Иванович.

Савельев. До свидания.

Оля *(задерживаясь в дверях)*. Вам нравится мое платье?

Савельев. Да.

Оля. Очень рада. *(Выходит.)*

Савельев пробует, не вставая, дотянуться до стола, где лежит табак. Входит Ваня.

Ваня. Товарищ гвардии полковник, ваше приказание выполнено. Лекарство заказал.

Савельев. Хорошо. Дай мне табак.

Ваня передает ему табак.

На столе деньги,— возьми их себе. Завтра утром купишь себе на них столько мороженого, сколько съешь! Любишь мороженое?

Ваня. Когда маленький был, любил.

Савельев. Ничего, и теперь съешь. Советую. Не лежится что-то. А ну, помоги. В кресло пересяду.

Ваня. Мне майор сказала, вам нельзя вставать.

Савельев. А я и не буду вставать. Я на одной ноге перейду и сяду. Ну!

Ваня подставляет ему плечо, Савельев, подпрыгивая на одной ноге, переходит в кресло, садится.

А теперь подставь чемодан под ногу.

Ваня подставляет чемодан.

Как, соскучился по фронту или нет еще?

Ваня. А мы скоро поедем?

Савельев. Должно быть, скоро.

Ваня. Я сегодня в кино был. «Багдадский вор», а билетов ни одного — все проданы. Контролер говорит: «Ладно, тебя, как фронтовика, без билета посажу». И в ложу посадила. Большая ложа, только сбоку; сбоку плохо видно.

Савельев. Это верно, сбоку всегда плохо видно. Прямо на вещи надо смотреть. Прямо и храбро. Если тебе через неделю уезжать — так надо и помнить, что уезжать из Москвы — тебе! А оставаться здесь, в Москве,— ему. Понял?

Ваня. Что?

Савельев. Ничего. Будешь большой и умный, тогда и поймешь. А может, и тогда не поймешь.

Ваня. Дмитрий Иванович.

Савельев. Ну?

Ваня. А вы знаете, что она у меня про вас спросила?

Савельев. Кто она?

Ваня. Ольга Федоровна.

Савельев. Что?

Ваня. Она спросила: Ваня, а твой гвардии полковник очень умный?

Савельев. Ну, и что ты сказал?

Ваня. Я? Я сказал: конечно!

Савельев. Так и сказал?

Ваня. Так и сказал.

Савельев *(задумчиво)*. Я бы этого не сказал. Нет. Не сказал бы.

Ваня. И она, я слышал, то же сказала.

Савельев. Что сказала?

Ваня. Что она бы этого не сказала.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Обстановка первой картины. Горит только маленькая настольная лампа в углу. В комнате полутьма. Савельев, в военном, в мягких туфлях, с палочкой, раздвинув шторы, стоя, смотрит в окно. Окно освещается вспышкой салюта. Молчание. Пауза. Окно снова освещается вспышкой салюта.
Входит тетя Саша.

Тетя Саша. Дмитрий Иванович, что же ты на ногах-то все? Сел бы. Чаю дать тебе?

Савельев. Подождите, салют кончится.

Тетя Саша. Да ну! Не видел их, что ли?

Савельев. Не видал. Вам «да ну», а я в первый раз вижу.

Звонок. Тетя Саша выходит. Через несколько секунд входит Вася.

Вася?

Вася. Я, товарищ гвардии полковник.

Савельев. Иди смотреть.

Вася подходит к нему. Пауза. Новая вспышка.

Вася. А на улице такая красота. Всех цветов. Только жаль — не наш фронт!

Савельев. Своих салютов никто не видит. Будь наши салюты — мы бы с тобой тут не сидели. Ваню тащи сюда. Не простит, что не посмотрел!

В а с я. А где он?

С а в е л ь е в. Спит там у меня. Скорей.

Вася выходит, возвращается. За ним, шлепая босыми ногами по полу, идет завернутый в одеяло В а н я.

Скорей.

Теперь они все трое стоят у окна.

В а н я. Это из скольких? Из ста двадцати четырех?

С а в е л ь е в. Да.

Вспышка. Молчание.

Все. *(Задергивает штору.)* Вася, зажги свет.

Вася повертывает выключатель.

(Ване.) А теперь — спать.

В а н я. А они холостыми стреляют?

С а в е л ь е в. Холостыми. Еще вопросы есть?

В а н я. Нет.

С а в е л ь е в. Тогда можете быть свободным. Выполняйте приказание. Спите.

В а н я. Не хочется.

С а в е л ь е в. Что?

Ваня покорно проходит в комнату Савельева.

(Васе.) Позвони, «виллис» вызови.

Вася подходит к телефону.

Входит т е т я С а ш а.

Т е т я С а ш а. Нагляделся?

С а в е л ь е в. А где Федор Александрович?

Т е т я С а ш а. А ну его. Десять дён работал, не спал, не ел. Только лег, теперь этот пришел.

С а в е л ь е в. Кто?

Т е т я С а ш а. Да этот... Сережка. Спросонья крик с ним поднял, как на ярманке. Чай-то будешь пить?

С а в е л ь е в. Нет, я Олю подожду.

Т е т я С а ш а. Олю? Тоже вроде отца балабонка. По пять разов ей обед греешь.

С а в е л ь е в. Ничего не поделаешь, тетя Саша, у нее защита проекта сегодня.

Т е т я С а ш а. А ну их. Все у них так, безо времени. *(Выходит.)*

С а в е л ь е в *(Васе)*. Как придет машина, поедешь на заправку — полный бак и все канистры. Чтоб все — наготове. Салют

слыхал? Соседи уже начали. *(Опираясь на палочку, проходит через комнату, садится в кресло.)*

Вася. Дмитрий Иванович, все равно же вам с ногой с вашей ехать еще невозможно.

Савельев. А разве я говорю: ехать? Я говорю, чтобы «виллис» был готов. Ну, как провел эти дни? В театре бывал еще?

Вася. Бывал.

Савельев. Отлегло от души?

Вася. Как вам сказать... Когда твердо решишься, то, конечно, проще жить.

Савельев. На что же ты решился?

Вася. Все на то же. После войны поеду с вами, куда вы, туда и я.

Савельев. А не передумаешь?

Вася. Нет. Много жестоких вещей на свете, Дмитрий Иванович, а искусство из всех жестоких самое жестокое. Не передумаю.

Входит Воронцов, за ним Синицын. Воронцов всклокоченный, в халате.

Воронцов. Где тут мои бланки академические? Куда-то я их специально в такое место положил, чтобы помнить, где они. *(Замечает Савельева и Васю.)* Здравствуйте. Где же они? Специально ведь положил, когда перебирался из вашей комнаты. Ага, правильно. *(Подходит к столику.)* Под поднос я их положил. Вот они. *(Садится.)* Черт их знает, этих молодых людей! Ручку! *(Пишет.)* Архитектура, милый мой,— это скачка с препятствиями. А ты перед первым же барьером растерялся.

Синицын. Я не растерялся. Я просто не понимаю, как они могут не видеть очевидных преимуществ моего проекта.

Воронцов. А ты раз навсегда пойми, что твои преимущества — это, значит, чьи-то недостатки. А мы, советские люди, до коммунизма еще не дожили, у кого-то еще и честолюбие есть, и гонор напрасный. Тут не ныть, а бить надо!

Синицын. Бить?

Воронцов. Вот именно! Раз идея твоя для страны полезная, а какой-нибудь тупица на дороге стоит, так нос ему расквасить — это как раз по-советски и будет, самый советский метод. На. *(Подписывает бумагу.)* Иди и скандаль до победного конца. *(Савельеву.)* Блистательнейший проект реконструкции Полтавы составил. Блистательнейший. При нем говорю, в глаза. Но как и все блистательное, это спорно, весьма спорно *(кивает на Синицына)*, а спорить мы не умеем. И не спорь со мной. Черт тебя знает, еще бы в час ночи явился! Где Ольга?

Савельев. По-моему, она еще на защите проекта.

Воронцов. Когда придет, пусть меня разбудит. *(Выходит.)*

Синицын. Что это вы в военном сегодня?

Савельев. По случаю первой прогулки по комнатам решил натянуть старую шкуру. Надо привыкать.

Пауза.

Что-то Федор Александрович сегодня рано залег.

Синицын. Над собственным проектом десять дней сидел,— у него это всегда запоем. А тут еще я свалился со своими бедами! *(Васе.)* Случайно застиг вас. Зашел позавчера, а вы тут один расхаживали и монолог читали.

Вася. Я?

Синицын. Гамлета сыграть хотите?

Вася. Нет, я... Что же Гамлет... Я мечтал... Впрочем, собственно даже и не мечтал. Были когда-то мысли.

Синицын. Нет, почему же? Это вы напрасно. Читали вы недурно, с пафосом: «Быть или не быть — вот в чем вопрос». Ей-богу, недурно.

Вася *(Савельеву)*. Дмитрий Иванович, я пойду, встречу машину.

Савельев. Иди.

Вася. Есть. До свидания.

Синицын. До свидания.

Вася выходит. Молчание.

Савельев. Зачем вам это понадобилось?

Синицын. Что?

Савельев. Смеяться над человеком, который и так не особенно счастлив.

Синицын. Почему смеяться?

Савельев. Он не только плохо читает монолог Гамлета, он смешно читает. Зачем вам понадобилось его хвалить?

Синицын. Дмитрий Иванович, по-моему, все это не столь серьезно, чтобы долго говорить об этом.

Савельев. Нет, это очень серьезно. Когда бьют лежачего, это всегда серьезно. Да, он плохой артист. Но вы-то его за что? Что он-то сделал вам плохого?

Синицын. Мне ничего. Просто у меня дурная привычка смеяться над тем, что смешно.

Савельев. Поедемте с нами на фронт и будем вместе наводить переправу; ручаюсь, что даже теперь, после того, как вы его обидели, он не станет над вами смеяться, если вы по неопытности начнете кланяться каждому снаряду, который разорвется в

километре от вас. Пусть это будет смешно, но он не станет над вами смеяться.

Синицын. Дмитрий Иванович, по-моему, это похоже на нравоучение. А?

Савельев. Нет. Просто не люблю, когда при мне обижают людей. Отсутствие таланта — еще недостаточный повод для того, чтобы презирать человека. Он не талантлив, но он человек, а быть человеком — это тоже талант, который не у всякого есть, кстати сказать.

Синицын. При чем тут презренье?

Савельев. Ну, хорошо, не презираете. Просто считаете его ниже себя. А люди этого не любят, и правильно делают. Уважаю ваш талант и охотно представляю себе, что после войны полковник в отставке Савельев будет работать всего-навсего начальником участка в городе, который вы будете строить. Но я не буду,— понимаете, не буду чувствовать себя ниже вас только потому, что не обладаю талантом архитектора, а всего-навсего умею строить этими руками то, что спроектировано вами.

Синицын. Дмитрий Иванович, а ведь я, пожалуй, уже вышел из того возраста, когда меня так откровенно можно было учить. Как вы считаете?

Савельев. Учить человека никогда не поздно. Вот вы, например, сейчас учите меня вежливости. И, пожалуй, правы. Тем более что нет смысла говорить неприятности человеку, которого через день или два никогда больше не увидишь.

Синицын. Собираетесь уезжать?

Савельев. Еще не знаю. Но когда тут начинают стрелять пушки, это ведь только эхо пушек, которые стреляют там. Думаю, что скоро уеду.

Звонок телефона.

(Подходит к телефону.) Да. Что? Есть прибыть. *(Смотрит на часы.)* Есть. *(Вешает трубку.)* Сон — в руку.

Синицын. Что, отъезд?

Савельев. Похоже на то. Придется надевать сапоги. *(Проходит в кабинет, оставив дверь открытой.)*

Синицын. Но вы еще зайдете?

Савельев *(из кабинета)*. Безусловно. А что?

Синицын. Придет Оля, надо все же отпраздновать ее инженерство.

Савельев *(из кабинета)*. Если задержусь в наркомате *(входит)*, прошу истребить за ее инженерство эту бутылку.

Синицын. Да. Сегодня у нее большой день. Если бы сегодня за этот стол вместе со всеми нами мог бы сесть покойный Виктор, она была бы до конца счастлива.

Савельев. Сергей Николаевич, не слишком ли часто вы повторяете: «Я, Оля и Витя. Мы учились. Мы ходили. Мы говорили». Не будьте мелким человеком — это вам не идет. Он тут ни при чем — понимаете, совсем ни при чем. Не кривите душой!

Синицын. По-моему, у вас на душе все тоже не так уж кристально ясно?

Савельев. Да. Но я говорю это только вам. И только потому, что уезжаю. *(Выходит.)*

Синицын один. Подходит к столику, где лежат трубки. Долго роется. Выбирает кривую трубку. Набивает ее. Закуривает. Входит Оля, запыхавшаяся, возбужденная. На ходу снимает плащ.

Оля. Здравствуй! *(Оглядывается.)*

Синицын. Защитила?

Оля. Защитила. А где Дмитрий Иванович?

Синицын. Хорошо прошло?

Оля. Хорошо. Он что, у себя?

Синицын. Уехал. Я думал, что ты его встретила на лестнице.

Оля. Куда уехал?

Синицын. Не волнуйся. Пока всего лишь в наркомат.

Оля. Я не волнуюсь, я просто спрашиваю.

Синицын. Расскажи толком, как все было?

Оля. Все было очень хорошо. А зачем его вдруг ночью в наркомат?

Синицын. Не знаю. Срочно вызвали — думает, что срочно уедет. Как экзаменаторы, не очень придирались?

Оля. Уедет? А как же... Подожди. *(Подходит к телефону, набирает номер.)* Анна Григорьевна? Оля говорит. Дмитрий Иванович уезжает. Кажется, сегодня. Нет. Еще в наркомате. Только поскорей. *(Вешает трубку.)* Как же это все так вдруг...

Синицын. А собственно говоря, чего тут странного? Помоему, он еще не демобилизовался.

Оля. Да, конечно, но сегодня... Что это ты так зло говоришь о нем?

Синицын. А у меня нет причин быть добрым. Он тут, в твое отсутствие, вывалил на меня столько всякой грязи...

Оля. Что он тебе сказал?

Синицын. Не хочу повторять. Это будет не в его пользу.

Оля. А если я тебе не верю?

Синицын. Как угодно! Мне надоело выслушивать грубости сначала от него, теперь от тебя. Лучше я пойду.

Оля. Как хочешь.

Синицын. Как я хочу? Я не хочу, чтобы здесь околачи-

вался человек, который годится тебе в отцы и читает мне проповеди только на том основании, что я остаюсь, а он уезжает и не может сделать то, чего он хочет!

Оля. А чего он хочет?

Синицын. Остаться в этом доме хозяином — вот чего он хочет. «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним».

Оля. Что еще?

Синицын. Как ты со мной говоришь? Ты, наверно, сама себя не слышишь! Всего десять дней назад, когда он еще не приезжал...

Оля. По-моему, все самое главное я тебе сказала, когда он еще не приезжал.

Синицын. Все это настолько нелепо, что я просто не могу этому поверить. Понимаешь — не могу. И не хочу. И не пугаю тебя, я просто хочу, чтоб ты поняла: если я сейчас уйду, я уйду совсем, навсегда. Ты понимаешь это?

Оля. Да, понимаю. Но что я, по-твоему, должна теперь сделать? Просить тебя остаться? Броситься тебе на шею? Выйти за тебя замуж? Пусть я, по-твоему, дура, но я же тебя не люблю. И ты это знаешь. Чего же ты ждешь от меня?

Синицын. С этой минуты — ровно ничего. *(Повернувшись, идет к дверям. Сталкивается в дверях с Васей и, не поздоровавшись с ним, выходит.)*

Вася. Добрый вечер. Дмитрий Иванович у себя?

Оля. Уехал в наркомат.

Вася. Как уехал? На чем уехал?

Оля. Не знаю. На машине, наверное.

Вася. На какой машине, когда я на машине?

Оля. Как, он пошел пешком? Со своей ногой?

Вася. В наркомат... Значит, чуяло его сердце. Пожелаю вам всего доброго.

Оля. Куда вы?

Вася. К наркомату. Буду ждать его там, у подъезда. А то он и обратно пешком пойдет.

Оля. А вы прямо оттуда не уедете на фронт?

Вася. Всякое бывает. Да нет, не уедем. У него же чемодан, вещи — все тут. *(Внезапно.)* А может, взять их с собой.

Оля. Взять? С ума вы сошли! Неужели вы думаете, что он может не заехать проститься! Идите и не спорьте со мной!

Вася выходит. Оля, оставшись одна, выбегает из комнаты и через несколько секунд возвращается, ведя за руку заспанного Воронцова в пижаме.

Воронцов *(протирая глаза)*. Дай глаза продрать. Ну, что ж, что ж, поздравляю тебя. *(Смотрит по сторонам.)* А где же все?

Оля. Иди сюда. *(Тащит Воронцова к свету, сажает его в кресло, скидывает с лампы абажур.)* Просыпайся! Слышишь, просыпайся! Дмитрий Иванович уезжает. Понимаешь, уезжает. Сегодня. Совсем.

Воронцов. Так, понимаю, уезжает. Ну?

Оля. Слушай, папа...

Воронцов. Ну?

Оля. Если вдруг я сама... вот сама первая возьму и скажу ему. А?

Звонок. Оля срывается с места.

Воронцов *(удерживает ее)*. Подожди. Сам открою. *(Выходит.)*

Долгая пауза. Шум голосов в передней. Входят Воронцов и Греч.

Оля *(идя навстречу и порывисто обнимая Греч)*. Как я вас ждала!

Воронцов. Извольте видеть: «Возьму и скажу»! А? Вот теперь две бабы — между собой и выясняйте, что по-вашему, по-бабьему, прилично и что нет. А меня увольте, я спать хочу. *(В дверях.)* «Возьму и скажу». Скажи, пожалуйста! *(Выходит.)*

Оля. Как вы думаете, он непременно уедет?

Греч. Вы же мне сами это сказали.

Оля. Да, да, он уедет, я чувствую, что уедет. А мне столько раз за эти дни хотелось сказать ему: «Зачем вы мне говорите: «ваш Сережа», «ваш Сережа». Я ведь люблю вас».

Греч. И не сказали.

Оля. Не сказала. Неужели он ничего не видит? Не знаю, может, это плохо, но я ведь ничего не умею скрыть, а он все-таки не видит.

Греч. Как знать, может, и видит.

Оля. Тогда зачем же все эти: «ваш Сережа»?

Греч. Когда человеку сорок лет и вдобавок три года войны за плечами, он иногда кажется самому себе старше, чем есть. И еще другое... Когда у человека было много несчастья, ему трудней, чем другим, поверить в возможность счастья. Даже когда он видит, он все еще думает, что ему только кажется. Ему страшно ошибиться.

Оля. Во мне?

Греч. Не в вас, а в том, что вы его любите: подумать — да, а потом увидеть — нет!

Оля. Но вы-то понимаете, что я его люблю, вы-то понимаете, что его нельзя не любить?

Пауза.

Греч. Да. Я понимаю вас, что его можно любить. Очень хорошо понимаю вас. Но...

Оля. Что?

Греч. Но он, как и все очень хорошие люди, сам с трудом это понимает. Он боится... Боится, понимаете?

Оля. Чего же?

Греч. Всего, что поднимает его сейчас в ваших глазах. И орденов своих, и званья, и нашивок за ранения, и того, что он с фронта и снова на фронт. Он боится обмануть вас этим, потому что он сам,— понимаете, сам,— видит себя просто сорокалетним человеком в пиджаке. Он боится, что таким вы бы его не заметили. А после войны он будет опять таким, каким был,— именно таким, я вам за это ручаюсь.

Входит Воронцов в халате, в очках, с книжкой в руках.

Воронцов. Не вернулся?

Греч. Вам не хватает сейчас еще, как Фамусову, подсвечника в руке.

Воронцов. И слов: «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» Да?

Оля. Что ты не спишь?

Воронцов. Подняла, наговорила черт знает чего, а теперь — «почему не спишь». Весь сон соскочил!

Оля. Успокойся, больше никогда в жизни ничего тебе не скажу.

Воронцов. Достаточно и того, что сказала. *(Выходит.)*

Оля. А вдруг он войдет и скажет: «Я уезжаю. До свиданья». И я скажу: «До свиданья, непременно заезжайте».— «Обязательно заеду». И все, понимаете, все!

Греч. Бросьте гадать. Лучше я вам расскажу одну историю. В прошлом году мой госпиталь попал в деревню, всю сожженную, осталась только одна церковь. А мне надо было оперировать раненых. Я попросила священника, чтобы он разрешил занять церковь под операционную. Он сказал: «Конечно, это не положено, но дело божеское, хорошее,— занимайте. Только прошу об одном — не в алтаре!» Тогда я ему сказала: «Как раз алтарь светлее всего, мы там и хотим оперировать». Он подумал и сказал: «Это уж совсем не положено, но дело хорошее, божеское — делайте операционную в алтаре. Только об одном вас прошу, чтобы женщины туда не заходили». Тогда я ему сказала, что вся беда в том, что я хирург и должна оперировать. Он думал, думал, потом сказал: «Это уж вовсе нельзя, грех... Но ничего, дело хорошее, божеское. Оперируйте вы и в алтаре, а грех уж я возьму на свою душу». Вот какая история. А почему я ее вам рассказала, поняли?

Оля. Кажется, поняла...

Греч. Не положено и страшно самой говорить об этом. Но если в душе до конца верите, что принесете человеку счастье, тогда скажите ему, непременно скажите, потому что это дело, как говорится, хорошее. Даже божеское. *(Усмехнувшись.)* А грех уж я возьму на свою душу.

Входит тетя Саша.

Тетя Саша. Что, отец сказывал, уезжает твой-то?

Оля. Мой?

Тетя Саша. А чей же? Мой, что ли? Ты что думаешь, старуха деревенская, так уж у ей ума нету. Может, собрать ему что покушать в дорогу?

Оля. Спасибо.

Тетя Саша. После спасибо говорить будешь. *(Выходит.)*

Звук открываемой наружной двери. Пауза. Тихо отворив дверь, на цыпочках входит Савельев.

Савельев *(удивленно)*. Здравствуйте. Думал, все спят. А вы не спите.

Греч. Да, Митя.

Савельев. Что?

Греч. Не спим, Митя.

Савельев. Подожди, ты-то как сюда попала?

Греч. Представь себе, позвали сюда по случаю твоего отъезда.

Савельев *(Оле)*. Вас можно поздравить?

Оля. Можно.

Савельев *(в коридор)*. Вася, не бойся шуметь. Иди.

Входит Вася.

Укладывай чемоданы. И Ваню буди.

Вася проходит в кабинет.

Греч. Когда ты едешь и как?

Савельев. Сейчас, «виллисом». Теперь на днях, судя по всему, ждите наших салютов.

Оля. Хорошо, будем ждать ваших салютов.

Савельев. Вижу, вы даже не распили эту бутылку за ваш диплом?

Греч. Тебя ждали, Митя.

Оля. Вы рады, что едете?

Савельев. Как вам сказать? Радость — не то слово... Но в общем, конечно. Пора. Днем раньше, днем позже — дело военное.

Оля. Ну очень хорошо. Значит, за все вместе и выпьем. И за мой диплом, и за ваш отъезд.

Греч. Но прежде всего чемоданы. Вы, мужчины, абсолютно бестолковые люди. Я пойду сама уложу их. Только скажи, что тебе надо с собой.

Савельев. То же самое, майор, что брала с собой на фронт ты, но с некоторой разницей в деталях обмундирования. Только и всего!

Греч. Хорошо. *(Уходит в кабинет.)*

Савельев. Неужели и Сергей Николаевич тоже ждет? Просто бивуак какой-то, по моей вине.

Оля. Нет, он ушел... Дмитрий Иванович...

Пауза.

Вам обязательно брать с собой Ваню?

Савельев. Ну конечно.

Оля. А то, может, оставите его тут, у нас. В конце концов, ведь он ребенок.

Савельев. Попробуйте, скажите это ему.

Оля. Ему тут будет хорошо.

Савельев. Не сомневаюсь. Но война-то еще не кончилась. Мы с ним так совсем друг друга потеряем.

Оля. А вы что, думаете так больше никогда и не попасть в этот дом?

Савельев. В этот дом?

Оля. Да, в этот дом.

Пауза.

Дмитрий Иванович...

Входит Воронцов.

Воронцов. Наконец явился!

Савельев. И вы тоже не спите?

Воронцов. Заснешь с вами! Когда отбываете?

Савельев. Через полчаса.

Воронцов. Вот и хорошо. По крайней мере, все ясно! А то приехал, все на свете спутал, кабинет мой занял, детей жить поселил, из дочери сиделку сделал, чуть на экзаменах не провалилась. И очень хорошо, что уезжаете. *(Обняв Савельева, смеется.)* Вот как я вас! Уезжайте и поскорее возвращайтесь! И опять в своем кабинете живите, черт с вами! А где *(оглядывается)* эта ваша «да, Митя, нет, Митя»?

Савельев. Чемоданы мне собирает.

Воронцов. Ну, это уж нет. Сперва со мной по рюмке за отъезд, а чемоданы можно и без меня!

Оля пододвигает ему кресло.

Не сяду. Времени мало. Мы а-ля фуршет! *(Кричит.)* Анна Григорьевна!

Голос Греч: «Сейчас, минуту!»

Воронцов *(Савельеву)*. А Вася ваш где?

Савельев. Вася!

Входят Греч и Вася.

Воронцов *(наливает всем)*. Подождите. Ребенка забыли. *(Кричит.)* Ваня!

Входит Ваня.

Ваня. Товарищ гвардии полковник...

Савельев. Отставить! Иди к столу.

Воронцов. Ему вот этого красного. *(Наливает рюмку.)*

Ваня смотрит на Савельева.

Савельев. Одну разрешаю.

Воронцов. Без долгих тостов. Погоди! Где же Саша? Саша!

Входит тетя Саша.

Тетя Саша. Ну, чего тебе?

Воронцов. Выпей с нами, полковник уезжает.

Тетя Саша. Да нет уж, да что уж...

Воронцов. Вот, все такие русские бабы: «Да нет уж, да что уж...» А потом как хватит! Держи рюмку, «нет уж». Думаете, за ваш отъезд будем пить? Ничего подобного. За приезд за ваш будем пить. Вот вы тут приехали, а я подумал: конечно, вам еще обратно на войну ехать, но все же это вроде как репетиция получилась. *(Васе.)* Репетиция, правильно я говорю, артист?

Вася. Правильно.

Воронцов. Сперва репетиция, а потом — все так и будет! Возвращайтесь! Вместе города будем перестраивать!

Савельев. Во всяком случае, все взрывы беру на себя.

Все пьют.

Воронцов. А теперь дайте вас обниму. *(Обнимает Савельева, целует его три раза.)* Вот так, по-христиански. Вы как хотите, а я спать пошел. Черт бы вас взял, нашли время, когда уезжать. Весь дом перебудили! *(Выходит.)*

Савельев. Вася, бери чемоданы!

Вася выходит в соседнюю комнату.

(Ване.) А ты — в машину. Уложи все там, чтобы сидеть где было. Аккуратно.

Ваня. Есть уложить аккуратно.

Греч. Я сама посмотрю. *(Идет вслед за Ваней.)*

Оля. Анна Григорьевна
Греч. Что?
Оля. Нет, ничего.

Греч выходит.

Савельев. Вот так, значит.

Оля молчит.

Что вы молчите?

Оля молчит. Через комнату проходит Вася с чемоданом.

Что вы молчите?

Оля. Дмитрий Иванович, помните, вы мне когда-то сказали, что хотели бы встать утром и быть счастливым только оттого, что светит солнце, что небо синее, а трава зеленая. Помните?

Савельев. Помню.

Оля. И я тогда вам сказала, что обещаю, что так и будет. А вы мне сказали, что, к сожалению, это не в моей власти. Помните?

Савельев. Помню.

Оля. А может быть, это в моей власти?

Савельев. Что?

Оля. Сделать так, чтобы вы встали утром — и небо было синее, а трава зеленая. Отвечайте.

Савельев. Оля!

Оля *(почти зло)*. Я вас в последний раз спрашиваю: может, это в моей власти? Чтобы вы встали утром — и небо было синее, а трава зеленая?

Савельев. Вы понимаете, что вы говорите?

Оля. Понимаю. Отвечайте.

Савельев порывисто обнимает ее.

Савельев. Вы плачете?

Оля *(подняв на него глаза)*. Да. Вы ведь все-таки уезжаете. Я знаю, что война еще не кончилась. Не объясняйте мне, я все понимаю.

Савельев еще раз молча обнимает ее и, не оборачиваясь, быстро выходит. Дверь захлопывается. Молчание.

(Одна, после долгого молчания, говорит тревожно, тихо и медленно,— словно вспоминая слово за словом.) Дорога разведана. Савельев... Переправа наведена. Савельев... Мины обезврежены. Савельев... Не объясняйте мне. Я все понимаю...

Занавес

1944—1970

Под каштанами Праги

Драма в четырех действиях, пяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Франтишек Прохазка — доктор медицины, ученый; еще не старый, несколько лет назад овдовевший человек, представительный, благообразный, бритый.

Стефан — его сын, капитан чехословацкого корпуса, 26 лет } близнецы.
Божена — его дочь, 26 лет }

Людвиг — его младший сын, 17 лет.

Ян Грубек — университетский товарищ Франтишека, хорошо одетый седой человек, одних лет с Франтишеком.

Богуслав Тихий — известный поэт, знакомый и сосед Прохазок, лет 45, обрюзгший и несколько опустившийся. Одет небрежно.

Иван Алексеевич Петров — полковник, командир авиадесантной дивизии, 38 лет, с глухой повязкой на левом глазу.

Гончаренко — шофер Петрова, старшина, 30 лет.

Маша — русская девушка, 21 год.

Юлий Мачек — жених Божены, врач, владелец клиники, 35 лет, довольно красивый.

Джокич — черногорец, седой человек, на вид лет 60. Слепой.

Офицер Национальной гвардии.

Национальные гвардейцы.

Место действия — Прага.
Время действия — май 1945 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Холл в доме Франтишека Прохазки на окраине Праги. Раздвижные стеклянные двери: прямо — на веранду, налево — в другие комнаты; направо — дверь в прихожую. Лестница, ведущая из холла на верхний этаж. Два кресла и столик у камина. Шкаф. Рояль. Большой диван, низкий круглый стол. Несколько глубоких современных кресел, качалка. Дубовые панели. На стенных полках образцы народного чешского и словацкого искусства: керамика, акварели Праги. Вечер. Начинает темнеть. Когда открывается занавес, слышен шум мотоцикла. На сцене Франтишек и Людвиг в настороженных позах.

Франтишек *(облегченно)*. Не к нам. Ян! Ян! Грубек! Не к нам.

Грубек *(выходя из шкафа)*. Нет больше спокойного места на земле. Только два дня я тихо прожил в твоем доме.

Людвиг *(высовываясь в окно)*. Он подъехал к дому папа Тихого.

Пауза.

Это гестапак. Он ударил ногой в дверь. Входит...

Франтишек. Неужели они его арестуют и в третий раз?

Грубек. Сейчас они если арестовывают, то уже не выпускают.

За сценой слышен выстрел.

Франтишек. Боже мой! *(Закрыв лицо руками.)* Они убили его, лучшего нашего поэта... Боже мой!

Людвиг *(мечется по комнате)*. Сволочи, сволочи!

Франтишек. Куда ты?

Людвиг. Туда, я...

Франтишек *(ловит его за руку)*. Ты никуда не пойдешь. Ты у меня остался один. Из троих! Не пойдешь! Никуда!

Распахивается дверь — и входит Тихий. Он в халате. У него растерзанный вид. Он держит впереди растопыренные руки.

Тихий. Дайте мне вымыть руки. Скорей! Людвиг!

Людвиг берет со стола графин с водой.

Лей!

Франтишек. Зачем же на ковер?

Тихий. Все равно. Лей!

Людвиг льет воду ему на руки.

Я убил его. Я писал. Он пришел. Я ударил его чернильницей. Знаете мою чернильницу?

Франтишек. Знаю.

Тихий. Я ударил. Он упал. Он выстрелил, когда падал. Я его еще раз ударил. Я его убил. Сволочи! Они в тридцать девятом году приходили ко мне вшестером, в прошлом году — втроем, а сегодня пришел один. Я его убил. Убил и запер. *(Озирается. Подходит к гардине и вытирает об нее руки.)* Я буду прятаться у вас. Ну их к черту! Вы боитесь?

Франтишек. Нет, я не боюсь.

Тихий *(в сторону Грубека)*. А это кто?

Грубек. Ян Грубек.

Франтишек. Мой самый большой друг юности. Он прячется у меня третий день.

Тихий. Как крысы.

Франтишек. Что?

Тихий. Как крысы. Прячемся. Надоело быть крысой!

Пауза.

Грубек. Вашу руку! У вас кровь на халате. Нужно...

Тихий. Да. Хорошо. *(Снимает халат.)* А вы откуда бежали?

Грубек. Я из Моравской Остравы.

Тихий. Разве русские еще не там?

Грубек. Я бежал, еще когда там были немцы. Я перебрал в памяти всех и вспомнил Франтишека. В юности мы были другими людьми. Мы не были крысами. Я подумал, что он остался таким же...

Франтишек. И ты не ошибся.

Грубек. Подождите, немцы же будут искать этого, убитого. Сегодня же...

Людвиг. А может быть, и нет. Им сегодня не до того. Здесь тоже скоро будут русские. И потом, сегодня...

Франтишек. Что сегодня?

Людвиг. Ничего.

Грубек. Подождите, а мотоцикл?

Тихий. Что — мотоцикл?

Грубек. Мотоцикл-то стоит у ваших дверей?

Тихий. Ах да. Заведем его в гараж! Людвиг!

Франтишек. Не вмешивайте в это дело мальчика.

Тихий. Хорошо.

Людвиг *(идя за ним)*. Нет, я вам помогу.

Франтишек. Я тебе запрещаю это, Людвиг.

Людвиг. А я пойду. *(Выходит вслед за Тихим.)*

Франтишек. Они делают, что хотят. Стефан бежал в Россию, этот отвык спрашивать о чем бы то ни было. А ведь он у меня последний. Пойми — последний!

Пауза.

Божена в лагере.

Слышны шаги на лестнице.

Грубек. Кто еще?

Франтишек. Это, наверное, Юлий. Жених Божены. *(Смотрит на часы.)* Да. Он всегда приходит по субботам в девять, каждую субботу с тех пор, как Божену увезли в лагерь.

Пауза.

Женщина, молодая, красивая, уже два года сидит в лагере только за то, что она в кафе ударила по физиономии немецкого нахала.

Входит Мачек.

Познакомьтесь, Юлий.

Мачек. Мачек.

Грубек. Ян Грубек. Как видите, в этом доме завелась еще одна крыса.

Мачек. Если вы — тот самый пан Грубек, о котором, вспоминая юность, мне столько раз говорил пан Прохазка, то я...

Грубек. Тот самый или, вернее, был тем самым.

Мачек. От Божены ничего?

Франтишек. Ничего. Они не дают ей даже писать. Какая она стала, Юлий, что с ней?

Мачек *(заметив лужу на ковре)*. Что это?

Франтишек. Это... здесь мыли руки.

Мачек. Почему здесь?

Франтишек. Тихий. Его пришел арестовать гестапак. Он убил гестапака. Он будет прятаться у нас.

Мачек. Почему у вас? Почему у вас? Что вы в конце концов должны... *(Смотрит на Грубека.)*

Грубек *(поймав его взгляд)*. Вы хотите сказать: довольно того, что я здесь прячусь?

Мачек. Нет... я не хочу этого сказать... Впрочем, да, я это и хотел сказать. *(Франтишеку.)* Вы — отец моей невесты. Я обязан думать о вас. И буду, хотите вы этого или не хотите.

В дверях появляются две женские фигуры. Это Божена и Маша. Они обе одеты в отрепья. У Маши ноги обмотаны тряпками. Она едва идет. Не обращая ни на кого внимания, Божена подводит ее к качалке и усаживает.

Божена. Сейчас я промою тебе ноги. Как ты себя чувствуешь?

Маша. Ничего.

Божена. Ты всегда говоришь: «ничего». Очень больно?

Маша. Нет, ничего.

Мачек *(подходит к ним)*. Что такое? Откуда вы?

Божена. Юлий, неужели даже голос мой так изменился, что вы не узнаете меня? Неужели я так стара и ужасна? Подождите до завтра, я вымоюсь, приведу себя в порядок. Может быть, тогда вы узнаете меня. Здравствуй, отец! *(Пройдя мимо Мачека, подходит к Франтишеку.)*

Франтишек бросается к ней, обнимает ее.

Ну, хорошо, довольно. Я очень рада тебя видеть. *(Садится в кресло, спокойно.)* Очень жаль, Юлий, что вы не узнали меня.

Мачек *(подходит к креслу ее, становится на колени)*. Я просто не посмел поверить. Вы разрешите мне хоть поцеловать ваши руки?

Божена. Конечно! Эту. Мы там отвыкли от того, что нам можно целовать руки. А теперь ту. Довольно.

Мачек. Я так счастлив.

Пауза.

Божена. Принесите таз с водой. Надеюсь, у вас идет горячая вода?

Франтишек. Да.

Божена. Принесите таз. Мне нужно обмыть ноги этой девушки. Вы слышали?

Мачек уходит.

Франтишек. Божена, родная! *(Подходит к ней.)*

Божена. Не надо, отец! Мне бы не хотелось заплакать сейчас. Познакомьтесь. Это Маша, русская девушка. Мы с ней бежали из лагеря. Она сделала так, что мы бежали. Пойди поцелуй ей руку.

Франтишек хочет поцеловать руку Маше.

Маша *(отдергивая руку)*. Нет, нет...
Божена. Отец, поцелуй ей руку. *(Грубеку.)* Вы чех?
Грубек. Да, я чех.
Божена. Поцелуйте ей руку, раз вы чех.
Грубек. С большой радостью. *(Подходит к Маше, целует ей руку.)* Ян Грубек.
Маша. Маша.
Божена. Отец, принеси свои инструменты и марганец. Будь любезен.
Франтишек. Вы натерли ноги?
Божена. Она не натерла ноги. Ее просто... Пойди принеси марганец.

Франтишек уходит.

Больно?
Маша. Ничего.
Божена. Опять это «ничего». Мне иногда казалось, что весь русский язык состоит из одного этого слова. *(Становится на колени перед Машей, начинает разбинтовывать ей ноги.)*

Входят Мачек с тазом и Франтишек.

Дай сюда, отец! Нет, я сама, у тебя слишком грубые руки.

Пауза.

Ну, как вы тут жили, Юлий? Часто ли вы вспоминали меня?
Франтишек. Он бывал здесь каждую субботу.
Божена. А я вспоминала вас по воскресеньям. Когда нам выдавали праздничный пакет — двадцать пять граммов колбасы, я всегда вспоминала вас. Вы ведь любили покушать. Но не завидуйте, это была скверная колбаса.

Пауза.

Значит, у вас идет горячая вода?
Франтишек. Да. Я уже сказал тебе.
Божена. Это очень важно. Я вспоминала о ней даже чаще, чем о вас, Юлий. О вас я вспоминала только по воскресеньям, а о ней — каждый день. Вот я и промыла. Маша, почему ты никогда не скажешь: «Ой»?
Маша. А зачем?
Божена. Чтобы я знала, что тебе больно.
Маша. А зачем?
Божена. Вот так всегда. Посмотри, отец!
Франтишек *(становится на колени)*. О!
Божена. Что?
Франтишек. По крайней мере, неделю в бинтах.

Божена. Ну что ж, она полежит здесь неделю в бинтах.

Мачек. Может быть...

Божена. Что «может быть», мой дорогой?

Мачек. Может быть, мы придумаем что-нибудь лучшее.

Божена. А чего же лучше? Хороший дом. Отец — врач. Я тут.

Мачек. Да, но можно придумать что-нибудь более благоразумное, может быть...

Маша. Может быть, и в самом деле я куда-нибудь...

Мачек. Может быть, я найду прекрасное место...

Божена. Может быть, вы замолчите?

Мачек. Я только из благоразумия.

Франтишек. В каждом доме свое благоразумие. В моем — мое. *(Маше.)* Дайте другую ногу. Вот так. Знаю, что вам больно. Вы — молодец!

Божена. Нет, сейчас ей еще не очень больно. Когда ей очень больно, она поет.

Грубек. Что поет?

Божена. Разные песни. Поет, чтобы никто не думал, что ей больно.

Пауза.

Где Анна?

Франтишек. Анна ушла. Ухаживать за детьми своего брата. Его казнили.

Божена. Кто же теперь у нас?

Франтишек. Никого. Мы с Людвигом. Делаем все сами.

Божена. Ах, как жаль! Анна так прекрасно подавала кофе в постель! У нас всегда было такое хрустящее белье.

Грубек. Анна... Я помню ее двадцать лет назад совсем молоденькой...

Божена. Боже мой, пан Грубек, я только сейчас сообразила, что вы — это вы. Детство... как это было давно... Вы живете у нас?

Грубек. Если прятаться называется жить — то живу.

Божена *(Мачеку)*. А вы не прячетесь?

Мачек. Нет.

Божена. И с вашей клиникой все благополучно?

Мачек. Да. А что?

Божена. Интересуюсь, как будущая хозяйка.

Мачек. Да, с клиникой все в порядке. Врач есть врач.

Божена *(с едва заметной иронией)*. Ах, как вы правы! Правы, как всегда. *(Кивнув на дверь в гостиную.)* Большой диван по-прежнему там?

Франтишек. Там.

Божена *(Маше).* Ты будешь спать на этом диване. Там тебе будет веселей, чем наверху. И главное — не ходить по лестнице.

За дверью слышны голоса.

Людвиг!

Входят Людвиг и Тихий.

Людвиг! *(Обнимает его.)* Ты становишься просто красивым. *(Тихому.)* Пан Тихий!

Тихий. Пани Божена!

Божена *(указывая на Машу).* Это моя подруга. Русская. Садитесь. Очень рада вас видеть. *(После паузы.)*

Соседка выглянет — лукавое созданье.
Что мне она? Как зайчик на стене.
И все-таки тускнеет мирозданье,
Когда она скрывается в окне.

Вы ведь мне когда-то написали? Сознайтесь. А? Ну?

Тихий. Вам.

Божена. И вы по-прежнему сидите по вечерам в халате и пишете свои несносные и очаровательные стихи и по-прежнему печатаете книги этих стихов без своего портрета, чтобы не разочаровывать читательниц? Не так ли?

Тихий. Почти так.

Людвиг. Он убил сегодня гестапака!

Божена. Что?

Людвиг. Он убил сегодня немца, который пришел его арестовать. Он убил его чернильницей!

Божена. Что я слышу? В этом городе поэты начинают убивать немцев! О, старая Прага мне снова начинает нравиться.

Тихий. А разве она вам переставала нравиться?

Божена. Да. Она была слишком тихой все эти годы. К ней не шло это. *(Тихому.)* А знаете, семь лет назад, когда вы вернулись из Испании и не были еще таким толстым, а главное, у вас блестели глаза,— вы мне нравились. И если бы вы не смотрели на меня тогда как на девчонку, я, может быть, наделала бы глупостей. А потом с каждым годом вы писали стихи все лучше и лучше, а сами становились все хуже, все толще. И я даже перестала верить тому, что вы были в Испании.

Тихий. Не надо об этом, пани Божена.

Божена. Почему?

Тихий. Это слишком печально для меня.

Божена. Что? Что я вас не полюбила?

Тихий. Нет, то, что я сам уже перестал верить, что я был когда-то в Испании.

Божена. Но сегодня вы вспомнили?

Тихий. Впервые.

Пауза.

Вы бежали из лагеря?

Божена. Да.

Тихий. Вы остаетесь здесь?

Божена. Да.

Тихий *(Франтишеку)*. Пан Прохазка, разрешите откланяться?

Франтишек. Куда вы?

Тихий. Я пойду в город.

Франтишек. Как вы смеете мне это говорить, пан Тихий?

Людвиг. Вы никуда не пойдете, пан Тихий. Вы будете прятаться здесь.

Тихий. Нет. И знаете что? Я вообще не буду прятаться. Прятаться с мужчинами я еще с трудом, но могу, но прятаться с женщинами я уже не в состоянии. Я не буду прятаться. Я пойду в Прагу и буду ходить по улицам. Я плевал на них, в конце концов черт с ними!

Людвиг. Пан Тихий, останьтесь! До завтра. Завтра мы вместе пойдем в Прагу. Утром. А может быть, даже сегодня ночью.

Грубек. Что сегодня ночью?

Франтишек. Куда вы пойдете? Почему завтра утром? Что такое завтра? О чем ты говоришь?

Людвиг. Ни о чем.

Франтишек. Что ты знаешь, говори!

Людвиг. Ничего я не знаю.

Тихий. Вы мне не сможете дать какой-нибудь пиджак?

Франтишек. Пожалуйста. Принеси, Людвиг.

Тихий. Ну... *(Целует руку Божене.)*

Божена. А знаете, вы уже не такой толстый, честное слово!

Тихий. Нет, я толстый и старый, пани Божена. Очень толстый и очень старый.

Людвиг подает ему пиджак.

Да, не сходится.

Далекая и неожиданная стрельба. Мачек тушит одну из ламп, идет к другой.

Грубек. Нет, это уже лишнее. Я не кошка, я не вижу в темноте.

Франтишек. Что такое? Опять облава?

Людвиг срывается с места и бежит по лестнице наверх.

Куда ты, Людвиг?

Людвиг. Сейчас приду. *(Уходит.)*

Тихий. Что же это такое?

Маша *(спокойно)*. Наверное, восстание.

Мачек. Какое восстание?

Маша. Наверное, ваши восстали против немцев. Мы шли с Боженой, и я все время думала: почему ваши не восстают? Я ей говорила...

С лестницы спускается Людвиг, в руках у него револьвер.

Франтишек *(хватая его за плечо)*. Ты никуда не пойдешь! Довольно с меня того, что Стефан воюет бог знает где, а может быть, уже убит. Довольно с меня всего.

Людвиг *(мрачно)*. Это сигнал! Пусти!

Франтишек. Что?

Людвиг. Я тебе говорю: пусти! Пусти меня!

Франтишек. Откуда у тебя револьвер?

Людвиг. Револьвер? У меня револьвер давно, еще с тех пор, как... *(Смотрит на Грубека и Мачека.)* У меня револьвер с тех пор, как мы прятали тут того русского, парашютиста. Он мне дал этот револьвер, когда уходил. Он мне сказал: «Когда тебе будет семнадцать лет, мы, наверное, уже будем где-нибудь около вашей Праги, и тогда ты возьми этот револьвер и тоже воюй!»

Грубек. Франтишек, пусти его. Дай я поцелую тебя, Людвиг, пусть хранит тебя бог! *(Франтишеку.)* Да поцелуй же сына! Он молодец у тебя!

Франтишек целует Людвига.

Тихий *(Людвигу)*. У тебя только один револьвер?

Людвиг. Конечно. А разве вы умеете стрелять?

Тихий. Сколько тебе лет?

Людвиг. Семнадцать.

Тихий. Когда тебе было восемь, я был лейтенантом испанской республиканской армии. Ты маленький негодяй и нахал, вот кто ты! Но я иду с тобой, черт возьми! И не смотри так на мой живот, негодяй! Не смотри на мой живот! *(Выходит вместе с Людвигом.)*

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Там же. Прошло три дня. Из гостиной, прихрамывая и держась рукой за стену, выходит Маша. Застонав, садится в качалку. На ней мужской халат почти до пят, с подвернутыми рукавами. На ногах мужские шлепанцы. Большие стенные часы громко бьют полночь. Маша вздрагивает. Сверху спускается Божена в нарядном платье. В руках у нее другое платье, чулки, туфли.

Божена. Не спится?

Маша. Мне захотелось походить... За эти три дня стало почти совсем не больно...

Божена. А я принесла тебе платье, мое любимое. Оно какое-то девичье. Оно пойдет тебе. И туфли... Боже мой, как приятно опять почувствовать себя чистой, благоухающей! Я сегодня три часа просидела в ванне. Только мы с тобой можем это понять. Да?

Маша. Почему только мы?

Божена. Ну, не только мы, ну, еще десять миллионов. Я знаю, что ты скажешь. Но сейчас... сейчас я хочу думать только о нас с тобой. Горячая вода... Ты — худенькая. Я ушью тебе платье. Ты снимешь этот нелепый старый халат. *(Гладит халат рукой).* Этот милый, добрый старый халат Стефана. Стефан ходил по утрам в этом халате и вечно свистел. Мы с ним близнецы, но он гораздо веселее меня. Веселее и лучше.

Маша. А где он сейчас?

Божена. Не знаю. Три года назад он был у вас в России и, кажется, воевал или собирался воевать. *(Насвистывает.)* Милый старый халат. *(Подходит к зеркалу.)* В этом платье я в последний раз была на студенческом балу со Стефаном. Я тебе нравлюсь?

Маша. Очень.

Божена. И себе тоже.

Выстрелы.

Сколько еще будут стрелять? Ты всегда все знаешь. Когда наконец придут ваши?

Маша. Если наши не придут сегодня или завтра, будет плохо. Немцы снова заняли три четверти города.

Божена. Откуда ты знаешь?

Маша. Мне сказал Людвиг.

Божена. Почему он сказал это только тебе? Да, да, знаю, он сказал тебе потому, что ко мне он относится несерьезно. Он хочет, чтобы я бежала к ним на улицу и носила им патроны. А я не могу. Я достаточно испытала за эти два года. Я хочу жить. Я не могу сейчас носить патроны. Ну, выругай меня, ну, скажи, что я дрянь!

Маша. Ты пришла бы домой на пять дней раньше, если бы не тащила на себе меня.

Божена. Молчи!

Маша. Ты очень хорошая, только...

Божена. Что?

Маша. Только ты и вы все... еще мало что видели...

Божена. Я мало видела? Боже мой! Я мало видела! Что же тогда было у вас?

Маша. Я рассказывала тебе.

Божена. Да, да... Но нет, не будем об этом. Ах, что бы я дала за то, чтобы увидеть, как ты слезаешь с поезда, идешь по улицам, как приходишь домой, встречаешь своих, как они радуются. А? Что же ты молчишь?

Маша. Я из Сталинграда.

Божена. Ну, а вдруг как раз твой дом... Ведь не каждый же дом...

Маша. Каждый.

Божена. Ну, а если... если ты не найдешь там своей мамы... Ты вернешься в город? Куда же ты пойдешь?

Маша. В свой райком комсомола.

Божена. А откуда ты знаешь, что там все живы?

Маша. Кто-нибудь жив. *(После паузы.)* Знаешь, я лежала и думала. Вот я родилась в селе Городище, Калачского района. Вот если мы встретились с кем-нибудь из городищенских в Калаче, мы говорим: «Мы — земляки, городищенские». А в Сталинград приехали, встретились с кем-нибудь из калачских и говорим: «Мы — земляки, калачские». А в Москве встретились с кем-нибудь из сталинградцев, говорим: «Мы — земляки, сталинградские». А за границу поедем, говорим: «Мы — земляки, русские». Неужели же не настанет такое время, чтобы встретились люди и сказали: «Ты с Земли и я с Земли, с одного земного шара, — значит, земляки»?

Несколько глухих взрывов. Долгое молчание.

Покажи мне платье.

Божена. Нравится?

Маша. Да.

Божена. А туфли? *(Показывает туфли.)*

Маша. Хорошие. Но только я никогда не ходила на таком каблуке. *(С трудом поднимается с кресла, делает два шага к зеркалу.)*

Божена. Куда ты?

Маша. Я хочу посмотреть, какая я. Давай приложим платье. А на каблуках? *(Поднимается на носки и снова, застонав, опускается.)* Нет, еще больно. *(Садится в кресло.)*

За окном усиливается гул стрельбы.

Людвиг сказал сегодня утром, что немцы разрушают танками баррикаду за баррикадой. Что ты будешь делать, если они опять придут сюда?

Б о ж е н а. Не знаю. А ты?

М а ш а. Я?

Долгая пауза.

Б о ж е н а *(пройдясь по комнате)*. Я сейчас вижу тебя в этом халате, и мне кажется, что это сидит Стефан. Он такой же упрямый, как ты. *(После паузы.)* Неужели они опять придут сюда?

Из передней выходит Г р у б е к с книгой в руках и с полотенцем через плечо.

Пан Грубек, что за вид?

Г р у б е к. Варю суп. В одном из ящиков вашего шкафа я обнаружил банку рыбных консервов. И сварил из них суп с картофелем.

Б о ж е н а. Наверное, это будет что-то ужасное.

Г р у б е к. Возможно. Думаю, что он переварился. Я одновременно мешал его ложкой и читал Достоевского. *(Маше.)* Вы читали Достоевского?

М а ш а. Да, конечно.

Г р у б е к. А любите его?

М а ш а. Нет.

Г р у б е к. Если это восстание продлится две недели, я, кажется, стану поваром. Впрочем... *(Прислушивается.)* Кажется, оно не продлится две недели. Если бы я был моложе хоть на десять лет...

М а ш а. А сколько вам лет?

Г р у б е к. Пятьдесят три.

М а ш а. Моему отцу было пятьдесят четыре, когда он пошел в ополчение.

Б о ж е н а *(после паузы)*. Что вы молчите, пан Грубек?

Г р у б е к. Достоевский прав: русские — загадочные люди.

М а ш а. Неправда.

Г р у б е к. Почему?

М а ш а. Неправда. Просто у нас в Советском Союзе больше любят свободу.

Г р у б е к. Свободу любят везде. И, может быть, здесь даже больше привыкли к свободе, чем у вас. Не в этом дело.

М а ш а. Неправда. Я была в трех лагерях, и за эти годы было одиннадцать побегов. И там сидели всякие люди, всех наций, но из одиннадцати побегов десять организовали наши, советские. Десять.

Пауза.

Я не знаю, может быть, это нехорошо — хвалить свой народ,— это почти как себя хвалить. Но вот вы теперь скажите, кто больше любит свободу, кто к ней больше привык? Те, кто, попав в неволю, сидят и ждут, когда их освободят, или те, кто, попав в неволю, не могут ее терпеть и бегут?

Божена *(Грубеку)*. Да. Вот она...

Маша. Я не про себя.

Грубек *(подходит к Маше, целует ей руку)*. Достоевский все-таки прав: русские действительно загадочные люди. *(С книгой в руках поднимается по лестнице.)*

Маша. Куда вы? Вы обиделись на меня?

Грубек. Нет. Мне просто хочется дочитать Достоевского, прежде чем... *(Прислушивается.)*

Божена. Прежде чем что, пан Грубек?

Грубек. Прежде чем сюда придут немцы. *(Уходит.)*

Божена. Ты устала. Я передвину качалку, погашу эту лампу. Попробуй заснуть. Так хорошо?

Маша. Хорошо. Спасибо.

Стук в дверь.

Божена. Войдите!

Входит Тихий.

Тише. Садитесь рядом. Еще о чем печальном расскажете вы? Вы какой-то весь черный...

Тихий. От горя. Меня выгнали оттуда.

Божена. Кто вас выгнал?

Тихий. Как вам сказать? Мои читатели. Утром в нашу баррикаду попал снаряд, и меня ударило камнем по голове. Я пролежал полдня. Они сказали, что в Чехии слишком мало хороших поэтов, и выгнали меня. А я послушался их. И напрасно: все равно мне не хочется больше жить. Завтра восстание будет наверняка подавлено, а о русских еще не слышно.

Божена. Но ведь русские же все равно будут здесь, ну, через три дня, через пять...

Тихий. Поздно. Для меня поздно. Не хочу, чтобы немцы снова пробыли здесь даже еще день. Шесть лет я терпел их, как тварь, как животное. А эти три дня я снова дышал. Я видел на баррикадах людей, глядя на которых я снова гордился тем, что я чех. Я жил! Шесть лет я переносил это, но теперь — ни дня! Я не хочу так жить!

Пауза.

Но вы знаете, человек — отвратительное животное. Я не хочу жить, но я очень хочу есть. Я уже два дня ничего не ел. Там все забыли об этом. Дайте мне что-нибудь съесть! Я ведь обжора. *(Внезапно.)* Я говорил вам, что не хочу жить. Нет, я хочу жить. Когда в молодости я боялся умереть, я думал, что человеку жаль покинуть свою молодую и красивую оболочку. А сейчас оказывается, что ему гораздо больше жаль покинуть свою старую и безобразную оболочку. Вот в чем глупость существования и подлость его, если говорить обо мне. Но, все равно, дайте мне есть!

Божена. Я накормлю вас супом, который сварил пан Грубек. Суп, наверное, отвратительный!

Тихий. Самое отвратительное, что для меня сейчас есть на свете,— это я сам... Суп так суп.

Входит Мачек.

Мачек. Здравствуйте, Божена! Пан Тихий, я хотел вас спросить...

Тихий. Потом! Некогда. Тороплюсь. Иду есть суп. *(Выходит вместе с Боженой.)*

Мачек прохаживается по комнате. Замечает спящую Машу.

Мачек. Пани Мария!

Молчание.

Входит Божена.

Божена. Сегодня среда, а не суббота. Что же вы пришли?

Мачек. Я уже много лет знаю, что у вас острый язык. Но я пришел говорить серьезно.

Божена. А почему без цветов?

Мачек. Я пришел говорить серьезно и тихо. *(Понижая голос.)* Где ваш отец?

Божена. У себя в лаборатории. Спасается от дурных мыслей, медленно убивая своего тысячного кролика. Хотя по нынешним временам я бы предпочла этого кролика просто зажарить. Вам нужен отец?

Мачек. Сейчас нет, наоборот. Ответьте мне: вы верите в то, что я вас люблю?

Божена. Настолько, насколько вы способны,— да.

Мачек. Я способен на большее, чем вы думаете. *(Прислушивается к грохоту за окном.)* Надеюсь, сегодня вы уже поняли, что с восстанием скоро будет все кончено. Немцы отсюда в трех кварталах.

Божена. Так близко?

Мачек. Слава богу, вы начинаете становиться серьезной. Ваш старший брат, ваш младший брат, эта русская девушка... И вы, наконец, вы тоже как-никак бежали из лагеря. Вы понимаете, что это значит?

Божена. Догадываюсь.

Мачек. Пока придут русские, за эти три дня, за эти четыре-пять дней — вы понимаете, что немцы могут сделать в вашем доме? Им ведь теперь нечего терять!

Божена. Вы, наверное, решили что-то предложить мне?

Мачек. Вы сейчас же оденетесь и пойдете со мной.

Божена. Куда?

Мачек. В мой дом. Если будут стрелять — в мой подвал. Мы или будем живы оба, или погибнем вместе. Вы поняли меня?

Божена *(почти ласково)*. Спасибо, милый.

Мачек. Согласны?

Божена. Нет. Я просто благодарю вас. Вы еще не готовы умереть за меня, но готовы умереть вместе со мной. А это уже хорошо.

Мачек. Сумасшедшая женщина! Здесь не над чем смеяться! Я бежал к вам по улицам, где стреляют.

Божена. Я не смеюсь. Я просто говорю, что не пойду с вами.

Мачек. Почему?

Божена. Потому что это мой дом и я очень давно в нем не была. И потом, у меня в нем отец, брат и гости. Нет, я не пойду с вами.

Пауза.

Я не надевала это платье шесть лет, и мне кажется — оно просто прелесть. А вам?

Мачек. Отвечайте: вы пойдете?

Божена. Это невежливо. Я ведь вас спросила, нравлюсь ли я вам сегодня.

Мачек. Нравитесь, нравитесь. *(Зло.)* Безумно нравитесь! Вы пойдете?

Божена. Нет.

Мачек. Ну, хорошо. Тогда...

Божена. Что тогда?

Мачек. Тогда я... я возьму эту вашу подругу и уведу хотя бы ее.

Божена. Зачем?

Мачек. Чтобы вы здесь были одни. Может быть, на вас одну не обратят внимания.

Божена. Она не может идти.

Мачек. Ничего, дойдет.

Божена. Нет.

Мачек. Дойдет. Дотащу.

Божена. Нет.

Мачек. Чего вы от меня хотите? Я готов идти и спрятать ее, совершенно чужого мне человека.

Божена. Чужого? Если бы не она, если бы не русские, я бы гнила еще двадцать лет в этом лагере.

Мачек. Может быть, вы сами возьмете оружие и пойдете на баррикаду?

Божена. Нет. Презираю себя за это, но не пойду. А вот вы?

Мачек. Что я?

Божена. Почему вы не пошли туда? К ним... на улицу? Ведь вы врач... Впрочем, зачем говорить о невозможном? Поцелуйте мне руку. И прощайте. Не обижайтесь. Приходите, когда все будет хорошо.

Франтишек *(спускаясь сверху)*. Вот видишь, Божена, он пришел. А ты бранила его и говорила, что теперь, когда восстание, его не сыщешь днем с огнем. А я говорил, что вы, Юлий, не утерпите, что вы придете к нам и в тяжелые часы будете вместе с нами в этом доме, который столько лет привык видеть вас своим гостем. Вот видишь, как ты бываешь неправа, Божена.

Божена. Да, я очень часто бываю неправа.

Франтишек *(протягивает Мачеку сигарету)*. Закуривайте, Юлий.

Мачек. Спасибо. Откуда у вас?

Франтишек. Я сегодня случайно обнаружил эту пачку в столе. С тех пор как я перешел только на свои опыты и бросил практику, по правде говоря, в нашем доме стало неважно жить.

Мачек. Вы могли продолжать заниматься и тем и другим.

Франтишек. Мне не хотелось лечить немцев. Я слишком хороший врач. Я бы их слишком часто вылечивал. Мне этого не хотелось.

Мачек. Это упрек мне?

Франтишек. Нет. Мое правило — жить самому и давать жить другим так, как им хочется. Людвиг не приходил?

Божена. Нет.

Входит Тихий.

Франтишек. Богуслав, ну как?

Тихий. Лучше, чем я предполагал. Прекрасный суп!

Франтишек. Вы с ума сошли! Я спрашиваю вас: как там?

Тихий. Там? Плохо.

Все прислушиваются к канонаде. На лестнице появляется Грубек. Он тоже прислушивается. И вдруг за окном близкий разрыв и резкий грохот танков.

Маша *(проснувшись, вскрикивает)*. Что такое?

Мачек. Немцы! Тушите свет!

На сцене гаснут все лампы. Через стеклянные двери на веранду видны какие-то вспышки, полосы света от фар. Слышен грохот и выстрелы.

Божена. Маша, где ты?

Маша. Иди сюда!

Тихий. Пан Прохазка, дайте мне сигаретку. Когда бывает страшно, мне всегда зверски хочется курить.

С грохотом распахивается дверь в переднюю, откуда полоса света. Голос Людвига: «Что случилось? Почему у вас темно?» Загорается свет. На пороге — Петров в короткой кожаной куртке поверх обмундирования. Рядом с ним — Людвиг, два солдата Национальной гвардии, Гончаренко.

Маша. Боже мой!

При свете видно, что она сидит неподвижно, с револьвером в руке; револьвер с грохотом падает на пол.

Франтишек *(идет навстречу Петрову)*. Дайте обниму вас... *(Обнимает его и отходит.)* И вас... *(Хочет обнять Гончаренко.)*

Людвиг. Потом, папа, потом. Инструменты! Товарищ офицер ранен!

Франтишек. Юлий, бегите в мой кабинет, там на стуле сумка. *(Петрову.)* Куда вас ранило?

Петров *(показывает)*. Сюда.

Франтишек. Людвиг, дай нож!

Петров. Гончаренко, у вас есть нож?

Гончаренко *(отстегивает от пояса финку)*. А вы — доктор?

Франтишек. Доктор, доктор.

Людвиг. Он доктор.

Гончаренко. Тогда пожалуйста.

Петров. Нет, это резать мы не будем. Эта куртка мне дорога как память. Ну-ка, Гончаренко...

Гончаренко стаскивает с Петрова куртку. Видно, что Петрову больно, но он молчит.

Вот так. Гимнастерку режьте. *(Без куртки он в полковничьих погонах, без орденов, с одной золотой звездочкой.)*

На лестнице появляется Мачек, у него в руках сумка с инструментами.

Людвиг *(нетерпеливо)*. Бросайте!

Мачек бросает сумку.

Отец, на!

Франтишек. Таз!

Людвиг сдергивает с полки старинную медную чашу, ставит ее на пол.

Может быть, вы сядете?

Петров. Вам удобнее стоя?

Франтишек. Да.

Петров. Прошу вас. Гончаренко, поставьте «виллис» на тротуар. А то его раздавят танки. Не волнуйтесь, доктор. Спокойней! *(Внимательно глядя на Франтишека.)* Да, профессор, вы постарели. Когда прошлый раз вы вытаскивали из меня пулю, руки у вас не дрожали.

Франтишек. Я? Вам?

Петров. Да, три года — это немалый срок. А в этом доме, между прочим, мало что переменилось. Только Людвиг был мальчишкой, а теперь стал юношей. Да передвинули этот рояль.

Божена *(не выходя из своей долгой неподвижности)*. Да я постарела за два года концлагеря. Да и вы тоже постарели...

Петров. А вы меня сразу узнали? *(Протягивает ей правую руку.)* Даже несмотря на это? *(Указывает на свою повязку.)*

Божена. Да, я вас сразу узнала.

Франтишек стоит в остолбенении.

Петров. Заканчивайте, профессор.

Франтишек. Пан... пан...

Петров. Теперь Петров... полковник Петров. Ничего, туже. Не бойтесь. *(Людвигу.)* Где мой револьвер?

Людвиг. Вот он.

Франтишек *(закончив перевязку)*. Все.

Петров. Спасибо. *(Пожимает руку Франтишеку.)* Я часто вспоминал вас, пан Прохазка. *(Кивает на Машу.)* А это кто?

Маша *(вставая)*. Старший сержант Кононенкова.

Петров *(подходит к ней)*. Что, землячка, бежала из лагеря?

Маша. Да.

Петров. Медсестра?

Маша. Радистка.

Петров *(делает рукой знак, означающий переброску через фронт)*. Что, из этих?

Маша. Да.

Петров. Ранена в ноги?

Маша. Пожгли.

Петров. Ну, ладно... Еще поговорим. Садись. Поправляйся. Гончаренко, кожанку!

Франтишек. На этот раз вы ничего не знаете о моем сыне?

Петров. Год назад, знаю, был жив. Ну, я поехал.

Б о ж е н а. Мы вас увидим еще?

П е т р о в. Да. Приеду благодарить вас за гостеприимство.

Ф р а н т и ш е к. Какое же это гостеприимство?

П е т р о в. Не за сегодняшнее,— сегодня все гостеприимны,— за тогдашнее, три года назад. *(Уходит.)*

Гончаренко, Людвиг, национальные гвардейцы уходят.

М а ч е к. Вы даже не сказали мне тогда, три года назад, что у вас прятался русский...

Т и х и й. И я, я тоже ничего не знал. Как странно... И даже грустно...

Рев затормозившего автомобиля. В комнату врывается С т е ф а н в форме капитана чехословацкого корпуса. На секунду остановившись в дверях, кричит.

С т е ф а н. Только обнять! Только обнять! *(Обнимает отца и Божену).* Кто тут еще? Богуслав! *(Обнимает его.)* С победой вас! *(Видит Грубека, обнимает его).* С победой!

Ф р а н т и ш е к. Это...

С т е ф а н. Все равно! Я обнимаю сегодня всех. *(Обнимает Мачека и подходит к Маше.)*

Б о ж е н а. Это Маша. Мы с ней...

С т е ф а н. Русская?

М а ш а. Да.

С т е ф а н *(целует ее).* Поздравляю вас! Поздравляю всех вас! Ну, я иду!

Ф р а н т и ш е к. Куда?

С т е ф а н. Дальше. Скоро буду. Проводите меня до машины. *(Выбегает.)*

Уходят все, кроме Маши.

М а ш а *(секунду сидит неподвижно и вдруг, по-детски всхлипнув, говорит).* Господи, как все хорошо! *(Вытирая слезы, медленно идет по комнате, раздвигает дверь на веранду и выходит туда).*

Входят Ф р а н т и ш е к и Г р у б е к.

Ф р а н т и ш е к. Какое счастье! Какое необыкновенное счастье! *(Заметив выражение лица Грубека.)* Ян, что с тобой?

Г р у б е к *(глухим голосом, взволнованно).* Старый друг, я должен уйти из твоего дома.

Ф р а н т и ш е к. Уйти? Теперь?

Грубек. Да, именно теперь. Пока была война, я, на правах дружбы, прятался у тебя от немцев, рискуя твоей жизнью. Но теперь я не хочу рисковать даже твоим спокойствием.

Франтишек. Не понимаю тебя.

Входит Божена. Останавливается на пороге. Разговор отца и Грубека привлекает ее внимание. Они оба ее не замечают.

Грубек. Пока была война, у меня был только один враг — немцы. Но сейчас к тебе вернулся твой сын из Советской России. Боюсь, что мы с ним люди слишком разных взглядов. Почти враги. Я человек старых убеждений, и сейчас, после войны, я намерен бороться за них.

Франтишек. Да, но тебе нет необходимости делать это здесь.

Грубек. Вот именно. А поэтому прощай. *(Идет к двери.)*

Франтишек. Стой! Ты сошел с ума! У тебя даже нет пальто, у тебя ничего нет! Куда ты пойдешь?

Грубек. Ты прав. Этого я еще и сам не знаю. И если уж говорить всю правду, то из Моравской Остравы я бежал не только от немцев. Я боялся, что при освобождении города коммунисты воспользуются суматохой и сведут со мной старые счеты. Я никогда ни минуты не сотрудничал с немцами. Каковы бы ни были мои взгляды, я для этого слишком хороший чех. Но я знаю: все равно мои враги постараются записать меня в изменники. Я не могу вернуться в Моравскую Остраву, пока туда не вернется порядок.

Пауза.

Спасибо и прощай...

Франтишек. Ты будешь жить здесь и уедешь только тогда, когда захочешь сам. И запомни, что здесь обижать тебя я не позволю никому, даже сыну.

Грубек. Нет, если я останусь, то не для того, чтобы делать из твоего дома ад. Я не буду ссориться с твоим сыном, я сдержусь, хотя бы из благодарности к тебе.

Франтишек. Ты остаешься?

Грубек. Да. Теперь, когда я все сказал тебе, да. По правде говоря, я бы просто не знал, куда идти, закрыв за собой дверь твоего дома. *(Рукопожатие. Уходит.)*

Божена *(выходя на середину комнаты)*. Отец, я слышала ваш разговор.

Франтишек. Жаль. Он открывал свою душу мне, а не тебе.

Божена. Зачем ты уговорил его остаться?

Франтишек. Он мой друг.

Божена. Значит, с нами под одной крышей будет жить человек, который не любит Стефана.

Франтишек. Вам со Стефаном было по шесть лет, когда Грубек качал его на коленях.

Божена. Это было давно.

Франтишек. Для меня это было вчера. А потом, ничего, потерпите. Рискуя жизнью, я прятал здесь друзей Стефана только потому, что они его друзья. Как же ты смеешь возражать против того, что у меня живет единственный друг моей юности, хотя бы он даже терпеть не мог Стефана? Занимайтесь вашей политикой там! А здесь мой дом. И я не выгоню из него, как собаку, честного человека только потому, что он не разделяет ваших взглядов. Зарубите это себе на носу. Раз и навсегда!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Прошло два дня. Воскресное утро. У камина, в глубоких креслах, за круглым столом, Людвиг и Гончаренко. На столе бутылка и две рюмки.

Людвиг *(наливая)*. Пожалуйста, еще!

Гончаренко. Покорно благодарю. *(Пьет.)* Приятная вещь.

Людвиг. Сливовица.

Гончаренко. А то еще перепеченица есть в Югославии. А в Болгарии — мастика или, скажем, горчивка.

Людвиг *(тихо)*. Так громко? Не боитесь разбудить?

Гончаренко. Полковника? Нет. Ему месяц подряд надо спать. За все года. Сколько лет — и все без остановки. Вот и сейчас. Он даже без дивизии своей сюда попал. Как марш на Прагу начался, он прямо из госпиталя на «виллис» и с головной колонной танков сюда. А командующий его встречает на улице: «Петров! Ты как тут? Ты же на себя не похож. Зеркало!» Адъютант зеркало дает. «Ну посмотри, говорит, не похож?» — «Так точно — не похож».— «Неделю чтобы я тебя не видел. Отдыхай!» А то бы разве он тут у вас спал?

Людвиг. А вы тоже, наверное, устали?

Гончаренко. Конечно, все мы подустали. Война. Прошлый год через заграницу стали двигаться, там все в шляпах. Меня спрашивают: «А скажите, у вас в России в шляпах ходят или как?» А я уж столько лет в пилотке хожу, что даже забыл, в чем у нас ходят — в шляпах или не в шляпах. Давно воюю, говорю им, не помню, какие у нас шляпы, хорошие или плохие. Однако помню — что ни перед кем их не снимали.

Людвиг. А вы давно с полковником?

Гончаренко. Порядочно.

Людвиг. А скажите, полковник во многие страны так летал, как к нам тогда?

Гончаренко. Вообще, конечно, он десантник, но я с ним не летаю, я шофер.

Людвиг. Он такой молчаливый.

Гончаренко. Он питерский. Никого у него теперь нет. Один характер остался. Да я...

Пауза.

Что это за форма у тебя чудна́я?

Людвиг. А это, когда мы восстали, мы взяли склады. Это немецкое тропическое обмундирование.

Гончаренко. Удобное для жары?

Людвиг. Очень.

Гончаренко. А тот вот, седоватый, ходит, все пиджака не снимает, это что, твой дядя, что ли?

Людвиг. Нет, это друг отца.

Гончаренко *(после паузы)*. Жарко, а он все в пиджаке ходит. Что он там, большие деньги, что ли, в карманах держит? Снять боится?

Людвиг *(рассмеявшись)*. Вот уж не знаю. Просто привычка, наверное.

Гончаренко. Бывает.

Входит Божена. Гончаренко встает.

Божена. Сидите, пожалуйста. Как вам спалось?

Гончаренко. Благодарю, как дома.

Божена. Полковник еще не вставал?

Гончаренко. Никак нет.

Людвиг *(солидно)*. Божена, может быть, рюмочку сливовицы с нами?

Божена *(в тон ему)*. Ах, с вами? Обязательно. *(Садится, отпивает глоток.)* Нет, не могу. Все еще кружится голова после лагеря.

Людвиг. Мы недурно вчера посидели вечером, а, Божена? Жаль только, что ты не пела.

Божена. Не пелось. *(Гончаренко.)* Сначала неудачный медик, потом неудачный юрист, потом неудачная певица. Вечная студентка. У вас тоже так бывает?

Гончаренко. Конечно, не без этого. Но в конце-то концов находит же человек себе дорогу.

Божена. Да?

Гончаренко. Да, у нас так.

Божена. А у нас не всегда так.

Гончаренко. Разрешите, я к машине?

Божена. Пожалуйста.

Гончаренко уходит.

(Людвигу.) Ты сегодня свободен от дежурства?

Людвиг. До полудня.

Божена. Ну, что же? Исполнились твои мечты? Ты воевал и стал совсем солдатом.

Людвиг. Это еще не называется воевал! Вот Стефан воевал. От Харькова и до Праги. А я что? Даже обидно!

Божена. Все-таки лучше, чем ничего.

Людвиг. Конечно, у нас на баррикаде было убито семнадцать человек. Мы дрались по-настоящему. Но как бы я хотел, чтобы все это было раньше, чтобы никто не мог мне сказать: «Что же ты взялся за оружие только теперь? А о чем ты думал раньше?»

Божена *(целуя его)*. Ну, ничего! Что до тебя, то тебе раньше не было даже семнадцати лет. Не расстраивайся.

Людвиг. Поручик Фенцик, командир нашей роты, говорит: «Подумаешь, чехословацкий корпус в России! Мы тоже дрались с немцами». Дрался он с немцами... три дня.

Божена. За те шесть лет, что здесь были немцы, у нас некоторые мужчины отвыкли быть мужчинами. А теперь думают, что они — герои. А они просто-напросто снова стали мужчинами. И все.

Людвиг. Но наш Стефан — молодец. Настоящий чех. Верно?

Божена. Верно.

Людвиг. Вот это я и сказал поручику Фенцику, когда он начал хвастаться.

Входит Маша. Она идет медленно, но уже твердо.

Божена. Людвиг, подай руку даме. Быстрей!

Людвиг подает руку Маше. Маша, опираясь на его руку, подходит и садится в кресло.

(Целуя Машу.) Ну, как ты?

Маша. Сегодня мне двадцать один. Мне захотелось надеть то твое платье. Я даже примерила его. Но с этими *(показывает на домашние туфли)* не хочется. Хочется все сразу.

Божена *(улыбнувшись)*. Женщина, женщина до кончиков ногтей. Поздравляю тебя.

С улицы входит Стефан с цветущей веткой каштана.

Стефан *(Маше)*. В цветочных магазинах ничего нет. Я проезжал через Бубенеч, залез в чей-то сад и украл для вас вот эту ветку каштана — непростительное для аккуратного чеха преступление. А вы все еще в халате? Я думал застать вас сегодня в платье.

Маша. Мне так надоело видеть мои забинтованные ноги, а ваш халат такой длинный.

Стефан. Через два дня мы с вами поедем на Бубенеч. Зайдем вместе в какой-нибудь сад, и я скажу, что хочу срезать цветов для этой русской девушки.

Божена. Я думаю, что никто не захочет тебе отказать.

Маша. Правда?

Стефан. Как хорошо на Бубенече! Когда начинают цвести деревья, это всегда чудно и всегда похоже. Я вспомнил вдруг киевские тополя... еще до войны. Когда в ноябре мы ворвались туда, их уже не было на этой улице... как ее...

Маша. Крещатик?

Стефан. Кажется, да. Четыре раскаленных года войны — не весна и не осень. Одна война. Но это все в прошлом. А сейчас весна... Через два дня мы поедем по Праге, я покажу вам ее. Я люблю этот город, почти как человека. Я хочу, чтобы она вам понравилась, чтобы вам было хорошо здесь.

Маша. Мне здесь очень хорошо.

Стефан. Я хочу, чтобы было еще лучше. Сколько раз за эти пять лет в России, когда я пользовался русским гостеприимством, когда я сражался русским оружием, когда я ночевал в русских домах, когда мои раны перевязывали русские девушки, сколько раз я думал: «Дорогие вы мои! Только бы дойти до дома, до Праги. Чего я не сделаю для вас!»

Пауза.

Я очень люблю Россию, Маша, слышите? Я очень люблю Советскую Россию. Очень люблю.

Пауза.

Вам безумно идет мой халат. Вы понимаете это?

Маша *(нерешительно)*. Понимаю...

Стефан. Вы женщина, вы ничего в этом не понимаете. Вы не понимаете и того, что вам еще больше шло, когда вы сидели где-нибудь в глухом лесу и выстукивали по радио: «Москва, Москва, ты меня слышишь, Москва?»

Петров *(появляясь наверху в дверях)*. Москва слушает. Что вы хотели передать Москве, Стефан?

Стефан. Я благодарю ее за то, что Маша живет именно в нашем доме, что мы можем отплатить ей у себя, в Праге, за русское гостеприимство.

Петров *(спустившись и обняв одной рукой Стефана)*. Только имей в виду, землячка, не придавай значения всем этим букетам, поцелуям ручек, разговорам о природе: «Ах, весенний лес! Ах, осенний лес!» Это все так, сверху. А под этим — он солдат. Злой, упрямый.

Стефан. Иван Алексеевич!

Петров. Стоп! Не обижайся. Я же шучу. А впрочем, может, и не шучу... Если не ошибаюсь, землячка, тебе сегодня двадцать один? *(Вынимая из кармана записную книжку.)* Давай свой адрес.

Маша. Какой?

Петров. Домашний.

Маша. Зачем?

Петров. Узнаешь. Давай!

Маша. Сталинград.

Петров. Так.

Маша. Подвальная, семнадцать, квартира три. Только там, наверное, все разбито...

Петров. Так. *(Захлопывает книжку, кладет в карман.)* Как-нибудь в более спокойное время я пойду где-нибудь в самый хороший магазин и куплю тебе вот такой чемодан со всем, что твоей душе будет угодно.

Маша. Ни в коем случае! У вас у самих есть кому...

Петров. А вот это уж не твое дело. Есть кому, нет кому...

Божена. Если это будет в Праге, я буду вашим консультантом.

Петров. Спасибо. Я хочу, чтобы моя землячка была хорошо одета. И она, и все наши девушки. И пусть она даже немножко раньше, чем все,— она больше пережила, чем многие другие, и раньше всех имеет право на это маленькое женское счастье.

Божена. А Маша в лагере говорила, что у вас все есть.

Петров. Это она из гордости. При чужих. *(Кивнув на Стефана.)* Но его дом для меня — дом друзей. Да, наши женщины сейчас ходят иногда бог знает в чем. Они ходят в штопаных и перештопанных чулках. Землячка, не морщься, это так. Многого нет у нас и будет еще не так скоро, как бы нам этого хотелось. Видите ли, пани Божена, в Европе много говорят о военных лишениях. А ведь тут не всегда знают, что такое лишения. Настоящие. Нам, спасшим Европу, ни перед кем на свете нечего стыдиться ни штопаных чулок наших жен, ни того, что в тылу у нас иногда голодали в эту войну, ни того, что у нас жили целыми семьями в каморках. Да, это так. Но наша армия была вооружена, одета, сыта. Да, мы пока еще не так богаты, чтобы быть богатыми во всем. Да, мы не построили особняков, мы построили заводы. И немцы прошли по улицам Парижа, но не прошли по улицам Москвы!

Божена. Вы не любите Европу, да?

Петров. Почему вы так решили?

Божена. Вы не должны любить Европу. Вас должны раз-

дражать эти особняки, эти виллы, эти дома с железными крышами. Вы ведь отрицаете это?

Петров. Отрицать можно идею, отрицать железную крышу нельзя. Коли она железная, так она железная.

Грубек *(появляясь в дверях)*. Можно к вам на огонек?

Стефан. Пожалуйста, пан Грубек.

Грубек *(Петрову)*. Я вчера слышал через стену, вы долго не спали. Все ходили.

Петров. Да. Я тоже слышал. Вы тоже долго не спали.

Грубек. Я думал о будущем. Ходил и думал.

Петров. Что же вы думали о будущем?

Грубек. Что будущее в Европе принадлежит русским. Они победили. И доказали этим свое преимущество и свое право на то, чтобы перестраивать Европу.

Петров. А вам хочется, чтобы она была перестроена?

Грубек. Я уже не молод, и у меня свои предрассудки, но в общем да, мне кажется, ее нужно перестраивать.

Петров. Так что же, беритесь! Перестраивайте, засучивайте рукава!

Входит Франтишек.

Франтишек. Кто там собирается засучивать рукава? Если будет драка, то я готов вспомнить студенческие годы.

Грубек. Нет, мы тут без тебя просто собирались перестроить Европу. *(Петрову.)* Ну что ж, вы правы, мы с Франтишеком засучим рукава. И если мы, старики, чего-нибудь не поймем, то *(кивнув на Стефана и Божену)* дети нам объяснят. Да, пани Божена?

Божена *(сухо)*. Я пойду открою жалюзи на веранде. Перейдем туда. Здесь становится душно. *(Уходит.)*

Стефан. Прага — счастливый город. Здесь даже не имеют представления о том, что сделали немцы в России. Вот где придется засучивать рукава. Вот где будет трудно...

Петров. Вы правы и не правы.

Стефан. Я прав.

Петров. Только наполовину. Когда вы приезжаете домой и вас встречают сожженные дома — это трудно. Но когда вы возвращаетесь домой и дома целы и улицы поливают по утрам, но в этом вашем целом доме еще далеко не все обстоит так, как вам хочется, когда по этому вашему дому еще ходят отнюдь не только ваши друзья,— это, пожалуй, труднее, чем просто сгоревшие дома. Вы думаете о том, как будет трудно нам, а я думаю о том, как будет трудно вам.

Грубек. Война уже кончилась, пан полковник, но в вашей

душе бушует еще не остывший гнев, а ведь говорят, что русские забывчивы и отходчивы.

Петров. Не знаю. Я русский. Я не забывчив и не отходчив. И никому не советую на это рассчитывать.

Входит Божена.

Божена. Там все готово, идемте.

Франтишек *(вставая, примирительно)*. Во всяком случае, какие бы счеты еще ни пришлось сводить после войны, одно ясно — будущее за нами, за славянами.

Стефан. Слишком часто сейчас все стали повторять это слово — «славяне».

Франтишек. Разве это плохое слово?

Стефан. Хорошее, но мало говорить: «Мы — славяне». «Славяне» — гордо звучит, когда вы много сделали для этой войны, для будущего, а не тогда, когда вы просто говорите: «Я славянин». Ну, вы славянин, и что дальше?

Франтишек. А то, что в моих жилах течет кровь людей, которые столетья прожили в чреве немецкого кита и не сдались и не переварились, а, как Иона, вышли наружу из чрева. И я горд этим!

Стефан. Я тоже. Когда мы по пояс в русских снегах шли на немецкие пулеметы, мы не хуже вас помнили имена Гуса и Жижки, но я говорю не о предках. Я говорю о нас.

Франтишек молча выходит из комнаты. Петров, Маша и Людвиг идут вслед за ним.

Грубек *(Стефану)*. Никто не смеет упрекнуть меня и вашего отца за то, что мы не брали сейчас винтовки в руки. Нам за пятьдесят. Но душой мы были с вами всю эту войну. Не шутите этим.

Стефан. Я не хотел обидеть ни вас, ни отца... *(Уходит на веранду.)*

Грубек направляется вслед за Стефаном.

Божена *(задерживая его в дверях)*. Подождите, мне надо сказать вам несколько слов.

Грубек. Слушаю вас.

Божена. Зачем вы лжете?

Грубек. Я лгу?

Божена. Да, я слышала ваш разговор.

Грубек. Какой разговор?

Божена. Тот, с отцом. Имейте мужество говорить то, что вы на самом деле думаете, или, по крайней мере, молчите.

Грубек. Хорошо.

Божена. Что?

Грубек. Хорошо, я буду молчать.

Божена. Идемте на веранду.

Грубек. Нет. Останьтесь. Сядьте. Вот так. Теперь мне надо сказать вам два слова правды. О вас. Этот концентрационный лагерь свихнул вам голову налево. Да, мне не нравится многое из того, что сейчас происходит. Да, мне не нравятся коммунисты, мне не нравятся некоторые чехи, вернувшиеся из России. Да, я всегда хотел прежде всего быть богатым. Но и вы... Сейчас вы еще злы, но еще месяц горячих ванн, хороших платьев, хороших духов, и вы отойдете и снова станете тем, кем были.

Божена. Кем именно?

Грубек. Женщиной нашего круга. И притом красивой женщиной и жадной. Не возражайте, у вас жадные ноздри, вы любите букеты, машины, поклонение мужчин, и не пробуйте спорить: вам не нравлюсь я, вам не нравится ваш жених, но мы, мы нравимся вам.

Божена. Кто это «вы»?

Грубек. Мы, мужчины нашего круга, люди, делающие деньги и бросающие их к вашим ногам. Вы — наша, а все остальное — мираж, которого вам хватит на месяц, не больше. Вы делаете вид, что не любите нашего общества, но в нем вы будете всем, а в том обществе, которое вы сейчас приказали себе любить,— ничем. Сейчас вам понравился этот человек, сидящий там. Его жена, наверное, несчастна.

Божена. Почему?

Грубек. Потому, что он есть и его нет. Потому, что, как у всех у них, ни один час его времени не принадлежит ему до конца. Потому, что среди ночи его могут поднять с постели в Москве, чтобы бросить с неба в Прагу. Это романтично один раз, но когда из этого состоит жизнь, это проклятье для жены.

Божена. У него нет жены.

Грубек. Все равно, если бы она была, она была бы несчастна и на сто пятидесятой, приказанной свыше, разлуке ушла бы от него.

Божена. Она не ушла от него, она убита.

Грубек. Тем лучше для нее. Как вы не понимаете, что это человек с другой планеты? Но даже и там, на их планете, вы все равно не были бы с ним счастливы. Вот пан Мачек — это человек с вашей планеты. Правда, он не так храбр. Ну, что ж? Война кончилась — и храбрость на двадцать лет вперед перестала быть предметом первой необходимости для мужчины. Если бы я не был в таком невыгодном положении, как сейчас, я бы сам предложил вам руку и сердце.

Божена. Вы?

Грубек. Да, я. Я еще не стар, и не уродлив, и умен, ручаюсь вам за это. В остальном вы бы убедились после свадьбы.

Божена. Замолчите!

Грубек. Вы сердитесь? Это хорошо. Это потому, что я прав. Да, да, мы, а не они. Да, именно такой человек, как я, может составить счастье такой женщины, как вы.

Божена. Молчите, я вам говорю.

Грубек. Наша жизнь, а не их. Да, каюты первого класса. Да, путешествия. Да, машины и яхты, и Ницца, и Биарриц, и Неаполь или Мадрид...

Божена. Вы правда только инженер?

Грубек. К сожалению, да.

С веранды входит Франтишек.

Франтишек. О чем вы спорите?

Грубек. Я излагаю пани Божене некоторые преимущества того доброго старого порядка, который нас с тобой сделал такими, какие мы есть.

Божена порывисто идет к двери.

Франтишек. А что же, Божена, он прав! В добром старом порядке есть много очарования.

Божена *(останавливаясь)*. В старом порядке? Мне начинает казаться, что эти годы пан Грубек неплохо жил и при новом порядке.

Грубек. То есть при немцах, хотите вы сказать?

Божена. Да. При немцах.

Грубек *(Франтишеку, указывая на Божену)*. Вот, вот именно то, о чем я тебе говорил. То, чего я боюсь в Моравской Остраве. *(Божене.)* Зачем вы торопитесь оскорбить и оклеветать человека, о котором, в сущности, ничего не знаете? Я взволновал вас тем, о чем вы напрасно пытались забыть. Вы просто злитесь. А это чувство слепое и неблагородное.

Божена, резко повернувшись, выходит.

Единственная и балованная.

Франтишек. Бедная девочка! Этот лагерь ей как снег на голову... Я сам не узнаю ее.

Грубек. Ничего, она скоро вернется в свое естественное состояние. Ничего...

Пауза.

Итак, в твоем доме поселились сразу четверо русских.

Ф р а н т и ш е к. Почему четверо?

Г р у б е к. Четвертый — твой сын Стефан.

Ф р а н т и ш е к. Этого не будет. Я сам люблю Россию... Но я чех. И Стефан чех. Нет! Нет! Ты не прав.

Открывается дверь веранды. С т е ф а н, держа под руку М а ш у, ведет ее в гостиную.

Г р у б е к. Я прав, мой друг!

Пауза.

Из гостиной входит С т е ф а н.

С т е ф а н. Вы видели, она уже почти совсем хорошо ходит. *(Берет со стола фуражку.)*

Ф р а н т и ш е к. Куда ты?

С т е ф а н. В министерство обороны. Совсем хорошо ходит...

Ф р а н т и ш е к. Скоро вернешься?

С т е ф а н *(улыбаясь)*. Совсем хорошо... Что ты сказал? А, да, да! Скоро вернусь. *(Выходит.)*

Г р у б е к. Все-таки я, к сожалению, прав.

Входит Т и х и й.

Т и х и й. Я, как всегда, без спросу.

Ф р а н т и ш е к. И, как всегда, кстати.

Т и х и й. Кто там шумит на веранде?

Г р у б е к. Там шумит новая Европа — молодежь.

Ф р а н т и ш е к. А мы посидим здесь, три старых обломка старой, как мир, Европы. Жаль, что нет пива.

Т и х и й. И молодости.

Г р у б е к. Да! Как бы мы ни спорили в прошлом, но годы и седины связывают нас в один узелок. А они... *(Кивает на дверь веранды.)* Мне иногда кажется, что мы даже не можем жить в одной комнате с ними, прости мне, дорогой Франтишек, не можем, даже если это твои дети. Они — там, а мы — тут.

Т и х и й. А я топтал сегодня пражские мостовые! Этот старый город сошел с ума от счастья. Даже те, кто ничего не сделал для его освобождения, все равно чувствуют себя победителями.

Г р у б е к. По-моему, вы сказали это с иронией.

Т и х и й. Нет. Мы всегда умели быть мучениками. У нас хватало мужества перед смертью плевать в лицо своим убийцам, но мы... мы слишком редко убивали своих убийц.

Пауза.

Хотите, я прочту стихи, которые я написал об этом?..

Ф р а н т и ш е к. Слушаем.

Тихий *(роясь в кармане)*. Где же они? Ну конечно, я забыл их дома в пальто. В другой раз.

Франтишек. Хорошо получилось?

Тихий. Как вам сказать?.. Конечно, это не моя обычная лирика, это стихи политические. Но они мне... нравятся. Да! Нравятся! Я снес их в «Руде право».

Грубек. Там, кажется, коммунисты?

Тихий. Да. Им понравилось. Они посоветовали мне кое-что исправить. Я взял стихи до завтра. По-моему, они правы. Сейчас надо порезче... Я сделаю это.

Грубек. Ну, что же, может быть, они и в самом деле правы. А не может быть так, пан Тихий, что сегодня они вам скажут: «Сделайте то-то, так нужно», а завтра опять: «Следует поправить так-то и так-то, это нужно», и послезавтра — то же. И в конце концов вы будете писать совсем не то, что хотели вначале. Вы будете писать то, что нужно им, и забудете, что нужно вам.

Тихий. Вы — змея.

Грубек. Что?

Тихий. Змея. Вы меня ужалили. Я только сейчас это понял.

Грубек. Возьмите свои слова обратно.

Тихий. Не возьму.

Франтишек. Сейчас же подайте друг другу руки. Богуслав, вы у меня в доме!

Тихий *(Грубеку)*. Зачем вы сказали мне это?

Грубек. Просто я давно люблю ваши стихи и тревожусь за вас. Вот и все.

Франтишек. Сейчас же подайте друг другу руки. Я прошу. Я редко о чем-нибудь прошу.

Тихий *(пожимая руку Грубеку)*. И все-таки, имейте в виду, я с вами не согласен. *(Франтишеку.)* И с вами. Да, да, вы кивали головой, когда он говорил. Я еще буду ссориться с вами. С обоими.

Грубек. Тогда лучше идите в ту комнату,— там вы, надеюсь, будете со всеми согласны.

Тихий. Нет, я не пойду в ту комнату.

Грубек. Ну, что же, тогда оставайтесь с нами.

Тихий. Я не хочу оставаться с вами.

Грубек. Ну, тогда остается последнее — идти к себе домой.

Тихий. Нет, мне там будет скучно.

Грубек. Чего же вы хотите?

Тихий. Не знаю.

Франтишек. Ну, а если мы уйдем,— это вас устроит?

Тихий. Да. Я буду сидеть здесь в одиночестве между вами и ими. На этот раз вы хорошо придумали.

Грубек. А мы с тобой, Франтишек, пойдем в твой кабинет. В конце концов одна тихая комната в доме — это все, что нужно отцам, когда дети шумят.

Франтишек и Грубек поднимаются по лестнице, выходят.

Тихий *(вслед)*. Этот дом стал похож на Ноев ковчег. Семь пар чистых, семь пар нечистых. А я? Кто я? А? *(Включает радио, настраивает его.)* Как бурлит мир! Как он кричит! Стонет! Смеется! Ругается! Вопит! Поет!

С веранды входит Божена. Она пересекает комнату, подходит почти вплотную к Тихому.

Божена. Пан Тихий, я, кажется, влюблена.

Тихий. Давно?

Божена. Три года.

Тихий. И сильно?

Божена. Безнадежно. Бессмысленно, во всяком случае.

Тихий. Почему бессмысленно? Поверьте мне, в любви всегда есть какой-то смысл.

Божена. «В воскресенье я уеду, и, наверное, мы с вами больше никогда не увидимся». Самое ужасное, что он прав: я даже в мыслях не могу поселить его рядом с собой, потому что он совсем с другой планеты. Совсем с другой... Или нет, я вам скажу по-другому. Я стою над водой и вижу, как там все живет и плавает. Но я не могу туда, я там задохнусь, а те, что там, не могут ко мне, они задохнутся здесь.

Пауза.

«В воскресенье я уеду, и, наверное, мы с вами больше никогда не увидимся».

Тихий. Но зачем все это вы говорите мне?

Божена. Простите... У меня дурной характер. Я не хочу мучиться одна. Или нет, подождите, вот если через неделю я бы пришла к вам и сказала: «Я не люблю вас, но если хотите, то можете жениться на мне»,— вы бы женились на мне?

Тихий. Нет, я бы не женился на вас.

Божена. А Мачек женится. И все будет хорошо. Я еще чему-нибудь начну учиться и опять брошу. Это будет не важно — деньги будут. Да, да, именно так: летом в Ниццу, зимой в Париж, машина, путешествия и останавливаться в лучшем отеле. И если ехать в Испанию, то только потому, что там бой быков. Он прав. Он, конечно, прав. *(Идет к двери.)*

Тихий. Кто прав?

Божена *(задерживаясь в дверях)*. Пан Грубек.

Т и х и й. Нет, он не прав.

Б о ж е н а. Вы не знаете даже, что он говорил.

Т и х и й. Все равно, он не прав.

Божена, пожав плечами, выходит. С веранды входит Л ю д в и г.

(Почти кричит.) Не прав!

Л ю д в и г. Кто не прав, пан Богуслав?

Т и х и й. Не прав! *(Привлекает Людвига к себе. Кричит.)* Не знаю, как она, бог с ней в конце концов. Но мы — нет, не для боя быков мы поедем в Испанию, мальчик!

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Прошло еще два дня. На сцене Маша и Петров.

Маша. Вот и вся моя жизнь.

Петров. Да, не из легких. Ну, что же. Зато будет что вспомнить, раз осталась в живых.

Маша. Ну, что ж, теперь война кончилась.

Петров. Открытая, да. Ты сегодня ездила по Праге со Стефаном?

Маша. Да.

Петров. Вот ты ездила и видела: люди идут по улицам. Более или менее одинаковые люди, и на них более или менее одинаковые шляпы, очки, перчатки. А вот за какими очками прячутся глаза фашиста? Под какой шляпой голова, думающая о том, как повернуть все обратно? В каких перчатках руки, с удовольствием бы задушившие нас с тобой? Этого ты не увидела?

Маша. Нет.

Петров. Конечно! Этого с машины и не увидишь.

Маша. Иван Алексеевич, знаю, но... сегодня я просто ехала... и радовалась.

Пауза.

Петров. Тебе нравится Стефан?

Маша молчит.

Да?

Маша. Не знаю.

Петров. Ну и вот, в воскресенье тебе уезжать? На родину.

Маша. Иван Алексеевич! Что мне делать? Ну, скажите.

Долгая пауза.

Иван Алексеевич, как вы долго думаете!

Петров. А как же? Мы же тут, за границей, и военные, и дипломаты, и политики — всё сразу! И не все мы ученые и не все опытные, а ответственность от этого не меньше. Вот и думаешь. Иногда долго. Ничего не поделаешь.

Маша. Так ведь я же вас сейчас о себе спросила. О личном.

Петров. О личном? *(Улыбнувшись.)* Инструкций нет на этот счет, да и быть не может. Поступай так, как тебе совесть велит.

Пауза.

Так думаешь, это только твой, только личный вопрос... Господин Черчилль — я вчера по радио слышал — речь произнес, свои идеалы высказывал. Не должно быть, по его мнению, социализма на земле. Потому что это разврат и безобразие. А по моему мнению, должен быть на земле социализм, потому что это радость и счастье. Вот видишь, война кончилась, а взгляды на будущее-то у людей разные. Очень разные. Нет, не для отдыха родилось наше поколение, землячка.

Входит Стефан.

Стефан. Вот я и освободился!

Петров встает.

Как ваше здоровье?

Петров *(поднимается по лестнице)*. Ничего. В воскресенье двинусь к месту назначения. Немного еще глаз побаливает. Пойду полежу.

Маша. Иван Алексеевич, посидите. Почему вы так вдруг? Иван Алексеевич!

Петров *(на лестнице, улыбнувшись)*. И когда только ты кривить душой научилась? А? *(Уходит.)*

Стефан. Вы сегодня чудно выглядите, но я вам не верю. Вы, наверное, чувствуете себя еще плохо.

Маша. Я совсем забыла о том, как я себя чувствую. Прага! Какая она красивая!

Стефан. Да... Прага...

Пауза.

Шесть лет я не был в ней. Под Харьковом, перед первым боем, когда нам выдавали автоматы, наш генерал — тогда он был еще полковником — взял первый автомат, поцеловал его и сказал: «Помните, мы с этими автоматами должны дойти до Праги». И я помнил это. Россия была мне матерью, а не мачехой. И все-таки я ни на один день не мог забыть Праги.

Входят подвыпивший Франтишек и Грубек.

Франтишек. Мы нашли маленький ресторанчик с прекрасной сливовицей. Правда, она стоила бешено дорого, но разве

можно скупиться, когда наконец свободна наша золотая Прага, когда я наконец не вижу на ее улицах ни одной немецкой рожи! Мы свободны, черт возьми! Хорошо! Все хорошо! Нехорошо только одно. *(Стефану.)* Это я тебе говорю. Нехорошо, что в эти счастливые дни люди все-таки не хотят быть братьями, арестовывают кого-то, кто, по их мнению, виноват больше других. Моя бы воля, я бы этого не сделал.

Стефан. Очень хорошо, что это не твоя воля.

Франтишек. Знаю, знаю! Ну, да, они виноваты, они сотрудничали с этими немецкими мерзавцами. Но люди есть люди, и я готов их простить, раз на земле наконец мир! Боже мой! Неужели и в эту минуту думать об арестах и преследованиях? Стефан, ответь мне!

Стефан. Да, нужно думать. Приходится.

Франтишек. Твои товарищи — вернувшиеся из России и те, кто оставались здесь,— неплохие люди. Но у вас много жестокости и мало понимания человеческих слабостей. Черт вас знает! Не умеете вы быть такими, как мы с Грубеком,— пусть иногда неблагоразумными, но широкими и добрыми.

Стефан. Мы не хотим, чтобы еще раз повторилась история, которую вы нам приготовили своей добротой и неблагоразумием.

Франтишек. Неблагоразумием? Благоразумный человек не стал бы прятать у себя русских парашютистов...

Стефан. Да, это хорошо. Но Прага свободна — и русские квиты с тобой. И, отец, не будем ссориться в такой на самом деле хороший день. Прекратим этот разговор.

Франтишек. А я хочу... говорить.

Стефан. Отец, ты чуть-чуть выпил.

Франтишек. Об этом не говорят отцу... Тем более что я выпил впервые за шесть лет...

Стефан. Прости меня. Ты прав.

Франтишек. Пойдем, Ян, наверх. Сегодня хороший день, и я не хочу ссориться со своим русским сыном. *(Поднимается по лестнице.)*

Стефан. Я больше чех, чем ты!

Франтишек. Ты?

Стефан. Да, я. Потому что ты думаешь о прошлом Чехии, а я — о ее будущем.

Франтишек. Пойдем, Ян. *(Маше.)* Мария, вот вы русская, вы хорошая девушка. Зачем вы, русские, научили его быть таким упрямым, таким нетерпимым, ничего не прощающим?

Стефан. Меня этому научили не русские. Меня этому научила жизнь. А тебя еще, прости, не научила.

Франтишек. Не научила? Каждый третий из моих друзей или умер, или убит. Мы здесь прошли через такие страдания!

Стефан. Да и все-таки страдания учат многому, но не всему. Есть вещи, которым учит только борьба.

Франтишек. Не одни вы боролись там, в России.

Стефан. Конечно, не одни мы. Здесь тоже есть много людей, которые боролись не последние пять дней, а последние шесть лет. И они — они скажут тебе то же, что я.

Франтишек. Опять борьба! Борьба! Не хочу слушать! Затыкаю уши!

Стефан. Вот, вот... Именно так перед войной затыкала уши вся Европа. Нет, мы больше никогда не будем затыкать уши.

Франтишек *(в дверях, Грубеку)*. А сливовица после шестилетнего перерыва все-таки слишком действует на меня. А на тебя — нет. Ты, наверное, врешь, Ян, что тоже не пил все шесть лет.

Франтишек и Грубек выходят.

Стефан *(Маше)*. Отец — самый благородный человек, какого я знаю. Но даже шесть лет оккупации не сдвинули его с места.

Пауза.

Вам очень идет это платье. И все-таки, когда сегодня вы сидели рядом, я жалел, что вы в этом платье, а не в моем халате. Я вам подарю его, этот мой халат. Ладно? Хоть и нелепо дарить такую старую тряпку, но я подарю. А вы примете?

Маша. Да. Я к нему привыкла.

Пауза.

Стефан. А вы устали... Как ни жаль, но мне пора отправить вас спать. *(Взяв Машу под руку, медленно ведет ее через комнату.)*

Маша. Как будто мы долго-долго идем с вами по всему городу, по Сталинграду, и вы меня провожаете до моих дверей. Мы стоим на лестнице, и я держусь рукой за свою дверь...

Стефан. И мы долго-долго не можем проститься. Да?

Пауза.

Маша. Прощайте.

Стефан. До свидания. *(Опять берет ее под руку и так же медленно проходит с ней по комнате.)* А мне кажется, что вы давным-давно живете в Праге и мы стоим сейчас где-нибудь на Жижковой улице, у вашего подъезда.

Маша. Нет, это мы стоим в Сталинграде.

Стефан. Все равно, пусть будет в Сталинграде.

Маша. Вы опоздаете на последний трамвай. Идите. Скорей! Прощайте!

Стефан *(целует ей руку)*. До свидания.

Маша. До свидания. *(Скрывается в дверях.)*

Стефан садится в кресло у камина. Входят Божена и Тихий.

Тихий. Ну, что же? Я вас довел до места назначения. *(Целует ей руку.)*

Божена. Куда вы спешите? Вы же сами знаете, что вам все равно некуда спешить.

Стефан. Откуда вы?

Тихий. Мы гуляли с пани Боженой. Обошли всю Прагу пешком.

Божена. Скажите, пан Тихий, я еще достаточно хороша для того, чтобы гулять со мной по Праге?

Тихий. Мне трудно судить об этом. Я для этого слишком старый ваш поклонник.

Божена. А ты, Стефан, что скажешь?

Стефан. Что я скажу? Я очень счастлив.

Божена. Мы же с тобой близнецы: если ты счастлив, то, значит, я тоже должна быть счастлива?

Стефан. А разве ты не счастлива? *(Встает.)*

Божена. Куда ты?

Стефан. Бродить под нашими тремя окнами.

Божена. Зачем?

Стефан. Нужно. Мне нужно бродить под ними... Как будто это в другом городе, как будто это не мои собственные окна. *(Уходит.)*

Божена. Если бы я могла бродить под нашими тремя окнами... Если бы я еще была способна на это...

Пауза.

Однако что бы там ни было, а Прага по-прежнему восхитительна...

Тихий. Да, это был прекрасный вечер... Хотя меня, по правде сказать, все время не покидало ощущение, что вы жалеете, что идете со мной, а не с кем-то другим.

Божена. Зачем вы это говорите? Вы читали такие чудные стихи на Карловом мосту. Мне было так приятно.

Тихий. Поэтому я вам их и читал. Пока я вам читал их, вам было легче представить себе, что с вами не я...

Божена. Да, если хотите, так... Но разве не в этом обязанность поэта?

Тихий. Конечно... Ну, и как я выполнил свою обязанность?

Б о ж е н а. Как всегда, превосходно. *(Видя, что Тихий поднимается по лестнице.)* Куда вы?

Т и х и й. Я хочу попробовать вытащить вниз полковника.

Б о ж е н а. А? Да... да... Попробуйте.

Тихий выходит.

(Повторяет бессознательно.) Попробуйте... попробуйте... Что? Ничего.

Молчание.

Входит М а ч е к.

М а ч е к. Где вы были? Я заходил два раза.

Б о ж е н а. Бродила по Праге.

М а ч е к. С кем?

Б о ж е н а. С паном Тихим.

М а ч е к *(облегченно)*. А-а.

Б о ж е н а. У вас расстроенный вид. Что случилось?

М а ч е к. Кроме того, что вы меня не любите, ничего особенного.

Б о ж е н а. Это вам давно известно, и, однако, у вас бывает более веселый вид. Что случилось?

М а ч е к. Так... Мелкие неприятности. Не стоит об этом.

Б о ж е н а. А все-таки?

М а ч е к. В моей клинике творится черт знает что. Третьего дня к одному лаборанту вернулась из лагеря жена. Так он не мог подождать и встретить ее после работы. Бросил все и ушел. Вчера среди дня пять человек нацепили красные банты и ушли на митинг.

Б о ж е н а. И не вернулись?

М а ч е к. Нет, вернулись. Но через два часа. И вообще, все это уже не работа. Банты, розетки, эмблемы, в руках газеты и разговоры, разговоры! Сегодня они кричат о политике, а завтра начнут говорить, что я им мало плачу и что моя клиника достаточно хороша, чтобы стать государственной.

Б о ж е н а. А может быть, в самом деле вы им мало платите? Вы ведь скупой, я знаю.

М а ч е к. Как раз вы этого не можете знать.

Б о ж е н а. Да я это слышала от других.

М а ч е к. Ручаюсь, что за всю нашу жизнь вы ни разу не упрекнете меня в скупости. Вы! А остальные вас не касаются.

Б о ж е н а. А вы думаете, эта «наша жизнь» — она будет?

М а ч е к. Да. Будет. И как раз поэтому я пришел. Мне надоело ждать. Сегодня же, здесь вы скажете мне «да»! И тогда это будет.

Б о ж е н а. Я сама эти два дня хотела поговорить с вами. Я почти решила быть благоразумной. Но нельзя мне сказать вам все это завтра?

М а ч е к. Нет, сегодня. Не улыбайтесь. Я достаточно умен, чтобы все видеть и понимать. И, однако, вы будете моей женой. Вам не восемнадцать. Вам двадцать шесть. Вы не меньше меня любите хорошую жизнь... Вы не любите меня, но отдаете мне должное. Мне надоело безответно говорить вам, что я вас люблю. Но вы мне нравитесь. И при той жизни, которую вам дам я, вы будете хороши до пятидесяти. Без меня вы состаритесь в тридцать пять. Это слишком скоро, вы не захотите этого. Все, что сейчас,— пройдет. Я останусь. Вы должны сегодня же сказать мне «да»!

Б о ж е н а. Но если это слово «да» застревает у меня в горле? И вы сами виноваты в этом.

М а ч е к. Почему?

Б о ж е н а. С тех пор, как я ударила тогда немца, а вы стояли рядом, руки по швам, мне все время хочется ударить еще и вас.

Пауза.

И я ничего не могу с собой сделать. Ничего...

М а ч е к *(беря ее за руки, мягко)*. Ничего. Это забудется. Это все в прошлом. Вы забудете это. Я ручаюсь вам. Стряхните с себя это и скажите мне «да». Да?

Громкий стук в дверь.

Б о ж е н а. Да, войдите.

На пороге появляется Д ж о к и ч, высокий, худой старик, без шапки, с палкой. Делает два неуверенных шага.

Д ж о к и ч. Мне нужен Богуслав Тихий. Я был у него в доме. Меня привели сюда и сказали, что он здесь.

Б о ж е н а *(подходя)*. Да, он здесь. Дайте руку. Еще шаг. Садитесь. Я позову его. *(Поднимается на несколько ступенек.)* Пан Тихий! Пан Тихий!

Т и х и й. Идем! *(Спускается вместе с Петровым.)*

Б о ж е н а. К вам пришли.

Т и х и й. Кто?

Д ж о к и ч. Я.

Тихий медленно подходит к нему.

Ты, кажется, растолстел, Богуслав,— у тебя одышка.

Т и х и й. Подождите... Подождите... Кто?

Д ж о к и ч. Я, Джокич. Дай мне руку.

Тихий протягивает ему руку. Они стоят друг против друга.

Тихий. Подожди, подожди... ты же не был тогда старше меня... Тогда, в Мадриде...

Джокич. Я и сейчас не старше тебя.

Тихий. Нет, подожди. Ты был моложе меня на семь лет.

Джокич. Я и сейчас моложе тебя на семь лет. Мне тридцать восемь.

Тихий. Нет, этого не может быть, это какое-то сумасшествие. Что с тобой сделали?

Джокич. Это длинная немецкая история. Потом... Я рад, что нашел тебя. Помнишь, ты дал мне адрес?

Тихий. У тебя всегда была замечательная память. *(Петрову.)* Мы в бригаде звали его «Записной книжкой».

Джокич. А с тех пор как я ослеп, я и вовсе ничего не забываю. Я иду из лагеря домой в Черногорию. Отдохну у тебя три дня и пойду дальше. Дай мне умыться. Пойдем к тебе.

Тихий. Пойдем.

Божена. Пан Тихий, пусть ваш друг примет ванну здесь. Вы забыли, что у вас нет горячей воды. Принесите ему переодеться. А я приготовлю ванну.

Джокич. Спасибо. Богуслав, познакомь меня.

Тихий *(подводит к нему Божену)*. Это пани Божена.

Джокич *(держа ее руку, вспоминая)*. В Каса-дель-Кампо, ночью, в окопах, в ноябре... был дождь... твоя соседка... девушка белокурая... с зелеными глазами... Ты читал мне про нее стихи, где ты жалел, что она слишком молода для того, чтобы ты смел влюбиться в нее.

Божена. А сейчас я уже слишком стара.

Джокич. Неправда! У вас молодая рука. *(Отпускает ее руку.)* Кто еще в комнате?

Тихий. Пан Мачек.

Джокич *(пожимая руку Мачеку)*. Славко Джокич.

Тихий. Полковник Петров.

Джокич *(держа руку Петрова)*. Русский? У вас сильная рука. Вы молодой?

Петров. Мне тридцать восемь.

Джокич. Как мне...

Тихий. И, как мы, он тоже был в Мадриде.

Джокич. Когда?

Тихий. В тридцать седьмом.

Джокич. Мы были и позже.

Петров. Я тоже был до конца. Только уже не в Мадриде.

Джокич. А где?

Петров. Везде понемножку. Тогда моя специальность была — мосты.

Д ж о к и ч. Я вас понял. Да?

П е т р о в. Да.

Т и х и й. Так я пойду тебе за одеждой. Пани Божена!

Б о ж е н а. Да, да, иду. *(Выходит.)*

Тихий идет вслед за Боженой.

Д ж о к и ч. Вспоминаете Испанию?

П е т р о в. Да.

Д ж о к и ч. И я. Там я выпустил свою первую пулю по фашистам.

П е т р о в. Я тоже.

Д ж о к и ч. Это не забывается. Как юность.

Пауза.

Сколько мне на вид?

П е т р о в. По-солдатски, правду?

Д ж о к и ч. Конечно. Зеркало мне уже никогда не скажет правду. Значит, правду должны говорить люди.

П е т р о в. Шестьдесят.

М а ч е к. Вы давно не брились. И, вероятно, устали.

Д ж о к и ч. Дайте руку.

Мачек подает ему руку и через секунду вскрикивает.

(Отпускает его руку.) Простите. *(Петрову.)* Нет, мы еще не устали. Верно, товарищ полковник? Не устали. Хотя иногда, по правде сказать, дьявольски тянет домой, в Черногорию.

П е т р о в. Я один раз летал к вам в Черногорию. У вас хороший народ, маленький, но неукротимый.

Д ж о к и ч. А почему маленький? Маленьких народов нет. Есть народы, которые согласились считать себя маленькими. А мы не согласились. У нас, у черногорцев, даже есть такая поговорка: «Разве можно нас победить, когда нас да русских двести миллионов?»

Входит Б о ж е н а.

Б о ж е н а. Я все приготовила. Юлий, возьмите под руку и проводите.

Д ж о к и ч. Спасибо, пани Божена. Богуслав обладает таким талантом рассказчика, что я почти вижу вас. *(Выходит об руку с Мачеком.)*

Б о ж е н а. У него совсем молодой голос... Почему вы мне никогда не рассказывали, что были в Испании?

П е т р о в. Не пришлось к слову.

Б о ж е н а. У вас всегда — не пришлось к слову. Вы называете наш дом домом ваших друзей?

Петров. Да.

Божена. Почему же вы никогда, ни одним словом не обмолвились вашим друзьям о вашей жизни, о том, что...

Петров. О чем? Есть вещи, о которых лучше не говорить. Но вам, очевидно, кто-то сказал...

Божена. Да, мне...

Петров. Не надо, не говорите — кто. В таких случаях я сержусь, а это сейчас лишнее... Да. Вам сказали правду. Я многого лишился за эту войну и не знаю, приобрету ли когда-нибудь вновь хоть часть этого. По вашим представлениям, этого достаточно, чтобы чувствовать себя несчастным. Я уже несколько раз замечал, как вы смотрели на меня с состраданием. Но вы ошибаетесь, я не несчастен. У меня есть другое счастье. Мир еще далеко не так хорошо устроен, как мне этого хочется. И я буду иметь честь и счастье бороться за это до дня своей смерти. Ну и довольно! Не сердитесь на меня. Мне очень не хочется больше говорить об этом.

Божена. Хорошо, не будем.

Пауза.

Я вам буду петь.

Входит Мачек.

Мачек. Пришлось разрезать ему оба сапога сверху донизу. Все-таки чертовы свиньи эти немцы!

Божена. Юлий, сядьте за рояль.

Мачек. Зачем?

Божена. Я буду петь. Играйте вот это. *(Показывает одним пальцем.)*

Мачек берет аккорд.

Нет, не это. Не надо! Лучше вот это. *(Протягивает Мачеку ноты.)*

Мачек играет.

Божена *(после долгой паузы запевает)*.

Под каштанами Праги
Мы сидели с тобой,
И каштаны над нами
Осыпались листвой.
Было все уже в прошлом,
Как сухая листва,
В пожелтевшую реку
Осыпались слова.

(Вдруг оборвав песню, Петрову.) Что вы молчите?

Петров. Я слушаю вас.

Божена. Нет, вам это не нравится... Я знаю. *(Мачеку.)*

Перестаньте же играть!.. *(Петрову.)* Я спою вам вашу... русскую. Мне пела ее Маша в лагере... Юлий!

Мачек. Я не знаю этой песни.

Божена. Это просто. Вот. *(Из-за плеча Мачека одним пальцем подбирает аккомпанемент. Поет.)*

Мачек аккомпанирует.

Однозвучно звенит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика.
Столько грусти в той песне унылой,
Столько грусти в напеве родном,
Что в душе моей, хладной, остылой,
Разгорелося сердце огнем.
И припомнил я ночи другие,
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза.

Долгое молчание.

Тихий *(приоткрыв дверь)*. Пан полковник, подите сюда! Посмотрите, что они сделали с ним!

Петров *(Божене)*. Простите. *(Уходит.)*

Мачек *(берет несколько бешеных аккордов. Встав и с треском захлопнув крышку рояля.)* На этот раз все! Что же будет дальше?

Божена. Ничего. Послезавтра он уедет, даже не узнав, что я его люблю. Не ревнуйте! Я никогда не буду ни его любовницей, ни его женой.

Мачек. Вот мое последнее слово: вы будете моей женой, по завтра же — ни днем позже!

Божена *(очень спокойно, устало)*. Вы опять ничего не поняли, Юлий. Ровно ничего. Я никогда не буду вашей женой.

Мачек. Но вы же когда-то согласились быть моей невестой.

Божена *(все так же спокойно)*. Это было при немцах. Тогда было тихо, как в гробу. Мне было все равно. Я, кажется, вас опять обидела. Простите, я совсем не хотела.

Пауза.

Юлий, я увидела другой мир, других людей, совсем других людей...

Мачек. Русских?

Божена. Нет, почему только русских? Разных людей.

Мачек. Где? В концлагере?

Божена. Да. Если хотите, это началось именно там. Людей, таких непохожих на вас, таких других... И если я все-таки останусь им чужой, если я не попаду в этот другой мир, то лучше завтра умереть у его дверей, чем тридцать лет тосковать рядом с вами и мучить вас. Вы слышите, как спокойно я говорю? Потому что это все правда. Верните мне мое слово и простите меня. И прощайте.

Мачек. Вы никогда не пожалеете об этом?

Божена. Простите — никогда.

Мачек. Прощайте. *(Уходит.)*

Божена *(вслед ему)*. Прощайте.

Долгое молчание.

Входит Петров.

Петров. У вас есть нашатырный спирт?

Божена. Да. *(Роется в стеклянном шкафчике.)* Вот!

Петров. Пан Тихий!

Тихий *(приоткрыв дверь)*. Есть?

Петров *(передавая ему флакон)*. Возьмите.

Тихий скрывается.

Божена. Что там случилось?

Петров. Он ослабел. После ванны, пока мы его одевали, ему стало дурно. Вот и все. Ему полчаса придется посидеть здесь, отдохнуть. Ничего?

Божена. Зачем вы спрашиваете?

Петров. А где пан Мачек?

Божена. Он ушел.

Пауза.

Просто ушел. Ему было пора уходить...

Петров. Я не думал, что вы так поете.

Божена. Как?

Петров. С душой.

Божена. Вас удивило, что у меня есть душа?

Петров. Такая большая — да.

Входит Тихий, поддерживая Джокича.

Тихий. Садись. У тебя по-прежнему скверный характер. *(Петрову.)* Когда его в Мадриде ранило в грудь, он тоже молчал до тех пор, пока не свалился с ног.

Джокич. Довольно о Мадриде! Как бы там ни было, тогда нас разбили. Прах мертвых антифашистов всего мира лежит в земле Испании и взывает к мести.

Пауза.

А все-таки трудно удержаться от воспоминаний. Хотя пани Божене, кажется, скучно от них?

Божена. Почему вы так думаете?

Джокич. Вы вздохнули. А ты помнишь, Богуслав, как мы с тобой увиделись впервые?

Тихий. По-моему, это было в феврале или марте тридцать седьмого года.

Джокич. Это было семнадцатого февраля, ровно в шесть вечера. Мы сидели в окопе и ждали атаки мавров. Ты и еще семь человек пришли к нам на подкрепление. «Который час?» — спросил ты у меня. «Шесть,— сказал я,— сейчас мавры начнут атаку».— «Разве они такие точные?» — спросил ты. «Они — нет,— сказал я,— но их немецкие инструкторы — да. Заряди пулемет». И через минуту они пошли в атаку, и мы стояли в окопе и пели...

Тихий *(запевает)*.

Пусть не здесь мы родились. Так что же?
Пусть далеко от дома Мадрид,
Но ведь сердце в нас бьется все то же,
То же знамя над нами горит.

Помнишь?

Джокич. Еще бы! *(Поет.)*

Не даем и не просим пощады.
Не затем собирались мы тут.

Петров *(присоединяясь)*.

Там, где встала седьмая бригада,
Смерть фашистам, они не пройдут!

Божена. Подождите, я подберу. *(Подходит к роялю, берет несколько аккордов.)* Так?

Петров. Ниже.

Божена. Так?

Петров. Нет, еще ниже. Резче! Когда вы берете эти низкие ноты... представьте себе, что у вас хриплый голос... Жара... Атака...

Божена *(берет аккорд)*. Так?

Петров. Так. *(Запевает.)*

К нему присоединяются остальные.

Не затем мы оставили где-то
И невесту, и старую мать,
Не затем, чтоб, проехав полсвета,
Хоть на четверть шага отступать.

Божена аккомпанирует. Наверху появляется Грубек, за ним Франтишек.

Нас немного, но если нам надо,
С нами мертвые рядом пойдут.
Там, где встала седьмая бригада,
Смерть фашистам, они не пройдут!

Все замолчали. Божена повторяет на рояле мелодию песни.

Франтишек. Божена!
Грубек. Пани Божена!

При звуке его голоса Джокич резко встает и снова садится.

Божена *(продолжая играть)*. Что?

Грубек. Когда вы кончите это играть, доставьте мне удовольствие, пожалуйста, сыграйте что-нибудь Вагнера.

Джокич снова поворачивается на голос Грубека и застывает в этой позе.

Божена. Я не хочу доставлять вам удовольствия. *(Резко.)* Я не желаю доставлять вам удовольствия. *(Упрямо берет один за другим аккорды все сильней и сильней.)*

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Прошло еще три дня. Воскресенье. Полдень. Около двери вещевой мешок. Грубек один, над шахматной доской, напевает: «Там, где встала седьмая бригада, смерть фашистам, они не пройдут!»

Людвиг входит и кладет на стол букет.

Людвиг. Пан Грубек, у меня к вам просьба: этот букет передайте от меня Маше. Ее поезд в два сорок, я ее больше не увижу — у меня на сутки дежурство.

Грубек. А ты бы не мог раз в жизни вообще пропустить это свое дежурство?

Людвиг. Конечно, нет, у нас ведь дисциплина.

Грубек. А что же ты делаешь на дежурстве?

Людвиг. Иногда мы просто сидим в дежурном помещении. Иногда ходим патрулем. А иногда нас берут как охрану, когда арестовывают кого-нибудь из фашистов. Простите, пан Грубек, я опаздываю, я и так уже буду всю дорогу бежать.

Грубек. Ну, что ж, с богом!

Людвиг выходит. Грубек, задумчиво напевая «Там, где встала седьмая бригада...», поднимается по лестнице. Входит Тихий, за ним — Джокич.

Тихий. Пан Грубек, где сейчас полковник, вы не знаете?

Грубек *(с лестницы)*. По-моему, он собирался все утро кататься по Праге. Я сегодня проснулся — дом пуст, все уехали, даже Франтишек.

Тихий. Полковник сегодня уезжает. Он обещал подвезти Джокича до Братиславы.

Грубек. Тогда советую подождать. *(Уходит.)*

Тихий. А как ты будешь добираться из Братиславы в Белград, Джокич, а? Ты что, не слышишь?

Джокич. Подожди...

Тихий. Что подожди?

Джокич. Где я слышал этот голос?

Тихий. Чей голос?

Джокич. Этого человека, которого вы все называете «паном Грубеком».

Тихий. Называем. Как, называем? Он и есть Грубек.

Джокич. Эту фамилию я слышу первый раз в жизни, но этот голос?.. Где?.. Когда?.. Не могу... Подожди... Я слышал этот голос уже после того, как они ослепили меня. Подожди... Нет, это было не в Дахау. Нет.

Пауза.

В Свинемюнде! Нет, не в Свинемюнде.

Пауза.

Тоже нет... Тоже нет. *(Внезапно.)* Только... тогда он говорил по-немецки... Аушвиц? Аушвиц, Аушвиц...

Тихий. Ну, пойдем... Довольно терзаться, и, главное, напрасно.

Джокич. Аушвиц... *(Хватает за руку Тихого и показывает ему лихорадочными жестами, чтобы тот позвал Грубека.)* Еще раз... его, сюда скорей! *(Заранее принимает позу человека, внимательно слушающего.)* Ну?

Тихий *(пожав плечами)*. Хорошо, пожалуйста! *(Кричит.)* Пан Грубек! Мы уходим. Я открою у себя окно. Когда придут, пусть крикнут меня.

Грубек *(на лестнице)*. Как хотите. Но они все вот-вот должны быть. Уже скоро час. А в два сорок пани Мария уезжает на Моравску Остраву. *(Уходит.)*

Джокич. Моравска Острава?.. Моравска Острава?!

Тихий. Пойдем, посидим у меня, Джокич!

Джокич *(рассеянно.)* Хорошо. Моравска Острава.

Уходят. Некоторое время сцена пуста. Входят Франтишек, Божена и Петров.

Франтишек. Сейчас я переоденусь и вернусь. *(Поднимается наверх.)*

Божена. Хоть в последний день все-таки я вас вытащила в Прагу.

Петров. Я вам очень благодарен.

Входит Гончаренко.

Гончаренко. Товарищ полковник!

Петров. Принесли?

Гончаренко, выйдя за дверь, возвращается с парашютным мешком.

Положите. Можете идти.

Гончаренко уходит.

Божена. Что это?

Петров. Армейский парашют в чехле. Точно с таким когда-то я приземлился в двух километрах от вашего дома. Это вашему отцу. На память. Пусть в вашем мирном профессорском доме лежит этот предмет, напоминая о том, что люди иногда падают из облаков и что... *(смотрит на Божену)* три года назад в подвале вашего дома сидел человек и очень ждал... Два стука в потолок — значит, это идете вы и несете мне хлеб и кофе...

Божена. Вы не забыли?

Петров. Нет, хотя вы ни разу не напомнили мне об этом.

Божена *(приподняв мешок)*. Тяжелый. Вы много раз прыгали?

Петров. У нас, у десантников, обычно спрашивают, не сколько раз прыгал, а куда. Нет, я не часто прыгал. Пять раз. Зато иногда далеко.

Божена. Вы никогда больше не прыгнете в Прагу?

Петров. Прыгать? Зачем? Будет прямой поезд Москва — Прага. Прага — Москва. Туда — сюда. Это не для меня. Не для меня, пани Божена... Я сам выбрал себе такую жизнь, когда мое время редко зависит от меня. Выбрал и люблю ее. А грустно бывает, конечно, и не все в жизни выходит так, как, может быть, хотелось бы...

Франтишек *(спускаясь в домашней куртке)*. Где же Стефан и пани Мария? Час до поезда.

Божена. Отец, тебе подарок.

Франтишек. Подарок? Мне? Где?

Петров. Вот он. *(Кладет мешок на стол.)*

Франтишек. Что это?

Петров. Парашют. Именной. Прочтите.

Франтишек *(читает надпись на приделанной к чехлу парашюта медной дощечке)*. «Пану Франтишеку Прохазке, доктору медицины и укрывателю русских парашютистов, с благодарностью от одного из них. 1942—1945 годы». Я вас понял, пан полковник. Это напоминание о том, что, кроме моей лаборатории, есть еще жизнь, в которой я когда-то принял немножко участия. Вы хитрый человек. Вы хитрый человек, товарищ полковник. И это мне нравится в вас. Я положу его к себе в кабинет и буду хвастаться перед коллегами и учениками. Грубек! Ян!

Грубек *(показываясь наверху)*. Что?

Франтишек. Смотри, какой я получил подарок!

Грубек. А... парашют. *(Спустившись, читает надпись.)* «Доктору медицины и укрывателю... сорок второй — сорок пятый». *(Петрову.)* Значит, сегодня уезжаете?

Петров. Да, в четыре часа.

Франтишек. А вы бы до завтра.

Петров. Нельзя. Мы едем целой колонной. Машины с моим начальством пойдут мимо вашего дома. Мне погудят, и я присоединюсь.

Вбегают Стефан и Маша.

Божена. Где вы были? До поезда осталось сорок пять минут!

Маша. У меня все готово. Хотелось до самой последней минуты. Мы так хорошо ездили.

Стефан. Я не смогу даже проводить ее. Через полчаса я должен быть в министерстве.

Божена. Я провожу ее.

Франтишек. Ну, что же, пани Мария...

Стефан *(прерывает)*. Подождите. Подождите все! *(Маше.)* Я молчал до последней минуты. Но вот здесь мой отец и сестра, я хочу сказать при них. Я жалею, что здесь нет моей матери. Она бы поняла меня. Не уезжай! Я тебя очень люблю. Останься. Если бы... Но у тебя ведь никого нет. Мы узнаем, где твоя мама. Если она жива, мы потом съездим к ней вместе... Только не перебивай меня. Со мной тебе никогда не покажется, что ты на чужбине. А я, я просто не знаю, как я буду без тебя. Ну, что ты молчишь?

Маша *(делает шаг к нему, обнимает руками его шею, уткнувшись ему в грудь лицом)*.

Общее молчание.

(Отрываясь от Стефана, сквозь слезы, Петрову.) Иван Алексеевич, если бы вы знали, какая я счастливая... Божена! *(Повернувшись к Стефану, вдруг почти спокойно.)* Я вас так люблю... *(Перехватывает его взгляд, обращенный на ее вещевой мешок.)* Нет, нет... Нет, сейчас я поеду. Я должна вернуться домой. Может быть, там никого нет. Может быть, там все сгорело и я ничего даже не узнаю. Но как вы не понимаете? Я же не могу не увидеть всего этого снова. Я же не могу! Не смотрите на меня так. Я правду говорю.

Стефан. Что же будет?

Маша. Не знаю. Я уеду.

Долгая пауза.

А как же потом?

Стефан. Я приеду к вам, в Советский Союз.

Маша. Когда?

Стефан. Не знаю. Может быть, я приеду учиться... Не знаю, но я приеду за тобой. И ты будешь моей женой. Ты будешь моей женой?

Маша. Буду.

Стефан. Я провожу тебя до машины.

Общее движение.

Нет, я один. Прощусь я, потом придут все. *(Обняв Машу за плечи, выходит с ней.)*

Общее молчание.

Божена. Как трудно прощаться...

Входит Стефан.

Стефан. Она уже в машине, теперь идите. Отец, захвати, пожалуйста, ее вещи. Я не в силах возвращаться туда. *(Стискивает голову руками, проходит на веранду и в глубине ее прижимается лицом к оконному стеклу.)*

Грубек *(Франтишеку, беря со стола букет)*. Подожди, я тоже хочу проститься с ней. *(Выходит вместе с Франтишеком.)*

Божена *(задерживая в дверях Петрова)*. Этот человек... Он все лжет. Он ненавидит вас, Машу, Стефана, он всех вас ненавидит, я знаю.

Петров. А что вы знаете еще?

Божена. Больше ничего. Я просто знаю, что он все лжет.

Петров. Это я уже успел заметить. Но все равно! Спасибо! Пойдемте, а то она опоздает.

Все выходят. Несколько секунд сцена пуста. Входит Грубек, поднимается по лестнице, проходит к себе. Возвращается Франтишек. С веранды входит Стефан, направляется к двери.

Франтишек. Подожди.

Стефан. Мне надо в министерство.

Франтишек. Все равно, подожди! Стефан! Ты меньше любишь свою родину, чем она свою Россию! Неужели ты поедешь туда?

Стефан. Не знаю. Знаю только одно: там или здесь, мы все равно будем вместе с ней.

Франтишек. Дверь моего дома всегда будет открыта для твоей жены. Но если ты уедешь... Нет, довольно. Я больше не в силах говорить с тобой об этом. *(Поднимается по лестнице, выходит.)*

Входит Петров.

Петров. Что с тобой?

Стефан. С отцом. Тяжелый разговор. *(Надевает фуражку.)*

Петров. Догадываюсь. И все же он — хороший старик. А твоя сестра... В ее душе сейчас воюют два мира. Будь ей старшим братом, хоть вы и близнецы. Впрочем, что я тебя учу? Это

я так, по привычке, как твой бывший инструктор. Ну, давай прощаться. Руку.

Стефан *(пожимая руку)*. Увидимся?

Петров. Кто знает?

Стефан уходит.

(Долго смотрит ему вслед. Задумчиво.) Кто знает?..

Входит Тихий.

Тихий. Вы один?

Петров. Как видите.

Тихий *(взволнованно)*. Джокич вспомнил! Вспомнил! Джокич в прошлом году работал на заводе фаустпатронов в Моравской Остраве. Там был главный инженер Гофман. Джокич запомнил его голос. Это голос Грубека. Он послал меня, чтобы я сказал вам.

Петров. Минуту спокойствия. Франтишек знает Грубека тридцать лет и именно как Грубека. *(Соображая.)* Как Грубека...

Тихий. Я говорил это Джокичу. Он не знает, как это вышло, но клянется, что Грубек и Гофман — это одно, один голос. Его надо... Но, полковник, ведь вы уезжаете?

Петров. Да. Через час.

Тихий. Как же тогда?

Петров. Ничего, я подумаю и решу, как поступить. А вы оба с Джокичем приходите сюда без пяти четыре.

Тихий. Джокич не поедет с вами. Его чуть не хватил удар, он лежит.

Петров. Ну, что ж, приходите один. И если вам нетрудно, сейчас, когда пойдете через двор, пошлите ко мне моего шофера...

Тихий. Да... Хорошо... *(Уходит.)*

Петров садится к столу и пишет записку.

Входит Гончаренко.

Гончаренко. Слушаю вас.

Петров *(продолжая писать)*. Садитесь. То, что мы с вами думали, подтвердилось. Я, правда, сообщил, чтобы за ним следили, но сейчас нужны срочные меры. *(Передает записку.)* На машину — и в ближайший штаб Национальной гвардии. Идите. Подождите. Вы еще раз проверили, заметил он или нет?

Гончаренко. Проверял сегодня, когда он был в ванной. Не заметил.

Петров. Хорошо. Идите.

Гончаренко уходит.

Входит Божена.

Божена. Ну, вот и проводила.

Петров *(глядя на нее)*. Что, идет дождь?

Божена. Да, вдруг пошел дождь. Кажется, надолго.

Петров. Вам надо переодеться. Простудитесь. Вы что, шли пешком?

Божена. Да, я отпустила машину. В дождь я люблю идти пешком. Совсем одна. Это хорошо. А каштаны сейчас мокрые, и листья тяжелые от капель. И пахнут весной! Как никогда! «В воскресенье я уеду, и мы, наверное, никогда больше с вами не увидимся». Так, кажется, вы любите говорить?

Петров. Я не люблю так говорить. Просто я привык говорить правду. И все-таки... может быть... когда-нибудь...

Божена *(перебивая)*. Мы увидимся? Да?

Петров. Да. Может быть...

Божена. Нет, не может быть. И не будет. Не отступайте от своего жестокого правила говорить правду. Не может быть. И не будет. *(Долго, внимательно, молча смотрит на Петрова и вдруг тихо запевает, почти обращаясь к Петрову, почти разговаривая с ним.)*

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?
А через дорогу,
За рекой широкой,
Так же одиноко
Дуб стоит высокий.
Как бы мне, рябине,
К дубу перебраться,
Я б тогда не стала
Гнуться да качаться.
Тонкими ветвями
Я б к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась.
Но нельзя рябине
К дубу перебраться,
Знать, ей, сиротине,
Век одной качаться...

(После паузы.) Ну, вот я вам все и сказала. *(Быстро уходит.)*

Петров *(после долгого молчания)*. Все... *(Несколько секунд стоит молча, потом выходит в другую дверь.)*

Сцена пуста. С улицы входят Людвиг, офицер Национальной гвардии и два национальных гвардейца

Людвиг. Пан подпоручик, я сам вызвался идти сюда, но теперь я вас прошу только об одном.

Офицер. Ну?

Людвиг. Чтобы это было не в доме моего отца. Я не хочу говорить — наш дом. Этот человек — он наверху. Я сам пойду к нему. Я скажу, что отец звал его в сад. Или еще что-нибудь. Мы выйдем с ним вместе из дома, и вы арестуете его там, на улице. Я вас очень прошу.

Офицер *(колеблясь)*. Ну, хорошо. Мы будем ждать. *(Уходит вместе с национальными гвардейцами.)*

Людвиг быстро взбегает по лестнице наверх и скрывается. Через секунду сверху спускается Петров. Кладет на стол фуражку, полевую сумку, маузер. Садится в кресло под лестницей. Наверху слышен шум, как будто там передвигают мебель. Петров секунду прислушивается. Шум прекращается. Еще несколько секунд тишины, потом наверху хлопает дверь, и по лестнице медленно сходит Грубек в шляпе. Петров, сидящий к нему спиной, поворачивает голову.

Петров. Куда вы, пан Грубек?

Грубек. Погулять.

Петров. На улице дождь. Посидите со мной.

Грубек. С удовольствием. *(Присаживается.)*

Долгое молчание.

Нет, знаете, я все-таки выйду на воздух. С самого утра отвратительно болит голова... *(Идет к двери.)*

Петров. А я хотел спросить вас...

Грубек. О чем?

Петров *(снова повернувшись к Грубеку и рассеянно копаясь в своей полевой сумке)*. Я хотел спросить вас, какое происхождение у вашей второй фамилии?

Грубек *(быстро окидывает взглядом комнату)*. Я вас не понимаю. Какая вторая фамилия? *(Лезет правой рукой во внутренний карман пиджака.)*

Петров *(не оборачиваясь)*. Ваша. Гофман. Вы ее целиком придумали или, может быть, взяли девичью фамилию вашей матери?

Грубек *(неторопливо, доставая револьвер)*. Да, это фамилия моей матери.

В дверях сзади Грубека появляется Тихий. Короткая пауза. Тихий с необыкновенной для его грузного тела легкостью делает прыжок и сзади хватает Грубека за руки.

Петров *(поворачиваясь вместе с креслом)*. Пан Тихий, отпустите его.

Тихий *(задыхаясь)*. Отпустить? Его?

Петров. Отпустите его. Отпустите. Его револьвер разряжен уже неделю.

Тихий отпускает Грубека. Грубек аккуратно проверяет магазин револьвера.

Ну, как? Проверили?

Грубек. Да.

Петров. Теперь бросьте его. Ну, я же вам сказал.

Грубек бросает револьвер. Долгая пауза.

Сейчас за вами придут. Я бы на вашем месте пока сел.

Грубек. Предпочитаю стоять.

Входит Гончаренко.

Гончаренко. Товарищ полковник, разрешите доложить: шестнадцать часов. Сейчас подойдут машины.

Петров. Хорошо. Знаю.

Гончаренко выходит.

(Кричит.) Пан Прохазка! Пан Прохазка!

Франтишек *(появляется наверху)*. Что, вы уже едете?

Петров. Да. Спуститесь. Во-первых, я хочу с вами проститься, а во-вторых, перед отъездом хочу вам представить... *(Показывает на Грубека.)*

Франтишек *(поняв это как шутку и улыбаясь)*. Что, Грубека?

Петров. Нет, Гофмана.

Франтишек. Что такое? Что вы говорите?

Петров *(указывая на Грубека)*. Господин Гофман. Главный инженер завода фаустпатронов в Моравской Остраве. Что еще? Фашист. Что еще? Ваш гость. Что еще? Остальное он вам, очевидно, объяснит сам.

Франтишек. Ян! Подождите! Ян! Как же? Нет, как же?

Грубек. Не задавайте мне бессмысленных вопросов.

Петров. Он прав, пан Прохазка, не задавайте ему вопросов. Ответьте мне всего на один вопрос: фамилия его матери была не Гофман?

Франтишек *(растерянно)*. Не помню.

Грубек *(резко)*. Я уже ответил вам: Гофман! Гофман! Мой дед по матери судетский немец Гофман. Что еще?

Франтишек *(еще более растерянно)*. Гофман? Не понимаю... Не помню. В его доме всегда говорили только по-чешски. Его отец читал чешскую литературу в Пражском университете. Ян! Ян! Мы же были с тобой в одном землячестве, в чешском землячестве в Париже! Пан полковник! Нет, нет, он же чех, чех. По языку... По крови...

Петров. По крови? По крови он фашист, пан Прохазка...

Гудок машины. Входит Гончаренко.

Гончаренко. Товарищ полковник, машины прибыли. Генерал ожидает вас.

Петров. Сейчас.

Гончаренко уходит.

(Франтишеку, продолжая начатую фразу.) ...если угодно, чешский фашист. Не лучше и не хуже всякого другого.

Пауза.

Франтишек. Ян! Ты обманул меня! Ты... *(Меняясь в лице, неожиданно ледяным голосом.)* Пан Грубек, если вы не хотите, чтобы я вас ударил, покиньте мой дом, сейчас же! *(Давая дорогу Грубеку, став к нему спиной, повторяет.)* Покиньте мой дом!

Грубек *(спокойно продолжает сидеть в кресле, потом с насмешливой улыбкой, повернувшись к Петрову, показывает на Франтишека, делает жест, означающий: «Вот видите, он даже сейчас ничего не понимает», и после паузы говорит Петрову).* Мне надоела эта старческая болтовня. Может быть, в самом деле вы выведете меня отсюда.

Тихий *(с треском ударив кулаком по столу).* Молчать! *(Долгим взглядом смерив Грубека, поворачивается к Петрову.)* Неужели они когда-нибудь смогут вернуться? А?

Петров. Вернуться? *(Кивнув на Грубека.)* Они? Не для того миллионы наших мертвых зарыты в земле Европы. Не для того. Нет. Прощайте, пан Прохазка. *(Жмет руку Франтишеку.)*

Франтишек. А Божена?

Петров. Я уже простился с ней. *(Подходит к Тихому.)* Прощайте, пан Тихий.

Тихий. Подождите. *(Указывая на Грубека.)* А как же он?..

Петров. Я не вечный гость в этом доме. Очень просто, пан Тихий, вы чех и вы старый солдат. Этот дом остается на вас. *(Идет к двери.)* Этот дом остается на вас, потому что... Помните, как это поется в старой песне: «Там, где встала седьмая бригада...» Как там дальше?

Тихий. «Смерть фашистам, они не пройдут!»

Петров *(улыбнувшись, уже в дверях).* Вот именно. *(Скрывается.)*

Долгое молчание. Шум отъезжающих машин.

Франтишек *(повернувшись к Грубеку, яростно).* Убирайтесь из моего дома!

Тихий. Нет! Он не уйдет.

Франтишек. Почему?

Тихий. Потому что он арестован.
Грубек. Кем?
Тихий. Мной.

Входят офицер и национальные гвардейцы.

(Указывая на Грубека.) Прошу!

Офицер. А где Прохазка?

Франтишек. Я — Прохазка.

Офицер. Нет, где ваш сын Людвиг Прохазка?

Франтишек. Его не было здесь. Он ушел с утра.

Офицер. Как ушел? Подождите! *(Повертываясь к Грубеку.)* Где он?

Грубек *(спокойно, указывая пальцем наверх)*. Там.

Офицер, один из национальных гвардейцев и Франтишек бросаются по лестнице наверх и скрываются за дверью комнаты Грубека. Душераздирающий крик. Божена, выскочившая на крик, пробегает по балюстраде из своей комнаты в комнату Грубека. Грубек, на которого в эту секунду никто не обращает внимания, вынимает из жилетного кармана ампулу, разгрызает ее и, прислонившись к стене, раскинув руки и вцепившись обеими руками в карниз панели, безмолвно стоит с судорожно сведенным лицом. Наверху, на лестнице, спиной к зрителям, появляется Франтишек. Его взгляд устремлен в открытую дверь комнаты Грубека. Оттуда офицер и национальный гвардеец выносят неподвижное тело Людвига. Сзади идет окаменевшая Божена. Тело несут вниз по лестнице. Франтишек отступает перед ним. Из его груди вырывается не крик и не вопль, а какой-то ужасный, однообразный стон. Он спиной спускается с лестницы, бессознательно садится в кресло и протягивает руки навстречу телу сына. Национальные гвардейцы кладут Людвига ему на руки.

Тихий. Боже мой, Людвиг!

Франтишек сидит неподвижно. Божена, став на колени, обнимает голову Людвига и так же неподвижно держит ее. Долгое молчание.

Франтишек *(ничего не замечая, бессознательно обращаясь к сыну)*. Что это? А? Ты молчишь? Почему ты молчишь? А? *(Божене, удивленно.)* Молчит... *(Тихому.)* Почему он молчит?

Тихий *(сделав руками такой жест, как будто он останавливает все происходящее на сцене, говорит сначала тихо, потом все громче, громче)*. Нет, он не молчит. Он не молчит! Он не молчит, я вам говорю!

Вдруг, выведенный криком Тихого из состояния неподвижности, Франтишек впервые поднимает глаза на стоящего напротив него у стены Грубека и резко и гневно поднимается навстречу ему с телом сына на руках. И в ту же секунду, выпустив из окоченевших мертвых пальцев карниз панели, Грубек падает головой вперед, к ногам Франтишека.

Занавес

1945

ПРИМЕЧАНИЯ

Дни и ночи. Повесть.— Впервые в журнале «Знамя», 1943, №№ 9—12; 1944, №№ 1—2. Отрывки — в газете «Красная звезда», 1944, 8, 9, 11, 17 февраля; 5, 25 апреля; 20 мая.

РАССКАЗЫ

Малышка.— Впервые в газете «Красная звезда», 1943, 7 марта.

Пехотинцы.— Впервые в газете «Красная звезда», 1943, 25 сентября. Также в журнале «Октябрь», 1943, №№ 11—12 (под назв.: «Пехотинец»).

Перед атакой.— Впервые в газете «Красная звезда», 1944, 23 апреля.

Бессмертная фамилия.— Впервые в газете «Красная звезда», 1944, 24 мая.

Орден Ленина.— Впервые в газете «Красная звезда», 1944, 16 декабря.

Ночь над Белградом.— Впервые в газете «Правда», 1944, 20 декабря.

Кафе «Сталинград».— Впервые в газете «Красная звезда», 1944, 21 декабря (под назв.: «Воины-братья»).

Книга посетителей.— Впервые в газете «Красная звезда», 1944, 28 декабря.

Свеча.— Впервые в газете «Красная звезда», 1944, 30 декабря.

В высоких Татрах (Рассказ доктора Бернарда).— Впервые в газете «Правда», 1945, 27—30 декабря.

ПЬЕСЫ

История одной любви.— Впервые в кн.: К. Симонов. История одной любви. М., ВУОАП, 1954.

Парень из нашего города.— Впервые в кн.; К. Симонов. Парень из нашего города. М.— Л., 1941.

Русские люди.— Впервые в журнале «Знамя», 1942, №№ 5—6. Также в газете «Правда», 1942, 13, 14, 15, 16 июля.

Так и будет.— Впервые в кн.: К. Симонов. Так и будет. М., ВУОАП, 1944.

Под каштанами Праги.— Впервые в журнале «Знамя», 1946, №№ 2—3.

А. Александрова

СОДЕРЖАНИЕ

Симонов К. М.

С 37 Собрание сочинений. В 10-ти т. М.: Худож. лит., 1979.

Т. II. Дни и ночи: Повесть; Рассказы: (1943—1945); Пьесы (1940—1945). 1980, 622 с.

Во втором томе Собрания сочинений Константина Симонова представлено его творчество военных лет — повесть «Дни и ночи», рассказы, пьесы.

С $\frac{70302\text{-}045}{028(01)\text{-}80}$ подписное Р2

Константин Михайлович

Симонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том II

Редактор Т. Аверьянова

Художественный редактор
С. Гераскевич

Технический редактор
Л. Платонова

Корректор
Н. Усольцева

ИБ № 1634

Сдано в набор 17.04.79. Подписано к печати 4.12.79. А11728. Формат 60 × 84$^{1}/_{16}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 36,387 усл. печ. л. 38,302 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 611. Цена 2 р. 70 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва 107078, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16

Отпечатано с матриц в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома Государственного Комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

2 р. 70 к.